

КОНСТАНТИН СОЛОВЬЕВ

БАРБИ



Ведьмы из Броккенбурга

Барбароссе, которую многие в Броккенбурге насмешливо кличут Барби, грех жаловаться на судьбу. Ад не наделил ее при рождении ни великим ведьминским даром, ни талантами по части запретных адских наук, ни ангельской красотой. Если он на что и расщедрился, так это на пару крепких кулаков и врожденное презрение к смерти вкупе со звериным упрямством. Эти кулаки она давно привыкла пускать вперед с жестокостью вырвавшегося на свободу демона, расчищая себе место под тусклым броккенбургским солнцем, наводя ужас на прочих голодных сук, именующихся ведьмами, завоевывая себе крышу над головой, пропитание и репутацию. Сестрица Барби еще не знает — адские владыки уготовили ей испытание, в котором ей не в силах будут помочь ни кулаки, ни спрятанный в башмаке нож, ни даже тяжелый рейтарский пистолет. Возможно, все бы и обошлось, если бы она не вздумала задирать гомункула на профессорском столе...

Ведьмы из Броккенбурга. Барби

Барбаросса никогда не считала себя знатоком фортификационного искусства и мало что смыслила в замках. Если Адом тебе определено родиться в Кверфурте, краю бездельников, пьяниц и углежогов, самое внушительное строение, которое тебе суждено увидеть на своем веку, это местная ратуша. Сложенная из камня, на фоне дряхлых деревянных домишек с заскоружеными торфяными крышами она выглядела едва ли не великаном.

Другое дело — здесь, в Броккенбурге. В городе, что прикипел к древней горе Броккен подобно исполинской бородавке, медленно пожирая ее и сам захлебываясь в ядовитой скверне магических испарений. Камень здесь всегда был в избытке, и не беда, что камень этот был отравлен излучением адских энергий, текущих через гору на протяжении столетий, здесь всегда находились желающие сгрести его в кучу, соорудив внушительное сооружение на старый манер, водрузить сверху знамя, хоть бы и из старых выцветших порток, наречь его каким-нибудь звучным именем и объявить своим фамильным владением — и плевать, что многие броккенбургские замки может обойти кругом за две минуты старый осел.

Барбаросса сплюнула на брусчатку, покачивая за спиной мешком с гомункулом. Ноги, точно послушный жеребец, изучивший дорогу лучше возницы, сами несли ее к Малому Замку, не требовалось ни указывать им путь, ни торопить, но глаза по привычке сами цеплялись за угловатые контуры замков, попадавшихся ей на пути, отчетливо заметные даже в густых предвечерних сумерках.

Черт. Если здесь, в Броккенбурге, и хватало чего-то, за исключением остервеневших от голода безмозглых сук, мнящих себя ведьмами, так это замков. В большинстве своем это были никчемные каменные кадавры, именующиеся замками лишь по недоразумению — да по прихоти своих владельцев. Щеголяющие вышедшими из моды еще во времена Бар-де-Люка и Вобана машикулями[1] и гурдициями[2], они производили впечатление надгробных изваяний. Некоторые, особо славные сооружения, имели не только свое имя, но и собственную историю, зачастую куда более внушительную, чем люди, которые в них ныне обитали.

Взять, к примеру, замок «Флактурм». Внушительная штука, с какой стороны ни посмотри. Тяжелая, угловатая, исполинская, серая как пришедшая на рассвете смерть, похожая на огромную шахматную ладью, водруженную на южной окраине Оберштадта. Этот замок служил пристанищем и штаб-квартирой «Вороньей Партии» на протяжении двух сотен лет. И каким-то образом даже не превратился в груды щебня в страшном для Саксонии сорок пятом году, когда на исходе Второго Холленкрига демонические орды Белета и Гаапа, объединившись, заливали немецкие города с небес кипящей ртутью и зловонной желчью.

«Флактурм» устоял, как устояла сама гора Броккен, на чьей вершине он примостился. Тяжелый, молчаливый и грозный, он являл собой весомый знак могущества «Вороньей Партии», видимый почти с любой части горы. Среди ведьм, правда, болтали, что столь внушительное впечатление грозный «Флактурм» производит лишь снаружи, внутри это сплошь разгромленные покои, осевшие стены и прохудившиеся перекрытия, прикрытые столет назад сгнившими коврами, но проверить, так ли это на самом деле, еще никому не удавалось — «воронессы» относились к своему уединению чрезвычайно серьезно, гостей не привечали и никогда не давали балов.

Если во всем Броккенбурге и имелась полная противоположность «Флактуруму», то это

был «Новый Иммендорф», служащий обителью для «Ордена Анжель де ля Барт». В нем не было холодной чопорной строгости старых крепостей, он был детищем иной эпохи и не боялся этим щеголять. Перестроенный из солидного купеческого особняка полста лет тому назад, выстроенный на манер неаполитанского палаццо, он и замком-то именовался скорее для проформы — декоративные башенки, украсившие верхний этаж, придавали его профилю не больше внушительности, чем плюмаж от шлема, которым какая-нибудь великосветская шляха украсит свою прическу. Говорят, только за одно здание «бартиантки» выложили пятьдесят тысяч гульденов — умопомрачительная плата даже с учетом того, как много у этого ковена имелось щедрых патронов и покровителей — а внутренней отделкой занимался сам Готфрид фон Геделер, созидавший дворцы в Бранденбурге и Галле. Стекла для «Нового Иммендорфа» отливались в Силезии, мебель прибыла из Дрездена, парча и шелк для обивки поставлял Аугсбург, что до предметов обстановки, даже вообразить их стоимость было больно — сплошь красное дерево, бронза и хрусталь. «Новый Иммендорф» выглядел как хорошенький кукольный домик и как фортификационное сооружение имел такую же ценность. Впрочем... Кодексом чести всякому старшему ковену предписывалось держать в своем замке караул и нести дежурство, вот только Барбаросса всякий раз с трудом сдерживала смех, пытаясь представить, как «бартиантки» в их пышных парчовых платьях маршируют с мушкетами в руках или бегают по карнизу, готовясь отражать атаку...

«Цвингер», служивший логовом «волчицам» из «Вольфсангеля», представлял собой старый охотничий замок принца Максимилиана[3], пришедший в упадок еще при его жизни и, как поговаривали злые языки, не рассыпавшийся на булыжники только потому, что был надежно скреплен изнутри паутиной и фекалиями. Он и снаружи чем-то походил на собачью будку — грязный, давно не крашенный, с давно превратившимися в густой лес палисадниками. «Волчицы», как и полагается старшим ковенам, держали прислугу из числа младших сестер, но, как шутили в «Хексенкесселе», предварительно убедившись, что «волчиц» нет поблизости, вместо работы по дому те, верно, посвящали себя ловле блох на себе и на своих товарах...

Барбаросса фыркнула, вспомнив, сколь многие сооружения в Броккенбурге повинуюсь капризу своих хозяек, именовались замками, хотя на деле представляли собой груды камней, на которую не позарились бы даже мокрицы.

«Великий Бенрат», «Седой Великан», «Кухельбург», «Новые Микены», «Большая Голова», «Ночница», «Чертов Дворец», «Пьяный Замок», «Бастард Третий», «Велленштадт» «Дурында Восточная» и «Дурында Северная»...

В этом весь Броккенбург, мрачно подумала Барбаросса, пытаясь разглядеть в густых сумерках привычные контуры башни Малого Замка. У ведьмы может не быть денег на исподнее, она может днями носить дырявые чулки или хлебать холодную баланду вместо супа, но у нее обязательно будет брошка с вензелем ее адского патрона и самый изысканный кружевной платок, который только можно раздобыть в лавочках Эйзенкрейса.

То же самое и с ковенами. Всякая банда, нашедшая тринадцать сук, уже мнит себя ведьминским ковенном, а ковен без замка — что шляха без дырки, одно название. А едва только замок найден, еще прежде дрянной мебели там воцаряются наспех выдуманные правила этикета, еще вчера не существовавшие столетние традиции и принципы чести, зачастую еще более запутанные, чем паутина в тамошних сундуках.

«Холькенхавн», «Медный Замок», «Сорокопутка», «Промежница», «Сахарные Уста», «Каменная Елда», «Крейгивар», «Великая Дырень», «Бегемот», «Верхнее Узилище», «Сиза»

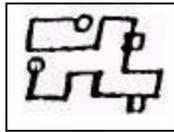
Голубка», «Гленгарри», «Канареечка», «Змеиная Яма»...

За звучными именами зачастую скрывались столь ветхие хибары, что Барбаросса не осмелилась бы переступить их порога, не напялив основательный бургиньот[4] — иногда казалось, что одного чиха достаточно, чтобы обрушить все сооружение тебе на голову. А уж какие запахи царили внутри!..

Некоторые из этих самозванных замков в самом деле во времена седой древности были частями Броккенских фортификаций — разрозненных донжонов, брошенных казематов и рассыпавшихся бастионов. Разоренные Вторым Холленкригом, пришедшие в упадок еще сорок лет тому назад, они зачастую выглядели несуразно и глупо — несмотря на все попытки своих хозяек вернуть им подобающий замкам лоск. Зачастую это было так же нелепо, как попытка обрядить трактирную шляху в герцогиню при помощи новой шляпки.

Впрочем... Барбаросса хмыкнула. Некоторые замки и тем не могли похвастать. Если верить злым языкам Броккенбурга, многие из них в прошлой жизни служили конюшнями, складами, пакгаузами и ночлежками. Но даже за такие хоромы среди младших ковен подчас вспыхивали самые настоящие войны, иной раз даже более кровавые, чем принятые среди старших ковен вендетты.

Взять, к примеру, ту историю вокруг того замка, из-за которого кое-кто лишился носа...



Это был даже не замок, это была старая мыловарня, расположившаяся в Нижнем Миттельштадте, которую кому-то из прошлых хозяев вздумалось украсить неказистой аляповатой башенкой. Нелепая прихоть хозяина, скончавшегося еще до того, как работа была закончена, но прихоть, обеспечившая Броккенбург забавной историей, которую Барбаросса вспоминала всякий раз, разглядывая какой-нибудь замок.

С точки зрения Барбароссы, мыловарня с башней выглядела ничуть не лучше, чем мыловарня без башни, но одно это нелепое украшение мгновенно превратило ее в подобие замка, отчего у многих «бездомных» ковен, вынужденных гнездиться в дортуарах Шабаша или по съемным углам, загорелись глаза. Если прежде на мыловарню претендовали разве что ищущие логово катцендрауги, расплзавшиеся стараниями Котейшества по всему городу, в самое короткое время она стала предметом вождения сразу многих, очень многих сук. Настоячивее всего на эти угодья претендовали ковен «Мертвая Мать» и ковен «Пунасуомалайнен». Не то чтоб у кого-то из них были права на этот замок — настоящие права на него могли заявить лишь обитающие на мыловарне мыши — но притязания их оказались достаточно серьезны. В короткий срок этим двум ковенам, действуя где силой, а где и хитростью, удалось выбить из игры все прочие, также помышлявшие было о приобретении, но не имевшим достаточно сил, чтобы заявить свои права как полагается. Но ситуация от этого едва ли облегчилась, потому что ни один из двух претендентов, пройдя все испытания, не желал отказываться от маячившего перед глазами приза.

Свара между «Мертвой Матерью» и «Пунасуомалайненом» оказалась столь старой и запутанной, что даже Большой Круг, призванный в судьи, не смог определить, на чьей стороне правда и кто заявил права на «замок» первым. Юные прошмандовки успели превратиться в зрелых шлюх, а тяжба все длилась и длилась, и конца ей не было видно. Если старшие молчат, младшие уважительно внимают, ожидая пока те изрекут свою волю. Но если старшие молчат слишком долго, младшие достают ножи и решают свою судьбу сами.

Возможно, Старший Круг молчал дольше положенного...

Решающее сражение завершилось разгромным поражением дев из «Пунасуомалайнена». Суки из «Мертвой Матери» порядком помяли им бока, после чего, ликуя и улюлюкая, заняли башню, подняли над ней свой флаг, цвет которого Броккенбург уже успел забыть, и, чтобы отметить победу, пировали всю следующую неделю. Чертовски опрометчиво с их стороны. У «Пунасуомалайнена», может, не было изрядного количества штыков, но в Броккенбурге их недаром именовали «паучихами» — их совокупной ненависти хватило бы, чтобы прожечь посреди саксонской земли сквозную дыру в Ад...

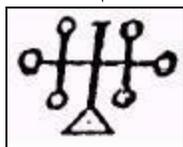
Расправа свершилась темной ноябрьской ночью. Не уповая на ножи и кулаки, суки из «Пунасуомалайнена» раздобыли где-то хорошей отравы и, подкупив местного трактирщика, влили ее в вино, предназначавшееся для новых обитательниц башни. Позже ходили слухи, что на этой сделке хорошо нагрели руки сестрички-«флористки» из «Общества Цикуты Благостной», первые в Броккенбурге отравительницы и специалистки по зельям.

Как бы то ни было, посылка дошла до отправителя наилучшим образом. Той же ночью тринадцать сук, хлеставших вино так усердно, что совсем потеряли осторожность, чуть было не отправились напрямик в Геенну Огненную. Спас их безоар[5] хозяйки ковена. Но только лишь от смерти, не от увечий и позора. Улучив момент, ведьмы из «Пунасуомалайнена» с трех сторон ворвались в незащищенную башню и учинили своим недавним соперницам настоящую дефенестрацию, пошвыряв тех в окна. Трое после этого остались калеками, переломав спины, остальные отделались переломами и вывихами.

Славная битва. Суки из «Пунасуомалайнена» охотно вписали бы ее в свою не очень-то пухлую книгу славы, кабы не неожиданное продолжение, последовавшее той же ночью. Никто не знал, что «Мертвая Мать» кроме гор грязного белья, объедков и пустых бутылок оставила новым хозяйкам башни еще какое-какое имущество. А именно — сторожевого демона, сидевшего под запором в подвале. Не очень могущественный, но проворный и злой, как голодный хорек, он принес «Мертвой Матери» хоть и запоздавшее, но отмщение. Когда солнце взошло над крышами Броккенбурга, оказалось, что этой ночью он успел откусить носы у всех тринадцати душ из «Пунасуомалайнена».

«Мертвая Мать» не выдержала удара, распалась, самые толковые ее сучки перебежали в другие ковенy или вынуждены были вернуться в Шабаш. Злосчастную башню же с тех пор именовали исключительно «Драйценазен[6]», забыв все ее прошлые имена и прозвища. Судьбой ее новых хозяек Барбаросса не интересовалась.

— ...она сгорела в прошлом году, — проворчал Лжец из-за спины, — Какой-то демон, пролетающий над городом, задел ее хвостом. Отрадно знать, что ты вернула себе достаточное присутствие духа, чтобы размышлять о всякой ерунде, но на твоём месте я бы занял мозг более насущными вопросами. Например, что Цинтанаккар откусит тебе следующим?..



Барбаросса едва не выругалась от неожиданности. Она успела привыкнуть к тяжести мешка, на каждом шагу тюкающего ее в спину, но не к тому, что ее мысли, выплеснутые в окружающий эфир, становятся мгновенно слышны скрюченному в банке человеческому плоду.

Ей надо научиться контролировать себя. Забавно, ровно об этом же ей твердила в свое время Панди, об этом говорила Котейшество...

— Чтоб тебя выдрали демоны во все щели, Лжец!

Гомункул ухмыльнулся.

— Мое тело — четыре пфунда[7] мертвой плоти, плавающие в питательном растворе. Среди адских владык многие понимают плотскую любовь совсем иначе, чем люди, но уверяю тебя, даже среди них найдется не так уж много тех, что соблазнится этим изысканным блюдом. Впрочем...

— Что? — без всякой охоты спросила Барбаросса.

Судя по звуку, доносившемуся из мешка, Лжец задумчиво поскреб пальцем по стеклу. Неприятный звук — точно сырной коркой елозили по тарелке.

— Есть и любители, — спокойно заметил он, — Не среди адских владык — среди смертных. Тебе не доводилось слышать про публичный дом «Форель и клевер»?

Барбаросса мотнула головой. По части борделей она разбиралась не лучше, чем по части замков. Но это название наверняка что-нибудь сказала сестрице Холере. Как однажды метко выразилась Саркома, если какой-нибудь бордель в Броккенбурге ни разу за последние три года не принимал в своих гостях сестру Холеру из «Сучьей Баталии», он вправе украсить свою дверь соответствующей мраморной табличкой и поднять цену вдвое против прежнего.

— Не приходилось, — она мотнула головой, надеясь, что разговор на этом и оборвется.

— Милое местечко, — небрежным тоном заметил гомункул, — Со своим колоритом. Для той публики, которая уже порядком пресытилась мужчинами, женщинами, розенами с их немудреными удовольствиями, а также домашним скотом и теми дергающимися гениталиями в горшках, которые выращивают для потехи изысканной публики флейшкрафтеры. Нет, «Форель и клевер» предлагал своим клиентам совсем другой товар. Можешь догадаться, какой.

Барбаросса не хотела догадываться. Она ускорила шаг, надеясь, что тряска заставит гомункула в банке прикусить язык, но, конечно, напрасно. Как она уже убедилась, этот ублюдок мог молчать часами напролет, как чертов камень, если того хотел и, напротив, петь соловьем, если на него вдруг находила словоохотливость, да так, что не заткнешь и кляпом. Единственное достоинство в судьбе заточенного в банке уродца, подумала она, заключено именно в том, что можно болтать когда тебе вздумается, не считаясь с окружающими...

— В «Форели и Клевере» не было восточных танцовщиц с дюжиной выращенных или вшитых в тело влагалищ, не было исполинских фаллосов с щупальцами, не было даже коллекции афродизиаков, делающих древний и бесхитростный акт сношения чуть более чувственным и изысканным. В нем вообще ничего не было кроме большой каморки со шкапами, а в шкапах... — Лжец притих на мгновение, словно собираясь с мыслью, — Их было ровно сорок. Сорок банок, протертых до блеска, каждая на своей полке, каждая с драгоценным плодом внутри. Некоторые были почти безупречны и походили на непорочный плод, выращенный лоном матери на третьем триместре, другие... Скажем так, другим повезло меньше, они увидели мир не совсем в таком виде, в каковом должны были. Патологии, родовые травмы... Черт, в коллекции «Форели и клевера» было больше любопытных материалов, чем в университетском анатомическом театре! Только материалы эти не пылились без дела, как ты можешь догадаться. О, совсем не пылились. Более того, даже самые искалеченные гомункулы могли заслужить внимание публики... Среди этих сорока был один гомункул, которого прочие прозвали Сеньор Тыква. У него не сохранилось ни рук, ни ног, да и от тельца остался один только перекрученный жгут из хребта, но, вообрази себе, у Сеньора Тыквы было больше клиентов, чем у иных херувимчиков, иногда по

две дюжины клиентов за день! На месте хозяина я бы справил ему банку из богемского хрустала, учитывая, сколько монет он приносил ему...

Наверно, это его маленькая месть, подумала Барбаросса, стараясь, чтобы слова гомункула проскакивали сквозь нее, не задерживаясь, как рыба сквозь крупную сеть. За собственную беспомощность и те неприятные минуты, которые она заставила его пережить. Теперь он нарочно будет разглагольствовать, припоминая всякую дрянь из своей не очень-то долгой жизни, как будто ей мало одних только страданий, причиняемых ей Цинтанаккаром...

Цинтанаккар не исчез. Она отчетливо ощущала крохотную твердую горошину, затаившуюся справа под ребрами. Иногда эта горошина засыпала, делаясь почти неощутимой, иногда отчетливо ерзала, рождая в животе колючую дрожь.

Чертова живая раковая опухоль, которая путешествует по телу, точно любопытный турист, подыскивая себе местечко потеплее и поспокойнее...

— Между прочим, содержать такой бордель не так-то просто, как может показаться, — наставительно заметил Лжец, делая вид, что не ощущает эманации ее мыслей, которые должны были хлестать вокруг точно бич, — Плоды в банках не требуют ни зарплаты, ни пищи, они даже и отказать своему хозяину не в силах, но знала бы ты, как хлопотно иной раз с ними! Совокупление — древний и бесхитростный процесс, который вы попытались украсить великим множеством никчемных ритуалов и ухищрений, но в его основе, как и прежде, примитивная механика, взаимодействие двух тел. Вам ведь приходилось изучать Амонтоновы законы сухого трения[8]? Значит, должна догадываться и о том, где кроется проблема. Если оно тело готово к совокуплению, то другое...

Блядь. Она устала от демона, пожирающего ее тело изнутри, и от этого сопляка, готового разглагольствовать часами напролет, заглушая ее собственные мысли.

— Ни один из плодов, выставленных в сорока банках «Форели и клевера» не достиг того возраста, когда мудрая природа вооружает тело для любовных утех, сооружая для этого подходящие приспособления и отверстия. Что там, у многих и тело-то толком не сформировалось. Что ж, всякое искусство требует жертв, даже когда речь идет о любовном искусстве, верно? Хозяину «Форели и клевера» пришлось порядочно попотеть, сооружая на телах своих кормильцев подходящие... отверстия. Честно говоря, поначалу выходило у него неважно, тем более, что для работы он использовал мясницкий нож и грубую сапожную дратву. Многие из гомункулов, которых он облагодетельствовал таким образом, были немало оконфужены. Однако в скором времени он неплохо освоил это искусство, мало того, довел его до таких высот, что сотворенные им отверстия легко можно было спутать с теми, что обычно дарует природа, даром что располагались они совсем не там, где им надлежало быть, а зачастую — где удобнее. Посреди спины, например, или во лбу, или...

Барбаросса с такой силой впечатала каблук в брусчатку, что едва не лопнула стальная подковка на пятке.

— Твою мать! Заткнись! Я не хочу слушать эту хрень! Ты что, сам погостил в этом борделе?

Гомункул рассмеялся. Этот звук был похож на шорох внутри мешочка с песком.

— Нет, конечно же нет. Меня немало поносило по Броккенбургу, это верно, я сменил не одного хозяина за свою жизнь, но в публичный дом судьба меня не заносила. А жаль. Мне кажется, тамошние обитатели многое смогли бы рассказать о природе человеческой страсти. Раз уж я сам в силу происхождения не могу судить об этом...

— А говоришь так, будто сам занимал полочку в этом борделе!

Гомункул усмехнулся.

— До того, как обрести хозяина в виде господина фон Лееба, я провел полгода в лавке «Сады Семирамиды», хозяин которой торговал нашим братом оптом и в розницу. Некоторые гомункулы — удачливые ублюдки! — проводили там пару дней, прежде чем их покупали. Другие же, вроде меня, те, что не могли похвастать смазливой мордашкой и особым воспитанием, проводили там месяцы, а бывало, и годы. Представь себе годы, проведенные на полке. Это похоже на жизнь пепельницы, никогда не покидавшей своего места, или что там еще держат нынче на каминах... Унылое местечко. С другой стороны, именно там я узнал немало нового. Чем еще могут поделиться друг с другом создания, запертые в банках, со своими соседями, такими же несчастными пленниками? Разве что своими историями. Днем нам запрещалось говорить, хозяин наказывал всякого, имевшего неосторожность открыть рот, зато ночью... Ночь принадлежала нам. Ты даже не представляешь, юная ведьма, в какие края заносит нашего брата и что там ему доводится испытать!..

— И дела нет, — буркнула Барбаросса, — А теперь будь добр, заткнись. Я не хочу, чтобы кто-нибудь тебя услышал.

— Для опасений нет оснований, юная ведьма. Только ты можешь слышать меня сейчас. Я говорю в...

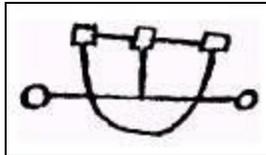
— В магическом эфире, я помню! — зло бросила Барбаросса, — На улицах в этот час полно ведьм, почистивших перышки и ищущих развлечений. Я не хочу, чтобы кто-нибудь из них застукал меня, болтающей с прокисшим овощем вроде тебя.

Гомункул фыркнул.

— Ни одна другая соплячку не услышит меня, если я этого не захочу. Я общаюсь на твоей волне, юная ведьма, и не слышен для окружающих. Чтобы услышать меня, надо быть по меньшей мере демонологом, и не обдроченным юнцом, а весьма сведущим в своем деле. Вероятность того, что в Нижнем Миттельштадте мы встретим такого на улице — не больше, чем вероятность встретить девственницу в Ауэрбахе.

— Мне похер, что ты там думаешь, Лжец. Я хочу, чтобы ты заткнулся и молчал всю дорогу до Малого Замка. Это Броккенбург, а не твой любимый кофейный столик! Так что будь добр!..

Гомункул разочарованно вздохнул, но заткнулся — спасибо адским владыкам и на том.



Ведьм на улицах в самом деле попадалось все больше.

Если внутренние часы не лгали ей, сейчас было что-то около шести часов пополудни. Тот соблазнительный час, когда многие чертовки, нацепив цапки и припудрив разбитые вздрызг мордашки, выбирают в город — закончить дела, которые не успели закончить при свете дня за всеми хлопотами, поразвлечься или просто совершить небольшой променад по окрестностям.

Когда целыми днями корпишь над адскими науками, медленно сжигая душу, к вечеру поневоле захочется подышать свежим воздухом — и неважно, если это будет отравленный и холодный воздух Броккенбурга. Некоторым счастливицам, чтоб подготовиться к поре вечерних утех, достаточно сменить брэ под штанами, спрыснуться одолженными у товаров духовами да нацепить брошку, заговоренную от сифилиса. Другим приходится собираться куда

дольше — прятать в хитроумно устроенных на теле ножнах кинжалы, проверять укрытые в рукавах ампулы с ядом, проверять амулеты... Старый мудрый Брокк, как и прежде, готов распахнуть перед своими куколками битком набитую сокровищницу, в которой он уже триста лет коллекционирует пороки и удовольствия. Вот только, натягивая сапоги, никогда не знаешь, развлечешься ты сегодня вечером или сама сделаешься чьим-нибудь развлечением...

Каждая сука, собирающаяся нынче вечером на прогулку, ищет свое собственное меню, мрачно подумала Барбаросса, стараясь не цепляться колючим взглядом за снующих мимо сук, среди которых ее внимательный острый взгляд то и дело выцеплял настораживающие детали — татуировки на смазливых мордашках, говорящие о том, сколько сук они успели извести за свою недолгую жизнь, символы принадлежности к различным ковенам, прочие знаки, почти ничего не говорящие обычному прохожему, но совершенно отчетливые для нее.

Время сумерек — тревожное время, опасное время.

Время, когда старина Брокк, и в лучшую пору не особенно благодушный, делается непредсказуемым.

Даже выйдя в бакалейную лавку за хлебом, никогда не знаешь, с кем столкнешься за углом. Это может быть перебравшая в трактире соплячка, машущая спьяну рапирой, которую толком не умеет держать — или опытная бретёрка, ищущая свежую добычу на ночных улицах. Бестолковая шлюха, желающая залезть к тебе в штаны — или хитроумная отравительница, сводящая счеты за обиду, которую ты сама давно успела позабыть. Соперница из недружественного ковена, выслеживающая тебя, чтобы повесить твои уши на стену, рядом с коллекцией своих курительных трубок — или заискивающая соплячка, готовая раздвинуть перед тобой ноги за одно только покровительство и корку хлеба.

Время сумерек — странное время, хмельное время...

Некоторые ковены в сумерках спешат вывести на улицы свои боевые команды — попрактиковаться в уличной резне, пока окончательно не зашло солнце. Беспутные шлюхи, одержимые похотью, водопадами ссыпают монеты в блудильнях и борделях. Ищущие приключений юные проשמандовки ждут возможности увековечить свое имя — и плевать, если Броккенбург вскоре сожрет его вместе с его обладательницей...

Когда-то и я искала себе развлечений, мрачно подумала Барбаросса, зыряка по сторонам, чтобы избежать неприятных сюрпризов. И, черт возьми, находила. Так много, что теперь даже странно, как я протянула первые два года...

Она надеялась добраться до Малого Замка напрямик, по Бреннесештрассе, но ее надеждам не суждено было сбыться — аккуратно на углу Бреннесештрассе и Биркенвег в мостовой зиял свежий пролом, курящийся дымом, вокруг которого суетливые магистратские служки выставляли ограждения, вяло огрызаясь в сторону прохожих. Барбароссе не требовалось приближаться и заглядывать внутрь, ее чуткое ухо вычленило из гомона собирающихся зевак достаточно информации, чтобы уяснить суть происходящего.

Какой-то хер, успевший хорошо запрокинуть за воротник несмотря на раннее время, зашел в свечную лавку и попытался вытребовать себе портвейна. Потрясая монетами и не слушая увещаний хозяина, он стоял на своем, при этом отчаянно сквернословя и нечленораздельно бормоча. А едва только хозяин, потеряв терпение, взял его за шкуру, намереваясь вышвырнуть прочь... На этот счет зеваки еще не успели прийти к единому мнению. Одни утверждали, что в кармане у бузотера обнаружилась граната — еще из тех запасов, которыми останавливали рвущихся на Дрезден боевых големов Гааповой орды.

Другие считали, что этот тип сам был демонологом, только пьяным до такой степени, что едва держался на ногах.

Как бы то ни было, свечная лавка вся целиком провалилась под землю, оставив после себя изрядный кратер, внутри которого ворочалось нечто дурно пахнущее, похожее на огромную массу липкой недоваренной ячменной каши. Насколько поняла Барбаросса, это и был несчастный хозяин свечной лавки, подвергшийся страшной трансформации, но на счет того, сохранил ли он разум, зеваки еще не пришли к определенному мнению — ждали демонолога из магистрата.

Демонолог?.. Черт. Барбаросса вынуждена была свернуть на Биркенвег. Это удлиняло путь на пару-другую кварталов, но сейчас она меньше всего желала оказаться поблизости от магистратских демонологов с их противоестественным чутьем на все, что касается проказливых ведьм. Ну его нахер, с такой-то удачей, как у малышки Барби...

Но опасения как будто бы были напрасными.

Броккенбург — старый добрый Брокк — кажется, проявлял к сестрице Барби не больше любопытства, чем обычно. Повозки беспечно катились прочь, рассыпая по улицам drobный перестук копыт и скрип натруженных рессор, аутовагены зло и нетерпеливо рычали, обгоняя их, прохожие текли по тротуарам мягкой отливной волной, стараясь не задевать ее плечами. Из окон лавок слышался гомон и щелчки костяшек — хозяева торопились сбыть не проданный за день товар, из окон трактиров доносился нестройный звон кружек — умаявшиеся за день бюргеры спешили сполоснуть глотку штоффеном-другим пива и пошвырять по грязному столу кости. Никому из них не было дела до идущей по улице ведьмы с говорящим мешком за спиной. Никому в целом мире не было до нее дела.

Трое стражников, беспечно прислонив к стене мушкеты, покуривали фарфоровые трубки, о чем-то степенно беседуя и оглаживая бороды. Со стороны можно было подумать, что беседуют они о чем-то важном, существенном, о том, о чем полагается беседовать людям, облаченным в роскошные стальные кирасы — о ценах на пшено или о том, взбунтуются ли испанские евреи, если в следующем году, согласно эдикту адских владык, каждый корабль понесет не два якоря, а четыре[9]. А может, о том, удержится ли герцог Буне, адский властитель, на своем троне после того как развязал хитроумную интригу против маркиза Форнеуса, стравив его с графом Раумом...

— ...едут алхимик и его молодая ученица по пустыне верхом на коне. А ученица — молодая, сопливая, едва-едва посвященная, одно слово — девчонка, хера не нюхавшая, но красивая как верховная суккубка. Едут они, едут — хлоп! — пал конь замертво. Алхимик повздыхал, поохал, походил вокруг, ну и решил — раз уж суждено умереть в пустыне, так лучше он перед смертью отымеет цыпочку-ученицу. Сбросил, значит, свою мантию с портками — а та только zenки таращит. Спрашивает — «Что это такое торчит у вас между ног, мастер?». Тот, хитрец, и отвечает ей — «Сразу видно, что ты неофитка. Это же инструмент Великого Делания[10], источник жизни. Если я вставлю его в тебя — сделается жизнь». А та всплеснула руками и говорит...

Анекдот обещал быть хорошим, в меру соленным, как она любила. Барбаросса машинально наострила слух, чтобы расслышать его концовку, но, к ее разочарованию, стражник, рассказывавший его, мгновенно заткнулся, едва только задел ее взглядом. Взгляд враз потяжелел, делаясь не то, чтоб угрожающим, но вполне предостерегающим — явственный знак ведьме держаться подальше и идти куда следует. Знак, которым определенно не стоило пренебрегать. Барбаросса пренебрежительно сплюнула в ответ —

«батальерки» не раскланиваются со стражей, всем известно.

Стражники вели себя сдержанно, не пялясь особо вокруг, однако в их поведении и жестах сквозила некоторая нервозность. Едва ли из-за ее, Барбароссы, присутствия. Железнодорожники просто ждут с опаской наступления вечера, не зная, что он принесет и какой владыка сделается правителем Броккенбурга этой ночью. Хорошо, если продолжится царствование беспечного Эбра, в этом случае городу ничто не угрожает, разве что пару дюжин вывесок окажутся расколоченными вдребезги да опять повыдергивает кой-где флюгера с крыш. Эбр — благодушный владыка, хоть и любящий порой сыграть озорную шутку, но царствие его в любой момент может подойти к концу и на смену злыми северными ветрами притащит владыку Хаморфола. Этот-то одними вывесками не ограничится, этот многим скучающим бюргерам подожжет пятки, нрав у него суровый...

Барбаросса не позволяла себе отвлечься, шаря настороженным взглядом вокруг. Ее мало интересовали тучные господа, выведшие на вечернюю прогулку своих тощих и бледных, как глина, спутниц, как и праздно прогуливающиеся подмастерья. Если она на что-то и обращала пристальное внимание, так это на других ведьм. Некоторых из них она ощущала одним только ведьминским чутьем, других ловила взглядом в толпе, натренированным, как у мушкетера из личной гвардии курфюрста, бьющего на двести шагов без прицела.

Подозрительная прощандовка в потертом кожаном колете — высматривает кого-то в толпе и, судя по взгляду, вовсе не для того, чтобы объясниться в любви, очень уж недобрый светом горят прищуренные глаза, а рука за пазухой сжимает наверняка не букетик фиалок, что-то более острое. Верно, караулит какую-нибудь суку из соперничающего ковена, чтобы свести счеты, а может, собирается отомстить своей ветренной возлюбленной или коварной разлучнице. Плевать. Барбаросса предусмотрительно обошла ее по широкой дуге — сейчас ей не улыбалось сделаться участницей чужой склоки. Благодарение Аду, своих дел хватает...

Перепаханная девчонка в дрянном тонком дублете, сшитым больше из дыр, чем из сукна, с такими же драными шаравонами — бредет куда-то, затравленно озираясь, кожа на ее лице от голода сделалась полупрозрачной и оттого вдвойне зловеще выглядят разлившиеся под ней яблоки пегой масти — роскошные подкожные гематомы. Волосы обстрижены неряшливо, будто искромсаны ножом, губы похожи на давленные вишни, так и запеклись, в глазах вперемешку с растерянностью, блуждает детский совсем еще ужас. Тут и гадать не надо — младшая сестра какого-нибудь ковена, которую старшие вышвырнули на улицу, искать им жратву или выпивку или монеты. Если она не уложится в срок и вернется в замок с пустыми руками, ее ждет ночь издевательств и пыток, а наутро — еще одна попытка, может, и последняя в ее не очень-то долгой жизни, исчисляемой четырнадцатью или пятнадцатью годами. На это ли она рассчитывала, играя с куклами в своем Кичере или Герсдорфе или Лавальде, так ли представляла себе жизнь ведьмы, всемогущей, управляющей адскими стихиями, мейстерин хексы? Барбаросса прошла мимо нее, не обернувшись. Этот город построен на костях юных сук. Самое глупое, что только может попытаться сделать ведьма — спорить с Адом о вопросах справедливого мироустройства...

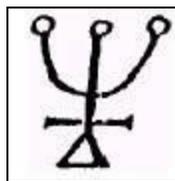
Хорошенькая кокетка в берете с брошью в виде парочки лилий. Царственная походка, высоко поднятая голова, камбричевые[11] штанишки с золотыми цепочками, изящные начищенные сапожки, рассыпанные по плечам локоны, умопомрачительно туго затянутый корсет... Даже не идет — плывет над мостовой, одаривая прохожих улыбкой, от которой кажется, будто проглотила ком растопленного масла. Демонстрирует всему окружающему миру свое благополучие, так отчаянно, что невольно хочется разнести ей мордашку. Небось,

обзавелась богатым трахарем, а может, удачно нашла себе ковен, где ее не истязают, а по-сестрински любят... Барбаросса мрачно усмехнулась проходя мимо. Трахарь — небось, вшивый саксонский баронишка — избавится от нее через год или два — здесь, в Броккенбурге, где поставка свежего мяса осуществляется без перерыва многие сотни лет, нет смысла держаться за лежалый товар. К тому же, изучение адских наук ни хера не благостно сказывается на внешности — стоит какому-нибудь шустроу демону отхватить ей нос, или закадычной подружке полоснуть бритвой по лицу, как вся ее красота ощутимо померкнет. Да и в ковене ее участь едва ли многим лучше. Ковен — не семья, как думают несчастные шалавы, прозябающие в Шабаше, это голодная собачья свора. И если тебя не треплют сестры почем зря, лучше не утешайся зазря — скорее всего, тебя не берегут, тебя просто оставили на сладкое...

Какая-то до полусмерти пьяная девица, вывалившаяся из трактира, сопровождаемая в спину смешками и летящими хлебными корками. Видно, что не из бедных, да и чистенькая — была, прежде чем обильно заблевала свой камзольчик. Взгляд мутный, отравленный, рот беззвучно разевается, как у вытащенной на берег рыбы, ноги подламываются, точно сколоченные из бамбуковых кольшкков, грудь едва не вываливается наружу, едва прикрытая нижней сорочкой... Тоже понятно — надралась в сопли. Видно, привыкла тянуть сидр у себя дома, вот и хватанула, демонстрируя ведьминскую удаль, в трактире полную стопку — и не разбавленного винца, а здешнего «Асбахт Уралыт[12]», который в броккенбургских трактирах настаивают на спорынье и маковом зелье. Одной такой стопки хватит чтобы отправиться путешествовать по кругам Ада на двое суток. А может, и не сама выпила, а подлили чего в питье — и такое здесь бывает. Барбаросса проводила брезгливым взглядом шатающуюся ведьму, ковыляющую вдоль улицы на подламывающихся ногах. Едва ли она сейчас помнит, как ее зовут, не знает и того, что уже обеспечила себе веселую ночь, полную самых разнообразных развлечений. В этом городе обитает много люда, которому не достало денег или хороших манер, чтобы обеспечить себе компанию на ночь, но который будет рад воспользоваться подобной дармовщинкой. Если сестры не отправятся на ее поиски, за эту ночь она познает так много любовных утех в таких невообразимых формах и видах, что станет мудрее и искушеннее многих броккенбургских шлюх — если, конечно, не рехнется и не наложит на себя руки...

Никто не обращал на Барбароссу внимания. Никто не шурился в ее сторону, не показывал пальцами, не свистел. Добрый знак. Возможно, судьба, устав бомбардировать милашку Барби дерьмом, решила дать ей заслуженный отдых и, черт возьми, как нельзя более кстати...

— ...а неофитка ему и говорит: «Скорее! Что же вы ждете, мастер? Засовывайте эту штуку в лошадь!».



Барбаросса стиснула зубы.

— Чтоб тебя крысы разорвали, Лжец!..

— Я просто подумал, будет несправедливо, если ты останешься без концовки анекдота.

— Ты подслушал?

— Нет нужды, — с достоинством отозвался гомункул, — Я сам знаю несколько тысяч

анекдотов, и весьма забавных. Ты даже не представляешь, как медленно тянется время, когда ты сидишь в стеклянном сосуде, лишенный хозяина, в обществе таких же собратьев по несчастью... К слову, о хозяевах. Кто из адских владык является хозяином твоей бессмертной души?

Она только-только успела пересечь Биркенвег, это означало, что дорога до Малого Замка пройдена не больше, чем не треть, а сморщенная виноградина в бутылке уже успела порядком ее допечь. Каждый раз, когда гомункул заговаривал — а он обыкновенно выбирал для этого самый неподходящий момент — она ощущала себя так, словно кто-то приложил ледяную монету ей между лопаток.

— Во имя огненных нужников Ада, я же велела тебе заткнуться и...

Гомункул раздраженно засопел. Будь он человеком, наверняка страдальчески возвел бы глаза в гору, выражая охватившую его досаду. Впрочем, может и возвел — Барбаросса не собиралась заглядывать в мешок, чтобы проверить это. Она вообще надеялась больше никогда его не открывать.

— Это не досужий вопрос, юная ведьма.

— С хера ли тебе знать, кому из владык посвящена моя душа?

— Спросить рекомендательные письма, зачем же еще! — язвительно отозвался он, — Сообрази сама. Мне надо знать, какими талантами и силами наградили тебя владыки и как мы можем использовать их в нашей ситуации.

Мы. Нашей.

— Ну, кто это? — нетерпеливо спросил Лжец, — Граф Халфас? Король Балам? Некоторые из адских владык, я слышал, даруют своим подопечным немалые таланты. Может, ты в силах предсказывать будущее? Находить сокрытые вещи? Говорить на языке животных и птиц? Это было бы чертовски кстати...

Барбаросса сплюнула на мостовую.

— У меня есть такой талант. Я умею понимать язык дохлых животных. Видишь ту дохлую гарпию, прилипшую к флюгеру и полуразложившуюся? Там, на крыше слева?

— Из мешка? Не очень-то...

— Она говорит: «Лжец, сынок мой, всегда надевай шапочку, когда выходишь на улицу, не то простудишь свои прелестные розовые ушки!»

Шутка была не очень хороша, не очень умела, не ровня тем островам, которыми, точно серебряными пшагами, легко разят «бартиантки», но сочинена не без изящества — она хорошо услышала, как клацнули несуществующие зубы Лжеца.

— Остроумно, — вынужден был признать гомункул, — Чертовски остроумно. Не иначе, твоя душа посвящена маркизу Фенексу, патронирующему поэтов, миннезингеров и сказителей. Если так, тебе повезло.

— Почему? — без всякой охоты спросила Барбаросса.

— Потому что когда Цинтанаккар возьмется за тебя всерьез, ты можешь разродиться прелестной поэмой, способной поведать всему свету об испытываемых тобой муках. Правда, из всех слушателей буду присутствовать, скорее всего, я один, но не беспокойся — я постараюсь скрупулезно запомнить все, что услышу. Каждую строфу, и неважно, если рифма кое-где будет хромать!

Барбаросса скрипнула зубами.

Эта козявка не могла постоять за себя, но чувство юмора у нее было развито не хуже, чем у Саркомы. Наверно, что-то вроде защитной реакции, подумала она. Чем мельче тварь,

тем сильнее она разит ядом. Что ж, если так, в этом маленьком сморчке должно уместиться больше яда, чем на кухне у Кристи Леманн[13].

— Абигор, — неохотно произнесла она, — Моя душа принадлежит герцогу Абигору.

Она услышала негромкий скрип, который мог быть и скрипом камешка под башмаком. Но отчего-то почудилось, что это гомункул в отчаянье сжал свои крохотные бессильные кулачки.

— Адские потроха! Мало того, что мне досталась самая никчемная ведьма в этом городе, так еще и от ее владыки никакого проку...

Барбаросса оскалилась, заставив какую-то почтенную даму, идущую ей навстречу, испуганно всплеснуть руками.

— Не испытывай терпение адских владык, Лжец. Я не раздавила твою чертову банку, но это не значит, что ты можешь отзываться непочтительным образом о моем владыке!

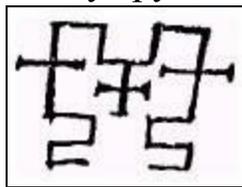
Лжец и сам прикусил язык, сообразил, видно, что оскорбляя адских владык лишь искушает зря судьбу. Про владыку Абигора говорят, что он слеп и глух к миру смертных, ему вообще нет дела до того, что происходит здесь, но если адское царство чем и славится, так это своей непредсказуемостью. Никогда нельзя быть уверенным в том, что какое-нибудь твое словцо, сказанное в сердцах, не окажется схвачено в воздухе какой-то беспокойной адской сущностью и утащено в Ад, где помещено в надлежащее, достаточно чуткое, ухо...

Многие обитатели Круппельзона, истекающие гноем, смегмой и лимфой круппели, находят причину постигших их несчастий именно в том, что когда-то, в роковой день, в сердцах сказали то, чего говорить не следовало — и потеряли свою человеческую природу так же необратимо и быстро, как теряешь серебряный талер из разрезанного кошель в ярмарочный день.

— Я не хотел сказать ничего дурного про твоего владыку, — неохотно произнес Лжец, — Да будет Ад добр к нему и его слугам!

Так-то лучше, подумала Барбаросса. Мне похер, какие чувства ты испытываешь ко мне, комок засохшей желчи, но герцога Абигора ты будешь уважать. Или я заставлю тебя это сделать.

Черт, как будто она сама выбирала, кому вручить свою душу!..



Когда тебе шесть — а ей было шесть, когда на нее наложили печать — ты мало что смыслишь в устройстве мира за пределами грязных околиц твоего родного городка, на все времена провонявшего едким запахом дыма, усеянного, будто язвами, тысячами коптящих в любую погоду угольных ям.

Ты не знаешь ни того, как устроено адское царство, ни того, сколько владык там обитает и какими энергиями приводится в движение мир. Не знаешь даже того, что ведьмы, эти могущественные и злокозненные чародейки из сказок, творящие жуткие и восхитительные чудеса — самые бесправные от природы существа. Имеющие в душе адскую искру, они лишены собственной силы, отчего вынуждены черпать ее из сокровищницы владыки, принявшего в подчинение их жалкие души...

Черт, когда тебе шесть, ты вообще ни хера не знаешь об окружающем мире!

Знаешь только, что с некоторых пор хозяйки закрывают окна, когда ты идешь по улице

— шепчутся, что от твоего взгляда скисает молоко, а домашняя скотина впадает в буйство и хворает. Знаешь, что соседская ребятна отныне отказывается принимать тебя в свои немудреные игры, мало того, нещадно колотит, если ты только приближаешься к чужому забору. Знаешь, что в трактире, куда ты приходишь по ночам, чтоб увести домой впавшего в беспамятство отца, разом стихают разговоры при твоём появлении, а косятся на тебя так, будто у тебя под ногами горит земля...

Никто заранее не знает, какому владыке отойдет твоя душа. Бывает, чернокнижники и ворожеи битый день суеются, исчерчивая обритуго голову тушью, что-то высчитывая, сверяясь с гороскопами и специальными свинцовыми табличками, вымешивают какие-то растворы из сажи и крови, лишь бы понять, какому из владык будет угоднее всего душа.

Некоторым сукам везет от рождения. Может, души у них особого свойства, благоухающие лилиями и нежные как бархат, из числа тех, что особо любы адскими владыками. А может, это просто удача и ничего более. Иначе не объяснить, отчего некоторые заполучают богатых и щедрых владык, другие же обречены всю жизнь раздувать чахлый костерок своих чар, питая пламя собственной кровью или выполняя прихоти адского покровителя, некоторые из которых могли быть чертовски болезненными, а другие — отчаянно унижительными.

Губернатор Моракс, к примеру, известен как щедрый владыка, который охотно одаряет своих последовательниц. И вовсе не мелкой монетой, грошами да крейцерами. Ведьмы, вручившие ему свои души, получают тайные знания о свойствах трав и камней. Знания, которые без особого труда можно конвертировать в мелодично звенящее серебро или использовать в своих целях. Черт, окажись она в его свите, до конца дней можно было бы жить припеваючи, не ударяя пальцем о палец!

Губернатор Хаагенти требует от своих вассалов сложных и хитроумно устроенных ритуалов, к тому же, поговаривают, весьма жесток и скор на расправу, но он дарует умение превращать воду в вино, кроме того, обучает чарам Стоффкрафта, при помощи которого простые металлы легко трансмуттируются в благородные. Вручив душу Хаагенти, можно не беспокоиться о своем кошельке, он всегда будет полон, а даже если нет — всегда можно смочить глотку хорошим вином, даже не заходя в трактир.

Герцог Буне, еще один могущественный владетель адского царства, дарует своим ведьмам власть над мертвыми. Король Балам — умение делаться невидимой и дьявольское остроумие. Герцог Аллацес учит постигать астрономию и свободные науки. Губернатор Камим — язык животных и птиц... На худой конец сгодился бы даже князь Фурфур. Он, правда, похотливый ублюдок, заставляющий своих вассалок предаваться соитию с самыми ужасными тварями, которых только можно сыскать на свете, зато дает им умение повелевать молниями, а это, черт возьми, кой-чего да стоит...

Дьявол, в адском царстве за вычетом четырех архивладык обитает семьдесят два владыки нижнего чина, ходящих у них в услужении, и почти каждый из них считает должным хоть чем-то одарить новую душу, примкнувшую к сонму его слуг. Душу, которую он, не колеблясь, сожрет или разорвет в клочья или инкрустирует ею свой дворец, едва только та, вытряхнутая из мертвого тела, окажется в адских чертогах...

Но нет, крошка Барби и здесь вытянула из изъеденной сифилисом руки судьбы самый никчемный билет. Ей достался не маркиз Ориакс, наделяющий высоким положением и могущественными друзьями, не герцог Вапула, всеведующий специалист во всех мыслимых ремеслах и профессиях. Даже не слывающий чудаковатым среди своих сородичей маркиз

Декабриа, вся сила которого заключена в создании из любых материалов искусственных птиц, которые летают, поют и пьют воду почти как настоящие. Нет, блядь, ей достался герцог Абигор. С ее-то удачей...

Едва ли отец желал ей зла, когда заключал договор. Едва ли он вообще что-то желал кроме двух гульдинеров[14], соблазнительно лежавших на ладони эмиссара. Эмиссара Барбаросса помнила смутно. Она почти не запомнила его лица, не запомнила даже имени, запомнила лишь его карету из золота, олова и графита, движимую чудовищными, оставляющими на земле ожоги, демоническими лошадьми. Он остановился в трактире выпить вина, там-то, верно, и услышал про шестилетнюю дочку углежога. Она и раньше-то была не подарок, колотила сверстников так, что только зубы во все стороны летели, а как лишилась матери, так и вовсе сделалась точно чума.

Стоит ей зайти в трактир за своим беспутным отцом, как там мгновенно скисает все пиво. Половина коров в городе за считанный месяц передохла от ящура, а курицы вместо яиц несутся битым стеклом идохлыми жуками. Если на кого взглянет, особенно после полудня, у того тотчас делается такая головная боль, что света не видно. Соседский пес впал в бешенство и сутки напролет выл, после чего издох в луже кровавой пены. А когда перелетные птицы летят над Кверфуртом, то облетают дом, в котором она живет, так ровнехонько, будто над ним высится скала...

Эмиссар герцога Абигора, заинтересовавшись, пожелал взглянуть на дочку углежога.

Барбароссу запихнули к нему в карету — сам отец и запихнул, отходя для усидчивости лошадиными постромками — чтобы не вздумала дерзить господину эмиссару. Какое уж тут дерзить... От одного только вида адских коней, нетерпеливо роющих стальными копытами землю и роняющими из оскаленной пасти капли раскаленной смолы, ее охватила такая жуть, что следующий час она провела в беспамятстве, ничего толком не запомнив.

Помнила только, в дорожной карете эмиссара горели свечи, потрескивающие точно настоящие, но распространявшие вокруг себя не тепло, а колючий холод. Пахло чем-то странным — будто бы горелой костью, вишневым настоем и хлебной плесенью. Что-то жутко шуршало под лавкой, а дорожный сундук, на котором сидел эмиссар, дрожал и позвякивал, будто карета шла по косоугору, а не стояла на месте.

Самого осмотра она не запомнила тоже. Осталось только смутное ощущение чужих пальцев, холодных, жестких, с отполированными ногтями, деловито касающихся ее живота и промежности, что-то выщупывающих внутри нее, мнущих кожу...

Когда осмотр был закончен, господин эмиссар вышел из кареты и говорил о чем-то с отцом. Минуты две, не более. А когда закончил, отец потащил ее обратно в дом, примотал тряпьем к скамье и собственноручно выбил сапожной иглой у нее на правой лопатке ведьмину печать в виде символа герцога Абигора — заточенную в тройной круг змееподобную дрянью с треугольной головой и россыпью мелких окружностей вокруг — ни дать, ни взять, кладка змеиных яиц.

Печать вышла скверной, кривой, несимметричной. Грубые отцовские пальцы, закаленные в пламени угольных ям до бронзового блеска, куда ловчее управлялись с огромной кочергой, чем с иглой, да и тряслись они к тому моменту так сильно, что он и трубку-то себе без посторонней помощи набить не мог. Его приятель, который воцарился в доме после смерти матери, и с которым он сделался почти неразлучен, не упускал возможности пошалить — тыкал его локтем, заставляя шататься, ставил подножки, зло тряс за плечи... Печать герцога Абигора на ее лопатке больше походила на большую рваную рану,

но герцог Абигор был не из тех владык, что чтут канцеляризм или уделяют излишне много внимания форме. Договор был заключен, задаток передан отцу, а карета эмиссара, к облегчению жителей, не задержалась в Кверфурте сверх необходимого.

Два гульденера. Это она узнала уже позже. Ее душа стоила два серебряных гульденера старой магдебургской чеканки. Которые она даже не могла взять в руки без тряпицы — проклятое серебро начинало шипеть в руке, разъедая кожу точно расплавленный металл. Но ей и не требовалось брать их в руки, отец распорядился этим капиталом наилучшим образом. Из этих двух гульденеров один талер и пятнадцать грошей было истрачено на ремонт кровли, еще один талер спрятан в тайник в качестве приданого для одной из младших сестер, выглядевшей почище и помиловиднее прочих. Купленный у заезжего торговца старенький фонограф с гнутой медной трубой и полудюжиной музыкальных кристаллов обошелся еще в сорок грошей, что до остального, этого хватило отцу на основательный двухнедельный загул, после которого он почернел лицом и сам сделался похож на человека, продавшего свою душу в вечное услужение адским владыкам.

Известное дело, что ни дай углежогу, он все превратит в копоть.

Фонограф, перхая и хрипя, еще месяц развлекал их гнусавыми баварскими балладами и древними миннезангами, после чего полумертвый демон, замурованный в чертовой шкатулке, не вытерпел нагрузки, издох и вытек наружу лужицей меоноплазмы. Без демона сама шкатулка имела такую же ценность, как пустой сундук и оказалась быстро разбита ищущей развлечения детворой, а музыкальные кристаллы перебились и перетерялись сами собой. Единственным напоминанием остался медный раструб, через который прежде звучала музыка — если начистить его песком, он издавал завораживающий блеск и еще долго служил игрушкой малышне.

Кровлю разметало той же осенью, когда над Кверфуртом пронеслась свита адских владык, направлявшихся на охоту — шутка ли, у некоторых и дома из земли вывернуло — так что к зиме в доме вновь гуляли холодные ветра. Что до приданого, оно так не пригодилось — в том же году сестра утонула в реке и отец, повздыхав немного, прихватил злосчастный талер в трактир. К тому времени, когда он из него вернулся, покачиваясь, рука об руку со своим приятелем-демоном, он, верно, и сам не помнил, сколько у него было дочерей. А вот крошка Барби запомнила — чертово клеймо еще месяц жгло огнем, благоприятно воздействуя на память.

Герцог Абигор, пожалуй, был не худшим из адских владык.

К этому выводу она пришла восемью годами спустя, уже здесь, в Брокке, насмотревшись на других школярок, своих товарок и сверстниц, каждая из которых щеголяла своим собственным клеймом. Пускай он не был меценатом, одаривающим лебезящих перед ним шлюх золотом и жемчугом, но не был он и кровожадным садистом или развращенным гедонистом, требующим изощренного, противоестественного и просто омерзительного почитания.

Губернатор Моракс наделяет своих послушниц тайными знаниями о камнях и травах, но иссушает их рассудок страшными сновидениями, от которых они в тридцать лет превращаются в заикающихся полубезумных старух. Губернатор Хаагенти в минуты досуга играет со своими сучками в какую-то безумно сложную адскую игру, сочиненную им же, сочетающую в себе трехмерный кригшпиль, руммикуб и особенный сорт дьявольски сложного криббеджа[15]. Выигрыш в этой игре дается ценой таких страшных мыслительных усилий, что часто приводит к мозговой горячке или параличу, а ставка за проигрыш — один

палец за каждую проигранную партию. Неудивительно, что послушницы с клеймом Хаагенти большую часть времени заседают не в лабораториях и учебных классах, трансмутируя металлы, а упиваются до отключки дармовым вином, неуклюже держа кубки беспальными лапами.

Герцог Буне заставляет своих сук поедать живых мокриц, король Балам — носить в промежности горсть бритвенных лезвий, герцог Аллацес насылает видения, от которых человеческие глаза быстро выгорают, расцветая черными глаукомами, а губернатор Камим считает лучшей платой за обучение еще горячий ведьминский язык, вырезанный ею собственноручно из своего рта...

Черт, герцог Абигор, по крайней мере, был чужд подобным развлечениям!

Он не был ни развращенным гедонизмом эстетом, погрязшим в удовлетворении противоестественных для человека прихотей, ни философом, углубившимся в дебри наук, способных вывернуть человеческий разум наизнанку. Не был также ни завзятым охотником, вечно рыщущим в поисках дичи, ни похотливым садистом, как многие его собратья.

Он был воителем.

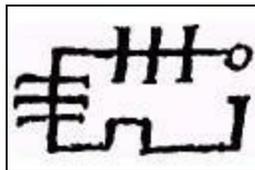
Одним из тех адских владык, стараниями которых в аду на протяжении тысячелетий клокотала война, сжигающая в своем дыхании мириады существ, несоизмеримо более могущественных, чем самый могущественный из людей-магов, превращающая в пепел города, которых она никогда не видала и выжигающая дыры в пространстве, которое она не могла вообразить.

В этой никогда не стихающей войне герцог Абигор управлял шестьюдесятью легионами демонов и, надо думать, это занятия поглощало достаточно много его сил, чтобы он уделял внимание малолетним ссыкухам, поступившим к нему в услужение.

Герцог Абигор не требовал от своих подопечных многого, но и сам не баловал их.

Он не даровал им познаний в области языков, наук и ремесел, не обучал свободным искусствам или умению читать прошлое. Не отдавал им в подчинение исполнительных духов, не излечивал от болезней и ран. Единственное, что герцог Абигор давал своим послушницам во исполнение связывающего их договора — кроху его собственной, вечно горящей подобно адской звезде, злости.

Вот уж чего всегда хватало в его сундуках. Обжигающая, как адское пламя, неукротимая, как сто тысяч демонов, эта искра была хорошим подспорьем в драке, разжигая в душе силы, о которых она иногда даже не предполагала. Напитывающая изнутри злой раскаленной энергией Ада, которая мешала отрубиться или броситься бежать, как те суки, которых она молола кулаками. Это была колючая искра, злая, не умеющая согревать, но дающая упоение в бою. Заставляющая тело выжигать себя дотла, не принимая поражения. Злая упрямая искра, осколок истинного адского пламени...



Может, эмиссар герцога Абигора не случайно наделил этой злой искрой перепачканного шестилетнего чертенка со злым волчьим взглядом, которого бросили к нему в карету. Может, увидел в ее душе что-то, чего не видела она сама, пристально разглядывая себя в зеркало — в ту пору, когда она еще не избегала зеркал и могла без содрогания в них глядеть...

На углу Раттенштрассе и Апфельспур Барбаросса ощутила запах горячей сдобы, такой тягучий и роскошный, что ноги сами собой начали спотыкаться, как у шальной лошади. Черт, вспомнила она, сегодня ей так и не довелось поесть. Возможно...

— Возможно, демон внутри тебя соизволит немного обождать, пока ты лакомишься куском дрезденского пирога? — гомункул негромко засмеялся, — Можешь попробовать, юная ведьма, но на твоём месте я бы не стал.

Барбаросса мотнула головой. Черт, она и не собиралась!

— Почему?

— Потому, что ты потратишь впустую пару монет своего кошелька, — скучающим тоном обронил Лжец, — Не говоря уже о тех драгоценных минутах, счета которым и вовсе не ведешь. Ты не сможешь съесть даже крошки. До тебя еще не дошло? Вспомни свою трапезу в «Хромой Шлюхе»!

Барбаросса вспомнила. Мясо, которое никак не лезло ей в рот, несмотря на голодные спазмы желудка. Волны тошноты, которые накатывали на нее всякий раз, когда она брала в руки вилку. Это...

— Это тоже он?

— Кто еще? Можешь быть благодарной монсеньору Цинтанаккару, он взялся следить за твоей фигурой. В ближайшие несколько часов ты не сможешь ничего съесть, даже если будешь открывать себе рот тисками. Не сможешь выпить ни глотка воды, даже если будешь умирать от жажды.

Превосходная диета. Будь она из тех сук, что считают каждую съеденную крошку, до неестественных пределов затягивая талию в корсет и истязая себя отбивающими аппетит декоктами на белладонне, она была бы даже рада. Но сейчас...

Дьявол. Будто нарочно, Барбаросса ощутила, до чего сухо во рту. Отчаянно захотелось промочить горло — хоть бы и затхлой дождевой водой из бочки или дешевым кислым пивом...

— Забудь, — посоветовал гомункул, — Поверь мне, это лишь малые муки твоего тела. Если не найдем способа избавиться от твоего гостя, уже очень скоро он пошлет тебе такие, по сравнению с которыми голод и жажда не будут иметь никакого значения!

На углу Апфельспур стайка школярок, удобно расположившись на парапете, развлекала себя пальбой из самодельного арбалета по габсбургам. Габсбурги в этой части города были сытыми и ленивыми, они неспешно карабкались по паутине между домами, служа легкой мишенью, а пронзенные стрелами, смешно падали посреди улицы, дрыгая своими рудиментарными лапками.

Мелкие юные хищницы... Пока они еще бессильны показать зубы, в этом городе нет существ слабее них, но они учатся, они очень быстро учатся, перенимая пример и уже совсем скоро начнут развлекать себя иным образом. На смену самодельному арбалету придут настоящие самострелы, заряженные камнем или свинцом, на смену смешно дергающимся габсбургам — их собственные товарки...

Увидев Барбароссу, юные суки испугались, обмерли, но не бросились врассыпную, только спрятали за спины арбалет. Другие на их месте застучали бы башмаками при виде крошки Барби, а эти сдержались. Знать, в жилах у них течет истинно ведьминская кровь, а не жидкая глина. Может, через год-другой из них чего-нибудь и выйдет...

Две или три даже осмелились отвесить ей короткий поклон, еще одна, то ли шутя, то ли всерьез, исполнила книксен. Юные чертовки... Им четырнадцать, рассеянно подумала

Барбаросса, они выглядят как потрепанные жизнью девчонки со злыми глазами, но если старина Брокк не сожрал их сразу, как знать, может имеет на них какие-то планы? Черт, вполне может быть, уже через год она увидит одну из этих милашек младшей сестрой в «Сучьей Баталии»...

— Значит, твой хозяин не очень-то щедр к своим куколкам? — осведомился гомункул. Лишенный возможности глядеть по сторонам, он беспокойно ерзал в своей тесной банке, донимая ее вопросами, которые были никчемны, и замечаниями, от которых не было никакого толку, — Мы можем не уповать на его помощь?

— Мой хозяин дает нам силу и злость, — буркнула Барбаросса, отворачиваясь от чертовок, чтобы не смущать их и не отрывать от важного занятия, — И пока мне этого хватало. Кроме того, он бережет наши шеи...

— Что это значит?

— Только то, что сука, которая попытается меня удушить, пожалеет об этом еще прежде, чем ощутит исходящий от ее шкуры запах паленого мяса. Герцог Абигор презирает удавки и гарроты, а еще больше он не терпит душителеев.

Гомункул заткнулся на несколько секунд. Видно, переваривал крохи новых знаний, усвоенные им из большого мира.

— Но твой хозяин не будет иметь ничего против, если тебя, скажем, застрелят? Или ткнут ножом? Или сварят живьем в масле?

Барбаросса мотнула головой.

— Не будет. У него счет только к душителям.

— Почему?

Дьявол. Если ей придется растолковывать консервированному мозгляку каждую малость, отпущенное ей время закончится быстрее, чем она успеет доковылять до Малого Замка. С другой стороны, ей на какое-то время придется смириться с его обществом, а значит, терпеть его расспросы и несносные остроты.

Маленький ублюдок...

— Когда-то давно, три миллиона лет тому назад, герцог Абигор в союзе с принцем Вассаго и герцогом Зепаром выступили войной против графа Халфаса. У них было сть шестнадцать адских легионов на троих и они собирались раздавить логово Халфаса к чертовой матери. Шумная, говорят, вышла заварушка. Адские орудия с обеих сторон лупили так, что вся Преисподняя гудела, как медный котел. Демоны пожирали друг друга в небесах и на земле, а адские энергии превращали в пепел и пар тысячи альбумов камня и материи. Дворцы шатались и рушились, бастионы проваливались в тартарары, траншеи наполнились зловонной желчью и кипящей кровью... Но герцог Абигор не знал, что союзники его предали. Когда войска пошли на решающий штурм, принц Вассаго и герцог Зепар попытались удушить его при помощи мейтенериумовых удавок, вымоченных в конской моче и слезах скопцов, но Абигор смог сбежать, хоть и потерял свое войско. С тех пор он карает всякого, кто попытается удушить его слуг, и карает жестоко.

— Превосходно, — проскрипел Лжец, не скрывая сарказма, — Это в самом деле большое подспорье. Уверен, все виселицы от Гриммы до Виттихенау скорбят о том, что им не доведется стиснуть твою прелестную шею в объятьях!

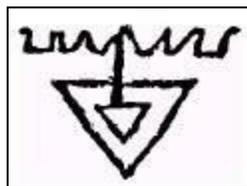
От владыки Абигора мне сейчас никакого проку, мысленно признала Барбаросса. Как и от тебя, болтливая опухоль. Если кто-то мне сейчас и нужен, так это Котейшество.

Котти...

Барбаросса рефлекторно дернула плечом, ощущая пустоту на том месте, где обычно находилась Котейшество. Молчаливая, собранная, она обычно двигалась за ней по улице точно призрак, не впиваясь в руках, как броккенбургские кокотки, и не повисая на плече. Не горланила песен, не хихикала, вспоминая какие-то университетские шуточки, не тянула ее в сторону распахнувших свои пасти витрин...

Барбаросса знала, что если украдкой скосить глаза и наблюдать за ней долгое время, можно поймать миг, когда на лице Котейшества возникает улыбка. Невесомая, быстро соскальзывающая прочь, точно неуверенный луч апрельского солнца, едва-едва коснувшийся земли и тотчас испуганно прыскающий прочь. Она не знала, кому эта улыбка адресовалась и отчего появилась. Она даже делала вид, будто не замечает ее. Но ей доставляло удовольствие подкарауливать такие улыбки, запечатлевать их в памяти, удовольствие, знакомое лишь терпеливому охотнику. Одна из тех маленьких игр, в которые играешь с кем-то, не будучи до конца уверенной, что это игра, а не буйство разнонаправленных потоков твоего воображения...

Из них с Котейшеством в самом деле вышел отличный союз. Не жесткая сцепка, на которой суки волокут друг друга, зачастую в разные стороны, не стальная цепь, сковывающая, точно кандалы, не липкая паутина, основанная на страхе — союз, равноправное партнерство, такое же органичное и естественное, как союз телеги и колеса или наковальни и молота. Может, именно потому, что они дополняли одна другую, не пытаясь перекрыть, перещеголять или перетянуть. Именно так и устроены все самые крепкие союзы на свете.



Старый добрый Брокк быстро душит одиночек.

Ободранные до мяса школярки, выскочившие из той мясорубки, что именуется Шабашем, не способные завести богатых покровителей и не имеющие шансов обрести ковен, частенько сбиваются в небольшие стайки или промышляют парочками — так легче найти защиту или добыть пропитание. Иногда такие партнерства существуют всего несколько недель, быстро изживая себя, иногда длятся месяцами, но срок их жизни редко превышает год. Год в Броккенбурге — это целая вечность.

Неглерия и Гумоза, открывшие родство душ через взаимную тягу к дармовой выпивке и хорошей драке, держались друг друга почти полгода. И хорошо держались. Вдвоем могли навести больше шума, чем какой-нибудь «дикий» ковен, иной раз в четыре руки такой бой закатывали, что на следующий день в университете исписанные ножами и подволакивающие ноги суки встречались чаще, чем шляхи в Гугенотском Квартале. Прошли вместе огонь, воду, медные трубы и бесчисленное множество смертельно опасных ловушек, которыми старина Брокк охотно устилал им путь. А потом внезапно расплевались — из-за жалкого талера, который к тому же и оказался фальшивым. Чуть не перегрызли друг другу горлянки, так разошлись. С тех пор стараются даже не сталкиваться на улице, знают, что не смогут сдержать ножей в ножнах...

Поганку и Мэггот сблизил не любовь к нанесению увечий, а зуд между ног. Обе с первого дня в Броккенбурге прыгали из койки в койку так часто, будто каждая из них вознамерилась собрать самую полную в Броккенбурге коллекцию мандавошек. Однако при

этом страсть, которой они так неистово отдавались, ничуть не мешала им постоять за себе — обе отлично орудовали ножами, а Мэггот, кроме того, всегда таскала с собой миниатюрный пистоль с парой серебряных пуль. Эти с самого начала слились как две голодные пиявки. Ходили везде исключительно в обнимку, не разделяясь ни на шаг, ревностно оберегая друг друга даже от посторонних взглядов. Барбаросса хорошо помнила эту парочку — в свое время пришлось с ними схлестнуться, когда они обидели отправленную на рынок Шустру, отняв у нее деньги — опасные как парочка ядовитых змей, в драке они так же естественно дополняли друг друга, как и в постели. Этот союз, пусть и спаянный похотью, мог просуществовать несколько лет, тем более, что их страсти не была известна усталость, но развалился по досадной случайности. В один прекрасный день Поганка притащила в их логово бронзовую штуку размером с пестик для маслобойки, которую она купила у случайного продавца в Руммельтауне. Эта штука здорово походила на хер — неудивительно, что Поганка не смогла пройти мимо. Старый, густо исписанный сигилами, он ощутимо фонил адскими чарами, но был столь древним, что прочитав их не представлялось возможным — да Поганка с Мэггот никогда и не были записными умницами.

Разумеется, они испытали эту штуку в постели. Они испытывали много разных штук — все штуки, до которых могли дотянуться и которые обещали хоть сколько-нибудь разнообразить их игрища. Но эта штука, на которую упали их горящие от возбуждения взгляды, не была лингамом, как они вообразили. Это был старый двухсотлетний армейский фальшфейер. Миниатюрная ракетница, внутри которой был заключен крохотный, но горящий, как адская искра, демон.

Их союз распался в ту же ночь, да и не мог не распасться. Мэггот, которой выпал жребий первой испытывать эту штуку, разорвало на куски, разбросав по всему дому, а Поганка повредилась в уме, превратившись с того дня в безвольную подергивающуюся сомнамбулу.

Псина и Гульня посадили друг дружку на ножи, выясняя, чей род древнее, даром что обе были безродными шлюхами, Нома и Рохля, нализавшись спорыньи до умопомрачения, попытались разорвать в подворотне одну из «воронесс» — и сами там полегли, разорванные, Сольпуга и Швея разругались вдрызг за доской для «триктрака»...

Брокк мастер создавать союзы, объединяя подчас самых непохожих друг на друга сук, но с той же легкостью он их и разрушает, превращая вчерашних компаньонов и наперсниц в смертельных врагов.

Нельзя основывать союз на силе — лишняя направления, любая сила рано или поздно обернется против себя самой. Нельзя основывать союз на симпатии или похоти — любая алхимическая реакция непредсказуема, особенно если засыпать в котел непроверенные реагенты. Нельзя основывать союз на одном только расчете — в сложной паутине лжи каждая сука, мнящая себя самой хитрой, имеет шанс перехитрить саму себя.

Их с Котейшеством союз был устроен совсем иначе.

Тогда, два года назад, они не заключали договора, не протыкали пальцев черной иглой, смешивая кровь, ни в чем друг другу не клялись. Просто так вышло, что с какого-то момента они обнаружили, что жизнь словно склеила их друг с другом, причем так хитро, что они и сами не смогли сообразить, как это вышло.

Котейшество подтаскивала ее по магическим наукам, терпеливо подсказывая, разжевывая объясняя и втолковывая суть в ее никчемную темную голову. Взамен она взяла

Котейшество под свое покровительство, обеспечив ей защиту в дортуарах Шабаша. Это тоже удалось не сразу. Ей пришлось вздуть до черта сук-первогодок, а иногда и сук постарше, чтобы объяснить им — эта тщедушная девчонка с глазами странного цвета отныне не находится под их юрисдикцией.

Непростая была работенка. Что уж там — адская.

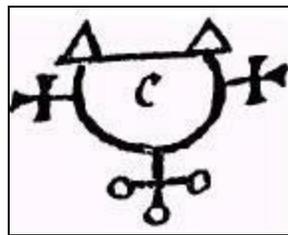
Шабаш всегда набит хищницами самых разных сортов. Прimitивными и просто устроенными, как Гусыня, чьи тяжелые кулаки наверняка использовались на отцовской мельнице вместо жерновов. Выносливыми и опасными, как Вульва или Грыжа. Смертельно опасными, как Драйкана. Встречались и хищницы особого рода, вроде Кольеры, одна только ухмылочка которой даже сейчас, спустя полтора года, вызывала у Барбароссы жгучую боль в желудке и спазм в машинально сжимающихся кулаках.

Черт, ей пришлось тогда поработать. Не раз, не два, много раз.

К тому моменту она провела в Шабаше полгода и, пусть считалась школяркой, успела внушить своими кулаками изрядное уважение к своей персоне. Мало того, кое-какую славу, которую приходилось время от времени приходилось подновлять свежей кровью, как лавочники подновляют масляной краской свои вывески. Но приняв под свое покровительство Котейшество, она бросила вызов многим голодным сукам, которые сами положили на нее глаз или просто были не против поживиться свежим мясом.

Следующие три месяца она, кажется, дралась чаще, чем за всю свою предыдущую четырнадцатилетнюю жизнь, зарабатывая для них с Котейшеством право на самостоятельное существование. И это были жестокие драки. Но всякий раз, когда она доползала до койки, ухмыляясь окровавленным ртом и оставляя на полу багряные потеки, ее встречал взгляд глаз цвета гречишного меда, взгляд, от которого, казалось, сами собой зарастали свежие кровоподтеки на ее потрепанной шкуре...

Черт, она думала, что уберегла Котти от всех опасностей, что грозили ей в Шабаше. И верно, многие из них она отвела, безжалостно дробя чужие челюсти и пуская кровь. Но одна опасность оказалась коварнее прочих. Она ждала почти целый год, до того проклятого апреля, ждала в тени, выдавая себя только едва заметной в сумраке ухмылочкой, а потом...



На углу Благтлаусштрассе ей пришлось притормозить — чертов лихтофор зажег красную звезду, запрещая проход, заставляя ожидать, пока мимо проползет вереница карет и аутовагенов. Ничтожная задержка из числа тех, на которые она прежде никогда не обращала внимания — на этой блядской горе лихтофоров натыкано без числа и по меньшей мере половина из них преграждает тебе путь в самый неподходящий момент! — но сейчас, когда в ее распоряжении считанные часы, трата даже одной минуты казалась мучительной.

— Рад, что ты наконец ощутила важность времени, — сухо пробормотал из мешка гомункул. Чертов консервированный хитрец, хоть и сидел в мешке, должно быть, ощутил, как она нетерпеливо переминается с ноги на ногу, — Хоть и позже, чем следовало. А теперь, может, ты снизойдешь до того, чтобы разъяснить своему компаньону план действий? Или хотя бы пояснить, какие адские силы движут тебя по направлению к Малому Замку?

Компаньону!..

Дьявол, она-то и заткнуть его не в силах... Даже если она запечатает каждое ухо свечным воском, все равно будет слышать Лжеца так же отчетливо, как если бы тот сидел у нее на плече. Он говорит не при помощи языка и легких, он создает возбуждение в окружающем его магическом эфире. А значит, хрен она сможет его заткнуть, если коротышке вздумается поразглагольствовать.

— Я так решила, — бросила Барбаросса, не отрывая взгляда от лихтофора, — Достаточно и этого. А если недоволен, можешь идти в любом другом направлении на свой выбор, только не сотри свои маленькие ножки.

Гомункул некоторое время сопел, переваривая оскорбление.

— У вас, людей, есть такое выражение, «Мой дом — моя крепость», — задумчиво протянул он наконец, — Не мне, существу, сидящему в стеклянной банке, судить о нем, но позволь заметить — какими бы стенами и амулетами ни был укреплен замок твоего ковена, для тебя он станет не большей защитой от Цинтанаккара, чем для улитки, оказавшейся под лошадиным копытом, ее жалкий панцирь.

Лихтофор снисходительно зажег зеленую искру, позволяя пересечь дорогу, и Барбаросса устремилась вперед, не забывая бросать взгляды по сторонам. Даже здесь, в Миттельштадте, в свете затухающего дня, не стоило терять бдительности. В этом блядском городе обретается до черта сук, которые хранили обиду на крошку Барби, мнимую или заслуженную. Стоит на миг потерять осторожность, как какая-нибудь сука, скользнув рядом в толпе, едва не задев плечом, всадит тебе серебряную спицу в спину или пощекочет ножом...

Так подохла Лобелия в прошлом году, опытная прожженная сука, которая пережила два Хундиненягдта и бесчисленное множество покушений. Дерзкая от природы, с твердой рукой и верным глазом, она в равной степени хорошо управлялась с рапирой и пистолетом, заработав себе к третьему кругу изрядную репутацию, защищавшую ее лучше, чем надетая под дублет кольчуга. Если бы еще не ее тяга бросать кости и занимать для этого деньги, которые она отдавала неохотно, с большим опозданием или не отдавала вовсе...

Если ее кредитор оказывался из старших или уважаемых ковенов, она, поскрипев зубами, рано или поздно расплачивалась по своим долгам. Но если занимала деньги у какой-нибудь юной суки, не съевшей еще фунт горького пороха, Лобелия вполне могла расплатиться ножом или кулаками — водилась за ней издавна такая привычка...

Брокк до поры до времени прощал ей эту слабость, но в конце концов заставил расплатиться по счету. Какая-то отчаявшаяся сука, которой Лобелия должна была десять гульденов, подобралась к ней на улице, смешавшись с толпой, и пальнула прямо в спину из Файгеваффе. Хер его знает, где она раздобыла эту штуковину и на что уповала, но эффект оказался вполне действенным. Файгеваффе не оставляет раненых. Сила высвобожденного из заточения демона размазала крошку Лобелию по мостовой, ровно, точно масло по хлебу. И, говорят, плоть ее дергалась еще несколько часов, пока магистратские служки отскребали ее от брусчатки...

Барбаросса всегда аккуратно платила по своим долгам, но хорошо помнила и то, что если все суки в Броккенбурге, точащие зуб на сестрицу Барби, выстроятся в очередь, эта блядская очередь обернется вокруг проклятой горы самое малое три раза...

Она не собиралась терять бдительности, даже если херов гомункул решил заболтать ее до смерти.

— Твой план, в чем бы он ни заключался, связан с Котейшеством?

Барбаросса вздрогнула от неожиданности. Она готова была поклясться, что ни разу не

упоминала в разговоре с чертовой тварью имя Котти. Так и есть, ни разу не упоминала. Однако она откуда-то... Она ощутила себя беспечно разгуливающей в толпе шалавой, у которой вскрыли кошель, да так ловко, что она и не заметила, как оттуда высыпались все монеты.

— Это твоя приятельница?

— Сестра, — неохотно процедила Барбаросса сквозь зубы, — «Батальерка» из моего ковена.

— Она умна, не так ли?

Барбаросса заставила себя прикусить язык.

Да, умна, хотела было сказать она. В тысячу раз умнее, чем ты, самодовольная бородавка, язвящая из банки, и твой проклятый хозяин и многие из самодовольных выблядков, мнящих себя ворожеями и колдунами.

— Да. Умна. Котейшество изучает Флейшкрафт и...

Гомункул презрительно фыркнул.

— Изучает! С тем же успехом можно сказать, что муха изучает газету, ползая по строчкам! Силы ведьмы слишком ничтожны, чтобы играть с такими материями самостоятельно. Как и ты, она всего лишь придаток, прислуга, которая довольствуется смахнутыми с сеньорского стола крохами. Те силы, что вы используете — ничтожные и жалкие — не заработаны вами, не завоеваны, они выслужены раболепным повиновением у всемогущих адских владык, которым вы присягнули!..

— Заткни пасть, сморчок, — буркнула Барбаросса в сердцах, — Не то...

— Ладно, допустим она умна. И, кажется, хороша собой?

Барбаросса стиснула зубы так, что окажись между ними кость — крепкая говяжья кость вроде той, что Гаста выуживала себе из похлебки, оставляя прочих сестер хлебать жижу с капустой — уже разлетелась бы осколками.

— Кому и овца хороша, — буркнула она, — Тебе-то чего?

— Ты спишь с ней?

Барбаросса ощутила себя так, будто пропустила прямой короткий в челюсть. И не голой рукой, а чем-то даже более увесистым, чем «Кокетка». Зубы сухо клацнули. Язык заелозил во рту точно сухая тряпочка.

— Ч-что?..

— У тебя учащается сердцебиение всякий раз, когда ты о ней вспоминаешь, — Лжец произнес это так сухо и спокойно, как диктор из оккулуса в строгом камзоле, описывавший страшные преступления Гааповой орды в афганских ханствах, — Дыхание становится тяжелее, диафрагма напрягается. Вот я и подумал, что...

— На твоём месте я бы подумала ещё раз, — процедила Барбаросса, ощущая страстное желание садануть мешком о фонарный столб, — Потому что эта мысль, скорее всего, будет последней в твоей короткой паскудной жизни!..

Она не спала с Котти. Никогда.

Нет, в Шабаше многие суки, стремящиеся поставить себя над прочими, затягивали в койку смазливых девчонок. Она и сама пару раз поступала так же на первом круге. И вовсе не потому, что была одержима похотью или намеревалась обучить неразумных соплячек науке любви, науке, которую ведьмы Броккенбурга издавна познают под хохот товарок и истошный визг невольных участниц. Для нее это было лишь визжащее мясо, не более того.

Не страсть, но необходимость.

В окружении зверей надо вести себя по-звериному, иначе звери почуют исходящий от тебя чужой запах и растерзают быстрее, чем ты успеешь высморкаться. Шабаш требует показывать силу — не каждый день, но каждый час, неукоснительно, жестко. И она показывала. Чаще всего ей достаточно было кулаков или ножа, но иногда...

Барбаросса поморщилась от дурных воспоминаний. Иногда ей приходилось преподавать урок некоторым отчаянным потаскухам, которые дерзнули ее послушаться или продемонстрировать неуважение. Она делала это без всякого удовольствия, как делают тяжелую неприятную работу, отчаянный визг бьющихся в койке шалав ничуть не вдохновлял ее и не возбуждал.

Это не было страстью, это было необходимостью.

Но у нее и мысли не было совершить что-то подобное с Котти!

Никогда в жизни.

— Мы — сестры, — процедила Барбаросса, — И подруги. Но...

— Пока ты это говорила, твое сердце сделало дюжину ударов, хотя должно было сделать всего семь, — гомункул поцокал языком, которого у него не было, — Не стоит стыдиться, юная ведьма, насколько мне известно, в Броккенбурге подобные проявления своей природы не считаются чем-то предосудительным. Так что, вы спите друг с дружкой? Черт, я понятия не имею, как это называется в ваших кругах, между ведьмами. Вы показываете друг другу свои корзинки с рукоделием? Достаете жемчужины из устриц? Едите украдкой конфеты? Обрываете розовые лепестки?..

Барбаросса ощутила, как по ее спине прошла колючая дрожь. Наверняка незаметная даже для самых внимательных прохожих, но совершенно отчетливая для существа, которое сидело в мешке у нее за плечом.

— А может, это всего лишь девинантная любовь[16]?

— Что? — Барбаросса попыталась спросить это небрежно, сквозь зубы, — Это что за херня?

— Влечение к родственной душе, лишённое телесной страсти, — легко пояснил гомункул, — Душевная влюбленность. Совершенно чистое и непорочное чувство, описанное господином Девинантом двести с лишком лет тому назад. Некоторые презирают его, называя «любовью скопцов», другие поют гимны в его славу и называют истинной дружбой. Может, между вами что-то такое? Чистое сестринское чувство, не омраченное похотью?

Девинантная любовь? Паршивая же это любовь, если она не тянет тебя задрать кому-то юбку и сделать все, что в таких случаях полагается. С другой стороны... Барбаросса вспомнила, как Котейшество, смущаясь и краснея, повесила в своем углу общей залы гравюру Вальтера Виллиса. Гравюра была плохонькая, на серой бумаге, но на ней хорошо можно было рассмотреть рейнландского крепыша со взглядом сатира, выставяющего напоказ полуобнаженный мускулистый торс, слишком анатомически безупречный, чтобы быть естественным.

Они с Котти в прошлом месяце смотрели в театре «Медленно умирающего» с Вальтером Виллисом — дурацкую пьесу, в которой было на сто гульденов бутафории и реквизита, но на медный крейцер здравого смысла. Котейшеству пьеса не понравилась тоже, но повесила же она эту чертову гравюру, мало того, иногда тайком пожирала ее глазами, невесть о чем думая...

Возможно, это и было то, что козявка в банке именовала девинантной любовью, чистым обожанием без капли похоти. Если так...

Иногда Барбаросса с тревогой прислушивалась к собственным ощущениям, подзуживаемая откровенными насмешками Холеры и Саркомы, не упуская случая отпустить какую-то многозначительную остроту на счет их с Котейшеством. отношений прислушивалась — но еще больше сбивалась с толку. Тело, подававшее ей простые и понятные сигналы, когда дело касалось драки, надежное, как хорошая дубинка, принималось фонтанировать фейерверками непонятных сигналов, стоило лишь Котейшеству улыбнуться ей, подмигнуть или шутливо ущипнуть за коленку под столом...

Барбаросса ощутила на лице злую, ощерившуюся зубами, усмешку.

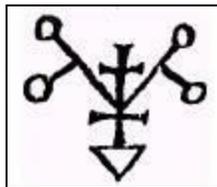
— А не пошел бы ты нахер вместе со своим господином Девинантом, Лжец? Наверняка он сам был любителем какого-нибудь дерьма, сношал по-тихому соседских овец или тайком на кладбище могилы раскапывал!..

Гомункул ухмыльнулся.

— Господин Девинант, насколько мне известно, не был обременен подобными страстями. Правда, это не облегчило его участи. В тысяча шестьсот шестьдесят шестом году адские владыки, обнаружив несоответствие его философских и этических взглядов тем, что были им близки, превратили его в исполинскую тварь в пять клафтеров высотой. Наделенная великим множеством половых органов мужского и женского рода, она и по сей день бродит где-то в Бедфордшире, сношая до смерти всех встреченных живых существ, а когда не в силах настичь добычу, то и саму себя...

Барбаросса с отвращением сплюнула под ноги.

Полная херня.



Домой. Домой. Будто напитавшиеся этой мыслью, ее башмаки сделались в два раза легче, а шаг вдвое быстрее. Нет дороги приятнее и сладостнее, чем дорога к дому. Барбароссе даже приходилось сдерживать прыть своих ног, чтоб те, чего доброго, не припустили кентерным галопом[17].

Несмотря на то, что ее взгляд, шарящий по обеим сторонам улицы, не находил как будто бы опасных признаков, она не позволила себе расслабиться. Это было частью привычки, выработанной ею еще в первый год знакомства с Брокком, привычки, которую Панди помогла ей довести до нужной остроты, надлежащим образом ограничив.

Неважно, на что пялишься ты. Важно — кто пялится на тебя.

«Сучья Баталия» не имеет открытых вендетт, мало того, строгое облачение «батальерки» с белым платком на плече само по себе служит защитой от многих, ищущих поживы или легкой славы, сук, но Барбаросса никогда не позволяла себе расслабляться, прежде чем оказаться под защитой Малого Замка.

Вон та ведьма на углу делает вид, что щелкает орешки, но очень уж подозрительно зыркает глазами по сторонам. Судя по прическе «Хенот» с опаленными и выбритыми висками, эта юная дева из ковена «Чертовых Невест» и, хоть она выглядит вполне миролюбиво, поплеывая скорлупой на мостовую, Барбаросса не хотела бы быть той сучкой, которую «невеста» дожидается, лакомясь орешками.

Вон еще одна милашка, устроившись на заборе, старательно пялится в зеркало, наводя красоту на свою немного подпорченную оспой мордашку. Удобная позиция —

вооружившись зеркалом, можно замечать до черта вещей вокруг себя, оставаясь при этом незаметной. Уж не по душу сестрицы Барби ли сидит здесь эта кокетка? Как знать, не полетит ли изящное зеркальце оземь и не сверкнет ли в ее руке крохотный но смертельно опасный вблизи терцероль[18]?

Или вон та сука... Она двигается за Барбароссой по левой стороне улицы уже два квартала, держась в трех рутах[19] позади, и двигается как будто бы случайным образом, время от времени прилипая к витринам, но больно уж странным выглядел ее интерес.

Помни, Красотка, однажды сказала ей Панди, еще в те времена, когда пыталась вбить ей в голову хоть какую-то науку, ведьма в этом городе может одновременно интересоваться обычным трахом, скотоложеством и содомией, но если она одновременно интересуется столовой посудой, тканями и почтовыми открытками — что-то с ней не то...

Возможно, с этой особой и верно было что-то не то. Может, из-за веера, подумала Барбаросса, веера, украшенного перламутровыми пластинами. Того, что она небрежно держит в отставленной руке, обмахиваясь. Многие суки в этом городе пользуются веерами, встречаются среди них и с перламутром, но этот отчего-то кажется ей смутно знакомым, будто бы уже виденным сегодня...

— Почему ты заговорил о Котейшестве, Лжец?

Эта мысль служила источником ее истинного беспокойства, и куда более сильным, чем случайные суки, встречавшиеся ей на улице. Она не посвящала его в свои планы, но, верно, пара-другая неосторожных мыслей могла вылететь из ее головы, точно голуби с чердака. Мыслей, которые это отродье в банке, наделенное нечеловеческой чувствительностью, перехватило и сожрало, как проказничающий на улице демон.

— Просто полюбопытствовал, — бесстрастно отозвался из мешка гомункул, — В последнее время ты думаешь о ней все чаще, вот я и решил, что...

— Что?

— Что ты возлагаешь на нее некоторые надежды. И это чертовски глупо с твоей стороны.

Сука.

Барбаросса зло раздавила каблуком пустую глиняную бутылку, угодившую ей под ноги. Это глупо, подумала она. Этот блядский выкидыш читает мои мысли как открытую книгу, а что не может прочесть, прекрасно соображает и сам. Дохера сообразительный сукин сын. И хрен его знает, в какие моменты он досаждаст ей сильнее — когда треплется почему зря, теща свой никчемный язык, или когда молчит, что-то задумывая в своей крохотной сморщенной головёшке...

— Котейшество — не просто «тройка», — пробормотала она, на всякий случай подняв воротник так, чтобы никто из прохожих не мог рассмотреть ее губ, — Она очень умна. Она знает о демонах больше, чем твой старик когда-либо мог вообразить. Она умеет заклинать демонов так, что те делаются точно шелковые. Читает старые книги голландских чернокнижников, разбирается во Флейшкрафте и...

— То, что она режет по ночам в деревянном сарае дохлых котов, еще не делает ее великой ведьмой.

Барбаросса дернулась, как от пощечины.

— Ах ты...

— И ты надеешься, что она вытащит Цинтанаккара из тебя, точно занозу из пятки? — осведомился Лжец, — Черт. Для человека с лицом вроде твоего у тебя непревзойденные

запасы оптимизма, юная ведьма!

— Она лучшая из всех, кого я знаю, — произнесла Барбаросса вслух, сцепив зубы, — Она знает о демонах куда больше меня.

Лжец пренебрежительно фыркнул. Этот звук получался у него роскошно, почти по-человечески. Знать, не один день практиковался...

— Ну это-то, допустим, не великое достижение. Уж прости меня, но на твоём фоне даже уличный фонарь может показаться великим мудрецом.

Дьявол.

Этот гриб из банки может и был беспомощным, но не лез за словом в карман, мало того, умел разить остроумиями не хуже, чем сестрица Саркома в те дни, когда маялась головной болью и похмельем. Дать бы ему крохотную швейную иглу, подумала Барбаросса с мысленным смешком, небось стал бы лучшим в Броккенбурге фехтовальщиком, даром что в противники ему годились бы разве что кухонные мыши...

— Она всего лишь ведьма третьего круга. Если ведьма чему-то и учится к третьему году обучения, так это тому, чтоб не стоит мастурбировать пестиком от лабораторной ступы! — проворчал гомункул, прежде чем она успела обкатать на языке подходящее случаю ругательство, — Послушай меня, твоя подруга может быть в самом деле толковая ведьма. Может, даже лучшая в Броккенбурге, не мне судить, но против Цинтанаккара она не лучше, чем горсть куриного дерьма против уличного пожара.

— Она...

— Чинит барахлящие лампы у вас в замке? Возится с оккулусом, настраивая картинку? — гомункул фыркнул, — Это все херня. Кажется, ты все еще не сообразила, с кем имеешь дело, юная ведьма. Цинтанаккар — это не мелкий дух, которого вас в университете учат заклинать, чтобы таскал наперстками воду из колодца. Это смертельно опасный хищник, на которого нельзя найти управу. Ведьм вроде тебя он глотает, как землянику. Мало того, его родина — далекий Сиам, место, где демоны устроены совсем не так, как это привычно вашим саксонским мудрецам. И ты всерьез решила уповать в этом деле на свою подругу, ведьму-недоучку?

Если бы подобное сказала какая-нибудь сука, уже сейчас скулила бы, ползая на корточках и размазывая кровавую пену по мостовой. Но гомункул... Один несчастный щелбан проломит ему голову, а оплеуха превратит его в комок слизкого желе.

Чтобы сдержать ярость, Барбаросса опустила мешок на мостовую и наклонилась, делая вид, будто поправляет башмак. Заодно удобный повод незаметно оглядеться, проверяя, что не тащит за собой к Малому Замку невидимых спутниц. Опасности как будто не было.

Бритоголовая «невеста», вызывающе щелкавшая орешки на углу, с самым премилым видом целовалась взасос с какой-то дылдой, лапая ее за грудь через колет. Милашка с зеркалом, устроившаяся на заборе, все так же беспечно насвистывала, ни на кого не глядя. Сука с веером, прилипшая к витринам, и подавно пропала без следа.

Чисто. Однако облегчения она не ощутила. Слишком хорошо ощущала внутри себя тяжелую горошину Цинтанаккара, замершую, но отчаянно тяжелую, точно двенадцатифунтовое ядро. Можно убежать от любой погони, можно оторваться от слежки, владея должным арсеналом трюков, можно отбить вкус к охоте у целой стаи голодных сук, которые задались целью выследить себя. Но как убежать от того, кто сидит в себе?..

— Будь уверен, Котейшество знает, как вытащить этого херова штрафбарщика[20]. У нее есть тетрадь с записями, целый чертов фолиант, в который она записывает всех демонов,

которых знает. Наверняка там найдется что-то и на старикашкиного выблядка.

— А если нет?

Гомункул спросил это не насмешливо, вполне серьезно, но Барбаросса ощутила, как от этих слов нехорошо потяжелело сердце. Точно грузик на стенных часах, набитый свинцовой дробью мешочек, норовящий опуститься куда-то в требуху на дергающейся стальной цепочке.

— Использую плоть, кости и кровь, — неохотно сказала она, поднимаясь и вновь забрасывая мешок за спину, — Нас когда-то учили этому на втором круге. Не то, чтоб я хотела угощать чертового демона своим мясом, но, если не останется другого выбора...

Это резкое движение заставило гомункула испуганно вскрикнуть, но недостаточно громко, чтобы порадовать уши Барбароссы в должной мере.

— Что это значит?

— Старый фокус, которому нас учили еще на втором круге на занятиях по Гоэции. Если тебе надо вытащить демона из предмета, в который он заключен, надо назвать его по имени и произнести формулу высвобождения. А после предложить ему...

— Плоть, кости и кровь?

— Да, — Барбаросса досадливо дернула плечом, — Это вроде угощения, которое демонолог предлагает демону, чтобы освободить его от плена и...

— Позволь полюбопытствовать, юная ведьма, кто преподавал вам науку Гоэции?

— Профессор Кесселер, но какое...

— Если у тебя в кошеле найдется пять крейцеров на марки и листок писчей бумаги, я бы с твоего позволения заглянул в ближайшее почтовое отделение. Отправил бы уважаемому профессору Кесселеру письмо с соболезнованиями. Иметь дело с тупицами вроде тебя, должно быть, чертовски утомительно.

Барбаросса вскинулась, ощутив хорошо знакомое жжение в костяшках пальцев. Ни одна сука на улицах Броккенбурга не смела говорить с ней подобным тоном. Но этот... это... Это плюгавое существо точно вознамерилось с самого момента их знакомства прощупать океан терпения крошки Барби на всю его глубину. И уже вот-вот нащупало предельную.

— Во имя твоей матери, отелившейся под телегой, Лжец, что ты имеешь в виду?

— Я ничего не смыслю в демонологии, — буркнул гомункул, — Но даже я мельком знаком с азами Гоэции, пусть и в ничтожном виде. Плоть, кости и кровь — это стандартная формула высвобождения, не так ли? Она здесь не поможет, даже если бы у тебя было все вышеперечисленное.

— Да ну?

— Представь себе! Во-первых, она годится лишь для изгнания тех демонов, что заключены в предмет, а не в живую человеческую оболочку. Во-вторых, для этого тебе надо знать имя демона, а «Цинтанаккар» вполне может оказаться не истинным именем, а титулом, псевдонимом или Ад знает, чем еще. В-третьих...

— Что еще?

— Высвобождаемый демон должен желать свободы. А Цинтанаккар, уж поверь мне, ни хера ее не желает. Он желает превратить последние часы твоего существования в бесконечную пытку. Этот фокус сошел бы с каким-нибудь плюгавым адским духом вроде тех, которых вы ставите себе на службу, заставляете греть себе воду или проигрывать музыку, но только не с ним...

— Подумать только, каков мудрец! — зло бросила Барбаросса, — Небось, столько

мозгов в головешке, что скоро придется банку попросторнее подбирать, как бы не треснула! А может, тебе самому обзавестись своей кафедрой в университете, а? У тебя будет лучшая полка в лекционной зале и самые жирные мухи, которых только можно найти!

Ее неуклюжие остроты барабанили о стекло банки с гомункулом, отскакивая прочь, точно конские каштаны, отскакивающие от каленой кирасы. Мало того, совсем не унимали злости, опалившей ее нутро.

Сучий потрох был прав.

Она совсем забыла, что формула «плоть, кости и кровь» — отнюдь не универсальное оружие против демонов, мало того, профессор Кесселер отчетливо предупреждал об этом. Просто она забыла, как забыла многие другие важные вещи в своей жизни. Понадеялась на Котейшество, выкинув никчемный груз из головы, и вот теперь консервированный коротышка дает ей, ведьме, уроки по демонологии. Превосходно...

Черт — эта мысль заставила ее усмехнуться на ходу — если бы профессор Кесселер в самом деле узнал об успехах малышки Барби, едва ли был бы разочарован в лучших чувствах. Он вообще в грош не ставил ведьм, которых обучал сложной науке Гоэции. И на то, пожалуй, был резон.

[1] Машикули — навесные бойницы на крепостной стене.

[2] Гурдиция — крытая деревянная галерея на внешней стороне крепостной стены.

[3] Принц Максимилиан — Максимилиан Саксонский, немецкий принц из династии Веттинов (1759–1838).

[4] Бургиньот — закрытый шлем бургундского образца, использовавшийся европейскими армиями вплоть до XVII-го века.

[5] Безоар — магический камень, предохраняющий от ядов и отравлений.

[6] Dreizehn Nasen (нем.) — тринадцать носов.

[7] Здесь: примерно 2 240 грамм.

[8] Гийом Амонтон (1663–1705) — французский физик, переработавший классические законы скольжения и трения, открытые Леонардо да Винчи в 1493-м году.

[9] Согласно действующему в Испании средневековому налогообложению, евреи, проживавшие там, обязаны были уплачивать специальный налог — они покупали за свой счет якоря для каждого построенного испанского корабля.

[10] Великое Делание — мистический процесс в алхимии, в процессе которого алхимик познает себя, достигает единства духа и сознания. Также используется для получения Философского камня.

[11] Cambric — другое название батистовой ткани, изобретенной в XIII-м веке Батистом из г. Камбре (Фландрия).

[12] Асбах Уралт (нем. Asbach Uralt) — сорт немецкого виноградного бренди, названный по имени владельца.

[13] Криста Леманн (1922–1944) — немецкая серийная убийца и отравительница.

[14] Гульдинер — монета, чеканившаяся в Германии из серебра в подражание золотому флорину и приблизительно равная ему по стоимости.

[15] Кригшпиль — разновидность игры в шахматы, в которой игрок не видит ходов, сделанных противником; руммикуб — сложная карточная игра, имеющая элементы домино и маджонга; криббедж — старая английская карточная игра.

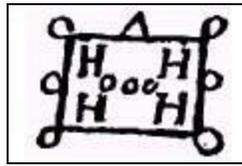
[16] Понятие «платонической любви» в Европе возникло благодаря труду «Любители Платона» Уильяма Девинанта (1606–1668), английского поэта и драматурга.

[17] Кентер — вид аллюра, укороченный полевой и тренировочный галоп.

[18] Терцероль — распространенный в XVII–XIX веках «карманный пистолет» с кремнёвым замком, с одним или двумя стволами.

[19] Здесь: примерно 13 м.

[20] Straf-Bars (на немецком — игра слов, связанная с «наказание» и «бар») — распространенное в Германии движение конца 1980-х, в рамках которого сквоттеры (самовольные жильцы) занимали общественные и промышленные помещения для концертов и различных мероприятий.



Полтора года назад профессор Кесселер, магистр Гоэции, начиная свое первое занятие, сдержанно произнес, глядя на них:

«Я вижу здесь много новых лиц. Я еще не знаком с вами и не знаю, чего от вас ждать. Среди вас наверняка есть безмозглые тупицы, не способные толком держать перо, и юные гении, схватывающие все на лету. Возмутительницы спокойствия, то и дело хватающиеся за ножи, и прилежные ученицы, ночами шпудирующие заданный урок. Красавицы и чудовища. Тигрицы и агнцы. Богачки и нищенки. Светочи и ничтожества. Дочери баронесс и доярок. Но есть одна вещь, которая равняет вас всех, вещь, о которой я расскажу...»

Профессор Кесселер читал лекции на своеобразный манер. Он не передвигался по зале, не подходил к слушательницам, не совершал прогулок вокруг кафедры, как многие прочие профессора. Едва лишь войдя в лекционную залу, он грузно подходил к предназначенному для него месту и оставался недвижим на протяжении часа или двух, в зависимости от того, сколько длилась лекция. Но Барбаросса не помнила, чтобы кто-то упрекал его за подобную манеру вести занятия. Видит Вельзевул, ему и в дверь протиснуться было немалой проблемой...

«Вы думаете, что я научу вас обращаться с демонами. Оборачивать их силу в свою пользу, манипулировать их знаниями, заставлять исполнять свою волю и рассказывать о том, о чем может быть ведомо только обитателям Ада. Я научу вас этому. В этом и заключена моя наука. Некоторым из вас она при должном прилежании принесет почет и славу, кому-то состояние, кому-то сокровенные знания. А еще моя наука убьет вас всех.»

Профессор Кесселер улыбнулся, отчего по лекционной зале разнесся негромкий, но отчетливый скрежет. Этот звук сопровождал многие его движения, но особо отчетлив был, когда он улыбался. Возможно, из-за пары шпор, торчащих из его верхней губы.

«Я знаю, о чем говорю. Человек, связавшийся с демонами, никогда не кончит добром. Моя собственная участь — подходящее тому подтверждение. Каждый раз, заклиная демона, вы будете бросать вызов судьбе. Метать кости, сидя за одной доской с Дьяволом. Некоторые из вас умрут сразу — позвольте мне заранее пожелать им быстрой и безболезненной смерти, — профессор Кесселер вновь улыбнулся, отчего шпоры, торчащие у него из лица, заскрежетали о кость, — Другие несколько позже. Я научу вас тому, как узнавать имя демона, как понимать его желания и видеть его слабости, обучу тонкостям охоты и защиты. Некоторые из вас даже усвоят эти уроки. Но это не значит, что их участь будет легче. Это значит, они немногим дольше проживут».

Профессор Кесселер склонил голову, разглядывая своих слушательниц. Даже это движение определенно стоило ему немалого труда — вся поверхность его тела была усеяна занозами так густо, что свободного пространства не оставалось даже для монеты в один крейцер.

Где-то это были медные иглы странного оттенка, где-то ножи, где-то — вязальные спицы, рыболовные крючки, обеденные вилки, булавки, ножницы, отвертки, плотницкие гвозди, обломки подков, ржавые пружины, стилусы, кожевальные иглы, стрелы, каминные

щипцы, дверные ручки, серьги, ременные пряжки, заколки... Барбаросса даже думать не хотела о том, чего ему стоило почесать свою задницу, если та вдруг зачесется. По правде сказать, профессор Кесселер выглядел так, будто на протяжении долгого времени служил подушечкой для булавок для целой орды демонов...

Если профессору Кесселеру во время лекции хотелось пошевелиться, по лекционной зале проходил легкий скрежет — словно ветер мимоходом касался веток железного леса. Это все его многочисленные занозы терлись друг о друга.

«Независимо от того, как многому я успею вас научить и как прилежны вы будете в постижении Гоэции, рано или поздно вам попадетсЯ демон, которого вы не сможете подчинить себе. На волос более быстрый или сообразительный или сильный. Алхимик, сознавая риск, может отказаться от окончательной трансмутации, остановившись в шаге от создания философского камня. Некромант в силах оставить свое искусство, поняв риск, которому себя подвергает. И только демонолог, знаток Гоэции, лишен этого выбора. Подчинив себе одного демона, вы настолько уверитесь в себе, что немедленно попробуете силы на следующем, более сильном. Получив одну золотую монету, возжелаете сундук. Ничто так не растравляет аппетит, как возможность управлять могущественными созданиями Ада. И рано или поздно вам попадетсЯ тот, кто окажется вам не по зубам. И который сам с удовольствием запустит в вас зубы...»

Профессор Кесселер обвел их взглядом, который показался Барбароссе колючим, как все занозы, торчащие из его шкуры.

«Ад — это одна большая распахнутая ловушка. Она предлагает вам черпать из нее силы и знания, но только лишь для того, чтобы привязать к себе, заставить утратить осторожность. А демоны — ее верные слуги и хранители. Каждый из них, даже самый слабый и невинный, исподволь проверяет вас — ваше терпение, вашу духовную дисциплину, ваше умение. Ищет брешь в окружающей вас броне. И когда ваша самоуверенность заставит вас хотя бы на миг утратить осторожность...»

Профессор Кесселер усмехнулся, коснувшись пальцем торчащей из верхней губы шпоры. Кажется, она причиняла ему больше неудобств, чем многие прочие колючки. А боль? Барбаросса не была уверена в том, что профессор Кесселер все еще сознает смысл и значение боли — после всего того, что произошло с его телом.

«Рудольф Тишнер из Мюнхена, один из самых одаренных демонологов последних двух веков. Подарил нам шестую книгу «Лемегетона», которая считалась давно утраченной, заклил бесчисленное множество демонов, обрел богатство, славу и власть. На сто третьем году жизни он совершил ошибку, которую я отобью желание совершать у вас, недоучек второго круга — неправильно написал команду «urpsögn». К тому моменту, когда его почтенная супруга пришла домой, она обнаружила, что слуги господина Тишнера порядком потрудились, чтобы украсить обстановку к ее приходу. Из кожи господина Тишнера они соорудили милые чехлы для мебели, украшенные вышивкой из его же волос. Из его костей вышла пара изящных садовых кресел. Из его кишечника трудолюбивые создания сплели половичок, а череп превратился в прекрасную резную шкатулку, внутри которой хранились те его части, которые могли быть памятны супруге...»

Профессор Кесселер улыбался, глядя на них. Улыбался несмотря на то, что это должно было доставлять ему чертовски много неудобств.

«Мой коллега, почтенный профессор Уэйт из Йоркского университета. Трудями демонолога заработал себе такое состояние, что имел прогулочную карету,

инкрустированную чистейшими рубинами, и сорок тысяч фунтов годового дохода. Заклял самого адского герцога Дубилона, что ранее считалось невозможным для человека. И что же? Одна нелепая ошибка в синтаксисе, которую допустил бы только школяр, из-за которой оказалась нарушена иерархическая система команд, а одна часть охраняющих сигиллов подавила другую. Некоторые считают, что произошедшее с профессором Уэйтом было наказанием за его дерзость, другие — наградой Ада за его многолетние изыскания. Профессор Уэйт был превращен в какую-то дьявольскую машину, состоящую из тысяч костяных шестерен и валов, сообщающихся между собой передачами из мышц и кожаными стяжками. Эта машина столь велика, что занимает собой целое здание и работает днями напролет, но до сих пор ни один демонолог не смог понять, над чем она трудится и какую работу выполняет. Известно только, что каждую ночь она кричит голосом профессора Уэйта, и кричит так истошно, что даже охрана не в силах вынести этих криков».

Барбаросса помнила, как болезненно ждалось нутро. И как Котейшество, сидевшая рядом, незаметно положила свои пальцы ей на предплечье, мягко сдавив. И от одного этого короткого движения, почти неощутимого, все демоны Ада вдруг разом потеряли силу, сделавшись не опаснее звенящей над ухом мошкары. И даже скрежет заноз в шкуре профессора Кесселера уже не казался таким зловещим, как прежде.

«Жан-Батист Питуа. Прожил сто шестьдесят лет, неустанно совершенствуя свой дух и знания. Разработал многие приемы из числа тех, которым я буду вас учить. Один из величайших демонологов своей эпохи. Допустил инициализацию сигила без начального значения. Превращен в гигантского дождевого червя в таллиевой короне, истекающего лавандовым маслом. Граф Жюль Дюанель. Открыватель тайнописи, скрытой в Книге Еноха, основатель собственной школы демонологии. Совершил ошибку, которую многие и ошибкой-то не посчитали бы — собрал в одной инкапсуляции слишком много абстракций. С того дня он потел серной кислотой, рыдал чистой ртутью, а испражнялся расплавленным свинцом. Шваллер де Любич, человек, в равной мере совершенствовавший Гоэцию и алхимию, удостоившийся в обоих направлениях огромных достижений и снискавший себе всемирную славу. Используя для подчинения очередного демона жесткую структуру чар, применил устаревшую интерпретацию некоторых команд, которая вызвала незаметный на первый взгляд конфликт с некоторыми переменными сущностями... Он превратился в бородавку на носу у своего швейцара. Лазар Ленен, Морис Магр, Георг фон Веллинг... Всех их погубило их искусство. Получив толику власти над созданиями Ада, они уже не могли довольствоваться ей, требуя все новых и новых знаний, при этом прекрасно зная, что эти знания влекут их в Геенну Огненную, словно на цепи, и вопрос их гибели — всего лишь вопрос времени. Именно эту науку я научу вас постигать. А теперь, когда со вступлением покончено, обратимся к сокровищнице наших знаний. Разумеется, я говорю о «Малом ключе Соломона», более известном как «Лемегетон», и в первую очередь о его первой книге — «Гоэции»...

Хлоп!

Что-то лопнуло над ее головой, окатив каплями какой-то липкой дряни. Будто мяч из невысушенных козьих кишок, по которому хорошенько поддали ногой, или огромная медуза или...

Хлоп. Хлоп. Хлоп.

Прохожие вокруг завизжали, прикрываясь веерами и зонтами, некоторые принялись с отвращением вытирать лица носовыми платками. Барбаросса и сама мгновенно отскочила

под прикрытие ближайшего карниза, спасаясь от слизких холодных брызг, норových угодить за пазуху. Что за дрянь? Это была не дождевая вода, да и пахло прескверно. Только тогда, когда какая-то прилично одетая дама в двух шагах от нее принялась визгливо браниться, грозя кому-то кулаком, Барбаросса сообразила задрать голову вверх.

Тучные габсбурги, усеявшие паутину над ее головой, лопались один за другим с негромким хлюпаньем, оставляя лишь висящую на проводах сморщенную оболочку, похожую на сморщенное, едва выстиранное белье. Кто-то или что-то заставляло их взрываться изнутри, немилосердно заляпывая своими слизистыми дурно пахнущими потрохами стены, мостовую и случайных прохожих внизу.

Красивая работа, но ни хера не аккуратная, кто бы это ни делал.

В паутине из проводов быстро воцарился переполох. Может, габсбурги и были примитивными тварями, способными лишь поглощать городской мусор да гадить прохожим на головы, но даже самым примитивным тварям известен инстинкт самосохранения. Тучные отродья, похожие на насосавшихся крови клопов, испуганно бросились прочь, перебирая неуклюжими, почти атрофировавшимися за годы праздного безделья лапками провода-паутинки. Но далеко убежать не успевали — сами надувались и лопались, извергая на мостовую все новые и новые потоки слюдянистых едко пахнущих внутренностей. Некоторые от испуга не удерживались на проводах и падали вниз, производя приятный уху хлюпающий звук, их, улюлюкая и свистя, охотно добивали палками уличные мальчишки.

Барбаросса ощутила в окружающем эфире легкое возмущение вроде того, что сопутствует любым чарам, от которого у нее возник легкий зуд между лопатками. Ворожба. Кто-то рядом творит ворожбу, и весьма активно, раз уж ее невеликое чутье это распознало. Она зашарила взглядом по улице, пытаясь отыскать его источник...

— Не здесь, — досадливо буркнул гомункул из-за плеча, — Правее. Мужчина в темном плаще поверх дублета.

Только тогда она его и увидела. Худой высокий тип в темном, замерший на противоположной стороне улицы. Неудивительно, что она сразу его не заметила. Он не жонглировал молниями, не сыпал искрами, в общем, не делал ничего из того, что делают ворожеи на сцене. Вместо этого он, сосредоточенно глядя в небо, быстро-быстро орудовал руками, будто чертя что-то в небе или дирижируя невидимым оркестром. Отвечая на его движения, габсбурги, снующие в паутине, лопались один за другим, превращаясь в серое тряпье, реющее на ветру, немилосердно заляпывая слизкими потрохами внутренности.

Чернокнижник, мгновенно определила Барбаросса. И, судя по начищенному горжету на груди, отнюдь не бездельничающий фокусник, а специалист своего дела, нанятый городским магистратом. Знать, обитатели Меттильштадта испортили до черта бумагу, составляя кляузы для бургомистра, жалуюсь на загаженные габсбургским пометом кареты и шляпы, вот ратуша и прислала чернокнижника заняться этим вопросом. Заплачено ему, по всей видимости, было не золотом, а серебром, и заплачено скупно, потому и делом он занялся небрежно, совершенно не задумываясь о том, сколько причесок и париков окажется заляпано горелым ихором...

Черт, ловко же у него это выходило! Не очень изящно, но ловко.

Однако прежде чем Барбаросса успела восхититься вслух, один из габсбургов, похожий на сбежавший из тарелки буберт[1] и отчаянно пытающийся удрать от невидимой смерти, сорвался с провода, который перебирал лапами, и полетел вниз. Этому не повезло долететь до земли, как его собратьям, растопырив немощные лапы, он впился в уличный фонарь и

прилип к нему — прямо к стеклянной чаше, внутри которой извивалась зыбкая демоническая тень.

Кто-то из толпы предостерегающе крикнул, но поздно. Чернокнижник то ли не сумел сдержать уже вырвавшегося невидимого копья, то ли был слишком небрежен для тонкой работы. Половину секунды спустя фонарная колба разлетелась вдребезги вместе с габсбургом, высвободив в воздух отчаянно яркий огненный сполох.

Барбаросса ощутила, как по лицу мазнуло теплом — разлетевшийся брызгами меоноплазмы фонарный демон выпрыснул все накопленный в своих оболочках адский жар. По мостовой забарабанили оранжевые искры, потянуло паленым...

Огонь.

Иногда ее тело наглухо блокировало голос разума, подчиняясь вбитым в него инстинктам — и это частенько спасало ее шкуру. Но иногда оно подчинялось лишь древнему страху, заточенному в костях, и в такие минуты нечего было и думать перехватить поводья. Ее телом точно управлял обезумевший от страха демон.

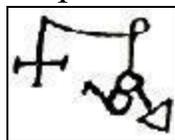
Кажется, она еще не успела расслышать звон бьющегося стекла, а страх уже заставил ее прижаться к стене — прикинуть так крепко, будто это лопнул не уличный фонарь, а само солнце, осточертевшее адским владыкам за многие века бесцельного катания по небу.

Огонь... Искры... Жар...

Она скорчилась, точно ей в лицо ткнули горячей веткой. Дыхание перехватило, сердце превратилось в катающееся внутри груди тяжелое огненное яблоко. Во рту пересохло, а по костям прошел жуткий дребезжащий гул...

Дьявол. Она смогла бы подготовиться, если бы это не случилось так неожиданно.

Она приучила себя не бояться потрескивающего пламени свечей и жирного, распространяющего удушливый запах, огня масляных ламп. Она даже привыкла сидеть возле горящего камина в Малом Замке, почти не вздрагивая. Но здесь чертово пламя застало ее врасплох, разбудив дремлющие рефлексy. Рефлексy, которые, должно быть, укоренились в ее теле еще глубже, чем старина Цинтанаккар...



Страх понемногу отпускал ее кишки, позволяя разжать зубы и вздохнуть, но недостаточно быстро, чтобы это осталось незамеченным для внимательного гомункула.

— Великолепно, — сухо констатировал Лжец, — Подумать только, в этом городе несколько тысяч ведьм, но мне досталась именно та, что боится огня. Черт, нелегко же придется твоей душе в адских чертогах!

— Я не боюсь огня, — зло процедила она сквозь зубы, — Я просто...

Просто оказываюсь парализована смертельным ужасом, когда ощущаю близкий жар и слышу этот треск, подумала она с отвращением, ощущая, как тело неохотно высвобождается из когтей страха. Невинная маленькая слабость крошки Барби...

Оплошность чернокнижника досадила не только ей. Какая-то дама отчаянно завизжала — ей на шляпку шлепнулись горящие останки габсбурга, превратив пышный букет из перьев в потрескивающий костер. Дама испуганно сбросила объятую пламенем шляпку и завизжала. Сразу несколько солидно одетых господ бросились к ней, чтобы спасти от огня, восторженно захохотали уличные мальчишки, негодуяще загудел аутоваген, которому преградили дорогу...

Оконфузившийся чернокнижник счел за лучшее не продолжать выступления. Не наградив публику даже поклоном, он закутался в плащ и поспешно потрусил прочь, спасаясь от смешков и презрительных возгласов. Никчемный шут. Тоже, небось, мнит себя знатоком в адских науках, повелителем энергий и демонов, а сам...

— Я не боюсь огня, — сухо произнесла Барбаросса, глядя ему вслед и поправляя дублет, — Да будет тебе известно, мелкая блоха, я родилась в Кверфурте. У нас там больше огня, чем ты можешь себе вообразить. Мой отец был углежогом, а небо там черное днем и ночью от гари.

— Кверфурт? — без особенного интереса уточнил Лжец, — Это еще что?

— Что, не слышал анекдота про Кверфурт? — Барбаросса усмехнулась, наблюдая за тем, как дама отчаянно пытается очиститься, в то время как сконфузившийся чернокнижник, оправив плащ, спешно удаляется прочь, — Про трех распутных баронов, демона и грязные дырки? Его знают в каждом трактире.

— Я не завсегдатай в трактирах и корчмах! — вяло огрызнулся гомункул, — Иначе, будь уверена, уже велел бы хозяину наполнить эту штуку пивом до самого верха!

— Так напомни, чтобы я как-нибудь рассказала его тебе. Животик надорвешь от смеха.

— Небось, какая-нибудь дыра сродни мышинной норе, — проворчал гомункул, — И наверняка так мала, что если туда случается заехать барону проездом, половина его лошади остается торчать за околицей...

— В Кверфурте три с половиной тысячи душ. Это город.

— Ну да. Небось, где-то в окрестностях Лаленбурга[2]?

Барбароссе вновь захотелось треснуть мешком о фонарный столб. Недостаточно сильно, чтобы расколоть банку, но достаточно, чтобы самозабвенно болтающий умник заткнулся, прикусив свой крохотный, едва сформировавшийся, язычок.

— Шестнадцать саксонских мейле[3] по северо-восточному тракту. Три дня на хорошей лошади. Но тебе лучше бы засушить сухарей и крысиных кизяков на дорогу — для тебя это, верно, три года! Пожалуй, ты мог бы взять карету, вырезанную из тыквы, и...

— Ладно, довольно, — буркнул Лжец, ворочаясь в тесной банке, — У нас с тобой общая кубышка со временем, юная ведьма, не будем тратить его впустую на никчемные споры и пререкания. Тем более, что судьба едва ли занесет меня в твой жалкий городишко, где бы он там ни коптил небо...

Барбаросса, оторвавшись от стены, двинулась прочь, пользуясь тем, что уличный переполох улегся, а незадачливый чернокнижник успел убраться восвояси. Липкие внутренности габсбургов, усеявшие мостовую вперемешку с битым стеклом, быстро испарялись, распространяя вонь тухлых яиц, кориандра и тины.

Чертов последыш. Не прошло и часа, как они сделались вынужденными компаньонами, а он уже опасно близко подошел к пределу ее терпения. Так уверен в своей безнаказанности, словно сидит в гранитном крепостном донжоне, а не в стеклянной банке...

Барбаросса ощутила, как какая-то мысль скоблит череп изнутри.

Этот заморыш путешествовал вместе с Панди. Пусть недолго, всего несколько часов, но он до сих пор жив, и это само по себе странно. Панди была рассудительной разбойницей, сведущей в своем ремесле, но определенно не относилась к тем ведьмам, которые позволяют упражняться в остроумии за свой счет, и для того, чтобы нащупать предел ее терпения, требовалась не рапира с длинным лезвием, а простой короткий нож. Вообразить ее, терпеливо выслушивающей остроты гомункула, было не проще, чем архивладыку Белиала —

кормящим уток в городском пруду.

Но ведь...

Она сберегла гомункула, не так ли? Не разбила вдребезги, хотя наверняка ее чертовски подмывало сделать это. Не продала в какой-нибудь лавке, чтоб получить пару монет, наверняка не лишних в ее положении. Не зашвырнула куда-нибудь прочь, чтоб не докучал своими остротами.

Нет. Вместо этого Панди путешествовала со Лжецом последние часы своей жизни, терпеливо снося его общество, а потом...

Накормила зельем, отбивающим у гомункулов память?

Половина ногтя толченого хинина, семь зернышек мака и трава «Мышиный хвост», почти мгновенно вспомнила Барбаросса. Заварить все это крутым кипятком, добавить каплю ртути, щепотку речного песка и комок мха, выросшего с восточной стороны крепостной стены. Остудить зелье, помешивая против часовой стрелки пучком лошадиных волос гнедой масти, а потом вылить в банку с гомункулом...

Барбаросса мысленно усмехнулась. Гляди-ка, запомнила.

Она никогда особенно не уповала на свою память. Подобно опытному шулеру, норовящему при всяком удобном случае спрятать карты под сукно, ее память погубила бесчисленное множество рецептов и алхимических формул, даже тех, которые она, казалось бы, вызубрила подчистую. Ценнейшие сведения, которыми ее пичкала Котейшество, через месяц-другой уже превращались в изгрызенную мышами ветошь. Может, потому крошка Барби никогда не могла похвастать успехами в учебе...

Но этот рецепт она по какой-то причине запомнила. Может потому, что слышала его совсем недавно, в Руммельтауне, от Котти, и память еще не успела от него избавиться. А может потому, что в нем фигурировала трава со смешным названием «мышинный хвост»...

При мысли о мышинных хвостах Барбаросса ощутила как в голове, под спудом тяжелых давящих гранитных валунов шевельнулось что-то крохотное, юркое, гибкое. Какая-то мыслишка сродни мышиному хвосту... Кажется, эта мыслишка вилась там уже давно, не первый час и Барбаросса на миг даже позавидовала катцендраугам Котейшества — человеческие пальцы были слишком грубы, чтобы ее сцапать...

Могла ли Панди приготовить это зелье?

Пожалуй, что могла. Зелье несложное — раз уж сама крошка Барби его запомнила! — не требует даже лабораторного оборудования и может быть приготовлено даже полуграмотной школяркой у костра, не то, что ведьмой третьего круга, но... Мышиный хвост еще несколько раз дернулся под камнями, о чем-то сигнализируя.

С одной стороны, Панди никогда не демонстрировала тяги к учебе. Ее ремеслом были чужие замки, а не покрытые плесенью гримуары старых европейских чернокнижников, и в этом ремесле в Броккенбурге ей не было равных. Если она умудрялась выдерживать экзамены из года в год, то лишь благодаря дьявольской хитрости, позволявшей ей списывать ответы, зачастую под самым носом у безжалостных экзаменаторов, да щедрости, благодаря которой профессорские кошельки после экзамена звенели куда жизнерадостнее и громче, чем до него.

Нет, Панди никогда не мнила себя великой ведьмой. Она была непревзойденной воровкой, удачливой грабительницей, известным на весь город вертопрахом, безжалостной бретеркой и возмутительницей порядка, но адские науки никогда не относились к числу ее любимых предметов. С другой стороны... Черт, в Панди хватило бы талантов на сорок

ведьм! Некоторые она демонстрировала, легко, почти небрежно, другие сохраняла в тайне, для собственного использования. Вполне может быть, ей в самом деле был известен рецепт зелья, но...

Невидимый мышинный хвост еще несколько раз неуверенно дернулся.

Для чего ей было отбивать память гомункулу? Какие познания хранились в его разбухшей, как еловая шишка, уродливой голове? И какой был в этом смысл, раз уж сама Панди, хитроумная воровка, так и не смогла обмануть судьбу, обретя могилу на заднем дворе прелестного домика на Репейниковой улице?..

Похер, подумала Барбаросса, ощущая, как налившись тяжестью башмаки от этой мысли вновь делаются легкими. Она позволит Лжецу, этому жалкому комку самонадеянной слизи, и дальше считать себя ее компаньоном. Протеже. Советником. Позволит даже язвить, потешаясь над ее лицом и сообразительностью. Наслаждаться своей ученостью столько, сколько влезет. А потом...

«Мышиный хвост».

Барбаросса приглушила эту мысль, чтобы та ненароком не выскользнула наружу, сделавшись достоянием гомункула, укрыла, точно удавку в рукаве. Когда она разделается с демоном и его хозяином, она сварит это зелье— и собственноручно угостит им малыша Лжеца. Господин мудрец не вернется на ненавистный ему кофейный столик. Он обретет новый дом — на кафедре спагирии, в лекционной зале профессора Бурдюка.

Долгими зимними вечерами, дожидаясь Котейшества после занятий, она будет изводить этого выблядка, беснующегося в банке, как некогда изводила Мухоглота, сочиняя самые колкие остроты и щедро угощая побелкой с потолка. И то, что он не будет помнить нашего с ним короткого путешествия, ничуть не умалит ее удовольствия.

Но пока... Пусть считает себя ее компаньоном. Она вытащит из этого спесивого ублюдка все, что он может ей дать, а после...

— Расскажи мне все о нем, Лжец.

Гомункул недовольно завозился в своей банке.

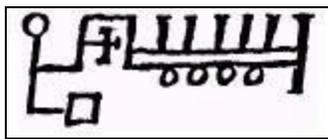
— Ты, верно, думаешь, что мы с Цинтанаккаром водим близкую дружбу? Раскладываем картишки вечерком и дымим трубочками, вспоминая старые добрые деньки и девок, которых мы тискали в юности? Он — демон, черт тебя возьми! Может, самый опасный в своем роде, а я всего лишь...

— Я помню. Четыре пфунда несвежего мяса в банке.

— Вот именно, — подтвердил гомункул, — То, что у меня была возможность наблюдать за его охотничьими ухватками, еще не говорит о том, что мы приятели! Я был свидетелем его трапез, не более того.

Барбаросса мотнула головой.

— Я хочу знать не о нем. О его хозяине. И о твоём.



Из банки с гомункулом донесся негромкий скрип, видно, коротышка, собираясь с мыслями, по свойственной ему привычке потирал своими иссохшими ручонками стекло.

— Ты говоришь о господине фон Леебе?

— Да. О старике. Так уж случилось, мы с ним не свели близкого знакомства...

— Исключительно по твоей вине, юная ведьма, — поспешил вставить гомункул, — Ты

могла бы остаться на чай и свести с ним личное знакомство — кабы не улепетывала с обожженными пятками. Уверен, вы бы сделались лучшими друзьями. Его старомодная галантность может быть немного утомительна, но он отлично разбирается в старых винах и знает, как ухаживать за дамами. Кроме того, его память прямо-таки набита курьезными анекдотами столетней давности и занимательными историями той поры. Черт, вы бы отлично провели время!

Барбаросса не без труда сдержала вертящуюся на языке резкость. Этот сученок нужен ей, как ни крути. Нужно все, что имеется в его головешке, похожей на раздувшийся гнилой орех. Пусть пыжится от гордости, пусть позволяет себе колкости, пусть мнит себя компаньоном — сейчас он единственный ценный ресурс в ее распоряжении и, черт возьми, она выжмет его досуха, прежде чем отдать профессору Бурдюку.

— Если хочешь узнать, на что способна рапира в руке противника, первым делом изучи саму руку, — небрежно произнесла она, — Посмотри, как она держит прочие предметы — ложку, карты, трубку. Как она двигается, как шевелит пальцами. Как подтирает задницу. Цинтанаккар — это рапира. Но чтобы понять, как ей противодействовать, я должна знать больше о пальцах, держащих ее. О старике.

Гомункул издал смешок, показавшийся ей колючим камешком, угодившим в башмак.

— Хорошая мысль. Пожалуй, даже слишком хорошая, чтобы родиться в твоей голове.

Барбаросса едва удержалась от того, чтобы не тряхнуть мешок как следует. Мысль и верно была не ее собственной, она принадлежала Каррион, сестре-капеллану «Сучьей Баталии», но показалась ей достаточно изящной, чтобы Барбаросса запомнила ее дословно и держала в памяти, как великосветские шляхи держат в своих шкапулках любовно высушенные цветы. Тем обиднее был язвительный комментарий гомункула.

— Расскажи мне про старика, — жестко произнесла она, — Все, что знаешь!

Гомункул хихикнул.

— Все, что знаю? Ну, изволь. Господин фон Лееб обыкновенно встает в шесть утра — старая солдатская привычка, но по субботам может оставаться в постели до полудня. Он выписывает «Саксонскую газету» и лейпцигскую «Доходную газету», но из первой обыкновенно читает лишь литературный листок и некрологи, утверждая, что после истории Штайнера-Винанда она сделалась прибежищем узколобых социал-демократов с головами, набитыми одними только смутными химерами и нюрнбергскими колбасками. Он следит, чтобы правый его сапог был подкован четным числом гвоздей — какое-то старое суеверие, бытовавшее среди артиллеристов полсотни лет тому назад. Не пьет молока, считая, что оно вредно для печени, и не курит сигар, а курит обыкновенно персидский табак, но в меру, от курения натошак у него делается кашель. Терпеть не может утренних развозчиков, когда те громяют своими телегами по мостовой и может ругаться с ними через окно по полчаса. Не читает современных книг, утверждая, что от них его мучает изжога, а читает только Ролленхагена и Циглер унд Клиппгаузена[4], но обычно небрежно, слабо вникая в текст. Является приверженцем теории полый Земли Галлея, с тем лишь отличием, что считает, будто внутри нее помещаются три вращающихся ядра — из мягкого олова, твердого вольфрама и раскаленного фермия. Презирает кларнеты и флейты, находя, что они пищат по-мышинному, но уважительно относится к бандонеону[5] и...

Сворачивая за угол, Барбаросса нарочно резко повернулась на каблуках, чтобы мешок за ее спиной ощутимо подпрыгнул, заставив гомункула испуганно вскрикнуть.

— Не играй со мной, Лжец. Ты знаешь, что я имею в виду.

Гомункул засопел. Забавно, хоть он и размещался за ее спиной, скрытый к тому же плотной мешковиной, она так легко представила себе угрюмую гримасу на его сморщенном личике, будто видела его воочию перед собой.

— Что ты хочешь знать, Барбаросса?

В его голосе не слышалось покорности, но он, по крайней мере, назвал ее полным именем, и это было добрым знаком. Черт возьми, может, он невеликого мнения о ней и о ее владыке, но она заставит его воспринимать малышку Барби и ее намерения всерьез. Чертовски всерьез.

— Я хочу знать все о старике, — жестко произнесла она, — Каков он? Чем занимается? Но главное — в чем его интерес?

— Интерес?

— Он ведь херов садист, так? Но ему лень самому работать ножом, ему нравится скармливать ведьм своему цепному демону! Верно, он наблюдает за тем, как Цинтанаккар у него на глазах разделывает своих жертв. Может, он дрожит при этом? Катается по останкам, как гиена? Обмазывается кровью и желчью?

Гомункул ухмыльнулся. Так отчетливо, что Барбаросса, замешкавшись на ходу, едва не угодила башмаком в лужу.

— Нет. Насколько мне известно, ничего такого он не делает. Это не в его привычках. Не суди всех хищников в Броккенбурге по своим повадкам и повадкам своих сестер, юная ведьма.

Дьявол. Даже сейчас он находил способ язвить ее. Будто это не он был беспомощным коротышкой, запертым в стеклянной тюрьме, а она, крошка Барби. Будто это она тщетно елозила носом по стеклу, силясь найти выход, вновь и вновь натываясь на прозрачную преграду...

Спокойно, Барби.

Учись держать удар, как учила тебя сестра Каррион, и сама не забывай орудовать рапирой.

— Почему он вообще отпускает их? Если ему нравится наблюдать за их мучениями, он мог бы запирает их, едва только Цинтанаккар заберется им в требуху. Вместо этого он отпускает их восвояси, позволяя бегать на привязи еще семь часов. Это... странно, ведь так?

— Господина фон Лееба во многих отношениях можно назвать странным человеком. И это отчасти понятно. У него была непростая молодость.

— Война в Сиаме. Уже слышала.

— Она порядком его пожевала, — гомункул негромко хмыкнул, — Как и многих прочих его сослуживцев, брошенных вариться на долгие восемь лет в чертовых плотоядных джунглях. Вернувшись оттуда, он приобрел многие привычки и склонности, которые мне непонятны и которые я бы не смог объяснить. Например, вернувшись в Саксонию после Сиамы, он отказался продолжать карьеру, несмотря на то, что имел самые лестные рекомендации, отличный послужной список и опыт. Без сомнения, он мог бы добиться на этом поприще немалых успехов. Однако вместо этого предпочел уйти на покой в отнюдь не старом возрасте, удалившись от мира и наглухо заколотив двери.

— Вот как...

В банке за спиной ощутимо плеснуло, должно быть, гомункул азартно кивнул.

— Имея недурную пенсию, он мог поселиться в Тарандте или в Бад-Дюбене, а хоть бы и в Дрездене. Однако предпочел никчемный Броккенбург, прилепившийся к верхушке никому

не нужной горы, чертовски далекий от столичного лоска и привычных ему развлечений, но в то же время полнящийся беспокойными юными чертовками, мнящих себя ведьмами и упражняющимися в искусстве резать друг друга почем зря. Это ли не странно?

— Возможно, — неохотно признала Барбаросса.

— Мало того, он не продал свой офицерский патент, хоть мог влегкую заработать на этом триста-четыреста гульденов, зачем-то оставил при себе, несмотря на то, что давно повесил на гвоздь саблю.

Барбаросса зевнула на ходу.

— Значит, он попросту рехнулся. Выжил из ума в этом своем Сиаме. Верно?

Гомункул некоторое время молчал. Из мешка не доносилось звуков, не было слышно даже плеска раствора в банке, но Барбароссе отчего-то показалось, что сморщенный уродец с раздутой головой сейчас сидит на самом дне, задумчиво чертя лапкой на стекле видимые только ему глифы.

— Он не сумасшедший, — наконец негромко обронил Лжец, — Даже если ты склонна считать его таковым.

— А он? Кем он себя считает?

Гомункул усмехнулся.

— Кем-то вроде исследователя, я полагаю.

Исследователя? Барбаросса едва не поперхнулась.

Старый хер, которого она никогда не видела, но шаги которого отчетливо слышала наверху, не был похож на исследователя. Уж не больше, чем она, крошка Барби, на приму-танцовщицу императорского театра. У него в доме не было алхимических реактивов и реторт, обычных для всякой лаборатории, не ощутила она и едкого запаха химикалий, который неизбежно пронизывает все кругом. В тесном полутемном домишке, заживо съедаемом тленом изнутри, не имелось ни отшлифованных линз, ни тигелей, ни других штук, которым полагается быть во всякой мастерской уважающего себя исследователя. Одна только ветхая, подточенная жуками, мебель, толстый слой пыли на полу да потерявшие прозрачность оконные стекла. Если в этом домишке и можно было предаваться исследованиям, то только лишь исследованиям столетней пыли...

Ничего, подумала Барбаросса, едва только она найдет способ оторвать от своей шеи когти демона, как проведет свое собственное исследование. Исследование того, как долго может сохранять жизнь человек, из которого медленно выходит кровь. Господин фон Лееб будет доволен, в этом исследовании он сможет выступить и наблюдателем и главным действующим лицом. А уж она постарается, чтоб та выходила медленно, очень медленно...

— Ты как будто выгораживаешь его, Лжец?

В этот раз она отчетливо ощутила, как коротышка покачал головой.

— Это я-то? Мы, знаешь ли, не были с ним приятелями. Он уважал меня не больше, чем кусок черствого сыра в мышеловке. Я был приманкой, не более того. Впрочем, иногда мы с ним даже беседовали...

— Да ну?

— Пожалуй, это сложно назвать беседой. Иногда, когда его одолевала бессонница, такая, что не помогало ни вино, ни «Amantes amentes» Ролленхагена, он, бывало, спускался вниз среди ночи и разговаривал со мной.

— Что он рассказывал?

Лжец хмыкнул.

— А что может рассказывать одинокий старик, мучимый бессонницей? Истории из жизни, конечно. Обычно из той поры, когда он служил в Сиаме. По правде сказать, большая часть его рассказов была никчемным трепом. Чего еще ждать от старого служаки?.. Разыгранные с сослуживцами партии в карты, тяготы ночных дежурств, унижительные выволочки от старших по званию, бесконечные смотры и учения, офицерские кутежи, вездесущая прусская бюрократия... Но некоторые... Некоторые из них врезались мне в память. Настолько, что я, пожалуй, могу повторить их дословно.

Барбаросса не собиралась слушать. Побасенки старого ублюдка о днях воинской славы интересовали ее не больше, чем оставленные крупелями слизкие следы на мостовой Унтершгадта. Едва ли, копошась в его старых подштанниках, можно найти уязвимое место или напасть на нужный ей след. С другой стороны...

Барбаросса вздохнула. Панди потратила до черта сил и времени, пытаясь привить ей толику благоразумия, заставить ее сдерживать свои порывы, быть ведьмой, а не уличной разбойницей. Видит Ад, она уже достаточно наказана за свою невнимательность и неразборчивость в средствах, как и за излишнюю самоуверенность. Быть может, если она хочет выбраться живой и невредимой из этой блядской истории, ей стоит как раз переменить коня. Хоть раз в жизни проявить терпение и такт вместо того, чтобы пытаться своротить крепостные стены собственным лбом...

— Рассказывай, — неохотно бросила она, — Только поживее. И не перевирай.

— Не буду, — заверил ее Лжец, — Может я и прожил на свете семь полных лет, но память у меня крепкая, как у двухлетки.

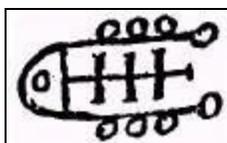
Он немного поерзал в своей банке, будто устраиваясь поудобнее. Наверняка это должно было выглядеть весьма комично. Не хватало только крохотного креслица и маленького, сложенного из щепок, камина. Может, предложить ему еще миниатюрную трубочку, набитую мхом и конским волосом, которую он сможет посасывать, пуская пузыри? Но Барбаросса не собиралась острить на этот счет. Не до того.

— Херовая погода, а, сморчок? Ты смотри, с обеда льет, да и ночью, видать, не перестанет. Точно все демоны ада приняли Броккенбург за свой ночной горшок, ссут днями напролет. В этом доме нет ни одного сухого угла, а от сырости у меня ломит кости, не спасает даже ореховый шнапс...

Когда Лжец заговорил, Барбароссе показалось, словно он враз сделался старше на много лет и даже сама банка будто бы потяжелела вдвое. Он не говорил перхающим фальцетом, который используют играющие стариков актеры в театре, не менял тембра, но в его голосе отчетливо зазвучали чужие интонации, из-за которых сам голос казался чужим.

Это было забавно — и в то же время немного жутковато. Будто бы в банке у нее за спиной на месте съездившегося комка несуразной плоти возник крохотный старичок, сердито глядящий сквозь стекло...

— Эта блядская сырость напоминает мне Банчанг. Ты был в Банчанге, сопля? Не был? И верно, куда тебе... А я был. В шестьдесят седьмом, как сейчас помню. Нас с парнями перекинули туда осенью из Пхукета, и почти сразу мы поняли, почему гауптман Бернхард из Артиллерийской комиссии, вырвавшийся из этой дыры месяцем раньше, именовал это местечко не иначе, чем Холерное болото...



Оно и выглядело как болото — херова трясина, состоящая из равных долей жидкой глины, малярной воды и мочи. Одна сплошная смердящая похлебка, которая с равным аппетитом пожирала павших лошадей и наши собственные сапоги. Шагнул в сторону с тропы — сапога нет. Сошел с лошадыю — считай, остался с одним седлом и уздой, все прочее уже не вытащишь. А уж сколько в этом дерьме наши обозники телег утопили и вовсе не сосчитать...

Банчанг — это городишко на берегу Сиамского залива, сопля, чтоб ты знал. Городишко — это по тамошним меркам, понятно, по нашим это даже и деревней назвать язык не повернется. Что-то около трех сотен домов, все из дерева, глины и обожженного коровьего дерьма — лягушачьи хижины, а не дома. Сыро там в любую погоду до чертиков, а мостовые — одно только название, потому как из гнилых досок. Если в этом болоте что и было из камня, так это три форта по периметру, их наши же ребята насыпали из саперной роты, все прочее — сплошь дерево и глина.

Мы после «Гастингса» малость осоловевшие были, шутка ли, осаду три месяца держать, потому не сразу поняли, куда нас шлют, когда демон-посыльный из штаба примчался. Что еще за Банчанг? За каким хером нам туда? Своих артиллеристов нет?

Самым мудрым из нашей компании оказался Вольфганг. Недаром ему первому в апреле обер-фейерверкера присвоили. Мудрец! Философ! Он, как только про Банчанг услышал, отправился в местный трактир, заложил свои парадные шпоры и купил штоф «Хьонг-Чан». Это такая рисовая водка, сморчок, едкая что кровь демона и дёгтем отдает. И сам ее потихоньку и выцедил за время полета. Знал бы я, как лететь будем, сам напился бы до полусмерти!

Летали мы тогда на вендельфлюгелях класса «Кроатоан» — хорошая машина, надежная, но со своим норовом. Может тащить в себе дюжину душ пехоты, легко, как пехотинец тащит пороховые натруски в банадельерке, или брать вместо них на борт две двенадцатифунтовые пушки. А уж если надо резко взмыть в небо, тут и вовсе равных ей нет — ну чисто ястреб над баварскими кручами... Но это тебе не телега. Недаром возницы перед вылетом в пасть демонам полный бочонок свиной крови заливали, да и при себе небольшой запас всегда имели. Проголодаются демоны в полете — от тебя до земли разве что одни сапоги долетят, все остальное еще в небе по клочку растерзают. Опасные машины, с истинно-звериным духом...

Мы думали дойти до Банчанга на сверхнизких. У нас так заведено было — выше двух сотен клафтеров[6] над землей не подниматься, идти над самыми деревьями. Почему? Отучили нас сиамцы высоко летать. Еще в шестьдесят третьем отучили. Ты-то, небось, с монсеньором Гуделинном не сталкивался, а, потрох куриный? Ну булькай, булькай, оно и понятно, что не сталкивался. А мы этого знакомства полным лаптем хлебнули.

Монсеньор Гуделинн — это демон из свиты Гаапа, прирученный сиамцами. Не знаю, какой он масти и какого звания, кем он в адских чертогах служит и кому присягал, но большего ублюдка я в жизни не видел. Кровожадная тварь, способная часами дремать в джунглях, особенно там, где потемнее, но чующая винты вендельфлюгеля за несколько мейле. Расстояние для него не помеха, а пушки наши он и вовсе за оружие не считал. Выныривал между деревьев с распахнутой пастью — тут уж у твоей птички две секунды в запасе, успеет или нет... Черт, как бы мы ни хитрили, какие бы маршруты ни закладывали, один хер в неделю по три-четыре вендельфлюгеля сжирал.

Банчанг, да... В Банчанг мы с ребятами добрались с ветерком, а сели «по-славатски» —

это когда садишься так, что задницу отшибает на трое суток, а в голове звезды звенят. Это демонам из «Кроатоана», что тащили нас по небу, встретила стайка голубей и они, озверев и щелкая пастями, устремились в погоню — едва не угробили и нас и весь экипаж. Спасибо возницами, укротили чертей, заставили сесть, хоть и резко...

Ох как блевали мы, приземлившись, любо-дорого вспомнить! Точно полевая батарея, залпами в разные стороны крыли. Одному только Вольфгангу свезло. Насосавшись водки, он тихо-мирно дрых всю дорогу, даже небесных ухабов не заметил...

Дьявол, вино расплескал. Пальцы дрожат, вишь ты... Это после той контузии в семьдесят первом. Возле меня тогда пороховой погреб взорвался. Обслужу, мальчишек, всех размазало да передавило, а меня только вышвырнуло из дверей, точно пробку из шампанского, с тех пор пальцы и дрожат...

О чем я, сопля? Банчанг? И верно — Банчанг.

Дерьмовое это местечко, братец. Банчанг — это такое болото в болоте, а вокруг него еще болото и джунгли. Как шутил Хази, тридцать сортов грязи по цене одного. И двадцать тысяч озлобленных сиамских ублюдков с глазами узкими как пизда у двенадцатилетней шлюхи, сидящих в зарослях вокруг города и ждущих удобного момента, чтобы всадить бамбуковое копьё тебе в задницу! Понял? Ни хера ты не понял, козявка херова! По лицу твоему гадскому вижу! Не было тебя там, ни хера-то ты тамошней грязи и не пробовал. А мы пробовали. Я — это, значит, мы с Вольфгангом, а еще Хази, Артур Третий, Феликс-Блоха и мальчишка Штайнмайер. Да что там перечислять, в Банчанге в шестьдесят седьмом много всякого люду намешано было, куда ни плюнь — на аксельбант попадешь, а уж нижних чинов и вовсе без счета, тысяч десять.

С другой стороны... Черт, может, Банчанг и был чертовой дырой, но не самой скверной из тех, что распахнулись в том году по всему проклятому Сиаму. Да, болото, да, малярия гуляет, да, смердит все и гниет на сто мейле в округе, но в шестьдесят седьмом где иначе было? Можно подумать, в других местах наш брат крем-бланже золотой ложкой черпал!

Под Лампхуном сиамцы в ту пору как раз Вторую дивизию графа фон Хольтцендорфа догрызали. Заманили их в теснину между болот, окружили со всех сторон и глодали помаленьку, точно стая крокодилов бьющуюся антилопу...

В Патани Карл Генрих фон Астер это блядское племя пока теснил, но сил у него оставалось все меньше, а против него не просто дикари с копьями воевали, а туземные мушкетеры под командованием самого Ульриха Левендаля, переметнувшегося на сторону Гаапа, так что и ему тяжело приходилось.

На севере императорские войска еще худо-бедно крутились, выжигая джунгли огнем, но на юге дела шли все хуже и хуже. Большая часть саксонских частей сидела в осажденных гарнизонах и нос наружу высунуть боялась. Мало того, перепуганные насмерть штабисты, едва шевелящие губами от опиума, плели, будто сиамцы затевают по весне новую кампанию, и такую, что мы все живо припомним Нонгкхайский Кошмар...

Банчанг — это, конечно, болото, но, веришь ли, к этому болоту мы вскорости уже привыкли.

Сыро, хлюпко, миазмы, малярия, но, как ни крути, считается тылом. Чертовы сиамцы могут перед рассветом подобраться к городу да накрыть его каменной картечью из своих мортирок, которые они наострились по джунглям перетаскивать, но, по крайней мере, по улицам не шныряют и удавки на шею не набрасывают. Жить, значит, можно.

Гарнизон там был основательный, опытный, пятьсот душ и при пушках, так что

поначалу мы большой беды не чувствовали. Мы к тому времени уже три года порох нюхали и гнилую воду пили, не зеленые новобранцы чай. Ну, думаем, дело нам здесь гиблое, но не безнадежное. Будем при фортах сидеть со своими пушчонками, ворон пугать да порох изводить. Какая еще здесь работа артиллеристу?.. Шесть часов отдежурил на батарее и свободен, хочешь — водку рисовую пей, хочешь — блох учи по платку шеренгами маршировать.

Скука, понятно, гиблая, но в гарнизонной службе это дело обычное. Если комендант толковый, он своим пушкарям и в картишки переброситься разрешит, ежели не в ущерб службе, и гульнуть с товарищами. Ну а если хозяйство пушечное держать нужным образом и без ржавчины, раз в месяц можно и увольнительную в Районг выхлопотать.

Районг — это тебе, сопляк, не Дрезден, понятно, тоже городишко крошечный, наполовину в грязи утопший, но, по крайней мере, не болото кромешное и отдохнуть можно, как положено офицеру. Вино — и не рисовое дрянное, а пристойное, как нормальные люди пьют! Трактиры, опять же, на европейский манер, с музыкой, и жратва нормальная, не ползает по тарелке...

Только наши парни в Районг, понятно, не за вином и музыкой мотались, а за девочками. Девочек из Районга на все гарнизоны славили, такие комплименты подчас отпускали, что даже я заслушивался. Такие, брат, шлюхи, что и в Дрездене таких нет. Платить им полагалось не деньгами, а специальными марками, мы их вместе с жалованием получали как раз для таких надобностей, так веришь ли, за пять марок можно было весело всю ночь провести. А если еще полновесный талер в придачу сунуть, так неделю из койки не выпустит, выжмет как лимон!

Ох уж эти мамзельки... Между прочим, некоторые из наших, кому невтерпёж, в курьезные истории из-за них попадали. И нет, я не про гонорею да сифилис, это-то ерунда. Амулет от сифилиса талер стоит, а если и не сработал, идти к нашему полковому коновалу, штабсарцу Фойригу, он тебя ртутной мазью и кровопусканиями на ноги поставит. Нет, я о другом. Подцепит кто из наших, допустим, девчонку из числа тех, что нарочно возле офицерского трактира ошиваются. Сложена как надо, печатей адских владык и парши на коже нет, мало того, выпуклости под корсетом приятные, да и бочок мясистый... Ну, тащит ее, конечно, на квартиру или куда еще в таких случаях полагается. Швыряет в койку, стаскивает юбку, а там... Мать честная! Ствол артиллерийский, как шутканул наш Хази, и не мортирка, а вполне себе длинностволка, да еще при ядрах! Вот тебе и мамзелька!

Там, в Сиаме, это в порядке вещей. Демоны там испокон веков шутят так. Перекраивают мужское с женским абы как, не по какой-то причине, а для смеху. Многие наши попались, включая мальчишку Штайнмайера, ну и потешались же мы над ним потом!..

Налей мне вина, сморчок. Дьявол, я и забыл, что ты в банке. Толку от тебя, как от глисты... Сиди, сам налью!

Черт, я же про Банчанг начал, про Холерное болото...

Думали мы с парнями, просидим в тамошних фортах месяц-два, а там уж пора и честь знать. Обрато отправят, на корабли. На кораблях, по правде сказать, жизнь тоже не лучшая — тухлая вода, качка, огня не разжечь, теснота жуткая, койку повесить некуда, но некоторые наши, особенно из числа тех, что успели побывать под Лампангом, рвались туда отчаянно. Там, под Лампангом, в шестьдесят седьмом пекло было, точно в Аду. Гаповы прихвостни такой ордой перли, что наши бронированные аутовагены увязали в сыром мясе, точно в грязи, а пехотные багинеты ржавели от крови, сколько их песком ни чисти.

Вот кто по-настоящему хлебал грязь с говном полной ложкой, так это пехота. Эти как с кораблей сходят, так узкоглазые со всего города сбегаются посмотреть, и есть на что! Флаги у них развеваются, штандарты трепещут, пуговицы блестят, пики колышутся, барабаны гремят, мушкеты на плечах покачиваются... Картинка, да и только! Хоть гравюру с них рисуй! А через месяц глянешь — дикари дикарями. Пуговицы порастерялись, пики поломались, мушкеты на ремнях волочатся, штандарты изгнили, а барабаны в болоте давно утопли. И сами чумазые что черти, у половины рук-ног не хватает, обожжены все, копотью и дерьмом покрыты...

Да, пехоте нелегко в Сиаме жилось. Хуже, чем нам, пушкарям, хуже чем морякам, хуже чем воздухоплавателям и прочему сброду. Их джунгли пережевали столько, что никакого счета нет, подчас целыми ротами и полками. Но даже они вытянули не самую паршивую карту в этой игре. А знаешь, кто? Рейтары.

Пехоте паскудно, ее со всех сторон огнем кроют и джунглями душат, но стоит ей зацепиться где, как она себе живо место расчистит, редут выкопает, хоть бы и посреди болота, засядет в нем и сидит, знай грязь хлебает, от сиамцев отстреливается да джунгли вокруг себя адским пламенем жжет. Хлеб у нее, понятно, не мягкий пшеничный, но и не каменный, жить можно. А вот рейтары... Этим крепко доставалось.

Хочешь знать, почему, сопля? Да ты посоображай. Пехота — штука мощная, да только в непролазных джунглях, по колению в грязи, с пикой наперевес много не навоюешь, тем более, что хитрецы сиамцы только того и ждут, чтоб ты за ними в топь сунулся. Там-то они мастаки, там-то они как рыбы в воде себя чувствуют. Часовым сухожилия подрезают и в чашу утаскивают, авангард порохowymi гранатами забрасывают, а уж ловушки такие устраивают, что хоть железные сапоги надевай, хоть кольчугу под кирасу натягивай, все равно отгрызут от тебя столько мяса, что домой вернешься в три раза легче, чем был...

Другое дело — рейтар. Лошади у них отменные, ольденбургской породы, такие по любой топи пройдут, через любую чашу пронесут. Кираса особенная, рейтарская, полудюймовой толщины, такую ни одна стрела не возьмет, да и пуля не всякая. А у самого рейтера под седлом три пары пистолей — бах! бах! бах! — узкоглазые только валяются кругом, головы что тыквы разлетаются. А разрядил пистолы — выхватил рейтшwert[7] — клинок узкий, длинный, головы под корешок смахивает...

Да, брат, рейтар — это сила. Конечно, поначалу непривычно им было на такой манер воевать, по горло в грязи. Они-то привыкли в атаку идти по-щегоольски, конной лавой да с караколями[8], а тут такой науки нету, чтоб галопом да со знаменами, тут больше хитро надо, на особый манер, тайными тропами...

Три года в ставке курфюрста пехоту на убой посылали, прежде чем поняли, что для работы в джунглях никого лучше чем рейтары не сыщешь. Тут-то и пришли им черные времена, начали их так гонять, как крестьянскую лошадь не гоняют. На разведку — рейтары, в рейд на неделю — рейтары, по деревням окрестным мятежников искать — и тут без них не обойтись. В каждой бочке затычка. Вражескую мортирную батарею найти и подавить? Рейтары. Сбитый вендельфлюгель отыскать? Рейтары. Императорского курьера с депешей или с казной сопроводить? Опять же, рейтар зови. Здорово, короче, их на той сиамской войне потрепало. Говорят, назад один из двадцати возвращался, да и тот штопаный-перештопаный, обожженный, отравленный, демонами сиамскими со всех сторон обгрызенный.

Ах, черт, что это я про рейтаров заладил, я же про нашу братию рассказывал — про

Хази, Артура Третьего, Вольфганга, прочих...

Форт в Банчанге был основательный, сам Геткант[9], по слухам, проектировал, но пушечное вооружение слабое, ненадежное. Три дюжины двенадцатифунтовых пушечек да батарея малых кегорновых мортир[10] — хватит, чтобы торжественный салют заезшему полковнику дать или джунгли маленько обтрясти, но для серьезной работы не годится. Не наш калибр, как говорится. Мало того, даже к тем орудиям приставить нас оказалось невозможно — у них ведь свои пушкари имелись...

Сушная чертовщина. Нагребли в Банчанг столько артиллеристов, что пехотную роту сбить можно, орудий им нет, а другого ремесла они не знают и что с ними делать — сам черт голову сломит. Штаб наш в ту пору частенько такие фокусы выкидывал, хоть смейся, хоть плачь, хоть всем демонам Преисподней молись. В осажденный Чонбури, к примеру, три недели пытались вендельфлюгелями помощь забросить, а когда все-таки забросили, потеряв две дюжины экипажей над джунглями, гарнизон обнаружил в сброшенных ящиках не порох, как они надеялись, и не галеты, а лошадиные седла, двести бархатных магерок[11] для полонского колониального полка да три виспеля пудры для париков. То-то они, небось, штаб благим словом поминали, когда ворвавшиеся сиамцы, ворвавшиеся в город, их живьем в масле варили! Да уж, путаница в штабах в ту пору царила отчаянная. Как всегда у нас, образцовая, на прусский манер. Все высчитано до пуговицы, до соломинки, все подсчитано, все учтено — а только херня какая-то через это творится и ничего кроме...

Что морду кривишь, сопля никчемная? Скучно тебе слушать старого солдата? Вот я тебе в банку табачку насыплю для вкуса, хочешь? Нет? Ах, какие мы нежные! Ну так слушай уважительно, если не хочешь!

Главой Гофкригсрата тогда, в шестьдесят восьмом, был Эрнст Рюдигер фон Штаремберг. Владыки наделили его долголетием за старые заслуги — в ту пору ему триста тридцать стукнуло, не мальчик — но не очень-то заботились о том, чтоб сохранить старому вояке рассудок. Говорят, к началу Сиамской кампании у него в голове бесы водили хороходы, так что на заседания Гофкригсрата он являлся в полном рыцарском доспехе с дамской кружевной мантилей поверх, общался со старшими штабными офицерами на секретном птичьем языке, которого никто не понимал, и был одержим безумными прожектами, едва было не погубившими всю затею на корню.

Может, это в его светлую голову пришла мысль отправить нас всех в Банчанг, а может, кто из адъютантов, выполнявших вместо него штабную работу, подмахнул бумажку. Как бы то ни было, судьба наша была решена. Было нам приказано, что раз уж такая история сложилась, сидите, пушкари, в Банчанге, ждите своих пушек, отдыхайте. И то добро, что на рытье траншей не отправили...

В ту пору, кстати сказать, не только мы так маялись. Там, в Банчанге, вообще прорва народа скопилась в шестьдесят седьмом, мало того, многие из тех, кому там вообще делать нечего. Народу — страсть! Не то полевой лагерь, не то бордель, не то восточный базар. Тут тебе и пехота и кавалерия и тыловые части и кто ты только хочешь. Только полкового оркестра и не хватало.

Одних только офицеров столько, что в глазах рябит от галунов и аксельбантов. И все при деле, представь себе. Кто при штабе сидит, карты портит, кто на переформирование направлен или свою новую часть ищет, кто после сражений на севере раны залечивает. Одни только мы, пушкари, болтаемся без дела, как пуговицы без мундира.

Воздухоплаватели каждый день жизнью рисковали, да и не заскучаешь, над джунглями

летая, бросая вызов монсеньору Гуделинну и его отродьям. Пехота и рейтары — те вовсе из джунглей не вылезали. Там уж если и помрешь, то не от скуки. А нам что? Только карты да рисовое вино. Через месяц и от того и от другого нас уже воротило изрядно, да и рожи наши друг дружке опротивели. Чем заняться артиллеристу без пушки? Стволы наши все еще были в Магдебурге и все никак не могли отправиться в путь, одна проверка за другой, вот и протирали мы там портками скамьи в офицерском трактире. Тоска смертная, хоть вой.

Пытались компанию сыскать, да куда там!

От пехоты в Банчанге квартировали три батальона Второй пехотной бригады принца Максимилиана, номеров уже не помню, но души отчаянные, дерьмо сиамское поболее нашего хлебали, некоторые уже третий год. Только нас они в свой круг не приняли. Мягенько, но выпроводили. Хоть и не демонологи мы, но пушкари, значит, с демонами знаем, с такими лучше дружбы не водить. Не скажешь, чтоб так уж сильно они заблуждались, по правде говоря. Пушечки-то наши не простые, демонические, не раз приходилось нам их не только вражьем, но даже и германским мясом кормить. Не приняла нас пехота, одним словом. Козлоеды херовы! Сами будто зачарованных мушкетов не носят и рун защитных на кирасах не рисуют! Ну и плюнули мы на них. Лучше с кавалерией столкнуться, у тех хоть и гонору много, зато к пушкарям привычнее, глядишь, сойдемся.

От кавалерии в Банчанге квартировал Первый королевский саксонский гвардейский полк. Богатыри! Великаны! Каждый с кеппгрудский дуб размером, а силы столько, что сиамца пополам разорвать могут. Как-то раз одного из их эскадрона черти узкоглазые с коня сшибли, баграми зацепив, так он с земли поднялся — и три дюжины вокруг себя уложил. Сперва пистолеты разрядил, потом рейтшвертом их, блядей узкоглазых, пообтесывал, пока лезвие не обломил, а последних уже кулаками забивал, точно гвозди...

Да и кони у них не простые были, ох, не простые. Особенности, рейтарские кони. Ты, козявка засушенная, таких коней отроду и не видел, ясно? Издалека вроде как обычные, только масти чудной, караковой, но с каким-то кобальтовым оттенком, что ли. А ближе подойдешь — мать честная! У одного скакуна четыре ноги, как заведено, у другого — пять или там восемь. Мало того, и по дюжине бывало. Представь, двенадцать ног, и все вольфрамовыми подковами подкованы. С глазами тоже чертовщина. У иных между собой на переносице срослись, у иных и вовсе нету. Слепые лошади. Зубы — стальные, узкие, крокодилы. Гривы — чисто стальная стружка, руку рассечь можно. Вместо мыла они от долгого галопа слизью покрываются, а из ноздрей натуральный дым идет. Понятно, что за лошадки, одним словом, знаем мы, откуда такие породы бывают...

Но и с кавалерией мы не сталкивались. И дело тут не в них, их-то как раз наша пушкарская работа не пугала, они и сами с демонами знали. И не в гоноре. Хваленый их гонор кавалеристский в этом болоте быстро слетал, быстрее, чем позолота с эполетов. Тут, видишь ли, другое. Я уже говорил, что рейтарам на той войне самая паскудная работа выпадала? Гоняли их в рейды, что прислугу в огород, они, бедняги, из проклятых джунглей иногда месяцами не вылезали. Зато когда вылезали... Знаешь, мы, пушкари, сами характера тяжелого и спуска не даем ни пехоте, ни прочим, так у нас всегда заведено было. Но рейтары — это другое дело. Совсем другое.

Бывало, стоит возле тебя господин. Одет прилично, при шпорах, кружечку цедит, улыбается, говорит культурно, держит себя с достоинством, шуточку неказистую солдатскую ловко отпустит... А ты вдруг видишь, что взгляд у него какой-то вроде и человеческий, а вроде уже и не вполне живой. Прозрачный, холодный, сквозь тебя. Будто и не на человека

устремлен, что в шаге от него стоит, а на тысячу клафтеров вперед смотрит, пустоту ощупывает.

Херовый, тревожный взгляд.

А потом этот господин улыбнется этак шутейно, достанет из-за пояса колесцовый пистолет, взведет — да и пальнет в затылок служанке узкоглазой, что пиво разносит. Только мозговая жижа по столам и разлетится, как пена пивная. Почему? Да потому что шпионка она Гаапова, сразу видно, а если печати у ней на шкуре и нет, так значит, спрятанная она или в тайном месте, глазом не увидать. А может, не служанке голову снесет, а своему приятелю, с которым минуту назад зубы скалили. Или самому себе, и такое бывало.

Помню, один такой Вольфгангу попался. Сидели они вместе за ужином, вино цедили, про конскую сбрую болтали, а тут он раз, задумался на минутку, взглядом своим пустым тысячеклафтеровым вокруг себя померил, будто бы нащупывая что-то, а потом взял и снял с ремня пороховую бомбу. Вольфганг даже не смекнул, что происходит, так и сидел, пялился, как дурак. Думал, может, шутка какая рейтарская или еще что... А рейтар, значит, берет, чиркает кресалом, поджигает шнур у бомбы и запихивает ее, горящую, себе за кирасу. Спокойно, будто португепю оправляет. Вольфганг едва успел под стол скатиться, тут и бахнуло. Да так, что из трактира все окна и двери вынесло и обслугу покалечило без числа. Сумасброд? Может и так. Да только многовато таких сумасбродов между тамошней публики ошивалось, чур его, рисковать...

Так что нет, с рейтарской братией мы сближаться не стали. Осатанели они на той войне, рейтары-то. То ли черти в них вселились какие-то сиамские, то ли души их в этом проклятом болоте проржавели. Что ни день, то у них в казарме стрельба или поножовщина. А уж украшения себе завели — мама не горюй... Аксельбанты из витого человеческого волоса, украшенного костяными бусинами — по числу сиамцев, которым головы снесли, эполеты из черепов, связки высушенных ушей вместо подвесок...

Нет, не стали мы с этой братией сближаться. Не только не цепляли их, но и вообще старались в стороне держаться, даже не заходили в те трактиры, в которых рейтары собирались. Они сами по себе, мы сами по себе. Так и жили.

Морщишься? Морщишься, паскуда. Давай-ка мы тебе в баночку рому плеснем, за упокой души. Души тебе, понятно, не полагается, сморчку, но хоть плавать веселее...

Да, жили мы так с месяц или около того. И жили скверно, признаться. Пули у нас над головами не свистели, брехать не стану. Раз в неделю, может, сиамцы легкую бомбарду невесть какими тропами к городу подтащат и саданут пару раз без прицела, куда черти пошлют. Только десяток стекол переколотят да пару прохожих посекут. Ну, мы в ответ из своих двенадцатифунтовок, что в форте, джунгли пару раз окучим, может, дежурные вендельфлюгели еще в воздух поднимем, чтоб огоньком сверху залили, только сиамцы к тому моменту уже со своей пушчонкой удрать успеют. Короче, не война, а какие-то мальчишеские проказы.

То ли расслабились мы от этих проказ, то ли проклятое болото размочило изнутри, а может, это вино все рисовое... Как бы то ни было, стали мы понемногу сдавать. Глупости делать, порядки нарушать, и вообще вольно держаться. Забыли, что к чему. И первый пострадал от этого Артур Третий.

Он был храбрец, наш Артур. Ветеран трех компаний, в Сиаме грязь хлебал с шестьдесят пятого, побольше нашего. Всегда осторожен был, взведен, как курок на мушкете, а тут расслабился, значит, отпустил поводья на миг... Приглянулось ему озерцо одно, Пхут Анан,

к северу от Банчанга, ну и напросился он с разведчиками в патруль, даже у коменданта разрешение выхлопотал. Вроде бы место для батареи присмотреть, а на самом деле просто развеяться и в воде поплескаться. После нашего болотного сидения любая прогулка в радость.

Только не довелось ему с той прогулки вернуться, сморчок. Ехал он замыкающим, в арьергарде, значит, но в какой-то миг не удержался, съехал с тропы. То ли лошадь из ручья напоить, то ли цветок ему какой в чаще почудился... Только из седла выбрался, как вокруг него ветви зашевелились. Минута — и вокруг уже дюжина сиамцев стоит, кто с копьем, кто с ножом, кто с пищалью дедовой. Обступили, что крысы, только зубы желтые скалят. И понятно, к чему.

Он за мушкет — шелк! — а мушкет-то разряжен, пороха на полке нет. Он за пистолеты — кляц! кляц! — а заряды-то и отсырели. Расслабился наш Артур, подточило его болото проклятое. Мы, артиллеристы, народ бесстрашный, адским пламенем при жизни опаленный, противника бояться не приучены... Схватился он за шпагу — и в бой.

Мы потом на том месте у реки полдюжины мертвых сиамцев нашли, все переколоты как мыши. А самого Артура нет — будто сквозь землю провалился. Два дня мы с разведчиками там кружили, но ни черта, конечно, не нашли. Решили, что желтокожие дьяволы утащили его в чащу и там утопили по-тихому в болоте. Паскудно, но что попишешь.

Тогда мы еще не знали, что у сиамцев к нам, пушкарям из Банчанга, изрядный счет накопился. Очень уж много их желтомордого брата мы в том году из своих пушчонок пожгли и покалечили. Сиамцы его не убили, лишь обезоружили, а после накинули удавку на шею и утащили тайными тропами, а следы так замаскировали, что ни одна ищейка не отыщет.

Через неделю мы нашли его, нашего Артура. И не потому, что искали.

Услышали чьи-то стоны, и не вдалеке, вообрази себе, а в сотне-другой клафтеров от городских стен. Сперва колебались, не ловушка ли, но голос показался нам знаком, решили проверить. Ножи в зубы, зажгли потайные фонари, сапоги тряпьем обвязали, чтоб не звенели — у нас уже был опыт по этой части, подковались мы в джунглях...

Нет, это была не засада. Это был Артур Третий, терпеливо ждущий нас в джунглях. Живой. Только не сразу мы его признали. Отчего? Да все просто. Симамцы из него «Хердефлиген» сделали.

Знаешь, что такое «Хердефлиген», сучонок? Дьявол, ни хера ты не знаешь, только зенки свои пучишь... Это такая специальная сиамская штука для нас, бледнокожих. Такой фокус, понял? Для нас, бледнокожих. У них, сук узкоглазых, много таких фокусов, но тогда мы еще не знали, что это такое — «Хердефлиген»...

Сперва пленному переламывают кости в руках и ногах, чтоб сбежать не мог. Выбирают в чаще пень побольше покрепче и привязывают к нему. А после кормят мёдом до отвала. Пичкают, пока из ушей не полезет, а брюхо не надуется как барабан. Потом прокалывают кожу на ладонях специальной заговоренной щепкой, на которой начертано имя демона, а между лопаток рисуют сажей сижил.

Часа два или три он ничего и не чувствует, только смеется блаженно от сытости, не замечая боли, да мочится под себя, думая, что легко отделался. Он еще не знает, что такое «Хердефлиген». А потом живот его разбухает, точно овсом набитый, и с каждым часом делается все больше. И еще он начинает ворочаться и чесаться спиной о дерево, потому как зуд его страшный одолевает. Только не от меда это, гнилушка ты никчемная. От мух.

Мухи рождаются прямо у него в утробе, и не сотнями, не тысячами — мириадами.

Сперва они выбираются через горло — несчастный воет, рычит, плачет. Иные пытаются стискивать зубы, но делается лишь хуже — мухи через нос и уши лезут. На следующий день он уже и кричать не может, горло ободрано начисто, разве что сипеть в силах. Живот его надувается больше и больше, делается как пивная бочка. Там уже не просто мушиный вывод, там целая блядская фабрика, работающая без перерывов, целый блядский мушиный сонм.

Мухи нетерпеливые твари, они не любят сидеть в тесноте. Когда горла становится мало, они ищут себе новые ходы. Любые отверстия, что есть в человеческом теле. Вырываются наружу, покрытые медом и кровью, свеженькие новорожденные мушата, и летят прочь от своего опостылевшего улья, к новой жизни. А улей все раздувается и растет, пухнет, как на дрожжах, только кожа трещит, натягиваясь, точно барабан. Все его тело разбухает, бурлит на костях, и внутренности ходуном ходят, а еще звук...

Этот звук, который тебе никогда не услышать — жужжание миллионов мух, распирающих тело... Ах, блядь, рассказываю, а сам вспоминаю несчастного Артура. Как он воет, разбухший, точно утопленник, к дереву привязанный, похожий не то на гриб, что на деревьях растут, не то на улей, а из глазниц его и рта разорванного тучи мошкеры выбираются и жужжат, жужжат, жужжат...

Мы с перепугу залп из мушкетов по нему дали, думали облегчить мучения. Да только хуже сделали. Лишь проделали новые отверстия в этом мушином царстве, такой гул поднялся, что хотелось себе уши проткнуть нахер... Что нам оставалось? Ведь не из пушки же его расстреливать? Облили мы бедолагу ламповым маслом из бурдюка, да и чиркнули кресалом... Ох и картина это была, херов ты заморыш. Объятый пламенем Артур, вопящий от боли, плоть его пузырится, охваченная огнем, и лопается, а из брюха наружу хлещет наружу огненный фонтан сгорающих мух...

Бедный Артур. Отчаянный был рубака и балагур, настоящий солдат, а умер так, что даже семье скорбящей не расскажешь.

Вторым был Феликс-Блоха. Тоже все по-глупому вышло, да так оно всегда и бывает — по-глупому. Здесь, в Саксонии, ты можешь быть трижды мудрецом, а оказавшись в этом гнилом болоте вдруг возьмешь и учудишь какую-нибудь глупость на ровном месте. Точно это болото у тебя мозги медленно выпивает...

Феликс от скуки и безделья занялся фортификационными работами. Всегда к этому делу тягу имел, ну и увязался за саперами нашими, карту минных полей составлять. Что было дальше, мы сами толком не поняли. То ли ручей почву подмочил и часть наших собственных мин вынесло туда, где их быть не должно было, то ли это сямцы под покровом ночи их нарочно перенесли, но... Короче, наступил он на одну из них. Услышал хруст под сапогом, недоуменно покосился на нас, верно, сам сразу не понял, что к чему.

Это была не ветка и не кость. Это была маленькая фарфоровая площадка, присыпанная землей, внутри которой был заперт демон — мелкий адский дух. Мы, бывало, такие площадки тысячами вокруг города рассыпали, листвой прикрывая...

Феликс секунду или две смотрел на раздавленную площадку, потом вдруг взвизгнул. То ли почувствовал что-то, то ли сообразил. А в следующий миг его вздернуло над землей, будто бы невидимыми силками. Он забился в воздухе, отчаянно голося, а кираса на нем стала вдруг сминаться, вдавливаясь внутрь, мы слышали, как трещат его ребра. И сам он тоже стал... вдавливаясь, что ли. Сжиматься. Знаешь, как хлебный мякиш, который катаешь в ладонях от скуки. Железо, ткань, плоть... Демон стиснул его с такой силой, что превратил в ком мятого железа, фаршированного мясом, размером с мяч. Обер-артц наш потом его расковырял — из

интереса, должно быть, так не нашел ни единой целой кости. Только горсть погнутых пуговиц.

Тоже паскудная смерть, но хоть быстрая, солдатская. И в высшей степени дурацкая.

У нас в ту пору отчего-то по большей части именно дурацкие смерти и случались. Смешно сказать, больше всего таких смертей было не в те дни, когда сиа́мцы нам адкромешный устраивали, бомбардируя город из всех пушек, что у них остались. И не в те, когда они насылали на нас полчища своих сиа́мских демонов, отчего улицы иной раз пылали. Нет, больше всего смертей выпадали на периоды затишья. Мучимые тревогой и бездельем, не имеющие занятия, иссушенные опиумом, мы зачастую творили такие глупости, которых сами от себя не ожидали — и расплачивались за них. Обязательно расплачивались.

Следующим был Хази, хоть и дотянул до декабря. Он всегда счастливчик был, наш Хази, за то и любили. За два месяца в Банчанге его шляпу трижды пробивало сиа́мской пулей, на нем — ни царапины. Вендельфлюгель, в котором он летел из Районга, как-то раз не долетел до места, рухнул с высоты в три полных руты — демоны в полете озлились настолько, что сожрали возницу и друг друга — все, кто летел с ним, или разбились всмятку или переломали руки-ноги, Хази же шлепнулся в грязь, точно в перину, и уцелел. Черт, он и кости, не глядя, метал так, что самого Сатану обыграл бы.

Мы, бывало, шутили, что с такой-то удачей Хази после смерти в Аду бургомистром заделается, не иначе. Хази охотно хохотал вместе с нами, он был смельчак, каких поискать, настоящий воин, воспитанный в лучших саксонских традициях, бесстрашный и благородный. А умер так же нелепо, как многие другие в том самом, проклятом, шестьдесят седьмом, но не в начале, а на самом его излете, когда в штабах уже начались были осторожные разговоры на счет того, будто бы недолго нам здесь сидеть осталось...

Его погубил не какой-нибудь трусливый пиздоглазый дикарь с бамбуковым копьём. Кто бы из них смог совладать с нашим Хази! Его погубил «Костяной Канцлер». И еще его собственная проклятая самоуверенность. Ты слыхал о «Костяном Канцлере», сопля? Не слыхал? Оно и понятно — откуда тебе! Не был ты в Сиаме, сученыш! Ах дьявол, вино из-за тебя расплескал, беса, вытирай теперь...

«Костяной Канцлер» — это было первое и главнейшее орудие нашей батареи! Мелких пушек у нас не водилось, но даже на фоне тяжелых бомбард он выглядел великаном. Ствол у него был из чугуна, бронзы и палладия, огромный, как дрезденский яшень. Калибр — сто девяносто пять саксонских дюймов[12]! Чтобы перевезти его нужны были дышла из закаленной стали и двадцать пар лошадей, впряженных цугом. А когда он стрелял... Черт! Стоило «Канцлеру» подать голос, как все живое на десять мейле в округе пряталось, воздух начинал смердеть серой и мертвечиной, а земля плясала под ногами!

Ядра у него пятисотфунтовые были, мощи страшной, сокрушительной. Сиа́мский бастион одним попаданием, бывало, в мясной пирог превращало, сплошь мешанина из камня, мяса и бревен. Про редуты сиа́мские и не говорю, их «Канцлер» крушил что кузничный молот глиняную утварь...

Сами сиа́мцы, к слову, прозвали его «Сейнг кхонг рача хэнг квам тай», это на их поганом языке означает «Голос мертвых королей» — это после того, как он в шестьдесят пятом одним выстрелом превратил их лучшую мушкетерскую роту в алую слизь и пепел. Великое орудие, великая судьба! Понятно, ему не тягаться с такими чудовищами, как «Навуходоносор», «Красный Кастелян» и «Обожженная Дева», но никого страшнее него на

юге Сиама в ту пору не имелось. И он был в нашей батарее!

Хочешь верь, хочешь нет, в стволе у него сидело четыреста демонов, и не абы каких мелких духов, выловленных демонологами в адских чертогах. Все — из выводка владыки Везерейзена, которого у нас еще прозвали «Стальным Палачом из Рейна», тварей более злобных в жизни своей не видел. Когда были не в духе или голодны, могли обглодать коровью тушу за считанные секунды, а если кто из obsługi неосторожно сунулся, тут, считай, баста — пополам перекусывали прямо с кирасой. Отчаянная свора, которую постоянно приходилось держать в узде, но мы со временем пообвыклись, хоть и жутковато было.

Да уж, со стариной «Канцлером» приходилось держать ухо востро. Сытый, он обыкновенно был незлобив, точно крокодил, набивший брюхо и греющийся на солнышке, но упаси тебя Ад приближаться к нему, когда он разгорячен боем, голоден или не в духе! Прислугу нашу батарейную, бывало, шомполами приходилось пороть, чтобы заставить ее нагар после стрельбы очистить. Не любили демоны из свиты монсеньора Везерейзена, чтоб банником им в пасть лезли, многим подступившимся носы да пальцы обгрызали. Ловко у них это выходило, конечно. Только кто из нижних чинов подступится к дулу, белый как мел, как невидимые пасти хрустнут, он заверещит, да уж поздно — катается, бедняга, в траве, обглоданный едва не до костей.

Мы, бывало, с ребятами шутки ради нарочно чистку внеурочную назначали, когда демоны не спали — бились об заклад, чем дело закончится. Не от злости, понятно, а просто чтобы служба не расслаблялась, помнила, с какими силами дело имеет... Ох и бесился же штабсарц Фойриг, наш коновал, на такие шуточки глядя. Половину своей бумаги на рапорта извел — жаловался, что службу почему зря калечим. Строгий был у нас штабсарц, намаялись мы с ним в то время... Нет бы опиумом дымить, как прочие, в Районг мотаться к девочкам, нет же, все норовил службой заняться. Повязки накладывать учил, кровь останавливать, а если обнаруживал у кого из наших за пазухой плоску с маслом — раны прижигать — заставлял на месте выпить до дна. Суров был штабсарц Фойриг, да только в штабе его писульки, сдается мне, на самокрутки пускали. Батарея здравствует, работу свою выполняет, а что по пальцам и носам убыток терпит, так это не страшно — этих пальцев и носов в запасе пока хватает...

Не сбивай меня с мысли, сморчок, я же про «Костяного Канцлера» речь вел. И про Хази.

Черт, что там прислуга, даже я, старый пушкарь, рядом с этой зверюгой старался поменьше околачиваться. Он и выглядел как... как... Черт его знает. Только не хотелось рядом с ним задерживаться сверх необходимого. Ствол у него был не полированный, с вензелями, как это у королевских пушчонок обычно бывает, а грубый, оплывший, покрытый стальными зазубринами и шипами — не то колонна какого-нибудь забытого адского храма, не то древний дуб, выросший на проклятом болоте... Я к нему не прикасался иначе чем в толстых перчатках телячьей кожи, но и так ощущал, как мороз по загривку треплет — прямо чувствуешь, как там, внутри, эти твари ворочаются и зубами щелкают, друг другу косточки перетирая...

Ох и не завидовал я караульным, которые по ночам возле него бдили. Черт его знает, что там ночью возле «Канцлера» творилось, мы после заката старались и близко к нему не подходить. Оставишь, бывало, на ночь пару нижних чинов на часах, утром глядь — одни оплавленные мушкеты валяются да сапоги смятые. А больше ни клочка, ни ногтя, разве что клоч паленых волос под лафетом...

Но хуже всего нашей батарее приходилось на постое, когда «Канцлеру» долго работы не выпадало. Три-четыре дня он еще держался, но если больше — амба. Рычать начинал, да так, что лошади на три мили вокруг с ума сходили и головы себе о камень расшибали, вода в котелках превращалась в гной, а с неба начинали сыпаться мертвые птицы... А ты думал, брат! Везерейзен! Адские сеньоры никому за просто так свою силу не жалуют!

Ох и намаялись мы в ту пору с «Костяным Канцлером», по правде сказать. Работы ему толком не выпадало, а без работы он быстро выходил из себя и тогда уже мы сами, веришь ли, чувствовали себя неуютно. Когда работы не было больше пяти дней, мы распорядились обнести позицию двумя цепями часовых с факелами и мушкетами. И не зря, черт возьми. Бывало так, что до половины оружейной обслуги, перепуганной рыком «Канцлера», норвила сбежать — и похер, что в джунглях они утопнут в болоте в считанные часы или будут сожраны рыскающими в ночи сиамскими демонами. Все равно бежать норвили, черти...

Среди всех нас, кажется, один только Хази к «Канцлеру» тепло относился. Не то, что рядом стоять не боялся, а даже позволял себе ласково похлопывать его по стволу и, представь себе, комок слизи, ни разу не было такого, чтоб старина «Канцлер» зубами щелкнул. То ли удача Хази и тут ему на руку играла, то ли знал он какие-то особенные приемы для общения с демоническим сословием, только он единственный из всей нашей батареи старика и не боялся, сдается мне.

Но тут, верно, удача сыграла против него же...

Заканчивался год — наш проклятый год в Банчанге, Хази держался лучше многих, все насвистывал да напевал, и вообще держался так, будто не сидит по горло в гниющем болоте, а состоит важным гостем при дворце курфюрста Саксонии. Но в ноябре что-то с ним сделалось, и что-то недоброе. Обычно веселый, благодушный, держащий про запас шуточку, он сделался черным от хандры и выглядел так, будто его самого грызет три дюжины демонов. С вояками иногда такое бывает, но только не с нашим Хази — душа у него была сильная, закаленной крупновской стали! Только мы, ближайшие его друзья, знали, в чем дело.

Получил он намедни письмо из дома, и такое письмо, что хуже не придумаешь. Его матушка, оставшаяся в Майсене, писала ему, что с его сестрой, в которой он души не чаял, случилось несчастье. Она ехала в карете, когда какой-то лихой господин на аутовагене, наплевав на воспреещающий сигнал лихтофора, круто завернул и врезался в карету на полном ходу. Полицайпрезидиум потом формуляр выдал, мол, демоны у него в котле понесли, отказавшись слушаться приказов, но на деле, люди судачили, этот господин попросту спорыньи наглотался, да так, что и в Ад мог запросто на своей колымаге заехать...

Карета, понятно, в щепки, лошадей начисто по мостовой размазало, а сестре спину переломило точно сухую лучину, выжила, но ходить будет не раньше, чем в Ад зима соберется. И, главное, от господина этого в аутовагене ни извинений, ни вспомоществования никакого не последовало. Потому что оказалось, что господин этот — обер, и не из мелких каких, которые по талеру за бочонок в наши времена, а именно что из знатных — не то из Грандье, не то из Кольдингсов... Магистрат, понятно, и пикнуть в его сторону не смел. Понятное дело — обер! Его предки адским владыкам присягнули еще до Оффентуррена, до того, как двери адовы разомкнулись. Вот и выходит, что у них своя справедливость, у нас своя, и адские владыки так это дело установили.

То-то Хази целую неделю ходил как утопленник. Слова не скажет, только зыркает из-

под бровей недобро, знать, дурные мысли у него в голове клубятся. Мы за ним старались присматривать, чтобы не вышло чего, от хандры, бывает, люди разные глупости творят. Смотрели, да не усмотрели. Хази все равно нашел способ выкинуть фокус — закусился с лейтенантом из пехоты, да так, что водой не разольешь. Выпивали они вместе с офицерском трактире и лейтенант этот, молодой сукин сын, что-то недостаточно уважительное о пушкарях брякнул. Был бы Хази в своем обычном расположении, разве что посмеялся бы да заказал всем по кружечке за свой счет. Но здесь он аж затрясся. Швырнул столовые приборы в лицо лейтенанту, да не просто так, а при полковничьей свите. Хоть дуэли у нас и были строжайше запрещены в ту пору, понятно, чем это дело должно было закончиться. В тот же день лейтенантишко этот прислал Хази вызов с предложением назначить дату и выбрать оружие.

И Хази, по правде сказать, оказался в затруднительном положении. Стрелял он изрядно, но чудес не демонстрировал, лейтенант же этот в карту из пистолета легко садил с пятидесяти шагов и, по слухам, уже здесь, в Сиаме, полудюжине обидчиков черепа раскрошил. С рапирой выходило и того хуже — Хази этого оружия не жаловал и редко упражнялся. Оно и понятно — артиллерист, нам ли, управляющими грохочущими силами Ада, стальными коллочками тыкать?..

Но Хази не был бы Хази, если бы не выкрутился из положения. И как! На следующий день, узнав про выбранное им оружие, половина батареи нарекла его полнейшим безумцем, а другая — отважным гением. Хази выбрал не пистолеты, не рапиры, даже не мушкеты, как это практиковалось в некоторых окраинных гарнизонах.

Он выбрал «Костяного Канцлера».

Человек в здравом уме на такое никогда бы не пошел, даже если трижды пушкарь, но, верно, собственная удача самому Хази голову вскружила, а тут еще хандра и вино... Одним словом, предложил он пехотному лейтенанту такую штуку. Каждый из них по очереди, согласно брошенному жребию, швыряет в жерло «Канцлера» монету — обычный медный крейцер. А после, скинув одежду, забирается следом сам, точно в нору, и лезет пока не найдет ее.

Мальчишество, глупость, самоубийство. Но Хази был уверен, что знает норы «Канцлера» как свой собственный, кроме того, он был уверен, что удача и здесь ему не изменит. Не знаю, о чем в этот момент думал пехотный офицерик, но только он дал добро на это безумие.

На следующий день вся батарея собралась, чтобы на это дело посмотреть, еще и из соседних сотня душ набежала. Поди не каждый день господы офицеры цирк показывают. Мы уж пытались Хази отговорить, но куда там, в нем упрямства больше, чем во всех демонах Преисподней. Закусился насмерть, быками не оттащишь.

Бросили они с лейтенантом жребий, кому первому лезть и тут, верно, матушка удача впервые в жизни изменила Хази — вытянул он трэфового туза, а это значило, что ему и лезть. Ну, он даже виду не подал, что его это обеспокоило. Напротив, пошучивал, пока ординарец снимал с него мундир, уверяя, что боится щекотки. Даже скинув исподнее, он не перестал бравировать. Оставшись в естественном, так сказать, виде, не полез сразу в пушку, а нарочно у нас на глазах трубочку выкурил. Ах, Хази, Хази...

Лейтенант пехотный, за этими приготовлениями наблюдавший, шурился, желваками играл, но не торопил и не мешал. Один только раз спросил разрешения монету проверить, которую Хази должен был в дуло швырнуть — проверил, удовлетворился, и дальше только

молча наблюдал.

Хази отказался натираться маслом, чтоб легче по стволу скользнуть, он вообще не отягощал себя никакими приготовлениями. Покрутил монету в пальцах, потом усмехнулся всем нам — и швырнул ее в дуло. Небрежно, как небось, тысячу раз швырял монеты дамам. А потом выдохнул в последний раз, напрягся, подскочил, точно гимнаст, и забрался в ствол — легко, точно тысячу раз это уже проделывал. Нырнул, точно в нору. Ловко у него это вышло.

По толпе, хоть и не было там ни дам, ни зеленых юнцов, вздох ужаса прошел. Мы, пушкари, знали норы «Костяного Канцлера», но не знали того, что знал хитрец Хази. В канун перед дуэлью, еще ночью, он напоил своего денщика едва ли не до смерти, потом тихонько перерезал ему горло, нацедил крови, да все ведро и вылил в пасть «Канцлеру». Провернул он это все так ловко, что никто и не заметил, а на счет денщика сказал, что тот, трусливый ублюдок, сам к сиамцам ночью сбежал. Старый служака, как и мы все, наш Хази знал, что сытые демоны незлобивы. Утолив свою адскую жажду, они больше склонны дремать, чем зубами клецать. И, конечно, на это рассчитывал.

Но чего-то наш Хази все-таки не учел.

Первую половину руты внутри ствола он прополз влегкую. Даже ногами болтал, уверяя, будто ему щекотно. Но вторая рута уже куда тяжелее пошла. Хоть мы не видели его, но ощущали дрожь от «Костяного Канцлера», и дрожь недобрую. Что-то в его потрохах пробудилось и скоблило невидимыми зубами по казеннику... Тут бы нам его схватить за пятки и выдернуть, но промедлили мы. Может, сами до смерти испугались, а может, до последнего верили в счастливую звезду Хази, сейчас уже и не скажешь точно...

А потом Хази закричал. Сперва удивленно, будто увидел там, в пушке что-то такое, чем там никак не должно было быть. А потом уже от боли.

Ты, опухоль безродная, никогда и не слышал, чтоб люди так кричали. И я никогда прежде не слышал, даже когда ребята, вернувшись из рейда, с пленных сиамцев смеха ради шкуру сдирали. Страшные это были крики. Я и сейчас их в кошмарах слышу, а уж сколько лет прошло...

«Костяной Канцлер» быстро налился жаром, внутри него заскрежетало, затрещало, захрустело — будто вся чертова орава монсеньора Везерейзена ото сна пробудилась. Хази кричал истошно, страшно. Выл, сучил ногами, верно, выбраться пытался, да куда там — калибр сто девяносто пять саксонских дюймов — только дергался в стволе.

Мы ждали полторы минуты. Думали, может Хази сейчас извернется как-нибудь, да и выскочит, тем более, по уговору меж ним и лейтенантом помогать было нельзя. Вот мы и стояли, белые как снег, которого в Сиаме не сыскать, слушали его страшные вопли и переглядывались. Когда пошла вторая минута, Хази завыл так страшно, что сделалось понятно — жрут его там живьем. Застрял в пасти у демонов наш Хази. Надо вытаскивать, и плевать на дуэль.

Мы подскочили к пушке и попытались набросить на его щиколотки, торчащие из дула, веревочную петлю, но они так дергались, что первые три раза у нас ничего не выходило — соскальзывала. А на четвертый получилось, и мы дернули все вместе, одновременно, так резко, будто пушку из грязи вытаскивали.

Он и выскочил. А когда мы его увидели...

Я не уснул, херова ты бородавка, не пялся. Я вспоминаю. А что молчу, так имею на то полное право. Мы все тогда замолчали, как Хази наружу вытащили. Никто, кажется, даже не

закричал от ужаса. Знаешь, я к шестьдесят седьмому много дерьма повидал — и в Сиаме и раньше. Видел восстания «башмачников», сам же их, бывало и подавлял со своими пушками, видел захваченные сиамцами гарнизоны, в которых даже скотины живой не оставалось, видел пирующих демонов над джунглями и прочую дрянь... Но, кажется, никогда не видел ничего паскуднее того, что сделалось с Хази.

Он извивался и кричал, даже когда его вытащили из пушки.

Сперва мы даже не сообразили, что это Хази — наш добрый Хази. Это был... Сгусток быстро теряющий сходство с человеческим телом. Демоны не сожрали его, лишь облизали, должно быть, но их адские энергии, проникнув в тело, совершили с ним страшные вещи. Плоть сделалась полупрозрачной и мягкой, как воск, она сползала с костей, как патока, и при этом шипела. На бьющемся в агонии теле обнажались отверстия — десятки отверстий, но это были не раны, как мы сперва было подумали, это были рты. Человеческие рты.

Они кричали, Лжец. Оно кричало.

Оно извивалось на наших руках, булькало, захлебываясь своей собственной плотью, и кричало всеми своими чертовыми ртами. Всеми ртами. Они кричали, кричали и...

Ох, черт. Как саднит в душе. Даже сейчас пронимает до самых печенок, как вспомню.

Мы струсили, червяк. Отступились, беспомощно оглядываясь друг на друга. Мы, императорские гвардейцы-артиллеристы, выстоявшие под Сингбури, жравшие дохлых лошадей под Су-Нгайколоком, поднимавшие обожженными до кости руками раскаленные ядра под Сурином. Мы струсили так, как никогда прежде не трусили, даже когда смотрели в упор в узкие, исступлённые глаза сиамских мушкетеров, подступающих к батарее.

Единственный, кто не струсил, был Вольфганг. После Сакэу они с Хази были как братья. Это его Хази тащил три или четыре мейле на плече, даром, что сам был прострелен в трех местах и исколот штыками. Это они делили половину фляжки болотной воды на двоих, изнемогая от жажды и ран. Это они с Хази выбрались к своим, проплутав неделю по джунглям, полумертвые от изнеможения и лихорадки.

Вольфганг был единственным, кто не струсил. Умница-Вольфганг.

Он смерил нас презрительным взглядом и, прежде чем мы успели что-то сказать, достал пистолет, сделал шаг к извивающемуся на земле Хази и всадил пулю ровнехонько ему в переносицу. Только тогда Хази обмяк и перестал кричать. Схоронили мы его за позициями батареи, на окраине, по-тихому, а начальству доложили, будто убит сиамским снайпером. Едва ли кто-то в штабе удивился — пиздоглазые ради того, чтоб подстрелить человека с аксельбантом, готовы были днями в зарослях торчать...

Так это дело тогда и кончилось.

Лишь много позже, спустя полгода или даже год, мы вдруг узнали, почему нашему Хази изменила матушка-удача и именно в тот злосчастный день. Это все из-за монеты. Помнишь, я говорил, будто лейтенант пехотный для какой-то надобности из руки Хази монету взял, вроде бы проверить? Фокус оказался ловким, и исполнен как надо. Он тайком подменил монету, пока разглядывал ее. Тот крейцер, что он вернул Хази, был отлит не из меди, а из самого настоящего серебра, только покрашен так, чтоб незаметно было. Когда Хази кинул серебряную монету в пасть «Канцлеру», демонов внутри от чистого серебра ошпарило, точно кипятком, вот они и пробудились, злые как черти, вот и цапнули Хази, забравшегося в их обитель.

По правде сказать, хотели мы с ребятами этого офицеришку разыскать, снять с него шкуру и к «Канцлеру» прибить, за товарища поквитаться, да не довелось — его в том же году

под Нонгхаем сиамские лазутчики изловили и на куски порезали. За нас, стало быть, нашу работу выполнили. Ну, мы с ребятами на них за это в обиде не были. Пускай. Иной раз и от сиамца поганого польза бывает...

[1] Буберт — традиционный немецкий десерт, пудинг из манной муки с добавлением яиц, сливок и киселя.

[2] Лаленбург — вымышленный город в немецком фольклоре, символизирующий собой захолустье, медвежий угол.

[3] Здесь: примерно 124 км.

[4] Габриэль Ролленхаген (1583–1619), Генрих Ансельм фон Циглер унд Клиаппгаузен (1663–1696) — немецкие писатели XVII-го века.

[5] Бандонеон — сконструированный в 1840-м году вид гармоники на основе немецкой же концертины.

[6] Здесь: примерно 500 м.

[7] Рейтшwert (нем. «меч всадника») — кавалерийский меч, стоявший на вооружении у отрядов рейтар, комбинация легкого полуторного меча и тяжелой шпаги.

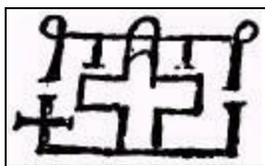
[8] Караколь — кавалерийский маневр в бою, заключающийся в быстром сближении с вражеской пехотой, после чего шеренги кавалеристов, сменяя друг друга, обрушивали на противника плотный пистолетный огонь.

[9] Фридрих Геткант (1600–1666) — немецкий военный инженер и фортификатор.

[10] Кегорновы мортиры — легкие осадные орудия калибром около шести дюймов, изобретенные Менно ван Кугорном в 1674-м году.

[11] Магерка (маргелка, магярка) — валяная шапка из сукна или бархата, имеющая тулью без полей, использовалась в качестве головного убора польскими гусарами.

[12] Здесь: примерно 460 мм.



Гомункул продолжал что-то говорить, но Барбаросса больше его не слышала — левую стопу пронзило болью, да такой, что из мира мгновенно выключились все звуки, а бормотание гомункула превратилось в комариный гул на пороге слышимости.

Сорок миллионов сифилитичных елдаков архивладыки Белиала!..

Полыхнувшая в левой стопе боль пронзила ее от пальцев на ноге через колено прямо в бедро — раскаленная рапира из шербатого металла, которую всадили прямо сквозь кость и мясо, ввинтили через хрящи и сухожилия. Боль была такой, что Барбаросса споткнулась и рухнула на середине шага, едва успев выставить руки, чтобы смягчить падение. На миг звуки вернулись в мир — она услышала испуганные возгласы компании проходящих мимо дам в мантильях, небрежный смешок спешащего по своим делам мальчишки, озабоченные интонации в голосе бубнящего Лжеца...

Гвоздь, подумала она, глотая воздух, впившись пальцами в левый башмак, жесткий и покрытый уличной слякотью. Некогда в этом башмаке помещалась ее нога, но сейчас внутри него плескалась одна только чистая боль, растворившая все, из чего прежде состояла ее нога — кости, мясо, ногти... Огромный сапожный гвоздь, который какой-то недоумок бросил посреди мостовой и на который она, заслушавшись, точно последняя шалава, наступила. Он пробил нахер ее стопу не хуже мушкетной пули, разворотив тонкие косточки.

Ах, блядь. Как же больно! Точно она сунула ногу целиком в чан кипящей смолы или...

Пальцы Барбароссы судорожно ощупывали башмак, пытаясь обнаружить чертов гвоздь и вытащить его, но лишь растирали слизкую грязь. Гвоздя не было, перепачканные пальцы напрасно блуждали по подошве. Словно гвоздь, пробивший ее стопу, был бесплотным гвоздем, растаявшим в тот же миг, как пропорол подошву...

Возможно, это «чеснок», подумала Барбаросса, пытаясь стиснуть внутри себя боль, не дать ей превратиться в протяжный, рвущийся из горла, крик. Некоторые суки, говорят, в последнее время повадились разбрасывать на темных улочках Нижнего Миттельшадта чертовы железные колючки, и не одну-две, а щедро, целыми горстями. Эта веселая забава, перекалевшая в свое время до черта лошадей Паппенгейма, стояла ног не одной ведьме Броккенбурга — зазубренные шипы, легко пробивающие подошву, превращают ступню в одну большую рубленую котлету, кроме того, частенько их смазывают собачьим дерьмом — верный шанс потерять нахер ногу...

— ...не кричи, черт тебя дерит! — досадливо буркнул Лжец, — Представь, что тебя укусил маленький комарик...

— Нога!.. — провыла Барбаросса, сжимая щиколотку пальцами, — Какая-то блядская колючка! Дьявол!

Дрожащими пальцами она уцепилась за башмак, силясь сорвать его с ноги. Если рана глубока, дело плохо. Ей нужно будет остановить кровь и...

— Не делай этого.

— Что?

— Не снимай, — голос Лжеца звучал приглушенно, не так, как прежде, — Поверь, юная

ведьма, ты не обрадуешься тому, что увидишь. Зато порадуешь его.

Кого? Кого она порадует?

Барбаросса, зарывав от боли, стащила с ноги башмак. Холщовые обмотки, которые она использовала вместо портянок поверх шосс, порядочно смердели, но мокрыми от крови не были. Нога чудовищно болела, пальцы точно медленно сжигали в алхимическом тигеле, однако башмак был цел. Ни гвоздя, ни коварной колючки, ни даже отверстия в подошве. Чертовски целый башмак.

Может, она наступила на демона? На какого-нибудь крохотного, спешащего по своим делам, адского духа, посыльного или праздного гуляку? Это было бы куда хуже. Одна сука, говорят, нагрузившись дешевым вином в Унтершгадте, наступила на хвост какому-то мелкому адскому отродью — пикнуть не успела, как сапог на ее ноге лопнул, а сама нога превратилась во вздувшееся от гангрены месиво, в котором кости сплавились с мясом в единое целое, а уж запаха было...

Башмак был как будто бы цел, но в нем что-то болталось. Возможно, камень, подумала Барбаросса, шипя от боли и тихонько подвывая. Блядский камень, забравшийся внутрь. И не крошечный, кажется, а размером с хороший орех. Или даже два камня...

— Не делай этого, — Лжец тяжело выдохнул, — Черт, говорю же тебе...

Барбаросса опрокинула башмак, пытаясь вытряхнуть из него болтающиеся внутри камни, и те беззвучно раскатились по брусчатке. Не один, как ей показалось, не два. Три, четыре... Пять. Пять продолговатых камней, похожих на речные гольши, что иногда разбрасывает вокруг своего ложа бесноватая Хельме, несущая воды на юг. Бледные, кажущиеся в свете фонаря желтоватыми, они удивительно мягко рассыпались по мостовой, не породив того лязга, которого ожидало ухо.

Потому что не были камнями.

Барбаросса всхлипнула, впившись обеими руками в ногу. Только теперь она поняла, отчего обмотки, которыми плотно была оплетена ступня, болтаются, развеваемые ветром, отчего ступня полыхает, точно ее охватило жидким огнем, отчего воют, треща, ее несчастные косточки...

— Хватит, — буркнул Лжец, — Довольно выть. Ты лишилась пяти маленьких кусочков плоти, только и всего. И, насколько хватает моих познаний об устройстве человеческого тела, далеко не самых ценных для тебя.

Мои пальцы, подумала Барбаросса, борясь с инстинктивным желанием собрать ладонью рассыпавшиеся по камню гольши. Мои блядские пальцы. Они были перепачканы, к ним прилипли холщовые волокна и крохотные кусочки сена, желтоватые ногти порядком отросли — за всеми хлопотами она вечно забывала их обрезать...

— Мои. Мои пальцы, — она наконец смогла произнести это, давась словами, — Он... он отрезал их. Отрезал нахер мои пальцы, понимаешь?

Не отрезал, подумалось ей, какой острый бы ни был невидимый нож, которым орудовал Цинтанаккар, он оставил бы порядочно крови. Но крови не было. Ее пальцы отвалились от ноги, будто блядские ящеричные хвосты, оставив на месте среза только посеревшую мякоть с тусклыми костяными осколками.

Лишившаяся пальцев нога не кровоточила, но болела совершенно чудовищным образом. Куда сильнее, чем если бы была распорота сапожным гвоздем или «чесноком». Некоторое время Барбаросса раскачивалась, сидя на корточках, стиснув руками щиколотку, будто боль, плясавшая огненными сполохами на бескровных обрубках ее пальцев, была змеиным ядом,

которому нельзя позволить распространяться по телу. Блядские пальцы...

Она вдруг ощутила, как дрожит засевавшая в груди крохотная бусина.

Цинтанаккар шевелился. Ворочался, впитывая ее боль, как ворочается отложенная в плоть еще живой жертвы личинка. Барбаросса ударила себя кулаком под дых, пытаясь добраться до него, но едва не вышибла себе же дыхание. Глубоко. Слишком глубоко. Не вытащить. Не добраться.

Лжец мрачно хохотнул.

— Вы, люди, склонны уделять слишком много внимания отдельным кускам своего мяса, — пробормотал он, — У меня, к примеру, никогда не было такой роскоши, как пальцы на ногах, но я же не убиваюсь...

— Заткнись. Заткнись, коровий послед.

— Если тебе от этого станет легче, подумай о том, что Цинтанаккар мог взять в уплату другую часть твоего тела. Скажем, нос. Яичники. Или глаза.

Барбаросса набрала в грудь воздуха. Воздух был сырым, вечерним, отдающим выхлопом аутовагенов и едким магическим осадком, но это позволило ей немного унять пульсирующую в ноге боль.

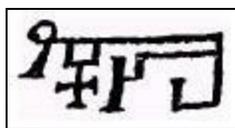
Зубы, пальцы... Этот демон точно коллекционер, отщипывающий крохи от своей жертвы, чтобы собрать полную коллекцию. Только сегодня и для вас — полное собрание сестры Барбароссы, представленное в нашей выставке. Обратите внимание на то, как кропотливо собраны ее зубы, ногти, глаза, как уютно они устроены в витринах, как любовно вычищены и умащены ароматными маслами...

На миг ей показалось, что каменная твердь, на которой зиждется Броккенбург, эта гигантская опухоль, дрожит. Но это дрожали ее пальцы, впившиеся в брусчатку. Те, что еще не отделились от тела и принадлежали ей.

— Сколько?

Лжец ответил мгновенно, будто вышколенный придворный часовщик.

— У тебя осталось пять часов.



Барбаросса ощутила тяжелый гнёт в желудке. Херня. Время не может лететь так быстро. Цинтанаккар отвел ей семь часов и...

Первый час она потеряла, бегая от голема, бесцельно шляясь по улицам и рассиживаясь в трактире. Второй час посвятила выслушивая никчемные рассказы вельзера о старых добрых временах, слежке за Бригеллой и рассказу Лжеца о своем хозяине. Два часа долой, осталось пять. Все честно, клепсидра[1] Цинтанаккара, как бы она ни выглядела, скорее всего работала без подвоха.

У всякого уважающего себя демона есть целый арсенал грязных фокусов и трюков, который он пускает в ход против простофиль, мнящих себя демонологами и знатоками Гоэции, но они редко опускаются до прямого подлога. Это претит их извращенным, выпестованным в кипящем Аду, представлениям о чести.

Паскудно. Часы утекают сквозь пальцы точно монеты. Семь монет могут показаться небольшой, но горкой. Однако стоит отнять из них две, как их делается пять — уже не горка, но чертовски крохотная кучка чеканного металла. Моргнуть не успеешь, как пять превратится в четыре, в три, в две...

— У меня? — пробормотала она, осторожно пытаясь натянуть башмак на лишившуюся пальцев ногу, — Ты кое-то забыл, кусок несвежего мяса. Мы с тобой теперь в одной лодке, а значит, это у нас осталось пять часов.

Гомункул усмехнулся. И хоть она слышала этот звук уже не раз, он все еще вызывал у нее отвращение.

— Как мило. Стоило Цинтанаккару отрезать от тебя пару кусков мяса, как ты соизволила вспомнить про наш договор. Кстати, раз уж мы про него вспомнили, не худо было бы скрепить его во всей форме. Твоей кровью.

— Что?

— Кровь, — спокойно пояснил Лжец, — В моих жилах никогда не текла кровь, они пусты и холодны, но я знаю, что эта жидкость имеет очень большое значения для вас. Недаром именно ею полагалось подписывать самые важные соглашения. Не беспокойся, я не возьму много. Полагаю, одной капли будет вполне достаточно. Мелочь для тебя, но важное свидетельство для меня, подтверждающее, что ты всерьез относишься к нашему союзу.

Пытаясь натянуть на искалеченную ногу башмак, Барбаросса едва сдержала злой смешок.

Делиться кровью с этим выродком? Ах ты хитрый маленький ублюдок...

Допустим, от одной капли она не обеднеет. Милашка Барби за два с половиной года жизни в Броккенбурге оставила на его улицах так много крови, что уже можно было бы наполнить пивной бочонок. Черт, иногда она так щедро делилась своей кровью с Броккенбургом, что ее одежда превращалась в заскорузлое тряпье, которое Котейшеству приходилось отдиравать от нее при помощи щипцов и плоски с горячей водой!

Но поить своей кровью существо в банке? Хера с два!

Во-первых, она еще не получила от него помощи, одни только чертовы остроты, которые уже порядочно истыкали ей бока, перемежаемые злорадными смешками и заковыристыми, выводящими из себя, вопросами. Во-вторых... Черт, Котейшество предупреждала ее на счет этого. Капля крови укрепляет связь между гомункулом и ее хозяином. Может, в некоторых случаях это и полезно, но этот выблядок — не ее ассистент, которому она готова доверить свои мысли. Не говоря уже о том, что только чертова безмозглая шалава осмелится связывать себя с существом, на банке которой рука предыдущего хозяина размашисто начертала «Лжец».

Нет, подумала она, пытаясь не обращать на пульсирующую огнем ногу, которую точно перемальвали зубами адские владыки. Нет, сморщенная ты сопля, кукла из человеческой плоти, мы с тобой не компаньоны. И будь я проклята, если позволю тебе связать нас воедино! Видит Ад, мы и так уже связаны крепче, чем стоило бы.

Башмак на лишившейся пальцев ноге болтался, как кавалерийское седло на кляче, норовя сползти, пришлось стащить его и набить носок тряпьем из обмоток. Едва ли это сильно облегчит ей ходьбу, она все равно будет отчаянно хромать точно старый пират, но, по крайней мере, сохранит способность сносно передвигаться на своих двоих...

— Капля крови, — нетерпеливо напомнил Лжец, ерзая в своей банке, — Это невеликая плата за мою помощь, кроме того...

Барбаросса фыркнула.

— Твою помощь! Напомни, если я ошибаюсь, твоя помощь привела предыдущих четырнадцать сук прямехонько к могиле! Охеренно мудрое решение — связываться с ублюдком, облажавшимся четырнадцать раз подряд!

Кажется, ей удалось уязвить самодовольного ублюдка или, по крайней мере, заставить его прикусить язык.

— Не мне тягаться с демоном, — проскрипел он, — Но я надеялся, если ты дожила до третьего круга, то должна соображать, как работает наука. Прежде чем зажигать огонь под пробиркой, надо накопить определенный объем данных, обобщить, найти закономерности и... Что это ты, черт возьми, делаешь?

— Собираю то, что принадлежит мне.

Гомункул издал возглас отвращения.

— На кой хер тебе сдались эти куски мяса? Оставь их для фунгов! Или ты думаешь, что найдешь в Броккенбурге швею, которая возьмется пришить их обратно?

Как странно — ее отсеченные пальцы, раскатившиеся по брусчатке, казались почти невесомыми, но для того, чтобы взять каждый из них ей требовалось приложить изрядное усилие — точно это были крохотные слитки свинца...

Оставить пальцы прямо здесь? Ну уж нет.

Фунги, бесспорно, хорошо справляются со своей работой, подчищая все, что хоть сколько-нибудь отдает плотью, но в этом городе до черта сук, которые будут рады заполучить кусочек мяса милашки Барби — чтобы потом использовать его для наложения проклятия или скормить какому-нибудь демону. Нет, она позаботится об этом сама...

— Быстрее, черт возьми! — Лжец нетерпеливо постучал лапкой по стеклу, подгоняя ее, — Не хочется торопить тебя в таком важном деле, как прощание с кусочками собственной плоти, но вынужден заметить, юная ведьма, если ты и впредь будешь растрачивать время столь никчемным образом, уже очень скоро тебя ждут новые утраты. И куда более неприятные.

Мысль об этом и так зудела, как обломок рапиры, застрявший меж ребер.

Новые утраты... Демон будет обгрызать ее, как экономный мясник — коровью тушу, отрезая по небольшому кусочку за раз. От одной только мысли об этом хотелось размозжить голову о каменный угол. Черт, ей определенно не хотелось знать, что последует дальше. Но если крошка Барби и заслужила чем-то право на существование, так это тем, что никогда не позволяла себе идти на поводу у страха. Она должна знать.

— Лжец...

— Что? — почти тотчас отозвался тот, все еще брюзгливым тоном, — Рассказать тебе какую-нибудь поучительную историю, подходящую моменту? Может, притчу или...

— Что будет дальше?

— Ты хочешь знать...

— Те четырнадцать, что были до меня — чем они закончили? Я имею в виду последние их часы.

Гомункул заколебался. Она отчетливо ощущала, как его крохотное тельце елозит в банке, будто пытаясь принять удобное положение. Наверно, чертовски непросто обустроиться в домике, который состоит из одного только гладкого прозрачного стекла...

— Ты в самом деле хочешь это знать?

Нет, подумала Барбаросса, не хочу. Но я должна.

— Да. Он так и будет отрезать от меня по куску?

Гомункул вздохнул.

— Нет. Я уже говорил тебе, он не просто садист, он...

— Зодчий плоти. Я помню. Что дальше?

— Первые три-четыре часа Цинтанаккар больше забавляется, чем работает всерьез. Обвыкается в своем новом жилище, пробует тебя на вкус изнутри. Распускает невидимые щупальца в твоём теле. Пальцы, уши, желчный пузырь, лёгкое, глаз... Никто не знает, что он выберет своим следующим блюдом. Настоящая дрянь начинается после. Офтальмия, первая жертва. К исходу пятого часа её тело стало покрываться фурункулами, огромными, как орехи. Они нестерпимо зудели, заставляя её метаться по городу, от этого зуда не помогали никакие порошки и заклятья. А когда они лопались...

Рука Барбароссы дрогнула, выпустив отрезанный палец — тот поскакал по брусчатке, точно хлебная крошка.

— Что?

— Глаза. Внутри каждого из них был глаз. Вполне человеческий глаз, с интересом наблюдавший за тем, как Офтальмия воет от ужаса и боли. Десятки, сотни фурункулов... Тысячи новых распахивающихся глаз... К исходу шестого часа она была похожа на сгусток слизи, липкую глыбу, состоящую из огромного количества слипшихся глазных яблок. И все это время она продолжала чувствовать боль.

— Сука...

— Полимастия, жертва номер восемь. Цинтанаккар наградил её проказой. Такой агрессивной и быстро развивающейся, что к концу своего путешествия она походила на труп недельной давности, выкопанный из земли. Черт, она и кричать-то не могла, её голосовые связки изгнили, но поверь мне, отчаянно пыталась до самого конца.

Барбароссе удалось совладать с непослушным пальцем, но её собственные, те, что ещё оставались при ней, ощутимо дрогнули.

Сука. Сука. Сука.

— Киста, жертва номер двенадцать. Все её суставы начали выкручиваться, точно мокрое бельё, выгибаясь под неестественными углами. Кое-где образовывались новые. Прохожие шарахались от неё, когда она, воя от боли, металась по темным улицам — она походила на огромного паука...

— Хватит! — приказала Барбаросса, — Хватит этого дерьма.

— О, это ещё не самые плохие варианты развития событий, юная ведьма, — гомункул мрачно хохотнул, — Если желаешь, я расскажу тебе, чем кончили остальные.

Она ссыпала пальцы в кошель, туда, где звенели, смешавшись с монетами, её зубы. Дьявол. Если она в самое короткое время не разберётся с монсеньором Цинтанаккаром, устроившим уютный домик у неё в печенке, её кошель рискует оказаться набитым под завязку. Вот только не монетами, как в её мечтах, а кое-чем другим. Кусочками крошки Барби, которым не сиделось вместе...

Котейшество. Если кто-то в целом городе и может ей помочь, то это не разглагольствующий ублюдок в банке, а она. И она доберётся до Котейшества даже если идти придётся обрубками ног по кипящей смоле.

Барбаросса с трудом поднялась. Опирающаяся на искалеченную ногу было больно — невообразимо больно — но ей удалось сделать шаг. И потом ещё один. И третий. Она пошатывалась, хромала, в ступню на каждом шагу вонзались зазубренные иглы, превращая его в пытку, но все же она могла идти. А это значит — она будет идти.

— Прикрой пасть, — посоветовала она гомункулу, вновь взваливая мешок на плечо, — Я уже вижу башню Малого Замка.

Малый Замок располагался в небольшой низинке, скрытый со всех сторон изгородями,

заборами и домами, но его единственная башня гордо вздымалась ввысь — тонкий перст, хорошо видимый в любую погоду на фоне неба. Несмотря на то, что башня не была украшена флагом — Вера Вариола не признавала гербов — выглядела она вполне внушительно, по крайней мере, на известном расстоянии.

Жаль, все остальное порядком портило это впечатление.

Малый Замок был невелик, несимметричен и, пожалуй, что неказист. Выстроенный в два этажа из темного, посеревшего от времени, броккенского камня, он давно потерял большую часть признаков, позволявших ему в стародавние времена считаться фортификацией. От боевых галерей, опоясывавших его когда-то, уцелела лишь половина, да и та давно лишилась боевых зубцов, превратившись в подобие опоясывающего здание балкона. Зато окна остались узкими, не раздались вширь, как это часто бывало со старыми замками, забывшими свое предназначение, а кое-где в каменной толще еще можно было разглядеть заложенные кирпичом машикули.

Малый Замок. Пусть он не годился даже в подметки грозному «Флактурму» или роскошному «Новому Иммендорфу», но Барбаросса, хоть и не сразу, научилась находить в нем своеобразное очарование. Он был похож на старого ландскнехта, но не такого, какими их изображают в гравюрах на стенах ратуши — молодцевато расправленная грудь, сверкающие доспехи, орлиный нос, не подпорченный ни ударами палиц в забрало, ни застарелым сифилисом — а тихого и молчаливого, степенно доживающего свой век за кружечкой и картами.

Фон Друденхаусы, должно быть, потратили немало средств из своего кармана, чтобы вернуть Малому Замку его былые черты, но все эти усилия возымели не больше эффекта, чем попытка залить адские бездны водой из колодца. Крыши и козырьки Малого Замка были покрыты не листовой сталью, как во времена грозных королей и курфюрстов прошлого, а обычной кровельной жестью, которая выгорела на солнце и проржавела так, что казалась грязно-рыжей, как волосы Гасты. Северная стена порядком заросла плющом, но совладать с ним никто по-настоящему не пытался — чертов плющ, по крайней мере, скрывал прорехи в каменной кладке.

Когда-то, если верить молве, «Сучья Баталья» квартировала в куда более уместном ее статусу замке — в «Меншенфрессере[2]». Барбаросса видела лишь остов его фундамента, опаленный адским огнем и вбитый на три локтя под землю, но, если верить ему, сооружение в самом деле было величественное и мощное. Оно простояло бы еще полтысячи лет — если бы уцелело в тысяча девятьсот сорок пятом.

На излете Второго Холленкрига, когда Белет, Столас и Гаап, сговорившись, насели на архивладыку Белиала, вырывая целые куски из его владений, мстя за свои прошлые поражения, в «Меншенфрессере» засел гарнизон из саксонской пехоты. Никчемная попытка. Как будто бы несколько сотен человек, пусть даже и защищенные старым камнем, могли сделаться препятствием на пути той исполинской волны, что шла на германские земли, грозя раздробить их и вмять в землю вперемешку с костями.

Паскудные, говорят, были времена. Даже днем над Броккенбургом было темно — орды захлебывающихся от ярости демонов Белета закрывали солнце, выливая на город раскаленную смолу и испражняясь едкими кислотами, а земля дрожала от поступи адских легионов — это полчища Гаапа шествовали от одного города к другому, оставляя за собой одни только объятые пламенем руины да идолов, сложенных из мертвых, скрученных колючей проволокой, тел их недавних защитников.

Отрезанный от подкреплений «Меншенфрессер» должен был продержаться не больше двух дней. Но продержался почти пятнадцать. Орды Гаапа, набранные из русских рейтар и сибирских дикарей-каннибалов, облаченных в человеческие шкуры, семь раз ходили в атаку, но семь раз откатывались обратно, когда мушкеты осажденных начинали дырявить их одного за другим, а со стен лилась кипящая смола и деготь. Как и велел архивладыка Белиал, каждый город германских земель должен был превратиться в крепость, отражающую вражеский натиск, и «Меншенфрессер» с честью выполнял свой долг перед адскими владыками. Его стены выдержали три подкопа с заложенными бомбами и отразили столько штурмов, что земля в предгорьях Броккена до сих пор, спустя сорок лет, не плодоносила, так обильно она была удобрена демоническим ихором и человеческой кровью.

Убедившись, что Броккенбург не взять с наскока, архивладыка Гаап или кто-то из его смертных военачальников изменил тактику, приказав обложить крепость со всех сторон и пустить в дело осадную артиллерию.

Приспешники Гаапа имели в своем распоряжении орудия потрясающей мощи, может, не такие изошренные, как «Костяной Канцлер», про который рассказывал старикашка фон Лееб, но способные навести ужас на противника. Одним из самых страшных из них, прославившихся на всю Саксонию, была «Прокаженная Дева». Отлитая в самом Аду из черной проклятой стали, закаленная в лимфе и желчи, она пользовалась славой пожирательницы многих крепостей и замков. По слухам, русские варвары купили ее у адских владык за немислимые деньги в золоте, мясе и серебре, а количество адских чар, живущих в ней, было таково, что состоящую из трехсот человек обслугу приходилось полностью заменять каждые несколько дней — некоторых пожирали механизмы самой пушки, другие, впав в губительный восторг, сами сигали в жерло ствола, чтобы стать ее частью.

Когда «Прокаженная Дева» стреляла, мир трещал по швам, образуя разрывы в ткани реальности, а воздух вокруг клокотал, превращаясь в смертоносный иприт. Одного прямого попадания в «Меншенфрессер» оказалось достаточно, чтобы оставить от внушительного замка один только фундамент, и тот вбитый так глубоко в землю, словно на него обрушился молот Люцифера.

Когда война закончилась, а Белиал выплатил своим собратям установленные репарации и отступные, использовав для этого сотни тысяч своих мертвых и живых последователей, фон Друденхаусы, говорят, какое-то время даже пытались восстановить «Меншенфрессер». С тем же успехом можно было бы вычерпать шляпой кверфуртские болота. «Меншенфрессер» так и остался грудой расколотых камней. Может, и к лучшему. Страшно представить, сколько угля и дров такая громада сжирала бы за зиму, не говоря уже о том, что младшие сестры сбились бы с ног, пытаясь поддерживать внутренние покои хоть в сколько-нибудь пригодном для обитания состоянии...

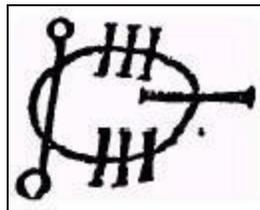
Несмотря на то, что ноги несли Барбароссу к Малому Замку во весь опор, она обуздала их на некотором расстоянии от него, заставив себя сбавить шаг. Спокойно, Барби, крошка, приказала она себе, укороти узду. Хотя бы раз послушай голос разума вместо того, чтобы действовать опрометью, не оглядываясь на последствия. Да, ты привыкла называть Малый Замок своим домом, но ты сама отлично знаешь, что и внутри тебя может подстергать опасность. Твои любящие сестры, некоторые из которых не удосужились бы даже поссать на тебя, если бы ты горела, а другие, пожалуй, сами приплатили палачу полтора талера, чтобы получить место в первом ряду возле дыбы. Терпение, Барби, вооружись терпением, хоть тебе

и претит это оружие трусов и слабаков. Как знать, какая встреча ждет тебя внутри?..

Это было мудрой мыслью, при том ее собственной, а не подсказанной из мешка блядским гомункулом. Иди знай, известно ли «батальеркам», квартирующим в Малом Замке о том, какими вещами занималась нынче днем их сестрица Барби. Вполне может стать и так, что замок, к которому она неслась сломя голову, окажется для нее ловушкой...

За увитой магонией изгородью имелось удобное место, которое ей прежде уже приходилось использовать в качестве наблюдательного пункта. Укрытая зарослями и сгущающимися сумерками, она могла находиться здесь, оставаясь невидимой для обитательниц Малого Замка, сама же без труда могла видеть и сам замок и изрядную часть его подворья, почти до самых ворот.

Отлично, Барби, похвалила она сама себя. В кои-то веки ты не мчишься, не разбирая дороги, точно сошедший с ума аутоваген. Может, ты и потеряешь пару драгоценных минут, зато, как знать, избежишь многих новых дырок в твоей шкуре. А этого никак нельзя исключать, раз уж Аду было угодно сделать тебя «батальеркой»...



Первое, что она отметила, расположившись в зарослях колючей магонии, это горящие окна Малого Замка. Чертовски много горящих окон для этого времени суток. Гаста, на которую Верой Вариолой были возложены обязанности сестры-кастелянши, обыкновенно крайне трепетно относилась ко всем запасам Малого Замка, будь то полотно, кирпич или даже сырны корки, считая кладовые своей исконной собственностью. Она запрещала жечь масло прежде чем на Броккенбург опустится ночь, да и каждый свечной огарок был у нее на счету. Но сейчас...

Окна общей залы на втором этаже горели так ярко, что даже резало глаз. И не тем желтоватым светом, что дают обычно лампы, заправленные дешевым маслом, а тем, что могут испускать только адские духи, заключенные в хрупкие стеклянные сосуды, из которых выкачан воздух. Таких ламп в Малом Замке было полдюжины, но большую часть времени они свисали с потолка мертвые и пустые — Гаста так боялась израсходовать заключенный в них запас чар, что разрешала зажигать их лишь по особенным случаям. Например, если в Малый Замок наносила визит хозяйка ковена.

Барбаросса ощутила, как твердеет, распираемое недобрым предчувствием, нутро. Вера Вариола в замке? Во имя всех евнухов Преисподней, это последнее, что ей надо сегодня. Впрочем, не будет ничего удивительного в том, что блядский денек, начавшийся так скверно, окажется увенчан таким же паскудным вечером.

Говорят, когда семью Паппенхеймеров из Баварии казнили за колдовство — дело было за несколько лет до Оффентурена, прежде, чем Ад распахнул свои всеблагие двери, явив миру милость — наибольшие испытания выпали на долю Паулюса Гэмперла, главы несчастного семейства. На его глазах баварские палачи раскаленными щипцами растерзали его жену Анну и их сыновей, мало того, еще до того, как она испустила дух, ей отсекали груди и бросили в толпу. Потом ему самому раздробили колесом руки и посадили на кол, но не до смерти, а лишь пока разгорается предназначенный для него костер. Костер этот трижды тух — накануне прошел дождь и сухие дрова оказались порядком подмочены — так что палачам

пришлось порядком поработать, раздувая его. Если верить легенде, когда костер наконец загорелся, окровавленный Паулюс Гэмперл, к тому моменту представлявший из себя грудю окровавленного тряпья, через силу улыбнулся и произнес: «Ну слава Богу! Еще одна неудача — и я бы окончательно подумал, что день у меня не задался...»

Если Вера Вариола в замке... Барбаросса стиснула кулаки. Если так, Малый Замок мгновенно превратится для нее из убежища в ловушку, даже более опасную, чем дом старика фон Лееба с цепным демоном, снаряженный смертоносным узором из чар. Вера Вариола не так-то часто навещала свой ковен, у нее была резиденция в Обершпадте, в которой она обыкновенно проводила большую часть времени, но иногда — раз в месяц или два — она вспоминала про своих младших сестер. Если сегодня как раз такой вечер...

Ощущая себя лазутчиком, ползущим сквозь ядовитые сиамские джунгли, Барбаросса продралась ближе к изгороди сквозь чертову магонию. Если Вера Вариола в замке, наверняка вокруг него царит суэта — подгоняемые щедрыми оплеухами Гасты снуют младшие сестры, спешно перетряхивая половики, гремит колодезная цепь, хлопают двери...

Подворье Малого замка представляло собой окаймленный лапчаткой и кизильником пустырь, являющий собой голову господина ректора Шрота в миниатюре — пышные неухоженные заросли по краям и вытоптанная область в центре. Каждую весну «батальерки», вооружившись серпами, пропалывали эти заросли, ожесточенно, будто рубились со сворой самого Эрнста фон Манфельда, но извести их не могли — чертова трава затягивала Малый Замок кольцом с таким упорством, будто намеревалась сожрать его целиком, не оставив и камня.

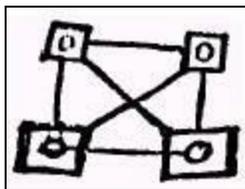
Однажды Котейшество, воодушевленная своими успехами во Флейшкрафте, попыталась было извести их при помощи зелья. Четыре дня подряд она что-то перегоняла в булькающем алхимическом кубе, выпаривала, измельчала, сепарировала... Потом еще два дня призывала неведомых Барбароссе духов, исчертив пол дровяного сарая своими сигилами так густо, что даже жук не прошел бы через него, не нарушив лапкой какой-нибудь каверзный знак. Зелье получилось что надо — разъедало даже закаленное стекло — но когда они попытались использовать его против зарослей, оказались неприятно удивлены.

Милые желтые цветочки лапчатки превратились в крохотные лики, скалящиеся и выкрикивающие непристойности, а кизильник отчаянно смердел тухлым мясом, в придачу к тому отпустил побеги из колючей проволоки и человеческого волоса. Эта попытка по благоустройству подворья дорого им стоило — Гаста заключила обеих на неделю под домашний арест, запретив покидать замок, мало того, еще месяц они выполняли работу по дому наравне с младшими сестрами — полировали тряпками лестницы, стирали белье... После той попытки Котейшество впредь не бралась за работу, о которой ее не просили, предпочтя сосредоточить все усилия над экспериментами с дохлыми котами.

Но сейчас Барбароссу интересовали не столько злосчастные заросли или дровяной сарай, примостившийся в дальнем углу подворья, их с Котейшеством личные апартаменты и по совместительству лаборатория, сколько площадка возле ворот. Прямоугольная, правильной формы, она отчетливо бросалась в глаза даже в сумерках. Кажется, это был единственный участок подворья, который бурные поросли лапчатника и кизильника не только не пытались захватить, но и обходили стороной. Травы на ней почти не было, а та, что была, казалась бледной, будто бы выгоревшей, ломкой, болезненной. Неудивительно, учитывая, что именно на этом месте обыкновенно останавливался аутоваген Веры Вариолы, «Белый Каннибал».

Чертовски неприятная тварь.

Барбаросса не считала себя сведущей по части аутовагенов как Саркома, но перевидала уймаву тучу этих созданий на городских улицах. Некоторые из них вызывали у нее опаску, иные отвращение, но ни один не наводил на нее столько страху, как «Белый Каннибал», личный экипаж хозяйки ковена.



Сложно было понять, из каких каретных мастерских вышел его тяжелый кузов, кажущийся громоздким на фоне притких городских экипажей. Саркома утверждала, будто создать его могли только в Вольфсбруке — слепые кузнецы, заточенные в башни из раскаленной стали, одержимые кошмарными сущностями и медленно сгорающие в пламени неугасимого огня. Вольфсбрукские кузни специализировались на выпуске роскошных экипажей для оберов, иные из которых своей ценой могли затмить многие замки. Возможно, Друденхаусы заказали там аутоваген еще в те годы, когда их династия находилась в зените славы. Или приобрели по выгодной okazji у кого-то из броккенбургских оберов. Или... В Малом Замке не было большого количества желающих строить на этот счет предположения.

На кузове «Белого Каннибала» не было никаких обозначений, которые могли бы свидетельствовать на этот счет. Ни клейм, ни отметин, ни символов. Невозможно было даже определить, к какому дьявольскому роду относились твари, запертые внутри него и приводящие его в движение, но в глубине души Барбаросса была уверена в том, что они не имеют отношения ни к его светлости герцогу Хорьху, ни к его величеству королю Цундапу. Этих тварей, должно быть, выращивали в каком-то особом адском котле, вскармливая ртутью, молоком и кровью детей, убитых их матерями.

Несмотря на свое имя, «Белый Каннибал» не был белым. Он был... Грязно-белым, пожалуй. Или серым. Или... Барбаросса не хотела даже гадать на этот счет. Вне зависимости от того, какая погода стояла над Броккенбургом, были улицы сухими или покрытыми грязной слякотью, горели фонари или нет, шкура «Белого Каннибала» неизменно напоминала ей шкуру большой акулы, окрашенную в тот зыбкий серый оттенок, от которого легкие начинают зудеть изнутри, а кости наполняются холодным студнем.

«Белый Каннибал» не рычал на всю улицу, как некоторые прочие аутовагены, не изрыгал снопов пламени и облаков сернистого дыма, напротив, двигался очень мягко, едва слышно ворча двигателем. Но когда его туша вползала на подворье Малого Замка, всем «батальеркам» делалось не по себе — будто в гости пожаловала не хозяйка ковена, а эmissар какого-нибудь из адских владык.

Корпус его, хоть и казался обтекаемым, не выглядел изящным, как у прогулочных карет, катящихся по Обершпадту, скорее, громоздким, тяжеловесным, даже немного неуклюжим, будто бы был сработан двести лет тому назад. У него не было тех деталей, которыми привыкли кичиться городские экипажи — ни больших ветровых стекол, позволяющих с удобством смотреть по сторонам, ни витой решетки на радиаторе, ни начищенных медных труб, изрыгающих дым. В некоторых местах на его кузове были заметны неровности, но и только — Саркома утверждала, будто это вплавленные в его каркас кости грешников, имевших неосторожность вступить в противостояние с фон Друденхаусами. Наверняка херня, но Барбароссе отчего-то не хотелось строить других предположений.

Узкие колеса аутовагена не имели каучуковых шин, однако по мостовой Броккенбурга «Каннибал» всегда катился почти беззвучно, рождая своим движением один только зловещий, пробирающий до нутряных костей, гул. Небольшие окна, прикрытые затемнённым свинцовым стеклом, почти не пропускали внутрь света, мало того, изнутри кузов был защищен шторами из глухой черной ткани. Как будто на свете нашлось бы много желающих заглянуть внутрь!

Барбаросса не знала, что за демоны томятся под капотом «Каннибала» и не хотела знать. Ей достаточно было того, что в десяти шагах от аутовагена она начинала ощущать запах жженой плоти, а еще — слышать голоса, которые нашептывают на ухо всякие мерзости. Еще хуже дело обстояло ночью. Говорили, там внутри, за тяжелыми панелями из меди и вольфрама, заточен дух отцеубийцы, которого бесконечно долго пожирает демоническая свора. Говорили, аутоваген Веры Вариолы приводится в движение сущностями столь опасными, что их вообще запрещено содержать в мире смертных, и исключение было сделано для рода фон Друденхаусов самим Белиалом — в знак уважения им заслуг прошлого.

Терпеть присутствие «Белого Каннибала» возле Малого Замка было не просто, но еще хуже бывало в тех случаях, когда Вера Вариола желала остаться в своих покоях на ночь. У нее редко возникало такое желание, но если уж возникало, эта ночь обыкновенно становилась весьма нервной для всех обитательниц замка. Стараниями Гасты, выполнявшей обязанности сестры-кастеляна, покои Веры Вариолы на верхнем этаже башни всегда поддерживались в образцовом порядке, готовые к ее визиту в любое время дня и ночи, но вот ее аутовагену места не доставалось — обыкновенно он так и торчал на подворье всю ночь.

Барбаросса хорошо помнила, как однажды ночью, выбравшись из койки по нужде, она в одних панталонах направилась наружу, намереваясь навестить нужник во дворе и совсем забыв о том, что перед замком дремлет, тихонько ворча, «Каннибал» Веры Вариолы. Удивительно — будучи почти белым, он едва угадывался в темноте, сливаясь с ночью так, будто сам был скроен из ее плоти.

Тяжелый, привалившийся к земле, силуэт. Демоны внутри него спали, но стоило Барбароссе сделать один беззвучный шаг, как она явственно ощутила доносящееся из-под капота ворчание. Утробное, точно звуки работающей костяной пилы, кромсающей чьи-то позвонки на низких оборотах. А еще она ощутила колючие ледяные иглы в натянутом до предела мочевом пузыре. Не потому, что «Каннибал» проснулся или три дюжины его глаз вдруг пробудились, залив ее светом, нет, он оставался недвижим, как мертвец. Но Барбаросса вдруг ощутила, что кто-то тихо зовет ее по имени. Голосом вкрадчивым и мягким, удивительно знакомым, но в то же время не похожим ни на один из голосов, что ей приходилось слышать. Это не было ворчание демона, это был упоительно мягкий рокот.

Смелее, ты, глупышка, говорил он, но называл ее не Красоткой и не Барбароссой и не сотнями тех унижительных прозвищ, что прилипли к ней здесь, в Броккенбурге, а ее именем — тем именем, что она оставила в Кверфурте. Смелее, девочка. Подойди поближе. Проведи рукой по полированному капоту. Коснись ручки и подними ее до щелчка. Распахни дверцу. Я покажу тебе настоящие чудеса — в их истинном виде, не извращенном ни адскими владыками, ни человеческими капризами. Забирайся внутрь, здесь теплые бархатные подушки, мягкие, как волосы Котейшества. Устраивайся поудобнее. Можешь подремать, слушая мое урчание...

Она даже сделала два или три слепых шага вперед, протягивая руку к никелированной

рукояти. Ворчание, доносившееся из-под капота, было вовсе не грозным, как ей показалось сперва, напротив, вкрадчивым и мягким, как мурлыканье огромного кота. Ничего страшного не будет, если она минутку посидит внутри? Она просто попробует, каково это, сидеть в дорогом экипаже, точно графиня, и сразу уйдет. Только одну маленькую крохотную минутку...

Смелее, девочка. Мы поладим друг с другом, я это чувствую. Протяни руку и погладь меня...

Она почти сделала это. Почти коснулась мягко вибрирующего капота аутовагена. И лишь в последнее мгновение отдернула руку, мгновенно сбросив с себя овладевшее ей оцепенение. Потому что в это мгновение вдруг увидела «Каннибала» Веры Вариолы таким, каким его точно не видели кучера других экипажей и прохожие. Огромного раздувшегося паука из черного льда, чья хитиновая шкура, источающая бесцветную жидкость, поросла щетиной из скрюченных человеческих пальцев и бесцветного мха...

На хер. Не осмелившись пересечь подворье, пока на нем стоит «Каннибал», Барбаросса той ночью предпочла опростаться у стены замка и зареклась отныне выходить наружу, если во дворе стоит аутоваген хозяйки ковена. Кажется, прочие «батальерки» и сами испытывали сходные чувства — в те ночи, когда в Малом Замке гостила Вера Вариола, ночной горшок пользовался среди сестер куда большей популярностью, чем в прочие.

Но больше всего от «Белого Каннибала» доставалось Кандиде.

Младшая среди младших, бесправное забитое существо, считающееся сестрой «Сучьей Баталии», но на деле лишь прислуга, она не осмеливалась перечить даже прочим париям, трудившимся на правах младших сестер, Шустре и Острице. Неудивительно, что в Малом Замке на нее сваливали всю грязную работу. Она не перечила, когда промозглой ночью ее загоняли нести вахту на крыше замка, в то время как прочие «батальерки» спали в своих койках. Не перечила, когда днями напролет стирала их тряпки в зловонной воде, обжигая щелоком руки. Не подавала голоса даже когда вечно голодная Шустра лишала ее жалкой ничтожной пайки, внаглую воруя ее хлеб. Не роптала даже после того, как Холера исхлестала ее по лицу вожжами за недостаточно начищенные сапоги — при том, что сама забыла отдать ей приказ...

Кандида была столь покорна и исполнительна, что иногда Барбароссе даже казалось, что если старшие сестры начнут медленно резать ее на кусочки, она и то не проронит ни слова, лишь будет крутиться так, чтоб им удобнее было орудовать ножами. Единственный раз за все жалкие пятнадцать лет своей жизни младшая сестра Кандида ослушалась старших, когда Гаста — хитрая рыжая сука Гаста — велела ей вымыть «Белого Каннибала», стоящего во дворе Малого Замка.

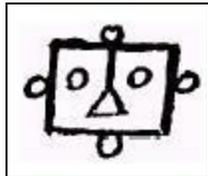
Аутоваген Веры Вариолы не нуждался в мойке. В любое время дня он сохранял свой грязно-белый цвет, неважно, натирали его бока воском или заляпывали уличной слякотью. Даже когда канавы Брокенбурга были полны жидкой грязью, он выглядел не просто чистым, но противоестественно чистым. Отвратительно чистым, на взгляд Барбароссы. Она сама не собиралась приближаться к «Каннибалу» даже имея надежное кабанье копьё или заряженный пистоль. Но у Кандиды, младшей из сестер, выбора не было.

Едва только подступившись к дремлющему на солнце аутовагену, Кандида побелела, как алебастр и рухнула на колени, выронив ведро и тряпки. Напрасно ее увещевали подружки, напрасно хмурилась Гаста — Кандида не смогла выполнить поручение. Лишь мотала головой и тихо выла от ужаса.

Отказ от выполнения своих обязанностей не просто неуважение к старшим, это пятно на чести ковена. Убедившись, что Кандида не собирается приступать к работе, Гаста взяла полено потолще — и обработала ее так, что та сама стала походять на распластанный ком тряпья. А потом еще раз. И еще. Но даже избитая до кровавых пузырей Кандида отказывалась подойти к «Каннибалу» — страх перед ним был сильнее, чем страх перед старшими сестрами и всеми пытками, которые те могли вообразить.

К огромному облегчению Барбароссы, почти вжавшейся в изгородь, чтобы разглядеть подворье Малого Замка, предназначенная для «Белого Каннибала» площадка была пуста. Это означало, что Вера Вариола не намеревается почтить замок своим присутствием — по крайней мере, сегодня.

Чем бы ни занималась сейчас Вера Вариола, она была слишком занята, чтобы пользоваться гостеприимством Малого Замка и своего ковена. Может, развлекалась в Оберштадте вместе со своими высокородными сородичами — говорят, на балах у оберов подают такое вино, что после него самая сладкая сома кажется кислыми помоями. Может, ее и вовсе не было в Броккенбурге. У хозяйки ковена много привилегий, одна из которых — находится где угодно, не отдавая отчета сукам, что ходят у тебя в услужении, по милости адских владык именуя себя «батальерками».



Неизъяснимое облегчение, которое на миг ощутила Барбаросса, было сродни ощущению, будто с ее шеи свалился даже на камень, а раскаленное ядро. С другой стороны...

Она Друденхаус, разве не так?

Кажется, кто-то прошептал ей это на ухо, но это точно был не Лжец, его голос она уже научилась узнавать. И вряд ли это был Цинтанаккар — тому, кажется, не требовались слова.

Она Друденхаус, тупая ты пизда. Из тех самых Друденхаусов, про которых столько распинался вельзер с его распухшей от познаний головой. Она обер из рода, с которым во всех германских землях лишь две-три дюжины оберских династий могут сравниться по части знатности и с которым ни одна живая душа не может сравниться по части древности. Из рода, которому благоволят сами адские владыки.

Вера Вариола давно постигла те науки, в которых Гаста и Каррион совершенствовались и к которым лишь подступалась Котейшество. Флейшкрафт, Хейсткрафт, Махткрафт, Стоффкрафт — все эти запретные адские науки наверняка для нее были не сложнее игры в фантики. Если так...

Барбаросса безотчетно стиснула болтающийся на поясе кошель, отчего отрубленные пальцы в нем издали негромкий тошнотворный хруст.

Для Веры Вариолы, урожденной фон Друденхаус, наверняка и Гоэция, древнее искусство управления демонами, не более чем детская забава. Быть может, ей достаточно вытянуть особенным образом пальцы да крикнуть во все горло «Цинтанаккар! Повелеваю тебе идти нахер!» как острая бусина, ерзающая у нее под шкурой, беззвучно лопнет, испарившись без следа?..

Вера Вариола сурова. Она не дает спуска своим сестрам и за малейшее подозрение в нарушении правил чести готова учинить над ними такую расправу, по сравнению с которой

самые страшные наказания, которым подвергают младших сестер «униатки» или «воронессы» покажется никчемным баловством. Однако Вера Вариола умна — этого у нее нельзя отнять — невероятно, противоестественно, дьявольски умна. Если она поймет, в какой ситуации оказалась сестрица Барби, если осознает, в каком безвыходном положении ей пришлось действовать, если...

— Никчемная мысль.

— Что?

— Все твои мысли никчемны, — скучающим голосом сообщил Лжец, — Но эта на их фоне сверкает точно жемчужина в кучке козьего дерьма. Едва ли хозяйка твоего ковена сможет помочь нам.

— Черт! Ты что, вздумал читать мои мысли?..

— Не было нужны. Ты произнесла это имя вслух, а ход твоих мыслей столь примитивен и прост, что установить их направление смог бы и золотарь. Нет, я бы не рекомендовал тебе надеяться на Веру Вариолу.

— Но она...

— Друденхаус? — в голосе гомункула прошелестел смешок, — Да хоть бы и сама фрау Хульда[3]! Возможно, это имя еще кое-что значит в мире смертных, но поверь мне, это вовсе не универсальный ключ, открывающий все замки. Монсеньор Цинтанаккар презирает чины и титулы, а к вашей хозяйке пиетета испытывает не больше, чем к стогу сена. Вы все для него — примитивная форма жизни, служащая пищей, вне зависимости от того, какими энергиями фонтанируете и кем себя мните.

— Да ну?

— Для того, чтобы справиться с демоном, нужен специалист, Барби. И не школяр, высекающий пальцами искры, самозабвенно считающий себя повелителем адских бездн. Нужен профессионал! Тот, кто умеет заклинать демонов! Тот, кто...

— Тс-с-с! Заткнись!

Вдоль изгороди кто-то шел и, судя по тому, как заплетались ноги у этого припозднившегося прохожего, это вполне могла быть Холера, налижавшая вина и спешащая в Малый Замок, чтобы порадовать своих сестер. Барбаросса приникла к самой земле, прикрывая полой дублета банку с гомункулом.

Повезло — не Холера. Просто подвыпивший бургер, основательно кренящийся набок и пытающийся напевать себе под нос какую-то похабщину. Но Барбаросса все равно выждала из осторожности полминуты, прежде чем заговорить вновь.

В словах гомункула была толика правды. Крошечная, как и он сам.

В мире смертных обретается до черта ублюдков, которые обманом, щедрыми подношениями или лестью выманили себе крохи адских энергий. Большая часть из них — жалкие ворожеи, шептуны, колдуны и знахари, способные заговаривать зубную боль, умерщвлять плод в утробе и пугать детвору на ярмарках неказистыми фокусами. Никчемная публика, даже более жалкая, чем ведьмы, жалкие тараканы, довольствующиеся крохами адских сил.

Херня. Эта братия годится, чтобы избавиться от вшей, но не от хищного демона, засевшего у нее в печенках. Может...

— Чернокнижник, — пробормотала она, — Возможно, мне удастся наскрести серебра на чернокнижника средней руки и...

Гомункул презрительно сплюнул. Так мастерски, что она отчетливо услышала звук

плевка.

— Чернокнижника!.. Чернокнижники — это жалкий сброд, не имеющий отношения к древнему благородному искусству демонологии! Вчерашние козопасы, начитавшиеся хрен знает каких брошюр и возомнившие себя знатоками адских наук. Они силятся управлять энергиями Ада, не прибегая к помощи тамошних владык, и заканчивается это обычно одинаково. Как у всякого болвана, вознамерившегося поймать рухнувший с колокольни колокол, не прибегая к лесам, веревкам и рычагам. Жалкое, презренное племя, состоящее из ничтожных самоубийц! Ты ведь помнишь Франца Райхельта?

Барбаросса покачала головой. Ее память, похожая на драную рыбацкую сеть, не могла удержать в себе куда более важные вещи, чем имена невесть каких господ, которые якшались с адскими силами хер знает сколько лет тому назад.

— Ну и кто это? Твой папочка?

— Нет. Чернокнижник-самоучка из Австрии. Кроил камзолы и жилеты, пока не возомнил себя знатоком адских тайн, которому открыты сокровища Преисподней. Знать, начитался всякой херни из купленных из-под полы манускриптов... Семьдесят лет тому назад сиганул с Башни Штольберга[4], будучи уверенным в том, что овладел энергиями Махткрафта, повелевающими в том числе силой тяжести и взаимным притяжением. А в ней, между прочим, было почти девять саксонских рут[5]! Может, у него в самом деле были основания для гордости, но где-то расчеты его подвели. Франц Райхельт взмыл в небо, точно снаряд из пушки, вознесся в зенит и более не вернулся на грешную землю. Говорят, в хороший телескоп его можно заметить в предрассветные часы, на фоне нисходящей Венеры. Адские духи используют его в качестве колесницы, гоняя по небу от звезды к звезде, восседая толпами у него на спине, щедро угощая шпорами и хлыстами! Ох, как он кричит до сих пор, ты бы слышала! Астрономы прозвали его Шрейндерштерн[6] и нанесли на многие свои атласы.

— Охеренно рада за него, Лжец, вот только...

— Иммануил Кант, прозванный «Прусским Затворником». Мечтал познать механизмы управления разума, сокрытые в черепе, для чего посвятил всю свою жизнь попыткам умыкнуть из адских сокровищниц драгоценные крупинки Хейсткрафта. С тем же успехом можно пытаться похитить из камина горящие угли, набив ими карманы! Адские сеньоры, надо думать, едва не недорвали животы, глядя на то, как он пытается посягнуть на их богатства! А после заточили его в «Фестунг-дер-Альбтройме[7]».

Барбаросса нахмурилась.

— Это в Саксонии?

— Это так далеко от Саксонии, что даже и вообразить нельзя. Это обособленный кусок мироздания, парящий где-то в сердцевине Ада, сотканный из самых страшных кошмаров, которые только может вообразить рассудок. Целый сонм демонов только тем и занят, что изобретает новые виды пыток, оттачивая самые удачные из них на протяжении миллионов лет. Рассудок, запертый в «Фестунг-дер-Альбтройме», проходит через тысячи стадий гибели, разрушаясь до основания, чтобы вновь быть воссозданным в прежнем виде — и вновь погрузиться в бесконечную пытку. Заточение господина Канта длилось всего четыре секунды по нашему времени, но по времени Ада он пробыл в этом страшном горниле дольше, чем горят звезды. Когда его рассудок вновь был возвращен в тело, этот несчастный, тысячи раз сошедший с ума и пропущенный сквозь все мыслимые жернова, вспорол себе горло куском разбитой чернильницы. Кого бы еще вспомнить...

— Никого не вспоминай!

— Карл Шееле, — гомункул выложил это имя с таким видом, будто оно было по меньшей мере козырным королем, ловко прихваченным им в колоде, — мекленбургский хлыщ и самозванный стоффкрафтер. Разочаровавшись в алхимии, ощутив ее пределы, вздумал использовать энергию Стоффкрафта для трансмутации одних веществ в другие. Дерзкий замысел. Уж точно интереснее, чем годами корпеть за пробирками, а, портя легкие мышьяком и сурьмой? Трудясь над формулами, он тоже забыл — человек в силах обуздать некоторые из адских энергий, но никогда не сравняется по силе с адскими владыками. Это значит, рано или поздно он ошибется и...

— Что там было с тем мекленбургским стоффкрафтером? Тоже взлетел до небес?

— Карл Шееле? О нет. Он сам трансмутировал, потеряв человекоподобную форму, сделавшись исполинским газообразным элементом, состоящим из синильной кислоты и бациллариофициевых водорослей. Говорят, убил своими миазмами целый квартал, прежде чем поднятые по тревоге супплинбурги в своих скафандрах сумели откачать его в бочки. Впрочем, про него нельзя сказать, что умер в неизвестности. Бочки с шеелитом сбрасывали во времена Второго Холленкрига на Гааповы полчища, намеревавшиеся форсировать Одер и осадить Европу с востока. Успехи его на этом поприще сделались столь велики, что в скором времени он стал королем ядовитых газов. Люди, вдохнувшие его миазмы, не умирали сразу, их раздувало, точно утопленников, глаза лопались в глазницах, а кости срастались с мышцами и кожей, превращаясь в однородное, расцвеченное язвами, месиво. Забавно, что даже шеелит не смог совладать с воинством Гаапа, рвущимся поквитаться с архивладыкой Белиалом за его предыдущие бесчинства. Слепшие, обезумевшие, эти существа слепо брели вперед, ощупывая дорогу вываливающимися из пастей языками, сделавшимися подобием щупалец. Или взять господина Дагляна. Он тоже мнил себя великим знатоком чар...

— Довольно! — приказала Барбаросса, — Я уже поняла, к чему ты ведешь. Те четырнадцать... Они обращались к чернокнижникам?

— Да. Пятеро из них.

— И что? — жадно спросила Барбаросса.

Лишь мгновением позже пришла мысль — какая же ты все-таки никчемная тупоголовая пизда, Барби. «И что?» Все четырнадцать твоих предшественниц лежат на заднем дворе милого домика по Репейниковой улице, превратившись в компост для старикашкиных роз — если он, конечно, увлекается выращиванием роз. Ты в самом деле еще хочешь поинтересоваться их успехами?..

— Ничего, — сухо произнес Лжец, — Ни один из них не смог нам помочь. Даже те, что ломили за один визит по два гульдена. Напрасно эти вчерашние школяры окуривали нас фимиамом, ливанским кедром и жжеными крысиными потрохами, напрасно марали пол мелом, вычерчивая сложнейшие узоры магических схем, от которых даже у меня рябило в глазах, напрасно читали свои засаленные, усеянные пятнами крови и спермы, гримуары. Один старался так, что у него взорвалась пасть, вообрази себе. Цинтанаккар — это не экзема и не свищ, поселившийся у тебя в требухе, это демон. А чтобы столкнуться с демоном, нужен демонолог. Лучше всего с императорским патентом за пазухой, но на худой конец сойдет и любой другой...

— Демонолог! — невольно вырвалось у Барбароссы, — Черт. Да будет тебе известно, Лжец, эта публика не жалуется ведьм. Мы для них что крысы. Или хуже крыс. Даже если я разыщу практикующего демонолога поздним вечером, раздобуду достаточно монет, чтобы

сунуться на прием, слуга не пустит меня дальше прихожей. И хорошо, если спровадит прочь кнутом, а не мушкетом с серебряной дробью! А может, у тебя есть демонолог на примете, а?

Гомункул некоторое время молчал, но судя по равномерному стуку, доносящемуся из банки, не дремал, а постукивал по стеклу. У человека это могло означать напряженную работу мысли или нервозность, но что это должно было означать у гомункула, Барбаросса не знала — и не хотела знать. Сейчас ее куда больше интересовали окрестности Малого Замка, за которыми она напряженно наблюдала.

— Возможно, и есть.

— Что?

— Ты спросила, есть ли у меня демонолог на примете. Возможно, есть. Но не у меня, а... Скажем так, пару лет тому назад мне довелось мне познакомиться с одной дамой...

Барбаросса, даром что старалась оставаться недвижимой, едва не расхохоталась, представив эту картину.

— Дамой? Черт! Дай угадаю, ты спас ее от комнатной моли и она не могла не влюбиться в такого храбреца! Бьюсь об заклад, суцая красотка, а? Она носила тебя в своем ридикюле? Пичкала конфетами? Позволяла гулять в своих панталонах?..

Гомункул сердито засопел. Сам мастер наносить язвительные удары, иногда он подставлял уязвимые места, в которые грех было не загнать рапиру.

— Ее звали Умная Эльза, — сухо произнес он, помолчав некоторое время, — И ее банка стояла по соседству с моей. Она не была красоткой — ни в моем представлении, ни в вашем — но собеседница интересная, одна из лучших, что мне случалось встречать в моих странствиях по прилавкам. Она утверждала, что в свое время служила ассистентом у одного демонолога, мало того, весьма уважаемого в своих кругах...

— Ну конечно! — фыркнула Барбаросса, — Сразу после того, как служила укротительницей тигров в цирке. Ты ей поверил?

Лжец поколупал пальцем стекло.

— Мне встречались собратья, которые лгали направо и налево, — нехотя признал он, — Мы, гомункулы, сами подчас не против приукрасить свое скорбное бытие. Мало охочих признаться, что половину своей жизни служили вместо счет в табачной лавке или вели учет писчим перьям в каком-нибудь архиве. Но она... Возможно, она и не лгала. Этот демонолог, сказала она, отошел от дел и больше не ведет практику. Он живет в тихом углу где-то в Нижнем Миттельшгадте, но она сообщила мне тайное слово, которое он должен узнать и...

Барбаросса едва не клацнула зубами. От досады на саму себя — на миг она поверила, что за болтовней гомункула может скрываться что-то стоящее.

Демонолог? В Нижнем Миттельшгадте? Тайное слово? Полная херня!

Ни один демонолог, будь он хоть самым никчемным, не станет жить в низовьях горы, хлебая ядовитый воздух. Куда охотнее она бы поверила в то, что курфюрст саксонский, устав вкушать устриц и пить драгоценное вино, поселился инкогнито в Унтершгадте.

— У тебя было четырнадцать компаньонов, Лжец. Скольким из них ты сказал про демонолога?

Гомункул ответил не сразу. Он не был тугодумом, у нее была возможность в этом убедиться, и соображал чертовски быстро. Если он медлил, значит, о чем-то размышлял, но его мысли, в отличие от ее собственных, были надежно заперты в стеклянной бутылки и ей недоступны.

— Ни одной.

Барбаросса хмыкнула.

— Что, ни одна из них не была достаточно хороша?

— Ни одна из них не была столь безнадежна! — огрызнулся он, — Мне больно смотреть, как ты теряешь время — наше общее время!

Барбаросса сорвала засохшую ягоду магонии, маячившую перед лицом и машинально попыталась кинуть в рот, но не смогла даже разомкнуть зубов — откуда-то изнутри поднялась тяжелая затхлая волна тошноты, мгновенно скрутившая ее, точно ком мокрого белья. Как тогда, в «Хромой Шлюхе». Тяжелая острая бусина Цинтанаккара, сидящая под ребрами, несколько раз дернулась.

А может...

Барбаросса машинально коснулась пальцем подреберья в том месте, где ощущалась тяжесть крохотной бусины Цинтанаккара. Его нельзя было нащупать пальцем, но все же она вполне точно могла бы определить, где он засел. Он не под кожей, глубже, но если рассечь мышцы и сделать это достаточно быстро, а еще заpastись хорошими щипцами и...

— Не советую, — холодно заметил Лжец из мешка, — Изойдешь кровью.

Оказывается, она машинально коснулась свободной рукой ножа в башмаке. Пальцы отдернулись прочь, словно рукоять раскалилась докрасна.

— Что?

Гомункул усмехнулся.

— Мало того, что ты издохнешь посреди улицы, так еще и поставишь меня в крайне глупую ситуацию. Цинтанаккара нельзя вытащить словно занозу. Его не достанет даже сам Гаспар Шамбергер[8], окажись он здесь с полным ящиком хирургических инструментов.

— Вы и это проходили с... моими предшественницами?

— С седьмой по счету, — холодно подтвердил Лжец, — Ее звали Базалиома. Поначалу эта девица мне понравилась — сдержанная, спокойная, из таких обычно бывает толк. С истеричками приходится куда как сложнее. Увы, я в ней ошибся. Первые четыре часа она держалась сносно, но на пятом...

Барбаросса стиснула зубы, ощутив, до чего много промежутков между ними образовалось.

— Дай угадаю, ваш союз дал трещину?

Кажется, гомункул кивнул. Отрывисто, так что жидкость в его банке ощутимо плеснула.

— Она сломалась, когда Цинтанаккар отрезал ей язык и поджарил его прямо в ее рту. Базалиома хорошо умела терпеть боль, я даже думал, с ней мы зайдем дальше, чем с другими, но... Она сломалась. Стащила у мясника нож и, не слушая моих увещаний, попыталась вырезать Цинтанаккара из себя, как вырезают личинку мухи из куска мяса. Напрасный труд. Она изрезала себя настолько, словно ею сутки подряд пировала крысиная стая. Истыкала живот, изрезала грудь, едва не выпотрошила промежность... Цинтанаккар насмеялся над ней, подавая ложные сигналы. Манил вонзить нож в податливую плоть, не обращая внимания на боль. Он безумный адский зодчий, но иногда ему нравится выполнять грубую работу чужими руками. Бедная несчастная Базалиома. Перепуганная до смерти, воющая от боли, которую сама себе причиняла, она в иступлении вновь и вновь вонзала в себя нож, не замечая, что отрезает от себя кусок за куском. В какой-то момент ей пришлось прекратить это занятие — она больше не могла держать нож в руке. Но все еще сохранила способность ощущать боль. Когда к исходу седьмого часа Цинтанаккар приказал ей вернуться к старику, она выполнила этот приказ — несмотря на то, что к тому времени

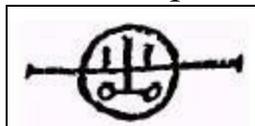
утратила возможность ходить. Ползла, хлюпая, точно развороченная медуза, оставляя за собой липкий алый след, и ползла чертовски упорно. Ну что же ты мешкаешь, юная ведьма? Смелее доставай свой нож. Только сперва подстели под себя какую-нибудь дерюгу — ты даже не представляешь, сколько крови здесь будет в скором времени, запачкаешь все в округе...

Сука. Барбаросса застонала, ощущая на пальцах мякоть раздавленной ягоды.

Неудивительно, что ей кажется, будто этот выблядок читает ее мысли. Для него это уже пятнадцатая попытка и он отчетливо видит все ее страхи и желания через судьбу предыдущих жертв Цинтанаккара. Должно быть, это сродни попытке посмотреть в пятнадцатый раз одну и ту же пьесу, данную одной и той же труппой. Меняются маски, меняется грим или декорации, но сюжет и реплики остаются прежними.

«Мою пятнадцатую звали Барбароссой, — скажет Лжец какой-нибудь юной шалаве, перепуганной до мокрых брэ, скулящую от ужаса, уже успевшую ощутить на своей шкуре зубы Цинтанаккара и не знающую, куда бежать, — По правде сказать, она была тупой никчемной сукой, никого не слушавшей и получившей что заслуживала...»

Барбаросса медленно отряхнула руки и вытерла ладони о штанины.



Несмотря на то, что подворье Малого Замка было пусто и не внушало опасений, она медлила, не в силах покинуть свое убежище за изгородью. Все надеялась, что вот сейчас среди кустов мелькнет вдруг макушка Котейшества или отзвуки ее звонкого голоса донесутся до нее из-за стены...

Тщетно. Лжец прав.

Наблюдая за Малым Замком из укрытия, она лишь теряет время. Истощает сосуд, в котором и без того скоро покажется дно. Если Котейшество в Малом Замке, она где-то внутри и не спешит показываться наружу. Значит, надо ее найти, смирившись с возможными опасностями, рискуя нарваться на кого-нибудь из старших сестер. У старших потрясающий нюх на дерьмо, прилипшее к твоим подметкам. И неважно, кто попадетс ей на пути, рыжая сука Гаста, сестра-кастелян, или Каррион Черное Солнце, сестра-капеллан, дело мгновенно запахнет так, как пахли костры Друденхауса на заре Оффентурена — горелым дерьмом и человеческим мясом.

Барбаросса сорвала еще несколько ягод и медленно раздавила их в кулаке. Надо идти. Она и пойдет, только сделает еще несколько глубоких вдохов, набираясь смелости. Видят все демоны адского царства, иной раз она возвращалась в Малый Замок с опаской, обоснованно ожидая трепки от старших, но никогда прежде его осунувшаяся каменная туша не казалась ей такой угрожающей и опасной.

Ты всегда мнила себя большой девочкой, Барби. Пыталась играть во взрослые игры еще до того, как у тебя на лобке появились волосы. Вот и придется тебе теперь отдуваться — за себя, за Котейшество, за всех несчастных сук, костями которых выложены улицы Броккенбурга...

— Слушай меня внимательно, Лжец, — приказала она, — Сейчас мы пойдем внутрь. Я не могу оставить мешок здесь. Если тебя стащит какой-нибудь бродяга, мы оба окажемся в чертовски глупом положении, так ведь? Так что будь любезен держать все дырки в своем теле закрытыми, особенно ту из них, что располагается в твоей голове пониже носа. Я не

хочу, чтобы из нее что-то просочилось наружу, понял? Ты даже не представляешь, какие чуткие суки водятся в этом замке. Они услышат твой шепот за пять мейле.

Это было правдой. «Сучья Баталия», хоть и пребывала по праву в числе старших ковенов, не славилась непревзойденным искусством своих ведьм, как в стародавние времена. У Друденхаусов давно уже не было ни того влияния, которым они владели прежде, ни того богатства, которым они распоряжались, чтобы приманить к себе самых толковых и сведущих. Но в плане чутья многие обитательницы Малого Замка могли бы дать фору лучшим графским ищейкам из дрезденских псарен.

Гаргулью можно не опасаться. Нюх у нее отменный, недаром она ночами выискивает в окрестностях Малого Замка крыс, которых раздирает, украшая себя ожерельями из их потрохов, но странного свойства. Она не ощутила бы даже явления адского владыки у себя за спиной, как не ощущала той вони, что издает ее давно немытое тело. Гаррота опаснее, но не намного. Прилежная в науках, безжалостная в драке, она, к своему несчастью, почти лишена магического чутья и не способна компенсировать это никаким прилежанием. Чертова дылда с железными кулаками, толку от нее в адских науках — как от дождевого червя...

А вот Холера и Саркома куда опаснее. Обе не производят впечатления матерых ведьм, но обе обладают превосходным чутьем, хоть и стараются этого не выказывать лишней раз. И если в голове у Холеры лишь блядки да дармовая выпивка, головка милочки Саркомы устроена куда как более опасно — эта сука все видит, все запоминает, а уж с кем делится — Ад ее знает. Ну и Ламия... Барбаросса едва не скрипнула уцелевшими зубами. Черт, ни одна душа в Малом Замке не знает, что творится в голове у Ламии и творится ли там хоть что-нибудь — прекрасная, как тысячелетний суккуб, холодная, как мраморное изваяние, она словно существует в своем обособленном измерении, но от ее улыбки по всему телу пронзает ледяной дрожью — точно тебе в лицо улыбнулась мраморными осколками могильная плита, под которой угадывается бездонный провал в земле...

Ну и конечно не следует забывать про рыжую суку Гасту. Сестра-кастелян получила свой пост не благодаря великому ведьминскому дару, но, как и все вестфальские крестьянки, она отчаянно хитра — самого дьявола обведет вокруг пальца в базарный день. Она-то все почувствует мгновенно — и не по возмущению, которое чары производят в магическом поле, резонируя и отражаясь, а по каким-то другим, одной ей ведомым, признакам...

— Буду молчать, юная ведьма, — с готовностью отозвался Лжец, — Не извольте сомневаться.

— И вот еще что... — Барбаросса перевела взгляд с горящих окон Малого Замка на неподвижно стоящий у изгороди мешок, — Если ты еще раз назовешь меня юной ведьмой, клянусь, я найду в замке самый большой котелок для варки белья, горсть лаврового листа, пучок укропа и...

— Ах, простите, — она услышала, как лязгнули несуществующие крохотные зубы Лжеца, — Я и забыл, до чего трепетно вы, люди, относитесь к тому жалкому клочку нематериального, что называете именем и который считаете своей собственностью. Как наивно прячете друг от друга и от адских владык, как затейливо украшаете, обставляя титулами, с каким пиететом храните — в глухих коробках, подальше от чужих глаз...

Повинуясь непонятному желанию, Барбаросса опустила край мешка, обнажив тусклый бок банки. Гомункул внутри шевельнулся, трепыхнувшись всем своим крошечным вздувшимся телом, приблизил к стеклу лицо. Глаза его, как и прежде, напоминали крохотные водоемы, полные тяжелой болотистой воды, открытый рот — бескровную только

что лопнувшую язву.

Сущий красавец. Впрочем, она, кажется, уже не ощущала желаний сплунуть при виде него. Привыкла, должно быть, как привыкают ко всем паршивым вещам в Брокенбурге.

— Никак, завидуешь, Лжец? Тебе и имени-то не досталось при рождении. Ах, прости, ты же и рожден-то не был, кажется?

Лжец хмыкнул, потеряв крохотной ручонкой стекло напротив лица. Иногда он казался несдержанным, точно запертый в банке демон, не гомункул — а маленькая человекоподобная кукла, набитая вместо тряпья и лоскутов одной только злостью и битым стеклом. Но иногда... Черт, каждый раз, когда она нарочно старалась его поддеть, Лжец, будто разгадав ее маневр, отвечал одной только ухмылкой, а то и отпускал какую-нибудь острую шуточку.

Он тоже не так прост, как кажется, напомнила себе Барбаросса. Это ничтожество половину своей жизни провело на кофейном столике, играя роль то наживки для никчемных воровок вроде нее, то собеседника для пьяного старикана, которого распирало от дурных воспоминаний. Не то что бедняга Мухоглот, торчащий на профессорской кафедре и медленно покрывающийся пылью. Эта жизнь должна была многому его научить. Тем более надо держать с ним ухо востро.

— Я уже говорил тебе, у меня было много имен. Признаю, не все они были приятного свойства, однако...

— А она? Как она тебя называла?

— Она?

— Панди. Она же должна была как-то к тебе обращаться? Может, она тоже дала тебе имя?

Наверняка дала, подумала Барбаросса. Панди не терпела неопределенностей в жизни и всем окружающим ее вещам давала имена и обозначения, пусть иногда и не очень изысканные. Как она могла назвать гомункула? Едва ли лучше, чем его предыдущие хозяева. Кизяк, например. Или Румпельштильцхен. У Панди было много достоинств, но весьма своеобразное чувство юмора. Лавры Ганса-Живодера[9] ей всегда были ближе, чем лавры Бретшнайдера[10]. Едва ли она слишком нежничала со своей добычей...

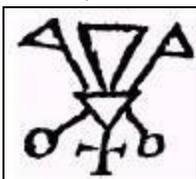
— Не помню, — неохотно буркнул Лжец, — Но уж наверняка воображение у нее было развито получше твоего, Красотка.

Барбаросса не вздрогнула, однако ощутила, как неприятно дернулось что-то в требухе. И в этот раз это был не Цинтанаккар.

— Откуда ты...

— Откуда я знаю, что тебя кличут Красоткой? Так называла тебя твоя подруга Бригелла. Твое второе имя?

— Нет, — неохотно ответила Барбаросса, отводя взгляд, — Первое.



Подворье Малого Замка было безлюдно — пожалуй, даже удивительно безлюдно для этого времени суток. Не видать ни снующих по хозяйству младших сестер, ни старших товарок, вернувшихся после университета и развлекающихся нехитрым, свойственным «батальеркам», образом. Никто не рубит дров, не распевает во все горло похабных песенок,

не швыряется камнями по снующим в зарослях катцендраугам... Удивительно тихо. Если бы не горящие окна общей залы да кабинета Каррион в башне, можно было бы подумать, что Малый Замок пуст и безлюден.

Барбаросса всматривалась до рези в глазах, надеясь увидеть в каком-нибудь из окон фазанье перышко на макушке Котейшества. Может, она в дровяном сарае? Едва ли. Забираясь в него, она обычно оставляла на заборе условленный знак — пару скрещенных веток...

Конечно, Котейшество может быть и в общей зале. К примеру, помогает сестрам с алхимией или беззаботно сушит сапоги у очага. А может, развалилась на койке, листая свои записи — пухлую книжонку, извлеченную из сундука, полнящуюся самыми разными знаниями по части адских наук, готовится к завтрашней лекции по спагирии...

Черт, едва ли. У Котейшества железные нервы, но сейчас она, должно быть, не находит себе места от беспокойства. Если она в самом деле успела вернуться в Малый Замок, значит, должна метаться, точно запертая в чулане кошка. Вопрос лишь в том, как ее найти, да еще так, чтобы не вызвать недоброго интереса у Гасты и прочих сестер, не привлечь внимания к собственной персоне...

— Страшно представить, как называли тебя при рождении любящие родители, если ты предпочла сделаться Красоткой, — фыркнул Лжец, украдкой наблюдавший за ней из банки, — Дай угадаю. Кларимонда? Вильгемина? Мехтильда?

— Я не выбирала его, — холодно ответила Барбаросса, — Я получила его в первый год жизни в Броккенбурге и, знаешь ли, это был не тот дар, от которого можно отказаться.

Лжец хмыкнул.

— Весьма переоцененная мера безопасности. Принято считать, что демон, завладев именем заклинателя, обретает над ним власть, но, как по мне, это не более чем древний предрассудок. Если тебя угораздило встретиться с адским владыкой и не озаботиться при этом мощными контурами защитных рун, он совет из тебя пряжу и плевать, успела ты ему представиться или нет.

— Этой традиции триста лет. Херово же ты знаешь обычаи Броккенбурга, Лжец.

Гомункул в банке шаркнул крохотной рудиментарной ножкой.

— Только не попрекай меня этим. Ты же знаешь, я веду весьма уединенную жизнь.

— И в самом деле, я и забыла, что ты домосед! — буркнула Барбаросса, — Первое имя дарит ведьме Шабаш. Это его дар, знак того, что она принята в семью.

Лжец едва заметно качнул головой. Задумчиво, будто усваивая полученную информацию.

— Я не очень-то сведущ по части нравов, царящих в Шабаше, но кое-что благодаря твоим товаркам все-таки усвоил. Это общество парий, не так ли? Парий, которые вынуждены вымещать гнев друг на друге, пожирая более слабых и выслуживаясь перед сильными. Именно поэтому они награждают новичков не именами, а презрительными кличками вроде собачьих?

Барбаросса фыркнула.

— Ну, если на то пошло, я не слышала, чтобы Шабаш нарек кого-то Принцессой, Сеньорой или там Душечкой. Скорее — Дранкой, Жабой, Полимастией, Шавкой, Требухой, Дырккой, Тлэй...

Лжец кивнул, едва не стукнувшись бугристым лбом о стекло.

— Так я и думал. Тавро.

— Что?

— Тавро, — спокойно пояснил гомункул, — Отметина, которой клеймят скот и строптивых рабов. И это не просто украшение, знаешь ли. Тавро — символ подчинения, который невозможно стереть или забыть. Отметка, которая вечно будет напоминать тебе о твоей никчемности, о том, какое положение ты занимаешь и кому служишь. Так и с именами. Шабаш дает вам эти собачьи клички не для того, чтоб унижить — хотя и для этого наверняка тоже — а чтобы закрепить власть над вами.

Он умен, подумала Барбаросса, машинально поглаживая пальцами отчаянно саднящий ожог на ладони. Умен, наблюдателен и смышлен. Черт, из него, пожалуй, мог бы получиться студент!.. Прилежный, толковый, заглядывающий в рот профессорам и штудирующий инкунабулы адских наук без сна и отдыха. Броккенбургские профессора обожают прилежных студентов. Наверняка в скором времени он сделался бы всеобщим любимчиком...

Правда, через неделю кто-то наверняка подсыпал бы ему в банку крысиного яда, решила Барбаросса с мысленным смешком, чересчур уж острый язык. Это тебе не безобидный Мухоглот, которого можно безнаказанно доводить до белого каления...

— Значит, ты была Красоткой, прежде чем сделаться Барбароссой? И долго?

— Полтора года, — неохотно отозвалась она. Меньше всего на свете она собиралась трепаться с гомункулом о своем прошлом, но наблюдать за Малым Замком в гнетущей тишине было чертовски утомительным занятием. Поневоле дашь волю языку, — В Броккенбурге заведено, что ковен, принявший ведьму под свое покровительство, дарит ей новое имя. Но не сразу, а только после того, как она докажет, что имеет на то право. Отличится выдержкой, дисциплиной и соблюдением правил чести. Перейдет из младших сестер в полноправные члены ковена.

— Обряд инициации, — пробормотал Лжец, негромко, будто бы сам себе, — Переход от детского качества ко взрослому. Любопытно.

Нет, подумала Барбаросса, ничуть не любопытно. Это еще одно разочарование, которое ждет тебя на жизненном пути, как груда лошадиного навоза посреди улицы. Изнывая под гнетом старших сестер, месяцами терпя унижения и побои, выполняя роль прислуги и вечного подмастерья, ты воображаешь, что твое новое — настоящее — имя будет красивым или, по меньшей мере, изящным. Будет чем-то вроде фибулы, которой можно скрепить плащ.

Но принимать его с надеждой — то же самое, что принимать чашу с вином из рук Александра Борджиа, у которого ты только что выиграла в кости. Оно, твое новое имя, не упустит возможности ужалить тебя, тем или иным образом.

Она сама мечтала о чем-то звучном. Хлестком, злом, хищном. Об имени, один звук которого заставлял бы людей тревожно замирать, пересчитывая свои грехи и нащупывая взглядом дверь.

Дага. Резня. Травма.

На худой конец — Фальката, Пика или Спата.

Но стала Барбароссой. Можно утешать себя тем, что ее имя — дань памяти Неистовому Фридриху, десятому императору Священной Римской Империи, безумному рыцарю, причастившему итальянских князьков их собственной горячей кровью и способном выйти на бой хоть бы и против самого Сатаны с боевым молотом в руках.

Но достаточно глянуть в начищенную медную крышку от кастрюли, которую в Малом

Замке держали вместо зеркала, чтобы понять — нет, не о древних германских императорах думали старшие сестры, подыскивая для нее имя, совсем не о них...

Барби. Крошка Барби. Сестрица Барби.

Ее назвали в честь прелестной фарфоровой куколки, пришедшей на смену старой Бильд Лилли[11], улыбающейся из нарядных коробок в витринах Эйзенкрейса. Широко распахнутые глазки, точеные черты лица — даже в самом развратном одеянии она выглядела невинной и целомудренной. Два талера за обычную модель и два с половиной — за «Милочку» с набором сменных платьиц из парчи и комплектом великосветского реквизита — миниатюрный ридикюль, веер, парасоль и горжетка лисьего меха...

Этих кукол всегда было до черта в витринах. Чертова фарфоровая армия, скалящаяся на тебя из-за стекла. Идя рядом с Котейшеством мимо, она всегда отворачивалась или шла с таким умыслом, чтобы не касаться взглядом их мертвых, безукоризненно раскрашенных лиц. Не потому, что находила что-то неправильное в их фарфоровой красоте — боялась увидеть свое собственное в безжалостном отражении стекла...

Да и похер.

Ее новое имя служит источником для смешков, но это «взрослое» имя, награждая которым, ковен признает твои заслуги. Многие из «батальерок» не могли похвастать и таким — таскали свои прежние, данные еще Шабашем, точно старые, много раз перекроенные и заштопанные платья.

Гаргулья, Холера, Саркома... Несмотря на то, что с Вальпургиевой ночи минуло почти четыре месяца, эти трое не спешили обзаводиться новыми именами. И, как не без злорадства полагала Барбаросса, скорее всего не обзаведутся ими и до четвертого круга.

Гаргулья, кажется, вообще слабо понимает, что такое имя и для чего оно нужно, с ее точки зрения пользы в нем не больше, чем в никелевом свистке для грифа-стервятника. Иногда кажущаяся пугающе мудрой, в другие моменты она обнаруживала в себе такое непонимание человеческой природы, что казалось удивительным, как она вообще способна существовать в одном замке с людьми. Достаточно и того, что раз в месяц Котейшество ловит ее на крыше и сдирает с нее одежду, превратившуюся в грязное рубище, чтобы хоть как-то отстирать после всех ее увлекательных ночных приключений...

Саркома давно могла бы заслужить более почтительное прозвище, если бы соизволила прилагать для этого хоть какие-то усилия. Но, кажется, ее это ничуть не заботило. Выглядящая одновременно насмешливой и равнодушной, она, кажется, вообще воспринимала жизнь как не в меру затянувшуюся шутку, а собственное имя носила с какой-то небрежной гордостью, точно брошь из фальшивого золота.

Про Холеру и говорить нечего. Учитывая все ее делишки, иногда кажется, что Вера Вариола приняла ее в свой ковен только лишь потому, что хотела проверить, как много демонов явятся за ее дымящейся шкурой из Ада, утомленные ее бесконечным распутством...

Некоторые суки носили свои имена с такой гордостью, точно это были драгоценные ордена. Заносчивые вульвы, которые заслуживают быть сожранными стариной Брокком. Другие... Пожалуй, были и те, кто относились к своему имени по-философски, не бравировав им, но и не стыдясь.

А были такие, как Вера Вариола.

Фон Друденхаус по крови, она наверняка могла рассчитывать на права и привилегии, которые кажутся невысказанными для юных школярок, с боков которых Броккенбург еще не успел ободрать лишней жирок. Может, матриархи Шабаша и были безумными суками, как

про них говорили, но даже они должны были испытывать к почтенному семейству фон Друденхаусов если не благоговение, то уж молчаливое уважение. Вера Вариола наверняка могла выбрать любое имя на свой вкус, хоть бы и Принцесса Августина!..

Но стала Верой Вариолой.

Безропотно приняла свое новое имя, данное ей Шабашем, не погнушалась[12]. Мало того, не отбросила его с годами, как прочие суки, а так и оставила себе. Сохранила, как сохраняют в альбоме сухой цветок, конфетный фантик или театральные билеты — все эти крохотные вещицы, не имеющие никакой ценности, но напоминающие какое-то важное мгновение из жизни. Забавно, сохранила бы она такую преданность ему, если бы Шабаш, надевая ее именем в тот день, был бы немногим более язвительным?

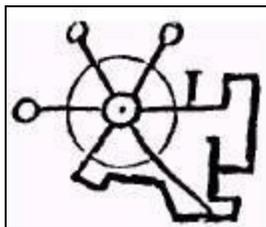
Шмара фон Друденхаус, подумала Барбаросса, силясь это представить. Эрозия фон Друденхаус!..

Барбаросса едва не хихикнула вслух. Сдержалась. Шутить на счет Веры Вариолы находясь в паре десятков рут от ее замка — верный способ обрести больше неприятностей, чем ей удалось собрать за этот длинный блядский денек. Может, вокруг замка и не шныряют бесплотные духи-соглядатаи, как говорит молва, но есть вещи, в которых осторожность никогда не бывает излишней. Мудрый наставник Броккенбург учит этому правилу с первого дня, не забывая отправлять неудачных своих выпускников в городской ров, на корм плотоядным фунгам.

Что ж, Панди тоже не вписывалась в принятую схему — старина Панди вообще не вписывалась ни в какие схемы, находя удовольствие в том, чтобы нарушать все неписанные правила, которыми Броккенбург кичился, точно старая дева фамильным сервизом, внося беспокойство и тревогу, возвещая хаос одним только своим появлением.

Разумеется, она не ждала милости Шабаша, чтобы обрести имя. Она взяла его сама. Она сама нарекла себя Пандемией, ни у кого не спросив, а с тех, кто имел неосторожность в этом усомниться, жестоко спрашивала кровью. Совершенно неукротимая чертовка, нарушившая так много правил Броккенбурга, что Сатана должен был лично прислать за ней карету...

Барбаросса ощутила, как скоблит тупым ножом под сердцем. В конце концов и Панди не убереглась от беды, ее самоуверенность привела ее в ловушку, к старому ублюдку и его ручному демону-убийце. Еще тяжелее представить Панди, безвольно плетущуюся в проклятый дом, Панди побежденную, Панди раздавленную, Панди принявшую чужие правила и сдающуюся...



Случались с именами и более забавные истории, которые можно было бы даже считать поучительными. Как с Фальконеттой, подумала Барбаросса. Сейчас ее имя подзабылось, подзатерлось, но год назад порядочно пошумело на улицах Броккенбурга. И было, отчего.

Вот уж чью историю стоило бы выписать хорошей краской на стене университетского нужника — вместо похабных стишков и бесталанных гравюр, изображающих акт соития в таких противоестественных формах, что делалось даже смешно.

Выросшая в семье магистратского советника где-то в Росвайне, в четырнадцать лет она

не только умела писать, играть на виолончели, изъясняться по-голландски и по-датски, ездить верхом и танцевать ригодон, но и обладала неплохими познаниями в математике. Слишком поздно ее любящие родители поняли, что учить ее предстоит совсем другим наукам...

Броккенбург ни хера не любит таких, как она. В первый же день она лишилась всех своих пожитков, денег, собранных любящими родителями в дорогу и лошади. Взамен Шабаш милостливо подарил ей новое имя — Сопля. Ничто не доставляет Шабашу столько удовольствия, как возможность выместить свою злость на ком-то более слабом и незащищенном. Сопля на долгие месяцы стала его излюбленной игрушкой.

Первую скрипку, конечно, сыграла Кольера — кто бы еще? Несколько дней она приглядывалась к новенькой, щуря свои тусклые, с желтизной, крысиные глаза, видно, прощупывала, прикидывая, нет ли у той могущественных покровительниц, а после... Барбаросса не видела акта расправы над Соплей, да и к чему — эти мелкие трагедии разыгрываются в Шабаше беспрестанно, без перерывов и антрактов, уже много веков подряд. Видела одну — считай, видела их все.

Говорят, Кольера приползла в тот день в дортуар пьяная как жаба, упавшая в кувшин с вином. Несчастная Сопля просто некстати попала ей на глаза. Кольера, внезапно взбеленившись, исхлестала ее до полусмерти ремнем. Попыталась затащить в койку и трахнуть, но не смогла, сама с трудом держалась на ногах. Тогда она отдала Соплю сестрам — и те уж оторвались на славу...

Над Соплей измывались всеми способами, известными в Броккенбурге, как старыми, придуманными триста лет назад, так и новым, изобретенными пытливыми суками специально для нее. Ее морили голодом, позволяя собирать хлебные крошки с пола. Ее выставляли в обоссанной ночной рубашке ночью на мороз. Ее, спящую, поливали горячим варом или помоями. Часто, устав напрягать воображение, ее просто колотили — так люто, что измолотая душа должна была высыпаться из брэнного тела. Но отчего-то не высыпалась, знать, кроме голландского и математики в ней были и другие задатки. Барбаросса и сама, будучи в Шабаше, третировала Соплю. Не столько из злости — мало удовольствия отмывать сапоги от чужой крови — сколько чтобы не выбиваться из стаи. Жалость — это та же слабость, а слабости в Шабаше не прощают никому. Чтобы пережить свой первый год в Броккенбурге, ты должна быть на дюйм быть более жестокой, чем самая жестокая сука. На фусс более злобной, чем самая злобная. На клафтер более беспощадной, чем самая беспощадная. Сопля была слаба — тонкие кости, немощные плечи. Умение танцевать чертов ригодон и знание математики ни хера не делают крепче — Барбаросса сама не раз щедро угощала ее сапогами, кулаками или плеткой, загоняя в угол.

Кольера, ее главная мучительница, пропала через несколько месяцев — то ли Брокк сожрал ее, скрежеща старыми многовековыми зубами, то ли постаралась одна из ее многочисленных жертв. Но участь Сопли оттого не сделалась легче. Сестры клевали ее безжалостно, словно гарпии умирающую лошадь. За любую провинность спрашивали с нее с тройной строгостью, отправляли во все дежурства и пропускали через такое количество унижительных ритуалов и игр, что менее крепкая сука давно вскрыла бы себе горло. Сопля не была крепкой сукой, напротив, слишком мягкой и податливой, идеально отвечающей своему имени, кто бы ее им ни одарил. В короткое время сестры, несравненные мастерицы и строгие наставницы, забили ее до такой степени, что превратили в бессловесное, бесправное и насмерть перепуганное существо.

Когда первый год обучения в Броккенбурге подошел к концу, многие воспитанницы, окрылившись, покинули Шабаш с надеждой обрести свое место в мире, а то и подыскать ковен себе по душе. Наивные суки, меняющие одно рабство на другое. Многие, но не Сопля. Униженная и забитая, она так свыклась с ролью прислуги, что уже не могла помыслить о свободном существовании. Ей проще было оставаться рабыней, чем что-то менять в жизни. Она осталась в лапах Шабаша, смирившись со своей участью. Сама не подозревая, до чего близок миг волшебного преобразования, превративший ее из Сопли в нечто другое...

Как-то раз, зимой, на исходе февраля, Шабаш в очередной раз гудел от музыки и плясок. Старшие сестры отмечали какой-то праздник. Не то чей-то удачный аборт, не то падение люфтбефордерунга в Басконии — вышедшие из-под управления возниц демоны впечатали небесную колесницу в крепость на горе Ойз[13]. Соплю отправили в трактир за вином, вручив горсть меди и велев притащить не меньше кумпфа. Не осмелившись перечить, Сопля ушла в зимнюю ночь, а вернулась через три часа, сизая от холода, едва шевелящаяся, с двумя жалкими бутылками. Она оббегала половину трактиров в городе, но приказа выполнить не смогла, да и где бы ей найти денег в такое время?..

В другое время сестры поколотили бы ее, как обычно, и забыли, но в этот раз хмельные бесы возобладали над осторожностью. Взбешенные отсутствием выпивки, они потащили ее из университетского dormитория в местный Данциг[14], чтобы там, вооружившись бритвами, проделать с ней старый броккенбургский фокус под названием «камбисование[15]». Они собирались срезать кожу с ее лица и прибить к двери.

Сопля, уж на что слабачка, увидев блеск бритв, взвилась как ужаленная. Сестры успели немного расписать ей лицо, но и только — лягаясь и кусаясь как обезумевшая, та пробилась к окну и выбросилась наружу, прямо сквозь стекло. Сестры, посмеявшись, убрали бритвы и вернулись в dormиторий, допивать вино и доигрывать карточную партию. Университетский Данциг располагался на высоте трех этажей — добрых пять клафтеров[16] вниз, до гостеприимной броккенбургской брусчатки — даже если не сломаешь нахер шею, переломаешься в стольких местах, что и кузнец не починит. Сестры даже успели поспорить, кому из них с утра спускаться вниз, чтобы оттащить обмороженный труп Сопли подальше от университетских стен.

А вот доиграть партию в карты не успели. Потому что дверь dormитория распахнулась и внутрь вошла Сопля. Или ввалилась. Или вползла. На счет этого не было единого мнения, но передвигаться на своих двоих она бы точно не смогла — не после того, что ей пришлось пережить. Падение не прошло для нее бесследно, она выглядела как человек, прошедший дыбу и колесование, все суставы которого размозжены и разломаны. Или как демон, явившийся из Ада, в котором навеки погасло пламя. Она была укутана снегом и собственной замерзшей кровью, точно багряно-белой мантией, лицо было черное как у покойницы, на голове возвышалась дьявольская корона из окровавленных и смерзшихся волос. Снег хрустел у нее во рту, трещали переломанные ноги, которые она каким-то образом передвигала — быть может, благодаря большой палке, на которую опиралась.

Только это была не палка. Это был самодельный мушкет, который она втайне от сестер собирала последние полгода. Примитивный, лишенный ложа и приклада, не идущий ни в какое сравнение с образчиками Бехайма или Гёбельна, он представлял собой одну большую полую трубу, кое-как заклепанную и засыпанную порохом. Порох этот Сопля полгода собирала по крупнице во всем Броккенбурге, ползая по мостовой, где заряжали свои мушкеты стражники. Крупинка там, крупинка здесь... Для этого требовалось совершенно немыслимое

терпение — терпение даже большее, чем то, что нужно для изучения адских наук — но они даже представить не могли, до чего много терпения может быть у суки, умеющей танцевать ригодон...

В крошечном эркере dormitorio самодельный мушкет пальнул так, что вынесло оставшиеся целыми окна. У Сопли не было пуль — да и где бы она смогла их отлить? — зато были пуговицы, которые она пришивала к порткам старших сестер, швейные иглы, сапожные гвозди и много других вещей, которых всегда у тебя хватает, если на твоих плечах лежит самая черная работа. Две суки издохли на месте, искромсанные самодельной картечью так, как даже топор неумелого продавца не кромсает рыбу на рынке. Три других истекли кровью под пристальным взглядом Сопли.

Ее не разорвало нахер выстрелом из ее проклятого мушкета — хотя и должно было. Она не сдохла от холода, потери крови и множества переломов — хотя должна была. Она не уехала к черту из Брокенбурга — хотя определенно должна была. Она осталась, но уже не Соплей. В тот же день Шабаш, восхищенный и потрясенный ее поступком, в нарушение всех традиций и правил присвоил ей имя, которое ей полагалось обрести лишь годом позже. Она стала Фальконеттой[17]. Черт возьми, Шабаш может быть жесток, как выживший из ума палач, но одного у него нельзя отнять — он умеет как карать, так и награждать по заслугам. Если ведьма совершает что-то выдающееся, что-то такое, что способно впечатлить многое повидавших сук с повадками гиен, не боящихся даже адского огня, он надолго запомнит это. Может даже, навсегда.

Она так никогда полностью и не оправилась от ран. Ее дрожащие пальцы были слишком слабы даже для того, чтоб удержать на весу ложку. Она хромала — так явственно, будто на загровке у нее восседала дюжина упитанных чертей. Когда она приоткрывала рот, оттуда доносился негромкий треск, напоминающий треск февральского снега, только этот звук производили ее сцепленные зубы, перетирающие друга.

Каждое ее движение казалось неправильным, будто разбалансированным. Каждый ее шаг — неестественным. Каждый жест — причудливым, как у металлической статуи, которую снабдили хитроумными шарнирами и тягами, чтобы она могла копировать движение людей, но не снабдили мышцами, отчего все ее движения казались не вполне естественными, механическими и подергивающимися, но, в то же время, безукоризненно правильными геометрически.

Но — удивительное дело — все эти симптомы мгновенно исчезали, стоило ей взять в руку пистолет. Фальконетта не относилась к тем бравирующим сукам, что держат оружие за поясом, рискуя вызвать неминуемый гнев магистратской стражи. Однако не относилась и к тем, что держат его в лакированной коробочке на каминной полке. Оружие всегда было при ней и даже суки, никогда не видевшие его в деле, знали, что это короткий абордажный бландербасс из Утрехта работы мастера Яна Кнупа с посеребренным стволом, украшенным орнаментом из языков пламени. Фальконетта презирала немецкие доннербусы, громоздкие и сложно устроенные, французские эспинголы с их слабым боем, итальянские тромбоны, болезненно-изящные и хрупкие[18]. Ее собственный пистолет без промаха бил на сорок клафтеров — впечатляющая дальность даже для тяжелых мушкетов и штуцеров городской стражи. Поговаривали, бландербасс был непростой, внутри него сидел демон, из свиты архивладыки по имени Таас-Маарахот, создание маленькое, но наделенное чудовищной для его размеров силой. И фантазией, свойственной лишь существу, рожденным пламенем Ада, но не человеку. Пуля, выпущенная им, не просто проламывала грудь своей жертвы — для

этого сошел бы ее собственный никчемный «фольксрейхпистоль», надежно укрытый в тайнике Малого Замка — но всякий раз совершала со своей жертвой что-то обескураживающее и жуткое.

Атрезия рухнула посреди улицы, раскинув руки, но прежде чем ее перепуганные подруги подняли ее, гадая, откуда это грянул гром посреди ясного дня, забились в конвульсиях, съеживаясь в размерах, будто стремительно усыхая. Когда ее подруги разворошили сверток тлеющей одежды, оставшейся от нее, то обнаружили внутри него лишь ссохшегося мертвого червя длиной с локоть.

Диффенбахия, сраженная пулей через окно трактира, не раскидала свои мозги по всему залу, как это обычно бывает, когда тебе в затылок попадает пуля, а лишь завизжала, стискивая разбухающую на глазах голову руками. Под треск расходящихся и лопающихся костей ее голова раздулась до размеров огромного мяча, но после этого не лопнула, как ожидали попрятавшиеся под столами сотрапезницы, а раскрылась исполинским цветком с костяными лепестками. Его содержимое распространяло такой дурманящий мускусный запах, что мухи со всего Броккенбурга слетелись в трактир, образовав густейшую тучу, избавиться от них не могли еще несколько дней.

Жаба, подстреленная в Унтершгадте посреди ночи, выла несколько часов — все кости в ее теле сперва стали железными, а после превратились в кривые гвозди и принялись вылезать наружу и вылезали до самого утра. Колика, получившая свою пулю на университетском крыльце, рассыпалась прямо там же ворохом костяных пуговиц. Лепиота, пораженная между лопаток, опрокинулась навзничь и издохла почти благопристойно, если не считать жуткого крика, но ее мертвое тело еще два дня шлялось по Броккенбургу, хихикая и что-то бормоча себе под нос.

Фальконетта называла свой страшный пистолет «*Vera sem hleypir heitri tungu í sár óvina*», на адском наречии это означало — «Тварь, запускающая горячий язык в раны врагов». Весь Броккенбург знал голос этой твари. Он раздавался изредка, но всякий раз, когда раздавался, все суки в Броккенбурге, даже самые дерзкие и бесстрашные, на минуту затихали, преисполняясь тревожной задумчивостью.

За следующий год Фальконетта переколотила шестнадцать душ. Спокойно, размеренно, одну за другой, точно бутылки в тире. Все шестнадцать были из числа тех, что измывались над ней в Шабаше. Она находила их в борделях, трактирах, подворотнях и тайных схронах, делала один-единственный выстрел и уходила прочь. Ее месть была не горячей, как адское пламя, а холодной и аккуратной, как исписанный каллиграфическим почерком вексель.

Досадно, что Кольера, ее главная обидчица, не дожила до этого дня. Будь она жива, небось, металась бы по всему Брокку, выдумывая способ, как бы наиболее легким способом уйти из жизни — пока на пороге не возникла скрипящая тень с пистолетом в руке, тень, обещающая прекращение существования самым болезненным и страшным путем...

Черт, славные были времена!.. Многие, очень многие суки в Броккенбурге, обычно бесшабашные и дерзкие, сделались вдруг тихи и задумчивы, а еще вдруг вернулась позабытая была мода надевать под дублет кольчуги — словно кольчуга может спасти от выстрела из демонического пистолета чудовищной силы... Все прекрасно понимали, откуда взялась эта задумчивость. Многие из роковых красоток, бесстрашных дуэлянок и изысканных сердцеенок, блиставших ныне на балах и успешных в адских науках, сами совсем недавно обитали в Шабаше. Многие сами охотно травили Соплю, иные намеренно, как травят бесправное и жалкое существо, наслаждаясь его беспомощностью, иные мимоходом,

попросту срывая злость и отрабатывая удары. Если у Сопли, которую теперь почтительно именовали Фальконеттой, в самом деле такая превосходная память, многим, очень многим в Броккенбурге стоило бы утратить аппетит и здоровый сон...

Барбаросса хмыкнула. Сейчас эта история казалась если не смешной, то вполне забавной, а вот тогда, год назад, ей нихера не было смешно. Стыдно вспомнить, по меньшей мере месяца три она избегала подходить к открытому окну, не выходила в сумерках с лампой в руке, а оказавшись на длинной улице, первым делом пыталась просмотреть ее на всю длину. И мерещился ей не адский владыка, рассерженный глупостью сестрицы Барби, и не безумный кроссарианец, готовый плеснуть в лицо святой водой из-за угла — ей мерещилась долговязая фигура в туго застегнутом сером камзоле,двигающаяся с неправильной механической грацией часового механизма, зашитого в человеческое тело, фигура с вытянутой в ее направлении рукой, держащей пистолет...

Сестрица Барби не относилась к числу тех прощмандовок, что выбрали Соплю своей персональной жертвой, у нее тогда было много хлопот поважнее, но, положив руку на то место, где у ведьмы должно располагаться сердце, следовало бы признать — пару раз она обходилась с Соплей весьма недобро. Понятно, это были обычные в Шабаше шутки, весьма злые и болезненные — других шуток там и нет — но в ту пору ей нужно было утверждать свой авторитет всеми возможными средствами. Жалость сродни слабости, это знают дикие звери и это отлично понимают в Шабаше. Прояви она жалость к кому бы то ни было, уже на следующий день товарки по Шабашу попробовали бы на зуб ее саму. Уж не размякла ли Красотка?.. Не ослабели ли ее жилы?..

Да, за некоторые вещи, которые она делала с Соплей, Фальконетта вполне могла бы расплатиться пулей. Если у крошки Фалько в самом деле такая прекрасная память, как принято считать, принявшись сводить старые счета, она вполне могла бы записать имя сестрицы Барби на одну страницу с прочими...

Но не записала.

Благодарение адским вратам, Фальконетта, перебив шестнадцать душ, как будто бы успокоилась. По крайней мере, на улицах Броккенбурга перестали звучать выстрелы и многие суки вздохнули с облегчением. Она так и не вступила ни в один из ковенов. Если верить слухам, сняла себе комнатку где-то в Нижнем Миттельштадте, которую покидает лишь изредка и в густых сумерках, не посещает лекционные занятия, но по какой-то причине всегда отлично знает материал и без труда сдает экзамены. Не принимает участия в дуэлях, никогда не была замечена на балах или на оргиях, и неудивительно — любое мероприятие, на которое она заявила бы, наверняка превратилось бы в паническое бегство...

— Если тебе не приятно твое нынешнее имя, могу именовать тебя так, как тебе заблагорассудится. Прелестница? Или Куколка? Может, Гурия?..

Херов комок слизи в банке!

Иногда ей казалось, что он нарочно улучшает момент, чтобы она забыла о его присутствии, чтобы подать голос, заставив ее вздрогнуть от неожиданности. Вероятно, для мелкого ублюдка это нечто вроде забавы, маленькая игра, в которую он решил включить крошку Барби. Черт, она бы дорого дала за возможность посмотреть на его сморщенное личико, когда он поймет, что сделается собственностью университета вольного города Броккенбурга!..

— Зови меня хоть герцогиней Мекленбургской, — зло бросила Барбаросса, — Похер. Мы все равно не проведем с тобой так много времени, чтобы стать сердечными приятелями.

Гомункул кашлянул.

— Поверь, спустя три-четыре часа тебе уже будет плевать, как тебя зовут. Я даже не уверен в том, вспомнишь ли ты свое имя, когда Цинтанаккар возьмется за тебя всерьез!

[1] Клепсидра — водяные часы, наполненный жидкостью сосуд, из которого вытекает вода.

[2] Ménschenfresser (нем.) «Пожиратель мужчин».

[3] Фрау Хульда (фрау Холле, Холла, Берта, Хольда, пр.) — малоизвестный персонаж из дохристианской германской мифологии, считавшийся богиней-покровительницей.

[4] Башня Штольберга — деревянная башня, установленная в 1832-м году в Штольберге, на месте старой смотровой башни XVII-го века.

[5] Здесь: примерно 40 м.

[6] Шрейндерштерн (нем. Schreiender Stern) — «Кричащая звезда».

[7] Фестунг-дер-Альбтройме (нем. Festung der Albträume) — «Крепость кошмаров».

[8] Гаспар Шамбергер (1623–1706) — рожденный в Саксонии немецкий хирург.

[9] Йоханнес Буклер (1783–1803) — немецкий разбойник и вор по прозвищу Шиндерханнес (Ганс-Живодер).

[10] Генрих фон Бретшнайдер (1739–1810) — немецкий офицер, библиотекарь и писатель, автор сатирических произведений и альманахов.

[11] Бильд Лили — немецкая кукла, появившаяся в 1952-м, основанная на рисунках художника Райнхарда Бойтина, популярная в 50-х.

[12] Вариола Вера (лат. Variola Vera) — медицинское название натуральной оспы.

[13] 19 февраля 1985-го года под Бильбао (Испания) произошла авиакатастрофа самолета «Боинг», повлекшая гибель 148-ми человек.

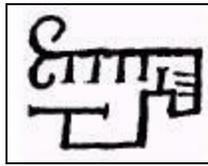
[14] Данскер — специальная башня, примыкавшая к крепости, служащая отхожим местом. Название произошло от насмешливого именованья города Данцига (Гданьска), который в XV-м веке перешел под контроль Польши.

[15] Камбис II — царь Персидской империи. В данном случае упоминается в связи с картиной Герарда Давида «Сдирание кожи с продажного судьи», так же известной как «Суд Камбиса».

[16] Здесь: примерно 12,5 м.

[17] Фальконет — артиллерийское орудие небольшого калибра, стреляющее свинцовыми ядрами.

[18] Бландербасс (голланд. blunderbuss), доннербус (нем. donnerbüchse), эпигнол (фр. espingole), тромбон (ит. Trombon) — обозначения для мушкетона, принятые в разных языках — голландском, немецком, французском и итальянском.



Иногда, по настроению, Барбаросса проникала в Малый Замок незамеченной. Не потому, что в этом была насущная необходимость, скорее, просто желание проверить свои силы и заодно напугать ту из младших сестер, которой выпало стоять на часах.

В этом отношении заросли из кизильника, окаймлявшие южную сторону подворья, прорежаемые сестрами по весне, но к осени превращавшиеся в густой лес, играли ей на руку.

Нет ничего проще, чем под их покровом добраться до забора, перемахнуть его одним коротким движением, и очутиться на заднем дворе. После этого уже ничего не стоит подкрасться к незадачливому сторожу, торчащему у ворот, чтобы накинуть ему на горло бечевку, придушив до вялого всхлипывания, или обрушить на голову миску с объедками — оба эти фокуса обычно производили весьма забавный эффект.

Но сейчас ей было не до того. В ее распоряжении слишком мало времени, чтобы она развлекала себя фокусами. В этот раз ей вполне сгодятся и ворота.

Однако увидев, кто стоит на часах, Барбаросса не удержалась от смешка.

Кандида. Ну разумеется. Кто же еще?

Облаченная в старую ржавую кирасу, по-уставному держащая на плече мушкет, который мог бы служить еще ее прадедушке, она выглядела не более грозно, чем серая мышь, которую кто-то шутки ради обрядил в бутафорские доспехи да сунул в руки хлопущку для выбивания ковров. И тот, кто ставил ее на пост, несомненно прекрасно это знал. Бросив один лишь взгляд на эту растяпу, Барбаросса стиснула зубы.

Некоторых людей Ад лепит из тяжелых металлов, закаленных в дьявольских кузнях — ртути, сурьмы или свинца. Для других приберегает материалы попроще, жечь, дерево и камень. Кандида же всегда выглядела так, будто была слеплена из глины — из скверной бледной глины, которая расплзается на глазах и которую нельзя обжечь, иначе лопнет от жара.

Кандида стояла точно на том месте, где полагалось стоять дозорной сестре, в трех шагах от ворот, но выглядела не как охранник, а как пугало, водруженное на его месте.

Тяжелая кованная кираса, безнадежно устаревшая еще двести лет назад, но заботливо отполированная песком, точно старый чайник, тяготила ее всем своим мертвым весом, заставляя сутулиться и искать опоры у стены. С точки зрения Барбароссы это была никчемная рухлядь, которую давно впору было вышвырнуть на помойку. Она бы так и поступила, если бы не Гаста, утверждавшая, будто купила эту кирасу у каптенармуса «Гусаров смерти»[1], выложив за нее шесть талеров из своего кармана. В обоснование этого она с гордостью демонстрировала с трудом угадываемый силуэт мертвой головы, выгравированный со внутренней стороны кирасы. Херня собачья. Наверняка купила эту старую железную дрянь у какого-нибудь пропойцы-гусара, ей и красная цена была не больше пяти грошей...

Мушкет был и того хуже. Снабженный барахлящим кремнёвым замком, скрежещущим, точно голос покойника, с безобразно разношенным стволом и давно стершимися клеймами, он едва ли способен был выстрелить вообще и после первого же выстрела наверняка

взорвался бы в руках у стрелка, разворотив ему лицо. Барбаросса остереглась бы даже палить из этой штуки в небо в ознаменование Вальпургиевой ночи, а уж весила она столько, что рука отсыхала уже через десять минут.

Никчемный хлам. Прадедушкины обноски. Если уж Вере Вариоле, свято чтущей традиции ковена, приспичило держать у дверей вооруженного охранника, стоило бы позаботиться о том, чтобы хотя бы вооружить его как подобает. «Бартиантки», даром что сами брезгают брать в руки оружие, держат у дверей караул из нанятых гвардейцев, и не с архаичными аркебузами, а с новенькими блестящими пятизарядными «барневельтами»[2], кладущими пулю в цель с расстояния в сто шагов. Правда, подобное удовольствие должно было стоить совершенно умопомрачительных денег, которых у Веры Вариолы, конечно, давно не водилось. Золотой век Друденхаусов остался где-то в эпохе «Великих Фридрихов[3]», сам Малый Замок был достаточным тому подтверждением.

Мало того, что Кандида, вооруженная таким образом, являла собой самый жалкий пример охранника, она еще и спала на посту. Барбаросса обнаружила это на известном приближении, благо масляная плошка над воротами горела достаточно ярко. А может, и не спала, просто впала в спасительное состояние полубабы, известное всем сестрам, прошедшим суровую школу Шабаша — глаза полуприкрыты, распахнутые губы едва заметно дрожат, пальцы судорожно сжали шейку приклада... Мало того, что она дрыхла на посту, вблизи было заметно, что ее глазные яблоки под тонкими, как промасленная бумага, веками судорожно подергиваются, мечутся из стороны в сторону. Даже во сне этой трусихе не было покоя. Верно, в те жалкие минуты, что ей удавалось украсть у своих дневных обязанностей, кто-то гнался за ней, кто-то терзал ее, скулящую от страха, кто-то рвал ей нутро крючьями и выливал кипящий свинец в раны... Верно говорят, трусам нет покоя ни в одном из миров.

Барбаросса усмехнулась, ощущая, как напрягаются на ходу спинные мышцы. Заснувшая прислуга заслуживает взбучки, это правило чтут во всех ковенах, что старых, уважаемых, что новых, едва завязавшихся. Но прислуга, заснувшая на сторожевом посту, получит свое втройне. Один короткий удар в колено обрушит дрыхнущую Кандиду наземь прямо в ее дурацкой кирасе, а там уже можно будет пустить в ход сапоги. Вмять ее в грязь у крыльца, истолочь подкованным носами до того состояния, чтоб чавкало под каблуком.

Избиение прислуги — не самое интересное и увлекательное из занятий. Если Барбаросса и опускалась до подобного, то лишь для того, чтобы спустить пар или изгнать из головы дурные мысли. Как сейчас, например, сейчас в ее голове царило столько дурных мыслей, словно те успели свить там блядское осиное гнездо. Кроме того, это позволяло поддерживать тело в тонусе в те времена, когда оно размякало, долгое время не встречая для себя хорошей работы.

Но разминать кулаки о Кандиду?.. Черт, с тем же успехом можно месить тесто или топтать ногами выбравшихся на поверхность дождевых червей.

Уж если кому-то и приятно было задать взбучку, так это Острице. Принимая удар за ударом, та забивалась в угол и по-собачьи скалилась в ответ на каждый пинок, глухо огрызаясь и нечленораздельно ворча. Зная, что не вправе ни ответить, ни просить пощады, всю свою ненависть, рвущую ее душу на части, она вкладывала в этот рык, тоскливый, безнадежный и жуткий, а в глаза ее, прежде чем заплыть, сделавшись щелями в багровом мясе, сверкали адским огнем. Тем приятнее было учить сестру Острицу уму-разуму, вымещая на ней снедающую изнутри злость.

Шустра держалась куда хитрее. Лишь получив первую затрещину, в которую

обыкновенно вкладывалось больше презрения, чем силы, она проворно падала и принималась кататься по полу, подвывая от боли на все голоса и моля о пощаде. Хитрая чертовка. Даже когда она умудрялась всерьез провиниться, ее толком не били, очень уж забавно она обставляла свои выступления, театрально заламывая руки и рыдая навзрыд. Иной раз, охаживая ее сапогами, даже Каррион не выдерживала и фыркала, на чем экзекуция обыкновенно и прекращалась. Неудивительно, что Шустре иногда сходили с рук проступки, немыслимые для прочих младших сестер. Этой суке надо было быть не ведьмой в Броккенбурге, а первой актрисой в Королевском Брауншвейгском театре...

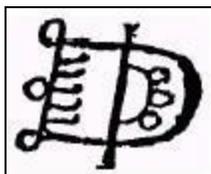
Барбаросса остановилась возле незадачливой стражницы, разглядывая ее в упор. Бледная кожа Кандиды была натянута на острые кости черепа так туго, что казалось странным, отчего еще не лопнула на скулах. Волосы — бесцветные и дрянные, как пакля. И еще эти испуганно бегающие во сне глаза, эти дрожащие губы цвета сырой глины... Кусок бессловесного мяса для битья. Тошно марать кулаки.

Пожалуй, не надо обладать мудростью Иогана Кункеля, придворного мастера-демонолога и алхимика, чтобы понять, отчего Кандида оказалась на сторожевом посту этим промозглым вечером. Обыкновенно работа караульного считалась в Малом Замке самой не хлопотной. Знай торчи себе у ворот, ожидая, не рыкнет ли зловещий «Белый Каннибал», считай ворон та кури украдкой в рукав. Легкая работенка, для которой не нужны ни силы, ни внимательность. Но это днем, когда в Малом Замке прорва тяжелой черной работы. Надо вытрясти ковры и половики, вылизать до блеска пол, пройтись с метлами по всем лестницам и залам, перестирывать груды одежды, наколоть дров, выбелить камень, перечинить уйму чулок и шосс, заправить лампы, натаскать воды...

Наверняка Кандида и занималась этим целый день, подумала Барбаросса, подгоняемая чувствительными пинками и проклятиями от Шустры и Острицы. Носила, драила, стирала и колола. Вечером работы куда как меньше. Уставшие после занятий старшие сестры, возвращающиеся в замок, не любят суеты, они не терпят возни с метлами и грохота медных тазов, в которых стирается белье. Оттого вечером у младших работа простая — прислуживать за столом, выполнять мелкие поручения и капризы. Но едва только опустилось солнце, как Кандиду, напялив на нее кирасу, вышвырнули из Малого Замка на сторожевой пост. Пока прочие младшие сестры будут греться у очага, украдкой подъедая за старшими объедки, Кандида будет торчать здесь в своей дрянной кирасе, жалкая как самая ничтожная из адских душ. И только на рассвете вернется в Малый Замок, чтобы вновь повторить этот день, полный унижений, изматывающей работы и побоев.

И поделом, подумала Барбаросса, смерив Кандиду презрительным взглядом.

Ведьма должна быть сильной. Именно этому учит Шабаш с первого дня, хоть и при помощи грязных жестоких трюков. Будь сильной, чтобы постоять за себя. Будь сообразительной, чтобы отвести опасность. Будь хитрой и безжалостной, чтобы тебя боялись. Если не сумеешь, Броккенбург сожрет тебя, лишь косточки хрустнут. Как он сожрал тысячи тех никчемных сук, что были здесь до тебя. Как сожрет еще миллионы идущих следом, прежде чем адские владыки не превратят гору Броккен в истекающий мясным соком исполинский бифштекс...



Поравнявшись с Кандидой, Барбаросса придержала левую ногу, отчего шаг оказался короче прочих, правую же резко вынесла вперед, разворачивая корпус вокруг центра тяжести. Удар был хорош. Стремительный, сильный, резкий, утяжеленный «Кокеткой» едва ли не до пушечного удара, он угодил в кирасу Кандиды на три пальца ниже грудины и породил такой грохот, точно кто-то швырнул таз наземь с башни Малого Замка.

Кандида отшатнулась, не выпустив мушкета, споткнулась, полетела наземь, не успев даже выставить руки. Если адские владыки послали ей в этот миг какой-нибудь соблазнительный сон, он оказался прерван, причем весьма грубым образом.

— На караул! — рявкнула Барбаросса, наблюдая за тем, как беспомощная Кандида в своем никчемной кирасе ползает на четвереньках, силясь поднять мушкет, — Смирно!

Кандида с трудом поднялась на дрожащих ногах. Слабые со сна руки не сразу смогли нащупать оружие и определить нужное положение в пространстве. У нее ушло непростительно много времени, чтобы наконец оторвать его от земли и водрузить на сгиб локтя. И вышло у нее это неумело, неуклюже, как у ребенка, воображающего себя кирасиром, но не представляющего, до чего потешно выглядит со стороны.

Расхлестанные движения, не подчиненные общему ритму, суетливость, прыгающий взгляд, неумелые пальцы... Как будто старшие сестры даром гоняли ее часами по подворью с тяжелым поленом в руках, без усталости вбивая в нее ружейные приемы. Даже когда она выпрямилась, держа мушкет в дрожащих руках, потратив в три раза больше положенного времени, выглядело это столь жалко, что не заслуживало даже пощечины.

Барбаросса сплюнула — прямо в центр ее кирасы. Кандида испуганно вздрогнула, точно от выстрела, тщетно пытаясь задрать бледный подбородок на установленную высоту. Сейчас она походила на костлявого пескаря из похлебки, вареного, но все еще жалко трепыхающего плавниками. Воистину никчемное зрелище. Плевок, ползущий по стали, напомнил Барбароссе Ржавого Хера — охранного голема из Верхнего Миттельшгадта. И это не улучшило ее настроения.

— Отвратительно, сестра Кандида, — процедила она, пристально разглядывая ее, — Отвратительно и жалко. Ты не только спишь на страже, подвергая риску жизни своих сестер, но и не способна управляться с оружием.

Кандида стиснула зубы, не зная, что ответить и отвечать ли. Вечно испуганная, она обычно боялась даже встречаться взглядом с кем-то из старших сестер, не говоря уже о том, чтобы попытаться оправдать свою неловкость или возразить.

— С другой стороны... — Барбаросса прикусила губу, словно раздумывая, — С другой стороны, наверняка ты сделала это не для того, чтобы досадить сестре Барби, верно? Наверно, у тебя сегодня было порядком домашней работы и ты попросту выбилась из сил? Эти ружейные приемы — чертовски непростая наука, а?

Барбаросса позволила голосу смягчиться, отчего белесые ресницы Кандиды тут же затрепетали.

— А ведь есть еще науки в университете, которыми тебе приходится овладевать... Наверно, у тебя просто не хватает времени на то, чтоб научиться обращаться с мушкетом?

Кандида испуганно закивала. Едва ли она полностью понимала смысл слов, скорее, ориентировалась на интонацию. Большая ошибка, младшая сестра. Так и Ад убаюкивает нас, усыпляя бдительность, соблазняя запретными плодами, заставляя терять осторожность — чтобы в один миг, которого ты даже не заметишь, сожрать тебя, точно разомлевшую сонную муху.

— У тебя будет такая возможность, — Барбаросса усмехнулась, ощутив, как Кандида, испуганная ее страшной ухмылкой, съежилась внутри своей кирасы, точно ссохшийся моллюск внутри раковины, — Я тебе ее обеспечу, не сомневайся. С этого момента ты заступаешь в караул на двое суток, сестра Кандида. Будешь стоять здесь как вкопанная до воскресного вечера. Запрещаю тебе отлучаться даже к колодцу или в нужник. Если тебе нужно только время, теперь у тебя его с избытком.

— Так точно, сестра! — выдохнула Кандида, едва не лязгнув зубами, — Слушаюсь!

Она ожидала получить удар в неприкрытую броней промежность или презрительную оплеуху — обычную для нее плату, сопровождавшую каждый приказ. Но, не получив ни того, ни другого, с трудом сдержала вздох облегчения.

Никчемная трусливая сука. Наверно, она думала, будто легко отделалась. Избежала гнева старшей сестры, как и ее тяжелых кулаков. Еще не подозревает, чем обернется для нее выполнение неказистого, казалось бы, приказа.

Октябрь, завладевший горой Броккен, не спешил сбрасывать фальшивые яркие перья, но под ними уже ощутимо топорщились его цепкие морозные когти. Пусть дни сейчас теплые, ночи берут свое. К утру старая кираса будет блестеть от изморози, а кожа под ней цветом будет мало отличаться от тусклой стали.

Два дня на страже — суровое наказание. Гаста, конечно, в силах отменить его, но что-то Барбароссе подсказывало, что сестра-кастелян не станет этого делать. Старая мудрая сука Гаста никогда не упускала возможности предоставить своим воспитанницам терзать друг друга, вымещая раздражение и злость, напротив, всячески помогала им в этом начинании. Никто не сменит Кандиду на этом посту, никто не придет ей на помощь. Разве что Гаррота, часто маюющаяся приступами совести, проходя мимо тайком сунет ей в руку хлебную корку.

Через двое суток Острица с Шустрой оттащат лежащую без чувств Кандиду в чулан, стащат с нее обоссанную кирасу и, может быть, оставят на пару часов в покое. Не из милосердия — им, как и прочим обитательницам Малого Замка, незнакомо это слово. Просто потому, что толку от нее на ближайшие несколько часов будет как от дохлой крысы. А едва только она найдет в себе достаточно сил, чтобы подняться на ноги, как Гаста исхлещет ее по бокам узловатой веревкой — за то, что отлынивает от работы по хозяйству...

Ничего, подумала Барбаросса, отворачиваясь, младшим сестрам такие упражнения не вредят, лишь разгоняют в них кровь и развивают сообразительность. Главное — выдерживать грань между суровостью и жестокостью. Не перегибать палку.

Если бы она в самом деле хотела проучить Кандиду, использовала бы что-то из арсенала Кольеры — та в свое время испробовала на новичках столько приемов, что вполне могла бы основать отдельную науку, которую не грех бы было преподавать в университете.

Все эти игры она принесла с собой в Шабаш, активно пестуя, совершенствуя и улучшая. Некоторые из них могли показаться неказистыми, но на деле обещали так много веселья, что взвыли от восторга даже многие повидавшие садистки, ходившие в услужении у матриархов.

«Голубки», «Герольд пришел», «Адский котел», «Биение жизни», «Вафельки»...

Для «Голубок» Кольера использовала большую деревянную колоду, на которой сестры некогда чистили обувь. Она набила в нее так много старых гвоздей, обломков шпор и прочей острой дряни, что та превратилась в дьявольски колючую штуку, похожую на опунцию или иглицу. Там, где у бревна предполагалось лицо, Кольера намалевала сажей рот и глаза, после чего именовала эту жуткую штуковину не иначе чем «госпожа Магдалена-Сибилла», видимо, в честь великой красотищи прошлого, ублажавшей еще Иоанна-Георга Четвертого[4].

Несчастной школярке, обреченной играть в «Голубок», приходилось накрепко стискивать госпожу Магдалену-Сибиллу в объятьях и кататься с ней по полу, изображая любовную страсть. Чем откровеннее и естественнее была игра, тем быстрее ухмыляющаяся Кольера сообщала, что госпожа графиня удовлетворена. За недостаток страсти, напротив, начислялись штрафное время. Уже через две минуты такого кувыркания несчастная школярка, исполосованная и порезанная в дюжине мест, походила на ветошь в зубах собаки, но чем серьезнее была ее мнимая вина, тем дольше продолжалась пытка. «Господа графиня недовольна! — кричала Кольера, улюлюкая и помирая со смеху, — Ты совсем не используешь язычок!»... Страшная это была игра, куда более жестокая, чем «Тыквенная голова» или «Колотушечки», которые раньше были в ходу, до появления Кольеры. Самые страстные любовницы, сумевшие удовлетворить «графиню», еще с неделю едва волочили ноги и выглядели так, будто попытались спариться с голодным волком...

Для «Герольда» она соорудила подобие рупора из толстого листа железа, свернув его трубой. Этот рупор провинившейся предстояло держать зубами, весь день не выпуская изо рта. Но то, что в первые минуты еще казалось развлечением, спустя несколько часов превращалось в изощренную пытку — весила эта штука так много, что шея едва не ломалась под ее весом, а зубы скрипели и ходили ходуном.

Чтобы было смешнее, Кольера заставляла несчастных «герольдов» беспрерывно декламировать стихи через импровизированную трубу, а иногда, когда ей делалось скучно, нарочно разогревала эту штуку на свече. Одной школярке так опалило губы этой дрянью, что они так и остались двумя кусками алого бесформенного мяса посреди лица. Кольера, недолго думая, нарекла ее Фройляйн Уткой, утверждая, что та должна быть благодарна ей, Кольере, за такую красоту — нет ничего лучше на тот случай, если она соберется исполнить кому-то срамный поцелуй[5]...

Для «Адского котла» брался большой старый котел, который наполнялся доверху помоями, для «Биения жизни» хватало одного только молотка и изрядной порции воображения, что до «Вафелек», Барбаросса надеялась, что это дерьмо рано или поздно само выветрится из ее памяти — некоторые подробности, если их невовремя вспомнить, надолго могли лишить аппетита.

Когда Кольера пребывала в добром расположении духа, она могла предложить провинившейся школярке заменить эту игру на любую по своему выбору. Хоть бы даже на панграммы[6], города или «колдовского кота[7]» — годилась любая игра, имеющая хождение в саксонских землях. Цена за каждый проигранный ход — оплеуха, которую проигравшая закатывает сама себе изо всех сил. Многие школярки, которым светил «Герольд» или «Голубки», жадно хватались за эту возможность, не подозревая, в какую ловушку себя загоняют. Что там, некоторые, обыкновенно из числа тех, что не были сильны кулаками, зато мнили себя самыми умными суками, уже предвкушали, как заставят Кольеру угощать саму себя оплеухами до потери сознания.

Слишком поздно они понимали, что за усмешкой гиены скрывалась не просто кровожадная сука — дьявольски умная кровожадная сука с безукоризненной памятью вельзера, словарным запасом более богатым, чем многие сокровищницы адского царства и острым, как хорошо заточенный нож, умом. Кольера играючи щелкала любые задачки, будь то «Каладон[8]» или «Да, нет, черное, белое». Оплеухи сыпались градом, превращая лица ее противниц в огромные вздувшиеся гематомы, но Кольера не заканчивала игры, пока ее визави сохраняла способность хотя бы пошевелить пальцем. Когда Броккенбург наконец

сожрал эту суку, многие, очень многие в Шабаше вздохнули с облегчением...

— Сестра Барбаросса!

Шуэтра выскочила из недр Малого Замка, точно чертик из табакерки. Она и походила на чертика — небольшого роста, чернявая, проворная как обезьянка, со смешливыми умными глазами, которые некоторые считали цыганскими. Эти глаза были способны смотреть и лукаво и невинно в одно и то же время — редкое, опасное сочетание, легко губящее как мужчин, так и женщин.

— Мы беспокоились, сестра Барбаросса! — затараторила Шуэтра, вытянувшись во весь свой небольшой рост на крыльце, поедая ее глазами, — Вы не вернулись с занятий к двум часам, а потом этот звонок по телевоксу...

Барбаросса ограничилась сухим кивком. Исполнительная, точно беззаветно преданный ординарец, Шуэтра не упускала возможности выполнить любое поручение старших сестер, в чем бы оно ни заключалось. Она с гордостью драила сапоги Барбароссы, возвращая их в таком виде, что те выглядели только что вышедшими из сапожной лавки, она охотно бегала за вином и мясом в ближайший трактир, за всякими мелочами в бакалейную лавку господина Лебедингерштейна, и вообще по любому поручению, куда бы Барбароссе ни вздумалось ее послать.

Барбаросса почти не сомневалась в том, что если ей вздумается вручить Шуэтре клочок салфетки с приказом отнести эту депешу в Бад-Брамбах, та сорвется с места, не теряя ни секунды, а возвратится через неделю, загнанная как лошадь, без сапог, со стертými до задницы ногами, но с улыбкой на лице — и отрапортует о выполненном приказе.

Шуэтра не выслуживалась. Не разыгрывала из себя паиньку. Не пускала пыль в глаза. Она в самом деле была предана «Сучьей Баталии» всей своей душой, сколько бы души ни находилось в ее маленьком подвижном теле. Старшие сестры пропустили ее через уйму испытаний — и все она выполнила с честью. Эта мелкая сука, увивающаяся за старшими, относилась к своей участи младшей сестры так серьезно, как если бы сам Ад возложил на нее эти обязанности. И терпеть ей осталось не так уж долго, подумала Барбаросса, к следующей Вальпургиевой ночи сестра Шуэтра перейдет на третий круг, а значит, сделается настоящей «батальеркой», которая сама помыкает слугами — да и имя у нее наверняка к тому моменту будет другое, куда как более солидное. Что до преданности...

Шуэтра может сколь угодно раболепно выполнять приказы старших, демонстрируя им свою верность, всякий, имеющий дело с Адом, знает, преданность — это всего лишь еще одна валюта, имеющая хождение при сношениях с существами, его населяющими, но отнюдь не высшая добродетель. Заточенный в узор из чар демон может годами выполнять твою волю, точно преданнейший из слуг, угадывая желания и потакая фантазиям, пусть и самым противоестественным. Но стоит ему нащупать крохотный дефект в охранных чарах, обнаружить маленькую лазейку, которая позволит ему вырваться — и он превратит остаток твоей жизни в самые страшные мучения из всех, что только можно вообразить.

— Котейшество в замке?

Глаза Шуэтры несколько раз озадаченно моргнули, потом совершили несколько коротких прыжков по замковому подворью. Точно она только сейчас сообразила, что видит сестру Барби в одиночестве, без привычной спутницы.

— Я думала, она вместе с вами, сестра Барбаросса. Я думала, вы...

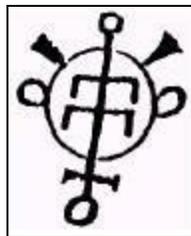
Барбаросса едва не взвыла от досады. До последнего момента надеялась, что Котти успела вернуться, надеялась даже тогда, когда все предчувствия твердили об обратном, и

Вот...

— Ты думала? Ты, блядь, думала? Подумать только, какой сюрприз! В следующий раз, когда тебе захочется подумать, всыпь себе досыта плетей! Может, это отучит тебя от этой пагубной привычки!

Шустра озадаченно заморгала. Она не заслуживала взбучки, она честно выполняла свой долг, и много лучше, чем другие на ее месте. Но злость, клокотавшая внутри Барбароссы, требовала выхода.

Котейшество все еще не вернулась. Ее не было в замке.



Спокойно, Барб, приказала она сама себе. Едва ли Котти попала в беду. Ты знаешь ее, быть может, лучше, чем саму себя. Даже напуганная, даже стесненная временем, она обладает достаточным здравомыслием чтобы не соваться в неприятности. Кроме того, Броккенбург тоже хорошо ее знает. И многие, даже самые отчаянные суки, сами мало отличные от адских обитателей, которым присягнули, знают, что с ними случится, если они осмелятся хотя бы задеть волос на ее голове...

Отрядить прислугу, подумала Барбаросса, наблюдая исподлобья за мнущейся на крыльце Шустрой. Три младшие сестры не обладают и толикой опыта сестрицы Барби, но три пары ног — это не одна. За какой-нибудь час они успеют оббежать пару дюжин окрестных замков, выискивая следы Котейшества, расспрашивая, вынюхивая, посетить все окрестные значные места, трактиры, алхимические мастерские... Это может дать результат. Вот только...

Вот только эта помощь может отлиться ей и Котейшеству самыми дрянными последствиями. Обнаружив, что Малый Замок вдруг лишился прислуги, рыжая сука Гаста не просто наострит ушки, она потребует объяснений. Может, у нее и куцый умишко, но в придачу к нему идет хитрость вестфальской крестьянки, а кроме того — невероятный, на грани противоестественного, крысиный нюх. Она-то мигом сообразит, что сапоги не ходят без пары — раз Котейшество куда-то запропастилась, а сестра Барби судорожно ее разыскивает, зная, дело нечисто...

Она потребует объяснений. И очень быстро докопается до правды, а докопавшись, взвост от восторга. Ее противостояние с Каррион, сестрой-батальером, еще не достигло той стадии, чтобы считаться открытой войной, но она несомненно ведет к ней приготовления, более обстоятельные, чем герцог Саксен-Веймарский, вошедший в свиту архивладыки Белиала как Бернгард-Раздиратель — к осаде Брайзаха[9]. И в этом свете херов старик с своим Цинтанаккаром мог сыграть ей отличную службу.

Все в Малом Замке знают, что Барбаросса — первая ученица Каррион, ее доверенный клевет, которого она прочит на свое место. Претендент на должность сестры-капеллана в следующем году. Если она окажется втянута в историю с кражей в Миттельштадте, тень этого позора неизбежно упадет и на ее патрона. И тень паскудная, грязная, как половая тряпка. Для Гасты это станет отличным подспорьем в ее борьбе за ковен, борьбе, которая уже через несколько месяцев сделается не только открытой, но и кипящей, как адская бездна. В эту бездну она охотно спихнет не только Каррион, но и всех «батальерок», что

находятся под ее крылом...

Нет, подумала Барбаросса, изнывая от бездействия на крыльце Малого Замка. Я уже подвела Котейшество, поставив ее жизнь на кон, подвести еще и Каррион в придачу я не имею права.

— Сколько на часах?

Шуэтра вздрогнула, но ответила почти тотчас. Как и полагается вышколенной прислуге, она всегда знала, который час.

— Тридцать пять минут восьмого, сестра!

Семь часов! Больше того, семь часов с половиной! Барбаросса едва не заворчала сквозь зубы от глухой звериной ярости. Путь до Малого Замка, обычно занимавший у нее считанные минуты, растянулся едва ли не на двадцать. Впрочем, неудивительно. Кто, скажите на милость, вместо того, чтобы направить свои сапоги к дому, прятался за изгородью, невесть что надеясь увидеть? Кто развлекал себя болтовней с гомункулом, вместо того, чтобы действовать? Кто...

Она всегда паршиво разбиралась с цифирью, но в этот раз числа складывались друг с другом удивительно споро, ей даже не потребовалась помощь Лжеца. У нее осталось немногим более получаса, прежде чем блядский Цинтанаккар в очередной раз напомнит о себе, откусив от сестрицы Барби еще один сладкий кусочек...

— Кто из сестер в Замке? — резко спросила она.

Шуэтра и в этот раз отрапортовала почти без колебаний:

— Старшая сестра Гаста, старшая сестра Каррион, сестры Саркома и Гаррота.

Не так уж много народа, прикинула Барбаросса. Знать, Гаргулья рыщет по броккенбургским закоулкам и крышам, охотясь на крыс и предаваясь прочим развлечениям, что больше пристали бродячей собаке, чем ведьме из ковена «батальерок», а Ламия... Черт, где бы ни находилась сейчас сестра Ламия и какими бы помыслами ни руководствовалась, чем дальше она находится от Малого Замка, тем лучше, в обществе этой суки даже похлебка, кипящая в котле, казалось, может замерзнуть, обратившись в лед...

Старшие сестры, Гаста и Каррион, в замке, а значит, надо держать ухо востро. Каждая из них — рука Веры Вариолы, каждая из них не замедлит безжалостно ее покарать если вскроется хотя бы одна четверть от ее сегодняшних грехов...

— Я могу еще чем-то помочь, сестра Барбаросса?

Шуэтра не выглядела ни издевающейся, ни даже лукавой. Если ее темные цыганские глаза и выражали что-то помимо свойственного им блеска, то это искреннюю готовность помочь. Можно не сомневаться, стоит ей приказать — та опрометью бросится прочь, выполняя распоряжение, так, что даже свистнуть вослед не успеешь, но...

— Прочь! — сквозь зубы бросила Барбаросса.

Ее подмывало всадить этой чертовке кулак под дыхалку, просто чтобы сбить с нее немного спеси, напомнить ей о том месте, которая она занимает в ковене. Если эта мелкая чернявая сука думает, что вылизывание пизды Гасты делает ее положение в Малом Замке более надежным... Черт, заманчивая перспектива, но это, пожалуй, придется отложить на потом, как и многие другие приятные вещи.

Котейшества нет в замке. Напрасно потраченное время, напрасные надежды. Впрочем... Барбаросса ощутила легкую дрожь надежды, бархатной щеточкой скользнувшую между лопаток. Может, этот путь был проделан не напрасно. В замке нет Котейшества — это херово, но это факт — однако могут оказаться другие вещи, которые сделаются ей

полезны. Например...

Она вспомнила сундучок Котейшества, стоящий у стены в общей зале. Непримечательный сундучок, обитый железом, скрывающий внутри всякого рода мелочи, которые обычно обретаются в сундучках у шестнадцатилетних девчонок — разглаженные фантики от конфет, этикетки от винных бутылок, пропитанные духами пучки перьев и книжные закладки с картинками, кулечки с лакричными и карамельными конфетами, презервативы из овечьих кишок, коробочки с румянами и тушью... В ее собственном хранилось лишь несколько ножей, промасленная ветошь, пара брошюр по алхимии, которые она никак не могла сподобиться прочитать, да прочий хлам, не представляющий интереса даже для последних воров в Броккенбурге. Но в сундучке Котейшества... Там — она доподлинно знала это — под всеми этими фантиками и закладками сберегается нечто куда более ценное — ее тетрадь с записями.

Объемный, даже внушительный фолиант, исписанный аккуратным почерком Котейшества с указанием множества вещей, которые она по какой-то причине не доверила памяти. Университетские конспекты с подробными приписками и уточнениями, алхимические рецепты, чертежи и схемы построения чар... Как многие ведьмы, отдающие всю себя изучению адских наук всю душу без остатка, Котейшество в глубине души боялась что-нибудь позабыть, оттого старательно записывала в тетрадь многие важные вещи, которые держала в уме.

Важные вещи, среди которых ей может встретиться что-то небезлюбопытное.

Например, имя «Цинтанаккар».

Кажется, Лжец пренебрежительно фыркнул в своем мешке. И хер с ним.

— Сестра...

Шуэтра вместо того, чтоб раствориться, как плевок в колодце, мялась на крыльце, тербя пальцами полу вытертого дублета. Знать, что-то грызло ее изнутри, мешая опроретью броситься прочь, спасая свою шкуру. И, верно, что-то значительное, раз уж возобладало над этим мудрым инстинктом.

— Что тебе?

— Старшая сестра Каррион, — Шуэтра отвела взгляд, явственно борясь с желанием отступить на шаг в сторону, — Она ожидала вас на занятие по фехтованию сегодня в пять пополудни. И была очень... разочарована вашим отсутствием.

Фехтование. Каррион. Пять часов.

Барбаросса ощутила, как мешок с гомункулом наливается тяжестью, словно там помещается не банка с тухлым выблядком, а дюжина двенадцатифунтовых ядер.

Она была так увлечена свалившимися на ее голову неприятностями, что позабыла о назначенном ей уроке. И, черт возьми, эта забывчивость самым паршивым образом отзовется на ее шкуре.

Каррион чертовски серьезно относилась к своим урокам, не делая снисхождения и послаблений для своих учениц — и для самых талантливых из них. Даже небольшое опоздание было чревато дополнительной порцией упражнений, таких изматывающих, что ей невольно вспоминалось детство в Кверфурте и трещащие от тяжести корзины с углем позвонки. Каррион не признавала смягчающих обстоятельств. Кажется, она вообще не знала об их существовании.

Барбаросса выругалась сквозь зубы. Может, она и пользуется статусом протеже Каррион в Малом Замке, но этот статус ни на дюйм не улучшит ее участь, когда старшая сестра

вспомнит про нее в следующий раз. Прогулянное занятие может быть мелочью для кого-то, но только не для нее. Можно не сомневаться, она заставит плакать спину сестрицы Барби кровавыми слезами...

Барбаросса ощутила желание вжать голову в плечи, как еще недавно делала Кандида. Окна кабинета Каррион в башне горели, а это могло значить только одно. Сестра-капеллан в замке. Дождется ее появления. И как только дождется...

Возможно, монсеньор Цинтанаккар сегодня ляжет спать голодным, подумала Барбаросса. Потому что все, что от меня останется после Каррион, это груды окровавленного дерьма — едва ли этим удовлетворится безумный сиамский демон, считающий себя зодчим из самого Ада...

— Меня здесь нет, — негромко и отчетливо произнесла Барбаросса, глядя Шустре в глаза, — Повтори.

— Вас здесь нет, сестра, — покорно отозвалась та, не переменившись в лице, — Ушли с утра в университет да так и не приходили.

— Молодец, — она потрепала ее пальцами по щеке. Презрительная ласка, достающаяся обычно шлюхам из таверны, — А теперь брысь прочь с моих глаз.

Барбаросса застыла на пороге, машинально поглаживая ладонью живот, точно бессознательно пытаясь приласкать поселившегося внутри него демона, как ласкают кота или прочую домашнюю тварь.

Записки Котейшества. Вот, что может ей помочь. Некоторые из них, конечно, зашифрованы, но она знает шифр, а значит, сможет их прочитать. Котейшество никогда как будто бы не испытывала склонности к сиамским демонам, но ее записи — кладовая бесценных и тщательно систематизированных знаний во всех областях адских наук. Совсем нельзя исключать того, что в разделе Гоэции ей встретится знакомое имя. А даже если и не встретится — может, она узнает, как найти общий язык с существами его рода...

Лжец в мешке фыркнул, в этот раз отчетливо.

— Напрасные надежды, — пробормотал он, — Я почти уверен, что Цинтанаккар уникален в своем роде. У него нет ни близких родичей, ни покровителей, ни сюзеренов. Он — обуянный жаждой крови адский дух, а не какой-нибудь шорник при дворе адского владыки.

— Думаешь, в записях ничего нет о нем?

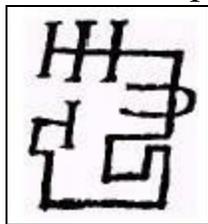
— По всей видимости.

— Значит, я проверю.

— Время, — Лжец произнес это резко, будто бы сквозь зубы, — Позволь напомнить, у тебя в запасе чуть более получаса. И все богатства мира не помогут тебе убедить Цинтанаккара отсрочить пытку.

Барбароссе пришлось набраться духа, прежде чем переступить порог.

— Заткнись, — произнесла она, — Ради всех кругов Ада, заткнись, Лжец.



Внутри Малого Замка царила сырость — тот неприятный вид сырости, который Барбаросса не любила больше всего и который всегда пробирался внутрь по осени, невзирая

на толстые каменные стены и тщательно законопаченные паклей швы в оконных рамах. Этот запах, неуловимо отдающий не то водорослями, не то квашенной капустой, вплетался во все здешние ароматы, усиливая одни и ослабляя прочие, отчего замок немедленно начинал разить казармой ландскнехтов. Из кухни пахло кашей на свиных шкварках, из чулана — сырыми плащами, из прихожей — несвежей стружкой, подгнившей обувью, лаком и жиром для ламп.

Печь на первом этаже натужно трещала, бросая на стену злые оранжевые сполохи, в ее топке, похожей на ад в миниатюре, жарко пылали дрова. Но даже она не могла выгнать из замка чертову сырость. Барбаросса мрачно усмехнулась. Известно, отчего. Судя по едкому духу, отчетливо ощущаемому в воздухе, в печи горели еловые дрова, дающие до черта смолы и вони, чертовски паскудно горящие, но стоящие вдвое дешевле дубовых. Барбаросса не сомневалась, что Гаста и на этом сумела нагреть руки. Аккуратно получая деньги от Веры Вариолы на дрова и провиант для ковена, и то и другое она приобретала вполцены в одной только ей известных лавочках Миттельшгадта. Сыр часто оказывался прогорклым, хлеб несвежим или самого скверного помола, наполовину состоящий из отрубей, а вино — кислятиной, половину букета которой составляла изжога. Черт, эта сука так привыкла распоряжаться общим кошельком «Сучьей Баталии», что уже с трудом отличала его от своего собственного! Как однажды мрачно пошутила Саркома, пытаясь вычистить гниль из купленного накануне лука, если бы сестре Гасте дали денег, поручив купить коня, она вернулась бы в Малый Замок с лягушкой на узде...

Старшие сестры по заведенной традиции питались за отдельным столом, и уж для него Гаста обычно не скупилась. Да и сама пила отнюдь не кислятину.

Запах каши со шкварками был соблазнителен, но Барбаросса не позволила ему сбить себя с пути. Некстати вспомнилась мясо, которого она так и не отведала в «Хромой Шлюхе». Ничего, хмуро подумала она, ступая на скрипучую лестницу, подвяжешь брюхо на пару часов, небось, с голоду не помрешь.

Кажется, Цинтанаккар мрачно усмехнулся ей изнутри.

Общая зала не производила впечатления просторной, даром что занимала почти весь второй этаж Малого Замка. Служившая «батальеркам» и спальней и столовой и всеми прочими помещениями, от оружейной до игорной залы, в любое время суток она вмещала в себя так много народу, что мало чем отличалась от трактира, особенно в те моменты, когда сестры, раздувая воображаемую или мнимую обиду, принимались крыситься друг на друга или пускали в ход кулаки.

И все же это был дом. Может, тут не было украшенных шелками альковов и будуаров, как у «бартианок», не скользили слуги в ливреях, разнося на подносах виноград — плевать. Она, Барбаросса, согласна считать домом любое место, где ей не могут всадить нож под ребра. И Малый Замок в этом отношении полностью удовлетворял ее требованиям.

Обычно уже после обеда общая зала представляла собой весьма суетное место. Возвращаясь с занятий, «батальерки» использовали его каждая на свой лад. Кто спешно хлебал похлебку из миски, кто готовил уроки, кто откровенно бездельничал, развлекая себя бесхитростными проказами или болтовней. Кому-то непременно нужно было заштопать чулки, подстричь ногти или смазать раствором из печной сажи с уксусом прыщи. Поупражняться со шваброй, воображая ее алебардой, пооткрывать в самый неподходящий момент окна, разбросать по всей комнате предметы туалета, куриные кости и заколки...

Общая зала лишь казалась огромной, уж по крайней мере, по сравнению с чуланом, где

спала прислуга. Разделенная на семь частей, по числу сестер третьего круга, обитавших в замке, она превращалась в подобие земного шара в миниатюре, вечно раздираемого склоками, сварами и войнами. Гаргулья, пребывая не в духе, запросто могла вцепиться зубами в любую товарку, имевшую несчастье оказаться поблизости. Холера жить не могла без скабрзных анекдотов и рассказов о своих похождениях, от некоторых из которых, пожалуй, стошнило бы даже многое повидавших «бартианок», давно сделавших похоть одним из излюбленных инструментов своего ковена. Саркома, сама редко лезшая в драку, охотно подбадривала участниц, безжалостно орудуя ядовитыми шипами своих острот, а Ламия... Ее присутствие в общей зале было почти незаметным, она никогда не участвовала в разговорах и даже на обращенные к ней вопросы зачастую отвечала одной только улыбкой. Но всякий раз, когда она оказывалась внутри, все находящиеся там сестры внезапно ощущали будто бы скопившееся под крышей Малого Замка напряжение — точно гул невидимых энергий Ада...

Прошло менее полутора лет с тех пор, как Барбаросса повесила свою койку в одном из углов общей залы, рядом с койкой Котейшества, но ей казалось, что именно тут, в этой захлавленной и тесной комнатухе с закопченными от ламп потолками, разохшимися рамами и скрипучими досками на полу, она провела куда большую часть своей жизни, чем в далеком Кверфурте.

Это здесь они сообща перевязывали окровавленную Гаргулью, когда той вздумалось одним прекрасным вечером сигануть наружу прямо сквозь оконную раму, едва не гильотинировав себя. Это здесь они откачивали Холеру, закинувшую в пасть смертельную дозу спорыньи, заблевавшую половину залы и почти успевшую испустить дух на их руках. Здесь, переругиваясь, двигали мебель, пытаясь пойти последний закатившийся невесть куда талер, когда оказалось, что не на что купить даже хлеба.

Поднимаясь по лестнице, Барбаросса не слышала из общей залы ни привычного гомона голосов, возвещающего очередную свару, ни смеха, ни прочих звуков, обыкновенно окружавших «Сучью Баталию» в минуты отдыха, одно только сонное бормотание оккулуса.

Оккулус включен? Как странно. Обычно Гаста не позволяла его включать, берегла силы заточенного внутри демона. Включать хрустальный шар дозволялось обыкновенно лишь по исключительным случаям — да в те разы, когда Гаста по какой-нибудь надобности покидала замок, оставив младших сестер на хозяйстве...

Бывали здесь и веселые времена, вспомнила Барбаросса. Как-то раз Котейшество, Ламия и Саркома, самые сильные ведьмы-«тройки», объединились в канун Литы[10], чтобы вызвать демона-предвестника, сулящего открыть им будущее. Каждая из «батальерок» в свое время изучала в университете астрологию, аэромантию, тассеографию и антропомантию и каждая из них неизбежно разочаровывалась в результатах предсказаний. То ли адские энергии нарочно спутывали результаты, не допуская четкого ответа, то ли в чарах был сокрыт невидимый дефект, вся эта замшелая прадедушкина херня не смогла бы даже предсказать дождь после обеда. Нет, в этот раз Котейшество, Ламия и Саркома подготовились как надо.

Нашли где-то в Унтерштадте печень отцеубийцы, купили в Руммельтауне толченого асфоделя, рябиновой коры, известки и царской водки. Гаргулья натягала им прорву дохлых крыс, в обилии обитавших вокруг Малого Замка, которых они варили в огромном казане три дня напролет, наполнив зловонием весь замок и едва его не спалив.

Были и другие ингредиенты, которых Барбаросса не знала и не хотела знать. Все они

добывались сестрами — выменивались, покупались или похищались — и все шли в ход. Общее дело удивительным образом сплотило их. Пожалуй, это были три самых тихих и мирных дня в Малом Замке за все время его существования. Каждая хотела знать, что ждет ее в будущем, даже сучка Холера на какое-то время перестала пропадать в Гугенотском квартале, пристально наблюдая за ходом эксперимента и принимая в нем посильное участие.

Днем ритуала было двадцать четвертое июня. Они собрались в общей зале, потушив все лампы и тщательно задрапировав шторами окна. Шустра изнывала от любопытства, пытаясь принять в нем участие, и охотно отдала бы старшим сестрам пару собственных пальцев за такую возможность, но ее вместе с прочей прислугой заперли в чулане. Следом пришлось изгнать и Гаргулью — с ее участием число ведьм в комнате достигало семи, а это неблагоприятное число для чар любого рода. Кажется, она особо и не расстроилась — иногда Барбаросса вообще сомневалась в том, что интеллект сестры Гаргульи сильно отличается от интеллекта тех мышей, на которых она охотится по вечерам.

Котейшество откупила бронзовую бутылку, в которой клокотало сваренное ими зелье, и... Демон взмыл из своего сосуда, рассыпая трещащие искры, точно римская свеча. Рычащий, воющий не то от боли, не то от ярости, он был похож на миниатюрного человечка, охваченного огнем, извергавшего из себя абракадабру на диалектах демонического языка. Сестры попытались поймать его тюфяками и подушками, но лишь превратили их в дымящиеся тряпки да запятнали сажей и ихором покрытые свежей побелкой стены. В высшей точке своей траектории демон-предсказатель заверещал и лопнул, превратившись в четыре стремительно несущиеся вниз кометы. Одна из них досталась самой Барбароссе, оставив на животе чертовски болезненный ожог, подживавший еще две недели, одна опалила ухо Холере, третья едва не спалила заживо Саркому, а четвертая... Четвертая досталась сестре Каррион, невовремя заглянувшей в общую залу с целью узнать, что за вертеп в ней происходит.

Ритуал предсказания не обернулся добром для его участниц. Каррион, обыкновенно не вмешивавшаяся в дела воспитания, в этот раз сделала исключение, лишив весь ковен вина на следующий месяц и определив каждой из «предсказательниц» по двадцать плетей. По иронии судьбы, отвешивать плети определено было Гаргулье, изгнанной из круга сестер на время ритуала, а уж ее рука жалости не ведала...

Забавный вышел фокус. «Предсказание» оказалось никчемным, но, вспоминая его, сестры-«батальерки» еще долго хихикали, потирая исполосованные спины.

Случались здесь и прочие истории, которые приятно было вспомнить. Вроде истории с Острицей, которую в наказание за какой-то проступок загнали в колодец и продержали там всю ночь, а когда она выбралась, то была фиолетовой и похожей на утопленницу. Или та история, когда Холера нацепила на себя диадему, не зная, что та из настоящего серебра — то-то паленой свининой воняло во всем замке...

Но все эти истории почти мгновенно выветрились у нее из головы, едва только она преодолела лестницу. Общая зала была ярко освещена, ей не показалось с улицы, и это были не привычные ей масляные лампы, распространяющие удушливый смрад мертвых китовых туш. Это были зачарованные хрустальные колбы, висящие на потолке — и не одна, не две, а все шесть!

Свет! Во имя всех блядей и девственниц, сколько света! Что за праздник снизошел на Малый Замок среди октября, если сестры решились зажечь колдовские лампы? До

Вальпургиевой ночи как будто бы еще далеко...

Каждая такая колба представляла собой миниатюрный стеклянный сосуд, напомнивший ей уменьшенную банку с гомункулом, только внутри помещался не недозревший человеческий плод, а крохотный демон, похожий на раздувшегося садового слизня. Сегодня все мне напоминает о гомункулах, подумала Барбаросса, вынужденная прищуриться, чтобы что-то разобрать, о блядских гомункулах и их никчемных банках. Кажется, в мешке у нее за спиной тихонько хихикнул Лжец.

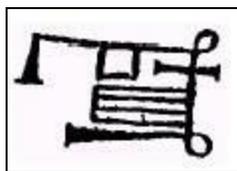
Демоны в стеклянных колбах даже и демонами-то не были, всего лишь слабосильными духами воздуха, собратья которых, должно быть, в адских чертогах играли роль мошкары, но света давали много, чертовски много. Не по своей воле, разумеется. Чары Махткрафта, передающиеся через густую паутину проводов в Малый Замок, проникали в стеклянные колбы, пронзая заключенных внутри демонов, заставляя их дрожать в судорогах, выделяя свет и тепло. Чертовски мудро устроенная штука. В ее родном Кверфурте даже в ратуше не было таких ламп, там все еще палили жир и свечи, пятная низкие потолки.

Единственным неудобством было то, что сотрясаемые судорогами демоны, заключенные в свои стеклянные пыточные камеры, помимо света и тепла производили и звуковые колебания — тонкий, на грани слышимости, писк. Должно быть, медленно сжигавшие их чары Махткрафта причиняли им боль. Если и так, Барбаросса не собиралась их жалеть. Она сама порядком вылебала боли за сегодня — и хер его знает, сколько еще осталось в бочке...

— «Сучья Баталия» что, дает сегодня бал? — осведомилась она, заходя в залу, — А сестрицу Барби и предупредить забыли?

— Можно подумать, если мы устроим бал, ты сподобишься снять свои штаны, смердящие точно дохлая лошадь, — отозвался из залы знакомый голос.

— Если Гаста заметит, что вы палите свет почему зря, ты вскоре сама запахнешь не лучше, крошка Сара.



Саркома хихикнула. Любительница острот, тонких и изящных, как стилет, она умела ценить и грубоватую шутку. А может, это было просто попыткой проявить уважение к старшей сестре и ее кулакам. Впрочем, это сомнительно — уважение у Саркомы...

В общей зале обнаружилось куда меньше народу, чем здесь обыкновенно бывало в вечерние часы. В сущности, все две суки — Саркома и Гаррота. Пользуясь отсутствием прочих сестер, они устроились в общей зале с таким удобством, будто воображали себя герцогинями Малого Замка — стацили в кучу все тюфяки и подушки, соорудив из них настоящую гору, и с удовольствием возлежали на ней, стацив с себя верхнюю одежду, в одних только брэ да нижних сорочках. Расслабленные, точно вышвырнутые на берег медузы, они были полностью поглощены бубнящим в углу оккулусом, в хрустальной глади которого мелькали какие-то фигуры да приглушенно хлопали выстрелы мушкетов. Видать, давали какую-то батальную пьесу, и небезынтересную, судя по тому, как обе пялились в хрустальный шар, забыв обо всем на свете.

Увидев такую картину, Барбаросса едва не присвистнула, на мгновение даже забыв про нетерпение, жгущее ее изнутри. Включенный свет, работающий оккулус, две

бездельничающие сестры посреди залы... Увидь их Гаста в таком виде, ее на месте хватил бы удар, не без удовольствия подумала Барбаросса. Впрочем, рыжая сука настолько живучая, что один удар ее бы не свалил — об ее голову можно расшибить хороший закаленный шестопер. Пожалуй, она даже не стала бы звать Гаргулью, чтобы возложить на нее плечи экзекуцию, самолично исполосовала бы их своим ремнем с медными бляшками поперек спин. Если что-то и бесило Гасту больше излишних трат, так это вид прохлаждающихся без дела «батальерок».

— Неужто старая карга наконец издохла? — спросила Барбаросса, оглядываясь.

— В тот день, когда Гаста издохнет, двери Ада распахнутся во второй раз, — буркнула Саркома, не отрываясь от оккулуса, внутри которого не стихала пальба, — И из него сбегут все бесы, что там еще остались.

Саркома выглядела неважно. Несмотря на то, что в общей зале было тепло, она кутала плечи в шерстяной платок, позаимствованный у кого-то из сестер, бледное как промокашка лицо было покрыто обильными каплями пота. Никак простыла? В октябре в Броккенбурге ничего не стоит подхватить хворь. Не оттого, что промочишь ноги в канаве или тебя прихватит злым сквозняком в неотапливаемой лекционной зале. По осени роза ветров меняет свои течения, направляя воздушные потоки с северо-востока. Мало того, что Броккенбург и так захлебывается в собственных выхлопах магических чар, так еще и получает щедрый привесок от Магдебурга, где те скоро проедят небо насквозь. Немудрено с толикой пепла вдохнуть в себя какую-нибудь мелкую дрянь, выплунутую лабораторными печами за двести миль от Броккенбурга.

— Старая карга в своих покоях, — отозвалась Гаррота, тоже не отрывавшая взгляда от оккулуса, — Сегодня на обед она выхлебала полную флягу сливок, после чего утомилась от хлопот и дерет глотку храпом уже третий час.

Барбаросса усмехнулась. Черт, это похоже на сестру-кастеляна. Держа ковен в ежовых рукавицах, она не прочь была потешить собственные грешки, делая себе послабления там, где это возможно. Благо ни одна из младших сестер не осмелилась бы донести на нее Вере Вариоле. Через час или два она спустится к ужину, злая и раздражительная, чтобы вновь терзать прислугу, пристально наблюдая за тем, кто и сколько кусков съел, отдавать приказы и управлять чертовой сворой голодных сук, по какой-то причине именуемой ковенном.

— Могли бы подсыпать в сливовку крысиного яда. Я слышала, он хорош для сна.

Саркома фыркнула из-под своего платка.

— Гаста выхлебает два шоппена крысиного яда, а после скажет, что вино сегодня кисловато. Что это ты сегодня без Котейшества, Барби? Только не говори, что она наконец решила заменить тебя каким-нибудь особенно удачным своим катцендраугом!

Барбаросса стиснула зубы, но сдержалась. В прошлом ей не раз приходилось заставлять крошку Сару сожалеть о сказанном, позволяя жизненной мудрости проникать внутрь через свежие прорехи в ее неуязвимой для острот шкуре. Саркома никогда не держала в руках оружия опаснее столового ножа, но ее собственные остроты разили так безжалостно, как не разила ни одна рапира в Броккенбурге. Бывало, когда терпение иссякало, Барбаросса учила ее вежливости. Иногда на кулаках, иногда при помощи ремня, снятого сапога или скалки для теста, позаимствованной на кухне. Это не было избиением, лишь дежурной взбучкой — все в Малом Замке знали, что даже если выбить Саркоме все ядовитые зубы до последнего, уже через три дня она отрастит новые, еще более острые.

— Котейшество осталась в университете, — сухо отозвалась Барбаросса, — Готовится к

лекции. Просила принести ее записи по Гюэции.

Саркома равнодушно махнула рукой. Мол, мне-то что. Утащи хоть половину замка, я и слова не скажу.

Они с Гарротой смотрели по оккулусу какую-то пьесу. Кажется, весьма посредственную, малоизвестного театра, поскольку многие декорации выглядели откровенно дешево и аляповато. Городской пейзаж был изображен картонными трафаретами и черной марлей, которые никто даже не пытался скрыть чарами иллюзорной магии, оставляя на виду многочисленные огрехи, а костюмы актеров выглядели совсем уж нелепо — судя по всему, их обряжали без всякого умысла, в любые тряпки, которые сыскались у костюмера.

Дешевая картинка. Сразу видно, что к этой пьесе не прикладывала руки ни «Баварская императорская опера», по праву гордящаяся своим реквизитом, ни гамбургский «Дом Оперетты». Скорее всего, жалкая поделка из числа тех, что сотнями клепают для своих подмостков дрезденские паяцы. Эти-то горазды ставить на сцене что угодно, скармливая публике дурацкие водевили, лишь бы бутафорская кровь лилась погуще — публика любит, когда погуще, особенно если каждый акт будет перемежаться дуэлями и бутафорской пальбой...

Черт. Барбаросса едва не хмыкнула.

Забавно вспомнить — когда-то она сама мало чего смыслила в театрах. В Кверфурте единственным заведением, служащим источником развлечений, был трактир. И не сказать, чтоб эти развлечения могли похвастать изрядным разнообразием. Иногда — пару раз в год — заезжал бродячий кашперлеттеатр, но надолго обычно не задерживался — среди углежогов обыкновенно находилось не много желающих наблюдать, как тряпичные куклы колотят друг дружку, они и сами не дураки были помахать кулаками, разминая друг другу носы и выколачивая отравленные ядовитой копотью души.

Театр — развлечение для богатых мужеложцев и великосветских прощмандовок. Великое удовольствие — смотреть на паясничавших лицедеев, разодетых в шелка и парчу, играющих в жизнь в окружении нелепого и зачастую никчемного обрамления!

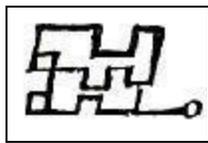
Она бы нипочем не пристрастилась к этому развлечению и в Броккенбурге — если бы не Котти. Штудирующая театральные афиши не менее прилежно, чем труды по Гюэции и спагирии, она всегда знала, какие представления и где дают, какая труппа посетила город, где можно перехватить контрамарку или билет на галерку по половинной цене. Ее страсть к театру была тихой страстью, не рождающей ослепительных искр, но такой, которая занимала в ее душе изрядное место и не могла быть ничем вытеснена. Барбаросса всегда находила это забавным — ведьма, которая, несмотря на юный возраст, в силах самостоятельно заклинать адских духов, трансмутировать олово в кобальт и разбираться в двухсотлетних фолиантах голландских чернокнижников, находит удовольствие в том, чтобы, затаив дыхание, наблюдать за грубо сколоченной сценой, где вместо снега падают клочья ваты, а замки выстроены из картона и папье-маше!

Но Котти и ей привила любовь к театру. Исподрволь, не штурмом, но мягкой осадой. Затащила ее пару раз на какие-то представления, нарочно выбирая те, где побольше звенят шпагами, а билеты дешевле всего. Барбаросса смотрела, но без особого восхищения — мало удовольствия наблюдать, как разряженные в шелка пидоры тычут друг дружку прутиками, изображающими рапиры, да так неловко, будто отродясь не держали в руках ничего кроме хера!

А потом были «Дурные сновидения на Ульменштрассе», после которых Барбаросса вышла из театра на пошатывающихся ногах, с трудом переводя дух. Это была даже не драма, просто неказистая и недорого поставленная мистерия-массакр, но то ли реквизиторы постарались на славу, то ли актеры продали душу адским владыкам за это представление — эффект был такой, что Барбароссу проняло до самой селезенки. Всякий раз, когда на сцене появлялся, зловеще ухмыляясь, одержимый демоном убийца Фридрих с его ободранном до мяса лицом и усеянной бритвенными лезвиями перчаткой, она забывала, как дышать, и только дрожащая ручка Котейшества, сжатая в ее пальцах, возвращала ее в реальность. Чертов Фридрих словно был ее собственным отражением. Злобным духом с изуродованным лицом, мечущимся по сцене, жутко хохочущим, с наслаждением кромсающим беспечных блядей и слабосильных выюношей. Это было отвратительно, жутко и... так знакомо. Это она, Барби, металась по Броккенбургу, обожженная, мучимая ненавистью, не имеющая ни крыши над головой, ни сестер, способная доверять лишь острой стали. Это ее именем в Брокке скоро начали пугать молодых сук. Это она сделалась чудовищем, пирующим в темных переулках...

Барбаросса не отрывалась от сцены все два часа, забыв про голод и жажду, потрясенная увиденным. Мистерия и верно вышла жутковатой. Чертовы реквизиторы не поскупились на чернила, изображающие кровь, как и на мясные обрезки, которые должны были изображать человеческую требуху. Бедная Котти все представление просидела белой как мел, боясь вздохнуть. Привыкшая к беспечным водевилям и романтическим пантомимам, она была потрясена так, что едва не разрыдалась прямо в театре, а после еще две ночи поскуливала во сне. И это ведьма, кромсающая чертовых котов с хладнокровием военного хирурга!

После «Дурных сновидений» было много других — «Гейстерягеры», «Плоть и кровь», «Сияние», «Безумный Максимилиан». Барбаросса не стала всеведущим театральным завсегдатаем, она с трудом отличала просцениум от бенуара, ее путали сложные полилоги, а интермедии обычно нагоняли тоску, но кое-чего она все-таки нахваталась со временем. Недостаточно много, чтобы беседовать с Котти об высоких материях, авторском стиле и манере подачи, но когда-нибудь...



Она не сразу смогла разобрать, что именно смотрят Гаррота с Саркомой. Оккулус Малого Замка был велик, с хорошую дыню размером, но, к сожалению, так же стар, как и стены вокруг него. В ясную погоду от него еще можно было дожидаться сколько-нибудь четкой картинки, но едва лишь опускались сумерки или поднимался ветер, как внутри высыпал обильный белесый снег, наполовину скрывающий далекую сцену и актеров.

Напрасно младшие сестры часами полировали шар мягкими замшевыми тряпками и натирали хорошим воском — стекло, может, и потускнело немного с годами, но главной проблемой было не оно, а сидящий внутри дух. Та самая искра, которая превращала большую стеклянную бусину во всевидящий глаз, ловящий исходящие отовсюду магические эманации и показывающий волшебные картинки.

Дух внутри оккулуса звался Амбрамитур, он приходился младшим кузеном Дабриносу, двенадцатому духу в свите адского владыки Демориела, и был столь стар, что казалось удивительным, как он вообще способен работать. Верно, он развлекал своими картинками зрителей еще в те времена, когда дамы носили огромные, на кринолине, платья и украшали

себя гигантскими париками.

Тугоухий, как и все старики, он мог не слышать команду даже с пяти шагов, хоть охрипни от крика. В холодную погоду по полчаса пробуждался ото сна, демонстрируя лишь какую-то муть сродни метели, в жаркую то и дело засыпал, фонтанируя бесформенными разноцветными пятнами... Были у него и свои чудачества, как у каждого существа почтенного возраста. Бывало, он самовольно переключался с одной магической волны на другую, отчего слезливая драма в любой момент могла превратиться в прогноз погоды или трансляцию со скачек. Иногда, точно вспомнив молодость, он принимался бесхитростно шалить — все актеры делались желтолицыми, точно маялись печенью, или начинали говорить смешным фальцетом или от них вовсе оставались одни только головы...

Невинные, в общем-то, фокусы — «Падчерицы Сатурна» в свое время намаялись со своим оккулусом куда сильнее — но способные вывести из себя. Котейшество не раз пыталась облегчить ему работу. Часами сидела возле него, прищурившись, что-то бормоча себе под нос — пыталась разобраться с мельчайшим, филигранно устроенным, узором чар в его сердечке. Напрасные труды. Не требовалось быть большим знатоком Гоэции, чтобы понять — рано или поздно старенький Амбрамитур издохнет в своем хрустальном шаре, и тогда не будет ни пьес по вечерам, ни прочих нехитрых развлечений, которые он мог предоставить, останется только вечный снег и ничего больше.

Конечно, в Эйзенкрейсе всегда можно купить новый оккулус, в тамошних витринах тысячи моделей, от крохотных, как куриное яйцо, которые можно запросто носить в кармане, до огромных, размером с тыкву, которые выдержит не каждый стол. Но вот цена... Новенький стоит по меньшей мере гульденов двадцать — Гаста скорее изойдет на дерьмо, чем выделит из казны Малого Замка такие деньжищи.

Гаррота и Саркома никогда не были поклонниками театра, но, видно, пьесу показывали захватывающую, потому что обе мгновенно забыли о присутствии Барбароссы, стоило ей только замолчать. Барбаросса скосила глаза в сторону тусклого оккулуса, но почти ничего из происходящего не разобрала. Кажется, играли сцену погони. Между картонных декораций, долженствующих изображать городской пейзаж, одинокий всадник на черном как ночь андалузском скакуне преследовал небольшой почтовый фаэтон, на козлах которого сидели мрачный сосредоточенный мужчина и перепуганная женщина. Преследовал едва ли с добрыми целями — с удивительной ловкостью перезаряжая на скаку короткий бандолет [11], не выпуская из рук поводьев, он всаживал в трясущийся фаэтон один заряд картечи за другим, окутываясь густыми облаками пороха.

Сцена погони была напряженной и даже отчасти жутковатой. Не из-за пальбы — театральные мушкеты палили ослабленным зарядом пороха, чтоб пощадить уши зрителей — скорее из-за преследователя на черном скакуне. В его облике было что-то пугающее, подумала Барбаросса, хоть сразу и не поймешь, что именно. Что-то... неестественное. Быть может, дело было в его чудной посадке — в седле этот тип держался неподвижно и неестественно прямо, как никогда не сидят всадники, а может... Может, дело было в его лице, каком-то бесстрастном, холодном и пугающе пустом. Обычно преследователям полагается кричать во все горло, изрыгать проклятья, размахивать мушкетом, работать уздой и стремями — она пересмотрела чертову кучу пьес с погонями на своем веку и все они были отчасти похожи — этот же скакал молча, не совершая ни одного лишнего движения, точно сам был посланной вдогонку беглецам мушкетной пулей.

Лицо будто бы вроде и знакомое. Короткие, не по нынешней моде, светлые волосы,

почти не тронутые пудрой, подбородок тяжелый, как таран на носу у броненосца «Фердинанд Макс»[12], высокий мощный лоб... Несмотря на то, что сцена изображала ночь, на носу его сидело пенсне с затемненными стеклами, мешающее видеть глаза, и это тоже было почему-то пугающим — отчего-то казалось, что если этот странный тип снимет пенсне, глаза его окажутся такими же пустыми, как стекла, которые их скрывают.

Симпатичный тип, хоть и с харизмой, более приличествующей жеребцу-трехлетке. От него так и разило грубой мужской силой, отчего у Барбароссы невольно кольнуло где-то в районе крестца. Кажется, известный актер, с опозданием вспомнила она, из какого-то старого австрийского театра. Имя его она вспомнила почти сразу — Мейнхард. А вот фамилия... Граувеббер? Вайсекушнер? Проклятье, вылетело из головы...

Не дожидаясь, пока его имя будет вспомнено, здоровяк на скакуне почти поравнялся с удирающим фаэтоном — и всадил заряд картечи в упор, едва не разорвав в клочья удирающих беглецов. Бандолет был снаряжен лишь малой толикой пороха, а роль картечи выполняла древесная стружка, но все равно бахнуло внушительно, чертовски достоверно.

— Меняемся! — закричал мужчина на козлах, державший поводья.

Пересев на свободное место и отдав управление лошадыми своей перепуганной спутнице, он потянулся к багажной нише, где лежали небольшие пороховые бомбы с коротким фитилем, одновременно вытаскивая из кармана простое солдатское кресало...

Барбаросса не без труда смогла оторвать взгляд от оккулуса. Какая бы чертовщина там ни творилась, она не вправе терять попусту ни секунды, иначе ее собственная жизнь уже в самом скором времени тоже превратится в пьесу, причем крайне паршивую и с дурной концовкой.

Стряхнув с плаща колнучую сентябрьскую морось, она двинулась в сторону сундучка Котейшества, стоявшего в ее углу. Сундучок не был заперт — Котейшество никогда не утруждала себя лишними мерами безопасности, кроме того, здесь, в Малом Замке, любой замок служил не столько защитой, сколько вызовом для двенадцати чертовок, только и ждущих возможности запустить в него ручонки.

Распахнув сундучок, Барбаросса быстро перебрала пальцами его небогатое содержимое — расческа с костяной ручкой, все еще хранившая несколько густых каштановых нитей хорошо знакомого ей оттенка, пара склянок цветного стекла, закупоренных бумажными пробками — в них Котейшество хранила некоторые из своих декоктов, которые не хотела оставлять в университетской лаборатории, яшмовая заколка в виде бабочки, шерстяной шарф, пара потрепанных перчаток, кулечек с засахаренными орехами, небольшая шкатулочка для гигиенических надобностей с ватными шариками, пропитанными вытяжкой из ивовой коры...

Некоторые эти вещицы были ей хорошо знакомы. Котейшество обзавелась ими еще на первом круге, когда они обе были не «батальерками», а бесправными школярками, обитающими в сырых, продуваемых всеми ветрами, дортуарах Шабаша. Тогда у них не было дровяного сарая, в котором они могли бы уединиться или который могли бы использовать в качестве собственной лаборатории, единственным крохотным кусочком территории, который они отвоевали в собственное пользование, был закуток в подвале. Подвал использовался в качестве топочной, большую его часть занимала огромная пузатая печь, в недрах которой билось злое оранжевое пламя. Там всегда было отчаянно душно, едкий дым лез в глаза, от угольной пыли щекотало в носу, кроме того, беснующиеся в топке языки огня нервировали Барбароссу, не переносившую вида открытого пламени, но это было их

крохотное пространство, их крохотный мир, в котором им удавалось проводить иногда целые часы наедине друг с другом...

Барбаросса, на минуту забывшись, перебирала пальцами все эти смешные мелочи, хранящиеся в сундучке. Не то. Всё не то. Все эти милые кусочки чужой жизни, некоторые из которых были пропитаны их совместными воспоминаниями, были бессильны против твари, запертой в ее теле, как конфетные фантики — против изготовившейся к атаке пехотной терции. Ностальгическая херня, не более.

Пальцы Барбароссы дрогнули лишь единожды — коснувшись окованной железом шкатулки из дерева, пристроенной у стены сундука, весьма увесистой шкатулки, содержимое которой было ей превосходно известно, несмотря на крохотный заговоренный замочек. Она часто видела, как Котейшество управлялась с теми штуками, что лежали внутри, управлялась легко и непринужденно, как придворная дама — дюжиной разнообразных вилок за ужином. Возможно... Барбаросса отложила шкатулку в сторону, лишь секунду подержав ее в руках. Возможно, ей и самой придется пустить в ход эти инструменты, если дело обернется плохо. Но пока они ей не нужны. Пока ей нужны записи и ничего более.

Перебирать вещи Котейшества было тяжело. Кружевные платки с незнакомыми монограммами и вензелями, которые они находили на улицах, были тщательно выглажены и аккуратно лежали стопкой. Корешки от театральные билетов пожелтели от времени, но были аккуратно схвачены ниткой. Валяющиеся россыпью пуговицы, которые Котейшество вечно не успевала пришить к своему дублету, превосходно начищены. Копаясь в ее сундучке, Барбаросса ощущала себя варваром, разоряющим изящно и аккуратно устроенный кукольный домик.

А стала бы Котейшество так же бесцеремонно копаться в ее собственных вещах? Барбаросса криво усмехнулась. Едва ли. Ее собственные вещи в большинстве своем представляли собой инструменты оставленного ею ремесла, да и те были тщательно укрыты во многочисленных тайниках Малого Замка. Заржавевшие от долгого бездействия отмычки, ножи — трофейные и ее собственные — дешевые кольца, которые она так и не успела загнать в Унтерштадте, прочее барахло, больше похожее на содержимое походного сундука повидавшего жизнь ландскнехта, чем шестнадцатилетней ведьмы. Ха! А ведь когда-то, пытаясь извести щелоком въевшиеся в мясо разводы от смердящих угольных ям Кверфурта, она думала, что в Брокенбурге будет одеваться в шелка и парчу, как баронесса, а есть золотой вилок на фламандском фарфоре...

То, что она искала, обнаружилось на самом дне сундука. Тетрадь Котейшества по Гоэции. Пухлая, исписанная так густо, что даже в глазах немного пощипывало, стоило только ее распахнуть, она вмещала в себе куда больше знаний, чем полагалось иметь ведьме третьего круга. Недаром Котейшество пропадала в библиотеках в то время, когда ее сестры беспечно кутили в «Хексенкесселе» или высаживали зубы своим приятельницам из других ковен. Едва прикоснувшись к ней, Барбаросса ощутила, как Цинтанаккар слабо заворочался в ее левом легком. Что это было? Тревога, которой он невольно себя выдал? Или просто рефлекторное движение его состоящего из меоноплазмы тела, что-то сродни шевелению во сне?

Спи, сука, подумала Барбаросса, жадно распахивая тетрадь, спи сладко, мой милый. Я сверну тебе шею еще до того, как ты успеешь выбраться из своей кровати и надеть тапочки...



Читать записи Котейшества было непросто. Оберегая свои записи от посторонних, она использовала в письме простой шифр, меняя значения букв и подставляя лишние слоги. Это не представляло затруднения для Барбароссы — этот шифр был их совместным с Котти изобретением — лишь замедляло чтение. Но она недооценила того, сколько гоэтической премудрости может вмещаться в одной только пухлой тетради. Та была исписана сплошную, так густо, что даже муравью было не пробежать между исписанными строками, пестрила мастерски сделанными иллюстрациями, точно копирующими демонические печати и сиклы, необходимые для вызова. Десятки, сотни... Во имя яиц Сатаны, их здесь тысячи! Барбаросса едва не застонала. Она совсем забыла, до чего бесчисленно воинство демонов на адском жаловании.

Барбаросса нетерпеливо пролистывала тетрадь Котейшества, прыгая взглядом по абзацам. Одни лишь общие вводные, которые она и сама мельком помнила со времен первого круга. Никчемные теории, перемежающиеся красиво выписанными миниатюрами, изображающими устройство Ада — по Данте, Суиндену, Босху, Мильтону, Боттичелли, Блейку и хер знает, кому еще. Все это ей сейчас не требовалось и не представляло интереса. Если кому-то и суждено изучать географию Ада, то это будет ее душа, выскользнувшая из выпотрошенного Цинтанаккаром тела...

Одна первосила, источник всего сущего — Сатана. Четыре великих адских архивладыки — Белиал, Белет, Столас и Гаап. Семьдесят два их приспешника, великих адских сеньора — герцог Агарес, маркиз Самигина, герцог Велефор, маркиз Аамон, король Паймон, принц Ситри, король Белет, маркиз Лерайе, герцог Зепар, король Пурсон, губернатор Моракс, граф Ипос, герцог Аим, маркиз Набериус...

Не то! Все не то! Охранный демон не может входить в касту адских сеньоров, он прислужник, хоть и чертовски ловкий, по тамошним меркам не сильнее свинопаса. Если она найдет, кому он подчинен или в чьем родстве состоит...

Дойдя до «Теургии Гоэции», Барбаросса ощутила охотничий позыв. Близко. Ближе. Здесь содержались имена младших демонов, не все из них, но те, что были известны науке, но даже этих было чертовски много. Тысячи, подумала она отрешенно, водя пальцем по строкам. Десятки тысяч. Котейшество оставляла записи лишь о тех, что были ей интересны или важны. И уж точно она не задавалась целью изложить жизнеописание каких-нибудь блядских тварей из Сиама...

Гаррота и Саркома не посчитали нужным убавлять звук у оккулуса. Кажется, погоня внутри хрустального шара разворачивалась так стремительно, что они позабыли обо всем на свете. Мужчина на козлах, чиркая кресалом и поджигая пороховые бомбы, метал свои снаряды в преследователя, но тот с удивительной ловкостью миновал облачка ваты, которые символизировали разрывы, неуклонно сокращая дистанцию. Он приближался к фаэтону, точно демон мщения, холодный и сосредоточенный на своей цели, неумолимо, как закат. Очередным метким выстрелом из мушкетона он зацепил мужчину, сидевшего на козлах, и тот, выронив уже приготовленную бомбу, повалился на подушки. Преследователь равнодушно бросил оружие под ноги своему скакуну, должно быть, израсходовав весь порох, но безоружным не остался. Ни мгновения ни колеблясь, он вытащил из своего развевающего дорожного плаща короткую шестиствольную «перечницу»[13]...

К херам их, подумала Барбаросса, заставив себя впиться взглядом в тетрадь.

Харас, пятый дух Астелиеля, короля демонов, подчиняющегося Карнесиелю и правящему на Юге и Востоке. Харас относится к числу дневных духов, оттого его сила особенно велика в третий час дня, что зовется Данлор, а вызывать его следует путем размещения трех стеклянных осколков от зеленой бутылки в тарелке, наполненной проточной водой до рассвета, в которой растворены равные части хлора, сурьмы и аконита. Вызывая Хараса, надо смотреть строго на восток, при этом иметь в качестве защиты три медных монеты, зашитых в подкладку дублета напротив сердца. Ни в коем случае нельзя вызывать этого демона на полный желудок или же тем, кто хромает на правую ногу или тем, кто недавно овдовел — обнаружив это, Харас впадет в ярость и растерзает заклинателя на месте. Рекомендуются также одеваться в одежды светлых тонов, не улыбаться во время призыва, но и не смотреть демону в глаза...

Погоня в оккулусе грохотала, мешая ей сосредоточиться на чтении. Увидев, что ее спутник ранен, женщина на козлах отчаянно трянула поводьями, заставляя фаэтон изменить курс. Экипаж дернулся, резко двинувшись наперерез уже настигающему его преследователю. Будь преследователь дальше, этот маневр не грозил ему, но он подобрался слишком близко к экипажу, так близко, что их столкновение было неминуемо.

Черный скакун испуганно заржал, затрещали сминаемые деревянные стойки фаэтона, зазвенела брусчатка. Страшный удар о кузов лишил преследователя равновесия, рухнув с коня, он покатился по земле, выронив свое оружие. Ловко сыграно. Так сразу и не заметишь, что сцена устлана мягкими тюфяками, смягчающими падение, а конь адресирован таким образом, чтобы естественно рухнуть подле своего седока. Бесхитростно, но толково.

Нарас, пятый ночной прислужник Гедиела, короля демонов, правящего на Юге и Западе. Печать его непозволительно рисовать чернилами или тушью, только желчью жаб. Терпеть не может женщин и носит плащ, сотканный из женских скальпов, под ним же — кольчугу из иридиевых колец, на голове имеет шлем, лопнувший от страшного удара и сросшийся с костями черепа. Задобрить его можно, положив на жертвенный камень отсеченные у собственных отпрысков уши — это обычно приводит его в доброе расположение духа...

Мишел, седьмой ночной прислужник Гедиела, является обыкновенно в виде огромной мухи с человеческой головой и коровьим хвостом. Призывая его, надо залепить уши горячим воском, так как жужжание Мишела сводит людей с ума, заставляя глотать камни и землю, до тех пор, пока не лопнет живот. Можно предложить ему сливок или хорошего вина, однако ни в коем случае нельзя поворачиваться к нему спиной или что-то насвистывать под нос. Если Мишел заподозрит, что заклинатель не искренен с ним, он вырежет ему глаза кинжалом из цельного рубина...

Арисат, третий дневной прислужник Асириеля, герцог и поэт. За час до его призыва заклинателю надо разжевать живую пчелу, а также проткнуть каждый свой палец насквозь бронзовой иглой. Арисат равнодушен к жертвоприношениям, но его уважение можно заслужить, если предложить ему собственный язык, отсеченный рукой скопца. Обыкновенно он является в виде огромной горячей башни, на вершине которой ходит черный петух. Каков бы ни был соблазн и какие бы сокровища ни виднелись внутри, заклинателю не следует входить в нее, в противном случае Арисат вынет из его головы разум и поселит взамен него разум петуха...

Чертова пьеса и не думала стихать, напротив, старенький оккулус дрожал от

напряжения, едва не скатываясь со стола. Фаэтон, которым управляли беглецы, уже успел опрокинуться, но погоня не закончилась. Неумолимый преследователь, ничуть не повредившись от столкновения с землей, вышвырнул с козел возницу проезжающей мимо повозки с бочонками лампового масла и сам занял его место. Повозка шла тяжело, грузно, но все же несравнимо быстрее, чем двое преследуемых им беглецов. Раненый мужчина, поняв, что от судьбы не уйти, перестал бежать и вытащил из кармана потрепанного камзола последнюю оставшуюся у него бомбу...

Нечленораздельно рыкнув, Барбаросса уперла взгляд в тетрадь, заставляя его ползти по ровным строкам, оставленным рукой Котейшества. Новые имена, новые формы, новые предупреждения и сноски... Ей нигде не попадалось имя Цинтанаккар, но она не сомневалась, что рано или поздно встретит его. Может, не среди этих демонов, так среди других...

Вескур, десятый дневной прислужник великого демона Масериала, несравненный специалист по алхимии и картографии. Выглядит как обожженный и потрескавшийся рыцарский доспех, внутри которого роятся зеленые мухи. Имея с ним дело, надо держаться настороже — угощая заклинателя вином, он может мгновенно превратить его в кипящий свинец, а протянутая им монета — сделаться медным скорпионом со смертельным ядом. Заклинатель увеличит свои шансы столкнуться с ним, если заблаговременно вырвет ногти у себя на руках, а также будет воздерживаться от еды и питья на протяжении трех дней. Если Вескур спрашивает, который час, ни в коем случае нельзя отвечать ему — он не признает хода времени и за любой ответ покарает, вытащив из заклинателя все кости. Надо отвечать «Часов столько, сколько отмерено Сатаной» или найти иной ответ, не уязвляющий его гордости.

Агор, второй дневной прислужник герцога Малгараса. Является в виде трех серых котов, сросшихся хвостами, либо же в виде парящего в воздухе уха из черной стали. Отвечая на его каверзные вопросы нельзя использовать любые слова, начинающиеся на «с» — стоит заклинателю хоть раз ошибиться, как Агор сделает из него пряжу, которой скрепляет свои сапоги. Также недопустимо кивать головой или чрезмерно громко дышать. Если заклинатель выдержит эти и прочие испытания, Агор предложит ему выбрать подарок между семью хлебами и семью драгоценными самоцветами. Выбирать нужно хлеба, ибо самоцветы, подаренные демоном, врастут в тело одаряемого, точно фурункулы, и более не оторвутся.

Куби, второй в свите Малгараса, Короля Запада. Является в виде прекрасной ослепленной женщины, из пустых глазниц которой течет раскаленная смола. Если заклинатель не будет трижды опоясан пеньковой веревкой, сокрушит все кости в его теле и впряжет его в свой дьявольский экипаж вместе с прочими несчастными, которые, стелая и ползя, влекут его подобно улиткам между землей и небом. Если запасти перед его вызовом половину пинты рябинового сока...

Оккулус полыхнул так, что Барбаросса вскочила на ноги. Может, хрусталь и был старым, во многих местах поцарапанным, а дух, в нем живущий, старым и слабым, но взрыв вышел такой, будто какая-то сука швырнула напрямик в окно Малого Замка всамделишную пороховую гранату.

Блядская хрень!

На далекой сцене полыхал огонь, небесталанно изображенный в виде развевающихся оранжевых лоскутов, по авансцене рассыпались искореженные тележные колеса и остатки бочек. То ли последняя бомба раненого беглеца воспламенила ламповое масло, то ли на

помощь им явился могущественный демон. Скорее, второе. Театралы из Дрездена и Мюнхена, ни хера не смыслящие в демонологии, сплошь и рядом уверены, что демона ничего не стоит вызвать на бегу, просто кольнув палец иглой. Эти недоумки, ставящие на сцене пьесы из жизни Жиля де Ре, Рудольфа Второго и Георга Третьего, понимали в тонкостях Гоэции и ее сложнейших ритуалах не больше, чем свиньи в векселях...

Но даже Барбаросса вздрогнула, когда обломки объятой пламенем телеги, под которыми был погребен мертвый преследователь в темном пенсне, вдруг зашевелились.

Театр, поставивший эту картину, был небогат, жалких сил Амбрамитуря было достаточно, чтоб рассмотреть заплаты на занавесах и никчемный грошовый реквизит. Даже кони здесь были не настоящие — задрапированные полотном конструкции из досок, движущиеся за счет укрытых от зрителя шнуров. Но сцена была поставлена так ловко, что Барбаросса почувствовала, будто к пояснице ей приложили две дюжины холодных пивков.

Горящие доски разлетелись в стороны и из костра поднялся он — демон-рыцарь из Преисподней. Отлитый из тусклого серебристого металла, он походил одновременно на поднятый некромантом скелет и человекоподобное насекомое. В его глазницах нестерпимым пламенем горели два рубина, из прорех в стальной кирасе вырывался раскаленный пар, суставы сгибались с гулом стальных пружин. Он медленно повел головой, страшным стальным черепом, усеянным заклепками, из раскрывшейся пасти, обрамленной инкрустированными в сталь человеческими зубами, вырвался клуб смоляного дыма.

Вот почему его движения с самого начала показались ей слишком тяжеловесными для человека, вот почему его глаза были прикрыты затемненными стеклами, вот почему он приближался к беглецам с такой неумолимой и пугающей механической грацией...

Чертов голем.

Она вдруг вспомнила, как выбирался из-под горящих руин Ржавый Хер — огромная груда покореженного металла со смятым забралом. Исполинское чудовище, не знающее покоя, пока не настигнет свою жертву. Вот почему тип на черном скакуне показался ей не только противоестественно-пугающим, но и смутно знакомым. В его движениях была та же холодная грация большого механизма, неотвратно двигающегося к цели, человекоподобного снаряда, выпущенного из мушкета. А ведь он еще жив, подумала Барбаросса, ощущая как саднят разом все внутренности, встряхнутые той страшной погоней в Миттельшпадте. Небось, тащится сейчас где-то по броккенбургским улицам, пристально разглядывая окрестности, тяжело ворочая смятой головой, ищет ее, свою обидчицу, сестрицу Барби, ищет и не может найти...

Саркома и Гаррота, кажется, перестали дышать, так их захватило происходящее в оккулусе. Выбирающийся из-под пылающего остова голем все еще был покрыт местами человеческой плотью. Перестав служить ему прикрытием и защитой, она сделалась помехой и он безжалостно срывал с себя пласты горячей кожи, роняя их себе под ноги.

Он и в самом деле голем, вспомнила Барбаросса, этот Мейнхард. Несколько лет тому назад, уже будучи восходящей звездой театральных подмостков, он свернул себе шею, катаясь на прытком жеребце, но дух его не был сожран адскими владыками. Императорские маги сохранили его сознание в стеклянной колбе, а позже вселили в стального голема, специально созданного магдебургскими кузнецами. Для каждого нового представления умелые ткачи шьют ему новый костюм из человеческой кожи, потому и пенсне у него на носу — слишком дорого выходит каждый раз делать новые стеклянные глаза...

Сука. Нечего и думать вчитываться в записи, пока над ухом гремит это дерьмо.

— Næst! — зло и резко бросила Барбаросса, — Næsta rás!

Амбрамитур поперхнулся, хрустальный шар пошел крупной рябью, сокрыв все происходящее — и шагающего сквозь обломки голема, хищно клацающего вплавленными в сталь человеческими зубами, и перепуганную женщину, распластанную на земле, смотрящую на него широко раскрытыми от ужаса глазами. А когда прояснился, в нем не осталось ни следа от усеянной горящими обломками сцены — это уже была небольшая, обставленная строгой мебелью, зала, посреди которой, за массивным письменным столом, восседал сухопарый господин в строгом дублете серой шерсти.

— ...нет сомнений в том, что марионетки властолюбивого сатрапа Гаапа, именующего себя архивладыкой, уничтожив крепость Джавару и предав страшной смерти ее обитателей, не остановят свой страшный бег, сжигающий плодородные афганские земли. Каждый день, каждый час мы в Дрездене получаем тысячи писем от трудолюбивых афганских крестьян, возделывающих хлопок на своих полях, и благородных афганских эмиров. Все эти письма — крики отчаяния и боли. Военная машина Гаапа катится по их земле, сминая, уничтожая и пожирая все, что встретит на своем пути, вбивая в землю все установленные веками заветы справедливости. Руссицкие рейтары и мушкетеры, усиленные башкирскими дикарями-людоедами, которые не ведают никаких цивилизованных представлений о войне, врываются в мирные афганские города, насилуют всех женщин и детей, а выживших подвергают мучительной смерти во славу своего самозванного архивладыки. Уже сейчас мы вынуждены признать — архизлодей Гаап объявил плохую войну[14], и не только трудолюбивому народу Афганистана, но и всему миру!..

Саркома подскочила на подушках:

— Барби! Какого хера?!

— Мы смотрели чертову пьесу! — крикнула Гаррота, — Амбрамитур, Furgi!

Шар замерцал.

Голем, уже избавившийся от ненужной ему человеческой кожи, размеренно шагал вперед, медленно поворачивая из стороны в сторону голову-череп. Рубины в его глазницах светились пугающе ярко. Бросившись прочь от него, женщина распахнула дверь и оказалась в той части сцены, где царили уже другие декорации — пышущие паром перегонные кубы, гудящий бронзовый пресс исполинского размера, какие-то стучащие поршнями насосы... Судя по всему, этот реквизит должен был обозначать алхимическую лабораторию, но изображал ее крайне неважно — кажется, реквизиторы просто стащили на сцену все, что показалось им достаточно внушительным...

— Næsta rás! — рявкнула Барбаросса.

— ...уже завтра в Регенсбурге состоится совещание германских курфюрстов с целью выработать единый и жесткий ответ восточным сатрапам-марионеткам и положить конец его никчемным притязаниям!..

На бугристых щеках Гарроты выступили желваки.

— Мы смотрели эту херню, Барби. Верни обратно.

Барбаросса ухмыльнулась ей в лицо.

— Что еще вернуть обратно, милочка? Твою девственность? Попроси об этом того, кто ее забрал — соседского ишака!

Гаррота медленно поднялась с подушек. Долговязая и жилистая, стоя она превращалась в каланчу, нависающую над головой Барбароссы по меньшей мере дюймов на пять. Чертовски длинная сука. Может, именно потому безжалостный по своей натуре Шабаш в

свое время нарек ее Глистой — под этим именем она вынуждена была существовать два года с лишком, прежде чем обрести свое новое имя.

Конечно, и тут не обошлось без злой иронии, свойственной всему в Броккенбурге. Гаррота — удавка, древний и почтенный инструмент, признанный головорезами во многих уголках империи, но по своей сути — всего лишь прочная бечевка. Веревка. Шнурок. Никакого злого умысла, одно лишь распространенное среди ведьм чувство юмора, немного подогретое в адских котлах. Кому, как не ей, нареченной сестрами Барбароссой, судить о его свойствах?..

Гаррота не выглядела грозной, она выглядела костлявой, однако была крепка, как кобыла-двухлетка мосластой ганноверской породы, способная дать фору многим тяжеловозам. Может, ее кулаки не обладали сокрушительной силой голема, но молотили будь здоров — отведавшие их обыкновенно уже не искали добавки. Как-то на глазах Барбароссы сестрица Гарри уложила в Унтершгадте трех сук одну за другой — просто хватала их одной лапой за шкурку, вздергивала, а другой щелкала по черепу. Ловко у нее это выходило, точно морковку дергала на грядке...

Ад иной раз награждает своих любимчиков, но никто не в силах упрекнуть его в излишней щедрости. Одарив Гарроту силой и выносливостью, он также наделил ее крупными зубами, которых она отчаянно стеснялась, нескладным телосложением и крупными, как у мужчины, кистями. Последнее, впрочем, досталось ей не от адских владык, а от отцовской кузницы, где она работала за подмастерьев. Навечно опаленные огнем и сильные как клещи, эти руки умели гнуть гвозди, но нечего и думать было запихнуть их в дамские перчатки или изящно взять ими платок.

Будто одного этого было мало, в тысяча девятьсот семьдесят шестом году через Фогтланд прошла эпидемия черной оспы, разорившая некогда плодородный край так, словно его перепахали гигантской огненной мотыгой. За каких-нибудь две недели по меньшей мере двести тысяч душ отправились в адские чертоги, доверху забив все крепостные рвы и канавы тем смрадным гнильем, что прежде служило им телами.

Это не было карой Белиала, ниспосланной за какие-то грехи — в том году Фогтланд честно выплатил свой оброк и золотом и мясом. Возможно, это было ошибкой адской канцелярии, неправильно сверившей долги своих земных вассалов, или досадным просчетом или...

Или шуткой. В трактирах болтали, будто бы эпидемия черной оспы была послана не всемогущим архивладыкой Белиалом, а его придворным шутком, демоном Аграфebaусом. Пытаясь поднять настроение своему хозяину после серьезного карточного проигрыша — поговаривали, речь шла о восьмидесяти миллиардах тонн золота — он обрушил на Фогтланд войнство из зараженных оспой мелких бесов. Иначе не объяснить того, отчего выгнивающие язвы на телах больных часто образовывали забавнейшие узоры, а сами они перед смертью вдруг заливались безумным смехом.

Шутка адских владык не убила Гарроту, но оставила ей на память изборожденные оспинами щеки, которые она, отчаянно стыдясь, пыталась прикрыть волосами. Вот только волосы ее, грубоватые от природы, напоминавшие выгоревшую на солнце яровую солому, не очень-то спасали положение, хоть она и смазывала их маслом, вытяжкой дубовой коры и сажей.

— Какого хера ты творишь, сестрица? — Гаррота наклонила голову, впившись в Барбароссу взглядом, тяжелым и не сулящим ничего доброго, — Мы имеем право отдохнуть

после занятий, разве не так?

— Вы имеете право отправиться во двор, взять тренировочные мечи и выбить из своих задниц лишний жир. Раз уж у вас выдалась свободная минутка, — буркнула Барбаросса, встретив этот взгляд, точно перехватив на воображаемый эфес, — Или вы думаете, что можете валяться на перинах всякий раз, когда Гаста этого не видит?

— Мы занимались вчера. Два часа после обеда.

Барбаросса фыркнула.

— Я видела из окна. Если бы я не знала, что это фехтование, решила бы, что это был блядский флирт. Когда ты наконец запомнишь, что меч — это не мужской хер, Гарри? Им не тыкают, им рубят!

Гаррота стиснула зубы. Болезненно воспринимающая все, имеющее отношение ко внешности или любовным делам, от подобных шуточек она мгновенно терялась, точно фехтовальщик, поскальзывающийся на ровном месте. Конечно, она всегда могла потребовать от сестры Барби сатисфакции на кулаках. Плох тот ковен, сестры которого время от времени не украшают друг друга свежими синяками, пестуя сестринскую дружбу, устанавливая порядок, выясняя свое положение в стае. Она и пыталась. Не раз.

[1] «Гусары смерти» — прозвище 1-го лейб-гусарского полка прусской армии, существовавшего с 1741-го по 1919-й года.

[2] Здесь — мушкет системы Хаермана Барневельта, личного оружейника короля Карла II-го.

[3] С 1701 по 1861 королевством Пруссия правили последовательно Фридрих I, Фридрих Вильгельм I, Фридрих II Великий, Фридрих Вильгельм II, Фридрих Вильгельм III и Фридрих Вильгельм IV.

[4] Магдалена Сибилла Нейдшютц (1675–1694) — фаворитка и любовница курфюрста Иоанна Георга IV.

[5] Срамный поцелуй — средневековое поверие; особый поцелуй, которым ведьма благодарит дьявола, целуя посланного им чёрта в ягодицы или анус.

[6] Панграмма — построение предложения, в котором хотя бы по одному разу используются все буквы алфавита.

[7] В викторианскую эпоху — «Кот министра» — салонная игра, в которой каждый игрок по очереди называл прилагательные, описывающие кота, на ту букву алфавита, которая ему выпала.

[8] Распространенный в Восточной Европе вариант игры в «Слова», при котором каждый следующий игрок называет слово, начинающееся на две последние буквы предыдущего слова.

[9] Осада Брайзаха (1638) — осада протестантскими войсками под предводительством герцога Бернгарда Саксен-Веймарского занятой войсками Священной Римской империи крепости Брайзах, которая впоследствии отошла Франции.

[10] Лита — праздник летнего солнцестояния в языческой и зороастрийской традиции, отмечается обыкновенно в конце июня.

[11] Бандолет — короткий мушкет, близкий к пистолетам.

[12] Австрийский броненосец, спущенный на воду в 1865-м., принимавший участие в австро-итальянской войне.

[13] «Перечница» — распространенное название для многоствольных пистолетов системы Мариетта, распространенных в первой половине XIX-го века, предшественников

револьверов.

[14] «Плохая война» — вид боевых действий Средневековья и более позднего периода, представляющий собой войну на уничтожение — без взятия пленных, без выкупа, но с массовым уничтожением мирного населения и городов.



В прошлом они с Гарротой схватывались, так часто, что Саркома даже провозгласила череду их стычек «Войной за звание первой красавицы Малого Замка». Горячие это были деньки, ох горячие... Они и на втором круге не раз нещадно колотили друг дружку, деля черную работу и выясняя старшинство, но настоящий накал их противостояние приобрело летом этого года, после того, как очередная Вальпургиева ночь сделала их обоих из бесправных «двоек» полноценными «тройками». Слуги всегда колотят друг дружку, это как крысиная возня под лестницей, на которую все прочие не обращают внимания, но дело редко доходит до последствий более серьезных, чем сломанные пальцы да носы. А вот старшие сестры... Старшие сестры не успокоятся, пока не выяснят свое место в ковене, раз и навсегда утвердив иерархию. Закон волчьей стаи. Закон Броккенбурга.

Выясняя отношения, они с Гарротой переколотили до черта мебели в Малом Замке, один раз даже умудрились расколоть большой обеденный стол, отчего еще неделю сидели на хлебе и воде, а уж окон... Окон они перебили столько, что в какой-то момент половина стекольщиков Броккенбурга работала на Малый Замок, заставляя суку Гасту шипеть от злости, подсчитывая убытки. Славные были времена!

Барбароссе на миг даже показалось, что помимо колючей искры Цинтанаккара, блуждающей под левой ключицей, она ощущает ноющие по всему телу синяки, оставленные где ни попадя увесистыми кулаками Гарроты. В уличной драке на ножах Барбаросса не оставила бы этой дылде ни единого шанса, в этом искусстве рост не давал Гарроте серьезных преимуществ. Но в драке на голых кулаках окрутить ее было не так-то просто, сил и выносливости у нее было как у двужилной. И даже ярость, которой в избытке снабжал Барбароссу адский покровитель, герцог Абигор, оказывалось недостаточно, чтоб совладать с этой рябой сукой. Да, горячая была пора... По меньшей мере до конца июля они обе ходили пегими, точно лошади — от ударов и оплеух кожа на лице цвела разнокалиберными яблоками, а кое-где и сходила лоскутами.

Такое положение вещей не могло длиться вечно. Ковен не может терпеть неопределенности, каждая его сестра должна занимать свое место, как кропотливо вписанный сигил занимает свое в цепочке чар. Соперничество, не решенное к полному удовлетворению обеих сторон, будет отравлять жизнь всем ведьмам внутри ковена. Барбаросса смогла решить этот вопрос наилучшим образом, навсегда оставив их соперничество в прошлом и надежно похоронив амбиции.

Она добилась того, чтобы одним погожим деньком их с Гарротой обеих отрядили чинить забор у южной окраины Малого Замка. Там, в зарослях густой травы, ее терпеливо дождался позаимствованный с кухни муссат — стальной прут толщиной в палец на удобной деревянной рукояти. Хорошее подспорье для разговоров даже с самыми твердолобыми суками.

Гаррота проиграла эту битву, ее тяжелый крестьянский умишко слишком поздно сообразил, что вопрос старшинства в ковене — это не игры в дочери-матери на сеновале, в которых пьют дождевую воду с разведенной золой, воображая ее драгоценным мозельским

вином, украшают себя подвесками из соломы, а в конце все счастливо выходят замуж за воображаемых герцогов. Это совсем другая игра, в которой проигравшая подставляет жопу, смирившись со своей участью, а победительница идет дальше. Игра, в которую Гаррота, несмотря на все свои многообещающие задатки, так и не научилась играть.

Барбаросса охаживала ее муссатом до тех пор, пока тот не погнулся, но и тогда не смогла вышибить из Гарроты сознание. У некоторых крестьян головы твердые, что валуны, не проломить и кайлом. Бросив его, она заканчивала дело ногами, пока сама не выбилась из сил. Хорошая работа. Как и всякая хорошая работа, эта принесла ей удовлетворение и приятную усталость. Гаррота приползла в Малый Замок лишь к вечеру, сизая, в лохмотьях и струпьях, похожая на гнилую капустную кочерыжку, выкопанную из земли. От синяков ее раздуло так, что она не смогла спать в своей койке, отлеживалась еще несколько дней на полу. Этот урок пошел ей во благо, ее лошадиное упрямство оказалось сломлено силой, а затянувшееся разногласие было улажено к облегчению всего ковена. Может, Гаррота и не сделалась послушной кошечкой, беспрекословно выполняющей все приказы, время от времени она позволяла себе некоторые вольности, которых не могли позволить другие сестры, но в открытую конфронтацию благоразумно не лезла.

Наверно, стоит поучить ее уму-разуму, подумала Барбаросса, ощущая, как тело невольно напрягается, норовя подогнуть ноги и держать кулаки поближе к животу. Урок может быть хорошим, но время от времени всякий урок требуется повторять, как говорят профессора из университета, чтобы выученное по-настоящему закрепилось в памяти. Возможно, ей стоит повторить свой. Муссата больше нет, но вполне сгодится кочерга или...

— Прекрати, черт тебя подери! — буркнул из мешка Лжец. То, что он был невидим прочим, нисколько не мешало ему наблюдать за сценой, — Чего ты добиваешься, Барби?

Хочу измочалить ее, подумала Барбаросса. Превратить эту рябую рожу в хлюпающее тесто, в...

— Ты сейчас не в лучшей форме, не так ли? Тебя порядком отделала Бригелла, ты лишилась пальцев на одной ноге, тебя уже шатает от усталости и голода.

Я отделаю ее, подумала Барбаросса, впившись взглядом Гарроте в переносицу. Я сильнее. Может, мне и не хватает пары пальцев для ровного счета, но это не мешает мне. Или ты решил позаботиться обо мне, херов выкидыви?

— Не о тебе. О нас обоих. Если тебя отделают как телячью отбивную, ты надолго лишишься способности передвигаться. А значит, мы оба окажемся в дерьме.

Сука. Может, это и сопля в банке, но это самая мудрая сопля в Броккенбурге, Барби, признай это. Пока ты разминаешь кулаки, Лжец думает о последствиях и, черт возьми, делает это весьма толково. Даже если она уделает Гарроту, вышибив из нее дерзость на следующие полгода, та наверняка успеет хорошенько ей накостылять. Плевать, если дело ограничится парой ссадин и смятым носом — не впервой — а если вывихнутой ногой или переломанными ребрами? Это порядком убавит ее и так не выдающуюся прыть...

Нет, сейчас ей нельзя лезть в драку, как бы ни подмывало. Придется скрипнуть зубами и пощадить эту тварь до следующего раза. А уж тот наверняка последует весьма скоро — почуяв миг ее слабости, Гаррота не преминет попробовать ее на зуб. Но не сегодня. Позже. Через неделю, может, или две. Если через неделю сестрица Барби еще будет ведьмой «Сучьей Баталии», конечно, а не компостом под розовым кустом у старикашки фон Лееба...

Барбаросса сплюнула под ноги Гарроте.

— Осади, падаль! — буркнула она, первой отводя взгляд, — Я о вас, тупых суках,

забочусь. Сожжете себе нахер все глаза, если будете пялиться в кристалл днями напролет!

Гаррота, заворчав, отступила. Поняв, что сестрица Барби не настроена на драку, она и сама поспешила сдать назад, точно предусмотрительный возница, столкнувшийся в тесном переулке с прущим навстречу экипажем. Знать, еще не запасла в себе достаточно злости, чтобы вновь бросить ей вызов.

— О, так ты печешься о нашем здоровье, Барби?

Гаррота с похвальной мудростью отступила из боя, но ей на помощь уже спешила Саркома. С интересом наблюдавшая за сестринской пикировкой со своей горы из тюфяков и подушек, она, надо думать, получала от этой сцены даже больше удовольствия, чем от ничемной пьесы в оккулусе. И собиралась дать еще пару залпов шрапнелью по отступающему противнику.

В этом вся Саркома. Она может выглядеть равнодушной, точно плывущее по течению реки бревно, расслабленной, даже отрешенной. Но никогда не знаешь, когда это бревно вдруг хрустнет челюстями, распахивая огромную пасть речного крокодила, способную смять зазевавшегося путника даже в литой рейтарской кирасе.

Тощая от природы, болезненно-апатичная от рождения, она часто выглядела расслабленной до предельно допустимого предела, за которым уже начинается летаргическое оцепенение, но, как и в каждой ведьме, внутри нее жила адская искра, которая, пробудившись, могла серьезно опалить любую неосторожную суку, оказавшуюся поблизости, обманутую вечно блуждающей по бледному лицу сонной улыбкой. Она никогда не бранилась, не кричала, не швыряла в головы сестрам посуду, не выясняла отношений на кулаках — ее тощие ручонки явно не годились для такой работы — но если глаза ее, мгновенно сбросив сонное выражение, загорались недобрым огнем, даже самые прожженные «батальерки» спешили подыскать себе укрытие. Единственное, что пробуждало в ней подобие жизни, это разговоры об аутовагенах и музыке. И в том и в другом она разбиралась лучше кого бы то ни было в Малом Замке, даже лучше, чем в адских науках, которые постигала в университете. Саркома могла выглядеть безмятежной рыбешкой, расслабленно плывущей в теплом течении и рассеянно улыбающейся всему миру, но Барбаросса знала — за этой улыбочкой прячется хищный оскал пираньи.

Про Саркому говорили, что она тайком балуется «шрагемюзик», «неправильной музыкой», но пока еще никому не удавалось поймать ее за руку. Гаста несколько раз учиняла у нее в вещах самый суровый обыск, но не находила ни одного музыкального кристалла с чем-то запрещенным, лишь обычные миннезанги да прозаичные арии. Если у нее в самом деле водилась запрещенная музыка, за которую адские владыки грозили страшной участью, она должна была проявлять завидную изобретательность, оборудуя тайники в Малом Замке...

— Так ты печешься о нашем здоровье, Барби?

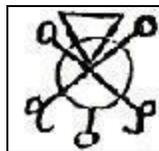
Саркома захлопала ресницами. Ни дать, ни взять, пай-девочка, лучше всех прочитавшая стишок и теперь ожидающая самую сладкую конфету с елки. Чтобы усилить сходство, она даже запустила руки в свои нечесанные гнедые космы, изобразив из них пару косичек. Она носила короткую стрижку вроде «вильдфанг»[1], с выбритыми висками и копной волос на макушке, но вышло все равно ловко. Этой суке впору было бы давать представления вместе с блядскими «шутовками» из «Камарильи Проклятых», подумала Барбаросса, а еще лучше — копаться в сырой яме каретных мастерских среди чумазных подмастерьев...

Глаза Саркомы маслянисто блестели, как не блестят обычно ни от макового зелья, ни от

сомы. Барбаросса никогда не слушала «шрагемюзик» — нахер такие развлечения — но нутром чуяла, эта сука успела уже после обеда вмазаться своей чертовой «неправильной музыкой»...

— Может, и пекусь! Что с того?

— Нам бы очень не хотелось ослепнуть! Если мы ослепнем, как тогда мы сможем любоваться каждый день личиком нашей любимой сестрицы Барби? Ведь это единственное, что поддерживает в нас дух жизни!



Сука, подумала Барбаросса, заставив себя вращать в пол, чтобы не сделать ни шага к ухмыляющейся Саркоме, возлежающей на своих перинах. Иногда эта ехидная дрянь довольствовалась ролью простого наблюдателя, искренне упиваясь тем, как сестры таскают друг друга за волосы, иногда и сама не прочь была поучаствовать во всеобщем веселье, подзуживая одних, распаяя других и доводя до белого каления третьих. Сама она с похвальной предусмотрительностью в драку не лезла, трезво сознавая свои возможности, но иногда отхватывала по зубам.

Эту не воспитать ни кочергой, ни даже тележным шкворнем. Такая уж натура. Бить Саркому — то же самое, что колотить ногой каменную коновязь — только сапоги собьешь...

Потом, приказала себе Барбаросса. Она займется этим потом, как только разделается со старикашкой и его блядским питомцем. Как только найдет Котейшество и поздравит Лжеца с переездом на новое место жительства, в университет, на кафедру спагирии. Она вернет порядок в «Сучью Баталию», приструнив распустившихся сестер, считавших, что могут вить из нее веревки. О да, вернет, уж будьте уверены...

В случае с Саркомой это будет не очень сложно. В следующий раз, когда придет время латать крышу Малого Замка, она договорится с Гастой, чтобы та послала наверх их двоих. Даже если придется сунуть за это на лапу рыжей суке пару монет, не жалко. А когда они вдвоем окажутся на башне, она устроит крошке Саре короткую прогулку сверху вниз, аккуратно на брусчатку перед крыльцом. Третий этаж — это не такая головокружительная высота, как у магистратской ратуши, а Саркома, несмотря на свой чахоточный вид, здоровее многих пышущих здоровьем. Возможно, она научится унимать свой беспокойный язычок, упражняясь с костылями...

— Не время, блядь! — прошипел ей на ухо Лжец, — Часы не берут передышку всякий раз, когда ты цапаешься с суками из своего выводка, Барби! Если хочешь знать, ты уже потратила без всякого толку четверть часа!

Сука. Барбаросса стиснула в руке бесполезную тетрадь.

Еще четверть часа. Никогда еще время в Броккенбурге не несло с такой скоростью, точно понесший жеребец, под задницей у которого взорвалась пороховая бомба. Она вновь израсходовала толику отпущенного ей времени, а единственная добыча — записи Котейшества, в которых она пока не обнаружила ни одного полезного зерна...

Лжец прав, ей пора бежать. На хер Малый Замок и его никчемных обитательниц, мнящих себя ведьмами. Видит Ад, сегодня у нее другая забота. Но сперва...

Барбаросса усмехнулась. Пожалуй, она не так богата, чтобы швыряться своим временем, но еще полминуты может и потратить. Тем более, если это хоть на дюйм поднимет ей настроение.

— Встать! — рывкнула она, с удовлетворением убедившись, что Саркома и Гаррота мгновенно вскакивают, вытягиваясь по струнке. Хотя бы на это авторитета сестрицы Барби еще хватало, — Встать, рваные пизды!

— Барби...

Заткнись, подумала Барбаросса. Заткнись, Лжец, мы уже идем. Полминуты...

— Значит, так... — она сделала глубокий вдох, переводя взгляд с Саркомы на Гарроту и обратно, — Вы, кажется, немного расслабились, сестрицы. Стоило только рыжей карге запить, как у вас размякли булки, а? Не беспокойтесь, сестра Барби живо напомнит вам о ваших обязанностях. Сейчас вы вдвоем берете швабры и метлы — и драите эту дыру так, чтоб через час она блестела как бальная зала. Найду хоть пылинку — будете слизывать ее языками, никчемные шкуры. Все понятно?

Они не были обязаны ей подчиняться и знали об этом. Формально она даже не приходилась им старшей сестрой, лишь ровней, такой же «тройкой», как и они, лишь недавно выбившейся из прислуги. Отшлифованные веками правила чести, главенствующие над всем в Броккенбурге, включая разум, оставляли по этой части пробел, который сестры-ведьмы могли заполнить сообразно своему представлению о порядке и справедливости. Но некоторые вещи, что происходят в замкнутых девичьих стаях, негласно регламентированы — куда более строго, чем сухие статьи «Саксонского Зеркала»[2].

Они не откажутся. Не рискнут. Пока еще нет.

— Потом натаскаете воду из колодца и нарубите дров. Прислугу в помощь не звать. Все сделаете сами, своими ручонками. И вот еще что... — Барбаросса запоздало щелкнула пальцами, — Кандида стоит в карауле следующие два дня. Она наказана за свою безмозглость. Если ты, Сара, или ты, Гарри, вздумаете освободить ее от наказания, живо встанете в караул вместо нее!

Они не пытались спорить, не пытались разжалобить или торговаться. Напротив, удивительно покорно восприняли свою судьбу. Даже... слишком покорно, пожалуй. Барбаросса ощутила странный душок, царящий в общей зале. Гаррота старательно отводила взгляд, Саркома ухмылялась, но чему именно понять по ее сонному лицу было сложно, только улыбочка показалась Барбароссе какой-то паскудной.

— Закончите с дровами, возьмете из чулана лопаты и...

Что за черт? Они обе старательно кивали, но как будто отводили глаза, пытаясь не смотреть на нее. На нее или... Барбаросса ощутила, как густеет кровь в венах. На нее — или на что-то позади нее.

Кто-то подкрадывается к ней сзади, чтоб приложить железным прутом по маковке? Или уже разворачивает беззвучно удавку? Кто бы это мог быть... Неужели эти прощмандовки переманили на свою сторону Гаргулью, которая обычно не лезет во внутренние свары? А может, это Холера подкрадывается к ней с тыла, решив поиграть в игры взрослых девочек?.. Кто бы это ни был, они пожалеют об этом — и уже очень скоро.

Нет времени вытаскивать кастеты, и уж точно она не станет тянуться за ножом. Ее взгляд, сделав несколько стремительных кругов по общей зале, остановился на стоящем у стены табурете. Массивный, основательный, крепко сбитый, он не выглядел смертоносным, как дага или палица, но в умелых руках был страшным оружием. Один резкий прыжок, схватить его, повернуться, отражая атаку, словно щитом, потом пинок левой в живот и сверху, не сдерживаясь, точно палицей... Орудия такой штукой, можно покрошить чертову кучу костей, если иметь должную сноровку. Она отделает этих блядей так, что адские

демоны, ждущие их мяса, разочарованно завоют...

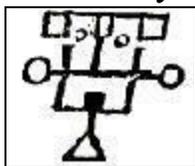
Даже если драка начнет поворачиваться в ее сторону, если эти шалавы попытаются взять ее числом, у нее будет путь отступления. Барбаросса бросила взгляд в сторону окна. Пусть и законопаченное на осень, оно не представляло собой серьезной преграды. Конечно, придется пролететь сквозь стекло, а потом и скатиться с высоты второго этажа наземь, но...

— Сестра Барбаросса?

Этот голос мгновенно прихватил льдом ее лодыжки, сделав невыносимым не только замышлявшийся прыжок, но даже и шаг. Ей показалось, что демон наполнил ее жилы расплавленным свинцом, при том не раскаленным, а ледяным, как январская вода в Эльбе. Чтобы повернуться, она потратила еще безмерное количество времени, отпущенного ей Цинтанаккаром. А когда все-таки повернулась, обнаружила, что все время мира съежилось до размеров макового зернышка.

На пороге залы стояла и молча смотрела на нее Каррион.

Каррион Черное Солнце, сестра-капеллан «Сучьей Баталии».



— Ты уже закончила раздавать указания?

Надо было броситься в окно, не оборачиваясь. Пока была возможность. Ударить плечом в стекло и вывалиться со второго этажа в облаке стеклянных осколков. Приземление было бы жестоким, возможно даже чертовски болезненным, но сейчас эта возможность казалась ей едва ли не упоительной.

Поздно, сестрица Барби. Поздно.

Вот почему ухмылочка на лице Саркомы ей сразу не понравилась. Вот почему так старательно отводила взгляд Гаррота. Суки. Рваные дырки. Гнилые шляхи.

Видели Каррион за ее спиной и продолжали злорадно наблюдать, даже не пытаясь предупредить ее.

— Я... Да, сестра-капеллан, — Барбаросса сама вытянулась по стойке, точно мушкетер на плацу, разве что каблуками не щелкнула, — Думаю, что закончила. Да, вполне.

Стоять под взглядом Каррион было невыносимо — как стоять перед шеренгой мушкетеров из расстрельной команды, ждущих лишь сигнала, чтобы поджечь порох на полке. Каррион не бранила ее, не высмеивала, не отпускала проклятий. Каррион молча разглядывала ее, но в ее распоряжении было сорок тысяч оттенков молчания, и тот оттенок, который отчетливо ощущала Барбаросса сейчас, едва не корчась под ее тяжелым взглядом, был более пугающим и опасным, чем все прочие.

— Я думала, сегодня на три часа назначила тебе урок по фехтованию. Но когда в три часа пополудни я спустилась в фехтовальную залу, там никого не было. Так что я, вероятно, ошиблась. Урок не был назначен. Не так ли?

Барбароссе вдруг захотелось стать маленькой. Крошечной, как те угольки, что отец, придя вечером домой, выбивал из сапог. Закатиться куда-нибудь в щелку Малого Замка, замереть там, недосягаемой для ледяного взгляда Каррион, рассыпаться мелкой пылью...

Кажется, даже отравленный осколок Цинтанаккара, завязший в ее мясе, на миг перестал саднить.

Барбаросса склонила голову.

— Я... Это моя оплошность, сестра-капеллан. Я задержалась на занятиях по спагирии, не совсем усвоила последнюю тему, а потом... Я... Мне очень жаль, сестра.

Каррион молча кивнула. Взгляд у нее был холодный и тяжелый, точно боевая рапира из черной стали, долгое время пролежавшая в снегу. Она стояла в своей обычной позе, заложив руки за спину, немного отставив в сторону правую ногу. Выходя из замка, она часто брала с собой трость, но внутри передвигалась без ее помощи, хоть и прихрамывая. И, черт возьми, это ничуть не помешало ей спуститься из своего кабинета по старой скрипучей лестнице, не издав ни единого звука.

Вне зависимости от погоды, царившей за пределами Малого Замка, от того, стояла внутри удушливая жара или болотная сырость, Каррион не изменяла своим предпочтениям в одежде. В любое время она неизменно была одета в бархатный дублет, застегнутый на все пуговицы, поверх которого носила узкий колет из мягкой телячьей кожи — все безукоризненно черного цвета, хоть и не первой свежести.

Никаких фестонов и галунов, никакой вышивки — простая и строгая одежда фехтовальщика, практичная и не стесняющая движений, которой глухой черный цвет придавал зловеще-траурный оттенок. Видимо, по той же причине Каррион никогда не носила пышных плундр, предпочитая им простые обтягивающие кюлоты до середины икры и невысокие охотничьи сапоги. В таком облачении нечего и думать было заглянуть на бал, но Барбаросса сомневалась, что Каррион интересуется балами. Одного ее появления на балу, пожалуй, было бы достаточно, чтобы уважаемые гости бросились врассыпную, придерживая юбки и роняя веера.

— В фехтовальную залу. Немедленно.

Даже голос у нее был тусклый, холодный. Не пугающий, не внушительный, не грозный. Холодный и безучастный, как скрип пружин. Но в Малом Замке не было никого, кто, услышав этот голос, счел бы возможным ему не подчиниться или пропустить мимо ушей.

Фехтовальная зала располагалась на первом этаже, за кухней. Просторная, в половину общей залы, она занимала по меньшей мере четверть всех внутренних покоев и была единственной комнатой на территории Малого Замка, на которую Гаста не могла посягнуть как сестра-кастелян. Одно это должно было чертовски бесить ее. Гаста не раз пыталась подступиться к фехтовальной зале, мечтая соорудить там то обеденную комнату, где все сестры могли бы сообща трапезничать за единым столом вместо того, чтобы хлебать варево из общего котла, то склад, то гардеробную.

Малый Замок, может, и именовался в Броккенбурге замком — из уважения к «Сучьей Баталии» и ее хозяйке — но был невелик размерами, оттого тринадцать душ, стиснутые в его каменном чреве, всегда испытывали тесноту, точно моряки, заточенные на своем корабле. Еще хуже делалось зимой — запасов угля, выделяемых Гастой для печи, обычно было так мало, что в Малом Замке до самого апреля поселялись холодные ветра и злые пронизывающие сквозняки, делавшие многие из помещений почти непригодными для жизни.

Но все в Малом Замке знали, что Гасте никогда не отвоевать фехтовальной залы. Это было царство Каррион — маленькое полутемное царство, воздух в котором всегда был немного затхлым, с кислым винным привкусом — ароматом вьевшегося пота и старой стружки, которой посыпали пол. Иногда они проводили здесь по часу, иногда, когда Каррион не была довольна их успехами, целые дни напролет. Отрабатывали удары на обтруханном соломенном чучеле по прозвищу Жирный Вилли, хлестали друг друга

деревянными рапирами, шипя от боли, кувыркались через бревно, поднимая в воздух целые россыпи стружек...

Каррион никогда не ругала их за ошибки. Просто наблюдала, изредка комментируя, поправляя и добиваясь правильной постановки с холодной механической четкостью. Если она была недовольна кем-то из своих учениц, ей не требовалось прибегать к помощи укоров или ругательств, как прочим учителям фехтования. У нее были свои методы исправления ошибок. Заключавшиеся в том, что сука, слишком тупая чтобы овладеть фехтованием на должном уровне, будет страдать так долго, что в конце концов вынуждена будет сделать все правильно. Действенная, эффективная метода.

Как-то раз, когда Гаррота не выучила положенного ей урока — отработывали вольт из третьей позиции — Каррион попросту оставила ее в фехтовальной зале на всю ночь, приказав повторять движение снова и снова. Из первой позиции, из второй, из третьей. С наклоном, с поворотом, с батманом и без. Чтобы у Гарроты не возникло соблазна прикорнуть на опилках, она приставила к ней надзирательницей Шустру. Гаррота отработывала херов вольт всю ночь и большую часть следующего дня. Когда Каррион наконец соизволила спуститься из своего кабинета, чтобы проверить ее успехи, крошка Гарри уже выглядела так, будто ее только что сняли с дыбы. И рухнула, точно пугало, лицом в пол, едва только получила команду закончить упражнение.

В другой раз досталось Холере. Испытывая отвращение к фехтованию, та норовила прогулять урок, используя для этого любую подходящую причину и часто без особого воображения. Каррион до поры закрывала на это глаза, видно понимая, что сделать из этой беспутной потаскухи фехтовальщицу не проще, чем испечь торт из куса собачьего дерьма. Но в какой-то момент поблажки закончились. Холера имела неосторожность сообщить, что тренировочная рапира слишком тяжела для ее руки, от нее, мол, ломит запястье. Это был несправедливый упрек — она бы знала об этом, если бы упражняла руки с чем-то потяжелее, чем стакан с вином. Но Каррион приняла ее жалобу во внимание.

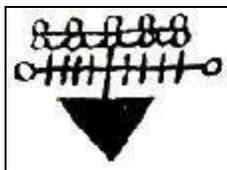
Следующие три часа Холера обязана была стоять, держа рапиру в вытянутой руке и, стоило лезвию, опустившись, хотя бы задеть натянутую поперек фехтовальной залы нить, как Барбаросса или Гаррота, стоящие по сторонам от нее, от всей души стегали ее вожжами поперек спины. Хороший выдался урок. Едва ли Холера после этого улучшила свои навыки в фехтовании, но у многих в Малом Замке поднялось настроение...

Обыкновенно урок начинался с разминки. Каррион гоняла их по зале, заставляя то погусиному поджимать ноги, то перекатываться на ходу, то выделять прочие коленца, больше уместные во время дьявольской пляски в пьяном в дым трактире, чем на дуэли. Но в этот раз она не стала подавать условленного сигнала. Не приказала снять дублет, не кивнула на брусья, не ткнула сапогом на пол, указывая место для отжиманий. Просто молча прошла к стойке, где, выстроившись шеренгой, стояли фиоретто — короткие тренировочные рапиры.

— В последнее время у меня складывается впечатление, Барбаросса, что ты не уделяешь должного внимания моим урокам.

Она никогда не называла ее «Барби» — только «Барбаросса». Неважное утешение. К кому бы ни обращалась Каррион, голос ее звучал глухо и ровно, ни единой ноткой не обозначая ее чувств. С тем же успехом она могла бы именовать ее «госпожа виконтесса» — это ни в малейшей мере не смягчило бы того наказания, которое ее ждало.

В том, что наказание последует, Барбаросса не сомневалась.



Каррион медленно провела рукой по наверхшим выстроившимся в ряд рапир. Звук, вызванный этим прикосновением, отличался от того, который обычно производит человеческая рука, соприкасаясь со сталью. Не потому, что на руках сестры-капеллана были перчатки — Каррион никогда не шла на уступки погоде — а потому, что три пальца на ее правой руке были медными.

Не протезы, как у иных бедолаг, у которых в руках разорвало мушкет из-за неправильно отмеренной порции пороха, не хитро устроенные боевые когти вроде индийского багнака, которыми метят в живот или шею, чтобы распороть противницу до самого паха — обычные человеческие пальцы, только не из плоти, а из темного щербатого металла.

Замерев у порога фехтовальной залы, Барбаросса не в силах была отвести от них взгляда, пока те, издавая негромкий металлический гул, неспешно ползли от одной рукояти к другой. Сосредоточенные, как механические пауки, неспешные, холодные... Иногда — особенно в такие минуты — ей казалось, что это не медные пальцы придасток Каррион, а сама Каррион — придасток своих пальцев. Человекоподобный протез, которым они управляют, точно большой куклой...

— Я привыкла уважать мнение своих учениц, — медные пальцы Каррион сомкнулись на рукояти одной из рапир, беззвучно вытянув ее из стойки, — Если ты считаешь, что тебе более не нужны мои уроки, значит, имеешь на то основание. Видимо, ты подняла свои навыки фехтования достаточно высоко, чтобы больше не нуждаться в моей помощи. Это похвально, сестра Барбаросса. Но я бы хотела убедиться в твоих успехах наверняка.

Сняв со стойки рапиру, всякий человек, будь он прожженным опытным бретером или начинающим диестро[3], рефлекторно делает несколько коротких быстрых взмахом клинком — любой руке нужно время, чтобы привыкнуть к весу оружия. Но только не Каррион. Она держала рапиру в опущенной руке, небрежно, как свою прогулочную трость. Кажется, даже не взглянула на нее. Не было необходимости.

— Ты можешь пройти в круг для фехтования, Барбаросса. Учебный поединок. Четыре минуты.

Сука. Барбаросса ощутила, как бусина Цинтанаккара наливается знакомой тяжестью, пульсируя в такт ударам ее сердца.

Даже в лучшие времена учебный поединок с Каррион давался ей непросто. Обыкновенно ценой такого напряжения сил, что до конца дня она превращалась в судорожно хрипящий мешок, не способный даже доползти до своей койки без помощи Котейшества. Но сейчас... Каррион хромает, но это мешает ей в поединке не больше, чем демону — распространяемый им запах серы. В то время, как ее собственная нога искалечена настолько, что даже обычные шаги даются ей с немалым трудом, куда уж тут совершать молниеносные па по фехтовальной зале, стремительно перенося вес тела и отскакивая.

Извините, сестра Каррион, сегодня я никак не могу составить вам компанию в поединке. Видите ли, дело в том, что пальцы на моей левой ноге обиделись на меня и сбежали, чертовки этикие, а еще у меня в груди сидит блядский сиамский демон, медленно пожирающий меня изнутри и...

— Из всех пятнадцати сук, с которыми я водил недолгое знакомство, ты скулишь громче

всех, — в голосе Лжеца, едва слышимом, сквозило явственное презрение, — Это учебный поединок, а не дуэль!

Барбаросса едва не взвыла.

«Это Каррион, ты, заспиртованная глиста! Лучшая фехтовальщица во всем Броккенбурге! Каррион, которую сам Большой Круг в честь ее заслуг даровал титул Черного Солнца»!

— Едва ли за выдающийся вкус, — пробормотал Лжец, — Она одевается как гробовщик из Марклеберга...

«Будь уверен, она загнала в гроб больше народу, чем вся артиллерия твоего старика фон Лееб за все время службы!»

— Выглядит... опасно, — неохотно признал Лжец, невесть что видящий из своего мешка, — Я чувствую ее ауру. Это опасная, злая аура. Магический эфир вокруг нее шипит от резонанса. Какой спектр, только подумать... Что значит «Черное Солнце»?

«Как будто бы я знаю! Это знает, быть может, всего пять или шесть сук в Броккенбурге, старшие ведьмы, заседающие в Большом Круге, включая Веру Вариолу, но они, видишь ли, не держат передо мной отчета».

Это было правдой. Никто в Малом Замке не знал происхождения и смысла ее титула. Никто не знал, откуда у нее медные пальцы на правой руке. Никто не знал, чем она занимается целыми днями в тиши своего кабинета на самом верху башни. В сущности, подумала Барбаросса, если бы я захотела записать все, что мне известно о Каррион, сестре-батальере, мне не пришлось бы брать толстую тетрадь, как у Котейшества, достаточно было бы и клочка бумаги, которого хватило бы для самокрутки...

Барбаросса положила мешок с гомункулом в углу, осторожно, так, чтобы не звякнуло стекло. Ей нужно взять оружие. Нельзя выдавать смущения и нерешительности, Каррион чувствует их лучше, чем Котейшество — мельчайшее количество чар в окружающем воздухе. Колебание подобно смерти.

Но еще хуже, если сестра-капеллан заподозрит ее в манкировании своими занятиями по фехтованию. Это может закончиться не парой дюжин свежих кровоточащих полос на ее шкуре, это может закончиться куда как хуже. Черт. Каррион не ведает снисхождения к недостаткам окружающих. Если ей покажется, что сестра Барбаросса, ее протеже, бьется без должного усердия, она...

Запрет меня здесь, подумала Барбаросса, чувствуя, как ее костный мозг превращается в ядовитый студень, растворяющий кости. Заточит в фехтовальной зале на сутки, не ведая, что обрекает меня не на наказание, а на казнь, что запирает вместе с сидящим внутри Цинтанаккаром. К тому моменту, когда она вернется на следующий день, чтобы проведать свою нерадивую ученицу, она обнаружит ее вздернувшейся на собственном ремне в углу фехтовальной залы...

— Тебе лучше не оплошать, так?

Барбаросса была слишком занята, чтобы отвечать этому выблядку.

Она быстро пробежала взглядом по стойке с рапирами. Малый Замок никогда не располагал большим фехтовальным инвентарем, те образцы, что в нем содержались, были собраны многими поколениями предшественниц, оттого смотрелись не как тренировочный арсенал, в котором все клинки одинаково сбалансированы и выглядят сестрами-близнецами, а как груда разнородных трофеев, добытых невесть в каких боях и стычках. Разномастные гарды, клинки разного строя, эфесы самых причудливых форм... Все они были хорошо

знакомы Барбароссе, как члены не очень дружной, но большой семьи, каждая имела свое имя и характер.

Она заметила, что Каррион взяла «Стервеца» — тридцатидюймовый клинок, баланс смещен на два пальца к острию из-за облегченной рукояти, массивная гарда с литыми кольцами. Такой клинок не выбирают, когда готовятся к затяжной баталии, он тяжеловат для долгой работы, вероятно, сестра-капеллан рассчитывает на резкие быстрые атаки и соответственно этому выбрала оружие. Чтобы держаться с ней наравне, ей самой стоит взять кого-нибудь из близких родичей «Стервеца» — к примеру, «Шпору» или «Принцессу-Стерву». Можно и «Разлучницу» — та, хоть и массивнее, длиннее на два дюйма, а значит, сулит некоторое преимущество, если уметь держать дистанцию...

— Барбаросса!

— Да, сестра? — пальцы Барбароссы, коснувшиеся было «Разлучницы», дрогнули на рукояти, так и не успев сомкнуться.

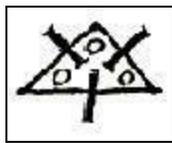
Каррион стояла в очерченном краской кругу с рапирой на плече, медные пальцы небрежно сжимали эфес. В противовес великосветским блядам, сооружающим на голове целые дворцы из покрытых лаком кос, многие фехтовальщицы коротко стригут волосы, чтоб пряди не лезли в лицо. Каррион, однако, не придерживалась ни одной из этих крайностей. Волосы она стригла коротко, но не очень, несимметричным каре, прикрывающим левую сторону ее лица почти до подбородка. Оттого Барбаросса видела лишь один ее глаз. Внимательный, холодный небесно-голубой глаз, глядящий прямо на нее. В душу — если под слоями измочаленного мяса, медленно пожираемого демоном, в самом деле еще оставалось какое-то подобие души...

— Я сказала тебе, что ты можешь пройти в круг для фехтования, Барбаросса. Но разве я говорила, что ты можешь выбрать оружие?

Где-то в груди сладострастно причмокнул губами Цинтанаккар, ощутив ее страх и беспокойство.

— Но я...

— В круг, Барбаросса.



Стоять в фехтовальном кругу без оружия в руке было непривычно и неестественно. Лишенная привычной тяжести правая рука беспомощно висела, будто плеть. Пальцы тщетно то сжимались, то разжимались, пытаясь нащупать несуществующую рукоять.

— Позисьон уно, сестра Барбаросса. Будьте любезны.

Она покорно встала в первую позицию — тело повернуто правым боком к противнику, вес выровнен строго между ног, колени почти прямые. Вооруженную правую руку полагалось выпрямить в направлении противника на уровне плеча. Барбаросса так и сделала, держа воображаемую рапиру. Паскудное ощущение — даже учитывая то, что сама Каррион принимать стойку не спешила.

Это не бой. Урок, который собиралась преподать ей Каррион, не лежал в плоскости фехтовального мастерства. Что-то другое. Барбаросса набрала воздуха в грудь, стараясь разделить внимание между рапирой Каррион, безучастно ковыряющей пол, ее ногами в старых ношенных чулках, выбивающихся из-под черных кюлот, и угловатыми плечами.

Не бой, лишь имитация.

Каррион собирается дать ей почувствовать на своей шкуре, до чего неудобно стоять безоружной против пусть и тренировочного, но клинка. Возможно, она продержит ее так все четыре минуты, прежде чем соблаговолит принять извинения и...

Рапира в руке Каррион шевельнулась. Лениво, как бы обозначая движение, а не выполняя его в полную скорость. Барбаросса даже не успела заметить того мгновения, когда показная медлительность обернулась хищной целенаправленной стремительностью, но хорошо ощутила, как клинок обжог ее предплечье. Как будто бы даже и не коснулся его, пролетел мимо, но мгновением позже по руке, от локтя к запястью, хлестнуло колючей болью, от которой рука едва не подломилась, точно сухая ветка...

Больно, сука! Больно!

Тренировочные клинки только кажутся легкими прутиками, упругая и гибкая сталь, из которой они выкованы, оставляет на теле даже сквозь ткань знатные фиолетовые полосы и узоры, получше, чем от иного батога. Орудя такой штукой, всего за полчаса можно исхлестать человека так, что он будет выглядеть словно его прогнали через шпицрутены, а нижняя рубаша после такого будет годна только на тряпки — даже если удастся отпарить заскорузлые лохмотья, в которые она превратилась, от лопнувшей спины, проку от них уже никакого...

Многие колены использовали на уроках по фехтованию подбитые ватой костюмы, но Каррион скорее собственноручно подожгла бы Малый Замок, чем позволила держать что либо подобное в фехтовальной зале.

Еще один удар — еще одна обжигающая полоса на предплечье.

— Ты не парируешь, Барбаросса.

Чем, блядь? Чем, блядь, она должна парировать свистящий клинок в руках Каррион?

Барбаросса шевельнула пустой рукой, пытаясь представить, как перехватывает невидимым лезвием рапиру Каррион, вновь замершую у пола. Нелепо, обидно и унижительно. Но если она будет двигаться достаточно быстро, возможно...

«Стервец» в руке Каррион вновь шевельнулся. В этот раз он двигался медленно — не просто плавно, а насмешливо медлительно, так опытные учителя фехтования намечают удар, чтоб бестолковый ученик сумел рассмотреть движение на всей его траектории и перехватить на середине. Барбаросса стиснула зубы, пытаясь предугадать это движение и в какой-то миг, короткий, как последний вздох повешенного, угадала его. Клинок Каррион как будто бы заходил из нижней позиции, метя ей в живот, но это было обманное движение, призванное отвести ей глаза, теперь она отчетливо видела это, дьявольски коварный финт. В последний миг перед атакой он качнется влево, чтобы потом выписать горизонтальную петлю и ужалить ее в незащищенный правый бок.

Хитро, Каррион, очень хитро, но ты не напрасно спускала с меня по сто шкур на тренировках. Сестрица Барби, может, не первая рапира Броккенбурга, но тоже кое-что смыслит в фехтовании...

Она вовремя раскусила этот коварный удар. Успела просчитать его траекторию, успела сместить вес к пяткам и сделать половину разворота корпусом, готовясь резко повернуться на каблуках, пропуская удар справа от себя...

Финта не было.

Рапира Каррион не стала делать ложных выпадов и хитрых петель. Почти дочертив до конца уже просчитанное Барбароссой движение, она вдруг дернулась на середине, едва заметно для глаза сместившись в пространстве. Может, на дюйм или два. Но это крохотное

едва уловимое движение вдруг мгновенно изменило траекторию, да так, что Барбаросса, крутанувшись, сама подставилась под него самым паршивым образом. «Стервец» впился ей в бедро, вспахав его снизу вверх почти до паха. Славный удар, хлестнуло сухо и громко, точно кто-то перетянул стальным шомполом говяжью тушу.

Барбаросса зашипела.

Больно. Очень больно. Каррион не щадила своих учениц и была всегда в полную силу. Судя по тому, как горела кожа, на ляжке осталась знатная полоса толщиной с палец. Часть роскошного узора, который обнаружится вечером, стоит лишь ей снять с себя дублет и верхнюю рубашу. Тщетно Котейшество будет смазывать эти багровые и сизые полосы зельями, пахнущими водорослями и землей, они будут напоминать о себе всю следующую неделю и невыносимо зудеть.

Если она у нее будет — эта следующая неделя...

Каррион никогда не фехтовала в какой-то определенной манере, держась единого выбранного стиля. Она легко переключалась от тяжеловесной болонской школы с ее рубленными ударами, больше приспособленными для тяжелого клинка, чем для шпаги, на французскую, легковесную, наполненную собственным темпом «шаг-удар», напоминающую вольную музыкальную рапсодию, или на неаполитанскую с ее короткими резкими движениями, почти лишенными элементов уклонения и парирования. Неприятная манера для любого противника, заставляющая его на ходу менять привычные схемы и паттерны.

Много же чести — фехтовать с безоружным...

Барбаросса взмахнула пустой рукой, обозначая удар, но Каррион не купилась на этот трюк — полоснула рапирой навстречу, да так, что чуть не отшибла ей все пальцы на руке. Второй удар — расплата за дерзость — последовал еще быстрее, ткнувшись ей в левую грудь и едва не заставив вскрикнуть от боли.

Это не было шуточной игрой. Не было легкой трепкой, которую иногда задает учитель фехтования нерадивому ученику, обидными уколами демонстрируя его несостоятельность как противника. Каррион орудовала рапирой совершенно серьезно, в полную силу, не сдерживая руки, не отсчитывая трехсекундных пауз после каждого попадания, не подавая ей никаких жестов. Серо-голубые глаза, почти скрытые густыми волосами, тусклые и холодные, как прозрачные топазы, равнодушно смотрели сквозь нее, в то время как послушный «Стервец», едва слышно поскрипывая в медных пальцах, наносил все новые и новые удары, каждый последующий еще точнее и безжалостнее предыдущего.

Это не бой, поняла Барбаросса, получив еще три ужасно зудящих полосы поперек груди и живота. Это самая настоящая порка, унижительная и позорная. Вот что приготовила для нее Каррион, вот как намеревалась вознаградить за пропущенный урок...

Ах, дьявол! Больно!

Не в силах ни контратаковать, ни парировать, Барбаросса вертелась из стороны в сторону, силясь разминуться с рапирой в руке сестры-капеллана, но собирала на себя куда больше ударов, чем пропускала. В какую бы сторону она ни повернулась, рапира Каррион мгновенно настигала ее, обжигая, чтобы через секунду, не дав даже набрать воздуха сквозь зубы, ужалить еще раз, найдя самое уязвимое место. Не поединок — чертова травля. Лучше бы уж приказала снять рубашу — и отхлестала плетью поперек спины, чем так...

Пытаясь найти противодействие этому губительному ливню из обжигающих ударов, Барбаросса старалась двигаться так, как предписывает дестреза, древнее испанское искусство фехтования. Именно дестрезу ставила во главу угла Каррион, обучая их

фехтованию, гоняя по всей зале, считая ее наиболее эффективной и универсальной школой, овладеть которой требуется в первую очередь. Сестрица Барби и думала, что овладела — до сей поры...

Дестреза требовала нарисовать под ногами умозрительный «Магический круг», он же «Круг Тибо», внутри которого требовалось перемещаться в процессе поединка. Не в диаметральных направлениях — слишком длинные и предсказуемые — а в коротких, хордовых и радиальных. Не я привязана к кругу, а круг ко мне, твердила себе Барбаросса, отмеривая короткие приставные шаги, двигаться надлежит резко, но так, чтобы цепочки резких движений сплавлялись в единое, продуманное и плавное...

Херня. Полная херня. Злосчастному Жерару Тибо, полосовавшему рапирой незадачливых учеников и, надо думать, имевшему от этого немалый стояк, ни хера не доводилось фехтовать, лишившись пальцев на левой ноге и без оружия в руках. Иеронимо Каранза наверняка не выходил на бой с голыми руками, имея против себя не свинопаса с деревянным мечом, а Черное Солнце Каррион, лучшую рапиру Броккенбурга. Альваро де ла Вега не считал каждое мгновение своей жизни, ощущая, как копошится во внутренностях крохотный голодный демон, уже повязавший себе на шею вышитую салфеточку в ожидании трапезы...

Дестреза, прославленное искусство испанских мастеров, ничуть не выручало ее. Удары Каррион сыпались градом, настигая ее на каждом шагу, в какую сторону бы она ни двигалась, а чертов «магический круг», который она мысленно нарисовала вокруг себя, увы, не служил ей защитой, больше связывая ноги, чем спасая от ударов.

Не скулить, приказала она себе, медленно отступая, пытаясь по крайней мере ловить удары на руки и чувствуя, как опухают предплечья. Каррион вознамерилась учинить тебе взбучку и, черт возьми, она своего добьется, просто держись стойко, чтобы у нее не было причин упрекнуть тебя в трусости — иначе она вытряхнет из тебя душу...

Барбаросса попыталась сделать обманный шаг вбок, чтобы выиграть себе хотя бы секунду, но «Стервец», только того и ждавший, взвился и полоснул ее по неприкрытой шее, да с такой силой, что Барбаросса, не удержавшись, вскрикнула. Точно сорок оводов одновременно ужалили ее в кадык. Сука, до чего больно...

Она вдруг ощутила, как пульсирует под ребрами Цинтанаккар. Без сомнения, он чувствовал происходящее и радовался ему, ее боль питала его, насыщая и забавляя, служа приятным аперитивом для той боли, которую он для нее заготовил. Сучья мразь... Вытащить тебя... Раскаленными щипцами... Раздавить гадину, чтоб лопнул, как застоявшийся гнойный пузырь, как...

Она шагнула в сторону, намереваясь разминуться со «Стервцом», но этот шаг оказался лишним. Мгновением позже рапира хлестнула ее по левому плечу, да так, что вся рука враз сделалась не то деревянной, не то глиняной, а от плеча до самых кончиков пальцев потекли, ветвясь и переплетаясь, огненные ручьи.

— Неверно, — спокойно и холодно произнесла Каррион, не наградив ее даже кивком, — Ты шагнула перпендикулярно удару и совершила ошибку. Твои ноги не слушаются тебя.

Мои ноги скоро сожрет тварь из Преисподней, если еще прежде они не...

Следующий удар — левая голень. Следующий удар — правое бедро. Следующий удар...

Блядский «магический круг» лопался под ногами. Заточенная в нем, точно гомункул в своей склянке, она лишь сковывала себе маневр, вновь и вновь подставляясь под удары.

Чертова дестреза не помогала, все ее принципы и правила или не работали или работали против ее самой. Напрасно она пыталась оживить в памяти заскорузлые гравюры-репродукции из «Понимания Дестрезы» де ла Вега и «Академии меча» Тибо, которые она штудировала вечерами. Все эти дуэлянты с обнаженным торсом, тщательно писанные каким-нибудь сладострастным евнухом, разили друг друга рапирами легко и изящно, в то время как она сама судорожно металась из стороны в сторону, осыпаемая ударами, не обращая внимания на боль, силясь только не упасть под натиском Каррион.

Каррион, казалось, не было нужды в фехтовальных приемах. Она двигалась не на полусогнутых ногах, как велели все известные Барбароссе фехтбуки и наставления, а на прямых, с ровной, как спица, спиной. Разила не мягкими порывистыми движениями, как приличествует мастеру клинка, а короткими, прямыми, будто бы случайными, но каждое такое движение, выглядевшее случайным, оказывалось роковым, неизбежно оканчиваясь разящим прикосновением стального лезвия.

Барбаросса попыталась сократить дистанцию до минимума, лишив «Стервеца» пространства для маневра — рапира безжалостно жалила ее короткими тычками в грудь и бедра. Барбаросса пыталась отступать, держась на длинной дистанции — рапира легко поспевала следом, полосуюя прикрытые тонкой тканью предплечья, ребра, ключицы...

— Лишний шаг. Неверно.

Барбаросса едва не взвыла, когда стальной прут чиркнул ее по колену, превратив его в один крохотный сверхплотный кокон из костей и боли.

— Нарушено равновесие. Неверно.

«Стервец» раскромсал ей левую лопатку, поймав в момент отступления, хладнокровно, как нож в руках повара кромсает куропатку, которую следует подать на обед.

— Это был «mandoble», не длинный «arrebatar»[4], ты совершенно напрасно отступила.

Подбородок. Снова левое бедро. Правый локоть. Шея.

Клинок находил ее на любой дистанции, не считаясь с расстоянием, и безжалостно разил, всякий раз едва не заставляя вскрикнуть от боли. Точно бесплотный демон, он вился вокруг нее, сам недостижимый, чтобы мгновенно впиться в нее незащищенное тело.

Херово, подумала Барбаросса, пытаясь сквозь зубы втягивать воздух, сделавшийся вдруг вязким и горячим, точно баварская похлебка на сале. Ты выдыхаешься, и чертовски стремительно. Каждая новая дыра в твоей шкуре, оставленная клинком Каррион, это пробоина, через которую выходят твои силы. Ты уже спотыкаешься, как чертова кляча, уже мечешься по своему проклятому «магическому кругу», а ведь от отмеренных четырех минут, пожалуй, не прошло и половины...

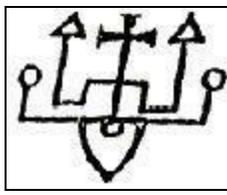
Правая ключица. Живот. Правое колено. Ягодица.

— Кажется, ты немного переоценила свои возможности, — сухо заметила Каррион, делая аккуратный выпад из нижней позиции, такой нарочитый и легко читаемый, что выглядел насмешкой, — Я бы даже сказала, оценила их непростительно высоко.

Этот удар тоже был ловушкой. Пытаясь миновать его движением против часовой стрелки, Барбаросса пропустила тот миг, когда он, скользнув мимо ее плеча, вернулся обратно страшным и хлестким ударом под лопатку.

Не поединок. Не игра. Не проверка.

Сухая бесстрастная экзекуция. Хладнокровная, выдержанная, методичная.



— Твои ноги напоминают мне ноги конюха, Барбаросса. А твое чувство клинка не заслуживает даже снисхождения. Первая же дуэль, в которой ты будешь участвовать, продлится приблизительно четыре секунды. А после тебя закопают где-нибудь на окраине.

Цинтанаккар трепетал от возбуждения, ощущая все новые и новые обжигающие прикосновения рапиры. Барбаросса ощущала, как он ворчит, сидя в ее груди, как втягивает в себя тончайшие ароматы ее боли, проникнутые осознание собственной беспомощности. Настоящее пиршество для его демонической душонки.

— Восемь месяцев, — рапира в руках Каррион, только что бывшая где-то очень далеко, вдруг оказалась в трех дюймах от лица Барбароссы, по-змеиному хищно уставившись точно меж глаз, — Ты знаешь, что это значит?

Да, подумала Барбаросса, ощущая, как дыхание выскальзывает из груди, сделавшейся пустой, точно пивной бочонок. Да, знаю.

— Да, я...

Лезвие рапиры чиркнуло ее по лбу, разорвав кожу. Лоб обожгло так, точно это она, а не тупая сучка Холера напаялила на себя диадему из обжигающего серебра...

Тускло-голубые глаза Каррион моргнули. Кажется, впервые за все время поединка.

— Это значит, ты будешь хранительницей чести своего ковена. Это значит, ты будешь взыскивать кровью за оскорбления, которые причинили твоим сестрам, и неважно, кто это будет, простой смертный, обер или последний из круппелей. Но как ты будешь защищать честь «Сучьей Баталии», если ты бессильна защитить свою собственную? Взгляни на себя, сестра Барбаросса. Ты разеваешь рот, как рыба. Ты поскальзываешься. Ты тратишь свои силы. Ты выглядишь никчемной и жалкой.

Барбаросса, оскалившись, отмахнулась от жужжавшей напротив лица рапиры, точно это была досадливая муха, вьющаяся над трактирным столом. Она останется на ногах. Сколько бы раз «Стервец» не язвил ее, оставляя истекающие кровью зарубки, она не попросит пощады. Будет стоять, пока не...

Медные пальцы Каррион едва слышно скрипнули на рукояти.

— Ты ловко управляешься с кулаками, этого у тебя не отнять. Но через восемь месяцев тебе придется спрятать твои кастеты в сундук для игрушек и взяться за настоящее оружие ведьмы. Чего ты будешь стоять с рапирой в руках?

Укол в бедро заставил Барбароссу потерять равновесие, а неловкий отход стоил еще двух адски саднящих укусов — в шею и грудь. Во имя всех демонов Преисподней, этот поединок должен был длиться четыре минуты, но длился, кажется, уже второй час. Еще минута — и она осядет грудой скулящего от боли мяса прямо на опилки. А может, лишится глаза, если Каррион подумает, что урок был недостаточно нагляден. Защищать честь ковена можно и с одним глазом, не так ли?..

Кажется, Лжец что-то бормотал ей на ухо, но она не разобрала, что. Едва ли это было утешением, милосердия в этом выbledке было не больше, чем в уличной крысе. Да ей и не требовались утешения, ей требовалось что-то, способное унять жгучую боль во всем теле — в тех местах, где ее доставала безжалостная рапира Каррион.

Барбаросса попыталась сделать резкий шаг в сторону, чтобы выиграть себе хотя бы

секунду, но получила такой тычок под колено, что охнула в голос, а ногу, казалось, ожгло колючим трещащим пламенем, едва не оторвав напрочь.

— У «батальерки» может быть много грехов, — спокойно обронила Каррион, наблюдая за тем, как Барбаросса, рыча от боли, пытается отступить на негнущейся ноге, — Адские сеньоры охотно пестуют наши грехи, забавляясь ими, нарочно дают им плодородную почву. «Батальерка» может быть похотливой, скупой, трусливой, алчной... Все это не смертельно, если все это не мешает ей выполнять ее долг перед сестрами. Но среди всех грехов, которыми испытывает нас Броккенбург, есть один смертельно опасный...

Рапира загудела. Двигаясь по нисходящей траектории, она должна была зацепить ее за локоть. Ловкий удар и нанесен быстро, но очень уж явственный. Обманка. Это должна быть обманка. Каррион ждет, что она попытается отклониться влево и тут ее настигнет настоящий удар — длинный, с протяжкой, через весь корпус.

Нельзя отклоняться влево. Нельзя быть предсказуемой. Прикрыв локтем живот, Барбаросса сделала полшага назад и влево. Этот шаг выиграл ей три дюйма, критическое расстояние, которого не хватило рапире Каррион. Ей придется шагнуть, чтобы вернуть себе привычную дистанцию, и только потом, развернув клинок...

Она так и не успела понять, где сделала ошибку. Возможно, в этом ударе была не одна обманка, как она решила, а две. Возможно, адский сеньор, владеющий душой Каррион, позволял ей нарушать все мыслимые законы бытия во время боя. Возможно, сестра-капеллан просто оказалась быстрее, чем она могла предполагать.

— Твой грех — это самонадеянность, сестра Барбаросса.

Удар был нанесен не лезвием. Вспорхнув из ниоткуда, «Стервец» саданул ее тяжелым литым навершием прямо в челюсть, на миг осветив фехтовальную залу гнилостным зеленым свечением. Удар не казался тяжеловесным, но от него все ее тело мгновенно налилось влажной тяжестью, точно обратившись в куль отсыревшей муки.

Все вокруг мягко поплыло, у предметов обнаружились двойные контуры.

Голос Лжеца, бубнящего что-то ей на ухо, стал озабоченным.

Барбаросса попыталась отступить, но ее ноги сделались слоновьими — тяжелыми, непослушными, спотыкающимися друг о друга. Силясь совладать с ними, Барбаросса попятилась и ощутила, что тело само оседает, больше не спрашиваясь ее приказов.

Следующее мгновение будто выключили из ее жизни. Точно она смотрела пьесу по оккулусу, из которой демон из озорства вырезал крохотный кусочек. Падения не было, она не почувствовала ни сотрясения, ни удара, но почувствовала острое прикосновение опилок к щеке. И только тогда поняла, что лежит навзничь, упираясь дрожащими руками в пол фехтовальной залы.

Каррион некоторое время молча наблюдала за ней, стоя на месте. Молчаливая, вытянувшаяся во весь рост, облаченная в строгую черную униформу «Сучьей Баталии», она выглядела как замок «Флактурм» на рассвете осеннего дня. Ее глаза, кажущиеся то серыми, то голубыми, походили на две холодные звезды, мерцающие на рассвете над горизонтом.

— Из-за своей самонадеянности ты можешь подвести не только саму себя, но и своих сестер. А самое главное... Самое главное, из-за нее ты забудешь главную заповедь Броккенбурга, которой учатся годами.

Каррион склонилась над распростертой Барбароссой, протягивая ей руку. Правую, с тусклыми медными пальцами, в которой уже не было оружия.

Это урок, подумала Барбаросса обессиленно, не в силах испытать облегчение. Вот в чем

был урок старшей сестры. Вот, что хотела вложить в твою ошалевшую голову мудрая сестра-капеллан. Какова бы ни была боль, заставляющая тебя чувствовать себя беспомощной, всегда найдется та, кто протянет тебе руку. Даже в этой змеиной яме, полнящейся дрянью со всех концов империи, служащей сточной канавой для всех ее пороков.

Барбаросса улыбнулась, все еще ощущая пылающую черту поперек лба.

У нее есть наставница. Старшая сестра. Человек, который может причинить боль, но может и спасти. Столкнувшись с бедой, она не замечала этого — сама заставила себя не замечать. Слишком уж привыкла видеть подвох во всем, что ее окружает.

Она попыталась протянуть руку, чтобы коснуться медных пальцев Каррион, тянущихся к ней, но не успела. Замерла, обожженная прикосновением ее холодных глаз — не то серых, не то голубых.

— Всегда помни главную заповедь Броккенбурга. В этом городе каждая сука, пытающаяся тебе помочь, на самом деле желает твоей смерти.

Удар медными пальцами в лицо был страшен, даром что без замаха. Барбаросса рухнула ничком, плотая кровь, ощущая свинцовую гибельную тяжесть, растекающуюся по телу. От этого удара она должна была провалиться прямиком в Преисподнюю с разможенным черепом, но, кажется, в последний миг умудрилась вцепиться в край распахнувшейся под ней пропасти и удержаться на нем.

Возле ее лица, у самого уха сухо треснули опилки. Это был плевок Каррион, шлепнувшийся в дюйме от ее лица. Некоторое время сестра-капеллан молча стояла над ней, разглядывая, потом тяжело повернулась к выходу, прихрамывая на правую ногу. «Стервец» коротко и покорно звякнул, занимая свое обычное место в стойке для тренировочных рапир.

— Следующее занятие завтра в три пополудни, — сухо произнесла Каррион на прощание, — Потрудись запомнить. А если не можешь, запиши себе или заведи чертового гомункула.

Ей перепало даже серьезнее, чем она полагала.

Потребовалось порядочно времени, прежде чем распластанная на полу фехтовальной залы туша вновь стала ощущаться ее собственным телом, а не учебным пособием, соломенным чучелом, на котором часами упражнялись в фехтовании, нанося удары. Чучелом, в которое силы Ады из свойственной им злокозненности влили жизнь — и теперь эта жизнь мучительно копошилась в нем, пробуждая боль в каждом члене, каждом суставе, каждой судорожно бьющейся жилке.

— Ты выглядишь как кусок мяса из лавки мясника, — пробормотал Лжец, — Осталось только sprysнуть уксусом, чтобы отбить несвежий запах, и украсить веточкой розмарина. Собираешься подниматься?

Наверно, она в самом деле выглядела паскудно, потому что он в этот раз обошелся без язвительности. Или, по крайней мере, порядком снизил ее градус, чтоб не обжечь свежие рубцы.

— Зачем? — Барбаросса не без труда открыла рот, но больше для того, чтобы набрать воздуха, слова приходилось выдавливать из себя, — Я планирую полежать здесь, ожидая фею-крестную, которая соберет меня на бал.

— Бал!.. — фыркнул Лжец, не сдержавшись, — Ты выглядишь слишком жутко даже для того, чтобы принять участие в свальной оргии посреди Гугенотского Квартала. Что на счет феи-крестной... Думаю, Цинтанаккар будет счастлив заняться тобой. Очередной час истекает, Барби. Если ты не заставишь себя подняться на ноги, можешь попрощаться с

каким-нибудь кусочком, который привыкла считать своей частью. У тебя есть части тела, с которыми ты согласилась бы расстаться?

— Голова... — пробормотала Барбаросса, тяжело отдуваясь, — Пусть использует ее вместо ночного горшка. Он может забрать ее когда заблагорассудится. Мне от этой штуки все равно никакой пользы. Я самая тупая ведьма в Броккенбурге...

Лжец одобрительно фыркнул.

— Считай, ты только что заработала на свой счет несколько очков, попытка номер пятнадцать.

— Я думала, ты опять назовешь меня юной ведьмой.

В прорехе стоящего у порога мешка она обнаружила крохотную дыру, за которой виднелся темный, как маслина, немигающий глаз Лжеца.

— Ты юна как для ведьмы, Барби. Но для куска бифштекса, на который ты сейчас больше похоже, это уже солидный возраст. Поднимайся, черт возьми. Нас ждут дела. Но если хочешь...

Пауза была вкрадчивой, как приглашающее движение клинка.

— Да?

Глаз Лжеца, глядящий на нее через отверстие в мешке, на миг затуманился, превратившись в подобие пруда темной беззвездной ночью.

— Если хочешь, я помогу тебе поквитаться с Каррион, едва только мы разделаемся с Цинтанаккаром.

— Поквитаться с Каррион? — Барбаросса фыркнула, пытаясь избавиться от мысли о том, что ее живот сейчас похож на лопнувший барабан, — Как, интересно? Одолеешь ее в поединке, использовав вилку для устриц? Разобьешь ее любимую чашку?

Лжец не усмехнулся, хотя момент для этого был как раз подходящий.

— Нет, — спокойно заметил он, — Есть и другие способы. Я не тешу себя мыслью о том, что мне дано соперничать с ведьмами из «Общества Цикуты Благостной», которых вы кличете «флористками», первыми отравительницами в Броккенбурге, но мне пришлось на протяжении четырех месяцев служить в одной из аптек Нижнего Миттельштадта. Ты даже не представляешь, до чего легко из самых непримечательных вещей соорудить зелье, которому позавидует сам Пино Орделаффи[5].

Барбаросса дернулась, но не по своей воле. Где-то в глубине груди кровотокающего мяса, служившей ей телом, обнаружился нерв, который оброненные Лжецом слова стегнули, точно пронзив адской энергией.

— Отравить Каррион? Иди ты нахер, чертова опухоль в бутылке, — пробормотала она, — У меня и в мыслях такого не было!

— Восемь месяцев — долгий срок, — вкрадчиво заметил гомункул, — Не боишься, что она сживет тебя со света, с такой-то муштрой?

Барбаросса стиснула зубы.

— Каррион — следующая хозяйка «Сучьей Баталии». А я — ее будущая правая рука, сестра-капеллан, заруби это себе на той язве, которую считаешь носом. Если она не доживет до следующей Вальпургиевой Ночи, хозяйкой ковена станет Гаста. И вся моя жизнь будет стоять не больше, чем гнилая лошадиная шкура в ярмарочный день — три с половиной гроша...

— Почему именно Гаста?

Из груди Барбароссы вырвался резкий болезненный смешок, отдавшийся скрежетом по

всему телу.

— Черт! Ты корчишь из себя мудрого слизняка, а сам, выходит, ни хрена не знаешь о ведьминских ковенах и их славных традициях, так?

Гомункул скривился. Так по-человечески, словно годами отработывал эту гримасу перед зеркалом или в отражении собственной темницы.

— Мы, знаешь ли, не чемпионы по долголетию, — проворчал он, — Самый старый гомункул, которого я знал, прожил на свете двенадцать лет. Думаешь, у нас в запасе прорва времени, которую мы можем уделить изучению традиций малолетних шлюх и их никчемных банд?..

Наверно, ей стоило почувствовать себя уязвленной — существо размером с запущенную раковую опухоль может и считало себя записным мудрецом, но не имело никакого права так говорить о ведьмах и почтенных, охраняемых многовековыми традициями Броккенбурга, ковенах. Но это чертовски непросто сделать, когда твое тело — всхлипывающая груда искромсанного, изнывающего от боли мяса. Нет, она определенно не ощущала себя уязвленной.

— Херов таракан! — пробормотала она, делая осторожную попытку встать, — Некоторые из этих банд ровесники Броккенбурга. Им по триста лет и ты ни хера не представляешь, насколько они поросли изнутри тем дерьмом, которое называется добрыми ведьминскими традициями!

Исполосованное тело почти слиплось с полом. Отдирать его приходилось с превеликим трудом, получая в награду все новые и новые порции боли, которые приходилось глотать, сцепив зубы, точно дешевое скверное вино. Охеренно приятное занятие, особенно под взглядом плящущего на тебя гомункула.

— Ковен — это тебе не собачья свора, — тяжело и отчетливо произнесла Барбаросса, пытаясь упереться локтями в пол, чтоб обрести опору, — Здесь все устроено на трижды блядских традициях, которые поросли ржавчиной сильнее, чем промежности «униаток».

— Я знаю, — заверил ее гомункул, с интересом наблюдавший за ее попытками, — Но если ты считаешь, что эти традиции являют собой что-то новое на белом свете, то жестоко себе льстишь. Насколько мне известно, славные броккенбургские традиции — не более чем обрывки кодексов чести гейдельбергских студенческих корпораций и разбойничьих банд Шварцвальда, умело сшитые воедино и сдобренные щепоткой старого доброго садизма. Единственное их предназначение — держать в узде младших и не давать старшим пускать друг другу кровь чаще, чем они могут себе это позволить. Но ты права, я никогда не шгудировал нюансы и знаком с ними лишь поверхностно. Значит, хозяйкой «Сучьей Баталии» может стать или Гаста или Каррион? И никто кроме?

Барбаросса неохотно кивнула. Ей удалось опереться на локти, но те пока отказывались держать вес тела, использовать их в качестве упора было не проще, чем водружать тяжело набитый окованный железом сундук на пару сухих спичек. Тело справится. Ему приходилось и хуже — много хуже. Просто надо пара минут, чтоб перевести дух...

— Хозяйкой ковена может быть только ведьма пятого круга. Она — старшая сестра, владелица ковена, его чести и его добра, блядская герцогиня над всеми тринадцатью душами. Власть ее длится год, от одной Вальпургиевой ночи до другой. Когда срок подходит к концу, она назначает одну из «четверок» своей преемницей. Той, кто станет хозяйкой ковена на следующий год, после нее.

— Но если в ковене несколько ведьм четвертого круга... Ах, вот оно что.

Барбаросса презрительно фыркнула.

— Ты такой великий мудрец, что не считаешь и кошек на заборе, Лжец. Только сейчас дошло?

— Извечный вопрос престолонаследия, — гомункул хихикнул, — Иногда мне кажется, он свел в могилу больше хорошеньких крошек, чем оспа, чума и забавы адских владык.

— Даже не можешь себе представить, сколько, — мрачно обронила Барбаросса, — Иначе сообразил бы, что апрель в Броккенбурге не случайно называется «Фридхофсмонат» — «Кладбищенский месяц». В этом месяце отравители сбывают свой годовой запас ядов, все суки в этом городе звенят из-за надетых под дублеты кольчуг, а цены на «Файгеваффе» взлетают самое меньшее втрое.

— Это-то я знаю, — отозвался гомункул, — я живу на кофейном столике в гостиной, а не в Аннаберг-Бухольц! Значит, если к следующей Вальпургиевой ночи остается несколько «четверок», они...

Барбаросса осторожно кивнула. Больше чтобы проверить, не хрустнут ли от этого движения позвонки. Но как будто не хрустнули.

— Да. Иногда они могут договориться, если среди них много осторожных сук, не рвущихся к власти, или есть старшая сука, которую они все боятся. Но чаще всего — грызут друг дружку насмерть, как крысы в бочке, пока не останется одна. Та, которой суждено стать королевой, — Барбаросса зло усмехнулась, — Она вытирает с лапок кровь, припудривает личико и первым делом объявляет набор в ковен свежих душ, чтобы восполнить потери. Знаешь, некоторые ковенны переживали Вальпургиеву ночь, сокращаясь при этом в два раза! Я прожила в Броккенбурге два «Кладбищенских месяца», два чертовых апреля, но при мысли о третьем мне становится не по себе, Лжец. Паскудное зрелище. Скверное.

— Не сомневаюсь, — отозвался гомункул, — Но наверняка и поучительное при этом. Ах, могу себе это представить... Вчерашние подружки, четыре года спасавшие друг другу жизни, остервенело бьют друг друга столовыми ножами прямо за обеденным столом... Вчерашние любовницы, чьи лица еще согреты дыханием друг друга, причащаются отравленным вином, не ведая, что обе скоро погибнут...

Барбаросса со скрежетом зубов оторвала тело от пола. Это оказалось чертовски непростой работой, тело хоть и казалось разбитым до полувязкого состояния, весило что грузовой аутоваген и даже удерживать его на весу было непросто. Ничего, крошка Барби упорна и настойчива. Она полежит еще полминутки, снова вздохнет и снова упрется руками...

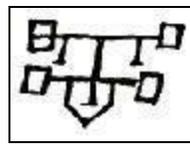
— Охеренно поучительное, — пробормотала она, позволив телу вновь расслабиться, — Зато май здесь зовется «Месяц поднятых хвостов». Юные суки, вылезшие из Шабаша после первого года обучения, перепачканные в крови и дерьме, ищут себе новый дом — и броккенбургские ковенны распахивают ворота им навстречу. Все ходят с поднятыми хвостами, как мартовские кошки, и тщательно вынюхивают друг у друга промежности...

Гомункул поерзал в бутылке — точь-в-точь гладкий плод, нетерпеливо ерзающий в чересчур тесной для него скорлупе.

— Отчего бы хозяйке ковена загодя не называть преемницу? Это поможет избежать многих хлопот, не так ли?

Барбаросса усмехнулась. Больше для того, чтобы проверить, сочтется ли изо рта еще кровь.

— А ты еще более жесток, чем хочешь казаться, пряничный человечек.



— Что ты имеешь в виду?

— Казус Кибелы. Никогда не слышал про него?

Гомункул поморщился.

— Не доводилось.

— «Камарилья Проклятых» сочинила про него миннезанг о сорока куплетах. Правда, по делу там были лишь первые восемь, все остальные перечисляли, кто и в каких позах будет драть бедняжку Кибелу в адских чертогах, когда ее обожженная душа шлепнется наконец вниз...

— У меня всегда находились более важные вещи для изучения, чем истории малолетних разбойниц, живописующие их жалкие подвиги и никчемные свершения. Истории, которые им самим обыкновенно кажутся образчиком изящной словесности.

Барбаросса сплюнула на пол и осталась довольна результатом. Крови еще было порядком, но она уже начала сворачиваться и темнеть, превращаясь в сгустки. Едва ли крошка Барби нынче вечером будет отплясывать гавот на балу, но, по крайней мере, сможет худо-бедно передвигаться на своих двоих — уже неплохо. Многие суки на ее месте, отведав рапиры Каррион, еще два-три дня лежали бы пластом, прося пить и ничего более. Спасибо адским владыкам за живучую, как у собаки, шкуру, и родному Кверфурту — за каменную от рождения голову...

— Кто такая Кибела?

— Ведьма, — неохотно отозвалась она, — Одна сука из ковена «Нецелованные». Жила в Броккенбурге лет сорок назад, а может, больше. Толковая прощандовка, если верить слухам. Не великого дара, но бесстрашная как сам Сатана. С одним ножом могла выйти против трех сук с клинками — и гнать их, как чертовых куриц. А если сама брала в руки рапиру, ее обидчицы, говорят, сами готовы были вспороть себе горло. Такая за ней слава ходила.

— Прелесть, что за девушка, — кисло обронил Лжец, — Почти уверен, ты не перечислила всех ее достоинств. Наверняка, она прекрасно вышивала шелком, играла на лютне и танцевала контрданс. Превосходная партия для какого-нибудь мелкого барона — чтоб штопала ему чулки, следила за хозяйством и вычесывала вшей из его париков...

Барбаросса пропустила его слова мимо ушей. Ей надо было найти силы и подняться, а для этого собственный размеренный голос подходил лучше всего. Кроме того, это помогало ей правильно дышать, насыщая кровь воздухом.

— У Кибелы не было врагов. Тех, которые были, она успела перебить в первые три года, а новые не спешили заводиться. Что там, даже когда на улице ее встречали «воронейшества», «бартиантки» или «волчицы», спешили первыми снять шапки — при том, что «Нецелованные» никогда не считался старшим ковенем и не входил в Большой Круг. Нет, у нее не было врагов. Но было семь сестер-одногодок.

— Сразу семь? Любопытно. Я думал, распределение Гаусса...

Барбаросса не знала, кто таков Гаусс, в чьей свите состоит и каким владыкам присягнул, но сейчас это и не имело значения.

— Большая дружная семья, — она коротко выдохнула, приподнимаясь на локтях. Тело трещало и шаталось, будто было сделано из обмазанных глиной ивовых прутьев, но, по

крайней мере, выполняло ее приказы, — Так иногда бывает, когда ковен лишается в вендетте сразу большого количества сестер и спешит восполнить их ряды. Представь себе — восемь «четверок» под одной крышей! Пока они были «двойками» и «тройками», проблем не было. Напротив, они прикрывали друг друга, как только можно, грудью готовы были заслонить от удара. Самые преданные шалавы на свете.

— А после они стали «четверками», — резко вставил гомункул, — И вся их сестринская любовь испарилась без следа, так?

Барбаросса едко усмехнулась, чтобы не зашипеть от боли.

— Ты быстро разбираешься в благословенных традициях Броккенбурга, Лжец. Они были соратницами, но только пока действовали сообща. Но каждая из них в глубине души была уверена, что «Нецелованные» смогут вырасти лишь под ее заботливым руководством и ни под чьим кроме. Понимая, что дело может принять дурной оборот, тогдашняя хозяйка ковена приняла мудрое решение. Ну или ей тогда показалось, что мудрое. Задолго до положенного срока объявила Кибелу своей преемницей. Видно, хорошо понимала, что восемь сук, если взъедятся друг на друга, разнесут весь замок по кирпичику...

— Она сделала ее мишенью для всех прочих?

— Да. С этого момента ее жизнь превратилась в кромешный ад, а замок, в котором квартировали «Нецелованные» — в херов смертельно-опасный лабиринт. В какую сторону бы она ни повернулась, она слышала шелест выползающего из потайных ножен ножа. В какую бы сторону ни направилась, ощущала на себе недобрый взгляд сразу нескольких пар глаз. Она перестала пить и есть в своем доме. Говорят, если ей приходилось взять в руки стакан с вином, уже через четверть часа оно оказывалось отравлено по меньшей мере пятью разными ядами. Она почти перестала спать — в каждом скрипе половиц ей мерещились шаги убийцы. Она держала под рукой три дюжины зачарованных амулетов — от сглаза, от порчи, от проклятья — и еще столько же хитроумных оберегов от демонов, которых на нее насылали больше, чем мошкары с болота.

— Милые девочки, — сухо обронил Лжец, но больше ничего не добавил.

— Даже в собственном замке, Кибела вынуждена была ночевать в погребе на гряде картошки. Днем и ночью она носила под дублетом двойную кольчугу и, кроме того, всегда таскала парочку пистолетов. По замку она двигалась лишь прикасаясь спиной к стене — только так она могла защитить себя от удара в спину, а в последние дни почти не могла дышать — ей казалось, что сестры насылают на нее какие-то едкие миазмы через щели...

— Судя по тому, что казус назвали ее именем, она нашла способ разрешить ситуацию?

Да, — Барбаросса кивнула, — Нашла. Одной прекрасной ночью, когда сестры спали в своих постельках, умаявших сжить ее со свету, Кибела разбила бочонок с ламповым маслом, обошла весь замок, щедро поливая притолоки и стены, а после заложила дверь засовом и чиркнула огнем.

Лжец некоторое время молчал, будто бы что-то переваривая, потом цокнул языком. Еще один звук, который наверняка невозможно было издать с его примитивным устройством рта, но который у него все-таки выходил, и выходил естественно.

— Казус Кибелы, значит?

— Да. Все «Нецелованные» погибли в ту ночь — изжарились в собственном замке, как караси в печи. Говорят... — она нерешительно замолкла, не прекращая напрягать мышцы живота.

— Да?

— Ее душу видят изредка в Аду. Ее тело — огромный скелет размером с башню, сухожилиями которому служит колючая проволока, сто сорок центнеров[6] жженой кости и слепой ярости. Выжженные ее глазницы источают едкую ртуть, потому она не видит ничего вокруг себя, но отчаянно ищет. Ищет уже сорок лет и не намерена останавливаться. Она ищет души семерых своих любимых сестер, но никто не знает делать, что она станет с ними делать, когда наконец найдет...

Барбароссе удалось ценой невероятного напряжения сесть на корточки. Измочаленный кусок мяса, служивший ей телом, сопротивлялся каждому движению, но она знала, что рано или поздно принудит его выполнять ее волю. Черт, Каррион славно обработала ее. Сегодня крошке Барби перепало столько, что хватило бы на четверых. С другой стороны...

Уж лучше так, подумала Барбаросса, отчаянно скрипя зубами, чтобы не застонать. Она всего лишь избилась до полусмерти, Предпочла выбить соплю из не в меру зарвавшейся суки, а не запереть ее, к примеру, в фехтовальной зале до утра...

— Резня, — с отвращением произнес Лжец, покачав своей раздутой головой, — Кажется, в Броккенбурге это излюбленный способ решать все возможные вопросы. Есть хоть что-то, что вы умеете делать не прибегая к ней?

Барбаросса решила не говорить сморщенной козявке, что старшие колены, подавая пример младшим, давно отказались от поножовщины, считая ее недостойным ведьмы способом выяснения серьезности притязаний на титул хозяйки. Правда, каждый из коленов выбрал для этого свой способ, не оскорбляющий его собственных традиций и правил чести, но который мог бы показаться в высшей степени странным для всех прочих.

«Воронессь», по слухам, в канун Вальпургиевой ночи отправляют всех претенденток на вороний престол на самую верхушку «Флакстурма», которую не разглядеть в ядовитой дымке Броккенбурга даже в ясную погоду. Там, на умопомрачительной высоте, где воздух такой холодный и едкий, что разъедает легкие, они усаживаются на узкий каменный карниз и сидят, глядя в лицо друг другу. Рано или поздно слабые замерзают насмерть или засыпают, падая вниз с головокружительной высоты, расшибаясь в лепешку. Чертово воронье пиршество, нелепое, но обставленное с толикой того безумия, которое создало «Вороньей Партии» ее веками поддерживаемую репутацию.

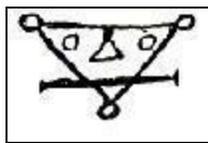
Куда изящнее поступают «цветочницы» из «Общества Цикуты Благостной». Поднаторевшие в создании самых удивительных зелий и декоктов, они обставляют ритуал смены власти с той же изощренностью, с которой готовят свои знаменитые яды. Ставят на алтарь кубки по числу претенденток, которые наполняют варевом собственного приготовления. Во всех кубках кроме одного содержится отрава, такая смертоносная, что против нее не поможет даже безоар, ведущая к мучительной и страшной смерти. Красивая традиция. Никчемная, но красивая.

«Униатки» и вовсе обходятся без всяких ритуалов. Холодные, как камни, безэмоциональные и сухие, как человекоподобные насекомые, они тратят годы, чтобы изжить из своей души все человеческое, а тело загрубить, превратив в идеально сработанный и отбалансированный инструмент. Они выше борьбы за власть, как выше многих других вещей, таких как амбиции, личные побуждения или соперничество. Никто толком не знает, как они выбирают свою хозяйку, может, попросту тянут соломинку — по крайней мере, в Брокке ходили и такие слухи.

Единственным коленом, который не собирался отказываться от старых добрых традиций кровопускания, был «Вольфсангель». Издавна возвращающий своих дочерей как

цепных сук, он не препятствовал им решать вопрос старшинства так, как это было при жизни их прапрапрабабок. Правда, и поединок проходил не вполне в духе дуэльного кодекса, принятого в Броккенбурге. Претенденток на роль верховной сучки попросту запирали безоружными в глухой зале в подвале «Цвингера». Лишенные привычных им ножей, они вынуждены были рвать друг друга как дикие звери, зубами и пальцами. Неудивительно, что все хозяйки «Вольфсангеля» на памяти Барбароссы выглядели так, будто их терзала свора голодных демонов. Что ж, жестоко, грубо — но в полном соответствии с теми нравами, что царят в «Вольфсангеле». Едва ли они стали бы состязаться друг с другом в искусстве вышивания по шелку...

Интересно, как принято выбирать новую хозяйку в «Ордене Анжель де ля Барт»? Должно быть, претендентки отлизывают друг дружку до тех пор, пока одна из них не захлебнется, подумала Барбаросса с мысленным смешком, черт, надо было спросить Кузину, когда была возможность...



— Значит, Каррион и Гаста рано или поздно скрестят мечи? — уточнил Лжец, чертя несформировавшейся культей на стекле банки какие-то одному ему ведомые знаки.

Барбаросса фыркнула, едва лишь представив этот поединок.

— Если и скрестят, ровно через три секунды рыжая сука лишится обоих рук и головы. Черт, хорошо бы это увидеть, но нет. Гаста хитра как столетний демон, она нипочем не станет подставлять свою шею под рапиру Каррион. Она попытается взять хитростью. Использует яд, удавку или нож в потайных ножнах. Может, еще какую-нибудь дрянь...

— У нее есть право не вступать в противостояние?

— Есть, — Барбаросса кивнула, собираясь с духом, чтобы подняться на ноги, — Никто не заставляет сестру претендовать на хозяйский трон. Вот только...

— Что?

— Через пару месяцев, она, верно, сама удавится в подвале.

— Отчего это?

Барбаросса вздохнула. Она и забыла, что многие вещи, очевидные для ведьмы, для обитателя кофейного столика такие же смутные и противоречивые, как для нее самой — ритуалы в адских чертогах.

— Жизнь «пятерки» в ковене не назовешь сладкой, — неохотно ответила она, — Ей уже не по чину быть сестрой-капелланом или сестрой-кастеляном. Если она не заняла кресло главной суки, все прочие будут смотреть на нее как на...

— На кусок дерьма?

Барбаросса кивнула.

— Ей будут улыбаться в лицо, может даже, приподнимать шляпу при встрече, ее будут звать старшей сестрой, но... Вторая «пятерка» в ковене — это как второй хвост у катцендруга. Ее никогда не будут уважать младшие сестры и прочие суки. Ее приказы будут выполняться, но так вяло и пренебрежительно, что она и отдавать-то их лишний раз не захочет. Вся ее жизнь превратится хрен знает, во что. Ни обязанностей, ни почета, ни уважения, одни только кривые улыбочки в спину да почти не скрывающиеся смешки. Ничего удивительного, что такие долго не выдерживают. Сбегают из ковена и пытаются жить своим умом.

— Вот только... — Лжецу удалось произнести это с ее собственной интонацией, вышло так похоже, что Барбаросса невольно улыбнулась, невзирая на боль.

— Вот только паршивая это жизнь. Ведьму пятого круга не примет ни один ковен, даже «дикий» — кому охота с такой связываться? Ее не примет Шабаш — тамошние матриархи охотно пожирают таких, вымещая на них всю свою злость. Вот и выходит, что ничего у них толком не остается. Ни своего угла, ни семьи, ни сестер. Мало того, ковен, который они покинули, часто не против испить их крови — бегство от сестер все еще считается в Брокке одним из самых тягчайших грехов.

— Значит, вот как... — пробормотал Лжец, рассеянно водя культей по стеклу, — Я был прав, человек, который создавал все эти традиции и правила — больной на всю голову ублюдок, помышляющий только о том, как бы истребить побольше юных сук, а выживших повязать кровью и сделаться примитивными хищницами.

Барбароссу это задело. Не так сильно, как рапира Каррион, но тоже болезненно.

— Ну конечно! — зло бросила она, все еще стоя на коленях, — Куда лучше прислуживать выжившему из ума старикашке с его ручным демоном...

— И сейчас ты лелеешь надежду на то, что в следующий год Каррион сживет со света Гасту и сама сделается хозяйкой «Сучьей Баталии», — для обладателя раздувшейся головы Лжец на удивление легко совершил вполне человеческий кивок, — А ты, надо думать, сделаешься при Каррион сестрой-капелланом. Уже сама станешь избивать младших сестер в фехтовальной зале, полосую их до мяса.

Хитрый ублюдок. Барбаросса принялась растирать ноги, пытаясь быстрее вернуть им силы. Вот о чем ей ни в коем случае нельзя забывать, пока она не выкрутилась из этой истории — похожая на изуродованного младенца тварь в банке — хитрый ублюдок. Может, он и не читает ее мысли, но необычайно внимательно изучает все исходящие от нее сигналы, легко толкуя их и обращая в свою пользу. На редкость наблюдательный и хитрый сукин сын.

— Думаешь, из меня не получится сестра-капеллан, Лжец?

Гомункул внимательно изучил ее — точно видел впервые.

— Напротив, — кратко отозвался он, — Вполне вероятно, что получится, и отменная. Вот только...

— Что?

В улыбке гомункула было что-то от акулы, даром, что он не мог похвастаться ни одним зубом.

— Шахматы требуют от игрока просчитывать позицию на доске на несколько ходов вперед, но ведь и фехтовальное искусство требует того же. Уверен, даже ты, не выделяясь великим умом на фоне своих сестер, просчитала ее не только на один год вперед, но и на два.

Барбаросса напряглась. Черт, как будто у нее сегодня была возможность расслабиться...

— Что ты хочешь сказать, бородавка?

— Не делай вид, будто не понимаешь, о чем я говорю, — Лжец поморщился, — В твоём ковене семь сестер третьего круга, твоих ровесниц. Это означает, что через год у тебя будет семь соперниц, каждая из которых вполне может стать хозяйкой «Сучьей Баталии», потеснив тебя.

— Херня! — мгновенно вырвалось у нее, — Я...

— Хочешь сказать, ты никогда не задумывалась о том, чтобы стать хозяйкой ковена?

— Дьявол! Этого мне не доставало — подтирать сопли двенадцати сукам!

— Быть хозяйкой ковена — тяжелая, сложная работа, — голос гомункула сделался вкрадчивым, похожим на негромкий шорох, что иногда доносится из углов, стоит лишь потушить свет, — Но ты сама прекрасно знаешь, что у тебя есть все необходимые данные для этого. Ты уверена в себе, не терпишь слабости и готова грызть противника зубами. Не лучшие черты для особы, желающей войти в высшее общество и шеголять на балах, но весьма полезные для того, кто желает продолжить славные традиции «Сучьей Баталии». Если в следующем году ты сделаешься сестрой-капелланом, у тебя открываются заманчивые перспективы, не так ли?

Барбаросса ощутила неприятный вкус во рту. Вроде того, что бывает, если откусить от несвежей сливы.

Каррион усердно дрессирует ее, готовя себе на замену. И дрессирует отчаянно, прекрасно сознавая, что сестра-капеллан — это не теплая интендантская синекура вроде сестры-кастеляна, от того, как хорошо она справляется со своими обязанностями, зависит безопасность всех сестер ковена. Это она муштрует младших, вбивая в них азы фехтования, тактики и караульной службы. Это она следит за обороной замка, готовая в случае опасности первой схватить в руки мушкет. Это она пристально наблюдает за маневрами прочих ковенов, мгновенно и безжалостно карая любую суку в Броккенбурге, которая посмеет бросить в сторону «Сучьей Баталии» хотя бы неприязненный взгляд. А ведь есть и много другой работы, куда более тонкой и важной. Это тебе не копаться в сундуках, ведя учет свечным огаркам и старым горшкам!

Однако Лжец прав — перешагнув рубеж пятого круга, сразу семь «батальерок» сделаются достойными сделаться хозяйкой ковена. Некоторые из них, вполне возможно, не доживут до этого дня, погрязнув в блядстве и поножовщине — как Холера. Некоторые слишком глупы даже для того, чтобы вынести свой ночной горшок и уж точно не заботятся такими вещами — как Гаргулья. Но вот другие...

Саркома. Гаррота. Ламия.

Остается три.

Три суки — и все три, без сомнения, опасны, пусть каждая и на свой лад.

Крошка Сара делает вид, будто в этой жизни ее ничего не интересует кроме ее блядской музыки, аутовагенов и дури, но она скрытная сука, не из числа тех, кто вынимает рапиру и становится в третью позицию, приглашая к схватке. Она нанесет удар исподтишка, в тот момент, когда никто этого не ждет — и кто знает, какие мыслишки спрятаны за ее хитренькой улыбочкой, которую давно пора было бы вмять ей в лицо...

Гаррота прямолинейна, как кочерга, и не великого ума, но ее вечные позывы к справедливости уже сейчас делаются весьма надоедливыми, через два года, подпитанные надлежащим образом, они могут превратиться в явственное желание загрести себе весь ковен. А тут еще и старое соперничество между ними... Можно не сомневаться, если сейчас Гарри еще пытается держаться в тени, уже очень скоро она закусит удила и впряжется в работу — лишь бы обойти ее, крошку Барби, на последнем участке.

Про Ламию нечего сказать — ни одна «батальерка» в Малом Замке не может похвастать тем, будто понимает, чем эта сука дышит и о чем помышляет. Ослепительно красивая, отстраненная, большую часть времени она не появляется в замке вовсе, а если появляется, ее сомнамбуличная пустая улыбка отпугивает всех прочих вернее, чем несвежая кровь в патлах Гаргульи. Пустая, холодная, очень опасная. И это не просто блядская картинка. Вера Вариола по какой-то причине нашла ее и приютила, а значит, в ее

хорошенькой головке тоже могут скрываться какие-нибудь гаденькие мыслишки...

Ах да, еще Острица. Низверженная до уровня младших сестер, лишенная прежнего имени, опозоренная, она может влачить свое жалкое существование вместо со слугами, но она — ведьма третьего круга, и об этом забывать опасно. Через год она получит такие же права на престол, как и прочие суки.

Черт. Трижды сорок чертовых ебанных чертей!

Небрежно брошенные Лжецом слова разбередили старую рану, которая хоть и обросла порядком рубцовой тканью, время от времени напоминала о себе, заставляя изнывать от беспокойства. Даже если Каррион сделает ее сестрой-капелланом себе на замену, это возвышает ее над прочими сверстницами, но еще не делает ее главным претендентом на трон. Каррион может выбрать любую суку по своему усмотрению и ни одна «батальерка» не будет вправе оспорить ее решение.

Хорошо им с Гастой, тоскливо подумала Барбаросса, не прекращая растирать ноги. Одна на одну, почти дуэль. Стоит лишь сжить со свету соперницу, как ты становишься единственной претенденткой на престол, практически кронпринцессой. Чертовски удобно! В венах Веры Вариолы, может, и течет вместо крови раствор ядовитой цикуты, как об этом поговаривают недруги, но она свято чтит старые традиции Броккенбурга и вынуждена будет подчиниться судьбе. То ли дело, когда речь идет о полудюжине сук, каждая из которых может дорваться до власти! Сейчас они целуются в щечки и выискивают друг у друга вшей, изображая лучших подружек, но чем ближе финишная прямая, тем отчетливее будут проступать старые обиды, тем сильнее будет разгораться аппетит...

Дьявол, в размеренной и скучной жизни Малого Замка могут наступить веселые деньки!..

— Ты улыбаешься, — внезапно произнес гомункул, пристально разглядывающий ее сквозь стекло, — Значит, наверняка уже не раз думала на этот счет. Кажется, я начинаю привыкать к ходу твоих мыслей... Ты ведь уже думала о том, как позаботишься о них, верно? Не удивлюсь, если ты уже успела кое-что прикинуть и даже сделать некоторые приготовления...

— Нет, — процедила Барбаросса сквозь зубы, — Я не занимаюсь такой херней.

Да, успела. Была бы безмозглой душой, если бы не прикинула.

Если Панди и удалось вбить ей что-нибудь в голову, так это важность подготовки. Свою собственную она начала еще несколько месяцев назад, едва только освоившись на положении полноправной «батальерки», втайне ото всех. Даже втайне от себя. Это не была всамделишная подготовка — даже мысленно Барбаросса не называла ее так — это была... Работа, подумала Барбаросса. Просто работа, которой она занимала свои мысли в свободные минуты, чтобы не сох от безделья мозг. Такие себе бесплотные фантазии, и неважно, что каждая из них с течением времени обрастала, точно гранями, новыми деталями...

Острицу надо будет вычеркнуть первой.

Не потому, что она нравилась ей меньше прочих, просто холодный расчет. Опозоренная, вынужденная жить вместе со слугами, беспрестанно унижаемая, она скопила в своей изъеденной душе столько разъедающего изнутри яда, что почти наверняка съедет с катушек, едва только увидит маячащую на горизонте тень возможности поквитаться с прочими. Лучше избавиться от нее в первую очередь, тем более, что и сложностей здесь не возникнет — среди младших сестер всегда хватает несчастных случаев и скоропостижных кончин. Острица умрет какой-нибудь быстрой, но не очень изящной смертью. Например, как-нибудь

ночью свалится в колодец и сломает там шею. А может, вскрыется бритвой на заднем дворе, устав от постоянных измывательств старших сестер, которым еще недавно была ровней. Едва ли кто-то в Малом Замке будет справлять по ней шумные поминки, добро, если выроют яму, а не просто оттащат до крепостного рва...

Гаргулья. Здесь будет тяжелее. Гаргулья может выглядеть беспросветно тупой — сестрам до сих пор приходится следить, чтоб она не вышла из замка без портков, в чем мать родила — но в ее дремучем мозгу, как у многих недалеких существ, дремлет звериное чутье. За последний год ей трижды устраивали засаду в Унтершгадте и каждый раз это не кончалось ничем хорошим для самонадеянных охотниц. К тому же Гаргулья чертовски живуча, а череп у нее каменный, такой, что и стрела, пожалуй, может не взять... Ну, на счет нее уже решено. Специально по ее душу в неприметном тайнике Малого Замка лежит, дожидаясь своего часа, тяжелый и громоздкий фольксрейхпистоль. Совсем не те элегантные штуки, что благородные господа разряжают друг другу в животы, выясняя отношения — грубое, примитивное, почти варварское — но обладающее чудовищной мощностью и способное пробить дубовую доску со ста шагов. Тут даже каменный череп Гаргульи не выдержит. Для верности, когда придет нужный день, она даже не покусится на зачарованную пулю — из тех, на боках у которой вырезаны глифы адского языка. Таковую, которая размозжит самую прочную голову как тыкву или превратит кровь в кипящий свинец.

Еще лучше отыскать где-нибудь «Файгеваффе» — чтоб уж наверняка. «Файгеваффе» — жуткая штука, такой можно ухлопать не то, что твердолобую суку, но и демона не очень высокого чина, вот только тут уже ее начинала душить жадность. Хороший «Файгеваффе», который не превратит тебя саму при выстреле в ком жеванной плоти, с настоящим демоном, сидящим внутри, стоит умопомрачительно дорого, да и достать его непросто. Черт, хватит ей и обычной зачарованной пули в глухом переулке — чай, не баронесса какая!..

Про Холеру можно и не беспокоиться. Эта сука призывает на свою голову беды с такой настойчивостью, что скоро сам архивладыка Белиал явится в Броккенбург, чтобы разорвать ее пополам. Непременная гостя всех оргий, затевавших в Гугенотском Квартале, не брезгующая случкой с самыми разными созданиями вплоть до чертовых эделей, постоянная посетительница «Хексенкесселя» и дегустатор самых изысканных и опасных его зелий, крошка Холли на протяжении шестнадцати лет своей жизни так настойчиво засовывала голову в петлю, что однажды обречена была добиться своего. Может, ее пырнет в Унтершгадте ножом в бок приревновавший дружок или разъест изнутри от какой-нибудь демонической болезни, которую она подхватила в борделе — плевать. Эта шкура не стоит даже пули, издохнет сама. Тем лучше, не придется пачкать руки.

С Саркомой будет посложнее — хитра, коварна, осторожна. Мало того, сведуща в адских науках, что, впрочем, предусмотрительно скрывает от сестер. Но слишком уж привыкла к собственной безнаказанности, кроме того, болезненно любопытна. Достаточно будет выманить ее на подворье ночью, пообещав музыкальный кристалл с сонатами «Развратных Аркебуз» или «Последних новостей моды», а там не понадобится даже оружия, хватит и вывороченного из мостовой булыжника. Даже если Вера Вариола учинит настоящее расследование, оно быстро заглохнет само собой — крошка Сара в достаточной степени успела известить обитательниц Малого Замка своими остротами, чтоб те встретили ее исчезновение с плохо скрываемым облегчением.

С кем придется повозиться, так это с Гарротой. У нее нет ни хитрости Саркомы, ни смертоносных лап Гаргульи, зато ей не занимать опыта по части соперничества — эта рябая

сука всегда держит уши на макушке и любую ловушку видит за половину мейле. Мало того, она знает многие приемы и ухватки крошки Барби, может даже, лучше нее самой. Черт, тут дело не решишь ни пистолетом, ни булыжником. Возможно, здесь не обойтись без яда. «Общество Цикуты Благостной» обычно не продает свои адские зелья ведьмам из старших ковенов — боится быть втянутым в вендетту — но некоторые из «флористок» нет-нет, да и приторговывают ими налево. В их сокровищнице находятся самые страшные яды, известные человечеству, как те, что изготовлены при помощи адских сил, так и те, что созданы без их участия.

«Черный Эйтр[7]», от которого вся желчь в человеческом теле начинает кипеть, прорываясь гейзерами наружу. «Аква Тофана[8]», страшное порождение какой-то сицилийской ведьмы, от которого жертва съезживается, теряя волосы и зубы, пока не превращается в сухую головешку... Впрочем, нет, здесь ей наоборот потребуется что-то невзрачное, такое, чтоб Гаррота тихо испустила дух, не забрызгав своими потрохами Малый Замок. Может, просто лошадиная доза стрихнина? Барбаросса мысленно кивнула сама себе. Она еще решит это. Позже. Время еще есть, тем более, что крошка Гарри — не из тех, ктс бежит впереди рысака, она долго запрягает и едва ли сама решится на активные действия в ближайший год...

А еще Ламия.

Чертова ледяная красавица, которая будто и живет в Малом Замке с прочими «батальерками», но при этом будто бы существует в своем обособленном мире, который невозможно поколебать или нарушить даже если начать стрелять у нее над ухом из пистолетов. Никто не знает, чем она занимается целыми днями, где пропадает, какие занятия посещает. Кажется, никто и не спешит узнавать. Стоит только Ламии где-нибудь появиться, одарив мир улыбкой, красивой, как свежий цветок дурмана, и холодной, как змеиная кровь, и вокруг нее возникает кокон из удушливой тишины — всем окружающим сукам делается не по себе и они спешат прыснуть в разные стороны. Чертова снежная королева... Ничего, утешала себя Барбаросса, в мире нет крепости, в стенах которой нет ни единого шаткого камня. Она найдет способ справиться и с Ламией, дай только время. В ее распоряжении еще восемь месяцев до Вальпургиевой ночи и еще целых двенадцать после. Если только...

Гомункул кашлянул, привлекая к себе внимание.

— Допустим, твои надежды сбудутся и Каррион одержит верх над Гастой — убьет ее или заставит убраться прочь из ковена. Каррион станет следующей хозяйкой «Сучьей Баталии» после Веры Вариолы и исполнит твои мечты, назначив тебя сестрой-капелланом. При этом Котейшество, конечно, станет сестрой-кастеляном, по крайней мере, именно такая роль отводится ей в твоих мечтах. Смелая надежда, но отнюдь не несбыточная. Но неужели ты столь глупа, что не в силах смотреть не на год вперед, а на два?

— Что? — Барбаросса ощутила зловещий гул в ногах, — О чем ты?

Гомункул взглянул на нее через стекло — колченогий уродец с темными, как угольки, глазами, от взгляда которых на душе делается неуютно и сыро.

— О чем я? Ты ведь не такая тупая пизда, какой хочешь казаться, Барби. Через два года вы обе с Котейшеством станете «пятерками». От остальных своих сестер, полагаю, к тому времени ты успеешь избавиться, так или иначе. Ты ведь способная девочка. И очень упорная, как я мог заметить. Но от нее не избавишься ни за что. Скорее, самой себе отгрызешь голову. Это значит, через два года вы с ней окажетесь в такой же ситуации. Одной из вас суждено

будет возглавить ковен, а другой... Кто из вас будет другой? Ты ведь уже думала об этом? Наверняка думала, и не раз...

Барбаросса рывком поднялась на ноги — в ее избитое излохмаченное тело Ад мгновенно влил столько адских энергий, что даже в глотке затрещало, будто там полыхнул небольшой, из смолистых бревен, костер. На какое-то время даже боль как будто бы отступила, растворившись в ее гневе.

— На что ты намекаешь, чертов гнилой послед?

[1] Вильдфанг (нем. Wildfang) — дословно «сорванец».

[2] «Саксонское Зерцало» — сборник древнегерманских законов, изданный в 1221-м году и использовавшийся на протяжении нескольких веков.

[3] Диестро — ученик испанской школы фехтования «дестреза».

[4] «Mandoble», «arrebatar» — разновидности ударов, принятые в дестрезе — от плеча и от кисти.

[5] Пино III Орделаффи (1436–1480) — итальянский кондотьер, отравивший двух своих жен, их любовников, а также собственную мать.

[6] Здесь: примерно 7 000 кг.

[7] Эйтр — в скандинавской мифологии вещество, полученное от соприкосновения ледяных осколков Нифльхейма и искр Муспельхейма, которое могло использоваться для созидания, но одновременно представляло собой сильнейший яд.

[8] Аква Тофана (Aqua Tofana) — мифический яд, изобретенный Джулией Тофана в XVII-м веке.



Гомункул улыбнулся, склонив голову на бок. Он выглядел как младенец, которого утопили в пруду и которого хорошенько успели обглодать мелкие твари — карпы и окуни.

— Во имя архивладыки Белиала, не кипятись, Барби, иначе разбудишь всех своих сестер.

— Мне осточертели твои блядские намеки, Лжец. Я уже сказала тебе, я не сплю с Котти! Мы с ней...

— Подруги. Я помню, — Лжец неуклюже прижал свои лапки к кривой бочкообразной груди, в том месте, где у человека располагалось бы сердце, — Старые приятельницы и компаньонки. Вот только некоторые мысли о ней ты никогда не доверила бы своим сестрам, не так ли?

— Тебе-то откуда знать, о чем я думаю? — тяжело дыша, спросила Барбаросса, чувствуя злую пульсацию в кулаках, — Ты тайком читаешь мои мысли, так ведь? Влез мне в голову?

Лжец вновь фыркнул, но уже более уважительно.

— Я не читаю твои мысли, Барби. Ты эманулируешь ими во все стороны, точно старый травемундский маяк[1] ненастной ночью!

— Я... Что?

Она рассылает всему миру мысли о Котейшестве? Барбаросса с трудом удержалась от того, чтобы инстинктивно сдавить виски. Никчемная попытка. Мысль — столь тонкая субстанция, что сдержать ее могут только чары, не поможет даже глухой шлем вроде того, что вынужден был носить ее давешний знакомый вельзер.

— У нее глаза цвета гречишного меда. Ты каждый раз думаешь об этом, когда видишь их, но ни разу не сказала этого вслух, боишься, что Котейшество рассмеется в ответ. У нее роскошные волосы, которым ты внутренне завидуешь. В твоём Кверфурте все носили засаленные колпаки или чепцы из рогожи, чтоб едкий дым не въедался в волосы, а стриглись коротко, на два пальца, потому каждый раз, когда она по утрам сидит на своей койке и втыкает в свою шевелюру шпильки, тебе каждый раз хочется попросить ее разрешить тебе это сделать. Один раз ты почти решилась, но рядом как раз проходила Холера и так на тебя посмотрела, что ты выругалась и нарочно сплюнула на пол, будто ни о чем таком и не думала. Ее нижние рубашки пахнут цыплячьим пухом, анисом и майским утром — ты знаешь это потому что тайком нюхаешь их, когда сестры затевают стирку и ты думаешь, что тебя никто не видит...

Ее ноги все еще были слишком слабы, чтобы выдерживать вес тела. Барбаросса покачнулась — как те эльзасские пидоры, что вышагивают на ходулях во время своих чертовых торжественных парадов.

Барбаросса протянула к мешку скрюченные пальцы и лишь тогда заметила, что преодолела разделяющие их несколько шагов, напрочь позабыв про боль в истерзанном рапирой теле. Целительная сила ненависти сотворила еще одно маленькое чудо.

— Ах ты мелкий сучий херов...

Она так и не успела коснуться банки, потому что из прорехи в мешковине на нее внимательно уставился маленький, темный и внимательный, глаз.

— Спокойно, мейстерин хекса, — буркнул Лжец, — Я ни хера не читаю твои мысли. Лишь то, что ты сама выплескиваешь наружу. И это, черт возьми, были не самые затаенные сокровища твоей памяти, а? Твои мысли постоянно блуждают вокруг нее, при том, что ты даже можешь этого не осознавать.

— Да ну?

Гомункул кивнул.

— Некоторые мысли почти плавают на поверхности, разглядеть их не составляет труда. Другие похожи на обломки кораблей, погребенных на морском дне, укрытые многими центнерами тины и песка. Иногда, когда ты в ярости, я почти отчетливо вижу одну и ту же картину. Твои мысли возвращаются к ней, будто к дому, всякий раз, когда ты думаешь о Котейшестве, ощущаешь злость, досаду или вину... Рассказать, что я вижу?

Нет, подумала Барбаросса. Заткни эту чертову дырку на своем лице и никогда больше не распахивай, иначе, клянусь всеми кострами Преисподней, я выпотрошу твое слизкое маленькое тело и...

Наверно, она слишком долго медлила с ответом, потому что гомункул внезапно кивнул, будто бы самому себе.

— Маленькая комнатка, полная едкого дыма. Большая медная печь, внутри которой бьется почти погасший огонь...

Топочная, подумала Барбаросса. Топочная в подвале Шабаше, которую они с Котти облюбовали в качестве своих собственных апартаментов еще тогда, когда были школярками, а не уважаемыми сестрами-«батальерками». Среди школярок, вынужденных спать в койках посреди сырых университетских дормиториев, подчас разыгрывались самые настоящие сражения за право пользования отдельными уголками, но на топочную никогда не было особых претенденток. Темно, тесно, душно, к тому же старая печь, зияющая щелями, испускает едкий дым, а в носу вечно щекочет от угольной пыли...

— Котейшество сидит у самой печи, — глаз гомункула затуманился, сделавшись крохотным подобием оккулуса, — Она смотрит на почти погасший огонь и плачет. Ты мечешься от стены к стене, сжав кулаки, и сама изрыгаешь пламя. Ты взбешена. Ты хочешь кого-то убить. Ты...

— Довольно, — приказала Барбаросса деревянным языком, — Замолчи.

Лжец покорно заткнулся. Видно, под коркой из ярости прочел другие ее мысли, в которых фигурировал уже он сам. Он сам, набор столярного инструмента из чулана Малого Замка, и много-много мелких гвоздей...

— Это было полтора года назад, — пробормотала Барбаросса, сделав несколько неуверенных шагов по зале, боясь признаться себе, что не хочет смотреть в сторону банки с гомункулом. Точно из нее могли вылезти еще какие-нибудь законсервированные в ней недобрые воспоминания, — В апреле. Мы... Черт. Это была скверная история. И меньше всего на свете я хочу, чтобы ты запускал в нее свой бесформенный липкий нос.

Лжец поспешно кивнул. Точно и сам сообразил, что нарушил правила приличия, вторгнувшись так глубоко в чужие мысли. А может, ему открылись там картины, которые он и сам не хотел бы видеть.

— Как скажешь, Барби. Я не дознаватель и не охотник. Я слушатель.

— Слушатель... — эхом произнесла она, не скрывая отвращения.

— Представь, что тебя лишили рук и ног, превратили в подобие полупереваренной мышцы и заперли в хрустальном гробу до конца жизни. Иногда я слушаю вас, людей, и, честно

сказать, это чертовски паршивая работа. Вы вечно несете всякий вздор, но с каким апломбом!.. Поэтому больше всего мне нравится слушать магический эфир. Я не виноват в том, что вы норовите выплеснуть в него, словно в сточную канаву, свои никчемные мыслишки, потаенные желания и странные фантазии...

Барбаросса смерила его взглядом. Чертов заморыш. Сверчок. Яблочный огрызок.

И в этом сморщенном неказистом тельце, могут храниться ее, крошки Барби, воспоминания? Черт. Пожалуй, она все-таки не будет рисковать, разобьет банку нахер, когда разберется со всем этим...

Наверно, он расценил ее задумчивость в недобром для себя ключе, потому что поспешно выставил перед собой свои жалкие сморщенные лягушачьи лапки.

— Слушай, мне глубоко похер, какие чувства ты испытываешь к Котейшеству. Мне и дела до этого нет. Взгляни на это, — гомункул небрежно потеревил себя между ног, там, где болтался крохотный полупрозрачный мешочек, напоминающий едва завязавшуюся фасолину, — Видишь эту штуковину? Я бы не смог удовлетворить себя даже если бы испытывал такую потребность. Так что все ваши сексуальные пристрастия, что самые порочные, что самые невинные, для меня сродни любви двух садовых улиток. Я попросту не вижу между ними разницы. По-иному устроен и освобожден от многих ваших инстинктов, замурованных в черепа, от которых вас бессильны избавить даже адские владыки. Так что нет, мне плевать на все твои душевные терзания.

Барбаросса отвела взгляд.

Закуток с печкой... Метущееся пламя... Плачущая Котти...

— Ты и за стариком так же пристально приглядывал? — едко осведомилась она, — Бьюсь об заклад, он весело проводил время в Сиаме! Небось, не вылезал из офицерских борделей, а?

Гомункул усмехнулся, потирая бугристый подбородок.

— Господин фон Лееб — это не какой-нибудь неграмотный пушкарь из обоза, думающий лишь о том, куда бы засунуть свой банник. Кроме того, он был человеком высоких моральных устоев и офицером саксонской армии. Он презирал публичные дома, даже сиамские.

— Ну да?

— Утверждал, что все узкоглазые шлюхи воняют фунчозой[2], а всяких тварей в них обитает больше, чем пресмыкающихся гадов в ином болоте.

— Значит, трахал служанок в офицерском клубе, — буркнула Барбаросса, — Мне-то что?

— Господин фон Лееб окончил Вюрцбургский университет, и с отличием. Он был выше каких-нибудь служанок. Если что-то и привлекало его в Сиаме, так это мальчики.

— Мальчики? — с нехорошим чувством переспросила Барбаросса.

— Да. Обыкновенно не старше двенадцати лет. Всякий раз, когда его батарея прибывала в новый город, Косамуй или Районг, он отправлял ординарца сыскать на улице и привести к нему пару мальчишек, желательно самых тощих и чумазных, похожих на обезьян. Там, в Сиаме, в ту пору до черта было тощих мальчишек... А еще он приказывал, чтобы в его спальне во время утех всегда горела жаровня, в которую ординарец время от времени подкидывал тростник.

Барбаросса сплюнула на пол. Плевок получился густой и ярко-алый — разбитые губы все еще немного кровили.

— На кой хер ему был нужен тростник?

— Сила привычки, — Лжец ухмыльнулся, — Треск горящего тростника и дым напоминали ему сиамские деревушки, через которые они с саксонскими рейтарами проходили рейдом. Горящие тростниковые хижины и дым от них так ему запомнились, что без этого стимула его естество оказывалось невозможно поднять в бой. На самом деле, весьма опасная привычка. Несколько раз господин фон Лееб, увлекшись со своими мальчиками, едва не угорал в спальне от тростникового дыма, ординарец едва успевал распахнуть окно...

Барбаросса уставилась на гомункула, растирая запястья. Побагровевшие, принявшие на себя не одну дюжину ударов, они отчаянно ныли, будто обваренные, кожа во многих местах лопнула.

— Понятно, отчего твой хозяин не покушался на твою невинность, Лжец. С такими-то вкусами...

Гомункул хихикнул.

— О, вкусы господина фон Лееба не представляли собой ничего выдающегося — на фоне прочих. Там, в Сиаме, многие саксонские офицеры приобретали привычки, которые весьма странно смотрелись бы в Дрездене или Магдебурге, смею заметить. Едва ли мы имеем право их порицать, к слову. Вырвавшись из зловонных джунглей, покрытые заскорузлым тряпьем вместо одежды и ржавыми обломками доспехов, они спешили воздать должное жизни во всех ее формах, не чураясь самых разнообразных страстей. Взять хотя бы господина Хассо Цеге-фон-Мантейфеля, которого на батарее попросту звали Хази.

— Тот самый, которого сожрал «Костяной Канцлер»?

Лжец кивнул.

— Тот самый. У него при себе всегда имелась походная табакерка, снаружи вполне обычная, без вензелей, даже немного потертая, как у многих солдат, внутри же украшенная прихотливым образом. Только держал он там не порошок спорыньи и не маковое зелье, как некоторые чины с батареи. Там, среди висмутовых и бронзовых узоров обитал крошечный демон по имени Купфернадельштекимауэге, которого он выпускал, пребывая в спальне с очередной прелестницей. Впрочем, если не было ни прелестницы, ни спальни, господин Хассо вполне мог удовлетвориться коровником и ближайшей служанкой, вкуса он был самого неприхотливого. А вот Купфернадельштекимауэге... Тот был большой затейник. Выскользнув из табакерки, он прятался в комнате, а потом, будучи незаметным, совершал своей жертве укол в затылок крохотной медной иглой. Одного такого укола было достаточно, чтобы женщина на следующие двенадцать часов превращалась в изнывающее от страсти существо, одержимое похотью настолько, будто в него вселились все демоны Преисподней. В человеческом теле обнаруживалось столько сил, сколько их прежде там не было, столько, что начинали трещать, не выдерживая натиска, ее собственные кости, а хрящи лопались сами собой. Бывало и такое, что кожа прелестницы начинала медленно тлеть, столько под ней полыхало любовного жара, а внутри все прямо-таки бурлило... Поутру господин Хассо уходил, едва держась на ногах, одна такая ночь выматывала его больше, чем месяц затяжной войны в сиамских джунглях, а вот от его прелестницы обычно оставалась булькающая лужа на простынях — и с нею уже забавлялся Купфернадельштекимауэге... Так что, как видишь, на его фоне вкусы господина фон Лееба едва ли можно назвать чрезвычайными.

— Мне похер, кого он сношал и в каких позах.

Лжец ухмыльнулся, сделавшись на миг похожим на распахнувшую пасть рыбину в чересчур тесном аквариуме.

— Как мне похер на твои грязные мыслишки. Я никогда не видел Котейшество и мне абсолютно безразлично, что ты нашла в этом никчемном птенце, однако...

Смешок, родившийся в отбитых внутренностях, на миг болезненно стиснул грудь.

— Никчемном птенце... Я знаю многих девочек в Брокке, которые считаются опасными. Некоторые из них просто актерствуют, изображая из себя бесстрашных рубак, другие в самом деле безумные суки, готовые ринуться в адскую бездну с рапирой наперевес. Но ни одна из них, даже будучи мертвецки пьяной, не осмелилась бы отказать Вере Вариоле. А Котти...

Гомункул встрепенулся. В его взгляде зажегся интерес.

— Она отказала Вере Вариоле?

— Можешь себе представить. Глядя в ее пустую выжженную глазницу. Поблагодарила за приглашение в «Сучью Баталию», но сказала, что не сможет воспользоваться приглашением, если оно не будет включать ее подругу.

— Хочешь сказать...

— Меня.

Гомункул несколько секунд молчал, покачивая раздувшейся головой.

— И она...

— Да. Согласилась. Это было полтора года назад, в мае восемьдесят третьего. С тех пор мы «батальерки».

— Возможно, в ней больше пороку, чем мне казалось. Но это ничего не меняет. Без твоей помощи и защиты ее рано или поздно сожрут и ты прекрасно об этом осведомлена, не так ли?

Барбаросса резко выдохнула через нос. Тело еще не обрело прежней чувствительности, но реагировало на команды и худо-бедно повиновалось. Это хорошо. Значит, у него оставались ресурсы, которые оно смогло использовать, и силы, которые ей еще пригодятся.

— Сколько? — отрывисто спросила она вслух, — Сколько времени у меня осталось?

Лжец ответил не сразу — что-то подсчитывал. И хоть он справился за пару секунд, эта пауза показалась Барбароссе тяжелой, как кузнечная наковальня.

— Полагаю, до следующего явления монсеньора Цинтанаккара осталось около двадцати минут.

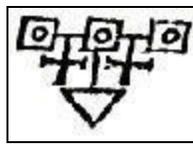
— Двадцать? — Барбаросса дернулась всем телом, — Всего двадцать?

Дьявол. Время тянется чертовски медленно, если ты ждешь, пока закипит поставленный на огонь котелок или пока ты ерзаешь в кресле цирюльника, вырывающего тебе зуб. Но стоит хоть немного отпустить контроль, забыться, и чертовы минуты бросаются прочь, точно табун перепуганных лошадей из горячей конюшни...

— Может, немного больше, — пробормотал гомункул, — У меня тут, знаешь ли, нет часов... Черт, куда ты направляешься, Барби?

Она не удостоила его ответом. Лжец негромко зашипел, когда она резко вздернула мешок на плечо. Может, не так тактично и осторожно, как полагалось делать, но, черт возьми, сейчас ей было не до нежностей.

На следующие двадцать минут жизни у нее было чертовски много планов.



Оккулус в общей зале молчал.

Выключенный, потухший, он превратился из небольшого всевидящего ока, открывающего двери в разные, заполненные интересными и познавательными вещами, миры, в большую щербатую бусину, безучастно стоящую на столе. Гаррота и Саркома, растащив по местам тюфяки, орудовали швабрами, больше поднимая в воздух пыль, чем прибирая. Они не вкладывали в свою работу даже толики усердия, да и швабры держали так, как вчерашний крестьянин держит мушкет. Сразу видно, схватились за них лишь тогда, когда услышали ее шаги на лестнице.

Можно не сомневаться, что стоит ей выйти за ворота Малого Замка, как швабры полетят обратно в угол, а эти оторвы преспокойно улягутся на прежнее место, пялясь в оккулус и нежа свои задницы на перинах. Каждая юная проשמандовка, едва выбравшаяся из дорожной кареты и ступившая на мостовую, уже мнит себя самой хитрой пробрядью в Броккенбурге, не иначе.

В другое время Барбаросса не пожалела бы времени, чтобы научить их хорошим манерам. Лично проследила бы за тем, как они упражняются со швабрами, щедро раздавая оплеухи и пинки, опрокидывая ведра с грязной водой и насмешливо комментируя их жалкие потуги. Когда ты находишься в клубке из тринадцати остервенелых сук, нельзя позволять, чтобы твои указания не выполнялись или выполнялись без должного прилежания. Не успеешь охнуть, как получишь нож между лопаток или заговоренную иглу в шею.

Но сейчас... Черт, ее ждали более интересные занятия, чем муштра младших сестер в Малом Замке. Проходя мимо них, Барбаросса даже не сплюнула на пол, не наградила ни одну из них пинком пониже спины. Она поймала себя на мысли, что не испытывает к этим праздным потаскухам особой злости. Пожалуй, даже ощущает что-то вроде затаенной благодарности.

Сидя в общей комнате, они прекрасно слышали все, что творится в фехтовальной зале. Они знали, какую взбучку задала ей Каррион — не только болезненную, но и чертовски унижительную. Воспользовавшись мигом ее слабости, Гаррота и Саркома могли бы бросить ей вызов. Может, не в открытую, спровоцировав на драку — еще не успели побороть в себе страх перед кулаками сестрицы Барби — но вполне явственным образом. Нарочно швырнуть наземь швабры, демонстрируя ей свое неповиновение, смеяться ей в лицо, зная, что она не в силах сейчас их обуздать, отпускать смешки и унижительные шуточки, до которых обе были мастерицами...

Однако они послушно возили швабрами по полу. Может, не очень старательно, но по крайней мере изображая усердие. Барбаросса хмыкнула себе под нос. Эти две суки могут сколь угодно долго изображать из себя пайнек, она знает их души, хищные и злые, как у всех «батальерок», знает даже лучше, чем знают их маменьки. Если они не осмеливаются наброситься на нее сейчас, то только лишь из-за глубоко въевшегося страха, однако даже страх не может держать в своих цепях вечно.

Рано или поздно они посягнут на ее власть. Они первостатейные суки, но вовсе не тупицы. У них в головах тоже шелкают крохотные часы, отмеряя время до следующей Вальпургиевой ночи. Может, уже сейчас в каком-нибудь тайнике под половицами Малого Замка лежит, заботливо укрытый тряпьем, клинок, которому суждено вонзиться ей в грудь.

Где-то дремлет, как сонная змея, предназначенная ей удавка. Остывает отлитая по ее душу пуля.

В мире вообще не существует ничего вечного и постоянного.

Адские чертоги, существующие миллиарды лет, непрестанно блуждают в океане из жидкой ртути и расплавленного металла, ежечасно меняя контуры континентов, образуя сложнейший узор, который невозможно нанести ни на одну существующую карту. Вещества, способные существовать бесконечно долго, перетекают друг в друга и рассыпаются пеплом под воздействием алхимических трансмутаций. Вчерашние всевластные сеньоры превращаются в ничтожных парий, а их слуги возвышаются — чтобы через какой-то цикл времени самим повторить их путь...

Все — тлен.

Маттиас Эрцбергер, всемогущий казначей Саксонии, в двадцатых годах, сделавшись близок к курфюрсту, сосредоточил в своих руках такую власть, что весь саксонский двор звал его не иначе чем «Хозяин Маттиас». Он самолично управлял тремя легионами демонов, имел по меньшей мере две дюжины дворцов в Дрездене, Магдебурге, Бунтенблоке и Бергшгадте. Ни одна птица не осмеливалась пролететь над головой Маттиаса Эрцбергера — специально натасканные демоны из особой адской породы разрывали в клочья всякого, кто приблизился к нему без позволения ближе, чем на десять шагов. Его бронированная карета могла выдержать прямое попадание из бомбарды, а штату телохранителей могла позавидовать даже императорская гвардия.

Ад не терпит постоянства. Даже если сам маркиз де Вобан[3] построит тебе крепость из закаленной стали и гранита, даже если охранять ее будут полчища демонов, судьба найдет тебя и там. Два штабных офицера, подкараулив всемогущего казначея во дворце после доклада курфюрсту, разрядили в его живот по два пистолета. Они даже не были высокопоставленными заговорщиками, метящими на его место, просто людьми, которых он обидел, сам того не заметив.

Две пули задержала заговоренная кираса, одна по стечению обстоятельств прошла мимо, но четвертая угодила точно в цель. Небольшой шарик из свинца мог бы не причинить туше Хозяина Маттиаса серьезного ущерба, но люди, готовившие покушение, знали толк в своей работе. Пуля была заклята чарами Стоффкрафта, запретной науки, повелевающей материей и ее трансформациями. Следующие четверть часа после этого Миттиас Эрцбергер катался по полу, пока его тело таяло, превращаясь в липкую смолу, и все его телохранители, врачи, доносчики и дегустаторы не могли ничего поделать...

Гаррота и Саркома могли бы не исполнять ее приказа. Пропустить его мимо ушей, оставшись на прежнем месте и пялясь в оккулус. Сделать вид, будто ничего и не слышали. Еще не вызов, но отчетливый демарш, символ того, что ее власть в Малом Замке пошатнулась и ей стоит быть трижды осторожной, испытывая ее пределы.

Ей пришлось бы проглотить это. Сделать вид, что не заметила этого, но отчетливо ощущать ухмылочки на их лицах, которыми они обмениваются у нее за спиной. Дьявол, когда пару лет вынуждена жить в клубке змей, непрерывно шипящих друг на друга, неизбежно отращивает в себе такую же змеиную чуткость...

Но они работали. Нехотя, возя швабрами лишь для вида, зевая и двигаясь с неспешностью сонных мух, однако работали! В другое время за такое усердие им щедро досталось бы плетей. Сейчас... Барбаросса хмыкнула. Сейчас она была почти благодарна им.

Сундучок Котейшества остался открыт, Барбаросса бережно уложила туда тетрадь с

записями по Гоэции, едва удержавшись от соблазна погладить рукой оловянную крышку — точно ее прикосновение могло передаться самой хозяйке. Нет, от тетради ей не будет никакого толку. Но вот другие вещи... Другие вещи вполне могли ей пригодиться.

Например, небольшая шкатулка из дерева, окованный железом. Она выглядела как дорожный несессер и была закрыта крохотным заговоренным замочком, но Барбаросса знала, как тот отпирается — слишком часто видела, как это делает Котейшество.

— Что это? — беспокойно спросил Лжец, ерзая в своей тесной банке у нее за плечом, — Что это такое?

Это то, что может мне помочь, подумала Барбаросса.

Шкатулка оказалась довольно увесистой для своих небольших размеров, но Барбароссе понравилась ее тяжесть. Основательная, как у хорошего клинка. Может, и небесполезная для нее...

Я ни хера не знаю монсеньора Цинтанаккара, который оборудовал уютную гостиную в моих блядских потрохах, подумала Барбаросса, но я, черт возьми, знаю, как устроены демоны. Хоть саксонские, хоть сиаемские, хоть китайские. Я знаю, как думают эти твари, чего хотят, чего добиваются. Я попытаюсь столкнуться с ним, вот что.

Лжец зашипел.

— Черт! Я же говорил тебе, Цинтанаккар не идет на переговоры! Его не интересуют обещания, которые ты можешь ему дать, лишь только боль, которую он может выжать из твоего тела!

Значит, я заставлю его начать переговоры, угрюмо подумала Барбаросса, бережно пряча шкатулку под дублет.

Гомункул рассмеялся — чертовски неприятным смехом, даром что тот не звучал в воздухе, а состоял из колебаний магического эфира.

— Как, скажи на милость? Решила озолотить его богатством из своего кошелька? Там болтается куда больше твоих собственных зубов и пальцев, чем монет! Может, хочешь соблазнить его?

Некоторые адские владыки падки на плоть. Даже если это плоть смертных. Среди них есть развратники, которых опытная ведьма, поднаторевшая в этой науке, способна искушить и использовать в своих силах. Но сестрица Барби... Барбаросса мрачно усмехнулась. Если она кого и в силах соблазнить, так это дохлую лошадь.

Я вызову его на разговор. Узнаю, что ему надо. И тогда...

— Тогда он вырвет тебе нахер глаза! — рявкнул Лжец, ожесточенно ткнув своими маленькими хрупкими кулачками в стекло, — Позволь напомнить, у тебя в запасе немногим меньше двадцати минут, прежде чем он сыграет с тобой новый фокус. И поверь, ты сама не рада будешь очутиться в своей шкуре, когда...

— Эй, Барби!

Это был не голос Лжеца, это был голос Гарроты.

Барбаросса резко остановилась посреди общей залы, едва не зашипев от боли — огненные полосы, которыми ее наградила Каррион, набирались жаром под одеждой, делая всякое движение чертовски болезненным. Можно было и не останавливаться, но ее тело давно привыкло реагировать на все внезапные раздражители самостоятельно, не спрашивая разрешения у головы.

Можно было не дергаться, пожалуй. Перед тем, как всадить нож в спину, обычно не окликают по имени. По крайней мере, в Брокенбурге как будто бы не водилось такой

традиции.

Даже склонив голову, Гаррота выглядела каланчой. Хоть в три погибели согнись, дылда и есть. Веревка. Спешит позубоскалить?

— Ну?

Ухмылка Гарроты никогда не выглядела изящной. Щербатая, кривая на одну сторону, она украшала рябое лицо крошки Гарри не лучше, чем аляповато сбитая вывеска — побитую картечью стену борделя. Но сейчас ухмылки отчего-то не было. Напротив, Гаррота казалась немного подавленной, даже смущенной. Будто это ее только что исполосовала до кровавых соплей сестра-капеллан.

— Что, крепко тебя Каррион отделала?

Барбаросса ощутила огненную черту, горящую поперек лба. В том самом месте, где ее полоснул «Стервец», разорвав кожу и вплетя еще один шрам в тот страшный рисунок из старых рубцов, который она по привычке считала лицом.

— А тебе-то что?

Гаррота отвела глаза. Необычное зрелище. Обычно она не отводила глаза даже перед дракой. Не такой породы. Забавно...

— Ты не сердись на нее, сестра, — пробормотала она, — Каррион это не со злости, сама знаешь. Она как старая акула, наша Каррион, иногда щелкнет зубами просто потому, что ей надо это сделать, а не потому, что ты где-то крепко провинилась.

Вот дерьмо, подумала Барбаросса, стараясь не пялиться на рябую рожу Гарроты. Крошка Гарри, никак, пытается меня утешить. А я думала, этот блядский, проклятый до самых корней город уже ничем меня не удивит...

— Нам и самим от нее не раз перепадало, — Гаррота смущенно улыбнулась, ковыряя пальцем рубаху, — Верно, Сара?

Саркома что-то неохотно буркнула, глядя в окно. Определенно не горела желанием участвовать в этой сцене, но и остротами разить не спешила, тоже странное дело.

— Ты вот что... Не сердись на нее, Барб. Хорошо досталось, а? Вижу же, еле ноги волочешь. Может, полежишь? Мы повесим твою койку. Лежа оно не так ноет. А еще у нас есть немного вина. Если ты хочешь...

Барбаросса ощутила как щеки под слоем шрамов и рубцов наливаются жаром. Таким обжигающим, что на фоне него огненные росчерки рапиры Каррион почти не ощущались.

Жалость. Вот почему Гаррота отводит глаза. Вот почему на ее рябой коровьей роже такое выражение. Вот почему она не знает, куда деть свои долговязые уродливые руки.

Она жалеет ее — как жалеют херову дворнягу с раздробленной ногой, угодившую на улице под аутоваген. Как жалеют избитую суку, хнычущую в подворотне, или калеку-крупеля, просящего подаяние на площади.

Барбаросса вдруг увидела себя ее глазами — не сестру Барбароссу, «батальерку», грозу Броккенбурга, страшную в веселье и в гневе, несокрушимую — она увидела сестрицу Барби — исполосованную, жалкую, беспомощную, уставшую, копающуюся в чужом сундуке...

Стало тяжело дышать. Это не демон перекрыл ей трубы, поняла Барбаросса, эта ненависть горит внутри, сжигая весь воздух, превращая кровь в клокочущую кислоту, заставляя мышцы вибрировать и стонать от напряжения. Если бы не демон в ее потрохах, с каким удовольствием она шагнула бы вперед и разнесла вдребезги эту рябую рожу...

Барбаросса заставила себя улыбнуться. Наверно, улыбка выглядела странно на ее окровавленном исполосованном лице, потому что Гаррота вздрогнула, едва не попятившись.

— Отличная мысль, Гарри, — Барбаросса сделала шаг навстречу, широко улыбаясь, — Выпьем винца, верно? Разожжем камин, посидим все вместе у камелька. Немного посекретничаем, как водится среди девочек. А что потом? Погадаем на суженого? Может, заплетем друг другу косички? Потискаемся?

Гаррота сделала шаг назад. Не обычный шаг — мягкий шаг фехтовальщика, отступающего от опасности.

— Слушай, я...

Барбаросса впиалась в нее взглядом, оскалив зубы.

— Марш за работу, тупые дырки, — процедила она, — Если через час эта зала не будет, блядь, блестеть, я возьму эту швабру и вставлю ее тебе так глубоко, что тебе придется выйти за нее замуж!

Гаррота тяжело дышала. Не ударит, с облегчением поняла Барбаросса, ухмыляясь ей в лицо. Ненавидит, презирает, но не ударит. Еще не чувствует себя достаточно сильной. Но когда-нибудь... О да, когда-нибудь крошка Гарри вновь попробует свои коготки. И в этот день, подумала Барбаросса, я без всякой жалости сломаю ей шею.

Гаррота по-лошадиному тяжело мотнула головой. Прежде, чем вновь взяться за швабру, она произнесла лишь несколько слов. Негромко, будто и не ей, но Барбаросса отчетливо расслышала.

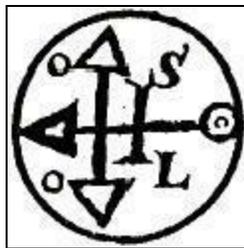
— Ну и сука же ты, Барби.

[1] Маяк Травемунде — один из старейших немецких маяков, функционировавший с 1316-го по 1974-й года. Расположен в Травемунде (район города Любека) в устье реки Траве.

[2] Фунчоза — тонкая лапша с приправой из маринованного перца, редьки и лука, традиционное блюдо восточной кухни.

[3] Себастьян Ле Претр де Вобан (1633–1707) — французский военный инженер и фортификатор, создавший десятки крепостей и укреплений.

ЧАСТЬ 5



Редко какая из ведьм Броккенбурга сочла бы Малый Замок, сырой, тесный и вонючий в любую погоду, комфортным для проживания. Но по сравнению с деревянным сараем, стоящим на дальней стороне подворья, он мог бы показаться королевскими хоромами.

Барбаросса усмехнулась, разжигая масляную лампу, которую предусмотрительно захватила с собой. Здесь, в сарае, она, пожалуй, за последний год провела куда больше часов, чем в своей койке. И вовсе не потому, что ей нравилось общество деревянных вязанок и хвороста.

— Значит, это и есть ваша лаборатория? — усмехнулся из мешка Лжец, — Выглядит внушительно. Не хуже, чем алхимическая мастерская Генриха Кунрата[1] в Лейпциге. Не хватает только чучела крокодила да пары-другой перегонных кубов...

Барбаросса хрустнула суставами пальцев.

— Для этой дыры сойдет и чучело гомункула. Жаль, из меня неважный таксидермист, но ты ведь потерпишь немного, милый Лжец?

Гомункул раздраженно шлепнул рукой по стеклу, враз теряя насмешливый тон.

— Посмотрим, как ты запоешь, когда за тебя возьмется Цинтанаккар. Спешу напомнить, время приближается!

В лучшие времена Малого Замка деревянной сарай, должно быть, нередко был забит под завязку поленицами из дрова, но сейчас, когда его хозяйством ведала рыжая сука Гаста, здесь было просторно, как в Шлосс-Мозигкау[2] зимой, когда ее высочество принцесса Анна Вильгемина предается безудержной случке со всеми инкубами Преисподней в теплых краях. Даже сейчас, накануне зимы, которая обещала быть по-броккенбургски злой и колючей, дров здесь имелось так мало, что на свободном пространстве можно было бы закатить бал и вальсировать парами — или расчертить классики, чтобы прыгать с бечевкой.

Черт, ноябрь на носу, хмуро подумала Барбаросса, орудуя метлой, а здесь всего-то три поленицы клена, и неважного, с трухой, да еще две — еловые... Рыжая сука Гаста опять прикарманила половину отведенных ей хозяйкой ковена денег, закупив какую-то дрянь. Знать, в марте месяце по Малому Замку опять протянутся ледяные сквозняки, а половина сестер окажется в койках, извергая изо рта гной вперемешку с жестоким кашлем.

Да и плевать, подумала она с раздражением. Для человека, которому демоном отведено пять часов жизни, близящаяся зима — это точка где-то за концом времен, такая же далекая, как гибель Броккенбурга в адском огне, нет смысла и загадывать так далеко...

Барбаросса вздохнула, отставляя в сторону метлу. Сойдет, пожалуй. Ей удалось расчистить изрядный кусок пространства посреди сарая, освободив его от щепы и сора. Под грубой рогожей, которой был прикрыт пол, обнаружилась не земля, а дощатый пол, превосходно сохранившийся, мало того, доски были пригнаны так плотно друг к другу, что оставляли зазор не тоньше волоска. Что ни говори, умели же, черт возьми, делать сто лет

назад...

Поверхность досок была отполирована до блеска, чтобы ни малейший бугорок, ни малейшая трещинка не исказили начертанные углем, графитом и кровью контуры защитных схем, таких сложных, что от одного взгляда на них мутнеют глаза. Ох и пришлось же им с Котейшеством в свое время повозиться, подготавливая это место для работы... Вооружившись украденным у плотника рубанком, одним на двоих, они тайком от прочих сестер обтесывали и шлифовали треклятые доски две ночи к ряду, не обращая внимания на кровоточащие мозоли и бесчисленные занозы, так усердно, будто собственноручно готовили себе местечко в Аду.

Жаль, только для этого ее руки и годились — убирать, чистить, обтесывать, полировать. Обычно именно этим она и занималась, пока Котейшество задумчиво листала гримуары или, вооружившись пером, делала наброски колдовских схем — расчищала место, убирала хлам, готовила их дровяной сараюшко к настоящей работе. Иногда, впрочем, Котейшество доверяла ей расставлять свечи в точно обозначенных точках или потрошить живых кур. Несложная работа для подмастерья, ни хера не соображающего в точных науках — даром, что посещали они одни и те же лекции в университете.

А теперь ей придется делать это все самой. Не уповая ни на чью помощь, не рассчитывая ни на чью поддержку.

Не страшно, Барби, утешила она сама себя. Может, у тебя чертовски мало опыта по части магических шпук и общения с демонами, но если ты чего и умеешь, так это заботиться о себе. Ты не всегда была «батальеркой» и не всегда была ученицей Панди. Однако дожила до шестнадцати лет, мало того, вырвалась из Кверфурта, который выпускает наружу обыкновенно лишь пережженный уголь. Тебе не хватает терпения и сметки, это верно, но ты упряма и зла, а значит, сможешь толковать с демоном на привычном ему языке...

— Который час, Лжец?

— Без четверти боль, — отозвался он, не скрывая досады, — И в этот раз лучше бы тебе подготовиться к ней основательно. Первые два раза Цинтанаккар лишь пробовал тебя на зуб, определял порог чувствительности твоей плоти, изучал твое тело изнутри. На третий раз... Возможно, на третий раз он не будет столь снисходителен.

— Когда ты злишься, то похож на надувшуюся гноем бородавку, — пробормотала Барбаросса, поправляя фитиль, чтобы лампа давала ровный свет на весь сарай. Когда рисуешь охранные чары, отклонение линии в четверть дюйма может стать не просто серьезной ошибкой, но роковой, — Даже если он отгрызет от меня еще немного мяса, у меня останется достаточно, чтобы с ним разделаться.

— Ты так думаешь? — Лжец насмешливо щелкнул языком, — Одной твоей предшественнице — если не ошибаюсь, ее звали Волоконница — Цинтанаккар на третий раз вырвал глаза. Ох и обескураженной же она выглядела!

Она уже пожалела о том, что вытащила его банку из мешка, мало того, поставила на поленницу, позволив обозревать приготовления. Стоило бы укутать ее поплотнее, а лучше вовсе выставить прочь из сарая. Лжец, может, отъявленный хитрец, которому не впервой наблюдать за хищником из Преисподней, но сейчас от его болтовни больше беспокойства, чем проку, тем более, что он, пребывая в дурном расположении духа, язвил сильнее обычного.

— Сколько из твоих приятельниц пытались вызвать Цинтанаккара на разговор?

Бургристой личико Лжеца скривилось на несколько секунд, темные глаза, изучавшие ее

сквозь стекло, замерли, сделавшись похожими на пару больших задумчивых мух, ползающих по несвежей раздувшейся дыне.

— Почти все. Видно, так уж скроены ведьмы, что пытаются договориться со всем, что не могут себе подчинить. Все твои предшественницы самодовольно полагали, что могут предложить монсеньору Цинтанаккару нечто такое, что заставит его отказаться от праздничного ужина. Наивные души! — гомункул невесело хохотнул, — Черт, они даже действовали сходным манером. Сперва пытались задобрить Цинтанаккара, принести ему дары или угощения, а когда убеждались, что он к этому равнодушен, переключались на посулы и клятвы. Если и это не приносило плодов, в ход шли угрозы... Все по учебникам демонологии и Гоэции, словно он не могущественный из сиамских охотников, а какая-нибудь адская блоха, заточенная в домашнем светильнике... Но мал-помалу они вынуждены были поднимать ставку. Боль и страх — плохие помощники в переговорах, Барби, а Цинтанаккар большой мастер по части их применения...

Четырнадцать сук, подумала Барбаросса, отбрасывая башмаками щепу и мусор с высвобожденного куска пола. Подумать только. И почти наверняка они все были сообразительнее меня, умнее, опытнее и подкованнее в этом искусстве. Наверняка были. Но все закончили одинаково. А ведь они тоже ходили на занятия профессора Кесселера и тешили себя тем, что умеют говорить с адскими владыками...

— Что они предлагали ему?

— Всё, — сухо произнес Лжец, взирая на нее сквозь стекло, — Всё, что у них было или могло бы быть или никогда не было. К исходу шестого часа они все готовы были пообещать ему Луну и россыпь из звезд — уже не за свободу, уже только за одну лишь безболезненную смерть.

Вот пидор, подумала Барбаросса, с тяжелым сердцем водружая шкатулку Котейшества в центр расчищенного пространства. Наверняка в адском царстве этот Цинтанаккар считается последним евнухом, которого сношают даже младшие духи, никчемной грязной парией среди демонического племени, вот он и отыгрывается на простых смертных, пытая их до смерти...

— А он?

— Я уже говорил тебе, — устало произнес гомункул, — Цинтанаккар не ведет переговоров. Как ты сама не ведешь переговоров с тушеным кроликом, что лежит у тебя на тарелке. Пытаясь вызвать его на разговор, ты лишь зря потратишь свое время на бесплодные попытки, Барби. Наше время.

— Но...

— Поверь, многие из твоих предшественниц мнили себя переговорщицами или дипломатками. Должно быть, привыкли своими ловкими язычками добывать себе авторитет, покровительство и деньги в мире смертных. Их ждало большое разочарование.

Барбаросса на миг прикрыла глаза, пытаясь собраться с мыслями. Видит Ад, сейчас ей как никогда нужен трезвый спокойный взгляд. Сопля в банке никчемна, но она знает много того, что может ей пригодиться, надо лишь научиться задавать нужные вопросы. Выводить его на то, что ей интересно, пропуская мимо ушей его пустопорожнюю болтовню.

— Он отвечал им? Лжец!

Гомункул неохотно покачал головой.

— Обыкновенно он даже не считает нужным удостоить жалких переговорщиц ответом. За все время, что я его знаю, он лишь единожды снизошел до разговора. Это была... Да, этс

была Ропалия, его восьмая жертва. Она в самом деле умела находить общий язык с адскими созданиями, знала великое множество ритуалов из Гоэции и в конце концов добилась у Цинтанаккара небольшой аудиенции, потратив на это половину отпущенного ей времени. Чертовски самоуверенная особа. Она начала с того, что пообещала ему фалангу своего безымянного пальца, — Лжец фыркнул, — Словно он был каким-то мелким бесом, которого можно удовлетворить шепотью человеческого мяса! Но Цинтанаккар отозвался — впервые на моей памяти. Возможно, его просто утомили ее бесконечные стенания. Он не принял ее предложения, но сделал встречное.

— Что он хотел?

— Ее палец. Ее уши. Ее нос. Ее губы. Ее груди. Все это ей надлежало самолично отрезать и поднести ему на золотом блюде.

— Она...

Лжец холодно кивнул.

— Сделала это. Талантливая девочка. Ей потребовалось три часа и хороший мясницкий нож, но она справилась, хоть едва не истекла кровью. Душечка Ропалия, моя попытка номер восемь...

— А он послал ее нахер.

Гомункул удовлетворенно кивнул.

— А ты уже неплохо знаешь его вкус, Барби, хоть и провела в общества монсеньора Цинтанаккара всего несколько часов. Совсем скоро вы сделаетесь так близки, что не разлить водой... Разумеется, он послал ее нахер. Как и всех прочих, думавших, что могут его задобрить своими жалкими подношениями, точно мелкого демоненка, повадившегося хулиганить в коровнике по ночам.

— А этот ублюдок мастак торговаться, — пробормотала Барбаросса, — Ему бы держать свой лоток в Руммельтауне...

— Вот почему я заклинаю тебя не терять попусту время. Что бы ты ни предложила ему, от этого не будет толку. Он знает, чего хочет. И он получит это, если мы с тобой не отыщем против него надежное оружие.

Тяжелая искра Цинтанаккара задрожала в животе. Не так, как дрожит при ходьбе попавший в сапог камешек, ритмично впиваясь в плоть на каждом шаге. Иначе. Словно бы со злорадством.

Он слышит, вдруг поняла Барбаросса. Все слышит и все понимает. Это не просто блуждающий по телу осколок снаряда, это злой ублюдок, прекрасно сознающий свою роль и наслаждающийся происходящим.

— Ладно, — Барбаросса стиснула зубы, — Допустим, мясом его не соблазнить...

— Не соблазнить, — подтвердил Лжец, как будто бы даже с некоторым самодовольством, — Он хищник, но высоко дисциплинированный и преданный своему хозяину. Запах мяса возбуждает его, но не пьянит, как других.

Демон, равнодушный к мясу? Барбаросса мысленно выругалась. Херовое начало. Может, она забыла больше лекций профессора Кесселера, чем в том торчала заноз, но некоторые вещи помнила хорошо. Все демоны любят человеческое мясо. Для большинства их братии оно — изысканное лакомство сродни лебяжьему. Не говоря уже о том, что человеческая кровь пьянит их, точно хорошее вино.

Вот почему опытные демонологи прибегают к предложению плоти лишь тогда, когда исчерпаны все прочие варианты. Если Цинтанаккар столь силен, что не поддается на такие

обещания, он уже на голову превосходит многих своих собратьев, повадки и поведение которых она изучала.

— Деньги? — предположила она, силясь сохранять спокойствие, — Многие демоны любят золотишко, ты же знаешь об этом?

— Только не этот.

— Врешь! — вырвалось у Барбароссы, — Чем тогда ему платит старик?

— Не знаю, но точно не золотом. Мой хозяин весьма... бережлив, а проще сказать, скряга каких свет не видывал. Он получает военной пенсии три гульдена в месяц, плюс еще два талера сверху от бургомистра, но торгуется из-за крынки молока ценой в три крейцера. Он никогда не стал бы платить демону золотом.

Барбаросса потерла пальцем висок.

— Сера? Свинец? Какие-нибудь блестящие штучки?

— Он равнодушен и к этому. Также его нельзя купить за куприт, осмий, орихалк[3] и халколиван[4].

— Может, он из породы умников? Я знаю пару тайных ходов в университетскую библиотеку. Там можно раздобыть парочку старых книг. Знаешь, той старой доброй поры, когда демонологи использовали листы из человеческой кожи вместо бумаги и кровь вместо чернил. Наверняка он...

Лжец отвернулся от нее, досадливо шлепнул рукой по стеклу.

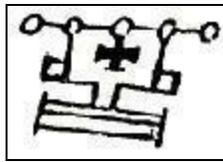
— Цинтанаккар цепной пес, а не ученый, — скучающе сообщил он, — Ему и дела нет до адских наук, тем более, что для него изыски ваших демонологов что печная сажа. Он сам — часть того мира, который вы отчаянно пытаетесь расшифровать, чтобы поставить себе на службу. И который медленно пожирает вас, используя эту страсть против вас самих.

Плевать. Она не станет слушать бормотание гомункула. У нее впереди прорва важной работы.

Замок на шкатулке представлял собой простую медную пластину с небольшим углублением по центру. Машинально облизав указательный палец, Барбаросса прижала его к пластине и почти тотчас ощутила короткий, но болезненный укол. Сокрытый в механизме крошечный демон удовлетворенно заурчал, отодвигая крохотные запоры. Эта кровь была ему знакома на вкус.

Лжец делал вид, что эта процедура ничуть его не интересует, но Барбаросса заметила, как внимательно он наблюдал за происходящим в отражении стекла. Глаза его на миг затуманились, безгубый рот сделал несколько безотчетных, как у младенца, сосущих движений. Ему тоже хотелось крови, поняла Барбаросса. Свежей сладкой человеческой крови. Маленькое жалкое чудовище. Бессильное, презираемое всеми, навеки заключенное в темницу, оно тоже состояло в родстве с Адским Престолом, а значит, знало цену этой багровой красной жидкости, текущей в человеческих венах...

Хер ему, мстительно подумала Барбаросса, демонстративно вытирая проколотый палец с выступившей карминовой каплей о дублет. Он еще не сделал ничего того, за что ему причиталась бы награда, наоборот, навлек на меня немало дерьма. Ни одна ведьма в здравом уме не поделится своей кровью с адским отродьем. Даже такая никчемная, как сестрица Барби, первая в Броккенбурге мастерица влипать в паскудные истории...



Шкатулка казалась небольшой, но хранила в себе до черта разных штук, некоторые из которых были хорошо известны Барбароссе, другие же она никогда не видела в деле.

Свечные огарки самых разных форм и размеров. Непримечательно выглядящие, они были отлиты не из воска, а из чистого озокерита[5], который добывают каторжники в жутких шахтах Гроссвурцельна, щедро расплачиваясь кровью с их плотоядными обитателями, озокерита, который Котейшество покупала в подпольных лавочках Унтершгадта за совершенно невыносимые с точки зрения Барбароссы деньги.

Несколько мелков черного и белого цвета. Полотняный мешочек, издающий при прикосновении хруст стекла, набитый осколками зеркал. Восемь длинных рыбьих костей, завернутые в папиросную бумагу. Крошечные свинцовые идола размером меньше шахматной пешки, с жутковатыми собачьими и крокодильими лицами. Тусклое зеркало в оправе из ржавых гвоздей, почти ничего не отражающее. Моток дорогой шелковой нити, алой, как рассвет в предгорьях. Маленькая тряпичная кукла с нарисованным желтой масляной краской лицом, поплывшим от влаги и превратившимся в смазанное пятно. Несколько длинных серебряных вилок с узкими и острыми, как гарпуны, зубцами. Пара колец черного металла. Плоские круглые коробочки из-под пудры и талька, наполненные мертвыми опарышами, кладбищенской землей, негашеной известью и прочими вещами, о которых Барбаросса почти не имела представления, но которые скрупулезным почерком Котейшества значились на бирках. Склянка, наполненная мелкими крысиными зубами. Маленький заскорузлый лоскут — она сама стащила его с эшафота из-под носа у подмастерьев палача, когда в прошлом году рубили голову отцеубийце...

Это была не просто коллекция оккультных штучек, что скапливаются в будуаре любой шалавы к третьему кругу обучения, это был солидный инструментарий, сделавший бы честь даже демонологу средней руки. Котейшество не даром столько лет хлопотала над своей шкатулкой, собирая штучки, которые, быть может, никогда ей даже не пригодятся...

Поколебавшись, Барбаросса стала выкладывать на пол те вещи, которые могли ей пригодиться. Серебряные вилки — однозначно. Шелковая нить, булавки, рыбы кости, осколки зеркала... Она не знает, к какому роду принадлежит Цинтанаккар, к какому из бесчисленных адских семейств, значит, придется действовать наугад. Плохо, но не страшно. Каковы бы ни были сиамские демоны, они вынуждены подчиняться общим правилам и традициям, а значит, она не так уж и безоружна...

Барбаросса решительно отложила обратно в шкатулку то, что не собиралась использовать — мутное зеркало, свинцовых идолов, банки с порошками и зельями... Сегодня ей не понадобятся инструменты специфического характера, созданные для специальных случаев, тем более, что они в большинстве своем слишком сложны для ее понимания, она ограничится самыми простыми и действенными вещами.

Одна из банок, которую она взяла обожженной рукой, прыгнула ей на колени, как живая, и хоть ее горлышко было плотно схвачено крышкой, Барбаросса едва не вздрогнула, разглядев, что наполнена банка не крысиными зубами и не опарышами, а белым гранулированным порошком. Он не выглядел зловещим, напротив, вполне безобидным, как обычный зубной порошок или толченый мел, но в шкатулке Котейшества обычно не обреталось столь невинных вещей. Надпись, сделанная ее аккуратным почерком на бирке,

колола глаз великим множеством алхимических значков и, кроме того, была совершенно бессмысленна сама по себе — «Трижды безжизненнокислое дерево». Барбаросса хмыкнула, машинально проверив, плотно ли сидит крышка. За этим названием, громоздким и бессмысленным как все алхимические вещи, скрывалась страшная штука.

Дьяволова перхоть, «тойфельшуппен». В прошлом году они с Котейшеством потратили три или четыре дня, разыскивая в Унтерштадте это зелье, а когда наконец разыскали, ощутимо облегчив свои кошельки, едва не поплатились за него жизнями. Чертова демонология может убить тебя даже без помощи демона...

«Тойфельшуппен» полагалось возжигать на блюде из червленого золота при общении с демонами высшего порядка, при горении он выделял резкий запах, который человеку мог показаться необычайно зловонным, таким едким, что выедало глаза, но для адских владык служил чем-то сродни изысканного благовония. Барбаросса осторожно встряхнула банку, наблюдая за тем, как пересыпаются внутри мучнисто-белые гранулы. Выглядит чертовски невинно, но это зелье алхимики Гросенхайма не случайно именуют «дьяволовой перхотью», требуя за него несусветных денег, говорят, если сгрести в кучу всех погубленных им демонологов, выйдет курган высотой с Альбрехтсбург[6]...

Прав был профессор Кесселлер, утверждавший, что чаще всего демонолога губит не демон, а его собственная невнимательность, отсутствие почтения к творимым им ритуалам. Котейшество относилась к «тойфельшуппену» с большим почтением и всеми возможными мерами предосторожности, ошиблась лишь в одном — в дозировке. Старый гримуар, который она раздобыла окольными путями в Шабаше и которым руководствовалась, рекомендовал использовать в ритуале лот[7] порошка, поджигая его при помощи дубовой лучины. Уже после, пытаясь обкорнать обожженные волосы ножом, Барбаросса поняла, что этот чертов фолиант наверняка был банальным «бухдернарреном[8]», ловушкой в форме книги. Созданием таких ловушек промышляли некоторые суки в Шабаше, обычно озорства ради, а может, вымещая вечно точашую их злость к товаркам. Они нарочно вписывали ошибки и неточности в ритуалы Гоэции и демонологии, как невинные, способные испортить демонологу разве что портки, так и смертельные, почти не оставляющие шанса уцелеть.

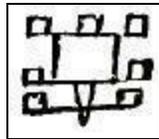
«Дьяволова перхоть» оказалась наивысшей очистки, она стоила каждого крейцера, который они за нее выложили. Едва только дубовая лучина коснулась порошка на блюде, полыхнуло так, словно перед ними распахнулись адские врата, а мира не стало видно за мириадами звенящих фиолетовых звезд.

Они выскочили из дровяного сарая полуослепшие и полуоглохшие, с тлеющими волосами и начисто сгоревшими бровями, с лицами красными, как у свежего висельника. Хвала Преисподней, Котейшество сообразила использовать в два раза меньше порошка, чем было предписано книгой, кроме того, держала лучину в клещах на длинной рукояти, но и того хватило — дровяной сарай не занялся только чудом. В тот раз рыжая сука Гаста охаживала их обеих ремнем с особенным остервенением...

Воспоминание было столь свежим, что Барбаросса машинально поежилась. Нет уж, блядь, спасибо, про сестрицу Барби многое говорят в Броккенбурге и не всегда несправедливо, но она еще не выжила из ума, чтобы использовать эту херню, да еще и без Котти. Чертово зелье, кажется, способно полыхнуть от одного только неосторожного взгляда... Проверив крышку, Барбаросса отправила склянку обратно в шкатулку, туда, где уже лежали свинцовые божки с нечеловеческими лицами, лоскутная кукла и прочие инструменты, не нашедшие себе применения.

Впрочем, одними только запасами Котейшества ее арсенал не исчерпывался.

Она машинально положила руку на обтянутый рогожей сверток, который она оставила лежать в густой тени у стены. Этот сверток она вынула из надежного тайника в Малом Замке, мельком проверив и убедившись в том, что его содержимое ничуть не пострадало. Это тоже был инструмент для общения с демонами, но не из арсенала Котейшества, а из ее собственного. Массивный, увесистый, он, в отличие от хрупких инструментов Котти, внушал ей уверенность, хотя едва ли был сейчас полезен — не против такого существа, которого она собиралась вызвать на разговор...



Она успела взяться за мелок и сдуть с него пыль, размышляя, как провести первую линию, когда до нее донесся скрипучий голос гомункула:

— Это мел? Ты решила чертить пентаграмму мелом?

Барбаросса не ответила. Стоя посреди дровяного сарая с мелом в руках, она прикидывала, как проложить основные линии и уже это требовало серьезного напряжения мыслительных сил.

— Барби...

Иди нахер, подумала она. Небольшое искажение, незаметное глазу, может привести к тому, что адские энергии потекут по защитным контурам неравномерно, а это быстро вызовет перегрев, от которого пол под ее ногами запросто может полыхнуть. И хорошо еще, если не полыхнет она сама, превратившись в мечущийся по сараю живой факел...

— Барби! — гомункул зло и нетерпеливо ударил ручонкой по стеклу, — Черт возьми, твой папаша не учил тебя, что это невежливо — молчать, когда с тобой разговаривают?

Нет, подумала она. Не учил.

Если отец и успел ее чему-нибудь научить за то время, что не был смертельно пьян, так это первому правилу углежога. Не велика заслуга, тем более, чем в Кверфурте оно известно всякому босоногому ребенку, начиная с четырех лет.

Никогда нельзя заглядывать в угольную яму, когда там полыхает огонь. На поверхности жар может казаться небольшим, да и дыма может быть немного, но если яма заложена на совесть, там, внутри, десятки центнеров полыхающего дерева, медленно превращающегося в уголь под воздействием ужасного жара. Стоит заглянуть в яму, как этот жар в миг оближет тебя с головы до ног, сорвав мясо с твоих костей и превратив в трещащую на краю шкварку...

Нельзя заглядывать в уже заложенную угольную яму, пока пламя полностью не прогорит. Мудрый совет. Небесполезный в Кверфурте, но здесь, кажется, от него было немного толку. Никаким другим наукам или правилам этикета отец ее обучить не успел.

— Чего тебе, Лжец?

— Ты ведь не собираешься чертить эту херню мелом? А если собираешься, значит, я серьезно недооценивал тебя — ты еще глупее, чем выглядишь. Мел сгодится для существ из низшего адского сословия, никчемных духов и демонических отродий. Если ты вздумаешь использовать мел для призыва монсеньора Цинтанаккара, то лишь рассердишь его — и кто знает, чем тебе это отольется...

Дьявол! Мел! Она забыла! Забыла!

Для тварей, занимающих высокое место в адской иерархии, не годится ни мел, ни чернила, ни даже хорошая тушь, смешанная с жабым пеплом. Такие обыкновенно уважают

только кровь. Использовать презренный мел означает унижить их еще до того, как они вступят в контакт с призывателем.

Блестяще, Барби. Твоя карьера в демонологии началась с грубейшей ошибки. Даже будь Цинтанаккар обычным демоном низшего сословия, за такой фокус он, пожалуй, разметал бы твои кишки по всему дровяному сараю, украсив его интерьер со свойственной его роду изобретательностью.

— Тебе-то откуда знать, слизь в банке? — огрызнулась она, бросая никчемный мелок, — Или сам великий заклинатель демонов?

Лжец фыркнул.

— На фоне тебя немудрено быть демонологом, Барби, ты делаешь ошибки, которых постыдилась бы даже безмозглая школярка.

— Тогда сам вылезай из банки и черти!

— Смею напомнить, мы спасаем твою шкуру, Барби, не мою. Цинтанаккар не очень-то жалуется консервированное мясо.

— Значит, вернешься на свой блядский кофейный столик! До конца жизни слушать старика фон Лееба о том, как он пялил сиамских мальчишек!

— Черт, просто раздобудь стакан нормальной крови!

Изрыгая ругательства, вспоминая всех своих предков по матери, Барбаросса бросилась к эйсшранку, замаскированного грудями лежалого хвороста в углу сарая. Хворост был колючий, как тысяча дьявольских когтей, она сама нарочно выбирала самую шипастую акацию, чтобы отбить у сестер-батальерок охоту лазить в дальний угол, и чертовски в этом преуспела, шипы акации врезались в тело не хуже, чем рапира в руке Каррион.

Эйсшранк был основательный, размером с хороший матросский рундук, куда больше сундучка Котейшества в Малом Замке. Не удержавшись, Барбаросса погладила рукой его холодный полированный металлический бок нежно-голубого цвета. Шесть гульденов, вспомнила она. Котейшество выложила за этот здоровый шкаф, похожий на железную деву, шесть полновесных саксонских гульденов. Все деньги, что она скопила за год, давая уроки прочим ведьмам, не столь сведущим в адских искусствах, зачаровывая грошовые амулеты для шлюх из Унтерштадта и прислуживая мелким адским владыкам. Чертовски солидная сумма для «тройки», на которую рыжая сука Гаста непременно наложила бы лапу, кабы могла...

Эйсшранк был отменный, тут ничего не скажешь. Лучший из всех, что можно раздобыть в Броккенбурге за звонкую монету. Не натужно гудящий жестяной шкаф, что можно купить за гульден, не дряхлая развалина, пышущая холодом так, что все предметы вокруг покрываются изморозью. Демоны, снующие внутри него, принадлежали к семейству его величества Бош, адского герцога, о чем свидетельствовал шильдик на его боку. «Бош» — это тебе не безымянный адский владыка, изъясняющийся лишь на непонятных человеческому уху птичьих диалектах, «Бош» — это солидное предприятие, обещающее долговечность и надежность. Не лишняя штука, когда имеешь дело с адскими чарами.

Барбаросса распахнула эйсшранк, потянув за хитро устроенную ручку, напоминающую арбалетную скобу. Большой шкаф распахнулся, окатив ее холодом, таким ядреным, что сами собой лязгнули зубы, а нос беспокойно заныл. Внутри царил даже не прохлада, а самый настоящий холод вроде того, что заглядывает в Броккенбург лишь на излете января. Трудлюбивые демоны, заточенные в полых стенках шкафа, с умопомрачительной скоростью, недоступной даже графским рысакам, сновали в полых стенках шкафа, отчего внутри эйсшранка всегда царил мороз. Барбаросса даже не пыталась уразуметь, как это

выходит — да и чего пытаться раскусить все тайны Ада, все равно их там бесконечное количество...

Эйсшранк не был пуст. Но Котейшество хранила там не пломбир, как в роскошных забегаловках Эйзенкрейса, и не сельтерскую воду с сиропом. Она хранила там материалы своей работы. Той, о которой было позволено знать лишь ей, сестрице Барби. Той, что обеспечила ее странным по меркам Броккенбурга прозвищем. Той, благодаря которой Малый Замок и окрестные районы Миттельштадта кишел чертовыми катцендраугами...

Мертвые кошачьи тела, посеребренные инеем, казались бездушными и тяжелыми, точно деревянные чурки, которые отец раскладывал штабелями перед тем, как запалить огонь в угольной яме. Слюна в оскаленных пастьях сделалась густой и прозрачной, как лак, выпученные в предсмертных муках глаза напоминали сухие ягоды, вставленные в глазницы. Неестественно вывернутые лапы, так и заоченевшие, переломанные хребты, открытые раны, которым так и не суждено заживиться, выпущенные желтоватые когти, которые, верно, царапали землю до последней секунды...

Чертово кошачье кладбище, подумала Барбаросса, с отвращением разглядывая этот крошечный заиндевший некрополь во внутренностях морозильного шкафа. Чертов Флейшкрафт.

Некоторых кошек она узнавала — по кличкам, данным им Котейшеством. Эта, тощая, грязно-рыжей масти, с ободраным хвостом — Мадам Хвостик. Грузовой аутоваген сбил ее неподалеку от Малого Замка, раздавив всмятку живот и грудную клетку, к тому моменту, когда Котейшество нашла ее, она еще дышала, но вскоре, конечно, издохла. Этот, потрепанный серый котяра, при жизни похожий, должно быть, на хорошего породистого нибелунга[9], лишившийся половины зубов — Маркиз. Юные стервы из Шабаша затравили его на улице, расстреляв из самострелов, Котейшество надеялась выходить его, но не успела, кот был слишком стар и сил в нем оставалось мало. Дородная кошка перечного цвета на трех лапах — Гризельда, живот у нее разбух не от щедрой кормежки, а от яда, красавец слева от нее — Маркус-Одно-Ухо, в его остекленевших глазах даже после смерти осталось столько злости, что аж смотреть жутко, верно, умер недоброй смертью, в углу, жутко ощерившаяся, с развороченной пастью, Палуга[10] — тут и гадать не надо, растерзали собаки...

Барбаросса выругалась сквозь зубы, пытаясь понять, сколько чертовых кошек в этом ящике и сможет ли она добыть хоть каплю крови из их замороженных сухих тел.

Некоторых кошек Котейшеству притаскивали младшие сестры, тайком от Гасты, других она подбирала сама, на улицах, не брезгуя ни сточными канавами, ни подворотнями Унтерштадта. Заботливо отмывала от грязи и прятала в дровяном сарае, чтобы позже, при случае, использовать в качестве материала при своих штудиях. И ладно бы она изучала алхимию, самое больше, провоняла бы едкой серой и химикалиями дровяной сарай, или пассаукунст — высушенные костяшки и лохмотья из человеческой кожи могут быть не самыми жуткими предметами интерьерера. Однако Котейшество не собиралась растрчивать свои силы на эти науки, годные лишь впечатлять крестьян, ее душа была отдана той, которая заставляла трепетать даже именитых императорских демонологов. Душа Котейшества была отдана Флейшкрафту.

Флейшкрафт, магия плоти, это тебе не невинное искусство узнавать судьбу по камням и цифрам, не ярмарочные фокусы с птичьими внутренностями и гадальными картами. Флейшкрафт — это, блядь, чертовски серьезная штука, сожравшая столько самоуверенных неофитов, что жутко и представить. Недаром изучать ее позволено лишь с четвертого круга,

а труды по Флейшкрафту под страхом смерти не покидают университетской библиотеки. Однако остановить Котейшество в этом стремлении было не проще, чем остановить выпущенную из мушкета пулю. Вознамерившись познать тайны и секреты плоти, она демонстрировала чудеса изворотливости, добираясь до новых знаний и поглощая их так жадно, как не принято поглощать даже сдобренное спорыньей вино в «Хексенкесселе». Добивалась разрешения старших сестер изучить их записи, находила и пристально исследовала обрывки старых книг, целыми днями пропадала в дровяном сарае, пытаясь на практике понять хитро устроенные механизмы, при помощи которых плоть существует, функционирует, растет и разлагается...

Плоть лишь кажется простой и бесхитростной материей, пока лежит на лабораторном столе или булькает в похлебке. Никчемный кусок мяса, безвольный, примитивно устроенный и ничуть не интересный. Тот, кто облечен силами Ада, в силах разглядеть процессы, протекающие внутри него, тысячи невидимых процессов, а то и влиять на них, заставляя саму жизнь, точно дрессированную змею, сворачиваться кольцами и выполнять прочие хитрые трюки. Вот только законы плоти устроены необычайно сложно и противоречиво, они управляются тысячами сложных правил и механизмов, оттого всякое бесцеремонное вмешательство в них часто приводит к самым паскудным последствиям. Куда более неприятным, чем сожженный в лабораторном тигле препарат...

Чтобы постоянно помнить об этом, Котейшество приколола кнопками к притолоке дровяного сарая крошечный портрет, вырезанный ею из газеты, портрет строгого господина средних лет. В противовес тем портретам, что собирала Саркома, этот был облачен не в живописно разодранный камзол, как шальные миннезингеры из квартета «Все Двери Ада», а в строгий дублет серой шерсти с простым воротом, имел тяжелый мощный лоб и густые усы.

Этого господина звали Игнац Земмельвейс, он был профессором Венского университета и звездой Флейшкрафта. Звездой, которая набралась слишком много жара и обречена была расплавить саму себя...

Профессор Земмельвейс, заработавший еще в юности прозвище Муттермердер[11] за свои опыты в венских родильных домах, потратил тридцать лет своей жизни, пытаясь найти метод повышения живучести плоти. Его начинания были чертовски многообещающими и сулили продлить жизнь самое малое на четверть века пусть даже и дряхлому старику, но завершиться им было не суждено. Терзая себя и подчиненных своими научными изысканиями, безжалостно раскрывая тайные законы плоти, недоступные человеку, профессор Земмельвейс на миг забыл, что имеет дело не с какой-нибудь презренной наукой смертных, годной лишь тасовать цифирь да пачкать все кругом чернилами, а с Флейшкрафтом, одной из могущественных запретных наук Ада, величайшей силой во вселенной.

Позже говорили, будто бы он, выполняя простой и бесхитростный ритуал по загодя подготовленной формуле, допустил ничтожную ошибку, спутав две незначительные переменные. Говорили также и то, что это было не трагической случайностью, а дьявольски коварной диверсией — одна из матерей, чей плод он умертвил двадцать лет назад, пробралась в лабораторию и стерла рукой несколько важных штрихов на схеме призыва адских сил. А еще говорили, будто бы никакой ошибки не было, просто адские владыки, раздраженные упорством Земмельвейса, пытающегося проникнуть в тайны жизни, просто захотели проучить зарвавшегося самоучку, вознамерившегося стащить драгоценные плоды из их сокровищницы знаний...

В тысяча девятьсот семьдесят шестом году профессор Земмельвейс, которому в ту пору стукнуло сто пятьдесят восемь лет, совершил выдающееся открытие в сфере живучести плоти. Он сам стал комом стремительно разрастающейся и необычайно живучей клеточной протоплазмы, воплотив в себе те принципы, которые зиждился открыть и подчинить своей воле. Причем протоплазма эта помимо невероятной живучести отличалась также агрессивностью — еще одно подтверждение старому правилу, гласящему, что жизнь во всех своих формах есть хищник, стремящийся урвать от окружающей среды пространство для существования и столько ресурсов, сколько представится возможным.

В первый же час существования в новом качестве профессор Земмельвейс поглотил, ассимилировал и сделал частью себя пятнадцать своих ассистентов, не успевших покинуть лабораторию. Через два он уже сам едва в ней вмещался — университетский корпус, в котором он проводил изыскания, дрожал и трескался под напором стремительно разрастающейся плоти, студенистой массой вытекающей из окон и сочащейся сквозь расширяющиеся щели.

Жизнь не знает ограничений, она двигается неустанно и свирепо, во всех направлениях, где ее не останавливают — один из извечных законов Флейшкрафта. Жизнь, началом которой стал сам профессор Земмельвейс, удалось остановить лишь после того, как в оцепленный квартал Вены спешно перебросили две фузилёрские роты столичного полка с огнеметами, а с неба залили адским огнем, превратив все в копоть и тлен. Чудом уцелевшие клочки этой жизни до сих пор продаются в Вене ловкачами по три талера за фунт, им приписывают чудодейственную силу, утверждая, что они превосходно справляются с мигренью, судорогами и водянкой...

Но даже если неукоснительно соблюдать все существующие правила, тайные и явные, это не защитит флейшкрафтера от трагической участи. Карл Рейнхард Август Вундерлих, еще одно светило Флейшкрафта, всю свою жизнь посвятил изучению болезней и добился таких успехов, что единолично остановил эпидемию холеры тысяча восемьсот шестьдесят шестого года в Лейпциге. Этот везде был осторожен и не допускал оплошностей, но его прыть, должно быть, раздражала кого-то в Аду. Или кто-то из адских владык был серьезно раздосадован, не получив причитающейся ему доли мяса.

Карл Рейнхард Август Вундерлих, светило Флейшкрафта, превратился в Фаулер-Риттера, гигантского рыцаря в броне из обожженной кости, обреченного вечно шагать по земле, рассыпая из щелей в своих доспехах споры чумы, холеры и тысяч прочих смертоносных болезней. Служа примером тому, что вопиющее усердие иной раз может причинить не меньше бед, чем варварское незнание.

Принимаясь за изучение Флейшкрафта, следует помнить, что флейшкрафтеры — это не милосердные старцы в белоснежных хламидах, которые излечивают болезни, изгоняя страдания и боль, это мясники-демонологи, для которых сама жизнь — не более чем мясо. Сложное, опасное и хитрое мясо...

Котейшество знала сотни примеров того, как Флейшкрафт обернулся трагедией по той или иной причине, но это ни на йоту не уменьшало ее желания овладеть этой наукой. Она и овладевала, читая допоздна добытые невесть где инкунабулы, отнимая от своих небогатых часов сна время на опыты — с хладнокровной безжалостностью армейского лекаря, отнимающего пробитые пулями конечности и кости.

Забавно, подумала Барбаросса, с неудовольствием ощущая на себе колючий взгляд пришипленного к притолоке газетного Земмельвейса, это в некотором смысле делает Котти

похожей на Панди. Они обе не терпели на своем пути препятствий и препон, обе стремились низвергнуть любые правила и законы, мешающие им достичь цели, обе превращались в одержимых, едва только увидев на горизонте цель. Только Котейшество добивалась своего прилежным штудированием, вкладывая всю себя в работу, Панди — ножом, когтями и тяжелыми сапогами, вминая в землю всякого, кто осмелился встать у нее на пути...

Постигая ночами азы Флейшкрафта, Котейшество изводила до черта масла для ламп и писчих перьев, но с этим еще можно было смириться — даже карга Гаста не осмеливалась корить ее за это, хоть и ворчала украдкой. Ни одна наука не покорится тому, кто думает вырвать у адских владык драгоценные знания, глотая сухую книжную пыль. Нужна практика — и Котейшество прилежно практиковалась, заменяя пылом неопита пока отсутствующие теоретические знания.

Наилучшим подспорьем для практики служили кошки, живущие в окрестностях Малого Замка. Задушенные из озорства гарпиями, растерзанные собаками, сбитые телегами и аутовагенами, они оказывались на столе у Котейшества, если в них оставалась хотя бы одна призрачная искра жизни. По мнению Барбароссы, большую часть этих тварей стоило бы сжечь прямо в печи, не выпуская во внешний мир, но Котейшество была непреклонна. Неустанно подвергая собственную жизнь не иллюзорной опасности во время опытов, она не могла отправлять на смерть своих новых питомцев.

Этих питомцев в самом скором времени расплодилось в окрестностях Малого Замка столько, что по ночам сестры боялись выходить во двор по нужде. Твари, бывшие прежде котами, не способные отказаться от своих старых привычек, выползали с темнотой из своих укрытий, спеша на охоту, и зрелище это было чертовски паскудное. Шустра клялась, что однажды видела на стене замка что-то вроде огромного богомола, покрытого кошачьей шерстью и с рыжим кошачьим хвостом.

Конец нашествию катцендраугов положила Каррион. Устав от постоянных жалоб сестер, она приказала подать в свой кабинет в башне мушкет с запасом пороха и на протяжении нескольких недель хладнокровно отстреливала всей тварей, имевших неосторожность показаться в окрестностях замка. Действенный метод. Перебить всех катцендраугов ей не удалось, очень уж много расплодилось их в Броккенбурге стараниями Котейшества, но популяция стала резко убывать, а оставшиеся обычно не осмеливались показываться на глаза.

— Закрой чертову коробку, — буркнул Лжец, — Или ты вознамерилась чертить пентаграмму холодной мертвой кровью? Во имя всех звезд в адской короне, если в Броккенбурге и существует самая никчемная ведьма, оскорбляющая Адский Престол одним только фактом своего существования, ты достойна служить у нее кухаркой...

В словах гомункула была правда. Некоторые обитатели адской бездны не имеют ничего против тухлятины, пусть и подмороженной, другие же — привередливые едоки, им требуется только свежая горячая кровь. Едва ли она облегчит свое положение, если оскорбит Цинтанаккара несоблюдением должных ритуалов...

— Где я достану тебе свежую кровь? Сцежу своей? — буркнула она и почти тотчас хлопнула себя по лбу, — Мышеловка!

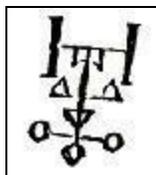
Вокруг Малого Замка издавна обитало целое полчище мышей. Не испытывающие никакого почтения ни к Адскому Престолу, ни к его вассалам, они способны были за одну ночь превратить в клочья оставленные на подворье сапоги. Армия катцендраугов почти истребила их популяцию в окрестностях замка, но стоило Каррион взяться за мушкет, те

вновь ощутили себя вольготно. Гаста, хоть и не признавалась в этом, отчаянно боялась мышей. По меньшей мере дважды в неделю она выгоняла всех младших сестер ночью с фонарями, дубинками и самодельными пиками — прочесывать окрестности и сокращать проклятое мышиное племя. Никчемная трата времени, с точки зрения Барбароссы, мышеловки оказалась куда как эффективнее против этой чумы. Шустра вчера ставила мышеловки вокруг Малого Замка, это она помнила точно. Если Гаста хлещет вино и, пусть даже на краткий миг, выпустила вожжи из рук, прислуга наверняка ощутила вольность, а значит, Шустра могла не проверить сегодня мышеловки и...

Ее ждала удача. Первая мышеловка оказалась пуста, но уже вторая принесла урожай — здоровую жирную крысу, уже немного окоченевшую, но явно свежую. Превосходно. Барбаросса ухмыльнулась, разжимая челюсти мышеловки. Этот ублюдок, возомнивший себя первый палачом Броккенбурга, не заслуживает ничего кроме крысиной крови. Жаль только, она не может напоить его ею...

Цинтанаккар молчал, но даже в молчании он был хорошо ощутим, точно игла, завязшая в боку. Барбаросса хорошо ощущала ее легкую дрожь. И хорошо знала, что придет за ней. Какой кусок ее тела в этот раз покажется ублюдку наиболее соблазнительным? Что он откусит?

Ничего не откусит, если ты будешь прилежной девочкой, Барби. Если будешь вести себя разумно, осторожно и... Словом, так, как не вела себя никогда в жизни.



Кажется, каждая крупинка упущенного времени тяготила гомункула не меньше, чем ее саму. Оставленный в дровяном сарае лишь на несколько минут, он изнывал от беспокойства так, что к ее возвращению уже метался в банке, точно беспокойная рыбешка, заточенная в чересчур тесном аквариуме. На его бугристом лице, сменяя друг друга, возникали и пропадали гримасы, напомнившие Барбароссе гримасы тряпичных болванчиков из уличного «Кашперлетеатра», то смешные, то жутковатые.

— Где тебя носит? — рявкнул он, сверля ее взглядом, — До начала представления десять минут!

Надо будет сделать ему камзол из носового платка, подумала Барбаросса, извлекая из башмака нож. И шляпу из куриного яйца. Из него выйдет отличный Дьявол для спектакля, особенно если соорудить из крысиного хвоста подходящие усы...

Спустить кровь из крысы было делом привычным, она не единожды помогала в этом Котейшеству, легко принимая на себя самую грязную работу. Крысиная кровь — паршивая штука. Густая, зловонная, цвета темной киновари, она быстро густеет и так же быстро сохнет, кроме того...

— Ты ни хера не знаешь, как рисовать защитные чары, так?

Знаю, зло подумала Барбаросса, просто собираюсь с мыслями. Мне нужна Печать Царя Соломона о шести лучах, но направлять их надо так, чтобы ни один луч не был направлен на восток и...

Лжец шлепнул себя по лбу. Учитывая его пропорции, это выглядело комично и нелепо.

— Я и забыл, что мне досталась самая никчемная ведьма из всех, что может предоставить Броккенбург. Печать Царя Соломона используют для заклинания высших

владык и их ближайших прислужников, но Цинтанаккар никогда не носил ливреи, он вольный адский дух. При общении с такими нет ничего лучше старой доброй пентаграммы.

Барбаросса ощутила себя уязвленной. Говорящая бородавка, помыкающая ей, была права. Она и сама это сообразила, но лишь секундой позже. Пентаграмма — далеко не самая совершенная фигура из числа тех, что используются в Гоэции. В ней нет сложных резисторных черт, как в некоторых других печатях, призванных преобразовывать и отводить от заклинателя потоки злых энергий. В ней нет ни Варикондового Узла изменяемой емкости, служащего для вящей безопасности, ни прочих удобных вещей, облегчающих работу, таких как Печать Холла, Элементаль Пельтье или даже простейший Игнитрон.

В ней почти ничего нет, кроме основных линий, украшенных сигилами, простейшего узора, который не меняется на протяжении тысячелетий, с тех пор, как первые ведьмы, подобные слепым корабелям, нащупывали свои тропы к сокровищницам Ада, еще не предполагая, что ищут и что в итоге обретут...

У простоты есть одно достоинство — она неизменно эффективна, как эффективны все самые простые и надежные вещи в мире вроде ножа. Некоторые демонологи тратили годы, кропотливо создавая печати призыва столь сложные, что у неподготовленных людей от одного только взгляда открывается кровь из глаз. Сложнейшие петли стабисторовых чар, невообразимые по сложности диодоганновые руны, чертимые только крокодиловой кровью, все эти саммисторные, платинотроновые, клистронные знаки...

Барбароссе становилось дурно от одной только попытки представить нечто подобное. Всякий раз, чертя простую и бесхитростную пентаграмму, она утешала себя тем, что сложность отнюдь не всегда залог успеха, а все мыслимые ухищрения не спасут тебя от страшной участи, если Ад и его владыки будут не расположены к тебе.

Какой-то тип из Магдебурга, говорят, положил восемь лет своей жизни, чертя безукоризненную гермесогамму[12], такую большую, что внутри могла бы уместиться телега с шестью запряженными конями. Чертил не обычным мелом, что можно купить в любой лавке по шесть крейцеров за фунт, а особым, добытым с хер знает какой глубины Йоркских шахт, наполовину засыпанных человеческими костями, линии же вымерял не линейкой, а кучей хитрых штук, которые сыщутся не у каждого землемера. Должно быть, хотел получить бессмертие из рук адского владыки, не меньше.

Все эти хитрости не спасли его шкуру, когда дело дошло до ритуала. Восхищенные его упорством демоны не разорвали беднягу, лишь только оторвали ему конечности и насадили на самый высокий флюгер в Магдебурге. Говорят, там он до сих пор и крутится, стеной, крича и проклиная собственную тягу к совершенству, оказавшую ему такую паскудную услугу.

Лжец оказался чертовски большим знатоком чар для существа, которое может поместиться в носовой платок.

— Кто учил тебя так чертить амбиграммы[13]? — брезгливо осведомился он, — Сельский маляр в твоём родном Кохльштадте[14] или как там его? $\Gamma\delta\epsilon\alpha$ читается недостаточно четко, перепиши ее. Да, так лучше. $\Delta\eta\rho$ из нижнего левого смещено на два градуса влево, это бросается в глаза. Все пять элементов, символизирующих начала, должны быть взаимосвязаны и равносильны, иначе...

Барбаросса едва не зарычала, ползая по полу дровяного сарая с кистью и склянкой крысиной крови. Чертовски непросто рисовать аккуратно и ровно, когда тлеющей шкурой ощущаешь каждую уползающую прочь минуту, когда пальцы ежеминутно пронзают дрожью

от ощущения того, что засевавшая внутри тебя игла шевельнулась...

— Смотрю, ты дохера специалист по чарам, а? Если так, преврати свою банку в хрустальную карету, эта милая мышка станет твоим скакуном, — Барбаросса трянула дохлой крысой, — Только не очень-то задерживайся на балу, пока я ползаю здесь отключив жопу с этими блядскими рисуночками!

— Завидуешь, сестренка? — Лжец осклабился, прикинув к стеклу, — Уж тебя-то точно не пригласят на бал, разве что это будет бал в местном лепрозории, где тебя нарекут королевой и...

Барбаросса ощерилась, поднеся дохлую крысу к самому стеклу, так, что она закачалась перед лицом у Лжеца.

— Кажется, еще недавно ты хотел скрепить наш союз кровью? Если ты не заткнешься, то в самое скорое время скрепишь союз с этой красоткой, потому что собираюсь засунуть ее в твою чертову банку!

Лжец что-то пробормотал, зло сверля ее взглядом, но заткнулся, видно, понял серьезность угрозы. Умный мальчик. Барбаросса ласково потрепала банку и вернулась к работе.

Этот сморчок с самого начала раздражал ее. Жалкий и бессильный, хлипкий как цыпленок, он был вооружен много лучше иных ее противников, но вовсе не ножом или когтями. Он был дьявольски наблюдателен и умен. Нарочно наблюдал за ней некоторое время, подмечая ее привычки и манеры, терпеливо вслушивался в доносящиеся до него отголоски ее мыслей, как прежде вслушивался в мысли своего пидора-хозяина, господина фон Лееба. И теперь возомнил, будто может управлять ею?

Не надо думать, что этот милый маленький сморчок хочет помочь тебе, Барби. Ты для него лишь средство, которое он вздумал использовать в своих целях, карета, которую он присмотрел себе для побега, и ничего более. До тебя он перепробовал четырнадцать прочих и каждый раз возвращался туда, откуда начинал, на осточертевший ему кофейный столик в доме старого извращенца.

Испачканная в крысиной крови кисть на мгновение замерла, не закончив сложный узел диодогановой руны.

Только подумать, четырнадцать раз. Этот малец, может, и выглядит как плохо законсервированный гриб, но уж в упорстве ему не откажешь. В его маленьком сморщенном тельце умещается больше решительности, чем в туше иного монфорта. А ведь, если подумать, его положение так паршиво, что практически безнадежно. Он пленник, причем пленник с незавидной судьбой, находящийся даже в более паршивом положении, чем многие узники саксонских тюрем и замков.

Говорят, паршивее всего живется в Вальдхейме[15]. Тамошние обитатели не скованны кандалами, вместо этого каждый носит прикованный к шее обруч вроде амулета, внутри которого обитает охранный демон. Стоит такому узнику перешагнуть запретную черту, как демон вырывается наружу и отрывает несчастному голову. Незавидная судьба, но эти несчастные, по крайней мере, вольны распоряжаться своим телом. Ну или, по крайней мере, свести счеты с жизнью, если существование делается тягостным и непосильным. Лжец лишен даже этой возможности. Он приговорен к своему кофейному столику в гостиной, обречен быть слушателем для выжившего из ума старика-садиста и его цепного демона. Незавидная участь, с какой стороны на нее ни посмотри.

Лишь только увидев ведьму с обожженным лицом, бесцеремонно вторгшуюся в его

тюрьму, он сразу сообразил, с кем его свела судьба. Дурак был бы, если б не сообразил. Но, хоть и не сразу, рискнул предложить ей руку помощи. Свою жалкую ручонку, слишком ссохшуюся даже для того, чтоб он смог себе подрочить. И это, черт возьми, заслуживало некоторого уважения — даже для такого жалкого существа, каким он являлся.

Эй, Лжец!

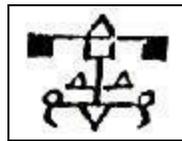
Несмотря на то, что гомункул отвернулся от нее, демонстрируя узкую ссохшуюся спину с жалкими крохотными ягодицами и позвоночником толщиной с зубочистку, он отлично слышал ее. А может, в магическом эфире ее мысли казались громче, чем рев замурованного в аутовагене демона.

— Что?

— Ты там не сдох еще в своей банке? Вроде нет, по крайней мере, ты не плаваешь кверху брюхом.

— Вполне жив, — сухо произнес Лжец, не пытаясь повернуться к ней лицом.

— А если не сдох, то помогай, чтоб тебя! У нас еще прорва работы впереди!



Работы и верно было до черта.

Пентаграмма — основа композиции, но не единственная ее часть. Помимо мела в шкатулке Котейшества помещалось до хера прочих штук, которые тоже требовалось верно установить.

Мелодично позванивающий шелковый мешочек, внутри которого находилась горсть зеркальных осколков. Вооружившись стащенной из замка свечой, Барбаросса приклеивала эти осколки горячим воском к стенам дровяного сарая, добиваясь определенного их сочетания. Некоторые надлежало крепить под определенным, четко выверенным, углом, другие — располагать на потолке или устанавливать так, чтобы они смотрели в нужные стороны света. Хлопотная, мелкая работа, непросто дающаяся ее грубым, не привычным к такому занятию, рукам. Ее обычно выполняла Котейшество своими тонкими и ловкими, как у белошвейки, пальчиками. Но даже без ее помощи работа двигалась быстро — у нее был талантливый ассистент.

— Не вздумай крепить больше четырех зеркал на южной стороне. Юг — владения императора Каспиела, а нам сейчас не требуется его внимание. Он отличается дурным настроением после заката, кроме того, не переносит число пять, эта пентаграмма разъярит его. А вот на западной стороне такого риска нет. Запад находится в введении Малгараса, его снисходительность может послужить нам защитой, если события будут развиваться в неправильном русле...

Дьявол. Она и забыла, до чего много деталей в сложной науке общения с демонами, которую принято именовать Гоэцией. Деталей, которые могут казаться несущественными, но которые способны превратить остаток твоей жизни в сущую пытку. Раньше ей не приходилось об этом заботиться. Раньше жизнь у сестрицы Барби была куда проще...

Кроме могущественных владетелей Ада числом семьдесят два, перечисленных в трудах Соломона, не следовало забыть и про братию из младших владык, числа которой не знали даже самые мудрые демонологи. При одной только мысли о том, сколько глаз, принадлежащих адским созданиям, пристально наблюдает за любым распахнувшимся в адские чертоги окном, Барбароссе делалось не по себе.

Восемь длинных острых рыбьих костей — их надлежало разложить на полу в определенной конфигурации, которая лишь на первый взгляд казалась случайной. Куб из темного металла с несимметричными гранями, теплый с одной стороны и прохладный с другой — этот в центр пентаграммы. Моток дорогой шелковой нити — ею Барбаросса со старанием паучихи оплела стены дровяного сарая, цепляя ее за крошечные медные гвоздики, вбитые в старые доски. Маленькая тряпичная кукла с нарисованным желтой масляной краской лицом, поплывшим от влаги и превратившимся в смазанное пятно. Куклу надлежало водрузить на специальную конструкцию из стали, напоминающую вычурный подсвечник. Шесть длинных серебряных вилок — их Барбаросса брала тряпкой, чтоб не обжечься, и вколачивала в косяки. Горсть яичной скорлупы, темно-коричневой, точно ее варили с луковой шелухой — ее надо было сыпать на пол в нужных местах, но так, чтобы она не касалась меловых линий...

— Не смотри на каждую вилку более пяти секунд, — поучал ее Лжец, — В магическом эфире твой взгляд оставляет отпечатки не хуже, чем твои грязные башмаки. Забивай на вдохе, не на выдохе, так искажение будет меньше...

Барбаросса выругалась сквозь зубы. Лампа, которую она прихватила в замке, была заправлена дешевым маслом и давала много копоти, от едкого смрада слезились глаза. Даже если бы она не спешила, эта кропотливая работа была чертовски утомительна, а она спешила — очень спешила.

— Шесть минут, — сухо произнес Лжец, — Достаточно времени, чтобы закончить, хоть я по-прежнему считаю, что ничего доброго из этого не выйдет. Или ты все еще думаешь, что Цинтанаккар заглянет на огонек как добрый сосед, чтоб поболтать с тобой о жизни за чашечкой кофе со сливовым вареньем?..

— Откуда это ты нахватался магических премудростей, гнилой орех? — спросила Барбаросса вслух, не отвлекаясь от работы, — Ты говорил, твой старик не занимался демонологией.

— Не занимался, — холодно подтвердил Лжец, — Господин фон Лееб был артиллеристом в отставке. Он, правда, проводил некоторые изыскания на пенсии, но в частном порядке, они не были связаны с Геенной Огненной и ее обитателями.

— Тогда откуда ты знаешь всю эту херню?

Лжец устало вздохнул, отчего жидкость в его банке едва заметно колыхнулась.

— Я прожил на свете семь долгих лет. У меня была возможность повидать мир, пусть даже и из банки. А господин фон Лееб не был моим единственным хозяином, как тебе известно.

Барбаросса кивнула.

— Я помню, ты рассказывал про лавку в Эйзенкрейсе.

— Она была лишь точкой в моем пути, пусть я и провел там немало времени. Но до того... — Лжец неожиданно усмехнулся, — Между прочим, я полтора года работал в почтовом отделении.

Барбаросса фыркнула.

— Разносил депеши и газеты? — не удержалась она, — Наверно, был самым быстроногим мальчишкой во всем городе? А почтовая карета из старой банки тебе полагалась? А мундирчик из золоченой фольги?

— ...сортировал корреспонденцию и гасил марки. Спокойная, основательная работа, оставлявшая мне время на размышления. Не такая хорошая, как у господина Римершмидта,

архитектора, но мне она нравилась.

— Хрена себе! Ты успел поработать у архитектора?

Лжец с достоинством кивнул.

— Год с небольшим. И нет, я не подавал ему кирпичи и не месил раствор.

— Ну и чем же ты там занимался? Дай угадаю... Чинил ему перья? Может, обгрызал заусенцы ему на пальцах, когда ему некогда было этим заниматься?

Лжец не стал ерничать в ответ. Чем меньше времени оставалось у них в запасе, тем напряженнее и скованнее он делался, точно окружающий его магический эфир медленно замерзал, сгущаясь и уплотняясь.

— Я проводил расчеты. В том числе и связанные с Гоэцией. Для грубой работы с камнем вмешательство адских сил не требуется, нехитрая наука, но если берешься за сложную конструкцию, без помощи адских владык не обойтись. Тебе приходилось видеть прославленный Каммершиль[16] в Мюнхене? Его работа. Четыреста тысяч центнеров отборного камня, сложнейшие архитектурные расчеты, внутренние покои, нарушающие законы бытия, логики и пространства...

Барбаросса машинально кивнула, даже не пытаясь представить таких цифр. Сейчас она думала только о том, чтобы осколки зеркала были прикреплены под тщательно выверенным углом, и ни о чем кроме.

— Изрядная работенка, наверно...

Лжец напыжился, отчего и без того маленькая банка стала казаться вовсе крохотной, жалкая цыплячья грудь угрожающе раздулась.

— Я помогал ему в расчетах. Высчитывал количество девственной крови для окропления фундамента, ну и вел некоторые другие работы. К слову, вышло всего тридцать семь тысяч шоппенов[17] — почти в два раза меньше, чем для фундамента лейпцигской консерватории, который заложили в том же году.

— Ну и хрен ли ты собрался в Броккенбург? Сидел бы у своего архитектора за бумажками...

Лжец криво усмехнулся.

— Как тебе известно, создания, к числу которых я имею счастье принадлежать, не могут похвастать свободой воли.

— Дай угадаю... Твой патрон вступил в какой-нибудь заговор против курфюрста и его разорвали на плахе? Или ему на голову упал какой-нибудь заговоренный булыжник?

— Ничего из этого. Господин Римершмидт погиб на дуэли.

— Что, ухлестывал за каждой юбкой? — насмешливо поинтересовалась Барбаросса, — Или и плундры тоже не пропускал?

— Он погиб на дуэли с господином Крайсом, другим архитектором. Они не сошлись во взглядах касательно перспектив многоуровневой архитектуры. Господин Крайс опубликовал довольно резкий памфлет о моем хозяине, тот вынужден был вступить за свою честь и...

— Короче, ему продырявили голову, твоему хозяину?

— Нет. Пуля господина Крайса прошла в трех дюймах от него. Но когда пришла его очередь стрелять... Пуля в его пистолете была зачарована двумя демонами сразу. Непростительная оплошность для такого опытного человека, как мой хозяин. Может, это была простая ошибка оружейника, а может... Скажем так, не стану исключать, что эту пулю нарочно вложил в его ствол секундант, подкупленный его противником.

— Два демона в одной пуле? Тесновато им там пришлось, а?

— Да, пожалуй, они были весьма рассержены. И не замедлили известить об этом мир, едва лишь вырвались на свободу. Господин Римершмидт... Если опустить ненужные подробности, они завязали его узлом. И это не фигура речи. Он остался в живых, даже сохранил некоторую толику рассудка, насколько я мог судить, но вот заниматься своим прежним делом уже не мог. Через несколько месяцев архитектурная контора была продана его супругой, а меня вместе со старой мебелью и писчими принадлежностями сбывли за полцены в «Сады Семирамиды», где и проторчал следующие полгода.

Барбаросса нахмурилась. Ей было плевать, где коротал срок Лжец, сейчас ее больше занимали рыбы кости на полу, не желавшие выстраиваться нужным образом.

— Считай, заработал отпуск, а? — пробормотала она, — Сиди себе на полочке да поплеывай вниз... Да и компания небось подобралась приятная, уж было с кем поболтать!

Лжец покачал головой. Всякий раз, когда он шевелился в своей банке, Барбаросса невольно замечала, до чего странно выглядят жесты, позаимствованные этим странным существом у своих хозяев и приспособленные к его собственной, не вполне человеческой, анатомии.

— Эти полгода были самым тяжелым периодом в моей жизни. Компания там подобралась изысканная, это верно, там можно было встретить гомункулов со всей Саксонии, даже из далекого Троссина, где варят превосходное ежевичное варенье, и проклятого всеми владыками Эберсбаха, где с неба вместо дождя до сих пор льет раскаленная смола, а ведьмам выкалывают глаза при рождении. Но вот на счет поболтать... Едва ли там собралось самое приятное общество.

— Чего так?

Лжец скривился, отчего его полукукольное личико на миг превратилось в жутковатую щербатую маску.

— Ты, наверно, заметила, что большая часть моих собратьев не отличается великим умом. Мозг некоторых не получил должного развития или же не успел сформироваться, другие попросту не нашли ему применения, вынужденные годами без всякого дела сидеть в своей стеклянной тюрьме. Любое оружие, с которым не упражняется владелец, делается мертвым грузом. Мышца, которая не знает нагрузки, атрофируется. Неудивительно, что многие мои товарищи по заточению были не разумнее заспиртованных грибов.

Это верно, подумала Барбаросса, живо вспомнив крошку Мухоглота. Небось на одного, свободно шпарящего на нескольких языках херувимчика приходится по дюжине никчемных искалеченных особей, которые способны разве что мычать да корчить рожи. Среди них и свое собственное имя, пожалуй, помнит не каждый.

— Премилое общество, верно, было у вас там.

— О, у нас подобралась славная компания, — Лжец усмехнулся, скосив глаза, — В самый раз чтобы раскинуть картишки и посидеть над ними с трубочкой. Тип слева от меня звался красивым греческим именем Аутофаг. Это не было его настоящим именем, так его прозвали мы, чтобы хоть как-то называть. Другого имени у него не было, а может, он его не помнил. Его прошлым хозяином был богатый купец из Лунценау, торговец хлопком и льном. Счастливчик. Для гомункула служба на этом поприще обыкновенно представляет прекрасную перспективу, даже если он не очень умен, в этой работе больше ценится прилежание и старательность. Знай составляй себе рескрипции, веди учет векселям, подсчитывай пеню... На такой работе можно кататься точно сыр в масле до конца жизни. Но Аутофагу не свезло — зная, не те кости выкинул архивладыка Белиал, определяя его

судьбу...

— Да ну? Подавился золотым гильденом, который хозяин по рассеянности уронил в его банку?

Лжец покачал головой.

— Его погубила купеческая служанка. Молодая сука, думавшая больше о своих трахарях с постоянного двора, чем о добре своего хозяина. Прибирая кабинет, она убрала колбу Аутофага в дальний угол кладовой. Наверно, приняла сослепу за банку соленых огурцов, случайно оставленную на столе. Там он и стоял следующие три года — в темном углу, в вечной тишине и темноте, заваленный всяким хламом, забытый всеми, никчемный — бессильный разум, запертый в пустоте. Обнаружили его случайно, когда делали по весне уборку. Но к тому моменту толку от него уже не было — несчастный Аутофаг, прошедший три года в абсолютной пустоте, не смог бы сложить два и два. Он потерял все навыки, которыми владел, даже навык членораздельной речи. Только мелко дрожал и непрерывно работал зубами, бесконечно что-то пережевывая... Знаешь, что он ел все эти годы?

— Иди нахер, — буркнула Барбаросса, чувствуя неприятный зуд в пальцах, которыми раскладывала на полу рыбы кости, — И думать не хочу.

Лжец ухмыльнулся, но не так, как прежде. В его темных болотистых глазах не мелькнуло злой искры. Может, впервые за все недолгое время их знакомства.

— Он пристрастился к каннибализму, наш бедный Аутофаг. А чем еще ему было заняться в своей банке, запертому наедине с вечностью? Когда его достали, он уже начисто обглодал обе свои руки и принялся за ногу. Эта привычка стала сильнее него. Собственно, все его существо, обглоданное безумием, к тому моменту только из одной этой привычки и состояло. Днем он еще мог сдерживаться, тем более, что мы мешали ему предаваться этому пагубному занятию, но ночью... — Лжец поморщился, — Черт. Даже сейчас, стоит мне остаться на минуту в комнате без горящей свечи, как мне кажется, будто я слышу скрип. Размеренный скрип его зубов, медленно перетирающих что-то мягкое, податливое...

Рыбья кость в пальцах Барбароссы предательски хрустнула, но, хвала всем владыкам, не сломалась.

— Чтоб тебя крысы сожрали, Лжец!

Гомункул печально улыбнулся. Забавно, раньше она и не замечала, что его улыбки отличаются друг от друга, слишком уж мало плоти на крошечных костях.

— Три минуты, — спокойно отозвался он, — Другого моего соседа звали Доктор Лебервурст[18]. По иронии судьбы, он тоже порядком пострадал — и тоже по милости своего хозяина. Думаешь, его хозяин был херов садист, любящий истязать крохотное существо? Как бы не так! Его хозяин, к слову, практикующий врач, души в нем не чаял и заботился лучше, чем иные о своих домашних питомцах. Ежедневно менял питательный раствор в его банке, смазывал язвы на его теле, разве что в масле не купал. Одним прекрасным днем он вытащил крошку Лебервурста из банки и положил на расстеленную на столе салфетку — собирался, кажется, обработать ему сыпь на пояснице. О благодетель! Как тут не поверить в то, что большая часть в мире учиняется не величайшими грехами, а величайшими добродетелями, последствия которых мы склонны не замечать, — Лжец скорбно покачал головой, — Уверен, его хозяин не замышлял ничего дурного. Может, даже от всей души желал ему добра. Но потянувшись за какой-то склянкой, оказался так неуклюж, что случайно уронил на своего маленького ассистента стоящую на другой полке книгу. Это был «Vonn dem Bad Pfeffers in Oberschwytz gelegen» Парацельса. Тебе должен быть знаком

этот труд, его проходят в университете. На твоей каменной голове он оставил бы разве что шишку, но для существа с телосложением новорожденного мышонка это совсем другая сила. Беднягу раздавило всмятку, так, что он сделался похож на плохо сваренное яйцо. Другой на месте его хозяина, погоревав, вышвырнул бы горемыку в огород, чтобы там его сожрали муравьи. Но доктор, видно, был совестлив по натуре, а может, от природы имел деловую хватку. Он отнес своего раздавленного помощника обратно в лавку, в которой его покупал, и, представь себе, даже смог вернуть назад два талера из его стоимости. Доктор Лебервурст был моим соседом целых три месяца. Мудрый малый. Мы частенько болтали с ним на разные темы, хотя, по правде сказать, говорить приходилось в основном мне — то бульканье, которое он из извергал из отверстия, что мы считали ртом, было весьма непросто понять...

— Сука... — выдохнула Барбаросса, — Хозяину той лавки стоило бы не продавать вас, а показывать зрителям, мог бы брать по грошу за вход. Херова кунсткамера...

Лжец склонил голову в карикатурном подобии поклона. Будто принимал аплодисменты.

— О, это были еще не самые примечательные образчики из нашего общества, уж поверь мне. Через две банки от меня располагалась Железная Маркиза. Вот уж при виде кого ты точно промочила бы портки, Барби. По правде сказать, от рождения она имела признаки сильного пола, хоть и скудные, так что ей полагалось бы быть Маркизом, но... Судьба — суровая стерва. Его хозяйкой оказалась прелестная шестилетняя девочка из знатного рода оберов. Должно быть, гомункула ей купили в качестве игрушки, совсем позабыв сказать, что мы хрупки и совсем не предназначены для игры. Несколько дней она развлекалась с ним, как с куклой, одевая в сшитые из шелковых обрезков платьица, а потом... Должно быть, она отвлеклась всего на минутку, ты же знаешь, как непоседливы дети. Этой минутки вполне хватило их домашней кошке, чтобы добраться до забавной зверушки, которая впервые оказалась не под защитой стеклянной банки. И тоже поиграться с нею — на свой манер.

— Охерительно рада за него, — рыкнула Барбаросса, — За него — и за всю вашу блядскую компанию уродцев. А теперь, если не возражаешь...

— Она знатно его потрепала, но самое большое испытание ждало его впереди. Обнаружив своего любимца растерзанным, точно воробей, добросердечная девочка залилась слезами. А может, просто представляла себе взбучку, которую зададут ей родители, обнаружив случившееся. Она не придумала ничего лучше, чем попытаться вернуть ему первоначальный вид, скрепив при помощи сапожных гвоздиков, кнопок и проволоки. Дети — простодушные существа. Она в самом деле верила, что никто этого не заметит. Черт! В нем было столько железа, что он стал весить втрое больше прежнего, а уж выглядел...

— Черт, на фоне этих красавцев ты, должно быть, был настоящим принцем! — зло бросила Барбаросса. Сколько осталось?

Голова Лжеца дернулась на крошечной шее. Как если бы он скосил глаза на часы, которых у него не было.

— Минута с небольшим.

Она уже ощущала, как зудит засевший в мясе осколок Цинтанаккара. Зудит, наливаясь тяжестью, нетерпеливо ерзает, рвется наружу... Каждая секунда втыкалась в кожу крохотной серебряной булавкой. Каждая крупинка времени падала сокрушительным валуном.

Сестрица Барби — не мастер переговоров. Слишком уж часто привыкла полагаться на свои кулаки, сминая препятствия больше напором и звериным нравом, чем ловкими

маневрами да болтовней. Но она, черт возьми, заставит Цинтанаккара ее выслушать!

Гомункул тоже был напряжен до предела, под тонкой кожей вздулись, натянувшись струнами, сухожилия, такие же тонкие, как шелковая нить, которой Барбаросса оплетала стены дровяного сарая, образуя сложный узор. Видно, потому и болтал — пытался унять грызущее его изнутри беспокойство.

— Ты права, это была чертова кунсткамера. Выставка увечий и уродств под крышей обычной лавки. Но для нас, обитателей «Садов Семирамиды», это было что-то вроде Ада. Места, в котором искалеченные души встречаются друг с другом на короткий миг, прежде чем течение безжалостной жизни не увлечет их дальше, к новым хозяевам... Стыдно сказать, какое-то время я даже пытался помочь им. Не сбежать, конечно, я и сам находился в их положении, просто облегчить боль. Ночами я разговаривал с ними, моими несчастными соседями, утешал, наставлял, выслушивал, пытаюсь сохранить в их искалеченных душах подобие рассудка. Тщетные усилия. С тем же успехом я мог бы проповедовать перед сборищем кукол или набором столовой посуды. Они были слабы, а я был молод и глуп... Нелепо думать, будто рассыпанные по столу хлебные крошки могут изменить свою участь. Лишь многим позже, оказавшись у господина фон Лееба, я понял, что избрал неправильный путь. Мне надо было не проповедовать, но собирать. Извлекать крупички опыта, рассеянные среди нашего несчастного народа, выплавлять драгоценную породу из редких самородков, собирать, систематизировать, размышлять...

Забавно, подумала Барбаросса, ощущая, как заноза Цинтанаккара делается ледяной, точно наконечник рапиры, обломанной в ее груди. Забавно, что именно в этот миг, за считанные секунды до начала ритуала, она вдруг вспомнила кое-что из недавнего прошлого. Неважную, в общем-то деталь. Один вопрос, который она задала Лжецу в «Хромой Шлюхе», так и не получив ответа. Ледяная игла Цинтанаккара словно поддела засевающую в памяти занозу, мгновенно высвободив ее. А может, этой иглой было не вовремя упомянутое имя — фон Лееб.

Господин фон Лееб имеет полное право приобретать столько гомункулов, сколько сочтет необходимым, я всего лишь поставщик.

Насколько мне известно, он отставной военный.

Я уже сказал вам, сударыни, что ничем не могу вам помочь. Эти гомункулы не продаются.

Четырнадцать голов, если позволите.

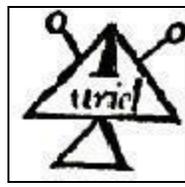
Совершенно верно, сударыня, он купил их всех.

Она слышала это в... В «Садах Семирамиды», когда вместе с Котейшеством пыталась раздобыть гомункула взамен почившего в цветочной кадке Мухоглота. В той самой лавке, в которой за несколько лет до того успел побывать сам Лжец. А равно сотни его собратьев по несчастью. Старик фон Лееб и был тем выжившим из ума хером, который скупал консервированное мясо в банках целыми дюжинами. Но...

Она должна спросить об этом Лжеца. Наверняка должна.

Барбаросса открыла рот, не обращая внимания на дергающуюся иглу Цинтанаккара в груди. Но спросить ничего не успела, потому что Лжец вдруг забился в своей банке, точно рыбешка, поднимая пузыри и судорожно размахивая руками.

— Время! Пора начинать, Барби, что бы ты там ни собиралась сделать!



— Upphaf vinnu.

Первые слова формулы самые простые. Она не раз произносила их, заклиная всякую мелкую нечисть, научившись в конце концов не только дотошно соблюдать фонетику и синтаксис демонического языка, но и безукоризненно артикулировать каждый слог. Но там речь шла о созданиях, способных своей силой разве что зажечь свечу, а здесь...

Барбаросса стиснула зубы. Она ощущала себя врачом, которому предстоит провести операцию на собственном чреве. И который даже не представляет, что обнаружит, протянув ланцетом по коже, распахнув наружу собственное истекающее кровью нутро.

Цинтанаккар напрягся у нее в животе. Потяжелел, словно наливаясь холодным свинцом. Услышал. Услышал родную речь, трижды проклятый выблядок.

Что будет, если она ошибется хотя бы в одном звуке или выберет неверную интонацию? Разорвет ее пополам, заляпав кровью дровяной сарай? Если так, Кандиде, Шустре и Острице придется не один день работать здесь тряпками, собирая все то, что осталось от сестрицы Барби. Наверно, им придется использовать большую лохань, которую обычно используют для стирки, но и тогда придется чертовски повозиться, чтобы собрать все маленькие косточки, разлетевшиеся по углам, все жилки, лоскуты кожи, клочья волос...

Барбаросса стиснула зубы. Привычно, как перед дракой.

Демоны несоизмеримо могущественны по сравнению с людьми, жалкими букашками, ползающими у них в ногах и довольствующимися лишь крохами их сил, объедками, что они кидают под стол. Но даже самые могущественные вынуждены повиноваться правилам, вечными, как сам Ад. На том и стоит мироздание.

— Цинтанаккар! Ég hringi í þig!

Свинцовый сгусток выпростал из себя острые крючки, которыми впился в ее трепещущее мясо. Заворочался, заставив Барбароссу рыкнуть от боли, прижимая руки к животу. Сука. Она знала, что будет больно, но не знала, что так...

- Ég hringi í þig! — вновь приказала она, — Ég býð þér í þínu nafni og í nafni meistara vors Satans!

Это было блядски непросто. Даже одно слово на наречии Ада наполняло рот затхлой вонью старого конского кладбища, обжигая слизистую и царапая острыми иглами нёбо. От короткой фразы звенели и ерзали на своих местах, наливаясь огнем, уцелевшие зубы, а язык съезживался, превращаясь в подобие гнилой рыбины, бьющейся в пересохшем ручье.

Смех. Барбаросса не сразу поняла, что колючая вибрация в ее животе, пронзающая мягкие ткани тысячами гнутых булавок, это смех запертого в ее теле демона. Дьявол. Демон не должен смеяться, слыша собственное имя. По меньшей мере ему стоит тревожно замереть, потому что тот, кто владеет его именем, владеет и его вниманием. Это еще не власть над ним самим, лишь ключ к ней, но...

— Цинтанаккар! Mig langar að sjá þig!

Демон, заинтересованный в разговоре с призывающим его человеком, должен явиться пред его глаза. Обрести зримую форму, обозначить себя в пространстве. Эта форма может быть любой — соблазнительной, пугающей, завораживающей, чудовищной. Губернатор Ботис, по слухам, является в виде гигантской гадюки с двумя рогами, чешуйки которого

отлиты из платины и серебра. Герцог Берит предпочитает псевдочеловеческую форму, он принимает вид всадника на алом коне, облаченного в огненную кольчугу, с золотой короной на голове. Губернатор Хаагенти нередко является в виде быка с огромными орлиными крыльями.

Но есть и другие формы, куда более причудливые и пугающие. Барбаросса слышала о демонах, что являются в виде переплетения геометрических фигур, причем столь противоестественного, что от одного взгляда на них можно обезуметь и выдавить себе глаза. И о других, являющихся в виде разлагающейся коровьей туши, парящих в воздухе медных ключей, гигантов с выпотрошенным животом, каменных псов, летучих мышей, плывущего в воздухе огня...

Она не хотела думать о том, какое обличье примет Цинтанаккар. Едва ли такое, чтобы порадовать ее взгляд. Скорее, что-то отвратительное и неприглядное, нарочно созданное для того, чтобы лишить ее духа.

Барбаросса вдруг ощутила, как в носу набухло и лопнуло что-то горячее, едва не разорвав ноздрю. На грудь дублета выплеснулась толчком кровь, ярко-карминовая, теплая, ее собственная.

Наверно, на его языке это что-то вроде «Привет».

Сука. Барбаросса задрала голову, пытаясь унять кровотечение.

А ты, блядь, думала, что он потреплет тебя ладошкой по щеке? Может, подарит букетик цветов?..

— Цинтанаккар! Mættu hér! ég panta! Ég bíð!

Он не спешил явиться на зов. С другой стороны — Барбаросса ощутила, как пот на ее спине становится то обжигающе горячим, то ледяным — с другой стороны, Цинтанаккар еще не оторвал ей нос или что он там собирался сделать? Он словно... Заинтересованно слушает, подумала она. Молчит, выжидая невесть чего.

— Кажется, он не спешит... — процедила Барбаросса одеревеневшим языком.

— Он не придет, — раздраженно бросил Лжец, — Я же твердил тебе об этом тысячу раз. Цепные псы не вступают в переговоры.

Гомункул и сам сжался от напряжения в своей банке. Приник ручонками к стеклу, под тонкой шкуркой напряглись смешные цыплячи жилки. Точно пытался напряжением своего тщедушного тельца помочь ей, Барбароссе, выдержать взгроможденную на ее загривок ужасную тяжесть.

— Komdu hingað! Ég vil tala við þig!

Цинтанаккар насмешливо зазвенел под ребрами, заставив ее застонать. Нет, он не спешил представать перед ее глазами. Не рвался к встрече. Кажется, его вполне устраивало текущее положение вещей. Маленький крысеныш...

— Frumstilling! Upphaf samræðunnar!

Цинтанаккар сдавил в ее животе какой-то нерв, отчего Барбаросса едва не вскрикнула.

Кровь, текущая из носа, хлюпала на губах, смазывая слова. Ее приходилось стирать рукавом, вновь и вновь набирая воздуха для новых команд. Звучащих чертовски зловеще, но не более действенных, чем снежок из печной сажки, рассыпающийся прямо в руке.

— Сука... Athugun á virkni. Svar!

Цинтанаккар заскрежетал зубами по ее позвоночнику, вызвав отчаянную резь в спине.

Он игнорировал команды, откровенно насмехаясь над ней.

— Segðu nafnið þitt! Leyfðu mér að sjá þig!

Уже одно это само по себе странно. Как бы ни был устроен демон, в чьей бы свите ни состоял, какую бы родословную ни вел, он относится к адскому племени, а значит, должен подчиняться основным командам. Или, по крайней мере, реагировать на них. Этот же... Черт, господин Цинтанаккар, обитающий в замке под названием Сестрица Барби, кажется, не считал нужным вообще замечать ее усилий, а если отзывался, то лишь насмешливо теребя ее потроха своими лапками.

Барбаросса стиснула зубы. От демонического наречия в горле клокотала кипящая слюна, язык был покрыт маленькими ранками и запекшейся сукровицей. Еще немного — и она спалит нахер собственную голову...

Среди демонических команд встречаются чертовски сложные, одно только произношение которых сродни исполнению сложнейшей арии. Но есть и более простые средства. Котейшество научила ее некоторым командам, вполне простым и действенным, может быть, как раз на такой случай.

- Þvinguð frumstilling!

Цинтанаккар провел рукой по ее легкому, заставив его обмякнуть, а ее саму — едва не захлебнуться криком.

— Frumstilling! Sýndu sjálfan þig og segðu mér hvað þú heitir!

Барбаросса облизнула губы.

Странный демон. Трижды проклятая сиамская погань.

С тем же успехом она могла бы не отдавать команды на демоническом языке, а зачитывать рецепт медовых коржиков. Демон просто-напросто игнорировал их, как сложные, с запутанным синтаксисом, которые она составляла с изрядным трудом, так и самые простейшие, из числа тех, которые ее заставила вы зубрить Котейшество.

Это было паршиво. И странно.

Демон может разъяриться, если обратиться к нему фамильярно или грубо. Демон может заинтересоваться, если услышит что-то небезлюбопытное ему. Демон может проявить себя — тысячей возможных способов, некоторые из которых вполне смертоносны. Это то же самое, что кидать камни в пруд. Может, ты не заставишь этим водную стихию подчиняться тебе, но, по крайней мере, увидишь всплески на поверхности — след того, что твои послания доходят до адресата. Но этот...

Этот словно нарочно вел себя так, как не полагается вести его племени. Никак не реагировал на все обращенные к нему команды, насмешливо наблюдая за ее попытками изнутри и пробуя на зуб ее внутренности. Верно, в традициях Сиама какие-то иные правила для взаимоотношений между демоном и демонологом.

А потом...

— Проткнутая свиным хером старуха... — пробормотал вдруг Лжец, так отчетливо и громко, будто стоял не на поленнице в пяти шагах от нее, а на ее правом плече, — Кажется... Ты чувствуешь? Ты чувствуешь это, Барби?

Она чувствовала, хоть сама не знала, что. Просто воздух в дровяном сарае, еще недавно прохладный, проникнутый едким запахом лампового масла, сделался как будто мягче, податливее, наполнившись мгновенно запахом крахмала, ароматом камелий и вонью мокрой собачьей шерсти. А еще в мире стало больше звуков. Если раньше она слышала лишь треск масла в горячей лампе да едва слышное ворчание Лжеца, сейчас на периферии ее слуха возникло множество новых, ни на что не похожих, состоящих будто бы из перемешанных привычных кусков, звуков, которые одновременно могли быть цоканьем копыт, гулом

дождя, треском травы и скрежетом сминаемых гвоздей.

Цинтанаккар был где-то рядом. Выбрался из своего убежища в ее кишках, на миг дав передышку измученным внутренностям. Она не ощутила внутри блаженную пустоту, но игла, коловшая ее изнутри несколько часов, хоть и не растворилась, будто бы немного притупилась. Стала маленькой и не острой, как обычная щепка.

Он здесь. Цинтанаккар здесь. Где-то рядом. Явился на ее зов.

Это определенно ей не мерещилось, внутри дровяного сарая происходили вещи, которые невозможно было объяснить забравшимся внутрь осенним сквозняком или шалостями шмыгающих на подворье мышей.

Огонек в лампе испуганно метался из стороны в сторону, иногда застывая в неестественной для крохотного лепестка пламени положении. Сложенные в поленницу дрова поскрипывали вразнобой, то громко, то тихо. Натянутые на медных гвоздях нитки тревожно запели, точно струны, задетые невидимой рукой. Эйсшпанк в углу тревожно загудел, будто на него упал желудь, хотя Барбаросса отчетливо видела, что ровным счетом ничего к нему не прикасалось.

Лжец застонал в своей банке, прижимая ко рту скрюченные ручонки.

— Дьявол!.. Я еще пожалею, что помог тебе это устроить, Барби... Я пожалею, мы оба пожалеем... Он тут, я чувствую его. Эфир вокруг аж бурлит... Во имя всех владык, зачем я позволил тебе...

Его стон был беззвучным, как и произнесенные им слова, но неприятно впивался в барабанные перепонки. Барбаросса шикнула на него и осторожно, так, чтобы не потревожить ни единой линии, села в центр выписанной мышью кровью пентаграммы.

Не испорти ничего. Ради Адского Престола, хотя бы раз сделай все как надо, Барби.

Будь терпеливой, будь осторожной, будь мудрой.

Существо, которое сейчас наблюдает за тобой, скрывшись за колеблющимся пламенем лампы, это не сука, которой ты можешь раскрошить череп, не обидчик, с которого ты можешь взыскать должок кровью. Это демон. Блядски опасное существо, способное выпотрошить тебя мановением пальца...

Лжец вдруг тонко пискнул, прижимаясь к стене своей банки. Забился в дальний угол, сжавшись там, сделавшись похожим на комок полупереваренной протоплазмы.

— Он здесь, — прошептал он почти благоговейно, — Монсеньор Цинтанаккар здесь.

[1] Генрих Кунрад (1560–1605) — немецкий алхимик, оккультист, врач и философ.

[2] Дворец Мозизгкау — построен в 1752-м году как летняя резиденция принцессы Анны Вельгимины Ангальт-Дессау.

[3] Орихалк — мифический металл или сплав, фигурирующий в древнегреческой мифологии.

[4] Халколиван — мифический металл из Библии, родственник меди.

[5] Озокерит («горный воск») — подземный минерал из группы битумов, похожий на пчелиный воск.

[6] Альбрехтсбург — резиденция саксонских курфюрстов, возведенная в Мейсене в конце XV-го века.

[7] Лот — старогерманская мера веса, равная 1/32 пфунда или 14,6 гр.

[8] Buch der Narren (нем.) — «Книга дураков».

[9] Нибелунг — порода длинношерстных кошек, являющаяся ответвлением от русской голубой кошки.

[10] Палуга — мифическая кошка-людоед из валлийских легенд.

[11] Muttermörder (нем.) — «Убийца матерей».

[12] Фигуры с таким названием в геометрии не существует. Немецкий математик Иоганн Густав Гермес в 1894-м году разработал метод построения правильного многоугольника с 65 537 углами и 65 537 сторонами.

[13] Амбиграмма — узор графического письма (каллиграфии), позволяющий совместить два различных прочтения в одном элементе.

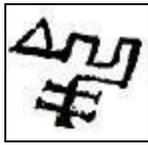
[14] Kohle (нем.) — уголь. Кохльштадт, дословно, «Угольный город».

[15] Вальдхейм — старейшая тюрьма на территории Саксонии, основанная в 1716-м году и используемая по настоящий день.

[16] Münchner Kammermusik — концертное здание для камерной музыки в Мюнхене.

[17] Здесь: примерно 26 000 литров.

[18] Лебервурст (нем. Leberwurst) — сорт ливерной колбасы мягкой консистенции.



— Господин Цинтанаккар! Великий владетель, повелитель жизни и смерти, хозяин адских энергий, покровитель презренных, защитник мудрых, владыка материи и сиятельный дух Адского Престола! Я, Барбаросса, ничтожная ведьма, молю тебя явиться ко мне и удостоить разговором!

Формула выглядела неуклюже — она сама ее сочинила, используя некоторые обрывки из тетради Котейшества и принятые в среде демонологов обороты. Наверняка она была никчемна с точки зрения настоящего специалиста по Гоэции, вмещала в себя мелкие ошибки, внутренние противоречия и неточности, но сейчас ей было плевать на это. Едва ли Цинтанаккар разорвет ее за взгляд, брошенный не в ту сторону или пустячную оговорку. Этому выблядку нужна сестрица Барби, вся, до последнего волоска и последней капли крови. Он не формалист, чтущий каждую букву ритуала, не какой-нибудь пидор-церемониймейстер в засыпанном пудрой парике, он — мясник, возомнивший себя зодчим, безумная цепная тварь на услужении старика...

В деревянном сарае бахнуло. Так громко, что крыша над головой затрепетала, будто бы приподнявшись на пару дюймов, а стропила тревожно заскрипели. Серебряные вилки, забитые в дверные косяки и притолоки, засветились мягким жемчужным светом. Начертанные мышшиной кровью линии на полу негромко зашипели.

Что это могло означать на языке демонов? Заинтересованность? Презрение? Насмешку?

Барбаросса попыталась дышать размеренно, через нос, как учила Котейшество. Вполне возможно, сейчас вокруг нее бушует столько адских энергий, что сделай она шаг за пределы пентаграммы — мгновенно превратится в воющую щепотку пепла на полу. Или чего похуже.

— Цинтанаккар, великий демон! Позволь мне, жалкому червю, не владеющему даже толикой твоих сил, выразить тебе свое почтение и приникнуть к твоим стопам! Яви свою милость, удостой меня аудиенцией!

С потолка посыпался мелкий древесный сор вперемешку с клочьями столетней паутины, набитый дохлыми котами эйсшпанк громыхнул так, точно по нему ударили дубинкой. По деревянному сараю распространился запах гнилой мяты.

— Он тут... — прошептал Лжец, мигом растерявший весь свой апломб и весь свой едкий сарказм, — Он явился... Делай свое предложение, ведьма! Делай, пока он не испепелил нас обоих!

Барбаросса сглотнула. Несмотря на то, что единственным источником огня в сарае была лампа, водруженная ею на пол, открытыми участками тела она ощущала такой жар, точно находилась внутри полыхающего Друденхауса, набитого истошно кричащими ведьмами.

Он явился. Он ждет твое предложение, Барби. Не оплошай.

— Цинтанаккар! — произнесла она в третий раз, — Владетель боли и удовольствий, жрец высших наслаждений, хозяин мудрости, страж мироздания! Я... я сознаю, что дурно поступила. Я украла имущество господина фон Лееба, твоего хозяина, да сохранит он здоровье и мудрость до второго Оффентурена! Я раскаиваюсь и прошу прощения — у тебя и у него.

Рыбьи кости, выложенные сложным узором на полу, тихонько заскрипели. Как будто бы выжидающе или...

Черт. Она все равно ни хера не знает, как обращаться с демонами, обладающими такой силой. Нет смысла искать спасения в сложных демонических формулировках. Надо говорить, как есть, не отвлекаясь на дипломатические маневры и схоластические фокусы.

— Послушай... — Барбаросса заставила себя глядеть в стену перед собой, не обращая внимания на вибрирующие в стенах серебряные иглы и наливающейся злой дрожью эйсшпанк, — Я вела себя сегодня как последняя сука и сознаю это. Попыталась украсть то, что не следовало. Ты лишил меня половины зубов и пяти пальцев — и я покорно принимаю это наказание за свою глупость. Клеймо, что ты оставил мне, — она подняла в воздух обожженную руку, — я буду носить с почтением до конца своих дней.

Это должно было польстить ему, но, кажется, ни хера не польстило. Запах гнилой мяты сменился вонью скверно выделанной кожи. Осколки зеркал, которые она столько времени располагала под нужными углами, приклеивая воском к стенам, издали тонкий скрежет, задрожав на своих местах.

Монсеньор Цинтанаккар ни хера не рад твоему вступлению, Барби. Он слышал нечто подобное уже четырнадцать раз — и от ведьм потолковее тебя...

— У меня нет больших богатств, но в своем искреннем желании загладить ошибку я положу к твоим ногам все, что у меня есть. Если у меня будут дети, я отдам тебе своего первенца. Если я заработаю богатство, отдам тебе сто золотых гульденов. Если стану хозяйкой дома, сожгу его в твою честь или устрою внутри твое святилище. Если...

Под крышей дровяного сарая прошел негромкий скрежет. Будто бы там, в тених, укрылась целая стая катцендраугов, впившихся когтями в дерево. Крохотные зеркальца задрожали, одно из них вдруг лопнуло, едва не обдав щеку Барбароссы мелкой стеклянной крошкой.

— Лжец!

Гомункул всхлипнул. Забившийся в дальний угол банки, тщетно пытающийся прикрыть лапками свои не имеющие век глаза, он выглядел нелепо и жалко, точно лягушка в поставленном на огне котелке. Наделенный жалкими силами, он и перед обычным человеком был козявкой, сейчас же, ощутив присутствие адского владыки, утратил свойственное ему хладнокровие.

— Он... смеется, Барби. Мне кажется, он смеется.

Смеется? Хорошо. Барбаросса стиснула кулаки. Лжец был прав, нечего и думать впечатлить Цинтанаккара столь бесхитростными предложениями. Он слышал более щедрые на своем веку — куда как более щедрые...

Интересно... Крохотная мысль шевельнулась в затылке маленьким слабым комочком. Панди тоже что-то ему предлагала? Она терпеть не могла переговоров и никогда не унижала себя просьбами, но если ее прижало так, что ни вздохнуть, что она могла предложить демону?..

Плевать. Шутки закончились, Барби. Цинтанаккару не интересна твоя болтовня. Он смеется тебе в лицо, примериваясь, какой кусок откусить от твоего тела. Пускай в ход тяжелую артиллерию, иначе не стоило и начинать.

— Слушай, ты... — она облизнула губы, отчаянно пытаясь не моргать, а тело сделать каменным, неподвижным, нечувствительным к жару, — Давай без обиняков, я ни хера не умею складно болтать, поэтому буду говорить как есть. Ты любишь сладкое мясо,

Цинтанаккар. Ты любишь причинять боль и терзать. Но ты заперт в доме старика, посажен на цепь и не можешь охотиться как велит тебе твоя природа. Ты запустил в меня когти и чертовски хорошо потрепал, признаю, но, как ты думаешь, когда тебе удастся так поразвлечься в следующий раз?

Заскорузлые лоскуты, пропитанные кровью отцеубийцы, которые она пригвоздила булавками к стенам сарая, тихо затрещали, поддержувшись по краю полоской пепла.

Замешательство? Интерес? Насмешка?

— Последний год тебя кормила Бригелла из «Камарильи Проклятых», так? Она отправляла в дом старика ничего не подозревающих сук, которые попадали тебе в пасть. Это она обеспечивала тебя кормом, Цинтанаккар. Но сестрица Бри вышла из дела. Она сдохла. Я убила ее. Это значит, никакого больше мяса. Что ты будешь делать? Уповать на случайных воришек, вздумавших залезть в дом? Сколько их будет? Один в год? Меньше? Тебе придется сесть на голодный паек, Цинтанаккар. Забыть про свою славную охоту. Ты будешь медленно дряхлеть, замурованный в своем логове, в обществе старого ублюдка, ветшающего с каждым годом. В какой-то момент он попросту издохнет, превратившись в плесень на кровати, и ты останешься один. Пока городской магистрат не прикажет срыть нахер твой жалкий домишко и тебя вместе с ним!

Цинтанаккар рыкнул. Она отчетливо ощутила это, потому что внутренности вдруг пронзило резью. Еще два осколка зеркала над ее головой беззвучно лопнули, одна из серебряных вилок, издав протяжный скрип, изогнулась крюком.

Что, задела тебя за живое, сукин ты блядский выкидыш? Оказывается, и сестрица Барби способна общаться с демонами на равных, не только орудовать кулаками? Несмотря на резь, Барбаросса ощутила мимолетное удовлетворение, на миг почти перекрывшее боль.

— Слушай! — она торопливо выставила перед собой ладони, — Я позабочусь о тебе. Это мое предложение. Я заменю Бригеллу. Я буду посылать тебе молодых сук, как ты привык, чтобы ты мог развлекаться с ними в свое удовольствие. В Броккенбурге тысячи никчемных сук, которым нужны деньги, но которые ни хрена не знают про охранных демонов. Я буду посылать... — она прикрыла глаза, но лишь на секунду, — По одной в месяц. Это даже больше, чем посылала тебе Бри. Не меньше дюжины в год! Я распушу по городу слух, будто забралась в дом фон Лееба и стащила оттуда до пизды золота. А тех, кто соблазнится, буду отправлять на Репейниковую улицу, снабдив именем запирающего демона. Ты будешь есть всласть, Цинтанаккар! Больше, чем ел когда-либо!

Шорох, гуляющий по крыше сарая, на миг смолк, и Барбароссе показался в этом добрый знак. Шелковая нить, натянувшаяся было как леса на удочке, обмякла, местами провиснув. Рыбные кости заерзали на полу, пытаясь изобразить невесть какую фигуру.

Он размышляет, поняла Барбаросса. Колеблется. Думает.

Невидимые весы колеблются и, верно, надо бросить на их чашу что-нибудь еще, чтобы склонить в свою пользу, не обязательно что-то внушительное или увесистое, может даже, какую-нибудь мелочь...

Поспеши, Барби. Поспеши, пока длятся его сомнения, иначе будет поздно.

— И, конечно, гомункул, — Барбаросса ткнула пальцем в сторону банки с замершим на дне Лжецом, — Это собственность господина фон Лееба, твоего хозяина. Не сомневайся, я верну его. Сама поставлю на кофейный столик в гостиной. Пусть и дальше служит приманкой для легковерных шлюх.

Лжец взвыл — она услышала это даже за скрипом дерева и зловещим гулом, которым

наполнился дровяной сарай. Это был не человеческий крик — человеческие связки не в силах издать такой звук — скорее, визг ярости вроде того, что может издать смертельно раненая гарпия. Удивительно громкий для крохотного комочка мяса.

— Ах ты сука! Блядская пиздорвань! Грязная скотоложица! Не смей!

Барбаросса послала ему самую обворожительную из своих улыбок, похожую на волчий оскал.

— Извини, компаньон. Ты верно сказал, мы, ведьмы, пытаемся договориться со всем, что не можем себе подчинить. Вот это я и делаю. Договариваюсь.

— Потаскуха! — взвизгнул Лжец, иступлено молотя кулачками по стеклу, — Вяленная манда! Ты клялась! Ты...

Забавно. Кичащийся собственным умом, не упускавший случая ехидно поддеть ее, этот коротышка, воображавший себя большим умником, в ярости сделался похож на крошку Мухоглота, бушевавшего на профессорской кафедре. И как столько злости уместается в таком крохотном тщедушном тельце? Как бы не разорвало его ненароком...

— Не забывай меня, хорошо? Барбаросса, номер пятнадцатый. Шли иногда весточки в Малый Замок, мне будет приятно тебя вспомнить. Как знать, может старик повисит тебя, а? Будешь стоять не на столике, а на серванте? Или...

Она придумала хорошую шутку, которой позавидовала бы даже злоязыкая Саркома, но закончить ее не успела, потому что дровяной сарай вдруг колыхнулся на своем месте, да так, будто архивладыка Белиал, заявившийся в Броккенбург, треснул по нему исполинским огненным молотом, да так, что тот сам едва не провалился в Геенну Огненную.

Запахло чем-то резким, гадким, недобрый — едким запахом раздавленных насекомых, ароматами гангрены, фиалок и морской соли. Воткнутые в стены вилки заскрежетали, медленно сворачиваясь в спирали и наливаясь жаром. По полу вокруг пентаграммы зашлепали капли расплавленного серебра. Уложенные сложным узором рыбы кости захрустели, на глазах рассыпаясь в прах.

Это плохо, Барби. Кажется, это плохо...

Осколки зеркал начали лопаться, окатывая ее шрапнелью битого стекла. Шелковая нить раскалилась добела и полыхнула у нее над головой точно молния, с таким жаром, что дерево в тех местах, где она его касалась, покрылось копотью.

Возможно, монсеньор Цинтанаккар, поразмыслив, остался не вполне доволен ее предложением. Возможно...

Распахнутая шкатулка Котейшества, в которой лежали не пригодившиеся ей в работе инструменты, подпрыгнула на своем месте, в ее недрах словно забурлил гейзер из адских энергий, прикосновение которых необратимо меняло ткань всего сущего.

Черные кольца из непонятного металла лопались, раздавленные невидимой тяжестью. Крысиные зубы дребезжали в банке, перетирая друг друга в пыль. Маленькая тряпичная кукла с размалеванным лицом сперва съежилась было, будто кто-то выпустил из нее воздух, а после с легким хлопком загорелась, окатив ее волной неприятного тепла.

Огонь!

Барбаросса вздрогнула, обнаружив возле себя жадно извивающийся оранжевый язычок пламени. Она терпеть не могла открытого огня, даже в Малом Замке, когда сестры разжигали камин, старалась держаться от него подальше. Ничего не могла с собой поделать. Огненная стихия, пусть и ворочающаяся в каменной ловушке, казалась ей страшной и прожорливой, ждущей удобного момента, чтобы выбраться наружу и сожрать все вокруг,

превратив плоть и дерево в жирный, липнувший к сапогам, пепел.

Черт. Открытое пламя всегда нервировало ее, лишало спокойствия.

Котейшество знала об этом, поэтому в те минуты, когда они были вдвоем, зажигала не масляную лампу или плошку, а небольшой свечной огарок — трепещущий на ветру огонек был слишком мал, чтобы его бояться, но давал вполне достаточно света...

Барбаросса не осмелилась растоптать горящую куклу каблуком — демон вполне мог принять это за неуважение, а то и оскорбление. Придется немного потерпеть, Барби, крошка, но ничего — чай не сгоришь ты от маленького огонька...

Вбитые в стены сарая гвозди и булавки раскалились настолько, что старая древесина вокруг них занялась янтарным свечением. Барбаросса ощутила нехорошую сухость в горле, подумав о том, что будет, если от этого жара займется чертов сарай. Здесь было, чему гореть — остатки дров, старые разохшиеся стропила, деревянные стены — огненный дух найдет, чем утолить свой вечный голод...

Дело плохо.

Господин Цинтанаккар ни хера не расположен к беседе.

Барбаросса вздрогнула, стараясь не обращать внимание на жарко полыхающую куклу неподалеку от себя. Господин Цинтанаккар, кажется, не воспринял всерьез ее предложение. Он как будто бы немного зол и...

Смеется.

Она ощущала мелкую вибрацию вокруг себя, но не сразу поняла, что эта вибрация разносится не в спертom воздухе дровяного сарая, а в магическом эфире. Это был смех. Чужой колючий смех, похожий на шуршание извивающихся сколопендр, скользящих друг по другу. От этого смеха, казалось, сама материя опасно потрескивает, а воздух разлагается на смесь непригодных для дыхания газов...

Извини, Барби. Но, кажется, твое предложение отклонено.

Возможно, монсеньор Цинтанаккар оскорбился, услышав, что ты собираешься подкармливать его, точно пса. А может, для него будет оскорблением одна только мысль о том, что его жертва смеет с ним торговаться. Как для человека будет оскорблением попытка земляного червя заключить с ним договор.

Барбаросса не дала себе возможности испугаться.

Завязала в узел дрожащие от ужаса внутренности, стиснула зубы, не отводя взгляда от медленно чернеющей стены. На ее глазах пламя медленно выбралось из лампы, зависнув в воздухе горячим потрескивающим пятном, при одном взгляде на которое ей делалось дурно.

Этот пидор знает. Цинтанаккар знает, что она недолюбливает огонь — и нарочно разыгрывает эти фокусы. Хочет выжать из нее весь страх, как охотник выжимает кровь из подстреленного им зайца. Смех, пляшущее пламя, дрожащий вокруг нее воздух... Этот хер забавляется, наблюдая за тем, как она отчаянно пытается заслужить его внимание.

Это значит, ни хера он не станет выполнять ее желание. А раз так...

Барбаросса ощутила, как от проклятого жара съезживается кожа на лице.

Возможно, крошка Барби никогда не станет мудрой ведьмой, которой жаждут услужить многочисленные адские духи, возможно, не постигнет премудрости адских наук и вообще ничего путного не вынесет за все пять лет своей учебы. Но уж планировать не на один шаг вперед, а на два она вполне научилась — спасибо Панди и Каррион...

Тяжелый, обернутый рогожей, сверток все еще лежал неподалеку от ее руки, там, где она нарочно оставила его. Он не относился к арсеналу Котейшества, да и не влез бы в

маленькую шкатулку с ее инструментами, он был ее собственным инструментом. Магическим оберегом, хранившим крошку Барби от самых каверзных бед Броккенбурга.

Барбаросса придвинула сверток к себе, ощутив на миг его приятную тяжесть. В противовес крохотным изящным инструментам Котти этот инструмент — ее собственный — был большим и массивным, куда больше всех этих костей, колокольчиков и прочей хрени, которой полагается заклинать демонов. Увесистая штука и крайне надежная. Но был у нее и недостаток. Как и все инструменты подобного рода, эта штука не работала вслепую. Ей нужна была цель — материальная, осязаемая, не просто возмущение в магическом эфире.

Ей нужно выманить Цинтанаккара из его уютного логова, устроенного в ее собственных потрохах. Хотя бы на миг, но сделать его уязвимым. Заставить его обрести плоть, из чего бы она ни состояла.

Возможно, ей стоит поспешить. Раскаленные спицы, всаженные в доски сарая, опасно раскалились, дерево вокруг них стремительно темнело, превращаясь в уголь. Если жар не стихнет, доски загорятся и тогда чертов сарай запылает так, будто его подпалили просмоленными факелами с разных сторон. При одной мысли об этом Барбаросса ощутила тяжелую, сминающую гортань, дурноту, но заставила себя оставаться на месте.

Возможно, тебе немного опалит шкуру, Барби, но ты сделаешь то, ради чего пришла сюда.

— Ну как, монсеньор Цинтанаккар? — выкрикнула она, — Предложение по нраву? Нет? Ну тогда у меня есть еще одно. Приди сюда, жалкий пидор, трахнутый всеми духами Ада, и я наассу тебе в рот!

Сарай колыхнулся, будто по нему прошел порыв ветра, но не того, который обычно гонит сор по тесным улицам Броккенбурга, а другого, полного непривычных запахов и вкусов. Старые дрова заскрипели, а с потолка посыпались искры, некоторые из которых ужалили ее открытую кожу. Дьявол... Она ощущала себя мышью, забравшейся в камин, который вот-вот разожжет служанка. Медлить нельзя, иначе все закончится скверно...

— Что такое? — выкрикнула она в пустоту, — Ах, прости пожалуйста, я не подумала. Твой рот, наверно, часто занят? Старикашка фон Лееб, знать, пользует его для своих целей, а?

— Прекрати, Барбаросса... Во имя всех детей Сатаны, прекрати! — минуту назад охваченный яростью, Лжец смотрел на нее широко раскрывшимися глазами, в которых мелькнул неприкрытый ужас, — Довольно!

— Считаешь себя изошренным палачом? Скульптором? — Барбаросса расхохоталась, не замечая, как едкий дым скоблит изнутри легкие, — Как по мне, ты никчемное отродье из числа адских прислужников! У тебя нет слуг, нет печати, нет легионов демонов, нет титула! Ты — жалкий пес, жадно грызущий брошенные тебе кости, озлобленный слуга, пытающий тех, кто слабее тебя! Только на это ты и годен!

— Прекрати, Барбаросса, пожалуйста! Ты злишь его, ты...

— Может, ты и не демон вовсе? Там у себя в Сиаме ты трахал свиней да пугал узкоглазых крестьян, потому тебя и считали там демоном? Дряхлый старик посадил тебя на цепь!.. Ты не адский владыка, ты владыка его ночного горшка и только!

Ворох искр упал ей на спину, но она не заметила этого.

Магический эфир клокотал вокруг нее, словно адское варево в ведьминском котле.

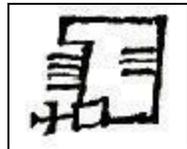
Ткань реальности зловеще трещала, а может, это трещали ее собственные, прихваченные близким жаром, волосы.

Покажись, Цинтанаккар, молила она беззвучно. Вылези наружу. Яви свою мерзкую рожу хоть на миг. Дай увидеть себя, трусливый убийца. Дай мне...

А потом жар вдруг как будто бы схлынул, иглы перестали ворочаться в стенах дровяного сарая, и даже кричащий что-то гомункул наконец заткнулся. Наступившая тишина казалась не успокаивающей, а пугающей, противоестественной, царапающей барабанные перепонки, тишиной мертвого безвоздушного пространства...

И только спустя несколько секунд, беспокойно вертя головой, она поняла, что это не тишина — это негромкий железный гул, доносящийся из угла дровяного сарая, оттуда, где стоял сотрясаемый мелкой дрожью эйсшранк Котейшества. А потом гул стих и в наступившей тишине — уже настоящей — щелчок запирающего устройства показался отчетливым и громким как выстрел.

Цинтанаккар явился на зов.



Эйсшранк не случайно обошелся Котейшеству в умопомрачительную сумму. Этот железный ящик запирался надежно, как маленький сейф, а его рукоять, похожая на арбалетный спуск, была снабжена тугой пружиной и располагалась снаружи. Его невозможно было отпереть без вмешательства человека, к тому же изнутри, однако он открылся. Распахнулся, словно обычный сундук, железная дверца, откинувшись на петлях, негромко лязгнула.

Демоны не могут долгое время находиться в мире смертных в своей истинной оболочке — тончайшая меоноплазма, из которой они состоят, быстро испаряется, причиняя им немалые страдания. Демону, будь он хоть архивладыкой из адского царства, хоть последним из мелких духов, чистящих адские нужники, требуется подобие рыцарского доспеха, в который можно облачить свою истинную форму. И неважно, что это будет, плоть или сталь или...

Плоть. В эйсшранке Котейшества оказалось достаточно плоти.

Сперва ей показалось, что это кот. Что Котейшество по ошибке запихнула в морозильный шкаф еще живого кота, тот пришел в себя и выбрался наружу, но...

Хер там! Она сама проверяла блядский шкаф четверть часа тому назад и видела там только окоченевшие кошачьи тела, мертвые, как камень, из которых сложен Малый Замок. Ни одно из них не могло пошевелиться, тем более, отпереть замок. Всего лишь куски замороженного мяса, ожидающие своей участи, в которых не осталось ни крохи жизни. И все же...

Над краем ящика мелькнул хвост. Изломанный, ободранный, покрытый густым слоем инея, он был хорошо знакомой ей рыжей масти. Грязно-рыжей, как у многих броккенбургских котов, но с особенным медным оттенком...

Мадам Хвостик!..

Ее замороженная шерсть хрустела, вмятые внутрь грудной клетки ребра скрежетали, когти неистово скоблили по гладкому железу — но она пыталась выбраться наружу. Мертвая кошка рвалась прочь из своего железного гроба, хлопья инея осыпались с ее замороженной шкуры, падая на пол и быстро превращаясь в грязную серую каплю.

Она мертва, подумала Барбаросса. Издохла три недели назад. Даже если бы здесь, в дровяном сарае, оказался умелый некромант, он и то не смог бы вдохнуть ни щепотки жизни

в это тело. Душа Мадам Хвостик давно отправилась в безымянный кошачий Ад, оставив на своем месте только пару пфундов мороженного мяса. Однако...

Существо, пытающееся выбраться из морозильного ящика, не было кошкой, пусть даже и дохлой. Оно было...

Барбаросса ощутила, как грудь делается пустой, а мочевого пузырь, напротив, предательски тяжелеет, наливаясь расплавленным свинцом. То, что пыталось выбраться наружу, вообще не было котом. Но не было и катцендраугом. Большое, грузное, тяжело ворочающееся внутри ящика, оно не было наделено ни малейшей толикой кошачьей грации. Но, кажется, было с избытком наделено силой — Барбаросса слышала, как протяжно звенит сталь под его когтями.

Бж-ж-ж-жзззз-з-з... Бжжж-жж-з-зззз-з-з...

Сидя на полу, она не могла видеть, что происходит внутри ящика, но отчего-то удивительно легко представила.

— Блядская срань, — пробормотала Барбаросса, хватая онемевшими губами воздух, — Триждыблядская рваная сраная дрянь...

Ты сама позвала монсеньора Цинтанаккара в гости, Барби. Может, не так изысканно, как принято приглашать приличного господина, используя не совсем те выражения, что приняты в обществе, но...

Ты пригласила его. Полагая, что, вырванный из твоего тела, он утратит значительную часть своей силы. Точно заноза, которую вырвали щипцами из пальца, превратившаяся из отравленного жала в безобидную деревяшку. А ведь Лжец неустанно твердил тебе, до чего это скверная тварь. Злобная, хитрая, бесконечно опасная...

Эйсшпанк тревожно загудел. То, что находилось внутри него, желало выбраться наружу, но не могло протиснуться через отверстие, ставшее слишком узким для него. За этим зловещим гулом Барбаросса отчетливо слышала хруст замороженного мяса и треск костей. Кошачьи кости тонки и не созданы для серьезной нагрузки, несвежее кошачье мясо, пролежавшее несколько недель в морозильном шкафу, не лучшая материя, но этот треск звучал чертовски паршиво.

Вкрадчиво. Пугающе. Жутко.

Ему потребуется совсем немного времени, чтобы разорвать херов ящик, выбравшись на свободу, подумала она. Если он еще не сделал этого, то только потому, что еще не свыкся толком со своим новым телом, как человек не сразу свыкается с новым камзолом, сшитым умелым портным по фигуре, но с непривычки еще немного жмущим в плечах и талии...

Эйсшпанк заскрежетал, содрогаясь, точно исполинское стальное яйцо, сокрушаемое изнутри нетерпеливым птенцом. В его сверкающих полированных боках, выгнувшихся буграми, открылись стремительно расширяющиеся щели, сквозь которые наружу хлынули облака ледяного пара. Внутри этих облаков, судорожно извивающиеся и трепещущие, металась крохотные демоны, обитатели эйсшпанка. Лишившиеся своего убежища, исторгнутые в ядовитую для них атмосферу с облаками пара, они шипели и быстро растворялись в лужах на полу, сами превращаясь в слизкую грязь.

Долго не продержится, прикинула Барбаросса.

Она и сама ощущала себя так, точно по ее потрохам мечутся своры перепуганных духов, ища убежища и укрытия, отчаянно пытаясь где-то спрятаться. Они скользили сквозь пустотелые кости, оставляя внутри морозный холод, ввинчивались в желудок, скоблили изнутри до рези легкие.

Беги, истощно молили они, тоже превращаясь в липкую грязь, скапливающуюся где-то в обожженных почках, беги, крошка Барби, спасайся, пока есть возможность. Тебе нужно только вскочить на ноги — и половина дела сделана. Два коротких прыжка — и ты уже у двери сарая. Полминуты — и ты на пороге Малого Замка...

Кандида все еще торчит на своем позорном посту на подворье, изображая караульного. Цинтанаккару она ничего не сделает даже если у нее под рукой окажется батарея из кулеврин, а не дедушкин мушкет, но, по крайней мере, поднимет шум. А там уж и поспеют сестры. Нерадивые Саркома с Гарротой, все еще со швабрами в руках, рыжая сука Гаства, осоловевшая от вина, грубо разбуженная и сама злая, как все демоны Ада, Каррион со своей боевой рапирой наперевес...

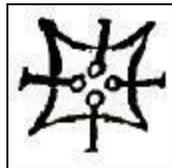
Барбаросса стиснула зубы, глядя как несчастный эйсшранк, сотрясаемый ударами, ходит ходуном, а его стальные бока трясутся, выгибаясь изнутри — точно деревянная кадка, распираемая чудовищным давлением подходящей квашни...

Ты сможешь и сама с ним совладать, Барби, не втягивая сестер и не делая свою личную вендетту с монсеньором Цинтанаккаром достоянием ковена. Тебе нужно лишь сохранять хладнокровие и присутствие духа. Вырвать блядскую занозу из своей шкуры и сжечь ее нахер...

Скрип стали, доносящийся из эйсшранка, перемежался хрустом, но это был не хруст заклепок — те давно уже вылетели — это был хруст лопающихся костей. Существо, завладевшее мертвыми котами Котейшества, было слишком нетерпеливо или обуяно злостью, чтобы бережно относиться к той плоти, из которой состряпало себе наряд, и к ее потребностям. Кошачьи кости глухо лопались, не выдерживая давления, но натиск не прекращался. Напротив, быстро усиливался. Эйсшранк, конечно, чертовски прочный ящик, сработанный на совесть и стоивший каждой отданной за него монеты, но это не закаленная стальная кираса, он не создавался для того, чтобы выдерживать подобные нагрузки или служить клеткой для существа, наделенного нечеловеческой силой. Уже очень скоро покрывшаяся прорехами сталь не сможет сдержать этот чудовищный напор и тогда...

Лжец что-то испуганно лепетал в своем углу, но Барбаросса не слышала его, сейчас она слышала только удары собственного сердца, отдающиеся в ушах и затылке, злой гул ворвавшегося в дровяной сарай ветра, пляшущего под потолком, и жуткое тихое пение сминаемого железа.

Руку на сверток, сестрица Барби. Примерзни пиздой к полу, не шевелись, не дергайся, не дыши, не...



Эйсшранк лопнул точно стальное ядро, сокрушившее стену Магдебурга, прыснув во все стороны железными осколками. Сиди она на полдюжины шагов ближе к нему, задело бы и ее, да так, что покатила бы с разорванным животом по полу.

Существо, выбравшееся из останков морозильного шкафа, сохранило определенные черты, свойственные котам, но не сохранило ни толики кошачьей грации. Тяжелое, грузное, покрытое густой плотной шерстью, оно двигалось неспешно, переваливаясь с одного бока на другой, и походило на...

На плод, подумала Барбаросса, ощущая, как пальцы сами собой вцепляются в сверток

под рогожей. На исполинскую земляную грушу, сшитую из полудюжины дохлых котов. На плод, который выбрался из земли, снедаемый злостью, яростно работающий острыми корнями, десятками торчащими из его оболочки. Это были не корни — это были лапы и хвосты. Некоторые из них, изломанные от борьбы с прочной сталью, висели неподвижно или подергивались, другие впились в пол или покачивались в воздухе.

Уже знакомый ей изломанный рыжий хвост — Мадам Хвостик. Три колченогие лапы перечного цвета, торчащие из груди — Гризельда. Развороченная морда с лопнувшей пастью, чьи челюсти продолжают с хрустом работать, перемалывая пустоту — это, конечно, Палуга. Еще одна пасть, беззубая, торчащая под углом из бока — Маркиз. Барбаросса не успела рассмотреть, что в этом грузно ворочающемся чудовище было от Маркуса-Одно-Ухо, но наверняка что-то было. Чудовище, созданное Цинтанаккаром из дохлых котов, от каждого из них что-то да взяло...

У него не было головы — той штуки, что обычно торчит сверху торса и на которую принято надевать шляпу, шесть кошачьих голов торчали из бурдюкообразного тела точно вздувшиеся фурункулы. Некоторые из них шипели, другие лишь беззвучно раскрывали пасти, изрыгая мутновато-желтую пену, если что их и роднило, так это глаза. Мутные, сухие, они выглядели бусинами из зеленоватой смолы, внутри которых горели неугасимым светом оранжевые сполохи, кажущиеся искрами из самого Ада...

Бедный эйсшранк, подумала Барбаросса, лишь бы что-то подумать, лишь бы не дать этим искрам впитаться в нее, примораживая к полу, подавляя волю, высасывая душу. Прекрасный новенький эйсшранк Котейшества, за который она выложила шесть гульденов и которым втайне гордилась. Котейшество будет в ужасе. Котейшество будет безутешно рыдать, оплакивая свой чертов шкаф. Котейшество...

Тварь выбралась из остова эйсшранка неспешно, с грацией не кота, но большого хищного паука. Изломанные кошачьи лапы и хвосты, служившие ей щупальцами, спотыкались, заплетаясь между собой, чувствовалось, что оно еще не успело толком привыкнуть к этому телу. Но, без сомнения, очень скоро привыкнет. Оно двигалось почти бесшумно, если не считать сухого треска, который издавала искрящаяся от изморози шерсть, соприкасаясь с полом, да еще того хруста, который издавали замороженные и изломанные суставы.

Это выглядело хуже, чем самый неудачный из катцендраугов Котейшества. Это выглядело как... Как демон, явившийся из Ада по мою душу, отрешенно подумала Барбаросса, ощущая, как пальцы безотчетно впиваются в грубую рогожу. Как оружие, слепленное из плоти. Слепленное слепо, бездумно, без оглядки на правила и законы мироздания, только лишь для того, чтобы быть смертоносным. И эта тварь, черт возьми, выглядит отчаянно смертоносно.

— Значит, ты и есть Цинтанаккар? — Барбаросса ощутила, что улыбка едва не шипит у нее на губах, въедаясь в них, точно ожог, — Если в Аду у тебя есть мамка, лучше бы ей пореже смотреться в зер....

Тварь лишь казалась неуклюжей, путающейся в своих конечностях, пошатывающейся. Ее прыжок был так стремителен, что больше походил на выстрел. Сшитая демоном из дохлых котов, она оказалась не просто быстра, она была ошеломительно быстра и передвигалась с такой скоростью, которая немыслима для существ из обычной плоти и крови. Если что и спасло Барбароссу, так это то, что суставы этой твари еще не успели толком оттаять, оттого прыжок оказался не таким смертоносно-точным, каким ему

следовало быть. А может, ее спас хруст — едва слышимый хруст кошачьих лап, раздавшийся за четверть секунды до прыжка...

Она не успела вскочить на ноги, да и не было времени вскакивать — оттолкнувшись ногами, покатила по полу, не замечая ни изломанных линий начертанной запекшейся кровью пентаграммы, ни хруста собственных ребер. Нахер пентаграмму.

Нахер все эти диодогановы, саммисторные, клистроновые и платинотроновые узлы и петли только что утратили всю силу. Если она на что-то и может еще уповать, так это на себя. Как будто в этом блядском трижды проклятом всеми силами Ада мире сестрица Барби когда-то могла уповать на кого-то кроме себя...

Тварь врезалась в поленницу с чудовищным грохотом, разметав вокруг себя кленовые поленья, по полу полетели истлевшие щепки, клочья старых листьев и паутины. Прыснули в стороны перепуганные насекомые, устроившиеся было на зимовку среди дров. Где-то испуганно вскрикнул Лжец — его крик, колыхнув магический эфир, неприятно уколол Барбароссу в барабанные перепонки.

Хоть бы ты заткнулся, сучий выкидыш...

Сверток. Пришло время творить настоящую ворожбу!

Не обращая внимания на линии никчемной пентаграммы, утратившие свой смысл, Барбаросса подхватила сверток и прижала к груди, одним движением сорвав с него дерюгу. Без такта и сложных пассов руками, без особых нежностей, без того церемониального почтения, с которым опытные демонологи обращаются со своим заклятыми всеми энергиями Ада инструментом. Этот инструмент, ее собственный, был особого свойства, он не требовал ни сложно устроенных ритуалов, ни лишних нежностей.

Одной только твердой руки.

Может, потому, что был сработан не скотоложцами-демологами, погрязшими в изучении запретных трудов и безудержном свальном грехе со всеми известными адскими отродьями, а мастерами из Аугсбурга, первыми в мире специалистами по ружейному делу.

Рейтпистоль, может, не самая сложная штука в мире, ему не тягаться с кулевринами и фальконетами, этими стервятниками поля боя, питающимися человеческим мясом, но в умелых руках рейтарский пистолет — страшное оружие.

Небольшой, лишенный сложных прицельных приспособлений, с массивным граненым стволом калибром в целый саксонский дюйм[1], он не очень-то элегантен по своему устройству, а рукоять его украшена не затейливыми инкрустациями, а увесистым круглым противовесом размером с яблоко — на тот случай, если придется, израсходовав порох и пули, перехватывать пистоль на манер шестоопера, за ствол, встав в стремянах и кроша им вражеские черепа. Рейтпистоль — не утонченное орудие войны, его не украшают фамильными вензелями и драгоценностями, это простой и эффективный инструмент рейтарской работы, который выхватывают из седельной сумки, сближаясь с вражеской шеренгой, ощетилившейся алебардами, пиками и багинетами, чтобы разрядить в первое попавшееся лицо и торопливо сунуть обратно, до того момента, когда очередной виток смертоносного караколя вновь сблизит тебя с неприятелем.

У рейтпистоля нет сложного колесцового замка, который надо заводить особым ключиком и который запросто можно потерять в бою. У рейтпистоля нет хитрой газоотводной трубки, отводящей подальше от стрелка обжигающее облако раскаленных пороховых газов, норовящее выесть глаза. У рейтпистоля нет ничего кроме того самого необходимого минимума, который определен Адом для того, чтобы превратить вражескую

голову в лопнувшую тыкву.

Хороший рейтпистоль можно загнать за пять гульденов, а если подходяще украшен или имеет достойное клеймо, можно заломить и десять. Но этот... Тот, что она держала в руке, едва ли потянул бы даже на полтора.

«Фольксрейтпистоль» третьей модели выглядел грубым даже на фоне неказистых турецких и австрийских пистолетов. Созданный словно в насмешку над изящными кавалерийскими пистолетами Даннера, Зоммера и Коттера, чьи клейма ценятся знатоками наравне с адскими печатями, он выглядел несуразно массивным и тяжелым, как для рейтарского оружия. Короткий ствол, не граненый, едва-едва отполированный, нарочито грубая рукоять без всяких накладок, простейшая мушка, дающая хоть сколько-нибудь верный прицел шагов на двадцать, не больше — это был не изящный рейтарский инструмент, скорее, он являл собой тот сорт варварского оружия, который всякий уважающий себя рейтар даже побрезгует брать в руки. Но это было оружие, при том рабочее, побывавшее в бою.

У «Фольксрейтпистоля» не было клейма — ни один мастер-оружейник не рискнул бы увековечить свое имя на этом уродливом детище саксонского курфюрстского арсенала — один лишь небрежный оттиск с едва различимой цифрой «1944». Да и создан он был скорее грубыми руками какого-нибудь подмастерья, вчерашнего свинопаса. Тогда, в сорок четвертом, мастерские Горнсдорфа, Байерсдорфа и Криницберга исторгли из себя несколько тысяч таких пистолетов, все из неважной стали, с куцыми стволами, стиснутыми кольцами — чтоб не разорвало первым же выстрелом — с ложами из скверно высушенного дерева, которое шло трещинами прямо в руках. Бесхитростное варварское оружие, предельно простое, предельно дешевое, созданное для калеки, в жизни не державшего в руках ничего опаснее камня. Как будто эти никчемные поделки могли спасти Саксонию от демонических легионов под управлением Гаапа, хлещущих с востока...

И все же это было оружие. Всамделишнее, может, не очень изящное, но грозное и, без сомнения, эффективное.

Это тебе не жалкая поебень, которую используют в подворотнях.

Игрушка для больших девочек.

Держать рейтпистоль на весу было неудобно, веса в нем было фундов шесть[2], не меньше, но она не напрасно упражнялась с ним иной раз по ночам, вытащив из тайника и убедившись, что сестры спят. Училась быстро взводить курок, проверять порох на полке, скидывать на предплечье. Вот и сейчас все это вышло само собой, почти мгновенно. Привычно, будто она делала это сотни раз под присмотром опытного фельдфебеля.

Тварь зашипела, резко поворачиваясь. Пусть ее тело и походило на надувшийся пузырь, обшитый грязной шерстью, огромное множество цепких конечностей позволяло быстро разворачиваться. Чертовски быстро. Кошачьи головы исторгли из себя шипение, в котором Барбароссе послышалась досада — не демоническая, не кошачья, вполне человеческая.

Успел ли он понять, что это оружие? Успел ли сообразить, что просчитался? Знал ли он вообще, что за штуку она держит в руке?

Едва ли. С точки зрения адского владыки, способного сшивать наживую ткань пространства и повелевать законами материи, это было примитивное устройство, не способное вместить в себя даже толики настоящей силы. Никчемный образчик варварской культуры, грубый и бесхитростный. Но если монсеньор Цинтанаккар рассчитывал на второй шанс, то крупно просчитался.

Спусковая скоба громко клацнула, провалившись под пальцами, и на какой-то миг сердце Барбароссы тоже провалилось на дюйм внутрь груди, потому что показалось, что выстрела не последует. Осечка. Блядский механизм, который она с такой заботой смазывала, не сработал или сработал не так, как надо, или попросту отсырел порох...

Великая адская манда!

Нельзя надеяться на оружие смертных. Никчемные игрушки, не идущие ни в какое сравнение с оружием из адских кузниц, жалкое старье, никчемное, ненадежное и примитивное. Если бы она знала, что...

А потом тяжелый рейтпистоль зашипел и выплюнул вбок из-под полки сухой оранжевый язык огня. Который почти мгновенно превратился в ослепительно полыхнувший огненный перст, выросший из ствола, окутавшийся черным облаком, ухнувший так, словно адские владыки шутки ради подцепили проклятую гору Броккен ногтем, оторвали ее от земли и заставили ее кувыркнуться на своем месте. Пистолет едва не вырвало у нее из рук, в лицо ударило жаром, отчаянно заныли чудом не вывернутые запястья. И как, черт побери, рейтары управляются с этой штукой, да еще на полном скаку?..

Пистолет был заряжен не пулей — для адского владыки крохотный свинцовый шарик не опаснее залетевшей в рот мошки. Заговоренные пули хороши, но у нее нипочем не хватило бы денег, чтобы обзавестись такой штучкой. Вместо пули она засыпала в ствол грубую картечь из рубленных серебряных булавок, гвоздей и мышиного помета. Может, последнее было не обязательным, но она не могла себе в этом отказать. Ей показалось, что Цинтанаккар сполна оценит эффект — когда, превратившись в грязную искромсанную ветошь, отправится обратно в Ад. Может, этот вкус будет единственным, что останется ему на память о сестрице Барби на следующие тысячи лет...

Дровяной сарай заволокло пороховым дымом так, что Барбаросса, попытавшись втянуть воздуха в грудь, невольно закашлялась. Дьявол, до чего сильный бой у этой штуки!..

Перехватив рейтпистоль за ствол, не замечая прикосновения раскаленного металла к ладоням, Барбаросса осторожно двинулась вперед, сквозь густой пороховой туман. Чертова тварь сейчас, должно быть, бьется в конвульсиях, растерзанная дробью, где-то за поленницей. Надо добить ее, пока есть возможность, не дать ей возможности сбежать. Сперва она расколет рукоятью все ее чертовые головы, словно гнилые орехи, а потом вонзит в потроха серебряные булавки, для надежности заколотив на всю длину. И тогда посмотрим, монсеньор Цинтанаккар, кто здесь у нас самый большой специалист по боли...

— Барби! — Лжец, невидимый за серыми вуалями парящего в воздухе пепла, взвыл так, точно ему наступили сапогом на его жалкий стручок, висящий между ног, — Чертова сука! Что ты творишь, еб твою мать?

Заткнись, Лжец, подумала она. Сейчас твоя помощь нихера мне не помогает. Просто свернись в комок в своей банке и молчи.

— Скудоумная ослица! Безмозглая шлюха!

Пусть разорется, если хочет. Она, Барбаросса, сделала то, для чего оказалась тонка кишка у четырнадцати его неудачных компаньонов. И у Панди, подумала она, ощущая, как обмякают напряженные внутренности. И у Пандемии, считавшей себя самой ловкой и хитрой сукой в городе, набитом ловкими и хитрыми суками...

Порыв ветра, ворвавшийся в дровяной сарай через щели в двери, заставил пороховое облако затрепетать, неохотно развеиваясь. Барбаросса сделала несколько коротких шагов, не опуская занесенного для удара рейтпистоля. Поленница, на которой восседала тварь,

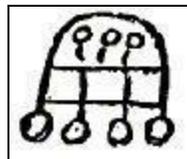
медленно выступала из порохового тумана, обретая очертания. Она выглядела так, будто по ней прошли не то граблями, не то топором, иные поленья, трухлявые в середине, развалились на части, сверкая крохотными серебряными занозами. Но самой твари не было. Едва ли она превратилась в ничто и улетучилась вместе с дымом. Может, Цинтанаккар и обитатель Ада, но кошачья плоть, из которой он сшил себе облачение, была вполне материальна. Она не могла пропасть без следа. Должно быть, он в углу, подумала Барбаросса, делая еще один осторожный шаг. Забился в угол, растерзанный дробью, и теперь трясется от страха. Вчерашний владетель душ, всемогущий создатель плоти, он уже успел обоссаться, сообразив, что связался не с той ведьмой, с которой следовало, и...

— Вверх, шлюхино отродье! — взвыл Лжец, — Посмотри вверх!

Она успела посмотреть вверх, успела даже разглядеть в рассеивающемся пороховом дыму стропила и...

И какой-то серый мешок, прилепившийся к ним, точно птичье гнездо. Мешок, на котором вдруг зажглись крохотными оранжевыми огоньками тусклые бусины мертвых кошачьих глаз.

Цинтанаккар прыгнул.



Это было похоже на выстрел из пушки. На чертово двенадцатифунтовое ядро, ударившее ее в грудь, едва не расколовшее грудную клетку пополам, точно старую ржавую кирасу. Кажется, она успела немного смягчить удар, выставив перед собой бесполезный уже револьвер, но лишь частично. Вложенной в него силы было достаточно, чтоб опрокинуть ее навзничь, легко, как глиняную фигурку.

Что-то оглушительно кричал Лжец, но она уже не могла разобрать, что.

Левое плечо пронзило болью, словно какой-то прыткий сапожник, исхитрившись, в одно мгновение загнал в него дюжины дюймовых сапожных гвоздей. Что-то впилося в нее, урча от ярости, полосая дублет и рубаху тысячами когтей, что-то хлестнуло ее по левому уху, так сильно, что боль на миг превратилась в леденящий, проникающий до кости, холод, что-то впилося в ее щеку, остервенело терзая ее...

Эта сучья тварь на ней. Впилаясь в нее всеми своими блядскими лапами и тянется к шее. Барбаросса не успела ощутить даже ужаса — все чувства, которые только позволено ощутить человеческому существу, смешались в единое булькающее варево, обжигающе горячее и зловонное. В этом вареве растворилось все без остатка — уроки Каррион в фехтовальном зале, собственные привычки и тактики, выработанные годами жизни в Броккенбурге, даже мысли. Остались только древние рефлексy, безотчетные, неуправляемые, древние, те, что возникли задолго до того мига, когда распахнулись двери Ада. В ее тело словно вселились дюжины демонов, получивших контроль над всеми его членами. Заставляющие ее вертеться, орать, кататься по полу, отчаянно пытаюсь сорвать с плеча огромную надувшуюся там опухоль, впившуюся в нее миллионами когтей и шипов.

Ее пальцы утопали в колючем, покрытом грязью и холодной влагой, кошачьем меху, иногда натываясь на распахнутые пасти с разможенными челюстями, которые остервенело кусали ее. От твари разило не просто вонью разлагающегося мяса, от нее разило мертвечиной, базиликом и кислым молоком. Наверно, срок ее жизни в мире смертных был

ограничен, мясо, еще недавно замороженное, быстро протухало на костях, делаясь вязким и рыхлым, перекатывающимся под шкурой, вот только едва ли эта тварь издохнет от старости прежде чем оторвет ей нахер голову...

Кошачьи зубы не могут соперничать с зубами пса или гиены, они не созданы для того, чтобы впиваться в мясо и дробить суставы. Но сила, влитая Цинтанаккаром в это отродье, не знала снисхождения к его несовершенному устройству. Барбаросса чувствовала, как зубы твари хрустят и ломаются, впиваясь в ее кожу, как выворачиваются под ее пальцами хрупкие челюсти. Она каталась по полу, пытаясь раздавить ублодка своим весом, но тщетно. Эта тварь не была кошкой, ее тело было устроено совсем на другой манер, лопающиеся внутри кости ничуть не мешали ей вновь и вновь впиваться в нее когтями и зубами.

Ты проебалась, Барби. Кажется, это была первая мысль, воспарившая над липким булькающим варевом рассудка. Ты возомнила себя слишком хитрой — и ты проебалась. Ты...

Ее руки, судорожно блуждающие по грязному кошачьему меху, наткнулись на большую опухоль, наполовину развалившуюся под пальцами, обнажившую россыпи мелких колючих зубов. Голова. Одна из голов. Какой-то древний рефлекс приказал Барбароссе впиться пальцами в ее глазницы и это, кажется, было первой удачной мыслью за сегодня, пусть даже не ее собственной.

Глаза у твари тоже не до конца оттаяли, ее пальцы ощутили сопротивление чего-то липкого, хрустящего, похожего на подмороженную глину. Но это заставило Цинтанаккара вспомнить, что такое добрая старая боль. Тварь истошно взвыла и все тысячи когтей, которыми она впиалась в ее плечо и грудь, будто бы ослабли на короткий миг. Короткий миг, которого хватило Барбароссе, чтобы, закричав во все горло, швырнуть ее прочь, собрав все силы измочаленного тела в одну короткую обжигающую искру.

Получилось. Тварь, полосую когтями воздух, ударилась о стену дровяного сарая, даровав ей блаженную передышку. Очень короткую, судя по всему. Она даже не упала вниз, впиалась в доски, хлеща вокруг себя изломанными кошачьими хвостами, мгновенно напрягаясь для следующей атаки.

Барбаросса нагнулась, пытаясь нащупать на полу хоть что-то, способное служить оружием. Суковатое полено, быть может, или увесистый кусок угля... Но нащупала только лишь что-то вроде большого булыжника правильной прямоугольной формы. Шкатулка Котейшества. Она швырнула ее в тварь еще прежде, чем сообразила, что это такое.

Никчемная попытка.

Шкатулка ударилась в стену в десяти дюймах от Цинтанаккара, проворно убравшегося прочь, лишь беспомощно хрустнула крышка на хрупких шарнирах, высыпая все сокровища Котейшества на грязный пол. Оплавленные свинцовые божки, тлеющая лоскутная кукла, крохотные амулеты, посвященные неизвестным ей силам... В этой шкатулке было до черта инструментов, устроенных так сложно, что она не могла даже понять их назначения, но вот оружия не было. Котейшество не держала у себя оружия, она использовала совсем другие силы...

Будь она здесь, наверняка смогла бы совладать с этим адским выблядком, использовав чары Флейшкрафта. Выдохнула бы сквозь зубы тираду на адском наречии, щелкнула бы пальцами — и висящая на стене тварь, собирающаяся силами для новой атаки, превратилась бы в огромную, истекающую соплями, опухоль. Или...

Котейшества нет. Ты одна здесь, крошка Барби. Ты — и твоя бесконечная глупость,

которая в этот раз, должно быть, все-таки тебя убьет. Да еще никчемный кусок консервированного мяса, наблюдающий за всем из своего угла.

Кусок мяса. Лжец.

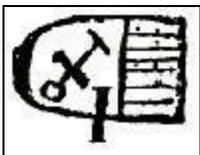
Беспомощный гомункул, заточенный в стеклянном сосуде, не способный задушить и воробья. Если он что и умеет, так это язвить ее исподволь да создавать возмущения в магическом эфире. Возмущения, которые...

Кричи, приказала ему Барбаросса, пятясь прочь от твари, выставив перед собой безоружные руки. Кричи, как не кричал никогда прежде.

— Что?

— Кричи! — рявкнула Барбаросса, — Ну!

И Лжец закричал.



Крик гомункула не походил на крик человека. Он вообще ни на что не походил. Это было словно... Словно воздух в тесном дровяном сарае вдруг заклокотал, а крохотные невидимые булавки, соединяющие воедино ткань мироздания, ослабли, отчего все сущее вокруг зловеще затрещало — точно старый рассохшийся гобелен, норвящийся сползти со стены.

И этот крик превзошел все ее ожидания. Она сама ощутила лишь мимолетный приступ тошноты, заставивший ее споткнуться на ровном месте, но Цинтанаккар, должно быть, как и положено адскому созданию, обладал повышенной чуткостью к возмущениям в магическом эфире. Его надувшееся тело заходило ходуном, впившиеся в доски когти заскрежетали, из разорванных пастей вырвался протяжный хриплый крик.

Как тебе это, сучий потрох? Что, твой слух слишком нежен? Кружится голова?

Барбаросса смогла набрать в грудь воздуха и на миг восстановить затуманившееся зрение. Сердце колотилось так, что должно было вот-вот лопнуть, исполосованная когтями шея онемела, но у нее не было времени даже бросить взгляд на собственное плечо, чтобы определить, как крепко ему досталось.

Тварь, оживленная Цинтанаккаром билась в конвульсиях, прицепившись к стене, но не требовалось быть самой искушенной в адских науках сукой, чтобы понять — поднятый Лжецом крик не убьет ее, не изгонит прочь, в адские бездны, даже не повредит. Это всего лишь эффект неожиданности, который определенно не продлится слишком долго. Секунд пять, подумала Барбаросса, ощущая, как ноют ее пустые кулаки, сжимаясь до хруста. Может, десять. Потом он прыгнет вновь — и в этот раз уже не оторвется от нее, пока не оторвет нахер голову.

Ей нужно оружие. Какое-нибудь чертово оружие, с которым она, по крайней мере, сможет умереть в руках, как подобает ведьме...

Она почти тотчас нашла его — лежащий на полу в двух шагах от нее револьвер — самое бесполезное оружие на свете. Разряженный, он был не более смертоносен, чем кленовое полено, но взгляд отчего-то впился в него так крепко, будто вонзил тысячи острых колючих костей, не оторвать.

Барбаросса мысленно застонала. Барби, никчемная блядь! Оставь эту бесполезную игрушку в покое, от нее тебе никакого проку. Это всего лишь кусок стали и дерева — на редкость безыскусный кусок, если по правде. У тебя нет ни щепотки пороха, нет

пороховницы, ты ведь самонадеянно думала, что решишь все дело одним выстрелом и не позаботилась о запасах. С тем же успехом ты можешь вооружиться старым сапогом или...

Древние демоны-рефлексы, шнырявшие по ее телу, растворились, растаяли, но один из них, самый докучливый и упрямый, поселился в черепе, посылая во все стороны огненные стрелы, невесть чего от нее добиваясь. Сигнализируя, извиваясь, рыча от ее скудоумия.

Порох. Тебе нужно всего лишь пара щепоток пороха, чтобы снова превратить эту никчемную игрушку в оружие, так ведь? Совсем немного пороха, три-четыре пффенига, хорошая щепотка. Но что такое порох, если не обычный порошок, славно пыхающий при соприкосновении с огнем? Всего лишь взрывоопасная пыльца, и только.

Барбаросса подхватила с пола рейтпистоль, совсем не заметив его тяжести. Лжец все еще кричал, воздух в дровяном сарае отчаянно бурлил, но тварь на стене быстро приходила в себя. Оскалила лопнувшие пасти, усеянные вывороченными крошечными зубами, напрягла уцелевшие лапы. Это паукообразное отродье чертовски быстро соображало и не намеревалось терять времени. Оно не даст ей передышки. Обрушится вновь, и этот удар, без сомнения, станет смертельным.

Действуй, сестрица. Во имя всех тварей адских бездн, действуй.

Сокровища Котейшества, просыпавшиеся из сломанной шкатулки, грудками лежали на полу. Пестрые шелковые платки с вышитыми вензелями неизвестных ей владык. Свечные огарки непривычно темного цвета, должно быть, выплавленные из человеческого жира. Мотки разноцветной пряжи — к чему ей? Котейшество никогда не занималась вязанием! — крохотные речные раковины с выцарапанными письменами, склянки с неведомыми жидкостями, пучки сухих трав...

Склянка, заполненная мучнисто-белым гранулированным порошком. Барбаросса вцепилась в нее, едва не раздавив в руках.

Трижды безжизненноокисленное дерево.

«Дьяволова перхоть».

Знакомая штука.

Тварь на стене хрипло заворчала, готовясь к прыжку. Если крик Лжеца и причинял ей неудобства, то недостаточные для того, чтобы помешать ей вновь напасть. Досаждающие, не более того. Пять секунд, подумала Барбаросса, срывая крышку. Тебе осталось жить на свете пять секунд, сестрица Барби. И ни одной секундочкой больше...

Она не знала, сколько порошка сыпать в ствол, поэтому сыпанула по пороховой мерке, наугад. Если эту чертову штуку разорвет нахер прямо у нее в руках, точно бомбу, черт, это будет не самая плохая кончина для нее. Яркая, как полагается ведьме. С полкой она провозилась на одну секунду дольше, палец не сразу нашел защелку. Отщелкнуть, сыпануть и туда, защелкнуть. Получалось без особой ловкости, но быстро, она даже не просыпала мимо ни единой крупинки «адской перхоти».

Пуля. Ей нужна пуля. Вот о чем она забыла, судорожно готовя к бою свой никчемный пистолет. Пистолет без пули — как конь без седла. Можно здорово бахнуть, может даже опалить Цинтанаккару его блядскую, из котов сшитую, рожу, но и только. Пуля! Адские владыки, отвлекитесь на миг от своих игр, хлопот и интриг, пошлите сестрице Барби, которую вот-вот разорвут на клочки, одну чертову пулю или...

Кости твари затрещали, готовя тело к прыжку. Совсем мало времени. Может, на один вздох или того меньше.

Пальцы Барбароссы отчаянно вцепились в висящий на поясе кошель, перебирая его

содержимое. Отрубленные пальцы, ее собственные. Монеты — из них получилась бы недурная картечь, если бы только разрубить их, толку от них. Было в кошеле еще что-то помимо пальцев и монет, что-то мелкое, твердое, перекатывающееся, точно небольшие камешки...

Зубы! Блядские зубы сестрицы Барби!

Не обращая внимания на завязки, Барбаросса рванула кошель с ремня, не замечая, что рассыпает вокруг себя монеты. Зубы были маленькими, белыми как сахар, целехонькими — жаль расставаться — но удивительно легко помещающимися внутрь пистолетного ствола. Она засыпала их сколько влезло, утрамбовывая ладонью, использовав вместо пыжа бумажную бирку от склянки Котейшества.

Блестящая работа, Барби. Если тебя не разорвет в клочья, наверняка прославишься в Броккенбурге. Пусть тебе не удалось заклясть ни одного демона, не получилось добыть славы и богатства из адских недр, зато ты станешь известна как изобретатель первого в своем роде *Zahnpistole*[3], чего доброго, его еще примут на вооружение саксонской армии...

Это она сказала? Или Лжец?

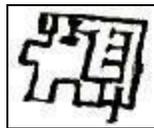
Мгновением позже это перестало ее заботить.

Тварь на стане коротко рыкнула, готовясь к прыжку.

Барбаросса развернулась к ней, вскидывая рейтпистоль.

Спусковая скоба под пальцами провалилась, но грохота не последовало, одно только резкое шипение.

А в следующий миг дровяной сарай вместе со всем, что в нем находилось, провалился в Ад.



В Аду оказалось жарко — было бы странно, окажись это не так — и жар этот быстро усиливался. Не тот жар, что осенним вечером уютно потрескивает в комельке, маня согреть озябшие пальцы, другой жар — злой, чадающий, нетерпеливый. Способный сожрать до кости неосторожно протянутую руку. Тот жар, что скрежетал в отцовских угольных ямах, выпуская наружу едкий смрад своего пиршества.

Отец умел с ним обращаться. Не будучи посвященным в адские науки, не имея ни малейшего представления о сложной адской иерархии и не имея заступника из числа адских владык, он укрощал бушующее в яме чудовище так же легко, как опытный демонолог — расшалившегося адского духа.

Он знал, как управлять движением дыма, чтобы отогнать его в другую сторону или закрутить винтом, вытягивая жар. Знал, когда надо сыпануть в яму дубовой стружки или негашёной извести. Что бросить, чтобы ускорить или замедлить горение. Когда можно поворожить в огромной огнедышащей яме длинной кочергой, а когда лучше держаться подальше и даже не дышать...

Когда-то она любила за этим наблюдать. Устроившись за старым пнем, жевать утаенную от братьев и сестер горбушку, способную своей твердостью дать фору куску хорошо слежавшегося антрацита. Смотреть, как отец, монотонно ругаясь себе под нос, кормит огромное подземное чудовище, пышущее жаром, все новыми и новыми вязанками дров, ловко уклоняясь от его огненного дыхания, способного испепелить человека на месте, как мошку.

В такие минуты она восхищалась им, как только можно восхищаться отцом. В такие минуты его сморщенное, будто бы лоскутное лицо, в глазах которого гудело отражение марева, казалось почти красивым. А сам он казался рыцарем, бьющимся с исполинским, заточенным под землей, драконом. Обжигающим чудищем из адской бездны, норвящим выбраться на поверхность.

Бой этот давался ему непросто. Возвращаясь домой от своих ям, он тяжело дышал, с хрипом втягивая воздух в сожженные огнем легкие, стягивал обжигающие рукавицы, выпуская из них облачка раскаленного пара, но стянуть с себя тяжелую кожаную робу уже не мог — его пальцы, обожженные столько раз, что сделались огрубевшими, будто бы медными на ощупь, были бессильны справиться с завязками. Робу с него стаскивала детвора, суестьющаяся в доме, устраивая потасовки за право помочь ему, но Барбаросса никогда в них не участвовала. Ей, как старшей над всеми, полагалась самая почетная часть этого процесса — право стащить с отца тяжелую ременную сбрую с заклепками, которая крепилась поверх робы, и право это она не уступила бы даже перед лицом величайшего из адских владык...

Тогда она еще не знала — помимо тех чудовищ, что бьются в отцовских ямах, жадно пожирая дерево и исторгая из себя ядовитый дым, в мире есть много прочих, и далеко не всех из них можно приручить.

Каждый раз, заложив топливо в яму, отец отправлялся в трактир, чтобы пропустить кувшин-другой пива. Обычное дело для углежога. У тех, кто сторонится пива, уголь выходит ломкий, скверный, ни черта не годный, это известно всем в Кверфурте. Отец и не сторонился. Но там, в трактире — это было доподлинно известно пятилетней Барбароссе — обитало свое чудовище. Не такое жуткое, как то, что бушевало в яме, не такое обжигающее, но куда более хитрое и коварное. Без своего кожаного доспеха и длинной кочерги на специальном древке, отец был безоружен против него, мало того, даже не замечал притаившегося чудовища. А оно было там. Просто пряталось. Барбаросса отчетливо ощущала его сернистый маслянистый дух, вырывающийся из пузатых трактирных рюмок, этот же запах выбивался из распахнутого отцовского рта, когда он, не добравшись из трактира до дома, засыпал на подворье, с куском необожженного угля под головой вместо подушки.

Чудовище, обитавшее в трактире, не пыталось сожрать отца заживо, превратив в тлеющую щепку, как это иногда случается с углежогами, оно было из другой породы. Породы терпеливых, хитрых и скрытных хищников. Обвив его невидимыми щупальцами, оно медленно въедалось в него, как въедался в отцовскую кожу пепел угольных ям, въедалось так крепко, будто намеревалось срастись с ним в единое целое. И, верно, чертовски хорошо умело это делать, потому что спустя год Барбаросса уже не всегда была уверена в том, кого видит перед собой — одного отца или отца в обнимку с чудовищем — к тому времени они срослись так крепко, что уже редко путешествовали отдельно.

Заложив в яму топливо, отец отправлялся в трактир, но никто из домашних не знал, когда чудовище отпустит его в этот раз. Иногда, пребывая в добром настроении, оно отпускало его вечером — отец возвращался в сумерках, насвистывая под нос, швыряясь камнями в фонарные столбы и лишь немного спотыкаясь. Иногда держало за полночь. Отец вваливался в дом, почти ничего не разбирая вокруг себя, спотыкаясь и сквернословя, кулаки его истекали черной кровью или нос был сворочен на бок, а жара в его ругательствах было столько, что, верно, сухие дрова превращались бы от них даже не в уголь, а в чистую золу.

Иногда, войдя во вкус, чудовище из трактира держало отца в плену по два-три дня, не отпуская домой. Это было хуже всего. За три дня огонь в заложенных им ямах прогорал

подчистую, пожирая сам себя, превращая уголь в хрустящую на ветру белую золу. Это означало, что следующие несколько дней придется без устали работать лопатой и кайлом, вычищая яму, долбить спекшуюся массу до кровавых мозолей, а после волочь все новые и новые вязанки хвороста — вновь заполнять перевернутый отцовский зиккурат топливом...

Чудовище, с которым отец сражался в трактире, должно быть, принадлежало к касте самых могущественных и хитрых адских владык, потому что совладать с ним отец был не в силах — даже при том, что бесстрашно заходил в адский жар, способный сожрать его вместе с сапогами. Чудовище из трактира тоже сжигало его, но хитро, изнутри, от него не могла защитить ременная сбруя и тяжелая просмоленная роба. Оно трещало пламенем где-то в его душе, выбрасывая через глаза злые оранжевые искры, оно пировало его жестким мясом, иссушая его на костях, оно пропитывало ядовитым дымом его мысли, а пальцы заставляло дрожать, точно ивовые прутьики в костре.

Когда-то, должно быть, бой сошел на равных. Барбаросса плохо помнила те времена, помнила только, что отец был весел и шумлив, закончив работу, он выливал на себя ведро колодезной воды, отчего его роба из толстой кожи страшно шипела, и сам он тоже шипел, но с наслаждением, фыркал, рычал, топал ногами. Мать смеялась и кричала, и тогда он топал ногами еще сильнее, а от бороды его, сделавшейся сизой от пепла еще в молодости, разящей паром, пахло как от горячего мха за печкой, приятно и терпко...

Мать сгубила эпидемия тифа семьдесят четвертого года. Путешествующая с облаком дохлых ворон, несущимся на Дрезден, эпидемия лишь немного отклонилась к югу, едва-едва мазнув Кверфурт кончиком пальца, но матери этого хватило. Четыре дня она кричала и металась по кровати, точно ее грыз невидимый огонь, заставляя кости лопаться в теле, а на пятый исчезла. Утром Барбаросса обнаружила только пустую постель — да отца с черным, будто бы пережженным, лицом.

Именно тогда чудовище из трактира взялось за него всерьез. Самая старшая из детей — шесть лет стукнуло, не ребенок — Барбаросса каждый вечер отправлялась в трактир, чтоб найти отца и притащить домой. Иногда это давалось ей без особого труда — схватка с обитающим в винном бутылке чудовищем так утомляла его за день, что он делался послушным, как ребенок, хоть едва стоял на ногах, а по щекам его текли черные, похожие на деготь, слезы.

Иногда — это случалось чаще — чудовище раскаляло внутри него какие-то жилки, отчего слова у него в глотке нечленораздельно клокотали, плавясь точно в тигле, а взгляд, пусть и невидящий, слепой, делался обжигающим. В такие минуты приближаться к нему было опасно, как к едва заложенной топливом угольной яме, что может полыхнуть огнем, а заводить разговор и того хуже. Он мог швырнуть кувшином ей в голову, мог свалить оплеухой на пол, заставив забиться под трактирный стол, круша сапогами — тяжелыми старыми сапогами, чьи голенища казались каменными, задубевшими в адской топке.

Иногда чудовище, устав терзать отца, меняло тактику. Обвившись вокруг его сморщенной сухой шеи, невидимое для всех, оно принималось что-то ласково нашептывать ему на ухо, заставляя блаженно улыбаться, щуриться на тусклую трактирную лампу, точно на солнце, и насвистывать себе под нос. Наверно, оно знало какие-то секретные слова или нужные заклинания на адском языке, потому что впавший в блаженное состояние отец быстро обмякал, сгорбившись за столом. В такие минуты он часто начинал беспричинно смеяться, гладил узловатыми пальцами Барбароссу по голове, а то и разыгрывал перед ней на столе при помощи костей, пустых рюмок и хлебных корок целое представление, куда

более захватывающее и яркое, чем может представить даже самый искусный в своем ремесле фрайбергский «Кашперлеттеатр» с его лоскутными куклами.

Бывало даже, в такие минуты отец сажал ее на трактирную лавку рядом с собой, заказывал ей шоппен трактирного сидра, чудовищно кислого, пахнущего хлебом, ржавчиной и спелым июньским утром, а сам принимался болтать, беспричинно смеясь. Хотя обычно-то был молчалив, как кусок прошлогоднего угля!

Выправим дело, говорил он, выправим дело в лучшем виде, вот увидишь. В шестой яме уже «эстельбергский белый» подходит, два дня томиться осталось, а «эстельбергский белый» это почти как золото, потому как твердый, горит долго и без едкости, его для баронских дворцов покупают господа из Дрездена и Магдебурга. Знаешь, как получается «эстельбергский белый», малярня моя бледная? Барбаросса кивала, не отрываясь от кружки с сидром. Кто ж в шесть лет в Кверфурте — и не знает?... Нужно взять хороших дубовых дров и томить их два дня и ночь при низкой температуре, так, чтоб стоя возле ямы ног о землю не обжигать, а на третью ночь поддать жару, так, чтоб загудело из-под земли, и держать до рассвета, а после достать и сразу забросать землей. Хороший «эстельбергский белый» под тонким слоем испепеленной коры имеет ровную твердую поверхность, которая, если ударить по ней гвоздем, издает протяжный чистый звук, ну чисто двумя железками стукнули...

Но через минуту отец и сам забывал про свои ямы, ему уже казалось, что вместо позабытых, превратившихся в камень и шлак угольев они забиты новенькими звенящими талерами, которые надо лишь потратить, в такие минуты в его обожженных гноящихся глазах появлялся лихорадочный маслянистый блеск, он то и дело оправлял воображаемую шляпу и посмеивался в опаленные клочковатые усы.

В пятницу нынче поеду в Обхаузен, по торговой надобности, приятелей-компаньонов проведать, заодно и к портным загляну, портные в Обхаузене знатные. Куплю тебе, холера ненаглядная, ткани на платье, и не рогожи какой, как у трактирной публики, а наилучшего тисненого бархату. А то бегаешь в рванине, как мальчишка, грязная вся, в парше, смотреть стыдно! А еще пряников имбирных кулек куплю и зеркальце в серебряной оправе.

Забавно — в те времена она еще не боялась смотреться в зеркало и даже серебро еще не казалось чем-то угрожающим...

Минуту спустя ему уже казалось, что Барбаросса выросла, что ей пятнадцать, что из злого грязного чертенка с вечно оцарапанными кулаками она превратилась в красивую молодую девицу с приятными манерами, и надо бы уже отдавать ее в обучение и устраивать жизнь. Отец начинал улыбаться, шутливо щупая ее за плечи, знать, жизнь эта в его представлении была куда слаще кислого трактирного сидра. В золотошвейки мы тебя, проказа собачья, не отдадим, пальцы у тебя сильные, как каленые гвозди, отцовские, а вот ловкости в них нету, но не беда. Отдадим в Обхаузен, в хороший дом, домоправителькой. Фиалки будешь нюхать да горнишным оплеухи раздавать, и за это будешь иметь два гульдена в месяц, да еще кровать хозяйская, да еще стол...

Иногда отец настолько выдыхался за день в своей бесконечной битве, что не мог на своих двоих вернуться домой. И тогда чудовище, с которым он бился так долго, что успел срастись, само притаскивало его домой. Должно быть, оно вело отца на короткой узде, вонзая шпоры в беззащитные бока, потому что отец рвался из стороны в сторону, задевая плечами заборы, ревел нечеловеческим голосом на всю улицу, спотыкался, падал, хрипел, полз по-собачьи...

Иногда чудовище доводило его до дома, но после бесцеремонно швыряло посреди кухни, точно надоевшую игрушку. Веса в нем, даже исхудавшем, было столько, что детвора не могла дотащить его до кровати, лишь снимала пропитанные мочой портки да укрывало одеялом.

Иногда чудовище язвило отца невидимыми шипами, язвило так отчаянно, что отец ревел от боли, пытаясь вслепую махать кулаками, в такие минуты лучше было обратиться от него подальше, потому что удары, предназначенные чудовищу, были страшны — душу могло вышвырнуть из тела от таких ударов.

Устраиваясь на ночь, Барбаросса загоняла двух младших сестер на чердак — караулить, а сама ложилась у окна. Едва только скрипнут ворота, надо было определить, в каком настроении сегодня отцовский демон. Если в скверном, надо свистнуть мальчишкам, чтоб спрятали в подполе тяжелую отцовскую кочергу да убрали прочь все, что можно разбить. Если в добром — а доброе настроение случалось с чудовищем все реже — подали на стол что осталось из съестного. Не обнаружив на столе ужина, чудовище быстро приходило в ярость...

Она даже не помнила, когда поняла это. Что отца, каждый день отправлявшегося в трактир биться с чудовищем, в общем-то давно и нет. Душа отца растворилась и вылетела из тела вместе с сернистым запахом дрянного пойла. А есть только чудовище, которое надевает отца вместо костюма — как сам отец, отправляясь на работу, когда-то надевал плотную кожаную робу с ременной сбруей...

Барбаросса попыталась вспомнить что-нибудь еще об отце, но не смогла — от едкого дыма в груди спирало дыхание, мысли путались, тело жгло невидимым огнем. Ну конечно, она же в Аду, потому что мир взорвался у нее перед глазами и...

— Барби.



— Барби.

Отчаянно и едко пахло дымом, но совсем не так, как из отцовских ям. Она сообразила это еще до того, как сообразила, как ее зовут. Это только непосвященному, ни хера не смыслящему в старом искусстве углежогов, кажется, будто дым везде одинаков, человек сведущий, проживший хотя бы гол в Кверфурте, может разобрать по меньшей мере три дюжины видов дыма, мало того, определить, что горит и при какой температуре. Но тут...

Это не Ад. Едва ли в Аду выстилают полы досками, а ее руки ощущали под собой именно доски. На какой-то миг ей показалось, что она лежит в фехтовальной зале, уткнувшись лицом в присыпанный опилками пол. Что над ней стоит Каррион, внимательно глядя на нее, наслаждаясь плодами учиненной экзекуции, а «Стервец» в ее руке равнодушно роняет в пол густые капли только что испитой у нее же крови.

— Барби.

Жарко. Душно. Окна в фехтовальной зале были заколочены на зиму, кроме того, туда не осмеливались забираться даже самые отважные сквозняки в Малом Замке, оттого внутри всегда было сухо, но чтобы настолько сухо...

— Да очнись ты наконец, чертова шалава! Иначе задохнешься нахер!

Она не в фехтовальной зале. Каррион здесь нет.

Сарай. Она лежит в сарае на подворье Малого Замка.

Барбаросса поднялась, ощущая себя обгоревшим големом из оккулуса, выбирающимся из-под развалин кареты. Боли не было, но в голове звенело так, будто орда маленьких демонов целый час лупила по ней железными ложками. Сквозь этот звон было чертовски непросто понять, где она находится и что ее окружает.

Но она поняла.

Дровяной сарай. Ты все еще в дровяном сарае, Барби. Он порядком разгромлен, кроме того, затянут едким дымом, которого ты наглоталась всласть, точно сестра Холера — дармового вина, но ты все еще жива.

Сарай. Цинтанаккар. Выстрел.

Я выстрелила в эту дрянь на стене, вспомнила она, в Цинтанаккара. Прямо в его ощерившуюся пасть, когда он прыгнул на меня. А потом...

Правая ладонь звенела так, будто ее хорошенько отходили молотами на наковальне. Или она побывала под копытом у резвого жеребца. Багровая, вздувшаяся, с едва шевелящимися пальцами, некоторые из которых лишились ногтей, опаленная, она хоть и повиновалась приказам, но выглядела чертовски паскудно. Как жаренный паук с пятью лапами, подумала Барбаросса, сбежавший из печи...

Боли не было, но Барбаросса знала, что боль непременно явится. Она всегда приходит на запах паленого мяса, а если и выжидает немного, то не из милосердия, а лишь из типичного женского кокетства, точно гостя на званом балу, нарочно являющаяся с небольшим тщательно высчитанным опозданием...

Чертов «Фольксрейтпистоль». Кусок никчемной жести.

Стоило ей спустить курок, как проклятая железяка взорвалась у нее в руке точно пороховая граната. Спасибо, лишь опалила и без того обожжённую руку, а не оторвала нахер. А ведь могла оторвать и голову. Забросить ее, точно мяч, в окно Малого Замка, на радость сестрам...

Нельзя доверять дешевому оружию. Уж точно не никчемной жестянке ценой в полтора гильдена. На какой-то миг она даже пожалела, что на пистолете не было клейма мастера. Черт, знай она имя оружейника, не пожалела бы сил, чтобы навлечь на его блядский род все мыслимые проклятья и кары, проклясть кровь в его жилах и костный мозг в его костях, натравить на него каких-нибудь кровожадных тварей из Преисподней...

Барбаросса машинально оцупала свое лицо, обнаружив россыпь свежих ссадин, ожогов и царапин. Повезло. Должно быть, герцог Абигор, владыка ее бессмертной души, решил проявить к ней снисхождение и умаслил все злые силы, желающие ей гибели. У нее в руке, в эле от лица, сработала чертова снаряженная шрапнелью бомба, а ей не вышибло нахер глаза, как это бывает у пушкарей, не перепахало рожу осколками, даже руку и ту не оторвало, лишь опалило.

Могло быть и хуже, подумала она, глядя на серебряные кляксы, оставшиеся от вогнанных в стену игл, на черные подпалины, усеявшие крышу, на пятна тления, обильно украсившие стропила. В какой-то миг ярость Цинтанаккара полыхнула так, что все неказистые амулеты Котейшества буквально налились огнем, едва не подпалив хренов сарай — а следом она сама еще и пальнула «дьяволовой перхотью», чтобы наверняка устроить пожар...

Старое дерево, хвала всем владыкам, выдержало, не занялось, лишь местами потемнело. А если бы занялось... Барбаросса мрачно усмехнулась, облизывая сухие, как щепки, губы. Если бы сарай занялся всерьез, здесь бы она бы и изжарилась. Крошка Лжец даром бился бы

в своей бутылке, пытаясь ей помочь. Сарай — эта целая груда дерева, хорошего сухого дерева. Если займется огнем, сгорит дотла. Даже если стоящая на карауле Кандида вовремя подняла бы тревогу, даже если из Малого Замка высыпали в одном исподнем все двенадцать душ с ведрами в руках, сарай спасти бы не успели — только пепелище и осталось бы. Пепелище с малой толикой пепла сестрицы Барби, мало отличающегося по цвету...

Не кори судьбу, крошка, подумала она. Не гневи адских владык. Ты родилась под счастливой звездой, Барби, сестренка...

К тому же, чертов «Фольксрейтпистоль» может быть и не виноват. Ты сама засыпала внутрь до черта «адской перхоти», щедро, как сыплют в кружку с вином дурманящего порошку, неудивительно, что он полыхнул у тебя в руке. Скверная сталь, подточенная временем, попросту не выдержала адского жара...

Черт. Это контузия, Барби. Обычная контузия.

Вот почему у тебя так страшно гудит в голове. Вот отчего тебя шатает из стороны в сторону, точно пьяного моряка. Вот почему ты не чувствуешь жара. А вот Лжец, надо думать, чувствует, вон как мечется в своей банке, отчаянно барабаня лапками по стеклу...

— Уходим! Пока эта блядская хибара не сгорела ко всем чертям!

— Уймись, — хрипло отозвалась она, водя взглядом из стороны в сторону, — Я должна найти...

— Кого найти? Свою девственность? Как будто на нее есть охотники!

Барбаросса мотнула головой.

— Найти его.

— Оставь! Черт!

Из-за контузии окружающий мир мягко плыл перед глазами, отказываясь оставаться неподвижным, будто бы смазанный гусиным жиром, стелющийся вдоль стен разъедал глаза, но Барбаросса упрямо шла вперед.

Дьявол, если она выберется живой из этого блядского сарая, ее точно забьет до смерти рыжая сука Гаста. За какие-нибудь четверть часа они учинили здесь такой разгром, будто тут, посреди дровяного сарая, сошлись в смертельной битве полчища демонических архивладык Белиала и Гаапа, пытающихся разделить между собой многострадальную, не единожды опаленную, Саксонию...

Поленья, аккуратно сложенные сестрами на зиму, были разметаны по всему сараю и изломаны. Обрывки шелковых нитей свисали с притолок тлеющими хвостами. Осколки зеркал хрустели под ногами вперемешку с сокровищами Котейшества.

Я куплю все это тебе, Котти, подумала Барбаросса, ощущая, как усердная исполнительная «Скромница» нанизывается на пальцы правой руки, а ветреная своевольная «Кокетка» сливается с пальцами левой. Новую шкатулку, битком набитую колдовскими штуками. Новый эйсшпанк, еще больше старого. А еще новые сапоги взамен стоптанных, новый дублет, новый берет с перышком — и не фазаньим, а каким-нибудь роскошным, соколиным... Может, останется еще немного денег на твои любимые мятные тянучки и пару брошюр по Флейшкрафту. Наверняка останется, потому что едва я закончу с монсеньором Цинтанаккаром, как отправлюсь на Репейниковую улицу, в дом, где грустит в своей спальне старый господин фон Лееб. Я еще не знаю точно, что я с ним сотворю, но обещаю тебе, Котти, когда его душу доставят в Ад, тамошние владыки смогут лишь сочувственно качать головами. И, конечно, я приберу все, что господин фон Лееб оставит после кончины — монеты, ценное барахло, а пусть даже и трофеи времен его сиамской

службы...

— Слева! — крикнул гомункул, напряженно наблюдавший за ее поискам из банки, — Его отшвырнуло в угол! Там!

Заткнись, Лжец. Сама вижу.

Следующие три шага были медленнее предыдущих — выставив перед собой вооруженные кастетами руки, она осторожно приближалась по концентрической спирали, готовая размоzzжить блядской твари все уцелевшие кости в теле, если та хотя бы шевельнется ей навстречу...

Но в этом не было нужды.

Заряженный испепеляющей «дьяволовой перхотью» и ее собственными зубами, старенький «Фольксрейтпистоль», полыхнул точно заправская картечница, безнадежно погубив сооруженный монсеньором Цинтанаккаром на скорую руку шедевр. Тварь, едва не разорвавшая ей горло, не спешила закончить начатое. Даже не шелохнулась, услышав ее шаги.

Она больше не походила на посланника из Ада. Она походила на большую развороченную тефтелю, вмятую в угол, смердящую мертвечиной и паленой кошачьей шерстью. От страшного жара наложенные Цинтанаккаром швы полопались, шкура обгорела и слезила ключьями, обнажая причудливые переплетения костей, сросшихся так, как никогда не способна срастаться живая ткань сама по себе.

Некоторые кошачьи головы еще подергивались, но скорее рефлекторно. Лишившиеся шерсти, с вышибленными страшными жаром глазами и развороченными пастями, они походили на жуткие бородавки, ворочающиеся в обожженном мясе, беспомощно скрипящие полопавшимися челюстями. Это была не угроза — агония.

Барбаросса присвистнула.

— Ну и ну. Подумать только, сколько дел может натворить один жалкий рейтпистоль за полтора гульдена с щепоткой «адской перхоти»...

— Перхоть!.. — презрительно бросил Лжец из своего угла, нетерпеливо ерзающий в банке, — Как будто в ней дело! Ты, верно, совсем забыла про зубы!

— Про... зубы?

— Твои херовы зубы! Черт! Ты и этого не знала?

— Чего не знала?

Лжец вздохнул.

— Иногда мне кажется, что адские владыки позволяют тебе ходить по земле только потому, что их развлекает твоя глупость! Ну же! Давай убираться отсюда, пока я не сварился нахер в этом горшке!

Барбаросса не без злорадства представила, как тщедушный сопляк мечется в окруженной огнем банке, медленно варясь заживо. Соблазнительная вышла картинка. Может, потому, что ее усиливала вонь паленого мяса, исходящего от мертвого демона.

— Можем немного обождать, — усмехнулась она, — Огня нет. А если и загорится... Знаешь, я никогда не пробовала похлебку из гомункула. Наверняка не хуже, чем тот дрянной суп, который Гаррота готовит из коровьих почек... Что там с моими зубами?

Лжец вынужден был стиснуть крошечные кулачки, уставившись на нее исподлобья.

— Ну и тупая же ты шкура, Барби... Не могу поверить, что связался с тобой. Черт Ведьминские зубы — это тебе не сушеный горох. Только подумай, сколько излучения адских энергий и чар они собирают в себе за те годы, что ты бормочешь заклинания на адском

наречье да хлещешь всякую дрянь! Обычно их толкут в порошок и используют в зельях, но ты...

— Я нашла более действенный способ, только и всего, — она склонилась над издыхающей тварью, — Скверно выглядите, монсеньор Цинтанаккар. Нездоровится?

Одна из кошачьих пастей попыталась очертить, но лишь беспомощно заскрипела челюстями. Несмотря на то, что вместо глаз у нее зияли пустые глазницы, Барбаросса ощутила неприятное шкрябанье где-то в душе, словно взгляд этих несуществующих глаз пронзил ее насквозь, через кости, мясо и покрытый свежей копотью дублет.

— Надеюсь, вы не собираетесь издохнуть в скором времени, — Барбаросса улыбнулась, ощущая, как натягивается кожа на собственном обожженном лице, — Вы, кажется, немного мне задолжали, а? Или вы думаете, я не заставлю вас заплатить за каждый кусочек плоти, который вы от меня оттяпали? Ох, черт, нет, нас с вами ждет долгий разговор. Обстоятельный долгий разговор, как полагается у хороших знакомых. Я запасусь серебряными иглами, горячими углями, ножом и....

Гомункул взвыл.

— Барби! Безмозглая сука, раздери тебя надвое! Ты еще не сообразила? Это не он!

— Что?

— Это не Цинтанаккар!

Тварь, в последний раз щелкнув челюстями, начала съеживаться, обугленные и изломанные кошачьи хвосты судорожно задергались, будто пытались вцепиться в окружающую их ткань реальности, не дать злобному духу, вселившему в мертвую плоть, соскользнуть обратно в Ад. Но и они принялись стремительно разлагаться, хрустя и подергиваясь, превращаясь в сморщенные крысиные хвосты. В считанные секунды огромный обмякший мешок, сшитый из кошачьих шкур, превратился в съеживающийся пузырь, наполненный зловонными газами и ветшающими на глазах потрохами. Но даже глядя на это, Барбаросса не могла сполна насладиться победой. Мешал звон в ушах, мешала боль в обожженной руке, на которую она нацепила кастет.

Это не он, сказал Лжец. Это не Цинта...

В сарае вдруг стало жарче.

Остатки зеркал захрустели, ссыпаясь вниз зыбкими ручейками из стеклянного крошева. Вбитые в доски иглы раскалились с новой силой, засветившись так жарко, что сухое дерево тотчас занялось, наполнив дровяной сарай злым потрескиванием и белесым дымом, на стропилах заплясало, обманчиво медлительное, тусклое желтое пламя. Маленькие божки Котейшества с крокодилыми и собачьими мордами, рассыпанные из шкатулки, медленно превращались в булькающие свинцовые лужицы. Прочие сокровища стремительно пожирало пламя, превращая хитро вышитые платки в дрожащие лепестки сажи, а амулеты — в крохотные коптящие костры.

Огонь. Барбаросса подалась назад, ощущая, как съеживается в груди душа.

Слишком много огня. Нечем дышать.

Кверфурт... Угольные ямы...

Никогда нельзя заглядывать в уже разожженную яму — первая заповедь углежога...

На миг ей показалось, что весь дровяной сарай — исполинская яма, внутрь которой она угодила и кто-то, верно, отец, деловито поджигает затравку, которая, пробежав горячим языком, быстро превратит всю яму в ревущую от жара Геену Огненную...

Это не он. Это не Цинтанаккар.

Барби! Безмозглая сука, раздери тебя надвое! Ты еще не сообразила?

А потом Цинтанаккар заговорил.



Каждую осень, едва только в окрестных кверфуртских лесах заканчивалось сокодвижение, отец приступал к изготовлению поташа. Для поташа он закладывал в яму не дуб, ясень и березу, как для обычного угля, а тополь, вербу и сосну, обильно перекладывая дрова гречишной соломой. Поташ выходил ядреный, такой, что проедает до кости, рачительные хозяйки из Барштедта и привередливые служанки из Обхаузена охотно брали его, платя по два гроша за шеффель, но запах... Запах в ту пору вокруг их дома стоял совершенно чудовищный.

Едкий дым легко выбирался из угольных ям, превращая воздух окрест в смесь едких газов, от которых немилосердно саднили легкие, а глаза драло так, что впору выцарапать. Может, потому она всегда не любила осень — та всегда напоминала ей скверный запах отцовского поташа. Она еще не знала, что ядовитый воздух Броккенбурга пахнет не лучше...

— HŪING ŠOPHEŇĪ RĪ KHĀTHĪ ŠÆRNG THĀPĒN MĀMD!

Она словно сама очутилась в угольной яме. Дыре, наполненной обжигающим гулом и треском, в которой живое и сущее сгорает, превращаясь в сухой черный порошок. Жар полыхнул из всех углов дровяного сарая, да так, что мысли едва не истлели в голове, точно сор в обожженном глиняном горшке.

Дышать... Во имя всех адских владык, куда подевался весь воздух?..

Голос Цинтанаккара обжигал, точно прикосновение раскаленного клейма. У него не было источника, он доносился со всех сторон одновременно, чудовищной скрежещущей волной, от которой все кости в теле тоже начинали скрежетать, норовя перетереть друг друга в порошок.

— Лжец!

Уродец в банке оскалился, демонстрируя крохотный провал вместо рта.

— Я говорил тебе! Говорил тебя, дери тебя черти!

— Я же убила этого выблядка! Вот он!

Кошачьи шкуры, охваченные жаром, скручивались в углу, шипя и шкворча, там уже невозможно было различить ни голов, ни прочих деталей, одну только медленно спекающуюся зловонную массу.

— Никого ты не убила! — крикнул гомункул, — Ты думала, это он? Это всего лишь кукла, которую он оживил, чтоб позабавиться!

— Значит, он...

Барбаросса прижала руку к груди и ощутила, как что-то дернулось в ответ под ключицей. Что-то маленькое, острое, нетерпеливо ерзающее. Какая-то крохотная заноза, про которую она было забыла, но которая все это время была там...

— А ты думала, что вытащить Цинтанаккара просто, как семечко из яблока? — зло бросил Лжец, беспокойно вертящийся в своей банке, — Что ты умнее всех четырнадцати шлюх, что были до тебя?

Да, подумала Барбаросса, беспомощно озираясь, на миг подумала...

Голос Цинтанаккара не был звуком. Он был скрипом каких-то гигантских адских

механизмов размером с крепость, дробящих кости и превращающих их своим жаром в спекшуюся черную золу. Эти механизмы могли бы сожрать весь Броккенбург со всеми сотнями тысяч никчемных отродий, населявших его, но все равно не были бы насыщены даже на самую малость.

— MĪMĪ XARĪ. DĀM MĪ.

Это не были слова демонического языка, но от них ее едва не вытряхнуло из кожи.

— Лжец!

— Я говорил тебе! — взвизгнул гомункул, — Я говорил тебе, что переговоры с демоном не доведут до добра! Но нет же! Ты возомнила себя самой хитрой сукой в Броккенбурге, а? Решила продать меня и заработать себе прощение? Возомнила...

— Хер с тобой! — рявкнула она, — Что он говорит? Я не понимаю!

— Это сиамский, тупая ты сука!

— Я не знаю сиамского!

— А ты думала, монсеньор Цинтанаккар из уважения к тебе начнет изъясняться по-остерландски?

— Переводи! — рявкнула она, лихорадочно озираясь, чтобы понять, с какой стороны грозит опасность, — Я хочу знать, что он говорит!

— Ничтожество. Пустьшка.

— Иди нахер, Лжец! Или ты будешь переводить или...

— Это он сказал, Барби! Он сказал, ты ничтожество, пустьшка.

— Ах, вот как...

Дровяной сарай быстро наливался жаром. Не тем приятным жаром, что образуется в городских закоулках по весне, пробуждающим дремлющие в теле соки, ласково треплющем по щеке — зловещим густым жаром, живо напомнившим ей угольные ямы Кверфурта. Остатки амулетов, разбросанные по полу, тлели и плавилась, пол под ними опасно темнел. Зловеще начали потрескивать стропила, по крыше побежали опалины, дохнуло терпким запахом горячего дерева...

Дьявол, здесь и верно становится жарковато.

В любой миг ты можешь оказаться в самом пекле, девочка. Не пора ли тебе убираться?

Это ее мысли — или херов коротышка из бутылки принялся нашептывать ей на ухо?..

Нет, подумала Барбаросса, ощущая, как теплеют нанизанные на пальцы кастеты, не пора. Этот пидор, мнящий себя демоном, только того и ждет. Как и то чудовище, что погубило отца, он слишком труслив и слишком слаб, чтобы ввязываться в драку. Подобно всем немощным тварям, он не способен охотиться, лишь грызть изнутри, отравлять, медленно переваривать.

Его настоящее оружие — не когти, а страх. Те четырнадцать шлюх, что были до нее, потому и погибли — они позволили ему запустить когти страха в свою душу. Погубили сами себя, испугавшись продолжить борьбу за тем порогом, за которым начинается боль. Лишенный привычного оружия, Цинтанаккар бессилен. Он попытался нагнать на нее страха, оживив никчемную куклу из плоти, но стоило с ней разделаться, как тут же убрался прочь, взявшись за такие древние трюки, к которым прибегают дешевые уличные театры, пытаясь впечатлить публику — зловещий шепот из-за кулис да искры.

Херня собачья, приятель. Сестрицу Барби на такое не купишь.

Может, я никогда не была в адских безднах, но поверь, я хорошо знаю, как бушует огонь...

— Убираемся, Барби! — взвизгнул Лжец, с ужасом наблюдая, как тяжело скрипят доски на крыше, роняя вниз тусклое конфетти из искр, — Иначе сгорим нахер!

— Цинтанаккар! — выкрикнула Барбаросса, — Где же ты, трусливый скопец? Отзовись? Выйди на свет!

Он отозвался. Отозвался так, что все кости в ее теле съежились, сделавшись обугленными головешками.

— C̄HAN KHŪX CINTNĀKĀR DXŪN BERK KEXŔ. KHWĀM TĀY SĪ THEĀ NI LĀSĪ
YĒN

Голос Цинтанаккара выжигал воздух в сарае быстрее, чем самое жадное пламя. Барбаросса ощутила, как отчаянно и резко дергается заноза у нее под ключицей. Будто бы раскаленный уголек попал на кожу, но не соскочил, а просочился сквозь нее, да так там и остался.

— Лжец!

— Он говорит... — Лжец съежился, прикрывая лапками от жара чувствительные глаза, — Я — Цинтанаккар. Губитель зари. Серая смерть в остывающих кишках.

— Прелестные титулы, — усмехнулась Барбаросса, позволив «Кокетке» и «Скромнице» поцеловать друг дружку с приятным мелодичным звоном, — Наверняка не единственные, которыми тебя наградили в адском борделе...

— C̄HAN KHŪX CINTNĀKĀR CĀKR PHR RDĪ FĀ RĪ SĪ. CĒĀ HĒNG KHCHSĀR.
THRRĀCH THĪ-THĪ-LEĀ. WANG K̄HXNG C̄HAN THĀ CĀK KRADŪK THĪ MĪ LEŪXD X
NĀPHU K̄HXNG C̄HAN TĒN D̄WY NĀDĪ NĪNG KHLANG K̄HXNG C̄HAN MĪMĪ WAN
HMD

— Я — Цинтанаккар, — Лжец поперхнулся, будто и сам ощутил жгущую потроха искру, но продолжил, — Сюзерен Фа-Ри-Сай. Властитель кхаткров. Тиран ти-тай-лэу. Мой дворец сложен из кровоточащей кости. Мои фонтаны бьют застоявшейся желчью. Моя казна никогда не скудеет.

Где-то над головой сухо треснула балка, выплюнув ворох искр. Не тусклых, похожих на осыпашуюся листву, а жгучих, опасных, едва не задевших ее плечо. Такие могут и проесть, прямо сквозь дублет, жара в них прилично...

На миг страх вновь вцепился щербатыми зубами ей в кишки, едва не заставив броситься прочь, не разбирая дороги.

Огонь. Слишком много огня.

Он извивался и плясал на стропилах, раскидывая ворохи искр, он жадно облизывал стены, перепрыгивая с одной доски на другую, он уже украдкой щупал сваленные в углу дрова, будто осторожно пробуя их на вкус...

Не ссать, Барби, красotka.

Эта тварь знает, что ты боишься огня. Она нашла многие твои страхи, пока копошилась в твоей душе. Но это не значит, что она обрела над тобой власть. Она может изводить тебя ужасом, может грызть украдкой, но когда дело доходит до настоящей схватки, способна лишь рычать из угла.

— Твой дворец — собачья конура! — бросила Барбаросса зло, — В твоей казне — два медяка, которые тебе швырнули за то, что ты отстрочил в адской подворотне мастерский миньет какому-то спешащему владыке! Твой...

— C̄HAN KHŪX CINTNĀKĀR C̄HAN CA KIN KHUN THANG KHŪ KHUN
HAWK̄HMOY THĪ NĀ ŠMPHECH LĒA KHUNCHĀY NĒĀ NI K̄HWD KHUN MĪ

PRAYOCHŇ KĄB CĚĀNĀY KĀHXNG REĀ TĀ KHUŇ KHID CRING «ĤRŪX WĀKHWĀM
XWDDĪ KĀHXNG KHUŇ CA MĪ DĪ RĄB THOŠ' TLXD PĪ? KHUŇ KHID WĀKHWĀM XDTE
KĀHXNG CĚĀNĀY KĀHXNG KHUŇ NĀN MĪMĪ THĪ ŠĪNŠUD ĤRŪX MĪ? KHRĀW NĪ ČĀŇ
CA KIN TĤEX ĎWY.

Лжец по-рыбьи разевал рот, прижавшись к дальней стене банки. Его темные глаза казались еще более выпученными, чем обычно, тельце мелко дрожало. Неужели жар так быстро проник в банку, что жидкость внутри уже начала закипать?..

— Лжец!

Он встрепенулся, но лишь едва-едва, крохотное тельце обмякло на глазах. Он выглядел не просто ослабевшим, он выглядел так, словно те жалкие крохи жизни, что были поселены в нем стараниями неведомых заклинателей, таяли на глазах.

— Я...

— Что он говорит, Лжец?

Гомункул судорожно кивнул.

— Я — Цинтанаккар. Я сожру вас обоих. Тебя, жалкая воровка, и тебя, ма...

Он запнулся, судорожно дергая челюстью. Он выглядел... Испуганным, подумала Барбаросса. Потрясенным. Оглушенным. Жалкая опухоль, заточенная в стеклянной банке, достаточно хорошо изучившая людей и их пороки, чтобы безошибочно язвить в уязвимые места — сейчас эта опухоль впервые за все время их знакомства выглядела по-настоящему испуганной.

— Лжец! — крикнула Барбаросса, — Переводи!

Дровяной сарай быстро наполнялся треском, и это были не блядские цикады, решившие усладить их слух осенним вечером. Это был огонь. Он плясал на стропилах, легко переползая с одной балки на другую, пировал грудями старых дров, шипя облизывал осколки сокровищ Котейшества.

Огонь. Барбаросса пятилась, пытаясь прикрыть лицо ладонями от проклятого жара.

Этот жар, рожденный обычным деревом, не адской серой, не мог прожечь насквозь сталь или испепелить камень, но легко мог сожрать ее саму с потрохами. Он уже обступал ее со всех сторон, утробно гудя, и хоть гул этот еще не сделался по-настоящему страшным, тем, что сдирает мясо с костей, она знала, что времени в ее запасе осталось совсем немного. Дым забирался в легкие, заставляя ее кашлять, выедал глаза, но она знала, что сможет в нем продержаться еще несколько минут. Угольные ямы Кверфурта хорошо ее закалили.

— Лжец! Переводи или я брошу тебя в огонь!

Лжец дернулся. Он выглядел разваренным, вялым, сущий студень. Маньчжурский гриб, плавающий в банке.

— Я сожру вас обоих, — забормотал он, — Тебя, жалкая воровка, и тебя, маленький гнилой человек в бутылке. Ты был полезен нашему хозяину, но неужели ты думал, что твоя наглость вечно будет оставаться безнаказанной? Ты думал, терпение твоего господина бесконечно? В этот раз я сожру и тебя тоже...

Огонь уже охватил часть стены и растекался дальше, захватывая все новое и новое пространство. Серебряные иглы стремительно плавилась в нем, зеркальные осколки превращались в слепые обугленные глазницы, шелковые нити беззвучно таяли. Сшитая из дохлых котов игрушка Цинтанаккара, позабытая им в углу, шипела, расползаясь на части.

— Херня собачья! — крикнула Барбаросса, выставив перед собой утяжеленные кастетами кулаки, будто те могли спасти от подступающего жара, — Все, что ты можешь —

это устроить дурацкое ярмарочное представление с огнем? Однажды я видела в театре, как сгорает Магдебург и, черт возьми, это выглядело куда серьезнее. Выходи, никчемный евнух! Выходи — и покажи мне свою хваленую демоническую силу!

Шипение, которое она слышала, не было шипением демона, но не было и шипением раскаленного пламени, стремительно пожирающего доски сарая. Это шипели ее собственные инстинкты, требующие от нее плюнуть на все и убраться прочь. Бежать, спасая свою жизнь.

Надо убраться отсюда нахер. Стены сарая уже пылали, нечего и думать потушить. От жара трещал дублет на ее плечах, глаза отчаянно слезились, а воздух был едким, как пары кислоты. Блядская хрень. Уже очень скоро эта штука превратится в один большой жаркий костер — вроде тех, на которых ее прабабок сжигали заживо в старые добрые времена.

Еще полминуты, подумала Барбаросса. Полминуты, не больше...

«Скромница» и «Кокетка» немного потяжелели, наливаясь злой силой. Готовые встретить любую опасность, что выберется из дыма, будь она скроена из плоти, из меоноплазмы или любого другого дерьма. О, они здорово развлекутся, выколачивая из нее все! Раскрошат все кости, превратив тело в подобие звенящей медяками копилки, проломают череп, перешибут хребет. Эти милашки будут рады повеселиться, как в старые добрые времена...

На какой-то миг ей показалось, что Цинтанаккар отступит. Трусливо юркнет злой адской искрой прочь из горящего сарая. И эта искра в самом деле была — колючая, яркая, коротко полыхнувшая перед ее глазами. Вот только таять она не спешила.

— KHUN PHUNGRHĀ ĤMAD ĶHXNG KHUN MĀ TLXD MĚMD CHĪ ĤĪM? KHEY W WĀNGCI ĤĪ PHWK ĶHEĀ KĀE PAŸHĀ THĀNGĤMD ĶHXNG KHUN ĤRŪX MĪ? MĀ DŪ KAN WĀ KHUN CADKĀR XŸĀNGRĪ DOY MĪMĪ ĶHXNGLĒN TĀM PKTĪ.

Дьявол, от страха металл кастетов как будто бы потяжелел. «Скромница» весила порядком больше привычных ей восьми унций, а «Кокетка» — семи с половиной. Они как будто бы...

В этот раз ей не потребовалось понукать Лжеца. Вяло колыхнувшись, он забормотал:

— Ты всегда надеялась на свои кулаки, ведьма, не так ли? Привыкла доверять им решение всех своих проблем? Так давай посмотрим, как ты справишься без привычных тебе игрушек.

Что-то было не так. «Скромница» уже весила по меньшей мере пфунд, и это не было игрой воображения. Так же стремительно наливалась тяжестью «Кокетка». И если раньше эта тяжесть казалась ей успокаивающей, то теперь вдруг вызвала безотчетное беспокойство, будто в бок, под сердце, кольнули тупой холодной иголочкой.

Они тяжелели! Цинтанаккар что-то сделал с ее оружием!

Барбаросса, заворчав, поднесла руки к лицу, пытаясь понять, что за чертовщина с ними творится. И увидела, как стремительно багровеют ее собственные пальцы, стиснутые латунными окружностями. Кастеты не просто тяжелели, они будто бы уменьшились в размерах, пальцам сделалось тесно в предназначенных для них гнездах.

Какого хера?

Барбаросса попыталась стянуть «Кокетку» с левой руки. Обычно та подчинялась неохотно, будто бы уступая хозяйской воле, но без всякого рвения. «Кокетка» любила развлечься и всякий раз расстраивалась, если время игры подходило к концу. Но сейчас...

Что-то с моими пальцами, подумала Барбаросса. Должно быть, от жара распухли

суставы или...

«Кокетка» не снималась. Мало того, ее хватка делалась все более и более жесткой, болезненно пережимающей пальцы. Как и хватка «Скромницы». Так бывает, когда натянешь чересчур маленькое кольцо, а то сдавит палец стальной хваткой, точно капкан, ни туда и ни сюда...

Барбаросса ощутила колючие зубы паники, передавившие ей диафрагму. Паники тем более резкой, чем ближе гудел подступающий к ней огонь.

Так, спокойно, Барби, сестренка, не паникуй, не...

Она попыталась снять «Скромницу», впившись в нее пальцами левой руки. Кастет не поддался ни на дюйм. Он будто бы прилип к ее кулаку, сделался его частью. Сидел так плотно, что не просунуть и конского волоса. Барбаросса зарычала, приложив еще больше усилий, так, что затрещали суставы, но тщетно. Побагровевшие от прилившей крови, распухшие, ее пальцы наотрез отказывались расставаться с прикипевшими к ним кастетами. Просто от жара, подумала она, в блядском сарае жарко, как в домне, вот пальцы и распухли...

Давай посмотрим, как ты справишься без привычных тебе игрушек, сказал демон.

Без привычных тебе...

Пальцы горели огнем, костяшки стонали, опасно потрескивая. Она словно сунула руки под огромный паровой пресс и чувствовала, как начинают потрескивать кости...

Она вдруг поняла, что это не кастеты сдавливают пальцы. Это ее собственные кулаки, налившись пугающей нечеловеческой силой, пытаются раздавить сами себя, так неистово, что уже скрипит, подчиняясь мал-помалу, металл.

Без привычных тебе игрушек, сестрица Барби.

Он хочет, чтобы ты...

Барбаросса закричала, ударяя кулаком о кулак, как будто это могло ослабить хватку. Поздно. Она чувствовала, как жалобно заскрипели фаланги пальцев, как затрещали суставы — негромко, как притаившийся под лавкой сверчок. Она видела, как из-под вздувшихся ногтей вытекает густая темная кровь.

Ее руки. Ее блядские кулаки, над которыми она более не властна, хотели уничтожить сами себя. Она вдруг поняла, что сейчас произойдет — краешком трещащего от жара сознания, поняла, но отказалась верить, потому что...

А потом ее кулаки лопнули, раздавив сами себя.

«Кокетка» и «Скромница» беспомощно скрипнули, сминаясь.

Боль полыхнула черным огнем, таким жарким и всепожирающим, что даже страшный жар обьятого пламенем сарая на миг показался ей далеким, почти не обжигающим.

Ее пальцы. Ее руки.

Барбаросса всхлипнула, не ощущая, как слезы, льющиеся из ее глаз, мгновенно высыхают на раскаленных щеках.

Лопнувшие кулаки продолжали сжиматься, несмотря на то, что превратились в сгустки кровотокающей плоти с костяными обломками и вкраплениями латуни. И только потом разможжённые пальцы вдруг обмякли, будто страшная сила, раскальвавшая их, вдруг закончилась без остатка.

А теперь ступай, мягко произнес Цинтанаккар, голос которого, едва слышимый за треском пламени, сделался почти ласков, нам с тобой предстоит провести еще немало времени, дитя. И у меня множество замыслов на твой счет. Как знать, может тебе суждено

стать лучшей моей работой?.. Ступай.

Крыша дровяного сарая лопнула, обрушив вниз каскад объятых огнем досок вперемешку с черепицей. Но Барбаросса даже не заметила этого. Она послушно двинулась к выходу, почти не замечая огня на своем пути, держа перед собой изувеченные руки, похожие на раздавленные тележным колесом сухие ветки. Боль обгладывала висящие пальцы, точно изысканные плоды, перетирая зубами раздробленные костяшки. Боли было так много, что в какой-то миг в мире не осталось ничего кроме нее — ни горящих стен вокруг, ни Котейшества, ни Броккенбурга, ни самой Барбароссы — только вселенная из черного пламени, сдавливающая сама себя и рассыпающаяся невесомым пеплом.

Ей даже показалось, что она легко может дышать дымом, почти не кашляя, а жар, от которого зудит кожа на лице, совсем не страшен. Возможно, смерть в огненной купели слишком приукрашивают. Если она остановится и постоит вот так немного, все закончится куда быстрее и проще. Надо лишь вытерпеть первую, самую страшную минуту, когда огонь лизнет тебя, потом должно сделаться легче...

Она шла вслепую, сквозь огонь, не зная направления, не видя выхода, даже не предполагая, где он, как корабль, окруженный грохочущими черными волнами. Дерево лопалось вокруг нее, исторгая водопады оранжевых искр, крыша тревожно скрипела над головой, доски трещали под ногами. Но она шла — сама не зная, куда. Кажется, она кричала — ее крик вливался в адскую песнь, исполняемую ревушим пламенем на тысячу голосов.

Банка с гомункулом. Она столкнулась с ней у самого выхода, не сразу сообразив, что это, едва не наступив ногой. Стекланный плод, наполненный прозрачной жидкостью, внутри которого плавает ком дряблого мяса, напоминающий дохлого крота. Должно быть, Лжец уже был мертв — сварился заживо в своей банке, а может, его хрупкое тельце просто не выдержало ярости Цинтанаккара, выплеснутой им в мир смертных. Даже удивительно, как его злосчастная банка не раскололась...

Сама не зная, зачем, Барбаросса нагнулась, чтобы подобрать ее.

Переломанные пальцы, спекшиеся с металлом, смешно скользили по стеклу, оставляя на нем багровые разводы, гнулись, словно гуттаперчевые. Несколько раз банка, почти поднятая, шлепалась обратно, едва не укатившись в гудящее пламя.

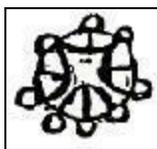
Но у нее получилось. Пришлось прижать банку обеими руками к животу, нелепо переставляя ноги — со стороны она должна была выглядеть чертовски потешно, точно пьяница, слепо бредущий и прижимающий к себе драгоценный пивной бочонок...

За ее спиной грохотала, проваливаясь крыша, зло и жадно гудело пламя, пожирая доски и остатки дров, трещала лопающаяся черепица — картина самого Ада в миниатюре.

[1] Саксонский дюйм равен 23,6 мм.

[2] Здесь: примерно 3,3 кг.

[3] Zahnpistole (нем.) Дословно — «Зубной пистолет».



— Барби.

— Иди нахер.

— Барби.

— Что?

— Ты должна встать.

— Я стою.

— Ты лежишь на куче компоста и сама скоро станешь его частью.

Херня. Она стоит на ногах. Она...

Барбаросса заворочалась. Она ощущала себя раздавленным жуком, прилипшим к чьей-то подошве. Голова звенела, набитая тысячами острых ржавых булавок, а еще ее мутило. Так сильно, что едва разлепив глаза, она захрипела и извергла из себя едкую муть, лишь чудом не украсив ею штаны.

Она спала? Барбаросса затрясла головой, ощущая, как тело нехотя вспоминает свое положение в пространстве. Ржавые булавки в ее черепе задребезжали, царапая кость изнутри.

Темно. Сыро. Она лежит на груди чего-то мягкого, пахнущего гнилым сеном, аммиаком и тухлятиной. И верно, куча компоста. Наверно, она шла, увидела эту чудесную кучу, так похожую на мягкую кровать, и решила подремать часок-другой...

Нет, вспомнила она. Я наглоталась дыма в горящем сарае и чудом выбралась наружу. Бежала вслепую, ослепшая и не чувствующая ног, а гомункул кричал мне, где сворачивать. Я бежала сквозь ночь и опаленная одежда трещала на мне, в ушах ревел сгорающий заживо демон и...

Барбаросса попытался пошевелиться.

Сорок тысяч демонов вбили в ее кисти раскаленные штыри. А потом впрягли сорок тысяч адских лошадей и пустили их во весь опор, разрывая связки и сухожилия в хрустящие куски, дробя кости и суставы... Боль сожрала ее руки целиком, испепелив до последнего кусочка плоти на обгоревших костях, перекинулась пляшущим пламенем на запястья, локти, плечи, прочертила полыхающие дороги через всю спину и грудь. Боли было так много, что она выплескивалась из тела через ее обожженную глотку содрогающимся воем. В последний миг она успела прижаться к груди осклизлого сена, на которой лежала, но крик, даже приглушенный им, тяжело отдался в ушах.

Ее руки. Ее изувеченные руки.

Ее кулаки сжались с такой силой, что сломали сами себя. У нее больше нет кулаков.

Крошка Барби потеряла не только свое прелестное личико, но и свои хорошенькие ручки, какая досада!

— Не кричи, — прошептал Лжец, — Я попытаюсь немного приглушить боль. Не из милосердия. Если ты будешь так орать, то снова свалишься без чувств, а в таком состоянии ты сама не полезнее компоста.

Я бежала, вспомнила Барбаросса. Ослепшая, воющая от боли, с чертовой банкой под

мышкой. Я перебралась вслепую через два или три забора, повалила какую-то изгородь, издыхая от боли переползла через несколько канав и...

И только потом вырубилась. Поставила осторожно банку наземь, нашла местечко помягче и...

Боли сделалось меньше. Горящие уголья, впесованные в ее кости и мясо, все еще пылали, но теперь ощущались так, точно были обернуты в мокрые тряпицы, больше жгли, чем испепеляли. Немного лучше.

Барбаросса через силу открыла глаза. Ей надо посмотреть на свои руки. Оценить серьезность увечья. Возможно, она пожалеет об этом, но...

Опустив взгляд, Барбаросса взвыла в голос.

Чума, оспа и холера!

То, что она увидела, не было ее руками. Это были два лопнувших багровых паука с изломанными лапами, покрытых черной коркой спекшейся крови и блестящими вкраплениями золотистого металла. Точно кто-то взял два куса горелого мяса, после чего долго и старательно инкрустировал его сталью. Развороченные суставы походили на страшные надувшиеся волдыри, кое-где из них выпирали осколки кости, острые, как сломанные ветки...

Ее руки мертвы. Ее надежные помощницы и защитницы превратились в два куса горелого мяса, фаршированного металлом — тем, что осталось от «Кокетки» и «Скромницы».

Барбаросса закулила, не в силах сдерживаться.

Ее руки... Ее чертовы руки...

— Хватит! — Лжец резко ударил рукой по стеклу, отчего жидкость в его банке плеснула, — Довольно. Я знаю, тебе больно, но едва ли мы сильно облегчим свое положение, если будем сидеть здесь, тратя драгоценные минуты и предаваясь печали.

Он и сам выглядел паскудно. Хуже, чем в тот день, когда они познакомились, когда она впервые увидела его на кофейном столике, жалкую куклу старика фон Лееба. Увидь она его таким в «Садах Семирамиды», нипочем не дала бы больше трех талеров, он мало чем выделялся бы на фоне прочих увечных и жалких созданий...

Лжец осунулся, съежился, будто бы занимал в банке куда меньше места, чем раньше. Полупрозрачная кожа посерела, истончилась еще больше, отчего крохотные косточки-хрящи казались пугающе острыми, натягивающими ее сверх предела. Глаза запали, став мутными, подслеповатыми, и взгляд у них сделался стариковским, совсем не похожим на тот, что она помнила, насмешливый и колючий.

— Я отрубился, — пробормотал Лжец, и в голосе его, может впервые за все время их знакомства, Барбароссе послышались извиняющиеся интонации, — Когда демон является в мир смертных, магический эфир вокруг него бурлит, как крутой кипяток. Меня словно обварило и я...

— Заткнись.

Даже спуститься с кучи компоста оказалось непростой задачей. Изувеченные пальцы полыхали огнем не только от каждого шага, но и от всякого неосторожного движения. Стоило просто шевельнуть плечами — и боль подобно молнии из раскаленной стали пронзала руки до самого локтя, жадно вгрызаясь в сломанные кости и обгоревшее мясо. Лучше бы этот пидор просто отрубил ей предплечья, подумала она, и прижег раны адским огнем...

Она не сразу поняла, где оказалась — ночь, затопившая Миттельшгадт, искажала знакомые контуры домов, заборов и деревьев, превращая даже знакомую местность в причудливый, наполненный странными абрисами, лабиринт. Малого Замка видно не было, должно быть, выскочив из объятых пламенем сарая, она припустила с такой скоростью, что покрыла по меньшей мере полсотни баденских рут[1], не считая ни заборы, ни улицы. Ах да, она пробегала возле заброшенной мельницы, что к северу от замка, потом свернула у Ржавой Сливы, миновала вброд огромную сточную канаву... Черт, неплохо. Даже наглотавшись дыма, ни хера не соображая от боли, она сумела не только убраться подальше от родного замка, но и подобрать местечко потише, где можно наконец отрубиться. Да еще и постельку мягкую присмотрела...

Барбаросса оскалилась, разглядев в зыбком свете уличного фонаря свои штаны и дублет. Опаленная ткань пахла горелой кошкой и зияла прорехами, должно быть, ее путь был усеян не только лаврами, но и изрядным количеством гвоздей, за которые она цеплялась. Сверху все это было щедро покрыто копотью, грязью, помоями и прелыми компостными пучками.

Очаровательно. Охуительно очаровательно.

Малый Замок... Пожар. Она едва подавила желание сжать раздробленные пальцы в кулаки. Но от одной мысли о том, что сейчас там творится, опаленные волосы едва не встали дыбом на голове. По всему подворью наверняка мечутся сестры с ведрами в руках, пытаются залить блядский сараишко, полыхающий точно душа в Аду. Бесцеремонно разбуженная Гаста орет во всю глотку, помыкая бестолковой прислугой, старшие сестры, вооружившись баграми, пытаются развалить горящий остов, чтоб огонь не перекинулся дальше, и только Каррион, верно, безучастно глядит на зарево из окна своего кабинета. Она, пожалуй, не шевельнется даже если пламя перекинется на Малый Замок, так и сгорит в нем, не посчитав нужным выйти.

Может и сама Вера Вариола, увидав в ночи зарево над замком, прикатит на своем «Каннибале» ради такого случая. Барбаросса замычала от отчаяния, представив эту картину.

Только что ты заработала себе не розги, крошка Барби, ты заработала себе каторгу на весь остаток жизни в Броккенбурге. Если Вера Вариола прознает, что это твоих изувеченных рук дело, она может поступить с тобой так же, как с Острицей. Лишить тебя имени, завоеванного таким трудом, вновь сделать Красоткой и сослать в прислугу до скончания дней, полировать полы на пару с прочими младшими сестрами. То-то будут счастливы Гаррота и Саркома, помыкая ею, то-то оторвется Холера, выдумывая все новые и новые издевательские поручения, заставляя чистить ей ботфорты носовым платком и стирать по три раза на день нижние штаны...

Барбаросса застонала, пытаясь устроить искалеченные руки на груди так, чтобы те не причиняли боли. Это было непросто, чертовы культы непрерывно посылали в мозг колючие разряды, от которых ее трясло, точно в лихорадке.

Не требовалось иметь патент мейстерин хексы, чтобы сообразить — даже будь у нее деньги, ни один коновал в Брокке не возьмется превратить этих раздавленных пауков во что-то напоминающее человеческие руки. Сломанная кость срастается, особенно если подстегнуть этот процесс щепоткой живительных чар, но настолько изломанная кость не срастется уже никогда. Суставы раздроблены, тонкие связки порваны, плоть прикипела к культям сгустками паленого мяса, щедро украшенными расплавленной латунию.

Не отравляй себя несбыточными надеждами, крошка Барби, этим штукам уже не дано собраться в кулаки. Они не смогут даже взять ложку, не говоря уже про нож или писчее

перо. Это просто несколько пфундов мертвого мяса.

Возможно, стоит найти мясника, вяло подумала она. Мясника с хорошим острым топором. Пообещать ему монету — и положить запястья на колоду, чтобы он отрубил эту дрянь. Разве что...

Котейшество. Флейшкрафт.

Барбаросса облизнула обожжённые, коркой стянутые губы.

Флейшкрафт — нихера не девичьи привороты и гадания, это чертовски сильная и опасная штука, азы которой постигают годами. Недаром он входит в четверку запретных искусств Ада, обучать которым запрещено за стенами университета. В сказках Флейшкрафт сплошь и рядом используют, чтобы избавиться от увечий — вернуть жизнь обваренному в кипящем молоке кронпринцу, нарастить мясо на истерзанной птичьим клювом груди, вернуть зрение, превратить уроды в писанного красавца... Но люди, считающие, что Флейшкрафт — магия исцеления, ни хера не понимают в адских науках и их устройстве.

Флейшкрафт — магия плоти.

Котейшество как-то рассказывала ей про одну старуху из Оберштадта, которая, справив столетний юбилей и удрученная отсутствием внимания со стороны воздыхателей, решила вернуть своему дряхлому, изъеденному старостью телу былую молодость. Как и все обитатели Оберштадта, она была из знатного и почтенного рода оберов, а значит, денежки на такие капризы у нее водились.

Говорят, она наняла трех лучших флейшкрафтеров Броккенбурга — доктора Шаделя, мадам Вирбельзойль и Маттиаса Хозяина Плоты — целый блядский консилиум, чтобы вернуть престарелой прощмандовке ножки юной прелестницы, ясные глаза и упругую кожу. Но операция с самого начала пошла не по плану. То ли в кропотливо составленный гороскоп вкралась погрешность, нарушившая оптимальный час, то ли три светила Флейшкрафта в чем-то допустили оплошность, не выказав должного почтения адским владыкам...

Они вернули ей молодость, но в таком виде, от которого она сама пришла в ужас. Ее тело так и осталось оплывшим телом столетней старухи, покрытым растяжками, венами и стриями, но теперь из него выпирали, точно вплавленные под кожу, детские головы числом около полудюжины. Не наделенные разумом или даром речи, они бездумно разевали рты и пучили глаза, иногда ощериваясь жуткими ухмылками и пуская пузыри. Формально старуха не имела причины жаловаться — ей в самом деле вернули молодость, пусть и не в том виде, в котором она предполагала. Но, кажется, она была слишком раздосадована чтобы оценить чувство юмора адских владык.

Доктора Шаделя слуги удавили прямо у кровати несчастной оберши, мадам Вирбельзойль истыкали шпагами и бросили умирающую в ров, а Маттиас Хозяин Плоты сбежал во Фрисландию, где сделался странствующим флейшкрафтером и будто бы даже личным врачом самого Вильгельма Седьмого Оранского.

Хоть эта история и была рассказана Котейшеством, Барбаросса слабо верила в ее подлинность. Случись она с какой-нибудь баронессой или графиней, еще можно было допустить, но старуха-обер?.. Херня собачья! Оберы, ведущие свои родословные с пятнадцатого века, кичащиеся тем, что их династии были основаны колдунами и ведьмами старого мира, успевшими еще погреться на инквизиторских кострах, сами были подкованы в адских науках получше многих, именующих себя колдунами и ведьмами. Столетняя старуха, к какому бы роду она ни относилась, Швегелинов, Педерсдоттер или даже Кителер, должна была разбираться во Флейшкрафте много лучше своих самозванных врачей.

А вот история господина Эрисмана была самой что ни на есть подлинной, в которой сомневаться не приходилось, тем более, что сам господин Эрисман являл собой живое ее подтверждение, по меньшей мере два раза в неделю показываясь на рынке и один раз — на площади Галласа подле ратгауза[2] Гильдии. На рынке он, не доверяя экономке, собственноручно выбирал щавель и рыбу, пытая хозяек каверзными вопросами, в ратгаузе же занимался еще более серьезным и ответственным делом — представлял цех охотников Броккенбурга на всех заседаниях Гильдии.

Эта должность, позволявшая ему занимать почетное место за столом вместе с представителями шести прочих цехов — ткачей, землепашцев, строителей, торговцев, поваров и кузнецов, была заслужена им ценой не чьей-нибудь прихоти, но многолетнего усердного труда, оттого господин Эрисман всегда очень ревностно относился к своим обязанностям. Всегда безукоризненно и элегантно одетый, на заседания он неизменно приезжал на собственном аутовагене и на перепачканного грязью и порохом охотника походил не больше, чем глава цеха поваров господин Голлаш на покрытого мукой кухмейстера на постоялом дворе, или импозантный господин Ленц, предводитель броккенбургских землепашцев — на чумазого радебергского крестьянина.

Господин Эрисман умел выгодно подать себя в обществе и был бы хорош собой, если бы не один небольшой дефект — отсутствие левого глаза. Уже в зрелом возрасте, сделавшись членом могущественной Гильдии, незримо вершащей власть над всеми торгашами и ремесленниками города, он имел неосторожность поддаться низменным страстям, особенно губительным в пору мужской зрелости, и даже поучаствовать в одной дуэли, на память о которой оставил противнику собственный левый глаз. Отсутствие одного глаза едва ли было для него, почтенного цехового мастера, серьезным неудобством, однако траурная повязка поперек лба неожиданным образом повлияла на его репутацию и положение в обществе. При виде одноглазого охотника многие зеваки на рынке не упускали возможности позубоскалить за его спиной, а на совещаниях Гильдии, как болтали злые языки, почтенного господина Эрисмана за глаза стали называть не иначе чем Хаген из Броккенбурга[3].

Господин Эрисман терпел эти насмешки несколько месяцев, после чего все-таки решился обратиться к флейшкрафтерам, не постояв при том за ценой. Очень уж обрыдла ему траурная повязка, которую он вынужден был носить. Ритуал был проведен в первое же полнолуние, когда ведающие Флейшкрафтом адские владыки были наиболее миролюбивы и сосредоточены. Этому ритуалу не суждено было удачно окончиться. На следующий день, когда господин Эрисман по заведенному порядку явился в ратгауз Гильдии, многие цеховые мастера, его соседи, обратили внимание, что он бледнее обычного, а повязка на его лице из более плотной, чем обычно, ткани. А уж когда эта повязка случайно съехала с его лица, в ратгаузе едва не воцарилась настоящая паника.

Под повязкой не было кошачьего глаза, как болтали некоторые сплетники, как не было мушиных фасеток или чего-то в этом духе — там вообще ничего не было. Глазница господина Эрисмана представляла собой ровное отверстие сродни аккуратной норе, сквозь которое легко можно было заглянуть ему в голову. Там, внутри его головы, точно в пустой амфоре, невозмутимо копошился, шевеля усами, большой речной рак. Он был так велик, что едва помещался в черепе и уж точно не мог проникнуть внутрь через маленькую глазницу. Мало того, внутри оставалось так мало свободного места для того, что обычно помещается внутри головы — мозгового вещества господина Эрисмана. Однако, к удивлению и ужасу присутствующих, этот недостаток ничуть не мешал ему выполнять свои обычные

обязанности.

Господин Эрисман, глава цеха охотников, безукоризненно заполнял бумаги, сам чинил себе перья, а если высказывался, то кратко и по существу. Словом, вел себя совсем как обычно, лишь иногда впадая в некоторое оцепенение, от которого его приходилось пробуждать. Даже в быту, говорят, он ничуть не изменил своим привычкам, разве что хозяйки с рыбного рынка стали замечать, что присматривая себе рыбу на ужин, господин Эрисман частенько отдает предпочтение не свежим окунькам, а тем, что с небольшим душком...

Флейшкрафт. Барбаросса стиснула зубы, баюкая свои раздавленные руки.

Котейшество перерезала сотни котов в этом чертовом городе, овладев многими знаниями, недоступными даже сукам с четвертого круга, но она все еще боится применять их на практике. Слишком хорошо знает, какую цену могут спросить с нее адские владыки, использовав против нее мельчайшую ошибку...

Между ними был уговор — старый, заключенный еще год назад, который Барбаросса хранила в урном уголке памяти, как величайшее сокровище. В тот день, когда Котейшество будет уверена в своих силах, ее первой клиенткой станет крошка Барби. Быть может, если звезды будут им благоволить, при помощи Флейшкрафта удастся соорудить что-то пристойное из той ужасной штуки, которую она вынуждена носить вместо лица...

Может, с руками будет попроще? Барбаросса осторожно подула на раздавленные изувеченные пальцы, спекшиеся с металлом и похожие на мертвых пауков. Будет забавно, если ее руки превратятся в осьминогов с клейкими щупальцами или в сухие корни или в...

— Барби.

— Чего тебе?

Гомункул коротко шевельнулся в банке.

— Не только тебе херово, — пробормотал он, косясь на нее через толстое стекло, покрытое гарью и подсохшими разводами ее собственной крови, — Мне тоже прилично досталось. Я чуть не сварился нахер в собственной банке. Мне надо... Пополнить силы.

Барбаросса осклабилась, разглядывая свои жалкие культы.

— Дать тебе монету? Прогуляешься в Унтерштадт, опрокинешь пару кружек, может, снимешь на ночь какую-нибудь мамзельку... Ах, прости, я вечно забываю! Может, тебе сгодится идохлый воробей из канавы?

Гомункул досадливо мотнул своей шишковатой головой.

— Черт, ты знаешь, о чем я говорю! Мне нужна кровь! Одна маленькая капля крови, чтобы восполнить силы, не больше...

Барбаросса мрачно усмехнулась. Большая часть ее крови уже успела свернуться, образовав на изувеченных руках черную корку, но кое-где поблескивала еще свежая, багряная. Если ей удастся каким-то образом открутить тугую крышку...

— Нет.

Гомункул почти по-человечески заскрежетал зубами.

— Ведьма, имей хоть каплю сострадания! Если я буду слаб, я не смогу толком соображать, а значит, не смогу помочь тебе и...

Злость — лучшее обезболивающее, способное дать фору даже крепко заваренной соме.

Раздавленные пальцы полыхали болью, точно она держала их в огромной мясорубке, с утробным скрежетом перемалывающей ее хрящи, но это ничуть не помешало ей стиснуть культями банку и поднести ее к лицу.

— Помочь? — прошипела она, пристально глядя в его съежившиеся испуганные глаза, — Ах, помочь... Погоди, я ее не рассчиталась с тобой за ту помощь, что ты уже мне дал!

Я сожру вас обоих — так сказал демон.

Тебя, жалкая воровка, и тебя, маленький гнилой человек в бутылке. Ты был полезен нашему хозяину, но неужели ты думал, что твоя наглость вечно будет оставаться безнаказанной? Ты думал, терпение твоего господина бесконечно? В этот раз я сожру и тебя тоже.

Лжец судорожно трепыхнулся в банке. Должно быть, глаза Барбаросса, раскалившись как адские угли, жгли его даже через стекло. А может, крохотной искры магического дара в его теле хватило для того, чтобы на миг увидеть собственную судьбу — и судьба эта показалась ему чертовски незавидной...

— Барби! — взвыл он, почти истошно, — Брось ты! Довольно!

— Значит, ты был полезен своему хозяину? — процедила она, не отводя взгляда, с удовольствием наблюдая за тем, как крошечный уродец корчится, будто от боли, — Помогал ему, так?

Лжец сморщился, точно изюмина, которую погрузили в уксус.

— Барби... Послушай...

— Ты думаешь, я тупая сука? Пятнадцатая в ряду других тупых сук?

— Черт возьми, я просто...

Она потрянула банку. Так сильно, что едва не уронила оземь. Боль вцепилась зубами ей в культи, но сейчас она была почти незаметна. А может, ее собственную боль затмевала приятная мысль о той боли, которую она сейчас причинит другому...

— Ты сказал, что помогал им. Тем, кто был до меня. Помогал им искать путь к спасению.

— Да!

Мысль заскрежетала в голове, точно издыхающий демон в корпусе часов. Ну и тупая же ты пизда, крошка Барби...

— Херня! Если бы ты в самом деле помогал им, блядский Цинтанаккар донес бы на тебя хозяину, ведь так? И старик фон Лееб быстро заменил бы тебя другой опухолью в банке — более послушной! Но он не заменил. Ты так и стоял на своем любимом кофейном столике.

Лжец выставил перед собой свои жалкие ручонки, нелепо имитируя защитную позицию. Смешно, они не смогли бы парировать даже куриного пера.

— Черт возьми!

— Говори, — приказала она, — Выдавай свой грязный секрет, иначе, клянусь, я раздавлю твою банку прямо сейчас. Уж на это у меня сил хватит.

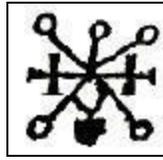
Лжец сплюнул. Никчемный жест, если сидишь в заполненной водой банке, но он, верно, нахватался от своих хозяев до черта человеческих жестов, пока наблюдал за ними. Может, он даже сам не сознавал, до чего нелепы некоторые из них.

— Мой грязный секрет... — пробормотал он, — Что ж, пожалуйста. Только учти, едва ли ты обрадуешься ему. Мой секрет не из числа тех милых девичьих секретов, которыми вы обмениваетесь с подругами перед сном...

— Выкладывай его — пока я не выдавила его из тебя вместе с кишками!

Гомункул выставил перед собой руки — жест покорности.

— Изволь. Мой секрет заключается в том, что Цинтанаккара невозможно победить.



— Что?

Кто-то другой произнес это ее голосом, хриплым и предательски треснувшим.

— Что слышала! Против него нет оружия. Я думаю... — гомункул заколебался, — Возможно, он неуязвим. От него нет лекарства. Это смертельная болезнь, Барби.

Она знала, что услышит что-то подобное. Но все равно ощутила, как копошится завязший в мясе осколок Цинтанаккара, жадно впитывая ее кровь. Ее собственная смерть, сжатая до размеров жемчужины. Набирающаяся силы, терпеливая.

— Нет.

Лжец вяло кивнул.

— Уж мне-то можешь поверить. Если Цинтанаккар засел в тебе, его уже не выковырять. Он убьет тебя, так же верно, как убила бы пуля из аркебузы. Разве что пуля эта не выпущена тебе в лоб, а напротив, прячется внутри тебя, чтоб вылететь наружу в нужный момент.

— Но ты... Ты говорил...

Ее собственный голос срывался, таял, точно крохотный язычок огня, ползущий по лучине, но не имеющий сил ее зажечь, сам медленно умирающий.

— Что мы можем одолеть его сообща? — гомункул горько усмехнулся, — Что нельзя отчаиваться? Надо искать путь? Надо быть упорной? Черт, побери, Барби! На моей банке нацарапано «Лжец», а не «Господин Пуфель-Трюфель» или «Орешек» или как там еще кличут у вас нашего брата!

— Ты лгал мне.

Гомункул поморщился. Полупрозрачная кожа пугающе натянулась на черепе.

— Я лгал всем четырнадцати сукам, что были перед тобой. Видишь ли, это часть моей работы.

— Работы?

— Работы на старика, — Лжец неохотно кивнул, — Ты ведь не думала, что он держит меня только лишь потому, что ему нравятся мои прелестные голубые глаза? Или он в самом деле допустил бы, чтоб я подсказывал никчемным воровкам, вторгнувшимся к нему в дом, пусть к спасению? Брось!

Переломанные пальцы не могли долго удерживать банку на весу. Барбароссе пришлось поставить ее оземь, между своих ног.

— Ты — не просто приманка, — прошептала она, — Ты...

Гомункул усмехнулся, козырнув ей ручонкой.

— Флюгшрайбер. Можно было бы назвать меня архивариусом, но мне претят анахронизмы... «Флюгшрайбер» звучит куда более современное и точнее. Знаешь, что такое флюгшрайбер?

Барбаросса покачала головой.

— Маленький лживый пидор?

— Нет, — Лжец изобразил лапками что-то угловатое, граненое, небольшое, — Это такая штука, которую ставят в современные воздушные экипажи. Черный куб из стекла и обсидиана с небольшим вкраплениями чар. Маленький, не больше табакерки. Его работа — запоминать приказы и показания, собирать информацию. Экипаж может быть сожран в

небесной высоте вышедшим на охоту адским владыкой, может угодить в гору, может в конце концов развалиться в воздухе, растерзанный собственными демонами. Но после его гибели останется флюгшрайбер — три пфунда обсидиана и стекла, в которых запечатлены последние команды гибнущего экипажа, проклятья его возниц, крики отчаяния и боли...

— Так ты, значит...

Лжец поспешно кивнул.

— Я записываю. Храню в памяти. Помнишь, не так давно ты сама спрашивала, зачем старику все это. Почему он позволяет сукам вроде тебя пробираться в его дом, а после еще семь часов кружить по городу, вместо того, чтобы карать воровок на месте? Теперь ты знаешь ответ.

Да, подумала Барбаросса, знаю.

— Нет! — выдохнула она, — Не знаю, черт бы тебя побрал!

Уловив движение над собой, Барбаросса быстро подняла голову. Возможно, Вера Вариола, прознав про пожар, уже разослала по всему Брокку личных демонов-ищек — вынюхивать, куда запропастилась крошка Барби и когда намеревается почтить своим присутствием скучающих сестер — у тех накопилось к ней порядочно вопросов...

Но это был не демон, это был габсбург. Пухлый, раздувшийся, похожий на большую грушу, он вцепился в провод многочисленными лапками, повиснув над головой у Барбароссы, и отчаянно тянулся вниз, разевая маленькую пасть, усаженную игольчатыми серыми зубами. Видно, разворошенная ею компостная куча испускала множество соблазнительных для него ароматов и он отчаянно старался дотянуться до угощения.

Счастливая тварь, вяло подумала Барбаросса. Примитивная, жалкая, никчемная — но совершенно ничего не боящаяся. Все самое страшное в ее жизни давно уже случилось.

Гомункул некоторое время тоже наблюдал за суетливым габсбургом, потом вздохнул:

— Фон Лееб — старый больной человек, но он не убийца. По крайней мере, в том смысле, который вы, существа из теплого мяса, привыкли употреблять. Черт возьми, он восемь лет пробыл в Сиаме, он перебил столько народу, что домика на Репейниковой улице не хватило бы, чтоб складывать тела, даже если укладывать их штабелями. Не он сам, конечно — его орудия. Он крушил картечью наступающие порядки сиамцев, сжигал адским огнем деревни и посева, бомбардировал крепости и города.

— Эта херня порядком ему надоела, так?

— Ты знаешь, как устроены люди, — гомункул печально усмехнулся, — Если графские слуги угостят тебя каким-нибудь лакомством с пиршественного стола, оно покажется тебе сладким, как амброзия. Но если тебя заставят годами только им и питаться, вскоре оно сделается безвкусным и похожим на помой.

— Он давно пресытился этим блюдом, уж поверь мне. пытки его не интересуют. Он давно пресытился этим блюдом. Насмотрелся в Сиаме на такие вещи, после которых, поверь, удивить его непросто даже самому искушенному демону. «Хердефлиген» — помнишь?.. Нет, он не садист. Вернее, он садист определенного рода.

— Я не...

— Все ты поняла, — сердито буркнул Лжец, косясь на нее, — Будто я не чувствую. Поняла еще минуту назад, просто пытаешься отпихнуть от себя прочь ответ. Давай уже. Скажи вслух.

— Те четырнадцать сук, что побывали у фон Лееба до меня, — Барбаросса говорила тяжело и медленно, каждое слово казалось ей подобием крохотного свинцового идола из

сундучка Котейшества, — Ты пичкал их надеждой, Лжец. Верно? Подкармливал. Как мой отец подкармливал дровами свои огнедышащие ямы.

Гомункул мрачно усмехнулся.

— Как знать, может, не самая паршивая работа на свете, а? Скажи я тебе сразу, что от Цинтанаккара нет спасения, что бы ты сделала? Небось взяла бы свой чертов пистолет и разнесла бы в том сарае себе голову. Украсила бы его своими дымящимися мозгами — к огорчению Котейшества и прочих твоих сестер, которым пришлось бы после этого орудовать там швабрами...

Габсбург над ее головой, отчаянно пытавшийся дотянуться до компостной кучи, сделал неверное движение, верно, высвободил некоторые лапы, которыми впивался в провод. Испуганно щелкнув, он упал вниз, к ее ногам, точно вызревшая ягода и ожесточенно завозился в пыли, пытаясь подняться. Его грушеобразное тело было хорошо вооружено для жизни в паутине, но тонкие лапки-крючки были слишком слабы, чтобы он уверенно чувствовал себя на земле. Он походил на перевернутую брюхом кверху черепаху, отчаянно орудующую хвостом и лапами, чтобы подняться. Тонкие серые зубы напрасно щелкали, не находя, за что зацепиться.

— Так вот чем питается старик, — пробормотала Барбаросса.

Лжец безучастно кивнул.

— Да. Отчаяньем, горьким и сладким как охотничий чай[4]. Надеждой, нежной как фруктовый шербет. Обреченностью, пикантной и острой, как сырная корка. Тысячами других вкусов и запахов, которые ваш организм вырабатывает в преддверии неминуемой смерти. Я записываю их. Запоминаю. Ваши мысли, слова, порывы. То трепещущее чувство в груди, с которым вы вздымаете на крыльях надежды, те конвульсии, которые рождает в вас страх, едва только устремитесь вниз, то страшное сосущее чувство гибели в животе. Перепады, натяжения и пиковые точки...

Вот, значит, что он делал. Пока крошка Барби металась по всему городу, будто сука с обожженной пиздой, Лжец сухо протоколировал ее страх, нарочно подкармливая надеждой чадающий в глубине души костерок. Убеждал, что спасение есть, надо только дотянуться до него. Заранее зная, что ей уготовано не спасение, а место на заднем дворе. Что ее метания и боль — просто страница в чьей-то чужой книге.

Барбаросса безучастно наблюдала за тем, как габсбург ожесточенно ворочается в грязи у ее ног. Жалкая тварь. Но, верно, в глазах адских владык разница между ней и крошкой Барби совсем невелика...

Дьявол. Минуту назад она была полна яростью и готова разбить банку с гомункулом вдребезги. Ярость помогала ей терпеть страшную боль в изувеченных пальцах. Ярость вела ее, привычно освещая пространство, а теперь...

Она ощутила свою душу подобием давно угасшей угольной ямы. Просто грязная дыра в земле, внутри которой — спекшийся шлак да серый пепел...

— Чем он платил тебе за это, Лжец?

— А чем он мог платить? — гомункул поежился, — Фантиками от конфет? Орехами? Он платил мне самой ходовой валютой в мире — обещаниями. Мне было обещано, что однажды он даст мне свободу.

— Свободу? — фыркнула Барбаросса, не сдержавшись, — Что, выставит на порог с маленькой котомочкой и дорожным посохом из зубочистки? Может, подарит мышь, обученную идти рысью, с седлом и крохотными стремями?..

Лжец бросил в ее сторону неприязненный взгляд.

— Почти угадала. Он обещал вернуть меня в «Сады Семирамиды», чтобы я мог найти другого хозяина. Вот только...

— Хер он клал на твою свободу.

Гомункул скорбно кивнул.

— Как это ни печально. Сперва мне была обещана свобода за дюжину ведьм. И я безукоризненно выполнил свою часть договора. Скрупулезно записывал их мольбы и метания. Их надежды и отчаяние. Последние страницы их жизни. На после того, как на заднем дворе появилось двенадцать могил, господин фон Лееб не спешил вспоминать о своем обещании. Цинтанаккар покончил еще с двумя, доведя счет до четырнадцати — известная тебе цифра — но и тогда я с гнетущей неизбежностью возвращался на проклятый кофейный столик в гостиной, как луна возвращается на свое предписанное адскими владыками место. После последней четырнадцатой попытки я попытался завести с хозяином речь о его обещании...

— И что?

Гомункул осторожно потер ручкой то место на стекле, напротив которого знакомые ей царапины образовывали буквы.

— Видишь это? — он грустно усмехнулся, — Это моя плата за выполненную работу. Когда я имел смелость напомнить господину фон Леебу о том, что на заднем дворе его дома образовалась уже четырнадцатая выемка в земле, он как раз чистил перочинным ножом яблоко. Но стоило мне вспомнить о его обещании... Черт, как же он смеялся! Исступленно хохотал, глядя на то, как я корчусь в банке. Словно посмотрел лучшее выступление Дитера Халлерфордена[5] по оккулусу. «Тебе ли судить об обещаниях, мой маленький лжец? — спросил он, отсмеявшись, — Что ж, если тебе не терпится получить гонорар, могу выдать тебе аванс...» Он вырезал это слово тем самым ножом, которым чистил яблоко. Небрежные царапины, прыгающие буквы... Нож в руках хохочущего старика... Сказал, если я хочу надеяться на то, чтобы сменить хозяина, придется задержаться у него еще немного. Не двенадцать ведьм — двадцать.

— А следом и тридцать, — пробормотала Барбаросса себе под нос, — Отчего сразу не пятьдесят? Уж этого добра в Броккенбурге всегда хватало... Значит, тогда ты и решил начать свою собственную игру, маленький хитрец?

Лжец неохотно кивнул.

— Мне было приказано наблюдать за твоими метаниями, давать никчемные советы, одним словом, изображать деятельное участие. Мне следовало подстегивать тебя надеждой в те моменты, когда ты падаешь духом и, напротив, наводить на самые мрачные мысли, когда ты воодушевлена. Но я позволил себе лишний шаг, когда заговорил о демонологе. Это шло вразрез с уготованным мне сценарием. Я рискнул в самом деле дать тебе подсказку, протянуть тонкую веточку и...

— Тут же попался с поличным.

Гомункул вяло махнул полупрозрачной лапкой, в которой отчетливо виднелись тонкие, как у цыпленка, косточки.

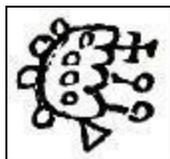
— Я держал эту карту про запас вот уже много месяцев. Демонолог из Нижнего Миттельштадта, отошедший от дел, тайное слово... Походит на какую-то дешевую пьеску, верно? Но я запомнил, что говорила мне Умная Эльза, запомнил и держал в памяти. Всё думалось, рано или поздно мне попадется толковая ведьма. Может, не великая колдунья, но

хотя бы не заурядность вроде всех предыдущих, какая-нибудь сука с лучом света в голове...

— А попалась я.

Гомункул вздохнул.

— Попалась ты. Никчемная воровка и бесталанная разбойница, способная лишь размахивать кулаками, да и тех теперь нет... Извини.



Барбаросса взглянула на свои руки. Лучше бы она этого не делала. Теперь, когда адский жар, царивший в горящем сарае, отпустил ее, она ощущала невидимый огонь, трещащий в ее переломанных и размозженных пальцах. Пока что он казался едва ощутимым, сокрытый болью, но она знала, что скоро его станет больше. Спустя несколько часов начнется воспаление, и чертовски серьезное. Может, у нее в голове мало соображений из раздела адских наук, но уж по этой части опыта у нее достаточно... Через несколько часов она будет метаться в горячке и скулить от боли. Если у нее в запасе остались эти часы.

Если посчитать... Цинтанаккар отпустил ей семь часов — огромное количество времени — так ей тогда казалось. Черт, тогда она даже не восприняла его всерьез. Все думала, это чья-то дьявольская шутка, розыгрыш, пустопорожняя угроза. Потом... Позвольте. Шесть — она рассталась со своими зубами. Пять — до конца жизни ей придется набивать тряпьем левый башмак. Четыре — прощайте, бедные мои пальчики, которые так любили целовать «Кокетка» и «Скромница», бедные крошки, сплавленные, раздавленные, сделавшиеся частью нее самой...

Четыре часа. У тебя четыре часа, сестренка — за вычетом того времени, что ты валялась здесь, в куче компоста, отдыхая словно герцогиня после бала.

Барбаросса ощутила глухую, тягучую, переливающуюся по всему телу тоску. Знакомую тем беспутным сукам, что на закате являются в «Хексенкессель» с набитой мошной, рассчитывая славно покидать кости, а с рассветом размазывают сопли по брусчатке, с кошелом пустым, как погремушки у внуха. И даже не вспомнить уже, куда делись монеты, которыми он прежде был набит. Сыпались сквозь пальцы, звенели по столу — и рассыпались в воздухе пеплом...

— Почему ты рассказал об этом мне? Ты мог приберечь эту карту до какой-нибудь более удачной попытки. С большими шансами на успех.

— Сам не знаю, — пробормотал Лжец. Обычно чутко ощущавший ее настроение, сейчас он, кажется, почти не замечал ее. Впился темными глазами в ночное небо, будто силясь прочесть какое-то потаенное знание, спрятанное между свинцовых черных облаков, которыми выложен небосвод Броккенбурга, — Возможно, мне показалось, что твое никчемное упрямство, заставляющее тебя сносить лбом стены, может привести к победе там, где оказались бессильны хитрость и талант предыдущих четырнадцати. А может...

— Что?

— Может, я на секунду поддался тем человеческим слабостям, которых нахватался у вас, — гомункул слабо усмехнулся, — Позволил себе проявить безотчетную симпатию к существу, с которым оказался связан.

— К никчемной воровке и бесталанной разбойнице? — Барбаросса оскалилась, — Не переживай, сопляк. Как знать, может, удача улыбнется тебе в следующий раз! С шестнадцатой ведьмой. Или восемнадцатой. Должно же тебе повезти когда-нибудь?

Лжец лишь взглянул на нее — и осеклась уже она сама. В темных глазах маленького человечка была тоска — глухая тягучая тоска, отражение ее собственной, только сгущенная, сконцентрированная до липкой консистенции древесной смолы.

— Ты что, не слышала, что сказал демон? — тихо спросил он, — У меня больше не будет попыток, Барби. Ты — моя последняя попытка. Забавно...

Улыбка гомункула походила на плохо зажившую рану, шрам, начертанный по серой плоти. Уродливый штрих, нанесенный неопытным хирургом, в руке которого дрогнул ланцет.

— Что тебе кажется забавным, гнилая тыква?

Габсбург, все еще силящийся перевернуться, истошно заскрипел, призывая помощь. У него была не одна пасть, как показалось Барбароссе, а по меньшей мере четыре — все маленькие, усаженные тонкими, как иглы, серыми зубами...

— Я ведь не возлагал на тебя надежд, ты знаешь. Едва ты только сунулась в гостиную, я сразу понял, что моя пятнадцатая попытка будет не просто неудачной — никчемной. Проходной. Пустая трата времени, которая лишь съест семь часов из моего небогатого жизненного запаса. Такие, как ты, не слушают чужих советов, не обращают внимания на детали, просто прут вперед, как обезумевший аутоваген на дороге, разбрасывая все препятствия, которые слабее их, чтобы в один прекрасный момент разбиться вдребезги о камень, превратившись в чадающий костер на обочине. Я даже не собирался с тобой заговаривать — к чему?

— Верно, жалеешь об этом до сих пор...

— Жалею о своей недалекости, — вздохнул гомункул, — Все это время я мнил себя умником. Большим умником в маленькой банке. Хитроумным наблюдателем, кропотливо собирающим информацию. Черт. Я даже не думал, что демон мог быть занят тем же самым. Наблюдал за мной, пока я наблюдал за ним.

— А теперь, кажется, твоя ретивость оценена по заслугам? — усмехнулась Барбаросса, — Что-то мне подсказывает, если он выложит все старику, твоя почетная пенсия в «Садах Семирамиды» немного откладывается, малец.

Гомункул медленно покачал головой.

— Пенсия? Старик впадет в ярость, едва только Цинтанаккар доложит ему о моих изысканиях. Он не для того отвел мне теплое местечко на кофейном столике, чтобы я в самом деле помогал его пленницам сбежать. Если я и обрету заслуженный отдых, то не на полке, а на том самом заднем дворе, где упокоились твои предшественницы. Не так уж много места в земле мне требуется — уж не больше, чем комнатной бегонии... Впрочем, маловероятно. Я уже говорил, что старик чертовски прижимист. Он не из тех, что станут закапывать свою собственность в землю. Скорее... Черт, это еще хуже. Он вернет меня обратно, на второй этаж. Заменит кем-то более послушным и исполнительным...

— Более послушным? Фон Лееб держит и других гомункулов тебе на замену? Постой!..

На сморщенном личике Лжеца проступило выражение, которое она прежде не видела и которое при всем желании не смогла бы правильно истолковать — слишком далеко его физиология находилась от человеческой.

— Что?

— Я только что вспомнила. Мы с Котейшеством были в «Садах Семирамиды» после полудня. Там на полке торчал целый выводок прелестных мальчуганов в банках. Вот только владелец лавки не собирался нам продавать ни одного из них. Знаешь, почему?

Гомункул насупился.

— Я думал, тебе известно... В «Садах Семирамиды» я был товаром на полке, а не торговым компаньоном. Мне-то откуда знать, почему он отказал вам?

— Он сказал, что все гомункулы уже куплены. Просто хозяин еще не прислал за ними. Знаешь, как звали их нового хозяина? Это имя выпало у меня из памяти, но кой-где, выходит, засело. Сейчас я вспомнила. Фон Лееб. Он сказал — фон Лееб! Черт, да заткнись ты!..

Устав слушать беспокойный скрип габсбурга, она пнула его ногой. Вышло на удивление ловко — мелкая тварь, взвившись в воздух, точно брошенный умелой рукой клут[6], перелетела через изгородь и шлепнулась на дорогу. Это немного улучшило настроение Барбароссы.

— Так у тебя есть братики и сестрички, Лжец? — она заставила себя усмехнуться, не обращая внимания на боль в раздробленных пальцах, — Как это мило! Ты не говорил об этом.

Гомункул мгновенно оскалился, точно она прикоснулась к нему раскаленной булавкой.

— Не тебе мне завидовать, Барби! У тебя у самой хватает сестер, как я погляжу, и все прелестницы, как на подбор! Интересно, среди них есть хотя бы одна, не мечтающая тебя удавить?..

Дьявол, не так-то просто остановиться, когда мяч на твоей стороне поля...

— Интересно, чем вы занимаетесь в тесном семейном кругу? Играете в мяч, сделанный из рыбьего глаза? Пируете дохлыми мухами, поднимая наперстки с ромом? Дай угадаю, у тебя наверняка есть беспутный дядюшка, который связался с мошенниками из Арцберга и промотал все свое состояние? Кузина, которую все считают чудаковатой только потому, что она тайком ловит комаров и отрывает им лапки? Выживший из ума дедушка, который считает себя Елизаветой Саксонской[7], постоянно хихикает и носит парик из паутины?

— Хватит, Барби! Довольно!

— Ты был таким одиноким на своем кофейном столике в гостиной, я и не думала, что ты семьянин, Лжец!

Гомункул попытался привычно усмехнуться, но судя по тому напряжению, которое исказило на миг его сморщенное лицо, далось ему это не без труда.

— Только адские владыки могут занимать свой трон бесконечно долго. Все прочие вынуждены за него сражаться, Барби. Так заведено от сотворения мира. А захватив, трястись от страха из-за того, что кто-то может занять их место. Кофейный столик в гостиной — это и есть мой трон. Трон, который мне удавалось удерживать почти год. А это чертовски долгий срок для нашего брата.

— Так ты не один у старика? Есть и другие?

— Есть, — кивнул гомункул, — Возможно, как раз сейчас они наверняка увлеченно спорят между собой, кто из них отхватит теплое местечко, сделавшись следующим королем гостиной. Возможно, это будет Господин Айершекке[8]. Господин Айершекке может выглядеть тихоней, к тому же он слеп на один глаз, но он отъявленный хитрец и, кроме того, не упускает возможности польстить старику. А может, это будет Фантоцци. Он уже стар, его наполовину разъела опухоль, но соображает он все еще твердо. Впрочем, старики в наше время редко приходят первыми к финишу, ничуть не удивлюсь, если их обоих обскочет Принц-Роте-Юден[9]. Ты бы, пожалуй, посмеялась, глядя на него. В нем весу как в еловой шишке, крохотный мерзавец, но знает умопомрачительное количество соленых баварских анекдотов и тем мил старику. Так что...

— Плевать мне на твое семейство, Лжец! Я только не понимаю, отчего не видела никого из них, когда навещала старика фон Лееба нынче вечером.

— Как будто мебель вольна сама определять свое положение в пространстве! — хмыкнул Лжец, — Мы стоим там, куда нас определили. Обычно старик держит нас на втором этаже. Вниз мы практически не спускаемся. Впрочем, как и он сам.

— Вот как?

— Нижний этаж — это просто декорации. Часть ловушки. Там все нарочно запыленное, старое и ветхое — чтобы очередная манда, мнящая себя лучшей в Броккенбурге воровкой, сочла, что имеет дело с древней развалиной, давным-давно выписанной на пенсию. Нет, господин фон Лееб редко спускается вниз. Все самое нужное у него наверху. Столовая, спальня, кабинет для исследований...

Барбаросса вспомнила скрип половиц под ногами старика, доносившийся со второго этажа. Тревожный, колючий, проникающий в самое сердце. Тогда ей показалось, что эти шаги принадлежат древнему и ветхому существу, едва способному без посторонней помощи встать с кровати, но сейчас...

— Ты как-то сказал, он занимается исследованиями, — вспомнила она, — Но я была слишком занята, чтобы спросить. Так он ученый?

Гомункул фыркнул.

— Имей снисхождение к старому вояке. Его столько раз контузило на сиамской войне, что он мог бы весь остаток жизни изучать содержимое своего ночного горшка, то и дело совершая удивительные открытия. Или составлять самому себе гороскопы, чтобы толковать их потом при помощи брошюры какого-нибудь самозваного пророка-сапожника[10], тележного колеса и колоды карт. То, что он называет исследованиями, не имеет никакого отношения к наукам — ни смертным, ни адским. Просто блажь, вызванная старческим слабоумием, избытком свободного времени и денег.

— А вы при нем, значит, вроде ассистентов? Что это за исследования такие, для которых нужна прорва коротышек?

По лицу Лжеца промелькнуло уже знакомое ей выражение. Он определенно не ощущал удовольствия от ее расспросов, как не ощущал его и от воспоминаний о своей прошлой жизни. В чем бы ни заключались исследования старого психопата, едва ли он общался с другими выскребышами корпел над трудами и манускриптами.

— Господин фон Лееб привык держать большой штат, — гомункул криво усмехнулся, — Не потому, что в этом есть необходимость. Вероятно, это позволяет ему увеличить в собственных глазах важность его «исследований». И хер с ним. Это лишь никчемные фокусы, не более вещественные, чем прошлогодние сны. У нас с тобой есть занятие поинтереснее, не так ли, Барби?

Она подняла свои изувеченные руки, чтобы он смог как следует рассмотреть культи. Черт, она уже сейчас ощущала колючую дрожь, проходящую по тому, что некогда было пальцами, уже очень скоро эта дрожь превратится в такую лютую горячку, что она будет готова пережевать собственный язык...

— Выглядит паршиво, — неохотно признал Лжец, — Не стану врать, едва ли тебе суждено брать своими пальцами веер, чтобы томно обмахиваться на званом балу. Или стягивать ими панталоны с какого-нибудь воодушевленного господина, укрывшись с ним под лестницей. Но голова как будто у тебя все еще на плечах. Пусть это не лучшая голова из тех, что были в моем распоряжении, но...

— Четыре часа, — процедила Барбаросса сквозь зубы, — А я уже лишилась денег, оружия и рук!

— Три часа и три четверти, позволь поправить, — холодно заметил Лжец, — Ты довольно долго изволила почивать на куче компоста. Но это все равно ничего не значит. Игра продолжается, пока горят свечи, так что...

По улице, оглушительно завывая и скрежеща колесами, пронесся аутоваген, чертова механическая повозка. Вышибая искры из мостовой, опасно кренясь, он едва удержался на повороте, чудом не своротив изгородь, и сделалось видно, что он набит ведьмами. Пять или шесть душ, все разодетые в кружева и парчу, вместо грубых дублетов — изящные плащи и туники. Судя по обилию пудры и румян на лице, а также по широко раскрытым пьяно блестящим глазам, собирались эти суки отнюдь не на вендетту и не на ординарную лекцию по алхимии.

— Лучший ритор — это клитор! Жди нас, Вульпи-композитор! — хохоча во все горло, скандировали они, ритмично ударяя ладонями по кузову, — «Хексенкессель!» «Хексенкессель!» «Хексенкессель!»

Ну конечно, подумала Барбаросса, сейчас пятница, начало восьмого. Все суки в Брокке, не допившиеся до чертей и способные вдеть ноги в сапоги, отправляются в «Хексенкессель» — отплясывать до упаду, глушить вино и ожесточенно спариваться друг с другом. Черт, в прошлые времена это казалось мне самым паскудным развлечением из всех, что могут быть, а сейчас я бы отдала правую руку, чтобы тоже мчаться на аутовагене по ночным улицам и что-то беззаботно вопить...

Сука, сидевшая возницей, куда больше внимания обращала на свой макияж, чем на дорогу — подскочив на выбоине, экипаж наехал на копошащегося посреди дороги габсбурга, беззвучно превратив его в быстро густеющую лужицу цвета протухшего жира. Несколько раз громогласно просигналив, аутоваген прокатился мимо и унесся в ночь, заставляя редких прохожих испуганно вскрикивать и прижимать юбки.

Барбаросса проводила его взглядом, потом вновь подняла банку с гомункулом и, повозившись, пристроила ее под мышкой, прижав локтем к левому боку. Не очень-то удобно, но других вариантов, как будто, в ее распоряжении и не имеется. Мешок давно превратился в пылающие лохмотья, да и не справиться ей с мешком при помощи таких-то пальцев...

Первый шаг, который ей удалось сделать, напоминал шаг статуи Роланда[11] у южных броккенбургских ворот, если бы в нее вселился демон, чертовски дряхлый и к тому же слабо знакомый с устройством человеческого тела. Шаг этот был неуверенный, неловкий и к тому же бесцельный — она сделала его еще не зная, куда идет. Но сделала — быть может, машинально.

— Куда это ты собралась? — ворчливо осведомился Лжец, опасливо косясь вниз. Пьяная походка Барбароссы и близость земли заставили его съежиться в своей стеклянной темнице.

— Прошвырнусь в «Хексенкессель», — усмехнулась она, — Высажу пару стаканов красного сладкого, подцеплю хер при шпорах, может потанцую немного... Что еще полагается делать приговоренной к смерти ведьме? Хочешь со мной? Опрокину рюмку-другую в твой блядский аквариум, глядишь, и ты сделаешься повеселее, перестанешь вести себя как кусок засохшего крысиного дерьма...

Лжец поджал губы. Фигурально, разумеется, крошечные складки плоти, обрамлявшие его пасть, едва ли сошли бы за губы.

— Значит...

— Время разыграть твою карту, Лжец. Может, это и херня собачья, но что еще нам с тобой остается, верно? Как, ты говоришь, звали твою подругу? Мудрая Лайза? Ты хоть успел ей присунуть?

Первый шаг оказался коротким и неуверенным, как у столетнего старика. Второй — пошатывающимся, слабым. Но на пятом она как будто бы совладала с собственными ногами. Дьявол, со стороны она, должно быть, выглядит как пугало, побывавшее в огне — вся в прорехах и пропалинах, пошатывающаяся, с окровавленными руками...

— Умная Эльза. Она была не в моем вкусе, слишком мало мяса на костях. Но я вполне уверен, что помню ее указания.

— Демонолог, обитающий в Нижнем Миттельштадте?

— Она сказала, он берет малую мзду, кроме того, не привередничает по части клиентов. Он не ведет дело в открытую, работает без патента, но Умная Эльза сообщила тайное слово, на которое он должен ответить. Так что...

— Наверняка никакой он не демонолог, — буркнула Барбаросса сквозь зубы, — В лучшем случае, недоучившийся школяр, служивший при демонологе конюхом или штопавший ему чулки...

— Но теперь ты в достаточной степени отчаялась, чтобы внимать моим советам.

Мелкий выbleдок, подумала Барбаросса. Плюговое ничтожное отродье. Можешь наслаждаться собственным остроумием еще пару часов. Прежде чем отдать тебя Котейшеству, обещаю, я забегу к лучшему граверу во всем Миттельштадте и отдам ему остатки монет, чтобы он отполировал твою банку до блеска, убрав с нее оставленные ножом старика царапины, и не кирпичной мукой, а лучшей полировочной пастой. А затем закаленным резцом выгравировал новую надпись поверх старой. Ты больше никогда не будешь Лжецом, милая козьявка, уж я позабочусь об этом. Новый хозяин будет звать тебя «Принцесса Альбертина», «Козий Катыш», «Сучья Радость» или что мне еще придумается в тот момент...

— Это твоя последняя попытка, Лжец. Твой хозяин не говорил тебе о том, что если пехота не вытягивает, пора бросать в бой артиллерию?

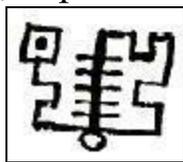
— Нет, — буркнул Лжец, косясь на нее, — Но предостерегал от того, чтоб водить дружбу с ведьмами. Это злые суки, малыш, говорил он мне, но если от их неистовой злости и есть защита, она в их непостижимой глупости.

Барбаросса почувствовала, что улыбается. Улыбка на обожженном лице ощущалась чудно, но боли причиняла меньше, чем она думала.

— Херня. Не говорил он такого.

Гомункул усмехнулся.

— Черт, ты что, читаешь мои мысли, Барби?



Старые города подобны вину. Так будто бы сказал однажды Иоганн Церклас Тилли, императорский фельдмаршал и большой ценитель вин, подступаясь к осажденному им Магдебургу. У каждого из них есть своя история, свой вкус, свой запах, сказал он, надо лишь решить, какую закуску к нему подать и как долго нагревать[12]...

Может, старик и был прав. Если так, Дрезден — благородный белый рислинг, немного

чопорный, отдающий выдержанными грушами и медом. Лейпциг — изысканный айсвайн, сладкий как предрассветный сон. А Броккенбург...

Дрянное пойло, которое можно взять в придорожном трактире, фюрстенгрош[13] за большой стакан, подумала Барбаросса, дерущее плотку, вязкое как вар, но превосходно бьющее в голову. Может потому сюда редко заявлялись адские владыки, зато здесь всегда хватало прочей публики из адских чертогов.

Скучающие князьки из свиты архивладыки Белиала, слишком ничтожные, чтобы найти себе применение на бесконечной войне, клопочущей в адских безднах. Беспутные духи, которым наскучило любоваться морями из ртути и раскаленной желчи, ждущие возможности развеяться и мучимые хандрой. Младшие отпрыски никчемных демонических родов, явившиеся в мир смертных только лишь для того, чтобы отпустить какую-нибудь дурацкую шутку, а может, сцапать зазевавшуюся душу, слишком вызывающе маячащую перед глазами.

Неудивительно, что даже в провинциальном Броккенбурге иной раз вспыхивали безобразные сцены, оставлявшие на лице города следы подобные тем, что шпаги и рапиры оставляют на лице заядлого дуэлянта.

В тысяча шестьсот тридцать восьмом году странствующий принц Буриел, вертопрах и гуляка, не сошелся во мнении с другим завсегдатаем адских чертогов, герцогом Амбриелом, ходящим в услужении у Демориела, императора Севера. Никто толком не знал, что не поделили между собой адские владыки, случайно оказавшиеся в Броккенбурге, так далеко от любезных их сердцам публичных домов и бальных зал Магдебурга, но добрая четверть города выгорела в страшном огне, оставлявшем от камня одну только серую пыль, а над оставшейся следующие три месяца шел дождь из горящих жаб.

В тысяча семьсот двадцатом году демон Вайсеблюттегель, путешествующий по саксонским землям с небольшой свитой, впал в ярость, услышав на рассвете донесшийся из Унтершгадта крик петуха. Ярость его была столь же непонятна, сколь и обжигающа — по меньшей мере двести горожан поутру превратились в балют[14], а городской магистрат в тот же день издал эдикт, под страхом смертной казни запрещающий держать дома петухов.

Еще хуже вышло в тысяча девятьсот семнадцатом, на исходе зимы. Демон Амбратоксонус, известный в Аду повеса, шутник и весельчак, будучи проездом в Броккенбурге, проспорил в каком-то ерундовом споре своему кузену, демону Агасферону, некую сумму — что-то около трех миллионов тонн золота. Будучи верен себе, демон Амбратоксонус выкинул один из своих трюков — превратил в золотые статуи без малого две тысячи душ из числа горожан, коими и рассчитался за проигранный спор.

Во избежание подобных ситуаций все ночи Броккенбурга были поделены между младшими адскими владыками, призванными бдить за порядком, изгоняя своих более буйных сородичей, мешая им разнести многострадальный Броккенбург или обрушить в адские бездны вместе с горой, к которой он крепился.

Осенние ночи обыкновенно принадлежали Раблиону и Эбру, двум младшим ночным духам из свиты господина Памерсиела. «Теургия Гоэция[15]» описывает их как надменных и упрямых существ, которые властвуют в ночи, но, с точки зрения Барбароссы, оба были безобидны как котята — разумеется, при том условии, если их нарочно не злить.

Не надевать нарочно на ноги два левых башмака, не возжигать с приходом ночи благовоний из оперкулума[16], не ездить верхом на свинье, не брить лодыжек, не танцевать «гросфатер» на три четверти, не играть в мяч после полуночи, не варить живых раков, не

смахивать стружку на пол, не спорить в трактире, не тереть медные кольца друг о друга...

Раблион, как и подобает адскому владыке с возрастом более солидным, чем у многих звезд, отличался брюзгливым желчным нравом. Он мог целыми ночами утробно и тоскливо дуть в водосточные трубы, а утром изогнуть их немыслимым образом, едва не завязав узлами. Пребывая в дурном настроении — а иное у него редко случалось — он покрывал мостовые слизью и патокой, а на оконных стеклах изморозью рисовал жуткие адские пейзажи. Его маленькой страстью были кленовые листья. Стоило наступить последней декаде октября, когда клены сбрасывают листву, он с азартом молодого щенка принимался гонять их по броккенбургским улицам, собирая в огромные кучи и сладострастно вороша. От его дыхания кленовые листья делались яшмовыми и хрупкими, после чего быстро разлагались, превращаясь в мелкий изумрудный порошок. А еще он запускал ветер с запахом, у которого нет названия в человеческом языке, но от которого жизнь кажется прожитой напрасно и глупо, хочется слушать флейту и рыдать, а во рту появляется кислый привкус хлебной корки. Иногда он, впрочем, мог расщедриться на недурной закат, пусть и сдобренный зловещим, доносящимся с небес, скрежетом.

Эбр хоть и делил со своим собратом ночные бдения, был полной его противоположностью. Беспокойный, порывистый, несдержанный, он мог целыми днями воевать с городскими флюгерами, вырывая их с корнем, а по ночам метался на городских крышах, пожирая осенние ветра.

Никто не знал, как Раблион и Эбр делят между собой осенние ночи, по какому принципу чередуются и как договариваются между собой. Среди броккенбургской публики ходило немало домыслов на этот счет, включая как праздные рассуждения, так и сложно устроенные теории, но все эти теории обыкновенно заслуживали не больше доверия, чем детские гадания на козых косточках или глине. Просто иногда в город заявлялся Раблион, а иногда — его приятель Эбр. И никогда заранее не угадаешь, чья выпадет смена.

Случалось, Раблион властвовал в Броккенбурге по две недели подряд, не уступая никому трона. Все сточные канавы оказывались забиты изумрудным порошком, окна теряли прозрачность, делаясь матовыми, точно застывшая карамель, а в воздухе скапливалось столько глухой тоски, что впору было рухнуть посреди улицы и зарыдать. А потом в город без предупреждения заявлялся загулявший где-то Эбр, громил городские крыши, терзал флюгера, выворачивал с корнем фонарные столбы — и жизнь возвращалась в свое прежнее, веками устоявшееся, русло.

Барбаросса приоткрыла рот и попробовала ночной воздух на вкус.

Солоноват, немного отдает жженным орехом, старой краской, тухлыми фруктами и хинной, а значит...

Без всякого сомнения — Эбр. Эта ночь в Броккенбурге принадлежит владыке Эбру.

Что ж, не самый дурной вариант. Властитель Эбр никогда не считался покровителем ведьм и разбойниц, зато, по слухам, он имел склонность помогать заблудшим. Барбаросса хмыкнула, пытаясь поправить тряпье на руках, заменявшее ей повязку. Сейчас сестрица Барби и верно должна быть похожа на заблудившуюся кроху — сиротку, брошенную в огромном и холодном каменном лесу, слепо бредущую невесть куда с большой банкой под мышкой...

Вот только серый волк, гроза беззащитных крошек, не поджидает ее в лесной чаще, чтобы полакомиться пирожками из корзинки — он уже внутри нее. Лакомится сладкими потрохами, растягивая удовольствие...

Повязку она соорудила из чьих-то штанов, извлеченных из канавы, таких ветхих, что не сгодились бы даже на тряпку. Судя по запаху, половина броккенбургских котов уже успела их изучить и даже отвергнуть, но сейчас Барбароссе было плевать на запах, довольно и того, что туго стянутые повязками, ее культы причиняли меньше беспокойства, по крайней мере, не пронзали болью на каждом шагу...

Ночи, озаренные покровительством Эбра, хороши для выпивки — наутро не будет раскалываться с похмелья голова — а еще для гаданий. Господин Эбр презирает мелкий адский сброд и прогоняет прочь адских проказников, норовящих нарочно спутать карты или разложить их в неверном порядке. Жаль только, ни выпивки, ни гаданий в ее планах не значилось...

Барбаросса поежилась, глядя в низкое ночное небо, обложенное облаками, напоминающими свинцовые обрезки под столом столяра. Сегодняшняя ночь принадлежит Эбру, но уже скоро, совсем скоро, в Броккенбург с севера заявится Хаморфол, чтобы заявить на него свои права, и продержится по меньшей мере до конца декабря, если не дольше.

Паскудное будет время. Ветра сделаются режущими, как ножи в руках у своры оголодавших ведьм, небо приобретет цвет несвежей раны, все пиво в городе начнет отдавать плесенью и прогорклым маслом. Хаморфол презирает малолеток, особенно женского пола, неосторожно выйдя вечером на улицу, можно заработать целую россыпь гноящихся прыщей на лбу или подвернуть ногу на ровном месте или чего похуже.

А еще от визита Хаморфола отчего-то все городские фанги сходят с ума. Обычно медлительные, сонные, похожие на безвольных моллюсков, выброшенных морем на берег, эти апатичные пожиратели мертвой органики не отличаются прытью, но стоит луне приобрести бледно-зеленоватый болотный цвет, возвещающий прибытие владыки Хаморфола, они начинают бесноваться в городском рву, норовя наводнить улицы и пожирая все на своем пути.

Если не явится Хаморфол, то явится Букафас, что едва ли лучше. Букафас непременно принесет с собой «небельтоттен», туман мертвецов, которым оборачивается, точно старым дорожным плащом. В считанные дни весь Броккенбург и окрестности затянет белесым зыбким туманом, таким густым, что против него бессильны даже огнеметы супплинбургов, но десяток-другой разбившихся аутовагенов на улицах еще не самое паскудное. У живых людей «небельтоттен» вызывает разве что адское жжение в носу и покраснение на коже, у эделей, в зависимости от их природы, колики или даже опьянение. Но вот у мертвецов... У мертвецов «небельтоттен» вызывает отчетливую жажду жизни.

Под владычеством Букафаса затянутый туманом Броккенбург по меньшей мере на месяц превратится в подобие разворошенного кладбища. По улицам будут разгуливать мертвые полуразложившиеся псы с висящими гнилыми пастями, над головой будут скрипеть мертвые птицы, выписывающие сумасшедшие, при жизни им не свойственные, узоры. Все рыбные трактиры враз закроются — мало кому доставляет удовольствие наблюдать, как беснуется в горшке вареная рыба, отчаянно пытаюсь цапнуть едока зубами...

С другой стороны... Барбаросса ощутила, как озябшие щеки, исхлестанные холодным ночным ветром, на миг согрелись короткой, почти незаметной, улыбкой. С другой стороны, если город своим визитом благодетельствует старый ублюдок Букафас, вслед за ним, хоть и на денек, наверняка заглянет и Лармол. Никто не знает, какими тайными тропами владыка Лармол приходит в Броккенбург, отчего правит лишь один день и почему уходит с закатом, более того, никто даже не знает, как предсказать его появление. Скорее всего, это очень

занятой владетель, поскольку является в Брокенбург не каждый год, лишь изредка, точно выполняет данное кому-то давно обещание. Зато когда является...

Один такой день стоит трехсот шестидесяти четырех прочих. В город на день приходит умопомрачительный запах свежескошенного луга. Облака превращаются в пульсирующие дымчатые фракталы. Вся медь в городе начинает петь, пронзительно и чисто, как не поют даже виолончели императорского оркестра. Вода на вкус делается похожей на сливовое вино, молоко перестает сворачиваться, а все городские плотники разом уходят в запой, потому что гвозди, которые еще не успели забить, скручиваются пружинами.

Еще забавнее Лармол воздействует на людей. У некоторых горожан на один день по какой-то причине пропадают веснушки. У стариков пробуждается юношеский пыл. Рыжие чихают целый день напролет, а либлинги маются от мигрени. У господина Лебендигерштейна, владельца бакалейной лавки поблизости от Малого Замка, с левой стороны лица отрастают пышные бакенбарды роскошной чубарой масти, а Котейшество уверяет, будто у нее целый день во рту вкус вишневого леденца с мятой.

День, дарованный владыкой Лармолем, грешно отводить на учебу, муштру или рутинные хлопоты. В прошлом году они с Котейшеством сбежали из-под ока рыжей суки Гасты, прихватив с собой кувшин вина и кусок острого сыра, устроились в известном только им закутке неподалеку от Пьяного Замка и целый день до заката занимались тем, чем занимаются обыкновенно скучающие ведьмы, когда Ад не запускает свои когти им в души. Дурачились, смеялись, тянули вино, распевали «Девчонок из Брокенбурга» — столько куплетов, сколько смогли вспомнить и сочинить, включая самые соленые и пошлые — подражали университетским профессорам, строя рожи до икоты, любовались небом, лежа ничком прямо на земле.

Котейшество была из числа тех счастливиц, которых владыка Лармол не уродовал, но красил еще больше. Волосы ее, и без того густые и тяжелые, становились пугающе пушистыми, такими, что не укротить даже тремя дюжинами булавок, глаза гречишного меда будто бы делались еще больше и — Барбаросса готова была поклясться всеми энергиями Ада, которые только существуют — если смотреть в них слишком долго, она и сама начинала ощущать во рту сладкий привкус, отдающий вишневыми леденцами...

Красота Котейшества расцвела как-то украдкой, незаметно, как роза, расцветающая в дальнем углу давно брошенного, полного бурьяна, сада. Она и сама не смогла бы сказать, в какой момент тощий грязный заморыш со взглядом испуганной собаки, над которым она как-то неожиданно для себя приняла покровительство, стал превращаться в хорошенького, пусть и покрытого еще детским пухом, пока неуклюжего лебедя. По всему выходило, что это было где-то в январе восемьдесят третьего.

Жуткий это был год — ее первый год в Брокенбурге — похожий на упыря, тянущего из тебя кровь. Иногда, в самые холодные дни, казалось, что крови этой не хватит, и замерзшие пятки, которые она кутала в обмотки, прежде чем натянуть свои дырявые башмаки, явственно ощущают жар адских печей...

Они с Котейшеством не заключали договора, не обменивались платками, не пили на брудершафт, все произошло как-то само собой, как обычно и происходят все важные вещи в этом мире. После истории с «ведьминской мазью» Барбаросса, чувствуя себя обязанной этой тощей пигалице со спутанными до состояния войлока волосами, отделала на славу парутройку самых докучливых ее мучительниц из Шабаша. И вовсе не из благородства. Какой бы отважной сукой ты ни была, учила ее Панди, никогда не оставляй за собой долгов — в

Броккенбурге никогда не знаешь, когда твой вексель будет предъявлен ко взысканию и какой ценой его придется гасить. Она просто оплатила Котейшеству за услугу и... И сама не заметила, как эта тощая малышка, похожая на перепачканную в золе мышь, испуганно вздрагивающая от каждого громкого звука, сделалась ее собственной тенью. Но не бесплотной и зловещей, как многие тени в дортуарах Шабаша, а мудрой и рассудительной — если проявлять достаточно терпения, чтобы вслушиваться в ее шорохи.

В первый же месяц их знакомства Котти спасла ее от висевшего над ее головой меча под названием нумерология — близился экзамен и Барбаросса была уверена, что чертovy цифры сомнут ее, точно легионы демонов, явившиеся из Преисподней. У нее и прежде не особенно-то ладилось с цифирью, она и считать-то умела только до ста, здесь же приходилось еще прежде чем погрузиться в вычисления постигать сложные каноны изопсефии[17], штудировать полные коварных ловушек и потаённых смыслов труды Агриппы Неттесгеймского[18]... Котейшество в три приема показала ей, что даже с цифрами можно совладать, достаточно соблюдать лишь несколько самых простых правил — и показала, как это делать.

Следом, почти без усилий, она вытащила ее из липкой ямы телегонии, в которой она бултыхалась бы, не чувствуя под ногами дна, до второго Оффентуррена. Пассаукунст, аломантия, алхимия, спиритуализм — Котейшество обладала даром в любой адской науке ориентироваться так, точно это была привычная ей гостиная. Мало того — обладала редко встречающимся даром легко и доступно все объяснять, ловко раскладывая по полочкам. Это срабатывало даже с такими тупицами, как Барбаросса — и срабатывало наилучшим образом. Она не выдержала с отличием ни одного экзамена, броккенбургские профессора не ставили ее примером прочим суками за прилежание и талант, но она, по крайней мере, добралась до третьего круга — а когда-то была уверена, что не одолеет и первого. Черт, в какой-то миг даже патент мейстерин хексы сделался не призрачным светочем, который страшно было и вообразить, а вполне отчетливым манящим огоньком...

Панди сразу ее не влюбила. Полная противоположность Котти во всем, она никогда не утруждала себя учебой, сдавая экзамены благодаря беспримерной дерзости или отчаянной хитрости, списывая ответы под самым носом у грозных профессоров, а иногда и попросту платила им за снисходительность. Увидев Котти впервые, она ничего не сказала, только нахмурилась, а позже, оказавшись с глазу на глаз с Барбароссой, сказала ей: «Воля твоя, Красотка, но лучше бы тебе держаться от этой девочки подальше. Мне не нравятся ее глаза. Очень внимательные. Это плохо, когда у юной суки такие внимательные глаза...»

Ну конечно. Пандемия с ее безошибочным чутьем ночной разбойницы уже тогда ощущала, что с появлением Котти они стали отдаляться друг от друга. Наверно, это была ревность — ревность на особый разбойничий манер. Панди вдруг обнаружила, что ее ученица и подмастерье, уже почти было связавшая свою судьбу с ночным ремеслом, выскользает из-под ее влияния, взявшись постигать науки, и выскользает все стремительнее и стремительнее, как нож из перепачканной горячей кровью руки...

Потом была история с «Кокетливыми Коловратками», которые внезапно воспылали желанием сделать Котейшество своей сестрой. Эти глазастые стервы, даром что были на третьем круге, всегда пристально присматривались к молодняку и первыми обнаружили у Котти недурные задатки. Скверная история, которая могла закончиться для них обеих весьма паскудным образом, но которая, как ни странно, окончилась их триумфом — они вдвоем, действуя сообща, погубили полдюжины хитрых расчетливых сук, сожравших уйму школярок.

Правда, Барбаросса не особенно любила ее вспоминать, ей всегда казалось, что от нее попахивает резким крысиным душком...

Они вдвоем перебили чертов ковен, но еще не были компаньонками. Они были... Подругами? Невольными союзницами? Барбаросса не была уверена в том, что смогла бы подыскать подходящее слово для обозначения их тогдашнего сосуществования. На людях она была грубовата с Котти, хорошо помня, что Шабаш не прощает ни слабости, ни привязанности, иной раз даже приходилось награждать ее оплеухой или тумаком — и всякий раз ее собственная рука, нанеся удар, болела в тысячу раз сильнее, чем свежая ссадина на лице Котейшества.

Они тянулись друг к другу, но в то же время боялись связываться воедино — ни звериные инстинкты крошки Барби, ни трезвые расчеты Котейшества не могли предсказать, что получится из такого союза, противоестественного и странного, в равной степени опасного для них обеих. Они осторожничали почти до конца первого круга, а потом...

А потом была она. Та сука, которая едва все не уничтожила.

— Лжец.

— Что? — гомункул вяло плеснулся в банке, точно сонная рыбешка под мостом.

— На заднем дворе у фон Лееба четырнадцать могил, так?

— Опять ты за свое... Я уже сказал, я не знаю, есть ли среди них могила твоей Панди.

Рад и сказать, но не помню.

Барбаросса нетерпеливо мотнула головой.

— Речь не о ней. Среди них... Среди тех четырнадцати была сука, которую звали Кольера?

Из банки несколько секунд доносилось хлюпанье. По всей видимости, гомункул жевал пустоту своими несформировавшимися до конца губами, как это иногда с ним бывало в минуту задумчивости.

— Я не слышал такого имени. Она была ведьмой?

Барбаросса кивнула.

— Ведьма первого круга. Она пропала два года назад, в апреле восемьдесят третьего, вот я и подумала, что...

— Что она заглянула на чай к Цинтанаккару? — гомункул захихикал.

В следующий раз, когда он так захихикает, крошка Барби насыпет ему в банку щедрую толику толченого стекла. Но сейчас... Сейчас ей надо было знать.

— Я искала ее целый месяц, — пробормотала она, — Переворачивала вверх дном все притоны в Унтершгадте, выпрашивала, вынюхивала... Но она пропала. Как сквозь землю провалилась. Может, и провалилась. Может, под ней распахнулась адская дверь или ее сожрало какое-нибудь голодное, рыщущее по ночам, отродье или... Здесь, в Брокке, есть много способов сдохнуть незаметно и тихо. Но сейчас... Я подумала, вдруг, она забрела в ваш милый домик на Репейниковой улице?..

Гомункул ухмыльнулся.

— Кажется, тебя вполне устроил бы такой расклад, а?

На миг она вспомнила Кольеру. Так отчетливо, будто та стояла в пяти шридах от нее, полускрытая клубящимся в подворотнях полумраком. Тяжелый, отдающий желтизной, взгляд, вечно блуждающая по лицу улыбочка — улыбочка, не предвещающая ничего хорошего, гнусавый голос, по-баварски тянущий слова...

Она не выглядела опасной. Обыкновенно Кольера выглядела скучающей, но несчастные

суки, попавшие ей в когти, слишком поздно понимали, что ее скука может обернуться для них очень, очень паршиво.

— Да, — тихо произнесла Барбаросса, пустым взглядом глядя на ползущий по улице громоздкий альгемайн, влекомый парочкой старых одышливых монфортов, — Может, и устроил бы.

Гомункул хмыкнул.

— Едва ли эта особа была твоей сердечной подругой.

— Может, и была! — Барбаросса зло дернула плечом, — Тебе-то что?

— Милая Барби, прямо в эту минуту ты излучаешь из себя такое количество ненависти, что в нее можно макать колбасу вместо горчицы. Превосходной, очень чистой ненависти, острой, как адское пламя. А я уже начал разбираться понемногу в сортах твоей ненависти, как в сортах дешевого вина...

Как бы тебе не захлебнуться, мрачно подумала она. За два с половиной года в Броккенбурге крошка Барби запасла целые погреба ненависти, сделавшие бы честь виночерпию самого курфюрста саксонского. Пробуя из всех склянок без разбору, немудренно сдохнуть в корчах или сжечь себе глотку...

Альгемайн проскрипел мимо нее, скрипя разношенными осями. Правый коренной монфорт засекался, его огромные ноги были разбиты тяжелой изнуряющей работой до такой степени, что казались распухшими кульями. Кое-где язвы были прикрыты грубыми железными заплатами и ввинченными в выпирающие кости штифтами, но плоть уже начала сдаваться, это ощущалось и по запаху. Совсем скоро эта огромная бессловесная тварь, всю свою жизнь покорно тащившая набитую людьми коробку, рухнет камнем прямо на обочине. Мясо монфортов, впитавшее в себя горький пот многолетней изнуряющей работы, отвратительно на вкус, хозяину нет никакого смысла тащить тушу на скотобойню. Скорее всего, так и бросит его здесь, позволив фунгам всю ночь растаскивать еще живую агонизирующую плоть...

Барбаросса зло стиснула зубы.

Крошка Барби никогда не позволит себе такой кончины. Нет рук — будет кусаться, но не пойдет к старику, опустив голову, как покорная скотина.

— Эта твоя Кольера... — гомункул потеревил лапкой подбородок, — Она ведь могла назваться и другим именем. Как она выглядела?

Барбаросса на миг задумалась.

— Моего роста, худощавая острая сука. Она из Баварии и говорит так, будто у нее картошка во рту.

Гомункул задумался, царапая полупрозрачным коготком банку.

— Два года назад ей должно было быть четырнадцать... Не уверен, что встречал ее. Еще какие-нибудь приметы?

— Да, — Барбаросса кивнула, — Это самая злобная пробиядь из всех, которых когда-либо видел мир.

Кольера.



Барбаросса до сих пор ощущала дрянной привкус во рту, произнося это имя, даже если произносила его мысленно. Шабаш за века своего существования воспитал множество сук,

покрывших себя дурной славой — отчаянных и безрассудных рубак, хладнокровных садисток, безумствующих чудовищ и самозванных властительниц. Чтобы выжить в этой озлобленной, беспрестанно терзающей саму себя стае, девочкам приходилось раскрывать все таланты, которыми наделил их Ад. Но Кольера с самого своего первого дня в Шабаше будто бы вознамерилась затмить их всех.

Поговаривали, у себя в Швабии она была дочкой какого-то хлыща, не то барона, не то графа. Может, и врал, но в меру — в свои четырнадцать она бегло говорила на нескольких языках, считая голландский, и была превосходно подготовлена во многих науках — такое образование на рыбном рынке не заработаешь. Поговаривали еще, ее душа была отдана во владение королю Баалу, одному из могущественных архивладык, который ведал вселенской мудростью. Если так, он, верно, не поскупился, отмеряя Кольере ее долю — она играючи усваивала науки, от которых скрипели зубы у прочих школярок, а на адском наречии говорила так легко и непринужденно, будто постигала его с пеленок.

Наделенная мудростью столетней кобры, рассудительностью Готфрида Лейбница и безукоризненной памятью вельзера, Кольера могла бы сверкать, затмевая многих прочих, но впридачу ко всем прочим дарам Ад наделил ее еще одним — кровожадностью голодной гарпии.

В Шабаше во все времена хватало голодных безжалостных сук — на протяжении веков они составляли его костяк, на котором менялось лишь жадно обгладываемое мясо. Но когда в Шабаше появилась Кольера — бледная после долгой дороги, в дорожном плаще, настороженно озирающаяся — в древнюю летопись боли разом вписали несколько дюжин новых страниц — возможно, самых скверных страниц в истории Броккенбурга.

Высокомерная, как и все швабки, она взирала на окружающих, как на россыпь голубиного помета. Но это не помешало ей, разобравшись в правилах здешней немудреной игры, включиться в нее с таким пылом, будто все предыдущие четырнадцать лет ее жизни были лишь подготовкой к ней. Может, для нее в самом деле это было всего лишь игрой... Но Барбаросса хорошо помнила, сколько юных школярок, покидая Шабаш, уносили на себе страшные следы этой игры, некоторые из которых, возможно, сойдут с годами, другие же будут служить им напоминаниями до самой смерти...

Кольера не собиралась пробивать себе дорогу знаниями. У нее были другие планы.

Властолюбивая, озлобленная на весь мир, она не видела своего будущего ни в одном из существующих ковенов — ее душе, наполненной напополам дерьмом и швабской гордыней, была невыносима мысль о том, что ей придется провести еще год на унижительном положении младшей сестры, которой помыкают все, кому не лень, да и после жизнь еще долгое время будет макать ее лицом в грязь. Нет, она не собиралась делаться прислугой, видимо, рассудив, что лучше править у подножья горы, чем прислуживать на ее вершине. Она собиралась обустроить себе уютный уголок в Шабаше, используя для этого тактику, безукоризненно служившую многим поколениям сук до нее, тактику звериной жестокости, которую усовершенствовала благодаря своему чутью и смётке.

Даже не отряхнув сапог от дорожной пыли, она принялась завоевывать себе жизненное пространство в Шабаше, так решительно и хладнокровно, будто с первого года готовила себя в матриархи. От природы наделенная изрядной физической силой и выносливостью, недурно фехтующая, знакомая со швингеном[19] и хорошо управляющаяся с ножом, Кольера в то же время презирала честные дуэли. Сильных противниц она обходила стороной, терпеливо дожидаясь мига их слабости, чтобы одолеть и уничтожить, на слабых же

вымещала свою злость столь упоенно, что в считанные месяцы сделалась сущим кошмаром для школярок.

Она демонстрировала жестокость даже там, где без этого можно обойтись, а наказания обставляла с такой изуверской изобретательностью, что делалось не по себе даже многое повидавшим старшим сестрам, которые сами были не прочь поразвлечься со школярками. Одни только «Вафельки» могли бы прославить ее на многие годы вперед...

Она не просто вымещала ярость, поняла Барбаросса, наблюдавшая за все новыми и новыми удивительными выходками Кольеры. Эта сучка, кажется, вознамерилась соорудить себе внутри Шабаша собственную империю. И пусть империя эта пока была зыбкой, нематериальной, ее контуры отчетливо проступали все отчетливее и яснее. Кольера завоевывала не уважение — она завоевывала власть.

Она видела себя матриархом Шабаша, не иначе. Но чтобы стать матриархом, мало выслужиться или перебить определенное количество душ. Надо сделаться живой легендой при жизни, заслужив определенную славу — грозную славу, идущую далеко впереди тебя. Кольера работала над этим вопросом — необычайно старательно.

Чертова швабка...

Ум и сила — опасное сочетание, похожее на сочетание рапиры и даги в руках умелого фехтовальщика. Кольера умело разила и тем и другим, ловко переменяя оружие в зависимости от ситуации или используя в паре. В Шабаше водилось немало крепких сук с тяжелыми кулаками, способных постоять за себя, некоторые из которых, выбравшиеся из клоповников Бремена и притонов Дюссельдорфа, сами легко могли сожрать неосторожную хищницу. Кольера никогда не вызывала их на открытый бой, предпочитая плести силки, причем делала это так расчетливо и хладнокровно, что ей позавидовали бы самые старые и коварные пауки Брокенбурга.

Гусыня была дочерью мельника и, верно, сызмальства работала вместо жерновов, потому что к четырнадцати годам весила сто шестьдесят пфундов[20] и способна была взвалить на плечо лошадь-двухлетку. Никто не осмеливался бросить ей вызов, опасаясь ее кулаков, даже прожженные старшие сестры. Никто кроме Кольеры. Однажды вечером, когда школярки жадно глотали положенную им на ужин скудную порцию каши без масла, она заявила в общую залу и на глазах у всех принялась жадно уписывать соленую селедку, которую ей прислали из дома. Гусыня, уж на что была спокойной, не удержалась и потребовала свою долю — голод донимал ее больше прочих. Кольера безропотно отдала ей половину — похвальная предусмотрительность, учитывая ее шансы против Гусыни в открытой схватке. Селедка была отменная, жирная, сочная и круто посоленная на бергхаймский манер, неудивительно, что ночью Гусыня выбралась из дортуара к колодцу, мучимая жаждой. Не подозревая, что на лестнице, с удавкой, намотанной на запястье, ее уже поджидает Кольера. Гусыню нашли лишь на следующее утро, не просто избитую — измочаленную настолько, будто все демоны Брокенбурга всю ночь играли ею в мяч. Лопнувший живот, переломанные кости, вышибленный глаз... Кольера не очень-то бережливо относилась к своим игрушкам. А игрушкой ей служила всякая сука, имевшая неосторожность оказаться у нее в руках.

Кольера не гнушалась использовать и силу, особенно против тех, кто был заведомо слабее нее. Из некоторых она вышибала дух на глазах у всех, оставляя корчиться в луже крови и мочи, других подкарауливала ночью, и терзала обыкновенно точно голодная собака мясную кость. Еще хуже приходилось смазливym девчонкам, которые имели

неосторожность оказаться в Шабаше без покровительницы или подружки. К таким Кольера питала особенную страсть.

Ее любовные игры напоминали игры голодных гиен, неудивительно, что всякая школярка, которую она затаскивала к себе в покои, сооруженные в углу общего дортуара, к утру обыкновенно утрачивала возможность и сопротивляться и голосить, лишь едва-едва поскуливала, с трудом соображая, что с ней произошло. Кольера брезгливо вытряхивала ее из своей койки и отправлялась за свежим мясом — окровавленное мясо с душиком в ее глазах теряло всю свою прелесть.

Чертово отродье. Грязная швабка. Похотливое чудовище.

Крошка Барби и сама не была паинькой, особенно в те времена, когда ее звали Красоткой. Бывало, ее рассаженные о чужие скулы и челюсти кулаки не заживали по три недели к ряду, а нож приходилось драть песком ежедневно, иначе он шел ржавыми пятнами. Она дралась — исступленно и зло — она душила, она крушила кости. Но там, где она добывала себе жизненное пространство, отвоевывая дюйм за дюймом, Кольера разила хладнокровно и расчетливо, получая удовольствие от своей жестокости и пируя на глазах у прочих.

Удивительно, они так и не схлестнулись между собой.

Не успели, хоть и готовились к этому, каждая на свой лад.

Много раз присматривались друг к другу, глухо ворча, показывая зубы, присматривались — но отступались, не доводя дело до крови. Наделенные звериным чутьем, они обе чуяли хищницу одна в другой и понимали, что их первая драка почти наверняка станет и последней. Они не скрещивали ножей, даже не махались на кулаках, но знали стиль друг друга — без жалости, без пощады, с полным пренебрежением к смерти. Такие драки не заканчиваются расквашенным носом да парой ссадин, которые можно показывать подругам в трактире. Такие драки заканчиваются только тогда, когда одна из сук валяется бездыханной на земле, а другая брезгливо вытирает о ее портки испачканный нож.

Этот чертов танец длился несколько месяцев. Они кружили друг вокруг друга, совершая обманные маневры и финты, они прощупывали почву, они выискивали чужие слабости, зная, что рано или поздно схватка последует — но адским владыкам не угодно было свести их вместе, чтобы выявить сильнейшую.

Уже позже Барбаросса не раз до крови закусывала губы, кляня себя за то, что не воспользовалась ни одной из возможностей разделаться с Кольерой. Не проломила ей череп булыжником, не задушила ночью, не всадила в брюхо острую стальную колючку, смазанную для верности ядом...

Потом был апрель.

Тот самый апрель, который она хотела бы забыть, но который сохранился в памяти бесцветным тряпьем, колышущимся на ветру. Разрозненными обрывками скверных воспоминаний.

Снег в апреле того года пах формалином и поздно сошел. У них с Котейшеством были билеты на «Куджо» — билеты, которыми они так и не сумели воспользоваться. Дублет Котти, беспомощно распахнутый, лишившийся своих щегольских медных пуговиц. Трепещущее в печи оранжевое пламя. Жуткий запах, от которого сворачиваются внутренности. Рвущийся из груди крик, стиснутые кулаки, бесконечная ночь, пылающее от боли лицо...

— Зыбкие приметы, — пробормотал Лжец. Съездившийся в своей банке, равнодушно

глядящий на проплывающие мимо него дома и прохожих, он напоминал пассажира дорожной кареты, которая едет уже очень-очень долго, настолько долго, что его взгляд уже не различает отдельных вещей за окном, города, деревья и люди давным-давно слились для него в единую мутную полосу... — Попробуй вспомнить ее лицо и представить его так четко, как только можешь.

— Я представила.

— Ни хера ты не представила, — раздраженно буркнул гомункул, косясь куда-то назад, за спину Барбароссе, — Ты представила абрис, тень, контур. Под которую в Броккенбурге подойдут десять тысяч сук, включая господина бургомистра Тоттерфиша.

— Черт! Прошло Полтора года! Я с ней не лобзалась, чтоб помнить каждую черточку!

— И наверняка жалеешь об этой упущенной возможности, — пробормотал Лжец, — Не печалься. Вполне может быть, твою страсть к поцелуям скрасят две юные особы, которые положили на тебя глаз три квартала назад. Не могу заверить тебя в их красоте, поскольку сам не вижу деталей, но могу заверить в упорстве — они тянутся, будто привязанные веревкой.

Барбаросса беззвучно выругалась.

— Как далеко?

— Сто семьдесят саксонских фуссов[21], - почти немедленно отозвался гомункул, — Может, немногим меньше. Эти скромницы стараются держаться в стороне от фонарей, но я хорошо чувствую легкое возмущение, которое сопровождает их в эфире.

— Ведьмы?

Лжец кивнул.

— Похоже на то. Возможно, у них в планах романтический вечер с твоим участием, Барби, но что-то я не вижу у них в руках ни бутылки с вином, ни букетов. Разве что...

— Да?

— Веера, — сухо произнес гомункул, — Я не очень-то сведущ по части тех когорт, что вы именуете ковенами, но готов поспорить, что обе они держат веера. Веера с перламутровыми пластинами.

Порыв ветра, которым ее наградил шныряющий по крышам Эбр, пах печеными сливами и подгоревшим жиром. Барбаросса наградила его плевком.

— Многие суки в Броккенбурге таскают перламутровые веера.

— Возможно, — легко согласился Лжец, — Я не большой специалист по части женской моды. Но у меня перед тобой небольшое преимущество. Я держу свои глаза открытыми, кроме того, иногда задаю работу той шпуге, к которой они крепятся. Эти две шмары чертовски похожи на тех, которые не так давно скрашивали тебе общество в «Хромой Шлюхе».

[1] Здесь: примерно 150 м.

[2] Ратгауз (нем. Rathaus) — «дом совета», ратуша.

[3] Намек на Хагена из Тронье, одного из персонажей «Песни о Нибелунгах», героя древнегерманской и скандинавской мифологии.

[4] Охотничий чай (нем. Jagartee) — традиционный в Австрии алкогольный напиток, состоящий из красного вина, шнапса, меда и пряностей.

[5] Дитер Халлерфорден (1935) — немецкий комик, певец и актер.

[6] Клут — специальный мяч в игре, называемой Klootschießen. Участники игры стремятся бросить его как можно дальше по специальной сложной траектории.

[7] Елизавета Саксонская (1552–1590) — саксонская принцесса из рода Веттинов, в 1585-м арестована и обвинена в измене мужу, умерла в заключении.

[8] Айершекке — традиционный саксонский десерт, творожный торт на дрожжевом тесте.

[9] Роте Юден (нем. Rote Juden) — мифическое племя «красных евреев», упоминаемое в средневековых немецких источниках. «Красные евреи» должны были вторгнуться в Европу во времена «великой скорби» перед неизбежным концом света.

[10] Антониу де Бандарра (1500–1556) — португальский мистик, предсказатель и поэт, толковавший Ветхий Завет, по профессии бывший сапожником.

[11] Саксонские города в период XIV–XV веков часто украшались статуями Роланда, рыцаря с обнаженным мечом, эта статуя символизировала привилегии и права города.

[12] В 1631-м году армия Священной Римской Империи под управлением Тилли осадила и захватила Магдебург, после чего сожгла дотла.

[13] Фюрстенгрош — старая немецкая монета, равная 1/24 или 1/25 талера.

[14] Балют — распространенное на Востоке блюдо — вареное птичье яйцо, внутри которого уже сформировался плод с оперением, хрящами и клювом.

[15] Теургия Гоэция — одна из книг, включенных в «Малый ключ Соломона», вмещает в себя списки духов, их печатей и заклинаний для их призыва.

[16] Оперкулум — плоская крышечка, закрывающая раковину некоторых морских и пресноводных моллюсков (улиток). Порошок из оперкулума часто использовался в качестве составной части благовоний.

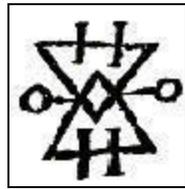
[17] Изопсефия — практика в нумерологии, с помощью которой складываются числовые значения букв слова.

[18] Агриппа Неттесмегейский (1486–1535) — немецкий оккультист, астролог, алхимик, врач и адвокат.

[19] Швинген — «альпийская борьба», швейцарское единоборство, распространенное с XIII-го века в германоязычных областях Альп.

[20] Здесь: примерно 89 кг.

[21] Здесь: примерно 50 м.



Барбаросса ощутила тяжелое ворчание где-то в кишках. Нет, подумала она, это слишком паскудно, чтобы быть правдой.

Углядев на стене ближайшего дома доску для объявлений, Барбаросса остановилась напротив нее, делая вид, что пристально изучает припиленные к ней клочки бумаги. Ей не было дела до того, что предлагают друг другу чертовы бургеры, какое дерьмо нынче в моде и за сколько можно сбыть бабушкины цапки, но торчать возле доски, делая вид, что читаешь, не так-то просто, приходится хотя бы немного шевелить глазами из стороны в сторону. Так что некоторые объявления она все же прочла, не сосредотачиваясь на их смысле.

Продается аутоваген-фиакр семьдесят шестого года, цвет — спелый амарант. Превосходный экипаж для прогулок за городом, с семьей или в одиночестве. Котел для демонов — стальной, прекрасного литья, внутри — три демона из свиты владыки Ханомага. Превосходная велюровая обивка и новые фонари...

Херня. Не требуется разбираться в аутовагенах, как Саркома, чтобы понять — дрянной старый хлам. Демоны окажутся в лучшем случае давно выдохшимися лодырями, не способными тянуть даже прогулочный возок, в худшем — озлобленными на весь мир тварями, которых их предыдущему хозяину не удалось приструнить и которые охотно позавтракают следующим, ничего не подозревающим, использовав превосходную велюровую обивку в качестве подстилки для пикников...

Продаю набор для Хейсткрафта, оставшийся от прабабушки — двадцать маленьких фигурок с песьими и крокодильими головами. Состояние превосходное, с коробкой. Каждая фигурка — три унции весом, чистый свинец.

Херня. Хейсткрафт — невообразимо тонкая и сложная наука, удел тех немногих суков, которые обладают холодным умом и железной дисциплиной. Чтобы копаться в чужой ране, нужны ловкие, умелые и не дрожащие пальцы. Чтобы копаться в чужом рассудке, надо владеть своим собственным лучше, чем Каррион владеет спрятанной в трости рапирой. Суки, занимающиеся Хейсткрафтом, самые хладнокровные суки в мире, аккуратные как хирурги. Одно случайное движение во время ритуала, одна вовремя непогашенная мысль — и Хейсткрафт превратит рассудок, над которым ты колдуешь, в подобие свежевзбитого телячьего паштета.

Котейшество рассказывала, пару лет тому назад некий граф Хальденслебен, мучаясь докучливыми воспоминаниями об одной юной особе, которые привез из поездки по Италии, призвал к себе лучшего саксонского хейсткрафтера, обитавшего в тамошних краях, пообещав тому заплатить двести гульденов золотом, если он вырежет эти воспоминания с корнем. Хейсткрафтер долго отказывался, утверждая, что он специалист по адским наукам, а не по сердечным делам, но золото — великий мастер убеждения, уже через неделю он дал согласие. Но поставил свое условие — потребовал, чтобы на протяжении ритуала ни одна мельчайшая мелочь не мешала ему в работе.

Сам он провел перед этим три дня в изнуряющих медитациях, настраивая дух и

сознание с такой тщательностью, что даже сердце у него билось точно часовой механизм, а глаза на какое-то время перестали моргать. Он знал, что это такое — запускать руки в чужой рассудок...

Графский майордом выполнил указания с педантичностью преданного оруженосца. В назначенный день из дворца были изгнаны все слуги кроме самых доверенных, натянувших вместо сапог пулены из мягчайшей кожи, а вокруг дворца выстроились двойным кольцом графские рейтары и бронированные големы в боевом порядке. Только лишь затем, чтобы не то, что незванный путник или бродячий трубадур, но даже и какой-нибудь шальной заяц не нарушили покой и сосредоточение мастера во время работы. Все окна перед этим были намертво заколочены, все двери заперты на засовы и опечатаны — ни одному сквозняку не было позволено вмешиваться в его работу. Дошли даже до крайности — сорвали двухсотлетний паркет и безжалостно порубили на дрова драгоценную мебель эпохи императора Рудольфа Второго, опасаясь бесцеремонных скрипов, которое могло издать старое дерево.

Все было предусмотрено в наилучшем виде. Точно в назначенный срок явившийся во дворец хейсткафтер начал ритуал, возложив руки на чело графа. Тонкая, филигранная работа, с которой не справился бы и лучший придворный ювелир. Как знать, может, он и закончил бы ее без помех и волнений, кабы не муха. Обычная чертова муха, которая, напуганная всеобщей суматохой, затаилась где-то за гардинами в дворцовом углу, а после, маясь скукой, не придумала ничего лучше, чем приземлиться бледному от напряжения хейсткафтеру аккурат на лоб.

Его пальцы дрогнули — на волос, не больше — но уже этого было достаточно. В рассудке графа стронулась какая-то малость, но, верно, это была какая-то важная малость, которая подчиняет себе ход большого и сложного механизма. Когда графа привели в чувство, выяснилось, что он потерял не только беспокоящие его воспоминания об итальянской пассии — он потерял гораздо больше. Не узнающий никого из придворных и друзей, утративший дар человеческой речи, он шарахался от окружавших его людей, визжа от ужаса, хлопал воображаемыми крыльями, пытался вырезать себе глаза осколком зеркала... Слугам пришлось связать его шелковыми шнурами и запереть в его покоях, но он нашел способ освободиться и, сбегав из дворца, утонул тем же днем во дворцовом пруду.

Его телу не пришлось маяться там одиночеством — уже очень скоро в его обществе оказался и незадачливый хейсткафтер, сделавшийся еще более спокойным и сосредоточенным, чем прежде, с привязанным к ногам камням и развороченной выстрелом головой — капитан графской стражи, ставший свидетелем трагедии, расплатился с ним по чести за оказанную услугу, разве что не золотом, а свинцом...

Только никчемная дура, берясь за такую сложную и опасную науку, как Хейсткафт, будет использовать для ритуала купленные с рук фигурки. Малейшая невидимая глазу каверна, мельчайший дефект, крошечный скол — тончайший рисунок чар будет непоправимо нарушен, а последствия сделаются чудовищными как для заклинаемого, так и для заклинателя. Но если чего в Броккенбурге и хватало во все времена, кроме адских владык и энергий, так это дураков. Наверняка не пройдет и недели, как какая-нибудь потаскуха, ухватив набор свинцовых идолов, примется за ритуал, пытаясь избавить свою дочь от заикания или саму себя — от воспоминаний о жеребце, который лишил ее невинности...

Продам бандодет работы мастера Рекнагеля. Восьмидюймовый ствол, отличный бой на пятьдесят шагов, инкрустация золоченой проволокой и яшмой...

Продам старое зеркало, чистое как слеза, маленькая трещина по нижнему краю...

Продам отрез шести фуссов прелестной тафты шанжан[1] небесного цвета...

Продам трехмесячного щенка аффенпинчера — чистый завод, никакие виды адских чар не использовались...

Херня. Херня. Херня. Барбаросса быстро утратила интерес к никчемным бумажками, тем более, что обещали они по большей части всякую никчемную дрянь, которая не интересовала ее ни в малейшей степени. Куда больше ее интересовали те суки, что вели ее — и вскоре она их увидела.

Их было двое, Лжец не ошибся. Они держались на изрядном удалении и так, чтобы не попадать в пятна света от фонарей, но держались так, что легкая надежда, которую она прежде ощущала, мгновенно осела облаком сгоревших мотыльков, оставив запах паленого хитина. Эти двое шли не так, как праздные гуляки в своем извечном путешествии от одного трактира к другому. И не как юные девчонки, томимые страстью, ищущие укромную подворотню, чтобы порадовать друг друга своими острыми язычками. И даже не как пара ведьм в поисках приключений, влекомые азартом, молодостью и выпитым вином. Они выглядели как...

Как ищейки, подумала Барбаросса, делая три размеренных выдоха, чтобы выплеснуть из легких вместе с воздухом ядовитую мошкарку подступающей паники. Как парочка хорошо выдрессированных, но не очень опытных ищеек, держащих горячий след. Ха. Как будто сестрица Барби сама, в бытность Красоткой, не выслеживала в каменном лесу, именуемом Броккенбургом, двуногую дичь. Не замирала в подворотнях, слившись со стеной, напряженно наблюдая, с обнаженным ножом под плащом...

Хундиненягдт. Сучья охота.

Бри — когда милашка Бри еще была посмеивающейся франтовато разодетой «шутихой», а не булькающей собственной кровью падалью с развороченной промежностью — сказала, что кое-какие девчонки в Броккенбурге не прочь отведать крошку Барби на вкус. «Сестры Агонии», сказала она. Точат ножи и ждут не дождутся возможности ощутить себя взрослыми девочками.

Черт. В другое время это даже позабавило бы ее. Нет ничего более забавного, чем несколько неопытных блядей, стащивших на кухне ножи напяливших материнские чулки и уже мнящих себя роковыми искусительницами. Нет ничего более забавного, чем дичь, вообразившая себя хищником. Ей уже случалось сталкиваться с подобными стайками, с суками, у которых чешутся коготки, но которые ни хера не понимают, как устроена жизнь в Броккенбурге, как не понимают и своей роли в сложно устроенной иерархии здешних хищников.

По душу Панди Хиндиненягдт объявляли восемь раз — и восемь раз крошка Панди лишь ухмылялась, отряхивая с рук чужую кровь. Эту крысиную возню она даже не считала за подвиг, который стоит того, чтобы быть воплощенным в миннезанге, всего лишь за курьезный случай, о котором можно поведать за стаканом вина.

В обычный день Барбаросса была бы только рада неожиданному развлечению. Она... Свернула бы направо, мгновенно подсказал ей охотничий инстинкт, проснувшийся в дебрях сознания. Там, где Ункаутштрассе сливается с безымянным переулком, заросшим гибискусом, есть премилое местечко для такого рода встреч. Она затаилась бы там, позволив им сократить дистанцию, а потом...

Выскользнуть из темноты позади них.

Срывающееся дыхание вложить в два коротких шага — и сокрушительный удар «Кокетки» в челюсть.

Потом нож. Кулаками можно махать в свое удовольствие пока не устанешь, но настоящие дела на улицах Броккенбурга издавна решаются ножом. Ножом, снизу вверх, на выдохе, рассекая брюшину — оуу-ууф...

— Прекращай, — буркнул Лжец, недовольно косясь на нее, — Сейчас потечешь и промочишь себе башмаки.



Блядь. Должно быть, она слишком явственно это представила, забыв, что несет под боком чертового коротышку, своей наблюдательностью способного дать фору имперским астрономам.

Никаких развлечений, сестрица Барби. Забудь об этом. В обычный день ты без труда разорвала бы этих двух шалав, даже не утрудив особо рук. Но сейчас... Сейчас у тебя нет рук, напомнила она себе, лишь жалкие, полыхающие болью обрубки с вкраплениями из свинца и латуни. Цинтанаккар обезоружил тебя. Ты не опаснее, чем истекающая жиром утка, водруженная на блюдо в окружении печеных яблок.

От тоски, тупым когтями корябавшей душу, захотелось взвыть в голос, облегчая работу преследовательницам.

Барбаросса заставила себя сцепить зубы и дышать через них. Спокойно, Барби. Ты уже не можешь рассчитывать на свои кулаки, но это не значит, что ты беззащитна. Броккенбург дал тебе не только бесчисленное множество шрамов по всему телу и грозную репутацию, он дал тебе опыт. Даже искалеченная, ты все еще хитрее «Сестер Агонии».

Умнее. Злее. Опаснее.

Преследовательницы не спешили сокращать расстояние. Увидев, что их цель остановилась на краю тротуара, ожидая, когда лихтофор позволит ей пересечь улицу, они и сами замедлили шаг, а спустя несколько секунд поспешно укрылись в подворотне. Барбаросса мысленно кивнула сама себе. Не очень опытные, но весьма проворные, как она и думала. И наверняка мысленно уже делят ее на куски, как придирчивый мясник коровью тушу, не подозревая, что на это мясо уже положил взгляд куда более опытный хищник. Хищник, которому «сестрички» с их блядскими веерами не годятся и в подметки...

Барбаросса попыталась вспомнить все, что ей известно про ковен «Сестры Агонии», но лишь потратила впустую полминуты, напрягая память — все, что удалось извлечь на поверхность, почти не представляло собой ценности. Разрозненные и жалкие обрывки вроде тех, что обнаруживаешь в сундуке, где когда-то лежали изысканные брабантские кружева. Память, старая жестянка, совсем прохудилась, оттого она не сохранила многих вещей, но те, которые все-таки смогла выудить наружу, ей отчаянно не понравились.

«Сестры Агонии» не могли похвастать богатой историей, и неудивительно, вся их история насчитывала самое большее несколько месяцев. Барбаросса скрипнула зубами. Молодняк. Молодые ковенны почти всегда в меру дерзки, полны снедающими их амбициями и готовы показать норы даже там, где лучше было бы вести себя поскромнее и понезаметнее. Это в природе вещей, как в природе птиц летать по небу, а деревьев — расти снизу вверх.

Молодые ковенны всегда беспокойны, они рвутся показать миру свою силу, даже если

силы этой хватает лишь на жалкий пшик, оттого нередко ввязываются во всякие дурные истории и авантюры, частенько оборачивающиеся против них самих. Не имеющие ни выработанных веками традиций, ни старших сестер, способных укротить их порывы, ни инстинкта самосохранения, ограненного самим Броккенбургом, такие колены будто нарочно ставят целью вывести из себя городской магистрат, Большой Круг и даже адских владык, делаясь источником многих проблем. Они пьют все, что могут выпить, крадут все, до чего могут дотянуться их руки, участвуют во всех балах, драках, оргиях и дуэлях, на которые только могут попасть. Беспокойное племя, причиняющее Броккенбургу больше хлопот, чем иные беспутные адские владыки, спешащие поразвлечься на свой адский манер.

Но «Сестры Агонии», кажется, спешили выделиться даже на этом фоне.

По крайней мере, для колена, который не успел просуществовать и года, он обзавелся внушительным хвостом, и хвостом скверным, состоящим из недобрых слухов, которые наверняка наполовину и не были слухами. Барбаросса не помнила их в деталях, одни только обрывки — угнанный аутоваген где-то в Миттельштадте, какая-то скверная история в трактире «Три с половиной свиньи» — и еще одна, на задворках университета... Послушные девочки так себя не ведут.

Эти суки и не были послушными девочками. Они были «диким коленом» из числа тех, которые старина Броккенбург рождает с завидным постоянством — по три-четыре дюжины в неурожайный год — и которые сам же с удовольствием пожирает, не дав им дожить даже до следующей Вальпургиевой ночи.

Их и коленом-то считать можно с большой натяжкой. Просто банда беспутных и озлобленных сук, которые не смогли найти себе теплого места в приличных семьях, но и в Шабаш возвращаться побоялись, хорошо зная его нравы и порядки. Никчемные пари, не нужные никому в целом свете, сбившиеся в стаю, слишком озлобленные, чтобы обрести настоящую семью, слишком нетерпеливые и изголодавшиеся, чтобы загадывать дальше сегодняшнего дня. Слишком кровожадные, чтобы уважать чьи бы то ни было традиции.

Большая часть «диких коленов» не протягивает и года. Отсутствие опыта и осторожности, помноженное на нетерпеливость и звериный нрав, быстро сокращают их ряды. Такие колены с остервенением выгрызают друг дружку, а если какой и задержится на белом свете, рано или поздно, в отчаянье ли, в безрассудстве ли, он совершит что-то такое, что уже невозможно будет игнорировать. И тогда Большой Круг, состоящий из самых старых, мудрых и безжалостных сук, попросту вычеркнет его из существования. А может, этим озаботится городской магистрат или какой-нибудь из старших коленов — зависит от того, кому эти суки успели больше насолить...

«Сестры Агонии», кажется, пребывали где-то на середине этого пути. Пытаясь заработать славу и уважение, они быстро опустились до того уровня, который опасно граничит с беззаконием, что до традиций и правил Броккенбурга, они уделяли им не больше внимания, чем вшам на своем нижнем белье. Мелкие пакости сходили им с рук до поры до времени — мудрые суки не спешат вмешиваться, когда молодняк остервенело грызет сам себя, это его излюбленное занятие — но, кажется, «сестрички» уже пресытились такими шалостями и почувствовали себя готовым для чего-то большего.

Например, выследить, загнать и задрать ведьму одного из старших коленов.

Барбаросса оскалилась, чувствуя прилиплие к спине взгляды двух пар холодных внимательных глаз.

Может, «Сестрам Агонии» и не суждено пережить следующую Вальпургиевую ночь, но

сейчас, если верить слухам, они в пике своей силы. Бодры, злы и голодны. И, что еще хуже, среди этих тринадцати сук, есть несколько имен, которые ей не доставляло удовольствия вспоминать.

Жевода, их первая сабля и первая сука. Патронесса этой кодлы взбесившихся вульв. В Шабаше она выслуживалась перед старшими и звалась Холопкой, но с некоторых пор обрела свободу и склотила шайку на свой вкус, а вкус у Жеводы, если Барбаросса верно помнила ее пристрастия и манеры, чертовски паскудный...

Кто еще?

Резекция, тощая сука с кацбальгером, не первая фехтовальщица в Броккенбурге — и даже не из первой дюжины — но весьма опасна. Еще в их стае одноглазая выблядь по имени Катаракта, и еще какая-то, что носит имя Тля, а также еще несколько, чьи имена успели выветриться из головы. В одном можно не сомневаться — эти суки хорошо знают вкус мяса.

— Я могу с ними разобраться, — сквозь зубы произнесла Барбаросса, так, чтоб ее слышал только Лжец, — Это не Унтершадт, но и здесь хватает темных подворотен. Я...

— Даже не думай! — отрывисто и зло приказал Лжец, — Если они идут за тобой, значит, наверняка при оружии. Не думаю, что у них в карманах гусиные перья! Что, если у них с собой пистолет? Знаешь, Цинтанаккар, хоть и откусывает от тебя по кусочку, позволяет тебе передвигаться. Но я хочу посмотреть, как ты будешь тянуть ноги с куском свинца в брюхе!

Барбаросса поморщилась. Замечание было неприятным, но вполне справедливым. «Сестрички» определенно не относятся к тем ведьмам, которые чтут традиции, и потратили немало сил, доказывая это Броккенбургу.

— Тогда просто оторвемся, — решила она, — Придется заложить несколько основательных петель, но...

Лжец скрипнул зубами, которых у него отродясь не было. А может, она просто вообразила себе этот звук, ощутив его досаду, полыхнувшую маленьким колючим огоньком.

— У тебя есть время выписывать петли по городу? Черт, я-то думал, мы немного стеснены! Что ж, если так, давай в самом деле не торопиться. Отрывайся, петляй, путай следы, делай финты или что там у вас принято... Заодно можем заскочить в какое-нибудь приятное местечко, прикончить бутылочку вина, покидать кости... Отчего бы нет? Ночь только начинается!

Барбаросса беззвучно зашипела. Лжец определенно не был прирожденным фехтовальщиком, даже обзаведись он рапирой из швейной иглы, едва ли пережил бы поединок с крысой, но по уязвимым местам он бил умело и безжалостно, неизменно вонзая невидимый шип в неприкрытые стыки доспехов.

— Черт тебя подери, хлебный мякиш! Эти суки, что плетутся за мной, это «сестрички» из «Сестер Агонии»!

— Да хоть бы и сестры Кесслер[2] собственной персоной! — раздраженно отозвался гомункул, — Ты думаешь, они собираются достать из-за пазухи ножи и разделать тебя прямо на улице?

Барбаросса подумала несколько секунд.

— Нет, — неохотно произнесла она, — Вдвоем они не сунутся, знают, с кем им предстоит иметь дело. Это ищейки, не волкодавы. Они вынюхивают, отслеживают, выжидают. Присматриваются ко мне, наблюдают за тем, какими дорогами я хожу, где бываю, чем занимаюсь...

— Я тоже так подумал, — кивнул гомункул, — Иначе они распотрошили бы тебя еще на выходе из трактира. Они нападут не сегодня. Завтра, может, послезавтра или на следующей неделе. А Цинтанаккар сожрет тебя уже сегодня, помни об этом. У тебя всей жизни осталось три с половиной часа. Хочешь потратить одну седьмую своего времени, кружа по улицам и переулкам?

Барбаросса покачала головой.

Этого она не хотела.

— Что ж, — пробормотала она, стараясь не коситься назад, чтобы не выдать себя, — Придется, пожалуй, какое-то время поносить хвост. Носят ведь прочие суки броши, подвески и прочую херню...

— Молодец, — одобрил гомункул, — Разумное решение. Видишь тот дом через дорогу, второй справа?..



Домишко был неважный даже по меркам Нижнего Миттельштадта, в котором дворцов обычно не водилось, а дрянной фахверк встречался куда чаще камня. Он еще не пытался развалиться, выворотив из земли свой ветхий фундамент, но в его положении, в том, как он восседал среди прочих, ощущалась гибельная предсмертная тоска. Похож на солдата, получившего пулю в печень, подумала Барбаросса, который упрямо идет в атаку, пытаясь не замечать струящейся из-под кирасы крови, но которому суждено испустить дух, не сделав и сотни шагов. Просто повалиться лицом вниз, в обожженную адским огнем землю.

— Ты уверен, что мы явились по адресу? — осведомилась она, разглядывая окна. Выложенные когда-то мутными, похожими на рыбы глаза, кусками «лунного стекла»[3], они, должно быть, медленно слепли из года в год, приобретая вместо утраченных фрагментов деревянные и глиняные заплатки, — Не очень-то тянет на роскошную резиденцию. Если мы что и найдем внутри, то лишь выводок галлюцинирующих вельфов...

— Шагай, — грубовато бросил Лжец, тоже пристально изучавший дом, — Он должен жить здесь, знаки были указаны верно. Чего медлишь?

— Не хочу, чтобы мне ненароком проломило голову куском черепицы.

— Тогда можешь сесть и расслабиться. Уверен, Цинтанаккар приготовил для тебя куда более интересную участь. Помнишь секретное слово?

— Помню.

Барбаросса стиснула зубы. Она спиной чувствовала взгляды двух пар глаз — суки-«сестрички» обосновались через улицу, слившись со стеной, и разглядывали ее так пристально, что ей подсознательно захотелось нацепить на себя кирасу — чужие взгляды едва не царапали кожу.

Нехорошие взгляды. Уж она-то понимала их смысл.

— Стучи.

— Чтоб ты сгнил в своей банке, Лжец! С твоими никчемными советами и шуточками и...

— Стучи!

Она постучала. Не так, как стучат в дверь уважаемого хозяина, которого не хотят потревожить, но и не так, как заведено стучать в дверь постоянного дома, бесцеремонно и резко. И едва было не испытала облегчение, поняв, что домишко как будто бы не собирается

отзываться на стук. Предупредительный слуга не спешил распахнуть перед ней дверь, да и сомнительно, чтоб в этом покосившемся сарае имелся слуга, разве что скрипнуло что-то негромко, но это мог быть не скрип половицы, а скрип разбуженного ветром старых досок, из последний сил держащихся друг за друга.

— Еще раз.

Она постучала еще раз, проклиная себя, и в этот раз была вознаграждена чуть более протяжным скрипом.

— Здесь никого нет, Лжец. Дом пуст. Этот хер должно быть давным-давно издох. А может, твоя приятельница попросту пошутила или...

— Умная Эльза никогда не шутила, — негромко обронил гомункул, — Сколько я ее знал, она была серьезна как счет от гробовщика. А я знал ее долго, больше двух лет. Для нас это изрядный срок...

— Если он не откроет, учти, я не намереваюсь влезать через окно. Как ты мог заметить, на этой неделе мне не очень-то везет с охранными демонами...

— Не думаю, чтоб у него остались деньги на охранный демона, — пробормотал Лжец, — Даже если бы он хотел им воспользоваться. У этого человека в жизни не осталось того, что стоило бы охранять... Быстро! Спрячь меня куда-нибудь!

— Что?

— Я слышу его шаги. Он идет к двери. Да быстрее же!

— На кой хер мне тебя прятать?

Гомункул засопел, раздраженный ее непонятливостью.

— Если ты еще не заметила, я гомункул, а не цыпленок моренго[4]! А этот человек вполне может оказаться демонологом!

— С тем же успехом он может оказаться великим принцем, — пробормотала Барбаросса, покосившись на дрянной, подточенный древоточцем, фасад, — Или эмиссаром самого архивладыки Белиала. Ты его боишься?

— Не боюсь, — Лжец раздраженно стукнул лапкой по стеклу, — Но здесь мне, пожалуй, будет безопаснее. Ты ведь знаешь, что мы, гомункулы, испокон веков служим ассистентами при демонологах? Мне совсем не улыбается, чтобы он вскрыл мою голову точно орех, вытащив все мысли и воспоминания. Не знаю, что это за хер и чего от него ждать.

— А у тебя есть грязные воспоминания, которыми ты бы не хотел делиться? — Барбаросса ухмыльнулась, — Дай угадаю, однажды тебе в банку упала мертвая мышь и ты немало позабавился, маленький сердцеед, прежде чем старик заметил ее?..

Гомункул зашипел.

— Просто укрой меня где-нибудь!

Черт. Барбаросса быстро оглянулась, пытаясь найти какое-нибудь укромное местечко, достаточно большое, чтобы там могла уместиться банка. Не самая простая задача. Пусть возле дома не было фонаря, отчего крыльцо его было порядком укрыто темнотой, эта темнота сама по себе не казалась хорошим укрытием. Если она оставит банку в густой траве у крыльца, как знать, не пройдет ли здесь какой-нибудь ночной гуляка, скуки ради поддев ее сапогом. Не пронесется ли над улицей изнывающая от голода гарпия, ищущая легкого ужина. Не скользнет ли какой-нибудь проказливый дух, любящий из озорства бить бутылки и устраивать переполох...

Доски крыльца были старыми, порядком изъеденными древоточцем и ядовитыми

чарами, стекающими с горы. Барбаросса несколько раз ударила башмаком сбоку, образовав отверстие, вполне основательное, чтобы в него проскочила банка с гомунклом, но почти незаметное в укутавшей крыльцо темноте.

Порядок, Барби, мгновенно отрапортовал он, здесь чертовски грязно, но я буду в сохранности. Ступай к этому типу и выжми из него все, что только удастся. И помни секретное слово. Если он начнет упрямиться, пускай его в ход...

Переспросить Барбаросса не успела, потому что тяжелая дверь, заскрежетав петлями, приотворилась. Недостаточно широко, чтобы она могла войти, даже повернувшись боком, но достаточно, чтобы она увидела скудно освещенную масляной плоской прихожую и человека, пристально глядящего на нее. Прихожая была запущенной и грязной, человек — неожиданно большим и плотным, облаченным в какое-то бесцветное рубище, которое могло быть и ночной рубашкой и плащом.

Когда-то, вероятно, он был высок и силен, но годы жизни в Броккенбурге оплавляли его статную фигуру, нарастив на ней немало лишнего мяса, преимущественно спереди и на боках. Тучный, сутулый, сопящий точно тяжело груженный монфорт, он взирал на нее так, как полагается взирать на ночного гостя, которого точно не звал к ужину — неприязненно и зло.

Как она сама разглядывала бы катцендруга, нацепившего на себя драный камзол и явившегося с визитом на порог Малого Замка.

— Во имя всех срамных отверстий в теле архивладыки Белиала, — пробормотал он, щуря и без того раскосые глаза, мутноватые и широко расставленные, — В жизни не видел таких уродливых шлюх. Послушай доброго совета, милашка, подыщи себе другую работу, иначе подохнешь с голоду. В этом квартале тебе не дадут и крейцера — даже если ты натянешь на голову мешок!

Лицо у него было опухшее, отечное, нездорового цвета, с широченным носом, похожим на раздавленный конским копытом корнеплод. Роскошный нос, сделавший бы честь отставному ротмистру, но слабо подходящий демонологу, может потому, что украшен был не вмятинами от пенсне и чернильными кляксами, а тонкими багряными прожилками вроде крохотных змей. Такие украшения обычно носят не корпящие над инкунабулами мудрецы, а бездельники, днями напролет полощущие бороды в трактирных кружках.

Впрочем, у него и бороды-то не было. Были лишь редкие заросли, обрамлявшие мощный тяжелый лоб, когда-то, должно быть, густые и вьющиеся, а теперь укрытые грязной сединой, напоминающие жмущийся к утесу чахлый кустарник. Едва ли этот тип когда-нибудь носил парик, как полагается в обществе, да и пахло от него отнюдь не кельнской водой[5].

Барбаросса хоть и не приняховалась, мгновенно ощутила исходящий от хозяина тяжелый запах — едкий маслянистый дух дрянной пшеничной браги. Дурной запах, знакомый ей по Кверфурту, запах, пробудивший многие недобрые воспоминания.

Ты ошибся, Лжец, подумала она. Этот тип точно не решит моих проблем, от него несет как от бочки, он пьян и едва держится на ногах. Только взгляни на него! Если он и умел когда-то заклинать демонов, ему самому потребуется чертова прорва, чтобы те дотащили его до кровати!..

Лжец отозвался колючим смешком.

Скрытый под крыльцом, он старался не шевелиться и говорил тоже вполсилы, так, что она едва его слышала.

В следующий раз я отведу тебя в Оберштадт, Барби, в башню из павлиньей кости, чтобы

лучезарные мудрецы в расшитых звездами халатах занялись твоей бедой. Но сейчас, полагаю, нам придется иметь дело с тем, что есть. Будь хорошей девочкой и постарайся поменьше дерзить. Умная Эльза отрекомендовала его как специалиста, и не последнего в своем деле.

Барбаросса вздохнула. Иногда подсказки гомункула раздражали ее не меньше, чем зуд щербатой щепки, застрявшей у нее под селезенкой.

— Я по делу, — сухо произнесла она, — И собираюсь...

Закончить она не успела, потому что толстяк, пристально разглядывавший ее через щель, издал возглас отвращения.

— Черти бы меня взяли! Ведьма! Ведьма на пороге моего дома! Ах ты ж блядь.. Дерьмо собачье! Слушай, ты, разворачивайся и иди-ка прочь по-доброму. Быть может, я бы и засунул свой хер в нечто настолько страшное, как ты, особенно если бы выпил как следует, но я не такой дурак, чтобы совать хер в кусок мяса, принадлежащий адским владыкам, кусок, который то пожирают, то сношают без остановки!

Барбаросса ощутила легкий зуд в правом бедре. Это был не Цинтанаккар, это рефлекс сестрицы Барби молили ее сделать короткий толчок, оттолкнуться и обрушить ногу на приоткрытую дверь, вминая ее в одутловатое лицо за ней, кроша и без того расплывшийся нос.

Банка с гомункулом, надежно укрытая в тайнике, издала негромкий плеск. Вроде того, что издает рыба на поверхности реки на закате. В этот раз он не обронил ни слова, но Барбароссе показалось, что один этот плеск прозвучал предостерегающе, как просьба.

Будь хорошей девочкой, Барби, говорил он. Не вздумай показывать свой характер. Сделай то, что делают хорошие девочки, когёда обстоятельства вынуждают их — молча проглоти.

Барбаросса медленно выпустила воздух из легких.

— Я ведьма, это верно, — процедила она. Сквозь плотно сжатые зубы слова проникали натужно, медленно, как явившиеся из леса за добычей хищники сквозь густую изгородь, — Но на этот порог меня привела воля не моего адского владыки, а моя собственная.

Укрывшийся за дверью хозяин насмешливо фыркнул. Так, что угрожающе треснула засаленная хламида, в которую он был облачен.

— Твоя собственная!.. Твоей собственной воли в этом порядке пережаренном куске плоти осталось не больше, чем твой хозяин соизволил тебе оставить. Ты всего лишь кукла, набитая соломой и никчемными мечтами, кукла, которую твой владыка волен жрать или трахать — но пусть не смеет посылать в мой дом!

Он говорит не на остерландском, машинально отметила Барбаросса, чтобы занять хоть какой-то мыслью kloкочущий разум, быстро затапливаемый обжигающей злостью. Говор нездешний, приквакивающий, не то «глатзиш», не то «бреслауш[б]», она всегда неважно разбиралась в восточных диалектах...

Он не из Броккенбурга. Он стар, пьян и обозлен на весь мир.

Если это демонолог, по какой-то причине укрывающийся от собратьев и городского магистрата, следует признать, он обзавелся маскировкой лучшей, чем могли одарить его адские владыки, много сведущие в искусстве перевоплощения. Во имя всех звезд, горящих в Аду, как же от него несет... Как от сточной канавы, куда трактирщик слил испорченную брагу. Похожим образом разило и от отца, когда он в обнимку со своим личным демоном приплетался из трактира, им же смердели комнаты, в которых он спал. Как будто чертово

зелье, которое он в себя вливал, со временем заменило все жидкости в его теле, выделяясь через поры вместе с потом, вырываясь с дыханием...

— Слушай, ты, — медленно и раздельно произнесла она, борясь с желанием зажать нос, — Я ведьма и у меня неприятности. Но за свои неприятности я плачу звонкой монетой, понял? Так что если ты будешь добр выслушать меня...

Дело дрянь. Лжец где-то ошибся, а может, его подруга из банки дала маху. Даже если предположить, что в этой дыре когда-то ютился демонолог, он давно съехал отсюда, оставив вместо себя обрюзгшего, покачивающегося в дверях, пьяницу с расплюснутым носом и мутным глазами. Щеки, пронизанные нездоровым рыхлым багрянцем, свидетельствовали о давней войне с выпивкой, более застарелой, глубокой и безнадежно проигранной, чем все битвы эпохи Оффентурена, а бесцветное рубище, в которое он был облачен, напоминало заскорузлое тряпье опустившихся парий из Унтершадта.

В мире есть много вещей, которые не похожи сами на себя и скрывают в себе другие вещи, но этот тип походил на демонолога не больше, чем сестрица Барби — на Марину фон Дитмар[7], придворную красотку, дуэли из-за которой свели в могилу больше народу, чем последняя эпидемия чумы.

Если ей что и стоит сделать, так это плюнуть ему в лицо, развернуться на каблуках и...

И отправиться в объятия двух дам, пристально наблюдающих за ней с другой стороны дороги. Пропустить с ними стаканчик мадеры, обменяться свежими сплетнями и между делом уточнить, не изменились ли планы «Сестер Агонии» на ее, сестрицы Барби, душу. Может, они даже угостят ее чем-нибудь остреньким, например, стилетом под ребро...

Барбаросса стиснула зубы.

Не будь тупицей, Барби. Не отрезай сама себе пути к спасению. Если ты и оказалась втянута в это дерьмо, то только потому, что не восприняла всерьез старика и его цепную зверушку. Поспешила с выводами. Облажалась. Оказалась в дерьме. Кусочками сестрицы Барби теперь усеяна половина Броккенбурга и хер его знает, как долго тебе суждено сохранять оставшиеся.

Это был не голос Лжеца — ее собственный. И оттого звучал еще более паскудно.

— Мне нужна помощь, — тихо, почти смиренно, произнесла она, — Помощь человека, который умеет договариваться с демонами. И я хочу ее получить.

— А получишь только заряд картечи через дверь, если не уберешься восвояси сию минуту!

Может, и в самом деле пальнет, подумала Барбаросса устало, хоть и маловероятно, чтоб у этого типа имелся мушкетон. Домик дрянной, одет в обноски, но...

Секретное слово. Лжец говорил о секретном слове.

Барбаросса стиснула зубы и произнесла это слово — прямо в сужающийся перед ее лицом дверной створ. Выдохнула, точно заклинание на ядовитом наречии адских владык.

— Пожалуйста... Латунный Волк.

Дверь, уже почти было закрывшаяся у Барбароссы перед носом, оставила зазор в один дюйм, не больше. Но этого зазора было достаточно, чтобы в полумраке прихожей она отчетливо видела пристальный взгляд чужих глаз.

— Что?

— Латунный Волк! — повторила она громче, не представляя, какой эффект должны вызвать эти слова, но произнося их настолько четко, насколько это возможно для обладательницы человеческого языка и голосовых связок, — Пожалуйста! Мне нужна

помощь!

По меньшей мере полминуты хозяин переминался на пороге, слышно было, как натужно скрипят под ним прогнившие доски. Эти полминуты Барбаросса провела в мучительном ожидании, ощущая, как ее незащитную спину царапают две пары чужих глаз.

— Какая помощь тебе нужна, ведьма?

— Внутри меня сидит демон. Хочу вытащить этого пидора оттуда.

Хозяин колебался еще несколько секунд, пристально разглядывая ее через вновь образовавшуюся щель, а потом тяжелая, изъеденная временем дверь распахнулась перед ее лицом, почти не издав скрипа.

— Хер с тобой, ведьма. Заходи. Или ты ждешь, чтоб я поприветствовал тебя по-швабски[8]?..

Против ее опасений, дом демонолога — если этот человек в самом деле имел какое-то отношение к адским наукам — оказался обустроен немногим лучше, чем она ожидала. По крайней мере, представлял собой подобие человеческой обители, а не зловонной дыры сродни той, что использовала для своего схрона покойница Бригелла.

Комнаты были темными, тесными, со вздувшимися полами и опасно просевшей крышей, но судя по мелким следам, которые Барбаросса машинально подмечала на ходу, их еще пытались поддерживать в сносном состоянии, и даже небезуспешно. Много раз чиненная мебель, законопаченные щели в стенах, даже кое-какие следы побелки... Этот человек еще не до конца опустил плечи, подумала она, по крайней мере, силится поддерживать в своем окружении хоть какое-то подобие порядка.

Ей вновь вспомнился отец — чертовски некстати, как и всегда.

Одержимый своим собственным демоном, он утратил интерес к дому, как утратил его к существам, его населяющим, крохотным пищащим созданиям, в жилах которых текла его кровь. А ведь этот дом был сложен его руками. Ее всегда удивляло, как отцовские руки, грубые закопченные руки углежога, похожие на крючья, которыми бревна стаскивают в полыхающую яму, делаются нежны, стоит им взять рубанок или шерхебель. Как мягко и нежно поет под ними дерево, как скрипит зажатый в них коловорот, а шерхебель — грозный, не ведающий нежности инструмент — воркует будто горлица, снимая с дерева золотые полупрозрачные одежды.

Иногда — когда была жива мать — отец мог уйти в сливовый сад под домом, где у него был сложен верстак, и там, расположившись в тени, столярничать целый день, что-то вытачивая и выстругивая, немелодично напевая себе под нос, ворча, выпивая за день добрый шеффель крепкого, черного и горького, как пек[9], кофе...

Демон, медленно пожиравший ее душу, перерабатывающий ее в едкие сернистые испарения, забрал у него это удовольствие, как забрал и все заботы о хозяйстве. Выпив свои обычные восемь «четвертей» в трактире, отец заваливался спать там, где его сморило, и спал как мертвый, хоть на кровати, хоть в огороде. Проломись над ним крыша, он и то бы этого не заметил, а если бы заметил, выказал бы не больше интереса, чем к мятущимся по небу облакам. У него давно уже были другие интересы.

Пребывая в приступе злости, он и подавно крушил свое добро слепо и безжалостно, не видя ничего перед собой, так, что заботливо сбитые когда-то стулья рассыпались в мелкие обломки, а столы ломались надвое, точно быки с рассеченной спиной. Под конец, когда от души его остались одни только зловонные сгустки, он погрузился в полузабытье, из которого почти не выныривал. Покрытый коростой, завшивленный, утративший способность по-

человечески говорить, лишь мычащий, он сутками лежал в доме, испражняясь под себя, но и тогда не замечал ни малейших неудобств. Пожалуй, он не заметил бы даже если б дом вместе с ним провалился в адские бездны...

— Что это было у тебя в бочонке, ведьма?

— В каком бочонке?

— В том, что ты держала в руках, пока торчала на крыльце. Я видел тебя из окна. Так что в нем? Уж не старка[10] ли?

Барбаросса едва не вздрогнула. Слишком сосредоточилась на том, чтобы не споткнуться в потемках и не задеть плечом что-то из рассыпающейся мебели. Неопрятный толстяк, отрекомендованный кем-то из подруг Лжеца демонологом, был куда внимательнее, чем она полагала. Даже, пожалуй, чертовски зорким, если разглядел банку в ее руках сквозь мутное оконное стекло, да еще посреди ночи. Барбаросса с отвращением заметила, как его огромный бесформенный нос, пронизанный багряными прожилками, подрагивает, жадно принюхиваясь, как у охотничьего пса.

— Это не выпивка, — неохотно ответила она, машинально пытаясь укрыть банку от чужого взгляда, — Это... другое.

— Вот как... — пробормотал хозяин немного раздосадованным тоном, — Я думал, старка... Вижу, мутное — и болтается там что-то... У Вернера в «Двухголовой Козе» такую старку подают, с заспиртованным крысенком внутри, вот я и подумал, что это тамошняя крысовуха... Славная старка, но по лбу бьет немилосердно, от нее еще три дня зеленые искры из глаз... Но сейчас бы я, пожалуй, глоточек пропустил бы — за всех адских владык и их детишек...

Если Лжец вновь будет капризничать или донимать свою хозяйку остротами, можно будет оставить его этому забулдыге, подумала Барбаросса не без злорадства. Едва ли он сможет составить серьезную конкуренцию крысовухе из «Двухголовой Козы», но за пару дней его банку, пожалуй, выхлебают до дна...

Представив ужас маринованного сморчка, мечущегося в своей банке пытаюсь избежать вилки в руке пьянчуги, Барбаросса мысленно хихикнула. И лишь через полтора мгновения ощутила волну отвращения, тягучего и затхлого, как ведро помоев, когда поняла, что хоть и на миг, подумала о себе как о его хозяйке. Вот дьявол...

Она всего несколько часов шляется с банкой под мышкой, но связь между ними, невидимая как тончайшая пряжа, должно быть укрепляется и растет. И это чертовски паскудно. В ее положении лучше бы избегать любых связей, особенно таких.

Что дальше, сестрица Барби? Будешь сюсюкаться со своим сморщенным сокровищем в чулане, доверяя ему все свои девичьи секреты? Сплетничать с ним тайком на кухне? Может, будешь учиться целоваться на нем, как некоторые суки учатся целоваться на своих куклах? А что, наверняка чертовски удобно, если, конечно, он не будет запихивать свой едва сформировавшийся липкий язык тебе в рот...

Барбаросса надеялась, что испытанный ею рвотный позыв был достаточно силен, чтобы отпечататься в окружающем ее магическом эфире и быть переданным гомункулу, надежно укрытому под крыльцом.

— Моя такса — один талер, — глухо обронил толстяк, ведя ее за собой, через анфиладу тесных, темных и скверно пахнувших комнат, — Или бутылка шнапса. Хорошего, не картофельного шмурдяка.

— Идет, — быстро сказала Барбаросса.

Она сама не помнила, сколько монет осталось в ее кошельке, но сейчас это было последнее, о чем стоило думать. Если этот грязный выпивоха, которого невесть по какой причине следовало звать Волчьим Князем, в самом деле обладает какими-то познаниями по части адских наук, познаниями, которые помогут ей избавиться от Цинтанаккара, острой щепкой ерзающего внутри...

Она подарит ему все богатства мира. Ну или огреет по голове, схватит в охапку банку с гомункулом и бросится прочь — как подскажет внутренний голос.

— Прошу в мой кабинет. Не наследу. И не используй никаких ведьминских фокусов. Булавки, амулеты, зачарованные камни... Я эти трюки насквозь вижу.

Тесная клеть, дверь которой он услужливо распахнул перед ней, могла претендовать на звание кабинета не более уверенно, чем разваливающийся Малый Замок — на резиденцию саксонского курфюрста. Кабинет! Скажите на милость!..

Барбароссе никогда не приходилось бывать в кабинетах демонологов, но то, что она увидела, наполнило ее душу скверным предчувствием. Грязная комнатенка с одним-единственным окном, ветхим письменным столом да парой колченогих стульев. Какие-то подгнившие половики, выщербленные доски под ногами, разбросанное по углам тряпье... Здесь царил тяжелый застойный дух, какой обычно царит в тесных каморках, почти не проветриваемых и наполненных застоявшимся воздухом, щедро сдобренный ароматами трактира и немытого тела.

Склонности хозяина кабинета не были стыдливо спрятаны и прикрыты драпировками, как в некоторых хороших домах, они были выставлены на всеобщее обозрение. Битая посуда, небрежно брошенная у стены, целые батареи пустых бутылок — и не хороших, прозрачного стекла, а глиняных, издающих знакомый ей серный душок. Не из-под благородного вина, из-под всякой дряни, которую щедро сдабривают белладонной и спорыньей.

Она ожидала увидеть хоть что-нибудь, напоминающее об адских искусствах. Не роскошную библиотеку, понятно, и не сверкающие грозди зачарованных драгоценных камней, свисающих подобно роскошным люстрам. Но, по крайней мере, хотя бы вырезанные на стенах сгилы, сплетающиеся в сложно устроенный узор защитных чар. Или пару-другую амулетов. Черт возьми, хотя бы скверно набитое чучело крокодила!..

Но увидела лишь то, что должна была — жалкую коморку, засыпанную всяким хламом, обильно притрушенным табачным пеплом, с темными от вьевшейся грязи стенами и крохотным окном, мутным до такой степени, что не разглядеть даже звезд.

Черт, подумала она с тихой тоской, горькой как последний вздох утопающего. Этот человек не демонолог. Это было ясно еще на пороге, но она позволила смутным надеждам увлечь себя, не соизволив толком подумать. Здесь, в этой дыре, никогда не жил демонолог, подруга Лжеца что-то напутала, видно, мозгов у нее было как у канарейки. А может, это была шутка — какая-то уморительно смешная гомункульная шутка из числа тех, которыми раздувшиеся коротышки, булькающие от смеха, обмениваются друг с другом, когда хозяин тушит свет в лавке...

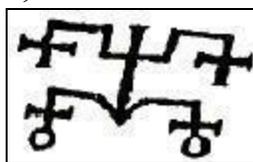
Ни один уважающий себя человек, посвященный хотя бы в азы своей профессии, не стал бы обитать в грязной смердящей дыре на окраине Нижнего Миттельштадта. Один только царящий здесь смрад оскорбит и отпугнет адских владык, которых принято встречать запахами благовоний и блеском начищенной стали. Ни один демонолог не стал бы пускать на свой порог ведьму среди ночи. Ни один демонолог...

Довольно. Этот тип никакой не демонолог.

Просто мелкий мошенник, побирающийся среди такой же опустившейся публики, показывая им немудреные фокусы под видом адских энергий. Гаснущие сами собой свечи, парящие ножи, чтение мыслей, прочие трюки из бесхитростного ярмарочного арсенала. Неудивительно, что он просит лишь талер и готов довольствоваться бутылкой шнапса — едва ли он в силах предложить достойное представление человеку, видевшего, как горит Магдебург...

Спокойно, Барби, приказала она сама себе, ощущая желание выскочить прочь из этой тесной, пропахшей всякой дрянью, каморки. Этот тип может быть опустившимся пьянчугой, но как знать, может он в самом деле кое-что знает по части адских наук? Он может быть подмастерьем какого-нибудь броккенбургского чернокнижника, который двадцать лет резал для своего хозяина глотки жертвенных куриц и так преисполнился гордостью за свое ремесло, что открыл свою собственную подпольную практику. Или студентом-недоучкой, который бросил постигать адские науки, сообразив, что куда больше ему нравится тискать за задницы других школяров.

Глупо, подумала Барбаросса. Глупо, но возможно.



В Броккенбурге обитает несколько десятков хитрожопых ублюдков, именующих себя демонологами только из-за того, что в юности прочитали «Красную Кожу[11]», мало того, не в подлиннике, а в дрянном греческом переводе, полнящемся ошибками. Всех их сил обыкновенно хватает разве что на то, чтобы вытащить из Преисподней какую-нибудь жалкую адскую тварь сродни фруктовой мошке, зато апломба столько, будто их рукоположил сам Дом Кальме[12]. Такие обычно щеголяют мантиями, расшитыми несуществующими символами адских наречий, заводят роскошный, шитый звездами, колпак, и берут не меньше чем по гильдену за визит. Никчемное племя самозванцев и мошенников.

Редкие из них знают — для того, чтобы заниматься этим ремеслом, мало той толики таланта, что была дана им при рождении, мало вдохновения и прилежания, мало обычного упорства — требуется обладать и немалым запасом удачи.

Жалкие шарлатаны, мнящие себя демонологами, они зачастую не в силах понять основополагающего правила Ада, близким знакомством с которым хвастают. Ад никому не разрешает пользоваться его сокровищами безвозмездно. И неважно, что ты хочешь умыкнуть, хлебную корку или мешок золота, в глазах адских владык это не имеет значения. Если ты дерзнул включиться в игру, которую мир ведет миллионы лет по их правилам, если хотя бы единожды вторгся в их сферы, проявил любопытство к Аду, будь готов к тому, что Ад неизбежно проявит любопытство к тебе. И лучше бы тебе к той поре начертить вокруг себя побольше защитных пентаграмм...

Адским владыкам нет дела до того, как ты используешь крохи адских энергий, как распоряжаешься украденным. Даешь ты представления посреди площади в ярмарочный день, озаряя воздух снопами адского пламени, или развлекаешь собутыльников в трактире, заставляя хлебный мякиш парить над столом. Расплата будет одна.

Интересно, этот тип, от которого за клафтер несет дешевым пойлом, знает о судьбе Магистра Зона?

Магистр Зон был одним из самозванных демонологов Броккенбурга и, верно, не самым худшим из них. Подвизавшийся на карточных фокусах и дешевых ярмарочных

представлениях, он со временем завел дружбу с какими-то мутными чернокожишками из Роттердама, которые, должно быть, научили его азам своего искусства. Может, за плату, а может из простого интереса — понаблюдать, что случится с самоуверенным наглецом, сунувшимся в чертоги, в которых человеку запрещено находиться.

Магистр Зон — в миру-то его звали Каспар — обладал не только запредельной наглостью, но и малой искрой адского пламени, искрой, которую адские владыки иногда помещают в грудь человека. Он прочел пару купленных за бесценок в Руммельтауне брошюр, годных лишь на растопку, но которые продавцы именовали не иначе чем утраченными трудами Канселье[13].

Как гласит старая саксонская поговорка, пылинка, оседлавшая бурю, может сломить замок. Магистр Зон и был такой пылинкой. Полный профан во всем, что касается адских наук, неопит, не сознающий даже, с какими силами уселся играть в кости, он оказался столь противоестественно удачлив, что в короткий срок сделался едва ли не самым высокооплачиваемым демонологом Броккенбурга. Он возвращал увечным здоровье, превращал чугунную окалину в чистейшее белое золото, вызволял из лап шторма купеческие корабли, наделял новорожденных талантами — словом, делал все то, за что демонолог обычно получает щедрую плату. При том, что демонологом не был, всего лишь зарвавшимся наглецом, паяцем, который в интермедии между сценами озорства ради нацепил на себя королевскую корону.

Может, его хранил запас удачи, данный ему при рождении. А может, адские владыки попросту забавлялись с ним, как земные владыки некогда забавлялись с Санчо Пансой, позволяя тому считать себя губернатором и вершить важные дела. В какой-то момент они, должно быть, наигрались с ним.

В один прекрасный день в резиденцию Магистра Зона — к тому моменту он уже владел скромным вальсерхаузом[14] в Оберштадте, скромность которого обходилась в какую-то умопомрачительную сумму — явились посетители, при виде которых отставные мушкетеры, караулившие дом, разбежались без всякой команды, побросав свое оружие. И это была не любящая вдова, просящая вернуть к жизни своего мужа, не негоциант, просящий защиты для груза, не повеса, желающий найти новые способы увеселить душу... Это были две дюжины собранных молчаливых господ в изящных камзолах желтого бархата, к которым крепились цинковые броши в виде дубовых листков. Во внешности неожиданных гостей не было ничего необычно, если не считать того, что из камзолов, окруженные пышными галстуками-жабо, торчали не человеческие головы, а огромные мушиные, с выпуклыми фасеточными глазами, присыпанные пудрой.

Секретарь Магистра Зона оказался смелее незадачливых мушкетеров — он осмелился задержать гостей, чтобы спросить их о цели визита — но не удачливее. От одного только взгляда гостей он обмер, вскрикнул, и превратился в облако сладкой ваты, усеявшей приемную. Никем не сдерживаемые, гости спокойно прошествовали в кабинет самозваного демонолога и там... Что происходило там, никому доподлинно неизвестно, даже «Камарилье Проклятой», коллекционирующей слухи точно вина. Говорили, из кабинета Магистра Зона следующие несколько часов раздавались истошные крики. Но говорили также и то, что ровным счетом ничего оттуда не раздавалось, а раздавалась одна только тишина, но такая неестественная, что выли окрестные собаки.

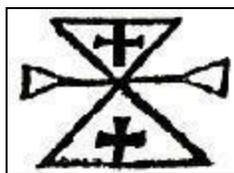
Известно лишь то небольшое, что рассказал на следующий день клерк из городского магистрата, присутствовавший при вскрытии дверей. Хозяина кабинета в вальсерхаузе не

оказалось, его вообще нигде не оказалось, должно быть, всемогущий демонолог Магистр Зон, обласканный вниманием Ада, счел за лучшее покинуть Броккенбург и, верно, слишком спешил, чтобы сделать это публично. Впрочем... В кабинете Магистра Зона не обнаружилось самого магистра, зато обнаружилось кое-что другое — превосходным образом выполненная репродукция статуи «Похищения Прозерпины». Несмотря на то, что в обеих статуях было не больше трех фусов[15] роста, сработаны они были так, что могли бы опозорить самого Джованни Бернини, изваявшим оригинал. Человеческие пропорции были соблюдены так дотошно, что ни одна складка на коже не казалась противоестественной или лишней, лица выполнены так вдохновенно, что даже жутковато смотреть — торжествующий оскал всемогущего Плутона, испуганно распахнутые глаза Прозерпины[16]... Но едва только кто-то из присутствующих машинально прикоснулся к статуе, та вдруг издала нечеловеческий крик боли и затрепетала. И только тогда сделалось ясно, что материалом для совершенного изваяния послужил не грютенский розовый мрамор и не драгоценный ааленский доломит, а человеческая плоть.

Что случилось со статуей, доподлинно неизвестно.

Одни утверждали, что она очень быстро начала тухнуть и разлагаться, так что магистрату во избежание нашествия фунгов пришлось закопать ее за городом. Другие твердили, что статуя сохранилась в превосходном виде и целый месяц стояла в доме у господина бургомистра Тоттерфиша, пока тот не продал ее за умопомрачительную сумму в три тысячи гульденов какому-то заезжему флорентийскому негоцианту...

Плевать. Магистр Зон, может, и был самозванцем, но он был блестящим самозванцем, лучшим в своем роде, нахватавшимся каких-то крох и не чуждого адским наукам. Этот увалень, от которого за клафтер разит трактирным зельем, под ветхими обносками которого угадывается налитое брюхо, не способен и на толковый карточный фокус. Вершина его познаний в адских науках — умение двигать корки на трактирном столе, восхищая приятелей, таких же пропойц...



— Добро пожаловать, — пробормотал хозяин. Громоздкий, тучный, клонимый к земле вздувшимся под лохмотьями животом, он должен был ощущать себя в своем крохотном кабинете чертовски стесненно, но двигался свободно, точно матрос по тесной каюте, — Диванов и соф не держим, сладких вин не имеем, но за знакомство можем и хлебнуть. Промочишь глотку, ведьма?

Неожиданно проворно наклонившись, он достал из-под стола не бутылку, как ожидала Барбаросса, а булькающий мех, воняющий гнилой кожей и выглядящий как скверно законсервированный желудок из университетского анатомического театра. Барбароссу едва не скрутило от одного только запаха. Черт побери, на первом круге она сама лакала отнюдь не мозельское вино, бывало, приходилось пить такую дрянь, что волосы дыбом вставали, но это... Она охотнее выпила бы воды из лужи, чем содержимое меха.

— Нет. Благодарю.

Демонолог, как и подобает радушному хозяину, не настаивал. Откупорив пробку зубами, он запрокинул булькающий мех над головой и несколько раз звучно глотнул, окатив Барбароссу едким запахом пшеничной браги. Омерзительное пойло, которым можно было

бы отпугивать демонов на сто мейле в округе, жаль только, не очень действенное против Цинтанаккара...

Да он и не позволит мне, безрадостно подумала Барбаросса. Стоит мне взять стакан в руку, как он вновь запечатывает мне глотку, не дав даже открыть рот. Черт, а пить-то и верно хочется...

— Это ведь был гомункул, да? Та штука, что ты держала в руках, стоя перед дверью? Барбаросса вздрогнула.

Ошибка, сестрица Барби. Ты сделала первую ошибку еще до того, как приняла его приглашение. Ты приняла этого человека за опустившегося тучного пьянчугу, потому что твои глаза подсказывали тебе это. И, кажется, чертовски промахнулась мимо истины.

Он никак не мог этого увидеть. Даже обладай он зрением стократно более острым, чем Ад обычно дарует человеку, он нипочем не смог бы разглядеть кроху-гомункула в банке у нее на руках, тем более, с расстояние в несколько клафтеров, через толстое, едва прозрачное, оконное стекло, да еще и в ночи. Значит...

— Почувствовал, — пробормотал хозяин, поглаживая затылок, всклокоченный, покрытый грязной сединой, — Славные малыши эти гомункулы. Смышленные и послушные. Лучшего помощника демонологу и не надо. Когда-то у меня был гомункул.

— Да ну? — невольно вырвалось у Барбароссы.

Даже самый тщедушный и увечный из гомункулов, что продавался в Эйзенкрейсе, потянул бы втрое больше всей здешней обстановки вместе взятой. Да и представить его здесь было нелепо.

Демонолог вновь кивнул.

— Да. Девочка. Ласковая как мышка и умная необычайно. Настоящая чертовка. Помнила четырехста с лишним имен и печатей адских владык, знала наизусть весь «Малый ключ царя Соломона», могла читать «Сокровенные культы» барона фон Юнца с любого места... Лучшего ассистента я не мог и желать. А потом...

— Что с ней случилось? — неохотно спросила Барбаросса, озираясь, — Сожрали крысы?

Крыс здесь не было, но их дух она ощущала совершенно отчетливо, он вплетался в прочие царящие здесь ароматы подобно тому, как отдельные линии вплетаются в вензель.

Самозванный демонолог удрученно покачал головой.

— Продал, — буркнул он, — В позапрошлом году. За пять талеров. Продал, а потом расплакался, впервые в жизни. Рыдал так, как не рыдал даже когда закладывал фамильные пистолеты, серебряные шпоры и перстень с изумрудом. Впрочем, что тебе, ведьме, знать о слезах... Так мне горько было расставаться с моей девочкой.

Барбаросса едва не фыркнула. Этот тип в обносках, угрожавший угостить ее карточью на пороге, не походил на человека, хотя бы раз в жизни видевшего перстень с изумрудом, однако...

Возможно, не так уж он и прост, этот пьянчужка, подумала Барбаросса, надеясь, что хозяин не предложит ей сесть. Он пьян как сапожник, но держится как-то очень уж легко. Не как на балу у герцогини, конечно, но с некоторыми претензиями на манеры, которых отродясь не знали в предгорьях Броккена. «Могу я взглянуть?» Черт, он и двигается, пожалуй, как-то слишком уж гладко, как для старого пропойцы. Будто бы из его сутулой оплывшей фигуры с пузырящимся животом, не до конца выветрилось некоторое достоинство. А еще эта его хламида...

В ветхих лохмотьях, трещащих при каждом движении, выцветших и засаленных,

Барбаросса не без изумления узнала бархатный халат с кистями. Кистей он, положим, давно лишился, как лишился вышивки, тончайшие некогда кружева превратились в клочья бесцветной паутины, однако...

Халат — херня, подумала Барбаросса, не зная, как заговорить. Нашел, небось, в какой-нибудь канаве, да и нацепил. И перстень с изумрудом — тоже вздор. Но вот на гомункула он посмотрел как-то и впрямь с интересом. Как будто в самом деле видел таких раньше или имел с ними дело.

Латунный Волк. Во имя всех шлюх Ада, что это должно означать? Его прозвище? Титул? Какая-то сложная метафора, не переводимая на язык смертных? Что-то еще? Сообщив ей секретные слова, Лжец не удосужился объяснить их смысл, а она и не спрашивала — мысли были заняты совсем другими вещами.

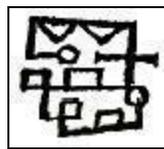
Это могло означать его степень посвящения в каком-нибудь тайном демонологическом кружке. Или то, что он, выпив, любит посещать бордели, нацепив на себя дюжину латунных брошек, и по-волчьи подвывая во время спаривания. Это Броккенбург, подумала Барбаросса, город, в котором самые разные слова зачастую тянут за собой самый разный смысл, и надо быть трижды выебанным мудрецом, чтобы...

— Где?

Барбаросса вскинула голову, не без труда выдержав тяжелый взгляд широко расставленных глаз. Мутные, пронизанные красными прожилками, они взирали на нее так, будто она сама была гомункулом — крошечным существом, скорчившимся в банке.

— Что — где?

— Где ты подхватила своего демона, ведьма?



Кажется, она растерялась. Не была готова к такому резкому переходу.

— Черт! Это что, важно?

— Ты ведьма или гризетка[17]? — резко спросил он, сверля ее взглядом, — Если гризетка, шелкай себе орешки, дыши в кружевной платочек и не лезь в адские науки. А если ведьма, сама должна соображать, что тут все важно. Какой круг?

Каждый приступ гнева заставлял его одутловатое лицо краснеть, а тучный живот ходить ходуном, отчего несчастный халат, давно сделавшийся ветошью, опасно потрескивал. Странно еще, отчего телеса этого недоумка еще не вырвались на свободу — судя по тому, как тяжело ворочался живот, ему порядком надоело сидеть взаперти и он ждал лишь удобного случая, чтобы вырваться на свободу.

— Третий, — сквозь зубы ответила Барбаросса, хоть ее и подмывало ответить иначе, по-грубому.

— Третий... — проворчал хозяин, отворачиваясь, — Ну конечно, как же иначе. Самый скверный, самый опасный круг.

— Да ну?

Ей хотелось произнести это насмешливо, но в глотке, должно быть, порядком пересохло, голос дрогнул.

— Принято считать, что самый опасный круг обучения — первый. Очень уж много вашего брата отправляется в Ад на первом году обучения. Но это больше от неопытности, от непривычности, — демонолог поскреб пальцем подбородок, — На первом круге обычно

гибнут пустоголовые барышни, путающие, в какую сторону чертится Резисторовая руна или забывающие включить в узор Варикондовый узел. Проще говоря, самые большие тупицы. Такие даже если в кухарки пойдут, долго не протянут — непременно обварят себя кипятком или от печи угорят или укуса случайно выпьют...

Он переменялся, подумала Барбаросса, наблюдая за хозяином, пока тот неуклюже хлопотал, смахивая рукой сор со столов и отодвигая в угол узлы с тряпьем, чтобы освободить пространство посреди комнаты. Переменялся, едва только услышал секретное слово и распахнул перед ней дверь, но переменялся так, что сразу даже и не скажешь, в чем. Он все еще сопел, с трудом перемещая в тесных закоулках своего кабинета распухшее, облаченное в рубище, тело. Все еще поглядывал на нее с явственным раздражением, как поглядывают на незваных, ничего кроме хлопот не несущих, гостей. И в то же время...

Может, он в самом деле чего и соображает, подумала Барбаросса, не отводя от него взгляда. Конечно, никаким демонологом он не был, смешно и думать, но, может, подмастерьем или слугой... В мире много адских дверей, а где нет дверей, там есть щели и трещины, через которые силы Ада проникают вовнутрь. Иди знай, где он успел нахвататься премудростей, но говорит как будто гладко...

— Третий круг — как раз самый опасный, — пробормотал хозяин, не замечая, что его разглядывают, — На третьем-то круге ваши куколки и мрут как мухи по осени. Освоились уже немного, руку набили, книжонок всяких начитались, сам Сатана не брат... Лезете сломя голову напрямик в адские бездны, защиту наводить толком не умеете, торговаться не обучены, зато самомнения — как у архивладык! Тут-то вас любезные господа из адских царств и хватают. На взлете, как горлиц, только шейки и трещат, только пух и летит... Знаешь, как зовут самого опасного демона из всех существующих?

Барбаросса на миг растерялась. Гримуары и инкунабулы, которые она штудировала под руководством Котейшества, пестрели именами самых разных демонов, в одном только «Малом ключе Соломона» их числилось семьдесят два. Некоторые из них имели немалый чин в аду, им было пожаловано право находиться при дворе архивладык, вести в бой их адские легионы. Другие же обитали в тех частях Ада, которые считались смертельно опасными джунглями даже по тамошним меркам, зачастую даже их имена обладали такой силой, что можно было ненароком ослепнуть, едва лишь прочитав их, или повредиться рассудком, превратившись в пускающего слюни идиота с выжженным черепом.

Но самый сильный демон из ныне живущих? Черт, он что, проверяет ее?

Маркиз Аамон, подумала она. Похожий на человека с головой ворона и с собачьими зубами, облаченный в доспех из обожженной кости с гравировкой из иридия, он ведет в бой сорок легионов демонов, сокрушая адские крепости на своем пути. Чудовищные осадные машины, которыми он командует, походят на исполинские механизмы из скрежещущего металла, внутри которых режут на сорок тысяч голосов заключенные младшие демоны. Там, где проходят армии маркиза Аамона, огонь превращается в плазму, проедающую мироздание по всем его сложно устроенным швам, и даже само время сжимается, пожираемое и перекраиваемое ими...

А может, он имеет в виду губернатора Фораса? Губернатор Форас не воитель, он зодчий и философ, но по части адских сил может посоперничать со многими. Его адский дворец — исполинский гексаконтитетрапетон[18], для вычисления размеров которого не существует цифр и понятий ни в одной известной человеку системе, и который живет во все стороны времени одновременно. Говорят, это еще не самое страшное, потому что его внутренние

покои устроены таким образом, что сам Людвиг ван ден Роэ[19], когда ему позволено было заглянуть через крохотное окошко, мгновенно сошел с ума, залаял по-собачьи и тут же, не сходя с места, вспорол себе живот собственной шпагой.

Черт, обитатели ада, близкие к архивладыкам, обычно достаточно умны, чтобы не ввязываться в дуэли друг с другом, слишком хорошо понимают силы тех энергий, которыми управляют. Иди знай, кого из них считать самым опасным и по каким меркам судить. С таким же успехом платяная вошь, преисполнившись гордости, может измерять ниткой альпийские вершины...

Граф Бифронс владеет такими познаниями во всех точных науках, что воспринял спор между Ньютоном и Лейбницем о дифференциальном исчислении как личное оскорбление, явившись к ним в облаке огня и затравив их обоих адскими псами. Герцог Гремори, ведающий вопросами любви и часто являющийся в облике прекрасной девы, как-то раз объявился в крепости Везенштайн, соблазнив ее коменданта и гарнизон из восьмисот человек до такой степени, что все они погибли от изнеможения в двухнедельной непрекращающейся оргии, не в силах выпить даже стакан воды. Принц Сиире так легко покоряет материю, что однажды превратил досаждавшего ему демонолога в луч света, обреченный бесконечно скользить в межзвездной пустоте...

— Самоуверенность.

— Что?

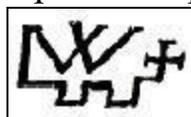
— Самоуверенность, — толстяк остановился посреди кабинета, глядя на нее своими мутными немного раскосыми глазами, — Так зовут самого опасного из демонов, погубившего тысячи твоих сестер. Это очень старый демон, ведьма, древний как само время, но все мы под ним ходим. Он могущественнее всех демонов Ада вместе взятых, могущественнее Белиала, Белета, Столаса и Гаапа, могущественнее семидесяти двух меньших владык и всего сонма тварей, что шныряют у них под ногами. Он искушает самых стойких из нас, обольщает самых дисциплинированных, подзуживает самых рассудительных. От него нет спасения, нет амулетов, нет защиты, потому что каждая кроха победы, что мы добываем трудом многолетних усилий на этом поприще, лишь подпитывает его силы, заставляя расти внутри нас, набирать власть. Рано или поздно он, вызревая внутри нас, становится достаточно могущественным, чтобы погубить своего хозяина...

— Ты будешь болтать или работать? — резко спросила Барбаросса, — Потому что то, что я услышала от тебя, пока что не стоит и крейцера!

Если этому болтуну и суждено носить княжеский титул, то разве что князя вшей. Достаточно ей и того, что пришлось выслушивать лекции безумного вельзера, если еще и этот примется испытывать ее терпение...

Хозяин вздохнул.

— Чертовы кофейные саксонцы[20], - пробормотал он, возводя глаза к потолку, — Все нетерпеливые, будто черти с обожженными хвостами. Иногда я удивляюсь, отчего адские владыки еще не сожрали вас всех, точно горсть конфет... Садись!



Барбаросса неохотно опустила на стул, выбрав самый надежный. Благодарение плотным шерстяным бриджам, ее заднице не досталось заноз, но спинка самым неприятным образом врезалась между лопаток.

— Я еще раз спрошу — где? Где ты подцепила своего беспокойного жильца?

В одном прелестном доме в Верхнем Миттельштадте, подумала Барбаросса, ерзая на стуле, на Репейниковой улице. Я просто шла мимо, а дверь была открыта, и мне показалось, что пламя в камине вот-вот выскочит наружу, вот я и...

Брось, Барби, не истощай свое и без того скудное воображение. Каким изобретательным ни было бы твое вранье, этому опустившемуся толстяку в обносках наверняка решительно все равно, где ты обзавелась компаньоном. Хоть бы и на мусорной куче, сношаясь с последним обитателем Круппельзона...

— А что, есть разница? — грубовато спросила она.

— Само собой, есть, — пробормотал хозяин, распахивая какой-то сундук, больше напоминающий полусгнивший гроб, пролежавший до черта лет в земле, — И немалая. Каждая рыба тянется к той воде, где ей приятнее и привычнее. Сом любит стоячую, илистую, карп — где почище, посветлее... Ровно таким же образом обстоит и у демонических тварей, представь себе. Проще всего, конечно, с трактирным сбродом...

— Трактирным?..

— Демоническая публика, что обжилась в трактирах, — спокойно пояснил тот, — Обычно они резвятся по углам, забавляясь тем, что плюют посетителям в вино, опрокидывают солонки, насылают жажду... Мелкие шкодливые духи, которым не сидится в адских чертогах. Публика шаловливая, дерзкая, но не очень опасная, им бы больше пошалить, покуражиться. Но могут и в горло проскочить, если расшались. С кусочком ветчины ли, с маслиной... Как всадник на коне. У них это даже за удачу считается. А человеку-то что, он челюстями клацнет и не заметит, ему это что тебе маковое зерно проглотить. Ну а потом, конечно, начинается. Изжога, несварение, колики... Тут уж каждый бесенок на свой лад старается. Чтоб самому развлечься и других перещеголять. Целая свора таких проказников заседала когда-то в трактире «Баранья голова», что на дороге из Хайерсдорфа в Ремзе. Сделалась тамошней знаменитостью, ее даже прозвали *Zahnbrecher aus Zwiskaui* — «Зубодеры[21] из Цвиккау».

— Почему «зубодеры»? — машинально спросила Барбаросса.

— Они крали у посетителей зубы, — спокойно пояснил хозяин, — Да так ловко, что те обычно и не замечали, пока не дойдут до десерта. Ну и ловко же у них это получалось — раз! раз! — как семечки из подсолнуха. А внутрь они попадали на кноделях[22]. Забирались в дырки в тесте, да так и проскакивали внутрь, точно в дорожной карете. А там уже и за дело принимались. Свистнуть не успеешь, как ни одного зуба во рту не останется. Иногда они, шутки ради, вместо зубов цукаты втыкали, тоже забавно выходило...

— Зачем им зубы?

— Да ни за чем! — отозвался демонолог с некоторой досадой, — Что конфетные фантики для ребятни. Они их потом в пиво зазевавшимся кучерам бросали, проказники этакие...

Смешно, подумала Барбаросса, ощупывая языком зияющие провалы между собственными зубами, но, сдается мне, монсеньор Цинтанаккар обучил бы этих шутников куда более забавным трюкам...

— Да-с, такими они были, «Зубодеры из Цвиккау». Шутники, но безобидные. Впрочем, если бывали не в духе, могли и чего серьезнее учудить. Кишки узлом завязать, например. Или превратить твою печенку в живую жабу. Одного барышника прямо за десертом удар хватил, да такой, что он как подкошенный на стол рухнул, глаза вылетели что пробки, а из

глазниц жидкость белая мозговая потекла. Паника, понятно, в трактире знатная поднялась... Потом, правда, оказалось, что никакие это не мозги, а миндальное бламанже. То ли шуточка вышла из-под контроля, то ли едок этот чересчур часто корил повара, разгневав постоянных посетителей...

— И никто не мог с ними совладать? — недоверчиво уточнила Барбаросса.

— Никто и не пытался. Зачем? Те, кто был в курсе про их проделки, просто не заказывал кнодели в «Бараньей голове». А кто не знал, тот публику за свой счет развлекал. Даже состязание такое было между молодыми удалцами из Хайерсдорфа и Ремзе — кто сможет в «Бараньей голове» отобедать и зубов не лишиться. Правда, долго проказничать «Зубодерам» не довелось, в семьдесят восьмом прикрыли их лавочку...

— Ты, что ль, прикрыл?

Самозванный демонолог усмехнулся, звеня сундуком, в который залез едва не на половину.

— Мне-то зачем? Эти баловники давали мне пятнадцать гульденов месячного дохода. Нет, прикрыл его господин Мюллер, лейпцигский бургомистр[23]. Как-то по весне вздумал он на юг со свитой двинуться, ну и остановился на свою беду в «Бараньей голове». Видно, не знал, какие шутники там столоваются. Известно, большие господа слухам уши не отворяют, брезгуют... Вот тут-то господин Мюллер и попался. Точнее, не он, а его секретарь. Прежде чем кто-то успел рот открыть, цапнул он кнодель со сливовым повидлом да половину сразу и откусил. Под вечер меня к этому секретарю вызвали — захворал он и там же, в «Бараньей голове», слег. Демоны, что до секретарского мяса дорвались, прямо какую-то вакханалию устроили. Ох и крутило его — будто сорок лихорадок одновременно беднягу терзали... Представь себе, восемнадцать шутников его изнутри грызло, восемнадцать бестий. Только поздноато меня вызвали... К тому моменту «Зубодеры из Цвиккау» вставили ему в потроха, верно, всю свою недельную добычу — зубов триста или около того. Инкрустировали в кости, в легкие, в позвоночник, да так ловко, будто те там и росли. Неважная шуточка, словом, получилась. Секретарь, полупарализованный и ослепший, получил от господина Мюллера почетную отставку и пенсию триста гульденов в год, а «Баранья голова» — порцию масла и пару факелов. Люди бургомистра спалили ее до основания, в головешки, а на головешках испекли хозяина — с розмарином, тмином и лавровым листом. Тоже вроде как пошутили. С тех пор «Зубодеров из Цвиккау» в наших краях не видали. Может, домой вернулись, наигравшись, а может, все еще чудят — иногда с севера как будто бы доходят до меня слухи о подобных случаях...

— Полная херь, — процедила Барбаросса.

К ее удивлению, хозяин лишь кивнул:

— Не нужно быть патентованным демонологом, чтобы справиться с мелким сбродом, хозяйничающим по тавернам, сгодится и любой дурак, у которого в сумке отыщется три головки чеснока, пфениг сырой земли после июньского дождя да пара немудреных амулетов. Но с некоторыми другими, бывает, приходится попотеть.

— С какими, например?

— Всякие бывают...

Инструменты, которые он доставал из сундука, выглядели насмешкой над изящными аккуратными инструментами из шкатулки Котейшества. Грубые, сработанные из лошадиных подков, гвоздей, столовых приборов, каких-то подсвечников и дверных цепочек, они в равной степени могли бы служить предметом мальчишечьей гордости и сокровищами из

сорочьего гнезда.

Если бы Барбаросса увидела нечто подобное в руках демонолога, она бы подняла его на смех, невзирая на чины и звания, но этот... Этот держал свои нелепые примитивные инструменты так уверенно, что это странным образом внушало почтение. Так держат на привале свое оружие старые, прожженные многими войнами солдаты, вроде и расслабленно, но так хватко, что даже не разобрать, где заканчивается человеческая рука, а где начинается сталь.

— Те, что живут на болотах, обычно нелюдимы, если и решат пошалить, скорее, затащат тебя в трясины и утопят. Они не большие любители залезать в чужую шкуру, тесно им там и запах наш не по душе... А вот торфяники порой могут и шуткануть. Обычно они забираются внутрь через правое ухо, оттого в Хилле многие родители при рождении заливают детям в правое ухо раскаленную смолу, примета такая. Но если торфяник найдет лазейку...

— Что будет?

Демонолог выругался сквозь зубы, не переставая копать в сундуке. И хоть делал он это почти беззвучно, Барбаросса ощущала себя тоскливо и скверно — точно его пухлые грязные руки копошились в ее собственной душе, бесконечно долго перебирая там что-то, перекладывая, ощупывая...

— Да уж ничего хорошего, поверь на слово. Торфяные демоны большие мастера заморочить своей жертве голову, подчинить ее своей воле. Оказавшись внутри того кувшина, что мы называем головой, они принимаются нашептывать и подсказывать, до тех пор, пока человек не превратится в послушную их командам куклу. Несколько дней они еще пытаются вести себя как обычно, но мал-помалу естество их уступает — не может не уступить. В одну прекрасную ночь они уходят из города. Тихо, ни с кем не прощаясь, одержимые голодом, которого прежде не знали.

— И куда идут? — спросила Барбаросса с нехорошим чувством.

— К ближайшему торфянику, конечно. Там они закапываются в верхние слои и начинают есть.

— Что есть?

— Торф, конечно. Едят так жадно, что в первые же часы обычно ломают челюсти и зубы, но не могут остановиться. Жрут, жрут и жрут... Это наполняет их негой и блаженством, они не чувствуют ни трещащего живота, ни тяжести, ни усталости, ни вкуса. В последние дни своей жизни они могут только есть — и пируют от души, слушая ласковые нашептывания демона. Торф — хорошая штука, но это не самая полезная диета для человеческого тела. Некоторые из них перед смертью распухают так, что весят по двенадцать центнеров[24]. Знаешь, как их называют во Фрисландии?

— Мне похер, как их называют во Фрисландии, — процедила Барбаросса сквозь зубы.

— «Турфваркен», — хозяин коротко хохотнул, — «Торфяная свинья». В сытные годы фрисландцы их не трогают, оставляют вызревать в земле, но когда месторождения торфа истощены, выкапывают. Торф внутри «турфваркенов» наилучшего сорта, сухой, рассыпчатый, горит как порох...

— Слушай, если я сблую прямо на пол, в твоём доме ведь не станет сильно грязнее?

Кажется, ей даже не удалось привлечь его внимания. В эту минуту демонолог пристально изучал дешёвую медную брошь, которую держал в пальцах точно подозрительное насекомое.

— Ещё есть подземные демоны, — обронил он, крутя ее то так, то этак, — Тоже

беспокойный народец. Если их потревожить, скорее всего, разmozжат тебе ноги булыжниками и все, но иногда и на них нападает охота пошалить. Помню, в соляных шахтах Бохни встречался мне один маркшейдер... Он утверждал, будто ничего предосудительного не делал, но у меня есть подозрения, что он пытался забраться в штрек, который был помечен предыдущим демонологом как запретный. Такие штреки иногда используются подземными духами для своих нужд, вторгаться туда определенно не стоит, даже если за твоей душой стоит все воинство Ада... Должно быть, он влез в штрек, служивший для них покоем. Охнуть не успел, как они забрались в него, точно черви в кувшин с молоком.

Барбаросса стиснула зубы, пытаясь устроиться на пыточном кресле хоть с каким-нибудь удобством. Черт. С тем же успехом она могла бы использовать «испанское кресло»[25] из закров инквизиции, которое было в ходу при жизни ее прапрабабки. И хоть сидение пока не было раскалено докрасна, ей уже казалось, что половина демонов Преисподней уже принялись разжигать под ним огонь...

— Представь себе, он минерализовывался на глазах, а проще говоря, каменел. Кожа несчастного на глазах высыхала, бледнела, трескалась — пока не превращалась в прелестный серпентенит вроде того, которым здесь, в Броккенбурге, любят выкладывать отхожие места. За первый же день он окаменел по колено. Жаль, конечно...

— Что? — спросила Барбаросса с недобрим чувством, — Чего жаль?

— Перья истлели, — спокойно сообщил демонолог, выкладывая на стол какой-то неряшливо сработанный амулет, похожий на рукоделие трехлетнего ребенка, — Ах, ты про того бедолагу? У него были хорошие шансы исцелиться, видишь ли, демоны из земной тверди так привычны к твердым породам и холоду, что в человеческом теле надолго не задерживаются. Слишком мягкая, рыхлая и теплая среда для них. Я мог бы изгнать их в считанные минуты, если бы не хозяин. Я говорю не про адского владыку — про хозяина шахты. Я спросил за свои услуги три гульдена — это моя обычная такса на выезде, и отнюдь не высокая. Но этот скопидом отчего-то решил, будто может торговаться со мной — Латунным Волком! — и торговался до тех пор, пока его человек не окаменел до груди. Демонов я, конечно, изгнал, да только толку Бохнийской шахте от такого работника — разве что поставить в штрек вместо атланта — поддерживать свод...

— Это все чертовски мило, — пробормотала Барбаросса, — Но я готова поклясться, что не была на этой неделе в каменоломнях и не ела в трактирах.

— Каменоломни и трактиры — не единственные места, где околачиваются беспокойные шутники из Ада, — наставительно заметил демонолог, перебирая в пальцах узелки на кожаном шнурке, — В публичных домах обычно тоже обитает прорва адских духов. Как в грошовых борделях Унтершгадта, где вместо кровати тебе предложат разве что лежанку из сена, так и в публичных домах Верхнего Миттельшгадта, где за вход могут спросить гульден, а интерьеры изящнее и богаче, чем во многих графских дворцах. Только не подумай, что эти хитрецы одержимы похотью. То, что мы, люди, называем наукой любви, для созданий из Ада — бесхитростная возня двух жуков в песочнице. А вот некоторые жидкости, изливающиеся из нас, они охотно используют — как мы используем овечью шерсть. Я знал одного демона, который использовал смегму, чтобы смазывать себе сапоги...

Барбаросса осклабилась.

— Что, похоже, будто я частый гость в борделях?

Узелки в пальцах демонолога на миг замерли. Зато его глаза, шевельнувшись в глазницах, уставились на нее, прищурились еще больше. Интересные глаза, подумала она.

Нездешние. Прищуренные, лукавые, они напоминали шарики ароматической иудейской смолы, что возжигают в богатых домах.

— Похоже, ты частый гость там, куда тебя не приглашают, ведьма.

Она не вздрогнула, но напряглась на стуле так, что на миг едва не срослась с ним, члены одеревенели.

— Что?

— Ничего, — он резко захлопнул крышку сундука, — Ты знаешь мое прошлое имя, но не подумай, будто я ничего не знаю о ремесле, которым ты промышляешь. Я не вчера родился на свет, мне восемьдесят пять лет. Поверь, по одному твоему стуку я понял, кто ты и чего ищешь.

Барбаросса едва не присвистнула. Этот тип не выглядел пышущим здоровьем, по правде сказать, он выглядел грузной развалиной, но, должно быть, в самом деле умел договориться с адскими сеньорами, если выторговал у них столько лет жизни. Выглядел-то он, самое большее, на полста...

Этот тип не прост, Лжец, подумала она. Твоя подруга была права. Интересно, откуда он взялся в Броккенбурге и почему звался Латунным Волком? Что это вообще должно значить. Лжец?.. Эй, ты! Квашенный артишок! Ты там заснул или просто решил немного расслабиться и подрочить?

Маленький ублюдок не отозвался. И только тогда она вспомнила, что его здесь нет. Стекланная банка с гомункулом лежит в тайнике под крыльцом, среди трухи и всякого мусора. Вот отчего, оказавшись в обители демонолога, она ощущала себя скованно и непривычно. Не из-за окружающей ее трухи — ей приходилось видеть куда более паршивую обстановку — из-за того, что никто не сидел в ее голове. Никто не подслушивал ее мысли, не вставлял язвительных комментариев, не норовил вонзить ядовитую шпильку в уязвимое место...

Черт, если разобраться, он был таким же паразитом, как и Цинтанаккар. Но если Цинтанаккар вгрызся в ее потроха, Лжеца она сама, по доброй воле, вынуждена таскать на своей шее. И досаждал он ей как только может досаждать самый настоящий паразит. Подслушивал ее мысли, вставлял саркастичные комментарии, где ни попадя, изводил ее своими ловкими остротами. Маленькое беспомощное существо, за годы жизни со стариком он превосходно научился использовать чужие слабости. Чертова консервированная бородавка...

Она избавилась на него, однако — странное дело — не испытывала того удовлетворения, которое полагается испытывать человеку, снявшему со своей спины тяжелую ношу. Напротив, она будто бы ощущала пустоту — маленький кусочек сосущей пустоты где-то на окраине души. Такую пустоту ощущаешь, когда заходишь в знакомую комнату и не можешь найти какого-то предмета, который прежде там находился. Предмета, который пусть и не был для тебя особенно важен, все же занимал какой-то объем в окружающем мире, был привычен и знаком...

Когда сегодня в Руммельтауне Котейшество сказала ей, что некоторые суки слишком привязываются к своим гомункулам, она лишь фыркнула. Во имя всех чирьев на заднице адских архивладык, сестрица Барби не относилась к тем сукам, которые могут привязаться к подобной дряни. Она их на дух не выносила, включая несчастного Мухоглота, обреченного прозябать на профессорской кафедре. Одна только мысль, что она может привязаться к гомункулу, показалось ей тогда до смешного нелепой, однако...

Однако выходит, что все-таки привязалась, подумала Барбаросса, ощущая непривычную пустоту под левой подмышкой, пустоту, в которой прежде помещался стеклянный сосуд. И такую же пустоту в мыслях. Не по-настоящему, конечно, не прочными кожаными поводьями, которыми привязывают лошадь к коновязи, скорее, множеством маленьких тоненьких бечевек, сотканных из ее собственных страхов и неизвестности. Теперь понятно, отчего Лжец так легко окопался в ее мыслях, точно мышь в платяном шкафу...

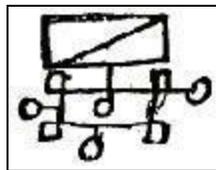
Демонолог смерил ее взглядом — неприязненным и тяжелым.

— Прежде чем ты что-нибудь скажешь, ведьма, учти, мне нет дела до твоих взаимоотношений с Адским Престолом, как нет дела и до того, при каких обстоятельствах ты обзавелась жильцом. Если он там, я вытащу его, а ты мне заплатишь, вот и все.

Барбаросса стиснула зубы, машинально пытаясь устроиться поудобнее на стуле, больше напоминавшем пыточное орудие, находящееся на содержании ленивого, равнодушного к своим обязанностям, палача.

— Начинаем, — сухо произнесла она.

— Начнем как только я промочу горло. Чертовски душный вечер послали нам сегодня адские владыки...



Он утолял жажду добрую минуту. Несчастный мех лишь жалобно булькал в его руках, немилосердно сжимаемый, быстро теряющий влагу. Нелепый фокус адских владык — будто человек осушал огромного, съеживающегося на глазах, комара с раздувшимся брюхом...

Чертов пропойца, подумала Барбаросса тоскливо, он и без того едва держится на ногах, пальцы дрожат, а глаза теряют осмысленное выражение, точно высыхающие лужи на мостовой. Если переусердствует, чего доброго, свалится без ног, не успев начать работу.

Она даже не сразу заметила, что работа эта уже началась.

Но заметила, что заноза Цинтанаккара, сидящая где-то под селезенкой, как будто бы немного съежилась в размерах. И это показалось ей добрым знаком.

— Сиди и молчи, ведьма, — приказал хозяин, отдуваясь. Он и в самом деле немного пошатывался, шурился, с трудом фокусировал взгляд, но стоило ему взяться за свои неказистые инструменты, как хмель, медленно забирающий его, будто бы утратил силу, — Не упоминай мысленно имен адских владык, не молись, не думай. Когда трубочист принимается чистить трубу, поверь, меньше всего ему нужно, чтобы дом ему при этом помогал...

Он взял амулет из перьев, из которого разве что вши не сыпались, и медленно провел им вокруг головы Барбароссы, пристально вглядываясь невесть во что. Выглядел он в этот момент сосредоточенным, точно хирург, даже пальцы как будто бы перестали дрожать.

Сейчас он найдет затаившегося в ее кишках Цинтанаккара и... Барбаросса на миг представила короткий негромкий хлопок, который обычно раздаётся, когда давишь ногтем жирную, насосавшуюся крови, пиявку. И пусть этот звук был порожден ее воображением, он оказался так сладок, что на какое-то время она даже перестала дышать, чтобы не мешать работе.

— Хммм, — коротко произнес демонолог, встряхивая перья в пальцах, — Ага...

Барбаросса не знала, что он видит в ее ауре. Не хотела знать. Если этот ублюдок в самом

деле имел когда-то патент демонолога и знает свою работу, лучше бы ему сейчас напрячься так, как не напрягался никогда прежде. Цинтанаккар — это не шкодливый дух из трактира, вполне может быть, что с существами, подобными ему, этому демонологу-недоучки прежде и сталкиваться-то не приходилось...

Что, если Цинтанаккар разорвет его?

Барбаросса вспомнила коробку телевокс-аппарата, рванувшую перед ее лицом, точно пороховая бомба. Горящий дровяной сарай, раздираемый на части, трещащую куклу, тлеющую в углу, обмякшего в своей банке гомункула. Ее собственные пальцы, хрустящие, лопающиеся, ломающие друг друга...

Цинтанаккар — это не котенок. Это чудовище, съезжившееся до размеров наперстка, но не ставшее от этого менее опасным. Это сам Ад во плоти — крохотная, жгущая ее изнутри частичка Ада. Если демонолог разбудит ее ненароком, обрушив на себя ее гнев...

От демонолога разило брагой так, что ей едва не выжигало глаза, его тучное немывтое тело нисколько не маскировало этот запах, напротив, щедро выделяло прочие, благоухающие отнюдь не миррой и сандалом. Еще больше неудобств причинял ей его тучный живот. Похожий на раздувшийся пузырь, он постоянно утыкался в нее то с одной стороны стула, то с другой, заставляя вжиматься в спину до хруста позвонков. Чертов человекоподобный бурдюк на ножках... Мясистый, дряблый, он утыкался в нее всякий раз, когда демонологу приходилось наклоняться над ней, хуже того, по нему ежеминутно проходила короткая злая судорога, отчего он казался Барбароссе не просто сосудом зловонного протухшего жира, а распираемым жизнью пузырем, огромной маткой, готовой выплеснуть наружу свой плод...

Судя по всему, этот пьянчуга страдал отчаянным несварением, и неудивительно — любой живот начнет бунтовать, если вливать в него ведрами пойло, позабыв о насущных потребностях...

Иногда урчание, исходившее от живота, было столь громким, что хозяин, забыв про пасы над головой Барбароссы, вынужден был класть на него руки, бормоча себе под нос:

— Ну тихо ты, тихо... Не мешай... Видишь, работа идет!..

Он вновь брался за какой-то амулет, предназначения которого Барбаросса не знала, и медленно обводил им ее голову, лицо, шею, ключицы...

И если к исходу пятой минуты Барбаросса боялась пошевелиться, вслушиваясь в собственные ощущения, к исходу десятой это уже начало ее утомлять. Только не сведущие в высоких науках недоумки полагают, что ритуалы демонологии вершатся в снопах шипящих искр под грохот адских голосов, но...

— Этот демон... — Барбаросса облизнула губы, ощущая щекотное прикосновение перьев к щеке, — Он опаснее, чем может показаться, он...

— Тихо.

— Но он...

— Молчи, ведьма.

Барбаросса замолчала. Черт, сестрица Барби, может, и считается несдержанной особой, но она не из тех сук, что рвутся учить демонолога как следует делать его работу.

Перья, щекотавшие ей щеку, прошли над ухом и вдруг резко дернулись, так, что сердце Барбароссы вдруг тяжело ухнуло куда-то вниз, точно оброненное в колодец ведро. Сейчас полыхнет огонь, запахнет паленым мясом, затрещат когти...

Демонолог замер с амулетом в руке, на лице его отразилась растерянность, скрывшая на миг разбухшие поры и красные прожилки, растерянность, смешанная с болью.

— Ах ты дьявол... — пробормотал он, страдальчески морщась, — Что такое, милая? Тебе больно? Страшно? Потерпи немного. Сейчас... Сейчас... Не сердись, моя маленькая сейчас все будет в порядке... Старый Вольф поможет тебе...

Да, подумала Барбаросса, не размыкая стиснутых зубов, мне чертовски страшно. Но вздумай еще раз назвать меня милой — и тебе самому придется просить заступничества у адских духов!

Правду говорят, что пойло, бесхитростная жидкость, получаемая перегонкой или брожением, по сложности производства несопоставимая даже с самыми простыми алхимическими веществами, на человеческий разум производит ошеломительное воздействие, иной раз более сложное и непредсказуемое, чем самые хитрые декокты. Оно развязывает языки, смягчает незатянувшиеся порезы, облакает мироздание в приятные глазу краски...

А еще некстати кружит голову, завлекая туда совершенно лишние и никчемные мысли, подумала Барбаросса, напрягаясь на стуле. Этот тип накачивался брагой так основательно, что сам уже походил на бурдюк. Может даже, он выпил достаточно, чтобы я, чего доброго, показалась ему красоткой. Если он только попробует потискать меня за грудь или хотя бы положить руку на плечо...

От одной мысли, что эта груда жира, облаченная в лохмотья, смердящая, как живой труп, может прикоснуться к ней дрожащими липкими пальцами она испытала дурноту, которую не испытывала даже глядя на собственные пальцы, рассыпающиеся по мостовой. Только попробуй прикоснуться ко мне, подумала она, только попробуй, херов ты кудесник, и...

Но он и не думал к ней прикасаться. Лишь измученно улыбнулся, прижав ладони к своему судорожно колышущемуся животу.

— Неудачный вечер для работы... — пробормотал он, едва ворочая языком, — Голову крутит. Кишки стонут. Сейчас. Сейчас станет легче. Есть у меня для этого лекарство...

Отложив свои неказистые инструменты, он вновь взял в руки многострадальный мех. Пил он отрывисто, резко, кадык на жирной шее казался судорожно извивающимся под кожей пауком, то опускающимся вниз, то стремящимся вырваться из глотки. Он уже выпил столько, что человеку обычного веса и комплекции хватило бы чтоб допить до смерти. Однако не только стоял на ногах, но и сохранил дар речи, пусть даже язык его часто осекался...

— Если не выпью, не смогу работать. Ах, дьявол, в иные дни будто бы и спокойно, а в иные так наваливается, что хоть голову себе размозжи... Это все Эбр. Когда Эбр в силу вступает, у меня по всему телу точно гуммозы открываются, и лихорадит отчаянно... Сейчас.

Обычное дело для выпивох. Отец, не опрокинув в себя бутылку дрянного вина, в какой-то момент даже не мог подойти к угольной яме — тяжеленная кочерга, которой он орудовал, дрожала в руках как тростниковая удочка у мальчишки.

Он отложил дрожащей рукой в сторону амулет с перьями, взял со стола три оловянных слитка в форме несимметричных капель и принялся прикладывать их поочередно то к ее вискам, то к затылку. Если Цинтанаккар и ощущал вторжение в свои пределы, то никак этого не выказывал, его острая щепка замерла, никуда не двигаясь, почти не причиняя боли. А ведь прежде сладострастно ерзала, ощущая причиняемые ею мучения, ни минуты не оставалась неподвижной...

Он затаился, вдруг поняла Барбаросса, стараясь не шипеть, когда оловянный слиток,

колючий, почти не отполированный, царапал ей кожу. Спрятался внутри меня, точно зайчонок в норе. Не хочет, чтобы его обнаружили. Бойтся.

— Как давно внутри тебя этот демон?

Барбароссе не потребовалось много времени для ответа. Черт, она и без того ощущала себя часами в человеческой форме, отсчитывающими каждую минуту.

— Четыре с половиной часа.

Демонолог присвистнул. От выпитого щеки его побагровели, дыхание сделалось сиплым, но руки по-прежнему двигались уверенно и размеренно.

— Яйца Вельзевула! Какая точность!

— Четыре с половиной часа, — твердо повторила Барбаросса, — Всего он отвел мне семь.

— До полуночи? Это точно был демон, а не твоя фея-крестная?

— Охерительно смешно.

— И не говори, ведьма... Если сейчас ты писанная красавица, не хотел бы я увидеть тебя после полуночи, когда чары рассеются.

Барбаросса дернулась на стуле, но не вскочила, лишь зашипела сквозь зубы. Если ты думаешь, что в силах уязвить остротой сестрицу Барби после всей той боли, что ей уже довелось за сегодня вынести, ты чертовски большого мнения о себе, господин демонолог из крысиной дыры...

— Это не обычный демон, — произнесла она сквозь зубы, — Он грызет меня изнутри. Отъедает по кусочку.

— Вот как.

— Это не шутка. Посмотри на мои чертовы пальцы. Это он сделал.

Демонолог без всякого интереса скользнул взглядом по ее кулям, лежащим на подлокотниках. Ну конечно, под слоем грязного тряпья, которым она перевязала свои увечные руки, он едва ли мог оценить следы знакомства с Цинтанаккар. Мало ли тупых сук разбивают себе по неопытности кулаки о чужие челюсти и лбы...

— Ну и как зовут твоего демона? — осведомился он с непонятной усмешкой.

— Цинтанаккар.

— Никогда не слышал такого имени.

— Это не здешний демон. Он из Сиам.

— Сиам? Да будет тебе известно, ведьма, Сиам расположен на другой стороне света. Ну и как он прибыл в Броккенбург, скажи на милость? В ящике с фруктами?

— Не думаю.

— Или ты сама слетала в Сиам? Если так, мне стоило взять с тебя побольше, видать, в твоих карманах водится больше, чем жалкий талер...

— Это случилось не вчера... черт! — Барбаросса дернулась, когда оловянный слиток, ползущий по ее лбу, чувствительно задел веко, — Его изловили во время Сиамской войны и...

— Сиамской войны, значит, — демонолог звучно рыгнул, выпустив в затхлый воздух «кабинета» порцию едкого зловония, и взял со стола новый инструмент, похожий на крошечную астролябию, — Прелестно. Не слишком ли ты юна, чтоб принимать в ней участие, ведьма? Сиамская война закончилась в семьдесят пятом, сколько тебе тогда было? Лет пять? Шесть? Черт возьми, наверно непросто было такой малютке управляться со стрелами и с мушкетом!

Дьявол. Пытаясь соединить воедино кусочки своей паршивой истории, Барбаросса ощутила досаду. Если она расскажет про Сиам, придется рассказывать и про старика фон Лееба, а также, верно, про гомункула — иначе каким образом она бы про это узнала? Черт, она никогда не умела складно брехать — как Саркома или Холера. Пытаясь спрятать от прозорливого демонолога одну часть истории, она выпячивала на свет другую, тоже чертовски неприглядную.

Досадно, нет рядом Лжеца. Этот хитрец мог бы шепотом подсказывать ей нужные слова, уж ему-то не занимать ловкости и сообразительности. Он мог бы...

Заткнись, приказала себе Барбаросса. Последний, кто тебе нужен, это твой приятель-гомункул. Он потому и предпочел остаться снаружи, что слишком дорожит своими грязными мыслишками, боится, что те выплывут наружу. Иди знай, что там хранится, какие паскудные секретки и хитрые козни...

— В чьей свите он пребывает?

— Не знаю.

— Он говорит с тобой?

— Иногда, — неохотно отозвалась Барбаросса, — Но я ни хера не понимаю по-сиамски.

— Голова не кружится? Не бывает во рту привкуса жести? Холод не донимает?

— Нет.

— Какие-то странные желанья? Кататься кувирком, есть песок? Расчесывать ногтями кожу?

— Н-нет.

Вопросы следовали один за другим, даром что язык у него уже основательно заплетался. Дурацкие вопросы, на которые она вынуждена была отвечать отрицательно. Нет, Цинтанаккар не вызывает у нее зуда в подмышках. Не насвистывает во время ходьбы. Не пытается затащить в воду...

Этот тип, похоже, ни хрена не знал о привычках и манерах Цинтанаккара. Его вопросы были бессмысленны, как и пассы, которые он делал вокруг ее головы, обходя стул кругом.

— Что ж... — обронил он наконец, остановившись напротив нее и уронив руки на тяжело колышущийся под рваниной живот, — Полагаю, я могу сделать вывод.

— Какой?

Он отряхнул руки. Немного брезгливо, как ей показалось.

— Никакого демона в тебе нет.

[1] (фр. *taffetas changeant*) — ткань, разновидность тафты с переливчатым эффектом

[2] Сестры Кесслер (Близнецы Кесслер) — Элис и Элен Кесслеры (1936) — популярные в Германии и Европе танцовщицы и актрисы.

[3] «Лунное стекло» — метод изготовления оконного стекла из выдутого стеклянного пузыря, распространенный вплоть до XIX-го века благодаря своей дешевизне.

[4] Цыпленок моренго — традиционное французское блюдо, тушеный в вине цыпленок.

[5] Кёльнская вода — распространенное в XVIII веке название для одеколona — именно в Кёльне в 1709-м году Иоган Форина начал изготавливать и продавать «душистую воду».

[6] *Glätzisch, Breslauisch* — восточнонемецкие (силезские) диалекты немецкого языка.

Ostfränkische, sudfränkische — южнонемецкие диалекты,

[7] Марина фон Дитмар (1914–2014) — немецкая киноактрисса, получившая признание в том числе за участие в фильмах нацистской Германии.

[8] Швабское приветствие — принятое в некоторых немецких диалектах иносказание,

эвфемизм, имеющий значение «Leck mich am Arsch» (нем.) — «Лизни меня в зад». Происходит из опубликованной в 1773-м году драмы Гёте «Гёц фон Берлихинген», в которой главный герой, рыцарь Гёц, именно так приветствовал императора. Помимо прочего, демонстрация голого зада в Швабии считалось ритуалом, лишаящим сил ведьм, демонов и злых духов.

[9] Пек — продукт перегонки дёгтя и нефтяной смолы.

[10] Старка — крепкий алкогольный напиток, ржаная водка, настоянная на травах и специях в деревянных бочках из-под вина.

[11] «Красная кожа» (исл. Rauðskinna) — один из двух известных исландских манускриптов, служащий «ключом» для управления магическими силами, датированный примерно XVI-м веком и приписываемый епископу Готтскальку.

[12] Дом Кальме (Огюстин Кальме) (1672–1757) — французский монах и ученый, оккультист, автор «Трактата о явлениях духов».

[13] Эжен Канселье (1899–1982) — французский эзотерик, оккультист и алхимик.

[14] Вальсерхауз — традиционный для альпийских долин деревянный дом в «сельском» стиле.

[15] Здесь: примерно 84 см.

[16] В обликах римских богов Плутона и Прозерпины скульптором изваян классический древнегреческий сюжет о похищении Аидом Персефоны.

[17] Гризетка (от фр. Grisette) — устоявшееся с XVII-го века обозначение для легкомысленных девушек, живущих в городе — швей, продавщиц, пр.

[18] Гексаконтитетрапедон (гексакросс) — геометрическое тело шестимерного пространства, шестимерный политоп.

[19] Людвиг Мис ван ден Роэ (1886–1969) — немецкий архитектор-модернист.

[20] «Кофейные саксонцы» (нем. Kaffeesachse) — распространенное среди немецких земель ироническое название для жителей Саксонии, чья любовь к кофе стала поводом для шуток.

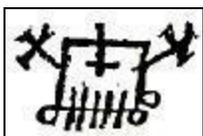
[21] Zahnbrecher — дословно и переводится как «вырыватель зубов». В XVII-м веке так именовались дантисты в Германии, зачастую работавшие не в кабинетах, а на ярмарках и площадях.

[22] Кнодель (кнедлик) — разнообразные по виду и составу отварные изделия из теста или картофеля с добавлением других ингредиентов.

[23] Карл Вильгельм Мюллер (1728–1801) — саксонский юрист и государственный деятель, с 1781-го года неоднократно избирался бургомистром Лейпцига.

[24] Здесь: примерно 600 кг.

[25] Испанское кресло — пыточный инструмент, использовавшийся испанской инквизицией, усеянное шипами подобие трона, к которому приковывался допрашиваемый, кроме того, под ним была расположена жаровня, раскаляющая кресло.



Ветер, скрежещущий снаружи по черепице, вдруг пропал, исчез, проглоченный Эбром. А может, это в мире на миг пропали все звуки, включая гулкие тяжелые удары ее собственного сердца.

Демона нет? Она отчетливо ощущала внутри себя зазубренную щепку Цинтанаккара. Так же отчетливо, как оставленные его невидимыми зубами раны, как...

— Талер можешь оставить на столе, — буркнул демонолог, пытаясь собрать плохо слушающимися руками раскатившиеся по столу инструменты, — Будем считать это платой за ложный вызов — и за мои услуги.

Барбаросса уставилась на него, ощущая себя скудоумной школяркой, впервые увидевшей адскую печать. Привычные вызубренные символы, сплетаясь друг с другом, образовывали непонятные, почти издевательские, смыслы.

— Что значит нет? — глупо спросила она.

Он даже не повернулся в ее сторону.

— А то и значит. Нету. Адские владыки не одарили тебя своим присутствием! Радуйся!

— Но я...

— Что-то чувствуешь?

— Да!

Демонолог вяло махнул рукой.

— Экзальтированные девицы вроде тебя всегда что-то чувствуют. У них без этого нельзя. Но если в тебе что и шевелится, так это кишечные черви, моя дорогая. Ничего другого в тебе не обнаружено. А может, в «Хексенкесселе» хватанула чего недоброго. Не ешь до завтрашнего заката, воду пей, только не дождевую — колодезную — глядишь и отпустит тебя твой демон...

Отвернувшись, он будто бы мгновенно забыл о ней, утратил всякий интерес, как пьянчуга теряет интерес к пустой бутылке, которую сам же и опустошил. Лишившаяся сокрытой внутри тайны, вскрытая, как лягушка на лабораторном столе, она сделалась неинтересна ему, точно превратилась в обыденный предмет обстановки, украшающий его кабинет наравне с разбросанным под ногами мусором.

Кажется, щепка, завязшая в ее мясе, коротко дрогнула, и в этом движении Барбароссе почудилось едва сдерживаемое злорадство. О да, этот кишечный червь припомнит ей все. Поквитается с ней. За то, что подвергла его, монсьёра Цинтанаккара, унижению, за то, что усомнилась в его силе. Уже совсем-совсем скоро...

Обнаружив, что Барбаросса не двигается с места, демонолог нетерпеливо дернул головой.

— Черт, другая на твоём месте только обрадовалась бы! — пробормотал он досадливо, с трудом фокусируя на ней взгляд мутных, как медные площадки, глаз, — Ступай! Чего стоишь? Или заплатить старику Вольфу хочешь сверх оговоренного? Валяй! Иногда, ежели дама попадается симпатичная, я не против, чтобы мне отплатили сверху талера поцелуем, но ты... Уж не обижайся, но лучше я дохлую крысу поцелую. Ступай, говорю!

Ему было плохо, его мучило и, кажется, не только от выпитого. Живот его продолжал болезненно содрогаться, ветхий халат трещал, как тесная перчатка, чувствовалось, что ему не терпится выпроводить ее восвояси.

— Демон есть, — забывшись, она ударила себя в грудь перебинтованной рукой, не ощутив боли, — Он здесь! Я чувствую его!

— А я чувствую усталость, ведьма. Но это не значит, что во мне сидит демон, — пробормотал он, явно через силу. Его дрянной восточный «бреслауш» сделался еще сильнее, поганя половину слов, отчего она с трудом разбирала сказанное, — Я всегда ее чувствую, когда ощущаю, что даром теряю время. Никого в тебе нет.

Он даже не удостоил ее взглядом. Не до того. Его взгляд метался по крошечному кабинету, заваленному всяким хламом, тускнея и угасая, пока не впился наконец в лежащий на полу мех. Демонолог жадно схватил его, но почти тотчас испустил вздох разочарования.

Мех оказался пуст — он сам же опустошил его — и на лице демонолога отразилась гримаса страдания, хорошо знакомая Барбароссе. Такая же гримаса возникала на лице отца, когда он обнаруживал, что запасы зелья подошли к концу.

Однажды он поймал ее, когда она выливали шнапс из бутылки в колодец — и вздул так, что она еще неделю валялась на подворье, как забытый кусок угля, спасибо Аду за то, что младшие оттащили ее в погреб, а еще носили ей воду и сухари. А еще — за то, что под руку ему попала не кочерга, которой он перещиб бы ее точно соплю, а обычное полено...

— Он во мне, мать твою! Скребется, царапается, грызет изнутри!

— Игра воображения, не более того.

— Он раздавил мои пальцы! Он оставил печать! Он...

Барбаросса едва сдержалась, чтобы не сорвать зубами тряпье с искалеченных рук. Ожог, которым наградил ее Цинтанаккар при знакомстве, не разобрать и не продемонстрировать — он сжат в ее раздавленном кулаке, хоть и продолжает жечь...

Она может снять башмак, продемонстрировав ему отсутствующие пальцы на левой ноге, но, по правде сказать, это будет посредственным доказательством — мало ли в Броккенбурге обитает созданий, для которых пальцы ведьмы — изысканный деликатес... И уж точно нелепо показывать ему зазоры в зубах...

— Он внутри меня!

— Ничего там нет, — демонолог вяло махнул рукой по направлению к двери, — Уходи той же дорогой, что пришла и будь добра не навещать меня в будущем. Мне чертовски не хочется, чтобы визитеры такого рода протоптали дорожку к моему крыльцу...

— Ты просто не заметил его! Залил глаза и ни хера не заметил!

Демонолог страдальчески скривился. Кажется, громкие звуки причиняли ему изрядное мучение. А может, мучение причиняло ее, сестрицы Барби, присутствие.

— Мне не нужно видеть демона, ведьма. Я вижу следы, которые он оставляет в человеческом теле. Как следы зверя на снегу. Я знаю тысячи таких следов. Внутри тебя никого нет.

Дьявол. Барбаросса едва не завывала от отчаяния.

Он обманул его. Обманул демонолога. Чувствуя опасность обнаружения, чертов хитрец Цинтанаккар затаился в ее потрохах, точно узкоглазый сиамский воин в джунглях, слившись с окружением, и демонолог не заметил его. Да и понятно, что не заметил — все демоны Преисподней сейчас не занимали его так, как занимала мысль о новой бутылке...

Никчемный опустившийся пьянчуга. Может, он и не был никогда демонологом, а был

лишь камергером при нем или садовником. Насмотрелся немного фокусов и изображает из себя заклинателя, вытягивая последние монеты из такой же нищей публики...

— Слушай, ты, — отчеканила Барбаросса, глядя прямо в мутные глаза, похожие на затухающие угли, — Там, на улице, ждут мои сестры. Их там полдюжины, вся боевая свора нашего ковена. Двух из них ты можешь заметить, если глянешь в то окно. Видишь? Околачиваются через дорогу, с веерами в руках. Достаточно мне свистнуть, они ворвутся внутрь и устроят тебе такое, что сам архивладыка Белиал покачает головой...

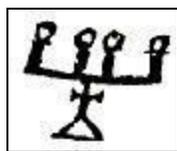
Задумка была ловкой, даже блестящей, из тех, что приходят подобно озарению, внезапно, но демонолог к огорчению Барбароссы даже не взглянул в сторону окна. Вместо этого он вдруг скорчился, прижимая руки к животу, по его изможденному испитому лицу прошла дрожь, оставившая после себя зловещий болезненный багрянец и колючий мелкий пот. Короткие судороги, мучившие его, сотрясали тучное тело почти без перерыва, заставляя его негромко подвывать от боли.

Он болен, подумала Барбаросса, и видно всерьез. Может, пойло — единственное, что позволяет ему притупить боль, но в таких количествах, как он, не пьют даже лошади...

Ноги у него подгибались, руки слепо шарили по кольшущемуся животу, поглаживая его, точно большое страдающее животное, сотрясаемое спазмами, губы с трудом шевелились, выдавливая что-то неразборчивое, бессмысленное, странное — но не на адском языке, а на скверном квакающем силезийском наречии:

— Бедная моя крошка... Ах, потерпи немного, милая, потерпи. Я знаю, больно, я все знаю... Мы сейчас боль прогоним, мы сейчас... Мы...

Он двинулся было к шкафу на противоположной стене, но не совладал со своим большим тучным телом — очередная судорога подломила ногу — точно литым чеканом в бедро клюнула — и демонолог с криком повалился на пол.



Это было жутковато — большой тучный человек катался по полу, подывая от боли, обхватив себя поперек живота, взвизгивая и суча ногами. Это было... знакомо. Как я совсем недавно, мрачно подумала Барбаросса, глядя на него и не зная, что предпринять. Черт, может у него в середине тоже сидит демон, грызущий его изнутри? Младший кузен Цинтанаккара?..

— Эй, ты! — крикнула она, делая осторожный шаг к извивающемуся телу посреди кабинета, под которым уже начали зловеще поскрипывать доски, — Что с тобой? Я могу помочь?

Невовремя ты подумала о милосердии, сестрица Барби, чертовски невовремя. Этот тип не захотел тебе помогать, разве что не плюнул в спину, а ты, стало быть, решила облегчить ему муки?

Она не знала, чей это голос, ее или Лжеца. Но на всякий случай приказала ему заткнуться.

— У тебя есть лекарство? Эй, ты! Лекарство!

Лицо его сделалось багровым, как помидор, распухший язык метался во рту, точно перепуганный розовый моллюск в медленно раздавливаемой раковине, живот ходил ходуном и урчал так громко, что это урчание почти перекрывало треск расползающегося халата. Но все-таки она услышала:

— Шкаф... Сверху... Бутылка...

Барбаросса оказалась у шкафа одним коротким фехтовальным шагом и распахнула его настежь. Она была готова к тому, что на голову ей свалятся залежи ветхих амулетов, истлевших и никчемных инструментов его работы, но, к ее удивлению, шкаф оказался почти пуст, бутылка, стоявшая на полке, была едва ли не единственным предметом в нем.

Высокая узкая бутылка прозрачного стекла, наполненная на две трети тягучей маслянистой жидкостью, совсем не похожая на дешевые глиняные бутылки, в изобилии разбросанные по комнате. Такие прежде она видела разве что в «Хексенкесселе», но мельком — одна только бутылка, удивительно прозрачная и чистая, выдутая из наилучшего стекла, тянула на пару талеров. Должно быть, дорогое пойло, что по карману лишь «бартианткам» да прочим потаскухам, лакающим изысканные вина не глядя на счет...

Этикетка была строгая, бело-красная, красивая, как силезийская девушка в своем выходном воскресном контуше[1], но и зловещая при этом. Она не несла ни демонических печатей, ни привычных ее глазу изображений вроде черного петуха или хохочущего беса, одно лишь название золотистыми витиеватыми буквами. Но хоть буквы эти и были ей знакомы, они отказывались складываться в какое-то осмысленное название — Стол... Столчин... Столча... Столечно?.. — Дьявол, кажется кто-то просто наобум складывал буквы друг с другом точно неумелый демонолог адские сигилы, не понимая смысла и звучания!

Барбаросса зубами сорвала пробку, чтобы понюхать. И ощутила себя так, словно всемогущий архивладыка Белиал, смазав свое копыто воском, саданул ее изо всех сил в лоб, да так, что она пролетела сквозь все девять кругов Ада, несколько раз расплавившись и разлетевшись вдребезги. Из глаз потекли слезы, горячие, как адское варево, легкие заперхали.

Ах, сука... Вот что это за «Столечно» такое, еби тебя в гриву и в душу... Задыхаясь и кашляя, Барбаросса поспешно отставила бутылку подальше от лица. Ей никогда не приходилось пробовать подобной штуки, но некоторые самые отчаянные чертовки пробовали — и чудом не сгорели заживо.

Тотесвассер, мертвая вода.

Его варят подручные архивладыки Гаапа где-то далеко на востоке, в сумеречных краях, где виселиц стоит больше, чем домов, где по улицам бродят мохнатые демоны, рвущие всех встречных на куски, а перед императорским дворцом стоит демоническая пушка такой мощи, что, по легенде, если ей суждено хоть раз пальнуть, мир рассыпется вдребезги.

Эту дрянь, говорят, варят два месяца специальные слепые служки, настаивая на беладоне, спорынье, мышьяке и адской желчи, вливая в равных частях кровь человека, змеи, волка и крокодила, отчего она обретает безумную крепость и способна проесть душу одной капелькой до самого основания. При этом сами отродья Гаапа способны хлестать свое чертово пойло штоффенами — приучены с колыбели — но то и неудивительно, столетия власти архивладыки Гаапа их всех превратили в человекоподобных демонов, навек отравив душу и тело. В Броккенбург это зелье попадает контрабандой, тайно, а стоит столько, что одной бутылкой можно купить себе полгода безбедной жизни.

Барбаросса с грустью взвесила бутылку «Столечно» в руке. В другой день она испытала бы весомый соблазн, но сейчас... Все богатства мира не спасут ее шкуру от Цинтанаккара, как не спасут самые дорогие яства и вина. Стоит ей самой сделать хоть маленький глоточек, тотесвассер вышибет из нее дух, как из кошки, превратив на все оставшееся до смерти время в слабо ворочающуюся галлюцинирующую корягу.

Черт. Отец, верно, продал бы душу за рюмку этого зелья. Свою — и всех своих детей. И если бы для этого потребовалось эти души вытряхнуть, разделав ножом оболочку...

— Держи, — буркнула Барбаросса, протягивая «Столечно» ревущему от боли демонологу, катающемуся по полу, — Уж тебе-то, кажется, не мешает пропустить глоток...

Он быстро сообразил. Вырвал у нее из рук бутылку и сделал такой глоток, что Барбароссе показалось, будто у нее самой ухнуло в ушах — точно из бомбарды садануло. Этот глоток должен был отправить неподготовленного человека напрямую в Ад, но демонолог, верно, не один год травил себя подобными зельями — с шумом выдохнул, давясь маслянистой жидкостью, несколько раз всхлипнул и перестал биться в конвульсиях. Ходящий ходуном живот обмяк, урчание стихло.

— Люциферовы яйца, — выдохнул он, с трудом поднимаясь на ноги, все еще дрожащие, но уже способные выдержать его вес, — Иногда мне кажется, что даже в Аду, где людей рвут крючьями, и то нет такой боли. Бедная моя, милая... Потерпи, потерпи, уже проходит, ведь верно?

Он утешает не меня, вдруг поняла Барбаросса. Он утешает свою собственную боль. Должно быть, так с ней свыкся, будучи заточенным в своем жалком домишке, что она сделалась для него чем-то вроде живого существа. Созданием, запертым в его теле, состоящим только лишь из страдания, муки...

Он молчал несколько секунд, прислушиваясь к чему-то, потом кивнул сам себе и сделал небольшой глоток тотесвассера.

— Благодарить ведьму — что благодарить пожар, — пробормотал он, пытаясь сфокусировать на ней взгляд, — Да и жизни у вас как у комара. Сегодня здесь, звените крыльями, пьете кровь... — он звучно рыгнул, — а завтра — комок плоти, размазанный по земле. Но спасибо тебе.

Барбаросса дернула подбородком.

— Засунь благодарности в свою дряблую жопу. Я хочу знать, как вытащить демона, сидящего во мне.

— Никакого демона нет. Я уже сказал тебе.

Острая щепка Цинтанаккара шевельнулась в ее груди. Не сильно, лишь чтобы напомнить о себе. Кажется, где-то глухо выругался Лжец. Он тоже понимал, что это значит.

Еще одна никчемная попытка. Даром потраченное время.

— Он там, — медленно и очень отдельно произнесла Барбаросса, — Ты просто проглядел. Ты пьян как свинья, вот и все. Этот демон сидит внутри меня без малого пять часов и скоро опять потребует кормежки. И это значит, мне придется его накормить. Снова.

Демонолог тяжело покачал головой. Он был пьян, пьян вдрызг, но, кажется, кое-что еще сообщал.

— Я провел дюжину проверок, — вяло пробормотал он, — И ничего не заметил.

Ярость едва не выплеснулась наружу, едкая, как адское пойло в бутылке.

— Ты не заметил бы даже елду на собственном лбу! Чертов коновал, ни хера не смыслящий в ремесле!

Демонолог поднял на нее взгляд.

Должно быть, тотесвассер, подобно едкой кислоте, что заливают в трубы, пробрал его до самых глубоких, давно забитых, отростков души, потому что глаза его, прежде мутные, пустые, сделались вдруг живыми, вполне человеческими. Ясные, с заключенной внутри янтарной искрой, они казались умными и немного лукавыми, напомнив Барбароссе шарики

из ароматической смолы, что возжигают в своих домах иудеи.

— Ни хера не смыслу в ремесле?.. Ты в самом деле так считаешь? — по его животу прошел короткий спазм, но почти сразу улегся, — Черт, а я-то думал, ты знаешь...

— Знаю что?

— Латунный Волк, — он произнес эти слова не то с затаенной горечью, не то с насмешкой, — Как ты это узнала?

Нашептал один маленький мудрец, подумала Барбаросса. Ему нашептал еще кто-то. Ты даже, блядь, не представляешь, сколько секретов и тайн в этом трижды выебанном адскими владыками мире разносится между нами в шепоте маленьких уродцев, запертых в банках. И я не представляла — до какого-то времени.

— Неважно.

Демонолог опустил голову на грудь.

— Пожалуй, что и так, — пробормотал он, — Неважно. Куда бы я ни забрался, где бы ни спрятался, эти слова найдут меня. Настигнут, точно адские гончие. Впрочем, какая теперь разница... Латунный Волк — это мое тайное прозвище, известное немногим, данное мне еще в Силезии много лет тому назад. Потому что звать меня — Вольф. Вольф Мессинг[2].

Барбароссе захотелось клацнуть зубами от досады. Могла бы и сообразить. Могла догадаться. Напрячь свою херову память, чтобы выудить из нее одно-единственное словечко. Но вместо этого устремилась в бой, не слушая ни голоса разума, ни шепота Лжеца.

— Ты — тот демонолог, что давал представления на площадях, — медленно произнесла она, — Проворачивал всякие трюки.

Она тогда была крохой лет около пяти, но даже она слышала отголоски чудес, творимых им на востоке. Он мог взмыть над толпой и преспокойно летать несколько часов к ряду. Положим, ничего особенного в этом нет, многие адские владыки наделяют своих фаворитов даром порхать точно птица. Но все остальное... Заколотый в чугунный гроб, он падал с умопомрачительной высоты водопада Винуфоссен[3], чьи воды состоят из ртути и сурьмы, а твари, обитающие в них, сожрали все живое в радиусе сороке мейле вплоть до насекомых. Он вышел невредимым из противостояния с Пилой Смерти — чудовищным механизмом, созданным кузнецами Ада, способным распилить вдоль даже женский волос. Он...

— К вашим услугам, — пробормотал демонолог, с кряхтением изображая поклон.

Он постарел и подурнел. Когда его показывали в оккулусе, он выглядел импозантным молодым человеком, стройным, как императорский дуб[4], с лукавым взглядом юного Мефистофеля. Он изящно двигался по сколоченной специально для него сцене, посмеиваясь, подмигивая зрителям — и зрители изумленно вскрикивали, обнаруживая у себя во рту то засахаренную вишню, то крейцер, то живого таракана. Тогда у него не было этого чудовищного брюха, а волосы, черные как вороново крыло, были зачесаны назад...

— Та статуя в Севилье... — Барбаросса прикусила губу, испытывая досаду и, в то же время, стыд, — Статуя в виде здоровенного яйца и человека внутри[5]. Как ты заставил ее пропасть?

Латунный Волк усмехнулся.

— Заручившись расположением адских владык, можно заставить пропасть что угодно. В тот миг, когда я махнул рукой, двести палачей, укрытых под помостом, одновременно опустили топоры. Это чудо, ничтожное для адские владык, стоило жизни двум сотням молодых девушек вроде тебя. К слову, потребовалось в три раза больше, чтобы вернуть

статую обратно... Но это не самый сложный трюк. Куда сложнее было в Регенсбурге.

— Что было в Регенсбурге? — рассеянно спросила Барбаросса, — Тоже статуя?

— Нет. Я должен был зайти в Золотую Башню[6] и подняться на самый верх. После чего ее поджигали со всех сторон и мне предстояло выбраться наружу прежде чем превратиться в уголь. Простой трюк, заученный до мелочей. Но как назло именно в тот день один из демонов, который должен был вытащить меня наружу сквозь стену, заупрямился. С адским народом такое иногда случается... Но он заупрямился уже в тот момент, когда слуги бросили факела. Представь себе, в какой глупой ситуации я оказался. Стою на высоте в двадцать клафтеров, заперт в каменном мешке, снизу уже подступает жар, а я ни хера не могу выбраться. История!

— Но все-таки выбрался?

Латунный Волк благодушно погладил себя по выпирающему животу.

— Когда огонь подступил совсем близко, я бросился в окно. Что еще мне было делать, скажи на милость?.. Пролетал все двадцать клафтеров как мешок с дерьмом. Где зацепился за водосточную трубу, где катился кувырком по крышам... Сломал дюжину ребер, едва не развалился пополам, чудом не разmozжил голову, но таки оказался живым, мало того, сам встал на ноги. Не поверишь, меня не только не уличили в обмане, мой фокус произвел в Регенсбурге настоящий фурор! Почтенные бюргеры десятков раз видели освобождение из башен, клеток и ящиков, но чтобы какой-то кретин по доброй воле скатился из башни наземь, рискуя быть раздавленным в лепешку — таких фокусов в Регенсбурге еще не видели!

Демонолог рассмеялся, похлопывая себя по животу.

— Фокусник, — процедила Барбаросса с отвращением, — Ярмарочный фигляр.

— Фокусник, — согласился демонолог, ничуть не оскорбленным тоном, — Между прочим, лучший в своем роде. Знаешь, у меня даже был графский титул. Граф Гура-Кальвария. У меня было две резиденции и охотничий замок. Штат слуг. Конюшня на сорок рысаков. Лучшие вина из тех, что можно найти... Но фокусы — это херня. Я занимался ими для собственного удовольствия, не по необходимости. Развлекал чернь, чтобы заслужить репутацию. В то время, сорок лет назад, я был молод и уверен в своих силах. Ад благоволил мне и моим дерзким фокусам. Ничтожество... Я думал, что заслужил расположение его владык, что в силах распоряжаться его силами, не платя цену. Сейчас про меня многие забыли, но тогда... Ты даже не представляешь, ведьма, какие люди обращались ко мне за помощью, какие короны они носили и какие титулы. Дураки и скупцы просили славы и богатства, увечные — излечения от болезней, хитрецы и интриганы — помощи в политических баталиях... Я не отказывал им. Они щедро платили, а я всегда умел общаться с адскими владыками, находить с ними общий язык, удовлетворять их взыскательный вкус. Я исполнял мечты, ведьма. Я обладал властью, которая не снилась тебе даже в самом чарующем наркотическом сне...

— Не сомневаюсь, — язвительно обронила Барбаросса, — А звезды ты, часом, не зажигал?

К ее удивлению, он ухмыльнулся.

— Приходилось. Но не те, что торчат на небосводе, другие — я создал херову тучу звезд для сценических подмостков, даря целую жизнь прозябающим в неизвестности ничтожествам, превращая их в примадонн, прославленных теноров и всемирно известных актеров. Я создавал таланты, ведьма, которые будут озарять сцену еще сотни лет. Имена, которые будут вписаны в историю искусства. Тебе знакомо имя Вальтера Виллиса? Видела

его пьесы?

Барбаросса неохотно кивнула. Вальтер Виллис определенно не относился к числу ее любимцев, она не причисляла себя к тем сукам, что вешают над койкой его гравюры — претил нахальный взгляд этого хитреца-рейнландца, презирающего парики и норвящего в каждом акте сорвать с себя рубаху, чтобы пощеголять на сцене голым торсом. У него не было внушительных мускулов, как у Сицилийского Жеребчика, он не умел так роскошно фехтовать, как Нидельман-Форд, не славился как искуситель или мастер диалога, но... Но стоило ему небрежно усмехнуться в зрительный зал, как там делалась негромкая подвывающая овация — у многих сук в Броккенбурге происходило размягчение в штанах от его прищура. Вроде бы неказистый, он обладал таким запасом харизмы, что мог бы заряжать ею пушки и бить по толпе залпами...

Они с Котейшеством как-то раз смотрели пьесу с ним — не по оккулусу, вживую. Пьеса называлась «Медленно умирающий» и давали ее лишь единожды, при том даже билет на галерку стоил умопомрачительную сумму. Плоха та ведьма, которая сызмальства не учится обходить созданные на ее пути препоны — сунув два талера служителю, они пробрались на крохотный балкон под самой крышей, где горели лампы. Там было тесно, душно, жарко, но они досмотрели до самого конца.

Глупейшая пьеса, если разобраться. Вальтер Виллис играл роль обычного городского стражника, что прибыл в штудгартскую ратушу по каким-то служебным делам, высоченную каланчу до неба в немыслимые даже для Броккенбурга восемь этажей, но прибыл чертовски невовремя, по стечению обстоятельств как раз накануне нападения крамерианцев. Увешанные распятиями, с мушкетами, заряженными серебром, безумные последователи Крамера[7] захватили ратушу вместе со всеми ее советниками, клерками и писцами, готовясь провести какой-то сложный изуверский ритуал, изгоняющий адских владык, но Вальтер Виллис, конечно, расстраивал их планы, вмешавшись в ход событий и перебив одного за другим.

Никчемная пьеса. Барбаросса презрительно фыркала, когда этот хлыщ полз по дымоходу, такому широченному, что хоть карету запрягай, или стрелял из арбалета трижды в одном акте, ни разу не удосужившись натянуть тетиву, даже порывалась свистнуть, но... Но Котейшество всякий раз брала ее за руку — и злые бесы, метавшиеся в ее душе, разом утихали.

— Видела, значит, — демонолог взболтал жидкость в бутылке, пристально разглядывая на свет, — Он был никчемным стражником в Пфальце, более заурядным, чем ты сама, но заложил родительский дом, занял денег, где можно — и обратился ко мне. Чертовски выгодное вложение капитала. Я всегда умел обстряпывать такие дела. Обратился к владыкам, прося для него помощи и обещая плату... Уже через год он играл в «Свете Луны». Никчемный водевиль с огромным количеством актов, безвкусный и растянутый, Маутнер и Брехт только проблевались бы от такого, но зрителю неожиданно пришелся по вкусу. Еще через полгода Вальтер Виллис уже щеголял баронским титулом и быстро набирал славу. Потом был «Медленно умирающий», потом — «Гамбургский сокол» и «Последний ландскнехт»... Помяни мои слова, ведьма, самое большее через пару лет он получит свой «Херсфельд[8]» как лучший актер, которого когда-либо знала немецкая сцена... Его сделал я. Вот этими руками!

— Что-то я не видела его кареты на улице, — буркнула Барбаросса, — Знать, приятели, которым ты оказывал услуги, не очень-то желают тебя знать...

К ее удивлению, демонолог лишь вяло усмехнулся.

— Неблагодарное ничтожество. Он — и все прочие. Они враз забыли меня, едва я угодил в немилость. Впрочем... Впрочем, уж не ему торжествующе хохотать. Те деньги, что он заплатил адским владыкам, были лишь мелочью, мелким задатком. Настоящая цена, назначенная ему Адом, все еще не оплачена, но ждет, терпеливо ждет уплаты... Поверь мне, когда вексель будет предъявлен к оплате, ни драгоценные вина, ни поцелуи самых горячих красавиц не скрасят его участь...

— Чем он заплатит?

— Тем, дороже чего нет ничего на свете. Своим рассудком, — демонолог возложил руки на свой живот, осторожно поглаживая его, будто утешая, — На третьем круге как будто еще не изучают Хейсткрафт, магию разума со всем, что к нему относится, но ты наверняка должна знать о нем. С согласия адских владык я наложил на него чары Хейсткрафта, которые невозможно снять. Хоть он этого и не знает, ему даровано двадцать пять лет славы, целая четверть века. Он будет выступать в блестящих пьесах, ездить на самых роскошных скакунах, графини и герцогини любой земли будут счастливы задрать перед ним свои юбки. Но потом...

— Потом?..

Демонолог хрустнул опухшими суставами пальцев.

— Заклятье вступит в силу. Его разум начнет слабеть, истощаемый, утекать, как вино из кувшина через крохотную трещину. Сперва он сам не будет этого замечать. Изможденный репетициями и балами, он, верно будет списывать это на усталость, не придавая значения. Но с каждым днем будет терять все больше. Он больше не сможет произносить сложных диалогов — суфлеры будут нашептывать ему беспрерывно, а драматурги — писать самые лаконичные и краткие реплики. Он будет забывать лица — при нем денно и ночью будут ходить слуги, напоминающие ему, с кем он говорит. Не способный играть сложные роли, он вынужден будет прозябать на подмостках третьеразрядных провинциальных театров, и чернь, исступленно улюлюкая, будет забрасывать его углем и тухлыми яйцами. Но к тому моменту, поверь, это уже не будет его сильно огорчать. События его жизни сделаются тусклыми, как фальшивые самоцветы, начнут медленно растворяться в непроглядной серой пучине... Лишенный прошлого, не понимающий настоящего, он будет медленно сползать в смертельную апатию, не испытывая никакого интереса к жизни и ее радостям. Самые лучшие вина, самые обольстительные красавицы, самые быстрые скакуны... К чему они человеку, который медленно теряет то, дороже чего ничего не сможет найти — самого себя?..

Барбаросса поборол желание стиснуть кулаки, которых у нее больше не было.

Черт. Неважная участь. Может, худшая чем многие изощренные адские пытки.

— И что с ним будет дальше? — спросила она через силу.

Ей-то плевать на будущее этого хлыща, но Котейшество как будто бы равнодушна к нему...

— Не знаю, — демонолог шевельнул грузными плечами, — Может, наберется смелости и разрядит мушкетон себе в голову. Или будет медленно иссыхать, превращаясь в плесень внутри своего роскошного дворца. Мне, в общем-то, без разницы, ведьма.



Барбароссу подмывало вырвать «Столечно» из его пухлой руки — и разбить драгоценную бутылку о его же лысую вяло покачивающуюся голову. Чертов ублюдок. Играл во всесильного сеньора, пока был при власти, получал наслаждение, управляя чужими судьбами, а сейчас сам похож на полуразложившийся гриб, запертый в своей грибнице. Жалкий, облаченный в наполовину истлевший халат, единственное напоминание о его прошлом, он вызывал у нее сострадания не больше, чем змея с переломанной спиной.

Наверно, он ощущал движение мысли в магическом эфире не хуже гомункула, потому что вдруг встрепенулся, подняв на ее влажный пьяный взгляд.

— Не беспокойся, ведьма, я и сам получил сполна. Я тоже не успел насладиться временем своей славы. Устраивая судьбы других, покоряя толпу сложными трюками, обзаводясь связями в высшем обществе, я погиб от руки того самого демона, страшнее которого не существует на свете — демона самоуверенности. Я возгордился. Думал, это будет длиться вечно. Глупец. Теперь я вижу, я был лишь игрушкой Ада, с которой он забавлялся, пока была охота. Он нарочно подкидывал мне сочные сладкие куски, распалая мой голод, нарочно обольщал, заставляя увериться в собственных силах. Проклятый глупец... Все закончилось в семьдесят четвертом.

— Что закончилось?

Он усмехнулся. Взгляд его, полужидкий, как у всех пьяных, бесцельно пополз по кабинету, ни на чем не останавливаясь. Сделавшись живым, он наполнился мукой, тяжестью.

— Закончился я, — пробормотал демонолог, пошатываясь, с трудом держась на ногах, — Я почти подобрался к званию фаворита генерал-губернатора Силезии. Генерал-губернатор был тертый старик, которого сам Сатана не смог бы сгрызть, воевал еще в эпоху Оффентурена, правил железной рукой. Заручившись его покровительством, я достиг бы всего, о чем только мог мечтать. Обеспечил бы себя на всю жизнь, оставив наконец опостылевшие фокусы, смог бы посвятить себя науке, как всегда хотел, или светской жизни или чему бы то ни было еще. Генерал-губернатор презирал фокусников вроде меня, но, к несчастью, позиции его были не так прочны, как крепости Вобана. Ад наградил его дочерью — прелестным созданием по имени Клаудия. Ах, досада... — демонолог сокрушенно покачал головой, — Когда-то одного глотка этого пойла мне хватало, чтоб приглушить боль на целый день. Но она возвращается быстрее, чем брошенная тобою любовница. Я опять начинаю чувствовать... Сколько ни пью, она приходит, всегда приходит обратно...

— Что мне до того?

Кажется, он не услышал ее. Бормотал, слепо уставившись в бутылку. Должно быть, движение жидкости завораживало его или пробуждало воспоминания.

— Я надеялся влюбить ее в себя, использовал все чары из своего арсенала, но — адская ирония! — влюбился сам. Так привык управлять чужими судьбами, что не уследил за своей собственной. Она была прекрасна, моя Клаудия. В нее не было вложено ни крупицы адских сил, у нее не было покровителей из числа адских владык, но она была красивее и талантливее всех тех примадонн и актрис, которых я создавал. Волосы у нее были темно-каштановые, как дубовая листва в октябре, а глаза — лукавые, как у котенка... Она тоже мне благоволила, в короткое время мы сделались любовниками. Дальше все было распланировано до мелочей. Старый Шиффер, дряхлая деревяшка, терпеть меня не мог, он скорее нассал бы в глаз архивладыке, чем дал бы согласие на такой союз. Однако он был без ума от своей дочери. Дорожил ею, как величайшим своим сокровищем. Мы с Клаудией

знали, если нам удастся обречь втайне от него, он будет вынужден признать нашу связь и дать свое благословение. Верно, старый пес предчувствовал подобное развитие событий, потому что заточил свою дочь в неприступном Княжеском замке[9], под охраной из верных ему людей и полуроты мушкетеров. Наивный глупец. Как будто бы мне прежде не приходилось похищать из-под запоров драгоценности, мало того, делать это на сцене, при большом стечении народа. Я похищал огромную статую в Севилье, похищал груженный галеон, один раз похитил небольшой дворец в Бычине... Я делал этот трюк так часто, что знал его в совершенстве! Достаточно было лишь щелкнуть пальцами и...

Демонолог замолк, машинально поглаживая свой вздувшийся живот. Даже успокоившись, тот постоянно урчал, по его поверхности ходили волны, отчего дряхлое рубище опасно потрескивало. Рано или поздно оно лопнет на нем, подумала Барбаросса, точно расползающийся старый мешок.

— Я принес богатые дары адским владыкам и заручился их расположением. Провел все ритуалы точно и в срок. Но...

— Немного продешевил, а? Разозлил своих покровителей?

Он неохотно покачал головой.

— Меня погубила самонадеянность, а не скупость. К моей судьбе не были причастны адские владыки. Я сделал это сам, ведьма.

— Что ты сделал?

— Ошибся. Ошибся в одной крохотной детали, в которой никогда прежде не ошибался. Начертив пентаграмму, написал в ее нижнем правом углу не *suḍaustur*, как полагалось, а *poḡḍaustur*. Что-то, должно быть, спуталось в сознании, секундное помрачение рассудка. Знаешь, иногда так бывает — рука вдруг забывает, как застегивать пуговицы или вылетает из памяти слово, которое сидело там, точно гвоздь... Я ошибся. Ритуал, который должен был перенести Клаудию из замка в мои объятия, прошел не по плану. Не совсем по плану.

— Что, ты убил ее? — мрачно спросила Барбаросса, — Раздавил в лепешку?

Демонолог задумчиво и неспешно погладил себя по животу.

— Нет, — тихо произнес он, — Хотя иногда мне кажется, было бы лучше, если б раздавил. Она... Она в самом деле перенеслась ко мне. Более того, мы с ней объединились, как и замыслили, сделались единым целым... Хочешь увидеть ее?

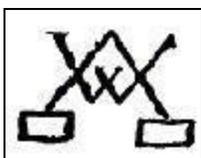
Нет, подумала Барбаросса. Не хочу, черти бы тебя разорвали.

Она еще не успела ничего понять, но, верно, понял Лжец, потому что у нее по заливке прошла колючая ледяная дрожь. Этот тучный демонолог, запертый в своем доме... Этот живот, который он беспрестанно гладил, будто лаская... Эта выпивка, которую он поглощал ведрами, чтобы унять вечно грызущую его боль...

Не надо, подумала Барбаросса, ощущая тоску и тошноту вперемешку. Не надо, чертов ты выблядок, сукин ты сын...

Демонолог пьяно рассмеялся, его руки, неспешные жирные пауки, ползали по засаленному, превратившемуся в лохмотья, бархатному халату, ища завязки. Его живот, будто бы что-то уловив, вновь принялся ворочаться, глухо урча. Так, будто его сотрясали чудовищные колики или...

— Поздоровайся с гостьей, Клаудия.



Его живот был тучен и велик, так велик, что в нем мог бы поместиться человек. Целая гора ходящего ходуном жира, прикрытого рыхлой бледной кожей и бесцветными волосом. Обычный живот толстяка, тащащего в рот все, что попадет под руку, хлещущий пойло без остановки — кабы не странное распределение жира. В некоторых местах он выдавался, вздуваясь под кожей, образуя целые россыпи больших и малых опухолей. Некоторые были небольшими, едва выдающимися, размером со сливу, другие острыми, обтянутыми кожей, торчащими наружу точно пучки костей или осколки. Самая крупная из них располагалась там, где у человека обыкновенно располагается пупок. Большая, округлая, размером с хорошую дыню, она была покрыта пучками волос, по цвету не похожими на прочие. Темно-каштановыми, подумала Барбаросса, пытаюсь заставить себя не думать вовсе, как дубовая листва в октябре...

Живот заволновался, опухоли пришли в движение. Малые просто возились под слоем жира, елозя на своих местах, похрустывая, то утопая в богатых жировых отложениях, то выныривая, точно камни во время прилива. Но те, что она приняла сперва за осколки, отчетливо зашевелились. Приподнялись, растягивая кожу, закопошились, захрустели... Это пальцы, поняла Барбаросса, никакие не осколки. Фаланги пальцев, погруженные в подкожный жир и шевелящиеся в нем, точно упрямые мелкие твари, отказывающиесядохнуть в колбе с формалином. Вон та маленькая опухоль, похожая на занесенную речным песком ракушку, это ухо. Там виднеется несколько ребер. Вот это, похожее на булыжник, должно быть пяткой...

Барбаросса попятилась, не замечая, что ее башмаки давят пустые бутылки, рассыпанные по полу.

Большая опухоль на месте пупка задрожала — и открыла глаза. Они были похожи на распахнувшиеся симметричные язвы, только заполненные не алым мясом и сукровицей, а вполне человеческой радужкой — серой, с редко встречающимся в Броккенбурге зеленоватым отливом. Женские глаза, сохранившие длинные ресницы, немного лукавые, как это бывает у детей. Они скользнули взглядом по Барбароссе, покружили по комнате, но Барбаросса не смогла понять этого взгляда — залитые подкожным жиром, обтянутые рыхлой кожей демонолога, черты лица сделались почти неразличимы. Глаза, даже самые ясные, не способны говорить, они способны лишь смотреть — и они смотрели, безучастно кружа по комнате.

— Бедная моя, бедная моя девочка... — пробормотал демонолог, мягко кладя ладонь на колышущийся под кожей на его животе лоб, — Мне хочется думать, что она лишилась рассудка в миг, когда это произошло, или немногим позже. Иногда мне кажется, она что-то сознает. Сознает, просто не может выразить. Бедная Клаудия... Единственное чувство, которое осталось в ее распоряжении, это боль...

Голова внезапно распахнула рот — глубокий, не обрамленный губами, провал, внутри которого вязким слизнем колыхался язык. Барбаросса ожидала, что этот рот исторгнет из себя крик, но он исторг лишь глухое урчание, похожее на то, что исторгает обычно мучимая несварением утроба.

Демонолог слабо улыбнулся, погладив голову по щеке.

— Ей больно, — тихо произнес он, — Днем еще терпимо, но к вечеру становится хуже... Когда я пью, это приглушает боль. Но каждый день мне нужно все больше и больше... Чертов Эбр, он беспокоит старые раны... Если я еще не убил себя, то только лишь потому, что боюсь. Боюсь, если я вышибу себе мозги, она, моя Клаудия, останется здесь.

Запертая в медленно разлагающейся туше, некогда бывшей моим телом. Каждый день я молюсь адским владыкам, чтобы они убили ее, прекратили ее мучения, но... Кажется, владыки забыли про меня. Кажется, им надоели мои фокусы.

Барбаросса попятилась, не в силах оторвать взгляда от этого страшного зрелища. Демонолог, кряхтя и сопя, гладил существо, ворочающееся к него в животе, и в этих движениях, сделавшихся удивительно мягкими, сквозила не обычная ласка, которой награждают питомца — скорее, сдерживаемая страсть.

— Моя милая... Моя хорошая... Моя славная.

Это зрелище казалось ей одновременно чудовищно-невообразимым, пугающим, и — об этом даже думать было тошно — утонченным, почти возвышенным, точно созданным по образу и подобию какой-то изящной древней гравюры. Человек, ласкающий существо, являющееся плотью от его плоти...

Демонолог грустно усмехнулся, не наградив ее даже взглядом на прощание. Одной рукой он ласкал ворочающееся у него в животе существо, другая слепым пауком ползало по столу, пытаясь нащупать бутылку.

— Уходи, ведьма, — произнес он едва слышно, — Если демон внутри тебя так силен, что его не заметил Латунный Волк, твои дела плохи. Но я надеюсь, он убьет тебя прежде, чем тебя убьет другой демон — демон самонадеянности...

Барбаросса выскочила из кабинета, словно в нем распахнулись адские двери, из которых повеяло жаром. Ее подмывало броситься бежать, отшвыривая со своего пути ветхую мебель, но этот порыв удалось сдержать, хоть и не без труда. В последнее время она и так слишком часто бежит от своих проблем — как бы бегство не сделалось для сестрицы Барби излюбленным способом их решения...

Этот говноед не сможет нам помочь, Лжец, подумала она, оказавшись в прихожей. Может, когда-то он и был важной шишкой, но я видела его глаза, он стар, беспомощен и слаб. В придачу, смертельно пьян. Во мне могло сидеть три дюжины демонов — он не заметил бы их даже если бы те выели мне глаза и устроили в черепе чертову оргию!..

Лжец не ответил. Видно, переваривал услышанное или о чем-то размышлял. Вот у кого бы тебе, сестрица Барби, поучиться выдержке — у этого ссохшегося комочка. Там, где ты выпаливаешь не думая, первое, что вертится на языке, Лжец сперва думает, и думает напряженно, тщательно, будто бы переваривая внутри себя эту мысль.

Барбаросса бесцеремонно распахнула входную дверь ударом ноги. Шалун-Эдр, конечно, не удержался, швырнул ей в лицо порыв ветра, обильно, смешанного с грязью и жухлой листвой, но это было в его характере, она даже не выругалась. После застоявшегося затхлого воздуха, стоящего внутри, ночной холод здорово прочищал голову, выгоняя из нее все лишнее и никчемное. Освежал, будто хорошее вино.

Надо отдышаться. Забыть то, что она видела внутри. Забыть дрянной запах и ворочающийся, обтянутый лохмотьями, живот, издающий утробное жалобное урчание, забыть пухлые руки, скользящие по нему и...

Ей вдруг захотелось умыться. Опустить руки в лужу, набрать грязной холодной воды — и провести по лицу.

— Этот тип, кажется, соображает по части гомункулов, — пробормотала она, сияясь улыбнуться, — Сразу понял, что ты за фрукт. Может, мне стоило бы оставить тебя ему на попечение? Черт, Лжец, он был бы не самым плохим хозяином на свете, уж поверь мне! Он и его подруга. Думаю, он познакомил бы тебя с ней. Она тебе точно понравится,

очаровательная крошка... Черт. Сколько я проторчала там? Полчаса? Больше? Который сейчас час? Сколько времени осталось, прежде чем Цинтанаккар вновь сядет за обеденный стол?..

Лжец не отозвался. Все еще считает? Едва ли. Обычно ему требовалась половина секунды на ответ, не более того. Может, обиделся? Решил наказать ее молчанием? За что?

Барбаросса вздохнула. Вот только обидевшегося гомункула ей и не доставало.

— Черт. Это шутка, Лжец. Я не собиралась оставлять тебя здесь, не думай, просто...

Просто ты воплощаешь в себе все то, что сестрица Барби не может терпеть, подумала она. Ты рассудительный, умный, осторожный, расчетливый. Въедливый, дотошный, аккуратный. В тебе есть все качества, которые положены демонологу, но от которых Ад не посчитал нужным отсыпать, когда создавал сестрицу Барби.

Барбаросса замерла у крыльца, кусая губы.

Во имя всех дохлых сук Ада, невозможно привыкнуть к тому, как легко выскользывает наружу мысль. Легче, чем жаждущий крови кинжал из ножен. Легче, чем похотливая сука из штанов. Сколь ни запирай ее, ни заковывай, не упрятывай в прочные застенки, она скользнет, точно хорек, всюду протиснется, пролезет и выскользнет все-таки на свободу...

Барбаросса со злостью вогнала каблук в податливую, прихваченную вечерним морозцем, землю, сама не зная, на кого больше досадует — на чертового сморчка, решившего отмолчаться в самый неудачный для этого момент, или на саму себя.

Может, потому я и невзлюбила тебя, Лжец, устало подумала она. Скрюченный, жалкий — чертов трезвомыслящий комок плоти, заточенный в стеклянную бутылку — ты лучше меня понимал, с какими материями мы играем и с какими существами. Окажись ты на моем месте, ты бы нипочем не оказался впутанным в такую историю. Не дал бы себя одурачить, не совершил бы многих глупостей, что совершила я. Ты — чертов маленький мудрец, крохотный комок консервированной мудрости, и, пусть весь твой мир можно измерить человеческим пальцем, в тебе скопилось больше здравого смысла, чем в моей никчемной башке за семнадцать лет. У тебя нет воспоминаний, которые золой жгут тебя изнутри. Нет соблазнов плоти. Нет страхов и искушений. Тогда как я — живой пример обратного. Беспутная сука, путешествующая под шальными ветрами, награжденная силой, которую никогда не умела ни контролировать, ни направлять. Знаешь... Знаешь, по прихоти Ада тебе не даровано сил, но если бы были — ты стал бы в тысячу раз лучшей ведьмой, чем я сама...

Здесь Лжец должен был усмехнуться. Она наверняка услышала бы его привычный царапающий смешок, похожий на колючий камешек, что забирается тебе в башмак. Но не услышала ничего кроме скрипа Эбра, играющего с вывесками да катающегося на скрипящих флюгерах. Ни смешка, ни даже вдоха.

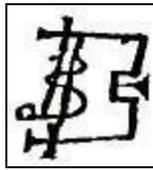
— Лжец?

Черт. Он выглядел паршиво, вдруг вспомнила она, слабым, как комок каши. Может, в самом деле стоило дать ему каплю крови? А что, если эта малявка померла? Если превратилась в дохлую медузу и растворяется в своей банке, бросив сестрицу Барбри напроизвол судьбы?

Ощущая неравномерные злые удары сердца, Барбаросса упала на колени возле крыльца, ощущая себя нетерпеливым злым фокстерьером, унюхавшим лисью нору, и запустила культи в пролом. Переломанные размозженные пальцы уткнулись в землю и принялись шарить по ней, не ощущая боли, пытаясь нащупать гладкий бок банки. Но ничего не нащупали.

Банки не было. Гомункул пропал.

- [1] Контуш — традиционная польская верхняя одежда, мужская и женская, с отворотами на рукавах.
- [2] Игра слов — Вольф (Wolf), Мессинг (Messing) — Латунный волк (Messingwolf).
- [3] Виннуфоссен — самый высокий водопад в Европе, расположенный на территории Норвегии, высота — 420 м.
- [4] Императорский дуб — дуб, посаженный в 1879-м году в Берлине, в ознаменование золотой свадьбы императора Вильгельма Первого и Августы Саксен-Веймар-Айзенахской.
- [5] Статуя «Рождение нового человека» работы З. Церетелли, установленная в Севилье в 1995-м году в ознаменование годовщины ухода Колумба в плавание.
- [6] Золотая башня (нем. Goldener Turm) — средневековая башня в Регенсбурге, высотой 50 м., возведена в 1260-м.
- [7] Генрих Крамер (1430–1505) — немецкий монах, доминиканец, автор трактата по демонологии «Молот ведьм».
- [8] Херсфельд (Hersfeld-Preis) — немецкая театральная награда, которая ежегодно вручается с 1962-го года.
- [9] Замок Ксёнж — крупнейший замок Силезии.



Херня. Не может быть. Банка просто закатилась в сторону, а Лжец нарочно молчит, наблюдая за тем, как ее искалеченные пальцы шарят по земле в нескольких дюймах от нее, натываясь на острые углы и щепки, собирая на себя истлевшую древнюю паутину давно издохших пауков. Известно, даже самое сладкое вино, которое можно отыскать в Броккенбурге, и вполтину не так сладко, как страх твоего недруга.

Небось хихикает сейчас в крохотную сморщенную ладошку, херова засохшая козявка... Радует возможности лишней проучить ее. Всадить очередную остро отточенную шпильку в подставленный бок. Наградить минутой страха и неизвестности за ту пренебрежительность, с которой она относилась к его советам — и к нему самому...

— Лжец! — позвала она вслух, пытаясь не выдать голосом беспокойства, — Ты где, малыш? Зашел к господину кроту перекинуться в домино и выпить стаканчик винца? Собирайся, черт тебя возьми, и надевай шляпу, нас ждут дела!

Не паникуй, Барби. Банка просто закатилась в сторону, вот и все.

Важные вещи часто проделывают такие фокусы, не так ли? Будто бы нарочно прячась в ту минуту, когда они нужны, находясь в итоге в фуссе от того места, куда ты их положила минуту назад. Это в их природе, но далеко не всегда это их вина. Иногда так забавляются мелкие бесы — никчемные существа, пролезающие сквозь щели в мироздании, привлеченные магическими колебаниями, спутниками всякой ворожбы. Это беспокойное дьявольское племя не в силах принести серьезных хлопот человеку, разве что испортить закваску для хлеба или вылакать оставленное без присмотра пиво, но прятать чужие вещи — их древнее и излюбленное развлечение, которому они рады предаваться при любой возможности. Они делают это не из корысти, лишь чтобы подурачиться. Для этой никчемной мошкары нет большей радости, чем наблюдать за человеком, мечущимся в поисках своих жилетных часов, поносящем прислугу на чем свет стоит и клянущимся, что минуту назад положил их на стол возле себя.

Даже Малый Замок, защищенный многими охранными чарами и оберегами, населенный тринадцатью ведьмами, не мог служить надежным пристанищем от таких фокусов. Вещи в нем иногда вели себя совершенно причудливо, укрываясь от взгляда так ловко, будто провалились сквозь землю в Геенну Огненную. Котейшество однажды битых три часа разыскивала свою коробку со шпильками, которую оставила на столе в общей зале. Перерыла все закутки и чуланы, заглянула в каждую щель, разве что не простукивала стены. В конце концов ей пришлось призвать духов-следопытов, чтобы отыскать пропажу, и та, конечно, отыскалась — невозмутимо лежащая на каминной полке, у всех на виду.

Иногда кое-какие вещицы пропадали и у нее самой. Но куда реже, чем у прочих. Может потому, что столкнувшись с пропажей, она не призывала духов-следопытов, как Котейшество, а творила ворожбу совсем другого сорта. В прошлом месяце, когда у нее пропал медный грош, оставленный без присмотра всего на минуту, она не стала призывать себе в помощь адских существей. Вместо этого она взяла бельевую веревку, выстроила перед собой Кандиду, Шустру и Острицу, после чего их хлестала по спинам так, что под конец

они даже визжать не могли. Способ оказался чудодейственным — потерянная монета нашлась в течении часа — хоть и не вполне тем, которым стоило бы щеголять в университете. В конце концов, он апеллировал совсем не к тем энергиям, пользованию которым их учили...

Барбаросса выругалась сквозь зубы, шаря переломанными пальцами по липким сырým камням под крыльцом. Банка с гомункулом — это не коробка шпилек и не монета, даже если бы адский народец вздумал поразвлечься, им никогда не удалось бы стащить такую большую штуку...

— Лжец! — позвала Барбаросса, отплевываясь от сухой древесной пыли, лезущей в рот, от ключев паутины, липнущих ко лбу, — Черт подери, ты что, решил поиграть со мной в прятки? Не очень-то благородно с твоей стороны. С тем же успехом можно искать нефритовое яйцо в лоне портовой шлюхи!

Просто закатилась. Банка просто откатилась в сторону и...

Она поняла все сразу, почти мгновенно, беззвучно и резко, как висельник, сделавший последний в своей жизни шаг и вдруг поднявшийся в ледяную синеву распахнувшегося под ногами неба. В высоту, на которой мгновенно открываются все смыслы жизни и ее неразгаданные загадки. Но ее руки, даже искалеченные, были упрямы как пара охотничьих псов, отчаянно пытающихся разворошить давно опустевшую лисью нору. Им потребовалось две дюжины ударов сердца, чтобы понять неизбежное. То, что она сама поняла еще полминуты назад.

Тайник пуст. Банки нет.

Во имя древней вавилонской шлюхи, сношающей с семиголовой зверюгой и всех ее развороченных дыр!

Барбаросса ощутила, как грудь сдавило, точно корсетом из раскаленной колючей проволоки. Блядский гомункул не мог выбраться из банки, чтобы поразмять ножки, пока она гостит у демонолога, его не мог вытащить из тайника какой-нибудь оголодавший катцендрауг или хитрая гарпия, значит...

Украден. Похищен.

Обожженная этой мыслью, Барбаросса вскочила на ноги, точно подброшенная пружиной, озираясь в поисках похитителей. Тщетно. Прохожих на улице было немного, но никто из них не походил на спешно улепетывающего вора. Пара изысканно одетых дам, какой-то пошатывающийся господин в ободранном камзоле, скрипящая, кренящаяся на левый бок карета, неспешно катящаяся вниз, в Унтерштадт...

Барбаросса бросилась было вверх по улице, точно пришпоренная кляча. Не зная пути, не предполагая, каким маршрутом бежал вор, надеясь больше на природное, возвращенное улицам Броккенбурга, чутье. Но вынуждена была сама остановиться через несколько шагов.

Стой, сука. Твой горячий нрав и без того слишком дорого тебе обходится, чтобы ты могла позволить себе бежать вслепую. Носясь за собственным хвостом, прочесывая окрестные переулки, ты лишь будешь сжигать собственное время, а времени этого у тебя в запасе осталось не больше, чем табака в кисете у завязатого курильщика.

Барбаросса застонала сквозь зубы, судорожно озираясь и изнывая от собственной беспомощности. Горячая кровь, бурлившая в жилах, гнала ее вперед, точно адскую гончую — бежать, гнаться, рвать в клочья!.. — и требовалось чертовски много сил, чтобы заставить себя не подчиниться этому позыву.

Барбаросса стиснула переломанные пальцы, чтобы боль на миг прояснила мозги.

Спокойно, Барби. Вспомни, за что вечно корил тебя Лжец, пока был твоим компаньоном. Хотя бы раз попытайся соображать вместо того, чтобы нестись на всех парусах, чувствуя горячие адские ветра затылком...

Паруса... Ветра... Веера...

Суки с веерами! Пиздорванки из «Сестер Агонии»!

Барбаросса взвыла в голос, вспомнив тех двух сук, что таскались за ней всю дорогу. Она собиралась стряхнуть их с хвоста, но Лжец не позволил — боялся потерять время. Они волочились за ней всю дорогу до дома Латунного Волка, а после непринужденно устроились напротив его окон и торчали там чертовски долго, поджидая ее, точно верные подружки. Не для того, чтобы полобызаться на темных улочках, как хорошие девочки после занятий, а для того, чтобы поковыряться у нее в середке своими острыми ножами.

Это называется Хундиненягдт, не так ли? Сучья охота.

Когда она вышла, их уже не было, она это заметила, но не обратила внимания, решила, что и хер с ними — небось, отморозили себе придатки, ошиваясь на улице прохладным вечером, поспешили прочь, намереваясь продолжить слежку завтра...

Поспешить-то поспешили, да только выходит, что не с пустыми руками, овца ты безмозглая! На память о тебе они прихватили маленький сувенир!

Молодые ведьмы часто отличаются чутьем гиен — и таким же любопытством. Обнаружив, что сестрица Барби подозрительно долго копается у крыльца демонолога, обустроивая свой тайник, они наверняка решили подойти поближе и проверить, чем это она там занималась — исключительно из интереса. А еще ведьмы умеют чувствовать в окружающем эфире магические эманации, оставляемые обычно адскими энергиями — и об этом ты тоже забыла, скудоумная пизда, овца дырявая...

Барбаросса едва не взвыла от отчаяния.

Не требовалось обладать дьявольской пронизательностью, как Каррион, чтобы восстановить события, причем так отчетливо, будто она воочию наблюдала за ними.

Едва только за ней захлопнулась дверь, любопытные «сестрички» подобрались поближе и легко обнаружили ее немудреный тайник. Запустили внутрь свои ручонки, которыми ласкают друг другу сладкие местечки, и обнаружили там приз, на который сами не рассчитывали — стеклянную банку с беспомощным гомункулом. Черт, ну и обрадовались они, должно быть! Банка с гомункулом — это тебе не огрызок яблока, не тряпочный кошелек со скудно звенящей внутри медью. По нынешним временам, когда даже в «Садах Семирамиды» дефицит товара, это означает три-четыре полновесных золотых гульдена. Может, не безумное, поражающее воображение, состояние, но чертовски солидный куш для пары полунищих оторв, мнящих себя ведьмами.

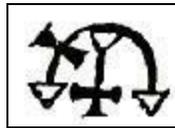
Вот почему они сбежали, покинув свой наблюдательный пост. Не потому, что отморозили задницы и устали. Приставленные к ней соглядатаями, заполучив неожиданно свалившуюся в руки добычу, они сочли за лучшее свернуть слежку, чтобы вознаграждать себя по достоинству за настойчивость и труды. Отчего нет? Отчего не пропустить в кабачке стаканчик подогретого вина? Сестрица Барби никуда не денется из Броккенбурга, ведь так? Эти скотоложицы, зовущие себя «Сестрами Агонии», даже не предполагали, что жить сестрице Барби осталось три часа с небольшим, не более того...

Бедный Лжец, подумала Барбаросса, бессильно опуская искалеченные руки.

Заложник своей банки, он мог сопротивляться яростно, как демон из бездны, но оставался не опаснее золотой рыбки в своем аквариуме. Да и что он мог сделать своим

похитительницам? Извергнуть на них свой бездонный запас колкостей и острот? Едва ли суки из «Сестер Агонии» достаточно умны для того, чтобы понять хотя бы половину из них... Он мог бы закричать, подумала Барбаросса, чтобы привлечь мое внимание. Может, он и кричал, да я не услышала. Слишком далеко находилась, слишком увлечена была Латунным Волком и его ритуалами, слишком сосредоточилась на скребущих изнутри когтях Цинтанаккара...

Если он в самом деле кричал, конечно.



Барбаросса ощутила, как злость, раскаленным металлом пульсирующая внутри, отливается в новую форму — форму со множеством когтей и шипов, похожую на изощренную адскую печать или сигил.

Отчего ты решила, что он вообще звал на помощь?

Может, Лжец и выглядит никчемной бородавкой на фоне многих прочих, но это самая хитрая и сообразительная бородавка во всем Броккенбурге, включая даже чирьи на многомудрой заднице господина бургомистра Тоттерфиша. Единственное, что его интересует — возможность избежать домика на Репейниковой улице и его обитателей, чокнутого старика и безумного демона. Отцепившись от сестрицы Барби, отправившись в самостоятельное плавание, Лжец не только ничего не терял, он многое приобретал — он приобретал новую жизнь!

Он не стал бы проклинать сук из «Сестер Агонии», не стал бы им дерзить или звать на помощь. Лжец — самая хитрая маленькая бородавка в этом городе, именно потому он дожил до столь преклонного возраста, когда недоумки вроде Мухоглота превратились в подкормку для цветов.

Добрый день, прелестные дамы, сказал бы он ведьмам. Меня зовут Вальтасар, я гомункул закройщика из Нижнего Миттельштадта. Вижу, вас интересует эта особа с лицом, похожим на скверно пропеченный пирог? Я буду рад поведать вам многое о ее привычках и манерах, если вы возьмете на себя труд сопроводить меня в «Сады Семирамиды» или любую другую лавку, где торгуют гомункулами, на свой вкус. Эти усилия ничего не будут вас стоить, но сделают каждую из вас, прекрасные юные фройляйн, немного богаче...

Барбаросса ощутила, как Цинтанаккар, съезжившийся колючей горошиной под печенкой, сладострастно ворочается в своем мясном ложе, с удовольствием впитывая ее злость и отчаяние.

Лжец, без сомнения, будет счастлив вернуться в лавку, к своим товарищам, и неважно, что за лавка это будет — роскошное заведение с розовощекими ангелочками, законсервированными в бутылках, заведение средней руки сродни «Садам Семирамиды» или грязная забегаловка на окраине Миттельштадта, где на полках можно найти одних только колченогих уродцев. Чем бы ни заставлял его заниматься старик на втором этаже своего уютного дома на Репейниковой улице, даже темная полка в забытой Адом лавке после него должна показаться Лжецу королевским дворцом...

Он сам же их и подозвал, дура набитая.

Вспомни, это он обнаружил слежку. Это он заставил тебя оставить его у крыльца — сделав вид, что испытывает страх перед демонологом.

Он попросту сменил тебя, Барби. Как спешащий ездок мешает загнанную лошадь на

парочку свежих. Он бросил тебя в когтях Цинтанаккара, оплатив тебе предательством за то предательство, которое намеревалась совершить ты сама. Он стал свободен. А ты...

Ты в большой беде, крошка.

Барбаросса зарычала, ударив ногой по коновязи. Совершенно бессмысленное действие, но сейчас она думала только о том, как выплеснуть снедавшую ее ярость, чтоб та не испепелила ее изнутри. От третьего по счету удара деревянная коновязь треснула, едва не подломившись у основания, от четвертого переломилась пополам.

Ей нужен этот гомункул. Не для того, чтобы задобрить профессора Бурдюка — нахер профессора со всеми его карами! — чтобы уцелеть в когтях Цинтанаккара. Никто кроме этого мелкого выблядка не знает так много о сиаемском демоне, никто не знает так хорошо его хозяина, никто не обладает таким въедливым и дотошным умом, как этот мелкий опарыш в банке. Кроме того...

Возможно, мне нужны не только его знания, неохотно подумала Барбаросса, силясь задавить злость, клокочущую в перетянутой обручами груди, не только его опыт по части общения с демонами. Мне нужна его рассудительность, его ум, его язвительное спокойствие. Если бы не он, я бы уже не раз расшибла себе лоб, пытаясь взять напролом очередное препятствие, раскроив нахер череп как пустую табакерку...

Без его помощи оставшиеся в ее распоряжении три часа истают, как тонкая свеча, не успеешь и опомниться. У нее нет знакомств в нужных кругах, нет могущественных должников или сведущих чародеев, нет капитала и средств. У нее ничего нет, кроме опустошающей ярости, но, лишенная направления и цели, эта ярость скорее убьет ее саму, чем станет средством для спасения.

Ей нужна чертова смышленная бородавка, чтобы найти оружие против Цинтанаккара. Нужна — и точка. И она вернет ее, даже если для этого придется пожертвовать временем из своей сдувшейся мощны.

«Сестры Агонии» поджидали ее через дорогу, устроившись за невысокой изгородью. Барбаросса пулей бросилась туда, не обращая внимания на окрики кучеров, дорогу которым она перебегала, и досадливое ворчание прохожих, которых она, не замечая, расталкивала плечами.

Здесь. Они сидели здесь, пока ждали ее. Значит, могли оставить после себя след. Какой-нибудь неброский, полустершийся, но отчетливый, как дорожный указатель. Может, театральный билетик или счет из трактира или...

Барбаросса жадно принялась изучать следы, едва не опустившись на колени, точно охваченная охотничьей лихорадкой ищейка. И, конечно, ничего не нашла, не считая шелухи от орешков — эти суки щелкали орешки, следя за ней! — фантика от конфеты и пары едва заметных следов от башмаков. Ни разорванных на клочки записочек, ни оброненных амулетов, ни заговоренных колец, ни прочих следов, которые обыкновенно оставляют на сцене театральные злодеи, обдывая свои делишки.

Черт! Будь на ее месте ведьма, которую Ад наделил пристальным вниманием к деталям, возможно, она обнаружила бы еще что-то, но здесь была только она — снедаемая адской яростью сестрица Барби, ни хера не видящая дальше своего носа. Будь здесь Котейшество или даже Саркома или хотя бы Гаргулья с ее странно устроенным, но чертовски эффективным звериным чутьем или...

Или обер-демонолог дрезденского полицайпрезидиума Петер фон Фальконе, мрачно подумала Барбаросса, разглядывая свои бриджи, перепачканные уличной грязью,

непревзойденный сыщик, способный раскрыть любое преступление ровно за тридцать минут — ровно столько длится интермедия между актами в театре. Обычно она терпеть не могла интермедии, эти бесхитростные истории, нужные обыкновенно лишь затем, чтобы актеры за сценой успели перевести дух между действиями, облачиться в новые костюмы и перетащить декорации. Но не могла не признать, что некоторые из них были чертовски неплохими.

Петер фон Фальконе, обер-демонолог на службе короны, являлся на сцену без огненных сполохов и протуберанцев — театры всегда экономили на интермедиях реквизит — облаченный в дешевого кроя камзол, такой потертый, что стыдно было бы надеть даже в трактир, а ездил непременно в плохонькой дребезжащей карете, тоже не соответствующей ему по статусу. Да и на сцене он вел себя, точно записной болван, назначенный в обер-демонологи прямо из полотеров. Покуривая свою неизменную вонючую трубку, он задавал актерам, играющим злодеев, никчемные дурацкие вопросы, старательно морщил лоб, вынуждая зрителей из зала хором кричать ему подсказки, рассеянно бродил вдоль сцены... И это демонолог, который должен отличаться адской прозорливостью!.. Не знакомые с его манерой вести расследование зрители, впервые наблюдающие такого рода интермедии, негодуяще улюлюкали и свистели, но специалисты, обитавшие на галерке, лишь понимающе посмеивались в бороды, зная дальнейший ход событий.

Все это было ловким трюком, игрой на публику. В правой глазнице обер-демолога находился не глаз, а выточенная из подземного кварца бусина, внутри которой помещался укрощенный демон из свиты архивладыки Аима, обладающий способностью видеть людей насквозь и чують ложь. Достаточно было зазевавшемуся злодею лишь единожды сплеховать, ляпнув лишнее слово, как этот демон просыпался и запускал когти в его душу, причиняя немислимые страдания и шаг за шагом вытягивая правду. Ох и роскошное это было зрелище! Великосветские княгини рыдали как побитые шлюхи, когда он заставлял их покаяться в отравлении собственных наследников, герцоги и графы закалывались кинжалами, стоило только Петеру фон Фальконе, императорскому демонологу, невзначай достать из кармана потертого камзола их векселя или подметные письма...

Барбаросса кинула взгляд вокруг, будто в самом деле желала убедиться, что по улице не катится неприметная дребезжащая карета Петера фон Фальконе.

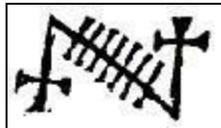
Херня это все. Даже если бы прославленный обер-демонолог возжелал прибыть в занюханый провинциальный Броккенбург, чтобы помочь никчемной ведьме, он никак не смог бы этого сделать. Как минимум потому, что давно был мертв. Все театральные интермедии, повествующие о его расследованиях, были фальшивкой от начала и до конца. Выдумкой. Чем-то вроде бесконечных миннезангов, что любят сочинять во славу полюбившихся героев — и плевать, если герой давно превратился в липкий, упрятанный под землю в большой коробке, тлен.

Настоящий Петер фон Фальконе умер несколько лет тому назад в своей резиденции в Потсдаме. Говорят, в какой-то момент демон, прятанный в его глазу, настолько пресытился человеческой ложью, которую вынужден был впитывать годами, что кварцевая бусина в конце концов лопнула прямо в глазнице, выпустив заточенного духа напрямиком в череп хозяина. Тот продержался секунд пять или шесть, видно, и в самом деле был не последним в империи демонологом, а после голова его разлетелась как хрустальная ваза.

Впрочем, участь великого демонолога оказалась много лучше участи тех лжецов и убийц, которых он успел прищучить. Душа его отправилась в Ад, но не сгорела так, как мириады прочих, а обрела лучшую участь, по крайней мере, так говорят слухи.

Будто бы при жизни он повеселил стольких адских владык, вскрывая ложь и чужие пороки, что удостоился чести быть зачисленным в свиту одного из них на правах герольда, вестника для особых поручений и страшных новостей. Будто бы отверг предложенные ему почести и титулы, сохранив даже в Геенне Огненной свое привычное тело, немощное и жалкое даже по человеческим меркам, облаченное в потертый серый камзол. Будто и теперь где-то среди бушующих морей из раскаленной ртути, среди вздымающихся адских дворцов из висмута, бронзы и иридия, сквозь крики сонма мучимых душ можно расслышать его негромкий насмешливый голос — и даже самые могущественные адские владыки бледнеют, обнаружив его на своем пороге, непринужденно курящим свою дешевую вонючую трубку...

Черт, даже если бы здесь в самом деле показался хваленый Петер фон Фальконе, в живом обличье или в мертвом, он и то не смог бы найти направления, в котором сбежали суки со Лжецом. Это Броккенбург, блядская гора, в которой направлений больше, чем ходов в муравейнике! «Сестренки» могут сидеть в ближайшем трактире, обмывая свою добычу, но с тем же успехом могут сейчас мчаться во всю прыть к своему замку или отсиживаться в какой-нибудь норе, опасаясь погони... Или отсасывать друг дружке за ближайшим углом, мрачно подумала Барбаросса.



Она со злостью растоптала никчемные следы башмаками, позволив резвящемуся над улицей Эбру подхватить пыль и унести ее прочь вместе с ореховой шелухой и конфетным фантиком.

Дьявол!

Только сейчас, стоя посреди улицы, растеряно озираясь, она в полной мере ощутила ту пустоту, которая образовалась в душе с исчезновением гомункула. Пустоту, которую так долго предвкушала, но которая по какой-то причине не принесла ей облегчения, напротив, казалась сосущей, неприятной, давящей. Точно ее утроба оплакивала какой-то важный, покинувший ее, орган...

Черт!

Барбаросса рыкнула, досадуя на себя, не понимая причины той мучительной пустоты, что сконденсировалась в ее подреберном пространстве. Весь этот блядский бесконечно тянувшийся день она была прикована к банке с гомункулом, точно картожник к пушечному ядру, мучилась им, мечтая швырнуть в придорожную канаву или растоптать. Она изнывала под гнетом его ядовитого сарказма, мало того, вынуждена была прятать от него, крошечного соглядатая, собственные мысли, выслушивать никчемные истории о его собратях, терпеть едкие комментарии и остроты на счет своей сообразительности и внешности...

Черт, расставшись с этим выблядком, ей впору танцевать посреди мостовой! Танцевать отчаянно и зло, как пляшут в аду мучимые души, вкладывая всю душу, как танцуют суки в Вальпургиеву ночь, отмечая еще один прожитый в Броккенбурге год, как танцуют ландскнехты на площадях объятых пламенем городов...

Но танцевать не хотелось. Воцарившаяся внутри пустота казалась тяжелой и плотной, давящей, высасывающей воздух. Как будто в бальной зале, подумала Барбаросса, после того, как оркестр смолк, публика разошлась, свечи потухли и воцарилась мертвая тишина, нарушаемая лишь шелестом ткани — это великосветские развратницы, торопливо оправляя на себе платья, осторожно выбирают из альковов, где украдкой терзали друг друга во

время бала...

Больше не было сочащегося едким сарказмом голоса в ее голове, подсказывающего, увещевающего и насмешничающего. Не было маленького злокозненного сверчка, который видит все твои помыслы и грешки. Она снова была представлена себе самой. Одиношенька перед лицом Ада — и целого мира. Перед паскудным ликом Броккенбурга, древнего чудовища. Как тогда, три года назад. Когда она была не Барбароссой, внушающей трепет и почтение «батальеркой», грозой беспечных шлюх, а перепачканным злым существом с затравленным взглядом и ободранными до мяса кулаками, яростным как молодой демон, распространяющим вокруг себя едкую вонь угольных ям Кверфурта — запах, которым ее душа пропиталась настолько, что унесет с собой даже в адскую бездну, когда придет срок...

Барбаросса оскалилась, не замечая перепуганных гримас на лицах прохожих. Все как в старые добрые времена, а? Ни союзников, ни денег, ни оружия. Ни плана, ни надежды, ни помощи. Одна только крошка Красотка, покоряющая Броккенбург, ни хера не знающая об адских течениях, что текут здесь, в тоще горы, о смертельных опасностях, о всех здешних демонах, веками лакомящихся костями юных созданий, по какой-то прихоти считающихся ведьмами. Крошка Красотка со смертоносным семечком, прорастающим в груди, готовым разорвать ее на части и сожрать...

Ей определенно стоит что-то предпринять, пока не стало поздно. Беда в том, что она совершенно не знала, что.

Некоторые пустоты, образовавшиеся в каменной тверди, можно не замечать, как городской магистрат годами не замечает гнезда сфексов и прочей дряни, обживающейся под городом, но эта пустота оказалась чертовски неприятной, давящей, выматывающей душу. Похожей на пустоту лекционной залы, в которой ты обречена вечно сидеть, ожидая кого-то, подумала Барбаросса, отказываясь признавать, что никто так и не придет за тобой... Большая пустая лекционная зала, наполненная спелым ноябрьским солнцем, запахом мела и дерева, шорохом старых рам...

Барбаросса резко развернулась на каблуках, не зная, в какую сторону бежать.

Лишившись Лжеца, она ощущала себя кораблем без навигационных приборов и штурмана, скорлупкой, бесцельно пляшущей в волнах штормящего моря. Нет ни лоций, ни курса, ни крохотного огонька на берегу, указывающего цель. Нет ничего кроме грозных волн, перекатывающих через палубу и грозящих сломать хребет, кроме воющего в снастях ветра, терзающего в клочья паруса...

Ей нужен этот мелкий выблядок.

Барбаросса едва было не стиснула кулаки, позабыв о том, во что превратились ее пальцы.

Она уже испробовала все трюки, до которых могла додуматься — использовала во вред себе, ровным счетом ничего не выиграв. Она ни хрена не знает ни о Цинтанаккаре, блядском сиаемском демоне, ни о его хозяине, выжившем из ума старике. Но Лжец знает. И знает, несомненно, куда больше, чем успел ей выложить. Блядь. Барбаросса по-волчьи зарычала, меряя мостовую нетерпеливыми злыми шагами — совсем не такими, какими полагается двигаться человеку, познавшему науку дестрезы, осторожными и выверенными.

Этот мелкий ублюдок хитрил с самого начала. Она не замечала этого, поглощенная своими мыслями, а зря. Он играл роль союзника, однако осторожничал с первой минуты, нарочно держа карты под столом, как записной шулер, выкладывая лишь по мере

необходимости. И не от скромности — о нет. Многое сведущий о демонах и людях, этот комок скорченной несуразной плоти отлично понимал, стоит ей избавиться от Цинтанаккара, когтями сдавившего ее шею, как его собственная полезность мгновенно делается равной нулю. Он потеряет защиту, которую давало ему положение ее союзника, отдаст себя в полное ее распоряжение. Вот почему он не спешил, предлагая пути спасения, выжидал, не торопился... Мудрая, чертовски мудрая бородавка. Он знал что-то — знал куда больше, чем стремился рассказать. Теперь понятно, отчего. Он попросту тянул, изыскивая путь для бегства, тянул, пока не нашел его...

Барбаросса коротко рыкнула, пытаясь удержать в узде клокочущую внутри ярость, тянущую ее бежать невесть куда.

Спокойно, сестрица, укороти повод. У тебя больше нет кулаков, которыми ты привыкла орудовать, значит, придется использовать ту штуку, что болтается у тебя на плечах и зовется головой. Проверь, может туда, занесенная шальными ветрами Эбра, забралась какая-нибудь удачная мысль?..

Время. Ей надо знать, сколько времени осталось в ее распоряжении.

На здешних домах не было видно часов, и неудивительно. Но по пути к дому демонолога Лжец обронил — три часа и три четверти. Значит, сейчас в лучшем случае осталось три с половиной, а то и три с четвертушкой. Чертовски скромный запас.

Барбаросса едва не застонала, ощущая, как Цинтанаккар неспешно ворочается в своем логове, свитом у нее в требухе. Уже очень скоро он вылезет наружу за кормежкой — и в этот раз его не удовлетворит десяток-другой пальцев, в этот раз он потребует себе изрядную порцию — с подливкой и хорошим соусом... Хорошую порцию сестрицы Барби...

Барбаросса стиснула зубы, стараясь злостью пережечь разливающийся внутри страх.

Три часа могут показаться вечностью, когда самозабвенно дронишь себе, развалившись в койке, или дремлешь на учебной скамье, не пытаясь вслушиваться в доносящееся с профессорской кафедры бормотание. Но они же могут показаться и мгновеньем, пролетающим сквозь пальцы, точно проворная мошка. Если она потратит это время, бегая вслепую по городу, надеясь невесть на что, пикнуть не успеет, как драгоценные минуты изойдут пеплом, трухой, тленом. Ей не к кому бежать, некого просить о заступничестве, некого молить...

Ей нужен этот блядский гомункул.

С его неказистым сморщенным тельцем, распираемым не успевшими сформироваться потрохами и заспиртованной ватой. С его непомерно раздувшимся самолюбием, таким большим, что едва уместается в банке. С его мерзким и тяжелым чувством юмора, которое он привык использовать в качестве оружия, безжалостно разя всякого встречного. С его паскудными секретиками и грязными тайными, сидящими внутри вздувшейся, как несвежий фрукт, головешки.

Он — единственный, кто мог наблюдать за Цинтанаккаром за работой. Он — единственный, кто пережил четырнадцать его предыдущих трапез. А еще он хорошо знает старика, который надел на демона узду, и это тоже наверняка чертовски важно. Если ключ к спасению существует, он в этом крошечном уродливом существе.

Барбаросса тряхнула головой, чтобы привести мысли в порядок. Мир, расступившийся было перед ней умопомрачительным количеством зыбких троп, сделался прост и понятен, как ему и надлежало быть.

Значит, она найдет его, вот и все. Выследит сук, осмелившихся наложить руки на ее

гомункула и вернет свою собственность обратно. Неважно, переметнулся Лжец на их сторону по доброй воле или нет, она вновь заставит его работать на себя.

Барбаросса удовлетворенно кивнула сама себе.

Простой и понятный план, почти изящный в своей простоте. Как все планы сестрицы Барби, простые и изящные, как нож. Панди бы его одобрила. Никто не смеет воровать у сестрицы Барби, особенно то, что однажды уже было украдено. Уж точно не ушлые скотоебки из «Сестер Агонии».

Осталось только выследить похитительниц, а это, черт возьми, может оказаться не самой простой задачей. Она не знала, в какую сторону удалились эти суки и как давно. Какую тактику избрали и как будут действовать. Может, стремясь поскорее убраться прочь, они прыгнут в наемный экипаж и будут трястись пока не окажутся на другой стороне Броккенбурга. Или, напротив, затаятся, используя для этого какое-нибудь секретное, как раз для таких случаев предназначенное, лежбище. А может, беззаботно празднуют победу, опрокидывая в глотки кружки с вином...

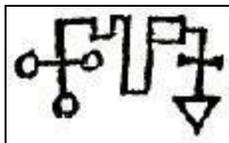
Барбаросса осклабилась.

Коли Ад при рождении наделил тебя зубами волкодава, нет смысла воображать себя ищейкой. Она не ищейка, а создание совсем другой породы. Но перепуганные горожане не случайно спешат отойти с ее пути, опасливо касаясь пальцами спрятанных под одеждой амулетов. И злой шепот не случайно провожает ее вдоль улиц, почти заглушая тягучую песнь ноябрьского ветра. Она — ведьма. Цинтанаккар на этот день отщипнул от ее мяса немало кусков, но ее ведьминское чутье все еще осталось при ней. Не самое чуткое на свете, допустим, не самое безошибочное, однако все еще рабочее и по-своему надежное.

Она провела в обнимку с чертовой банкой так много часов, что едва не срослась с ней. Неудивительно, что их со Лжецом ауры успели прикипеть друг другу — в достаточной степени, чтобы он легко ощущал ее выплеснутые наружу мысли, а она в свою очередь чувствовала его настроение. Они ближе друг другу, чем ей бы хотелось признавать. И это чертовски удачно, когда пытаешься найти кого-то по следу. Ведьминское чутье, может, не самый точный навигационный прибор, но оно способно улавливать возмущения в магическом эфире, а значит, она может ощутить в клокочущем вареве магического эфира оставленный Лжецом зыбкий, хорошо знакомый ей след...

Барбаросса заставила себя отрешиться от уличного шума. Прикрыла глаза, сосредоточилась, пытаясь мысленно приглушить скрип едущих мимо повозок и перхание чужих плотов. Сейчас ей нужны совсем другие звуки. Надо унять мысли, превратить собственное восприятие в туго натянутую струну, улавливающую колебания воздуха и...

Лжец, мысленно позвала Барбаросса. Лжец! Отзовись, никчемный выкидыш!



Дьявол. Она уже и забыла, каково это — нырять с головой в магический эфир.

Забыла, до чего плотно этот блядский город, веками пожирающий трижды проклятую гору, наштигован магией во всех ее формах, от простых и бесхитростных до опасных и непредсказуемых. До чего много здесь трещин, сквозь которые просачиваются адские энергии, до чего много беспокойных гостей из Преисподней с их проклятыми и благословенными дарами...

Магический эфир Броккенбурга бурлил, как похлебка у нерадивой стряпухи, исторгая во

внешний мир тысячи и тысячи сигналов на всех возможных частотах, некоторые из которых были ей хорошо понятны и знакомы, как уличные фонари, другие же казались искаженными, причудливыми или пугающими, оставленными существами, с которыми она никогда не хотела бы встретиться, или вещами, которые не хотела бы взять в руки.

Барбаросса выругалась сквозь зубы, почувствовав, как пульсирующая в черепе сила мягко, но сильно сдавливает виски, а глазные яблоки, хоть и прикрытые веками, начинают стремительно пересыхать. Один источник чар может показаться неярким пятнышком в ночи, но когда их делается много, ничего не стоит выжечь себе нахер глаза, особенно если пялиться на них как франты в «Серебряном Пунше» пялятся на грациозных едва одетых суккубов, алчно грызущих окровавленные кости на сцене. Нет, смотреть надо осторожно, как бы из-под век, используя тонкую ведьминскую науку, особым образом фокусируя внимание...

Но даже так у нее быстро начало гудеть в голове.

Чертов Миттельштадт! Она и забыла, до чего плотно здешняя материя проникнута адскими энергиями, усеяна чужеродными занозами и вкраплениями, до чего много скапливается здесь продуктов разложения и распада. Низовья горы на протяжении веков щедро удабривались отходами алхимических мастерских и лабораторий, стекающими с вершины, но, будто одного того мало, здешние обитатели с великой охотой использовали адские дары везде, где только могли, будто пытаясь переплюнуть друг друга, и плевать, что большая часть их заговоренных амулетов и побрякушек, которыми они кичатся друг перед другом, куплена в Руммельтауне, у неизвестных торговцев, а прирученные демоны, обитающие в их домах, связаны не заслуживающим доверия патентованным специалистом, а первым попавшимся пидором, имевшим наглость именовать себя демонологом.

Черт, глядя на рассыпающиеся вокруг нее пятна магических возмущений, можно было понять, отчего человеческая алчность считается в Аду изысканной драгоценностью, гранеными осколками которой адские владыки инкрустируют свои регалии. Обычный бургер, обитающий в Нижнем Миттельштадте, может носить на ремне кошелек, пустой как мошонка у скопца, но, будьте уверены, он не выйдет за порог без пары зачарованных шпор, издающих при ходьбе мелодичный звон. И уж конечно он заведет себе зачарованную табакерку, зачарованные жилетные часы с трудолюбивым демоном, зачарованную булавку для галстука...

Она видела до хера таких хлыщей, причем именно здесь, в самой низинке. Иные из них едва передвигались — ядовитый фон из дешевых чар выедал их нутро подчистую, по разваливающемуся на ходу телу шмыгали мелкие адские исчадия, вольготно использующие его истончающуюся оболочку как собственный дом, но они, казалось, не замечали этого, а если бы и заметили, нипочем не отказались бы от своих сокровищ. Никчемные тупицы. Именно в том и заключено проклятие адских сокровищ — единожды взяв в руки хотя бы крохотную их частицу, почти невозможно с нею расстаться, напротив, она разжигает в человеке жажду, которую подчас невозможно унять. Губительную жажду, приводящую зачастую к мучительной смерти.

Котейшество говорила, что как-то видела в Нижнем Миттельштадте страшную старуху, кокетливо кутавшуюся в кружевные мантильи. У старухи давно провалился от сифилиса нос и выглядела она как несвежая курица, но на мантилье у нее была брошь, позволявшая ей смеяться чистым и мелодичным смехом, а истлевшие волосы украшены заколкой, дух внутри которой нашептывал ее кавалерам на ухо всяческие скабрёзности. Таких красавиц нынче

хватает в любой подворотне — пучок на грош...

Черт, да сколько их здесь!..

Колочая беспокойная искра, пульсирующая в тяжелом металлическом сосуде за стеной — демон по имени Арминброхауэттэр, ничтожный мелкий дух, заключенный в печь и неразборчиво бормочущий что-то в груди золы. Изловленный когда-то прославленным демонологом Максом Брауном из Франкфурта-на-Майне, он преданно служил своим новым хозяевам семнадцать лет, но служба его приближалась к концу. Давно не подновляемые адские письма на печных патрубках порядком истерлись, меоноплазма, из которой состоит его пульсирующее тело, наполовину испарилась. Неудивительно, что вместо жара несчастный Арминброхауэттэр исторгает из себя едва теплое дуновение вперемешку с вонью рыбьих потрохов. Уже совсем скоро его брезгливо вышвырнут прочь, заменив более усердным и юным существом, но пока он отчаянно шипит, сиюсь выдавить из своего немощного тела хоть толику тепла...

Две тусклые искры, медленнодвигающиеся по улице в людской толчее — парочка плотоядных близнецов из огромного семейства Раубивара. Для обычного человека они выглядят точно потертые мужские запонки из слоновьей кости, но достаточно сосредоточиться, чтобы увидеть их извивающиеся узловатые тела, опутавшие запястья ничего не подозревающего человека. Возможно, этот несчастный купил запонки в какой-нибудь лавке, из-под полы торгующей амулетами или, как многие другие, был обманут ушлыми торгашами Руммельтауна, уверявшими его, будто эти запонки подарят его лицу здоровый цвет. Может, и подарят — демоны обыкновенно весьма ответственно относятся ко своим обязательствам — да только взыщут с него свою цену. Уже сейчас видно, что кончики пальцев у мужчины побагровели и вздулись — это демоны-близнецы запустили в них свои невидимые, тонкие как волосы, зубы, высасывая из них кровь и лимфу. Жадные твари из семейства примитивных паразитов. Не пройдет и месяца, как этот несчастный, польстившийся на адские побрякушки, будет скулить от боли, а его кисти превратятся в жуткие гангренозные наросты, пульсирующие болью и гноем.

Ад взysкивает свою цену за право доступа к своим сокровищам, ты, никчемный франт. И если цена кажется тебе небольшой, то вовсе не потому, что адские владетели решили устроить благотворительную распродажу...

Большие и малые, старые и молодые, дерзкие и степенные — адские сущности вокруг Барбароссы жили своей жизнью, ни в малейшей степени не интересуясь вниманием ведьмы к своей персоне — у каждой из них были свои заботы, подчас не менее важные, чем заботы обитателей Нижнего Миттельштадта, каждая выполняла какую-то свою работу.

Заговоренная подкова на рысящей мимо лошади — внешне почти не отличимая от прочих, но покрытая мелкой вязью адских сгиллов размером с блоху. Будь здесь Саркома, она наверняка нашла бы повод для смеха — эта подкова выглядела совершенно невзрачно, но, хоть о том наверняка не догадывается даже кузнец, ее подковавший, стоит в десять раз больше и лошади, в чьем копыте она сидит, и всего экипажа. Эта подкова старше многих окрестных домов, она видела мир еще триста лет тому назад. Подкованная к боевому коню, она принимала участие в печально известном сражении при Брейтенфельде и трижды проламывала вражеский череп, оттого хорошо знает человеческую кровь на вкус...

Старый заварочный чайник из пожелтевшего от времени мейсеновского фарфора. Расписанный прелестными синими цветами, он выглядит изящной игрушкой, но внутри него скрывается изнывающее от злости существо. Крохотный безымянный демон, заточенный в

фарфоре, сам кипит от ярости — недалекая служанка последние недели обращается с ним без всякого почтения, не считает нужным вовремя протирать, мало того, постоянно убирает в темный буфет, мешая греться в лучах осеннего солнца. Он уже решил ошпарить этой суке лицо в следующий раз, когда она возьмет его в руки, и лишь выжидает подходящий момент...

Железный гвоздь, вбитый в притолоку трактира, совсем неказистый гвоздь, если не считать пары едва видимых символов на шляпке. Этот гвоздь тайком вбил заезжий демонолог из Граца, которому подали вчерашнее жаркое, так ловко, что никто из obsługi даже и не заметил. Гвоздь крохотный, не толще сапожного, а существо, сидящее внутри, еще меньше, только ведьма и разглядит, но оно усердно и живуче, как чумная крыса. Каждого, вошедшего в трактир, оно наделяет несварением желудка и коликами, а рыжих еще и зубной болью в придачу...

Игрушечный солдат, вырезанный из ясеня, покрытый лаком, точная копия гаккапелита Густава Горна с гербом Снежного Короля на груди. Не имеющий никакого механизма внутри, одного только крошечного адского духа, игрушечный солдат умеет хмуриться, маршировать с пикой наперевес и изрыгать шведские проклятия, кроме того, иногда он оглушительно хохочет и выпускает струи табачного дыма через рот и нос. Опасная игрушка. Барбароссе приходилось слышать, будто некоторые такие солдатики темной ночью могут напасть на ребенка в колыбели, задушив его или перекусив тонкие вены...

Музыкальная шкатулка, стоящая на подоконнике распахнутого окна. Демон, пробуждающий магию музыкальных кристаллов, преобразующий ее в прелестные звуки, текущие через медный раструб, может показаться флегматичным и неспешным, но зубы у него из холодной синей стали, а глаза горят в полумраке тяжелыми искрами. Злое, вечно голодное существо, которое невесть какими силами удалось заточить в музыкальной шкатулке. Если кто-то неосторожно попытается выключить ее прежде чем стихнет песня, то расстанется с пальцами — а может, и со всей рукой...

Барбаросса ощутила, как по лбу катится пот. Даже минута такой концентрации стоила ей немалых сил, глаза начинали чесаться и зудеть от бесчисленного множества магических сполохов, усеявших город вокруг нее. Каждый из них был лишь огоньком в ночи, но чем дольше она смотрела, тем больше этих огоньков пульсировало вокруг нее. Целый чертов бездонный океан...

Большие и малые, апатичные и жизнерадостные, трудолюбивые и злонравные, эти адские отродья обосновались в мире смертных так же легко, как у себя в Геенне Огненной и, казалось, не испытывали ни малейших неудобств от своей новой жизни. Иногда Барбароссе достаточно было одного взгляда, чтобы прочесть их имена и обнаружить склонности.

Урагонвламвлок, пятый в династии Йоргадонов, живущий внутри прогулочной трости. Днем он благопристойно стоит в углу, не обращая внимания на гуляющих по набалдашнику мух, а вечером сопровождает хозяина на прогулке, которая почти всегда заканчивается в публичных домах Фотзештрассе. Хозяин Урагонвламблока стар и немощен, его естество уже не служит ему так хорошо, как в молодости, поэтому Урагонвламвлок зачастую выполняет всю работу сам, и выполняет ее чертовски хорошо, потому что шлюхи, которых он ублажает, по-звериному стонут, а хозяин каждую неделю отдает его в мастерскую для полировки льняным маслом...

Барбаросса попыталась сосредоточиться, несмотря на тяжелый гул в висках.

Брольвирон Пятый, младший барон Фнутц, обитает внутри хозяйского буфета, оберегая

его содержимое от мышей и воровитой прислуги. Он гордится своей работой, которую выполняет безукоризненно на протяжении многих лет, но мало кто знает, что под личиной строгого мажордома скрывается проказник. Ночами он тайком ловит мышей и выжимает их кровь в бутылки с хорошим вином, а после незаметно смеется, наблюдая за тем, как люди лакают эту дрянь...

Барбаросса сплюнула, не заметив, что плевок угодил ей на башмак. Черт, не то, не то...

Вагмонатаг из свиты лорда Броннора, властитель эйсшранка, огромного морозильного шкафа. Исполненный достоинства, даже немного надменный, он выполняет свои обязанности как положено хорошо вышколенному слуге, с такой беззаветной преданностью, будто хранит в своих недрах, похожих на огромный стальной саркофаг, не хозяйские сыры и паштеты, а сокровища королевского рода Веттинов. Никто не знает, что однажды, когда служанка отлучилась, он нарочно распахнул свои недра перед ползающим по полу трехлетним хозяйским сынишкой и заманил его внутрь блеском разноцветных консервных банок. Когда кто-то догадался отпереть дверь, тот уже был мертв — превратился в ледышку. Хозяева сочли это трагической случайностью — известно что бывает, когда детям позволяют играть с вещами, для игр не предназначенными. Вагмонатаг не стал разубеждать их в этом — даже если бы мог. Он, как и прежде, безукоризненно выполняет свою работу, но лишь некоторые замечают, что стоит кому-то из детей приблизиться к нему во время игры, как гул его меняет тональность, делаясь будто бы вкрадчивым и манящим, а никелированная ручка на его двери мелко подрагивает, будто бы маня положить на нее руку...

Барбаросса ощутила тягучую винную изжогу. В виски словно вворачивали тяжелые стальные хольц-шraubы. Слишком много... Она и забыла, сколько дряни растворено в магическом эфире Броккенбурга... Сколько дьявольских созданий коптит небо, выполняя человеческие прихоти и грязную работу...

Черт... Если Лжец вынужден жить в этом океане, удивительно, отчего он еще не рехнулся, как тот его приятель, что жрал себя заживо!..

Могглолотт Безупречный. От одного только мысленного прикосновения к его шипастой зло колеблющейся ауре делается дурно — будто засунула руку в расколотый гроб, полный

мертвой, но все еще дрожащей плоти. И неудивительно. Это не просто слуга, мелкий бес, изловленный хитроумным заклятием демонолога и вытащенный в чужой для него мир, это опасная кровожадная тварь, выведенная для войны, злобная, как гигантская человекоподобная оса и опасная как сорок тысяч ножей. На протяжении двухсот лет он беспрестанно воевал в числе демонических легионов, сокрушая твердыни смертных правителей в бесчисленном множестве войн и осад. Он пировал чужой кровью на стенах обреченного Заальфельда, потрясая гроздьями человеческих языков, которые носил подобно ожерельям. Он выл от восторга на объятый пламенем палубе «Шарнхорста», разрывая в клочья британские абордажные партии. Он сладострастно стонал, впитывая сладкие запахи мертвечины при Нев-Шапель и Изонцо. Он совершил бы еще тысячи убийств по славу адских чертогов, если бы какой-то безвестный прусский демонолог, мимоходом оскорбленный им, щелкнув пальцами, не заключил бы его в прелестную женскую брошь, внутри которой он, мучимый кровожадной похотью, не остался бы заточен на протяжении многих лет. Он и сейчас там, в толще безвкусно ограненного аметиста, украшает оплывшую жиром шею престарелой бюргерши, но тысячи его когтей все так же нетерпеливо дрожат,

ища хотя бы малейшую шелку в его темнице, и когда найдут...

Барбаросса с трудом перевела дух, открыв глаза. Невозможно. Немыслимо. Наверно, надо родиться гомункулом, быть вырванной из материнского чрева до срока, чтобы научиться ориентироваться в бурлящем магическом эфире, сверх всякой меры насыщенном излучениями адских существ и энергий. Она определенно ощущала слабый след присутствия Лжеца, похожий на отголосок его голоса — слабое, заблудившееся меж домов эхо, но распознать, куда он направился, было свыше ее сил. Быть может, если бы Котейшество или...

Барбаросса зло рыкнула, сделав еще несколько бесцельных быстрых шагов. Нет смысла призывать себе на помощь высшие силы, сейчас, здесь и сейчас, только она, сестрица Барби, а значит, надо рассчитывать только на себя, не уповая на заступничество.

Херня. Она никогда не найдет «Сестер Агонии», если те сами не вылезут на поверхность, точно ядовитые сколопендры. Будь у нее время, она, конечно, выкурила бы их из щелей. Три года в Броккенбурге — достаточный срок для того, чтобы обзавестись нужными знакомствами и умениями. Слово, пущенное по некоторым каналам здесь, небрежно сунутый в чужую ладонь талер там, пара намеков, обещаний, авансов... Беда в том, что у нее в запасе сейчас не три года, а три часа с небольшим — совсем не тот срок, за который можно подготовить военную кампанию против, мать его, целого ведьминского ковена.

Барбаросса вернулась к изувеченному ею крыльцу, не обращая внимания на отшатырающихся с ее пути прохожих.

Херня. Херня. Трижды херня. Если «Сестры Агонии» не ищут встречи, навязать им свое общество будет куда как непросто. Кажется, у них нет замка, а если бы и был — она еще не настолько рехнулась, чтобы штурмовать его в одиночку. Наверняка, у них есть логово — трактир, служащий излюбленным местом для встреч, или потайной схрон где-нибудь в Унтершгадте, но если она вздумает искать его вслепую, потратит свои три часа быстрее, чем ее папаша смог бы потратить три монеты в трактире...

— Ты пизда, Барби, — произнесла она вслух, — Скудоумная никчемная тупая пизда. Панди выпорола бы тебя только за то, что...

Фонари пронесшегося мимо со злым рыком аутовагена на миг выхватили из темноты ее силуэт, швырнув ей под ноги ее собственную угловатую тень, осветив ступени и кусок мостовой. Мостовая выглядела так же, как выглядела, должно быть, триста лет назад, когда блядский город еще не был сосредоточением злых чар и адских энергий, зато крыльцо...

Барби присела на корточки возле него, проклиная себя самыми последними словами, используя вперемешку словечки из лексикона голодных уличных шлюх, осатаневших юных ведьм и квартфуртских углежогов.

Ей стоило бы это заметить. Она бы и заметила — если бы не была ослеплена яростью и нетерпением. Если бы дала себе труд хотя бы изредка обращать внимание на что-то вокруг себя.

Над сооруженной ею дырой можно было разглядеть царапины — слишком аккуратные, чтобы быть случайным следом ее башмаков, слишком простые, чтобы быть адскими письменами. Тонкие, глубокие, они были оставлены ножом — чертовски острым ножом, судя по всему. И Барбаросса почти не удивилась, обнаружив, что складываются они в знакомые ей буквы — буквы, которые ей чертовски хотелось бы не распознать, но вырезанные безжалостно четко — «ХЕКСЕНКЕССЕЛЬ».



Ноги предательски задрожали — будто в каждую из них вселилось по беспокойному демону, которому не терпелось отправиться в путь. Барбаросса приструнила их, вонзив каблучки в брусчатку, иначе, чего доброго, эти сучки разорвали бы ее пополам, бросившись в разные стороны.

«Хексенкессель»? Серьезно?

Она не удержалась от смешка, оставившего во рту солоновато-сладкий привкус. Что-то подобное, наверно, испытывает королевская кобра, когда изготовилась кого-то укусить, но не успела. Благоухающий и резкий привкус яда.

Она машинально прочла выцарапанное на доске слово трижды — ХЕКСЕНКЕССЕЛІ ХЕКСЕНКЕССЕЛЬ. ХЕКСЕНКЕССЕЛЬ — будто надеясь обнаружить какую-то тайну пиктограмму, адский сигил или глиф, вносящий хоть немного смысла в это послание. Но, конечно, ничего не нашла. Послание было лаконичным до оскорбительности и состояло всего из одного слова. Ни тебе пожеланий крепкого здоровья, ни вопросов о самочувствии, ни даже пары кокетливых сердечек вместо подписи. Неудивительно, нож — даже превосходно заточенный — далеко не самая удобная писчая принадлежность.

Конечно, «сестрички» могли бы расщедриться и на более пространное послание.

«Здравствуй, милая Барби. Как ты поживаешь? Как здоровье у твоих престарелых тетюшек? Не болят ли у тебя кости перед дождем? Благоволят ли тебе адские владыки? Если ты не имеешь планов на вечер, мы будем рады предложить тебе свою компанию в «Хексенкесселе» и угостить чем-нибудь остреньким. Мы не станем присылать за тобой карету, но лучше бы тебе нанести визит поскорее — у нас твой гомункул и поверь, мы выжмем из него все, что ему известно про тебя, может даже то, чего ты не хотела бы никому поведать. Так что будет лучше, если ты примешь наше любезное предложение, пока мы не прибегли к более категоричной форме. Чмок-чмок!»

Барбаросса усмехнулась, бесцельно кружа вокруг крыльца.

Если бы послание составляли холеные «бартиантки» или чувственные «флористки», можно не сомневаться, именно в таких оборотах оно бы и было составлено. Но «Сестры Агонии» не стали чрезмерно утруждать себя — и это многое говорило об их колене.

И то добро, подумала Барбаросса, ковыряя носком башмака крыльцо. Если бы Лжеца стащили «волчицы» из «Вольфсангеля», они бы ограничились разве что кучей испражнений на крыльце — послание вполне в их духе...

«Хексенкессель»...

Не удержавшись, Барбаросса прочла это слово еще раз, в этот раз оценивая не смысл, который оно несло, а форму. И осталась довольна. Каждая буква была выписана аккуратно и четко, с идеально выверенным наклоном, хоть и весьма неказистой текстурой. Умелая работа и хорошо заточенный нож. Еще один признак того, что «Сестрам Агонии» куда привычнее было держать в своих шаловливых ручонках ножи, чем веретена, перья или прочие принадлежности, включая любезные их сердцам веера.

Вот только это послание — не приглашение на свидание, Барби.

Не будет ни букетика фиалок, ни слюнявых поцелуев, ни томных прогулок на рассвете, ни чужих пальцев, неумело барахтающихся у тебя в штанах. В такой манере приглашают не на свидания и не на деловые встречи...

В такой манере приглашают на резню, мрачно подумала Барбаросса, не в силах оторвать взгляда от выцарапанных букв, борясь с ощущением того, с каким удовольствием безвестная гравёрка начертала бы нечто похожее на ее собственной шкуре вместо трухлявого дерева. Вот только...

«Хексенкессель» — не то место, куда можно пригласить раздражающую тебя суку, чтобы сервировать ее надлежащим образом на дюжине тарелок из хорошего фарфора, украсив холодные губы чайной розой. На территории «Хексенкесселя» запрещены войны и вендетты. Как и «Чертов Будуар», он экстерриториален и запрещает обнажать оружие, не делая исключений ни для голодных сколопендр из Шабаша, выползших на свет, ни для старших ковенон с их благородными, как геморрой на королевской заднице, сестрами. Не потому, что милосерден. Милосердия в «Хексенкесселе» не больше, чем в старом пауке. Но если эта чертова гора по имени Броккен еще стоит на своем месте, извергая в мир миллионы тонн ядовитых отходов и чар, то только потому, что фундамент ее скрепляют традиции — перемешанные для прочности с костями юных сук, которых Броккенбург перемолол за последние триста лет...

«Хексенкессель» — это не просто гудящий всю ночь напролет трактир, в котором можно насосаться вина с белладонной до кровавых соплей. И не концертхаус, куда разряженные в кружева шляхи, мнящие себя великосветскими куртизанками, являются, чтобы насладиться изысканной музыкой. Не бордель, в котором ищут компанию для свальной оргии или удовлетворения противоестественных пристрастий. «Хексенкессель» — все это, вместе взятое и, в то же время, нечто совершенно отличное от всего этого.

«Хексенкессель» — храм удовольствия и невоздержанности. Гигантский алтарь, дарующий то, что в десять раз слаще опиума из притонов Унтерштадта и дороже драгоценных даров адских владык — дарующий забвение.

В «Хексенкесселе» всегда можно найти любую дурь — от невинного гашиша до крепко заваренной сомы и даже «серого пепла», который там охотно продают из-под полы в нарушение всех эдиктов. Мало того, на задворках, говорят, всегда можно найти сук, не брезгующих и «шрагемюзик», а уж это редкостная дрянь, по сравнению с которой даже крысиный яд покажется лакомством.

У «Хексенкесселя» нет ни фаворитов, ни изгоев, он радушно приветчает всех своих дочерей, не делая между ними различий. Неважно, явились они из каменных нор, в которых ютятся подобно жабам, или из роскошных замков, где спят на льняных простынях. Неважно, облачены они в рубище, много раз чиненное и зияющее заплатами, или в изысканные вечерние туалеты из тафты, органзы и шелка. Неважно, ходят ли они в любимчиках у всемогущих сеньоров или вынуждены унижаться, получая крохи их сил.

«Хексенкессель» даст тебе то, чего тебе не хватает, пусть всего на одну короткую ночь — блаженное забвение. Заберет твои тревожные мысли, опоив сладким ядом, от которого ты очнешься, разомлевшая и счастливая, в заблётанной канаве, без кошеля и без сапог где-нибудь на заднем дворе. Перепачканная чужой губной помадой, в разорванной нижней рубашке, с чужим перстнем на пальце, с полудюжиной свежих синяков на лице, с пустой табакеркой в кармане, со сладким ощущением упоительного и безмятежного счастья в груди...

Именно за этим юные бесправные суки стягиваются в «Хексенкессель» на протяжении многих веков — забыть о том, что они юные бесправные суки. Захлебнуться в мутном клокочущем вареве, сделавшись его частью, потеряв на одну короткую ночь заботы, тревоги

и смысл существования. Влиться в адское варево в огромном кипящем котле, стать крохотной зачарованной песчинкой, хаотично блуждающей, не имеющей ни обязанностей, ни обид...

Накачавшиеся дешевым вином, юные суки будут исступленно плясать до рассвета, не замечая сбитых ног и сломанных каблуков, ожогов от алхимических зелий на руках и саднящих по всему телу шрамов, оставленных им на память подругами. Будут флиртовать друг с другом, отчаянно, как в последний раз — и здесь же, в «Хексенкесселе», позвериному жадно удовлетворять свою похоть, а через минуту уже бросать, как надоевшую игрушку. Здесь будут возникать союзы, более недолговечные, чем девичий поцелуй. Здесь будут происходить трагедии — длящиеся всего мгновение, но более страшные, чем вся Саксония, рухнувшая в Ад. Здесь будут совершаться предательства — расчетливые настолько, что самые коварные адские владыки будут лишь бессильно скрежетать зубами. Здесь будут рушиться судьбы, гибнуть надежды, рождаться бессмысленные заговоры и тлеть никчемные амбиции. Здесь, в «Хексенкесселе», этой ночью будет вершиться судьба Броккенбурга — как и в любую другую ночь...

Черт. Черт. Черт.



Барбаросса впечатывала каждым шагом башмак в брусчатку так, будто ломала чьи-то шеи, но не ощущала приятного хруста, лишь легкий гул едва потревоженного старого камня.

Она была знакома с «Хексенкесселем» и его обычаями, но мельком — у нее никогда не водилось ни денег, которые можно было бы там спускать, ни богатых подруг, ни необходимости одурять себя до умопомешательства зельями или сотрясаться всю ночь в неистовом грохоте, который там зовется музыкой. Броккенбург и без того мог предоставить ей немало удовольствий, некоторые из которых она сохранила для себя на будущее. Нет, она никогда не была завсегдатаем «Хексенкесселя», даже в юные годы.

Тем более странно выглядело вырезанное ножом приглашение «Сестер Агонии».

Если они ищут встречи на нейтральной территории, могли бы ограничиться каким-нибудь трактиром в Верхнем Миттельштадте. Там кругом до черта стражи и нет традиции дырывать друг дружку из спрятанного под столом пистолета или плескать кислотой в лицо. Могли бы пригласить в качестве арбитра какую-нибудь суку из старшего ковена — такая практика тоже имела в Броккенбурге... Но «Хексенкессель»?

Черт! Они не осмелятся пустить в ход оружие в «Хексенкесселе». Нет таких отмороженных сук в Броккенбурге, которые рискнут поставить свой ковен вне закона ради какой-то мимолетной вендетты. Значит... Значит, они планируют не резню — они планируют переговоры.

Но на кой хер предлагать переговоры ведьме, которой сами за день до того объявили Хундиненягдт? Может, уже раскаиваются? Сообразили, на какую рыбку распахнули пасть? Хотят изъяснить свое раскаяние, заодно засвидетельствовав сестрице Барби свое почтение? Черт, могли бы просто послать в Малый Замок коробку шоколадных конфет, может, еще с парой отрезанных пальцев в придачу, к чему было устраивать слезку и похищать гомункула?

Барбаросса раздраженно дернула плечом, не зная, в какую сторону повернуть беспокойно ноющие ноги.

«Хексенкессель» — это тебе не гудящий трактир на перекрестке дорог, в который

можно заглянуть на ходу. Это блядски шумное местечко, где всегда толчется до черта народу. Может, даже больше, чем в ярмарочный день в Руммельтауне. Это словно гигантский колокол, стягивающий всех беспутных шлюх Броккенбурга и не отпускающий их до рассвета.

Пьяные любовницы, висящие друг у друга на шеях. Ищущие развлечения бретерки, которым не терпится присмотреть себе цель и назначить дуэль. Искусные соблазнительницы в поисках возможности опробовать свои чары. Хитроумные воровки с ловкими пальчиками, спешащие поупражняться на твоём кошельке. Безумные суки, готовые сотрясаться в оглушительных ритмах всю ночь напролет, одуряя себя самыми безумными наркотическими зельями. Любопытные провинциалки, впервые вырвавшиеся из-под материнских юбок, еще не знающие, что встретят рассвет со спущенными штанами где-то на заднем дворе. Просто скучающие суки, которых притягивает музыка и запах крови — мелкие хищницы, стягивающиеся стайками, сами не знающие, что их влечет — ярость, похоть или любопытство.

Барбаросса сделала еще несколько бесцельных, никуда не ведущих, шагов. Резких, как на занятиях по фехтованию под руководством Каррион. Даром, что под ногами не было расчерченного «магического круга», подсказывавшего, в каком направлении ей надлежит двигаться.

Ты должна решить это сама, Барби, сестрица...

Соваться в «Хексенкессель» опрометчиво. Тем более — без оружия, с изувеченными кулаками и сидящим в кишках демоном. Даже если у «Сестер Агонии» в самом деле нет злого умысла, она все равно чертовски рискует, появившись там одной. Допустим, «сестрицы» в самом деле не настолько безумны, чтобы устроить вендетту в окружении танцующих шлюх, но для снедаемых ненавистью сук в Броккенбурге есть множество куда более тонких инструментов, чем нож, чтобы покарать обидчицу.

Они могут устроить засаду на подходе к «Хексенкесселю», набросить удавку ей на горло и утянуть в переулки. Для этого даже не нужна особая хитрость, лишь некоторый навык, не более того. Могут предложить ей мировую, подлить какую-нибудь дрянь в питье, а потом вытащить наружу, бесчувственную, как девственницу, впервые отведавшую вина, которая поутру окажется опытнее портовой шлюхи. Могут попросту пальнуть в нее со ста шагов, затаившись на крыше — если у них в стае есть мастерицы в резьбе по дереву, могут найтись и мастерицы по стреляющим палкам — не тем, что торчат у самцов между ног, а тем, что заряжают порохом...

Черт. «Сестрички», может, слишком молоды чтобы тягаться в искусстве обмана с «Орденом Анжель де ля Барт», у них нет опыта в интригах, как у многих старших ковен, но природная злость вполне может компенсировать этот недостаток. Объявленный Хундиненягдт взывает о крови — а значит, они будут использовать все инструменты, оказавшиеся в их руках, для того, чтобы сжить ее со свету, вплоть до венчиков для взбивания масла. И лучше бы не думать, сколько еще инструментов любезно предложил им мессир Лжец...

Лжец! Барбаросса с трудом сдержала рвущийся наружу полуволчий рык.

Отчего она не выронила этого ублюдка, когда улепетывала от голема! Отчего не разбила, пока блуждала по улицам Броккенбурга? Не оставила, выплеснув из банки на мостовую, на расправу для вечноголодных гарпий? Тягала с собой, будто собственного ребенка, доверяя ему свои мысли, позволяя выпитывать ее страхи и чаяния...

Хитрый выблядок, похожий на большой разваренный гриб, возомнил себя умнее прочих и сбежал при первой возможности. Попытался сбежать. Теперь все, что он знает, все сокровища, заключенные в его раздувшийся бесформенный череп, стали достоянием «Сестер Агонии». Достоянием, которые они легко могут превратить в оружие против нее.

Барбаросса невольно вспомнила Марлена Брандау, импозантного и жутковатого, развалившегося в кресле на авансцене с летучей мышью в руках. «Предложение, от которого он не сможет отказаться» — как-то так он произнес. Барбаросса не помнила деталей пьесы, те успели стереться из памяти, помнила только, что играл он сицилийского демонолога по имени Кроули, погрязшего в расправах со своими недругами, могущественными итальянскими баронами... Но эти слова чертовски хорошо подходили к ней самой — как шитый лучшим броккенбургским портным дублет по снятой с нее мерке.

«Сестры Агонии» сделали ей, сестрице Барби, предложение, от которого отказываться чертовски опасно, по крайней мере, сходу. Если они уже знают хотя бы половину того, что знает Лжец, это превращает их из своры голодных сук с ножами в опаснейших врагов, вооруженных самыми разрушительными и страшными адскими чарами.

Они могут уничтожить ее, просто шепнув Вере Вариоле пару слов на ухо. Впрочем — Вера Вариола не якшается с мелким отродьем — достаточно будет черкнуть ей короткую записку. А могут послать короткую депешу в городской магистрат — и тогда делается еще жарче, так жарко, что мостовая Броккенбурга начнет жечь ей пятки сильнее, чем адские уголья...



Барбаросса ощутила, как ноют ее изувеченные раздробленные кулаки.

В лучшие времена, будь у нее немного времени, она уничтожила бы «Сестер Агонии» не прибегая к помощи ковена, единолично. Для этого не требовалось собирать их всех, все тринадцать душ, на городской площади и выходить им навстречу с полудюжиной мушкетеров за поясом и связкой бандальеров через плечо, как мнящий себя великим стрелком на сцене Вальтер Виллис — только никчемные суки, обчитавшиеся Морица Оранского и Тилли, уповают на генеральное сражение.

Нет, она душила бы их одну за одной, как хорошо натасканный пес душил куниц, обжившихся в подполе. Находя в хитросплетениях броккенбургских улиц, выслеживая в подворотнях и кабаках, скручивая им шеи в тот момент, когда они никак не ожидают нападения. Одна сука против тринадцати — неважный расклад, но Барбаросса знала, что это вполне ей по силам.

Ей уже приходилось уничтожать целый ковен. Пусть не одной, пусть с Котейшеством, пусть и в других условиях, в другие времена, но...

Они звались «Кокетливыми Коловоротками», вспомнила она, их было шестеро и они были одними из самых опасных сук в Броккенбурге той поры. Не потому, что обладали какими-то особенными познаниями по части адских наук, а потому что поняли — жестокость может быть не только милым хобби, которому можно предаваться в часы досуга, сродни вышивке на пальцах и неудержимому блюду, но и весомой ходовой монетой, благодаря которой можно сделать свое существование в Броккенбурге если и не комфортным в полной мере, то, по крайней мере, немного более приятным.

Или, по крайней мере, менее скучным.

Их было шестеро — шесть опытных взрослых стерв, недавно перешагнувших ту условную линию, которая делит срок обучения пополам, когда-то казавшуюся Барбароссе такой же бесконечно далекой, как горизонт. Третий круг — всего лишь набравшиеся немного опыта соплячки, но тогда, с высоты жалкого второго круга они казались Барбароссе не нескладными подростками вроде нее самой, а молодыми ведьмами. Молодыми, жестокими и чертовски опасными. Такими, какой она сама хотела бы стать в будущем.

«Коловратки» стояли наособицу от прочих ковенов. Собственно, они и ковеном-то считаться не могли, имея в составе вдвое меньше душ от положенного числа, самое большее — обычной стаей или клубом по интересам. Вот только интересы у них были весьма странного свойства...

Они не якшались тесными знакомствами с адскими сеньорами, не потрясали воображения владением адскими науками, не имели могущественных покровителей среди смертных владык. Не было среди них и отпетых бретёрок, завоёвывавших уважение рапирой. Вздумай они посостязаться с кем-то из старших ковенов или ввязаться в вендетту с одногодками, их растерзали бы мгновенно и безжалостно, не оставив даже памяти. Видно, «Коловратки» вполне сознавали это, поскольку не метили на высокое место в ведьмовской иерархии Броккенбурга, напротив, сторонились грызни, ловко лавируя между прочим и никогда не пытаясь отхватить ломоть пирога шире, чем пролезает в рот.

Осторожные, не привлекающие к себе внимания, они могли бы показаться даже невзрачными, как существа, давшие названию их ковену, крохотными серыми червями, обитающими на самом дне — если бы не жестокость столетних королевских кобр, живущая в их жилах. «Коловратки» не рисковали выяснять отношения со сверстницами и ввязываться в ссоры со старшими. Не было нужды. Вместо этого они сполна наслаждались той властью, которую имели над младшими.

Пятнадцатилетние школярки, пережившие свой первый год в Броккенбурге, воистину бесконечный, исполненный унижений, избиений и пыток, едва вырвавшиеся из удушающих объятий Шабаша, быстро смекали, что жизнь вдали от университетских дортуаров вовсе не так прекрасна, как им воображалось все это время. Матриархи Шабаша не были благодетельными меценатками, патронирующими юных прелестниц, они были кровожадными суками, справляющими свои отвратительные и тайные ритуалы, но они при этом были и рачительными хозяйками, не позволявшими чужакам кромсать свое стадо. Избавившись от их давящей опеки, юные бабочки, порядком исполосованные и помятые Шабашем, быстро обнаруживали неприятную действительность — в Броккенбурге обитает отчаянно много существей, для которых юная ведьма может быть как добычей, так и изысканным лакомством — в зависимости от того, каким запасом удачи при рождении наделил их Ад. Старина Брокк быстро заставлял всех своих обитателей сбиваться в стаи, оцетинившись зубами и когтями, и был в этом деле строгим наставником.

Некоторые пытались выжить в одиночку, но обыкновенно долго не протягивали. Единицы, которым это удавалось — вроде Панди — лишь подтверждали древнее правило. Слишком агрессивные и нетерпеливые складывали головы в переулках, неудачно напорвшись на чей-то нож или сраженные ядом. Когда-то это участь светила и ей самой, благодарение судьбе, посчастливилось встретить сперва Пандемию, а после Котейшество...

Другие, наделенные хоть сколько-нибудь смазливой внешностью, спешно подыскивали себе патронов и покровителей из числа обитателей Броккенбурга. Не чернокнижников и демонологов — те обычно брезговали ведьминским сословием — сгодился бы и бюргер

средней руки, при должной доле везения — член городского магистрата или зажиточный ремесленник. Тоже незавидная судьба. Легко найти покупателя на свою плоть, когда тебе пятнадцать, но человеческое мясо — недолговечный товар, быстро теряющий привлекательность, не говоря уже о том, что твое хорошенькое личико может резко сбавить в цене, заработав пару шрамов от завистливой подружки или впитав щедрую порцию адских чар...

«Кокетливые Коловратки» охотно приходили на помощь юным прошмандовкам, выпорхнувшим из Шабаша. Они с готовностью обещали им свою помощь и покровительство, прося за это небольшую мзду — что-то около пяти грошей в неделю. Напуганные молодыми хищными ковенами, свежующими молодняк точно скот, иногда из одного только озорства, юные суки часто по доброй воле заключали с ними сделку, сочтя, что такая плата — вполне приемлемая цена за жизнь, пусть и такую никчемную, как жизнь ведьмы в Броккенбурге.

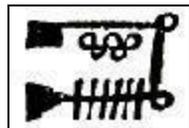
Но если они ожидали перемен к лучшему, довольно скоро им приходилось увериться в обратном. Покровительство, которое им было обещано свыше, не служило защитой, напротив, больше походило на сложно устроенную систему поборов и неукоснительно взимаемой дани. Несчастные суки, хотя бы единожды заплатившие «Коловратками», превращались в их вечных должниц, из которых выколачивали деньги без всякой жалости и снисхождения. Не способные заплатить платили кровью или делались черной прислугой, а разорвать договор оказывалось не проще, чем разорвать договор, заключенный с самим Дьяволом.

Жестокость оказалась прибыльным делом, если поставить ее на нужные рельсы. Всякая сука, заподозренная в том, что замышляет недоброе против своих покровительниц или злоупотребляет их доверием, подлежала наказанию — сестры-«коловратки» при помощи бритвы отсекали у нее правое веко. Учитывая их размах, неудивительно, что в том году многие среди молодых ведьм по какой-то прихоти моды щеголяли затемненным моноклем на правом глазу, а «Кокетливые Коловратки» вдруг все разом обзавелись изысканными перчатками из тончайшей замши, такой тонкой, что на свет смотреть можно...

Отказывавшиеся платить за покровительство очень быстро на своей шкуре узнавали нрав «коловраток», но редко что могли ему противопоставить. Трех или четырех швырнули с крыши, переломав все кости, нескольких окатили алкагестом, стащенным из алхимической лаборатории, еще кто-то успел лишиться пальцев, ушей, носов... Покровительство «Кокетливых Коловраток» стоило дорого, но еще дороже было от него отказаться.

Кровожадные стервы. Иногда Барбаросса думала о том, что если бы садистке Кольере удалось дожить до конца своего первого года, она наверняка примкнула бы к «Кокетливым Коловраткам», а может, чего доброго, еще и сделалась бы там хозяйкой... Сама она знала про художества «коловраток», знала, но не лезла. «Коловратки» опасались предлагать защиту ей самой — к тому времени, на втором круге обучения, ее лицо внушало многим не меньший страх, чем печать какого-нибудь из адских владык. Однако лезть все-таки пришлось — не по своей воле.

Из-за Котейшества.



Котти внезапно сделалась рассеянной на занятиях, чего с ней прежде никогда не бывало, а как-то раз на лекции даже поставила нигредо перед альбедо — ошибка,

позволительная школярке, но не ей. И так тонкая, как тростинка, Котти бледнела день ото дня, а фазанье перышко на ее берете склонялось все ниже — верный признак упадка духа. На вопросы она не отвечала, лишь слабо улыбалась, пришлось осторожно накачать ее хорошим шорлеморле по три крейцера за бутылку. Только тогда и выплыло, что «Кокетливые Коловратки», прежде обходившие ее стороной, внезапно обратили на крошку Котти самое пристальное внимание.

Вот херня...

Они предлагали ей не защиту, они предлагали ей сделаться частью их ковена. Сметливые суки с пристрелянным взглядом. Пока старшие ковенны бились друг с другом за право переманить самых сильных магичек и фехтовальщиц, «коловратки» обратили внимание на тихую, мало чем примечательную ведьму второго круга, которую многие постыдились бы брать и в прислугу, не то что в сестры. В свои пятнадцать Котти выглядела самое большее на тринадцать, а выражение вечного испуга, застывшее на ее лице, не добавляло ей зрелости.

Предложение «Кокетливых Коловраток» могло выглядеть щедростью, но благородства в нем было не больше, чем в скрежете зубов голодной волчицы. Это был ультиматум, едва-едва прикрытый мишурой, ультиматум зловещий и очень четкий. Барбаросса мгновенно поняла это, едва лишь сдавленно рыдающая на ее плече Котти смогла выдавить из себя несколько слов.

В этом не было ничего нового. Именно так многие ковенны Броккенбурга и пополняют свою численность, восполняя потери после дуэлей и стычек, так и обрастают мясом на старых костях. Всякий ковен захиреет без свежей крови. Именно потому сестры-вербовщицы многих ковен частенько ошивались среди молодняка, подбирая под свой взыскательный вкус одаренных новичков. Дальше... Дальше все зависело от личных предпочтений его старших сестер, богатства его казны и давности его традиций. Старшие ковенны никогда не прибегали ни к запугиванию, ни к насилию — не потому, что брезговали, просто не было нужды. Объяви любой из них об открывшейся вакансии, уже через час очередь из выстроившихся молодых сук окажется столь длинна, что трижды опояшет вокруг гору Броккен — даже если это будет славящаяся своей суровой аскезой и любовью к веригам «Железная Уния» или чудаковатые нелюдимые «воронессы».

«Терн и Лилия», хоть и щеголяли столетней историей, по какой-то традиции рекрутировали в свой ковен прелестниц исключительно через постель. Очнувшись с утра на разворошенных простынях сомлевшая красотка могла внезапно обнаружить у себя на левой груди татуировку в виде герба ковена — с этого момента она, хотела того или нет, становилась сестрой своей соблазнительнице — и еще одиннадцати другим сукам, каждая из которых наверняка сама захочет проверить ее в деле.

«Готландские Девы» не чурались методов, которые были в ходу у Бранденбургского флота триста лет назад. Их вербовщицы время от времени можно было встретить в трактирах Унтершадта, причем самого дешевого сорта. Исполненные сочувствия, они часто проникались участием к молоденьким сучкам, неумело хлебающим из надтреснутых трактирных кружек дешевый шгайнбир и видящих в этом несомненный признак взрослости? Редко какая из таких сук возражала против желания «готландки» угостить милашку за свой счет — где еще в Броккенбурге тебе может перепасть бесплатная выпивка? А выпив до дна, с изумлением обнаруживала на дне кружки «готландский грош» — медный крейцер с вырезанным на одном стороне гербом ковена. С этого момента она считалась принятой в

младшие сестры, отказ же обычно влек за собой суровую и быструю расправу.

Впрочем, проблеваться дармовым штайнбиром — не худшая участь из возможных. «Союз Отверженных» имел милую традицию под видом вина угощать претендентку какой-то дьявольской смесью — кажется, это была настойка цикуты, опия и свинцового порошка, приправленная ртутью и кориандром. Из четырех сук, прошедших этот ритуал, три обыкновенно подыхали спустя день, четвертая же удаивалась чести обрести новых сестер, причем, частенько не проживала более года. Может, поэтому ведьм из «Союза Отверженных» не пускали ни в один броккенбургский трактир — боялись проклятого зелья...

«Чертовы Невесты» презирают обман и зелья, но сами имеют до черта премилых ритуалов, которые нужно пройти юной суке, дерзнувшей называть их сестрами. Один из них — Шпильфурмедхен — вариация той игры, в которую крошка Барби не так давно играла с сестрой Каррион, разве что полосуют не учебными рапирами, а шпицрутенами и плетьюми, и не пять минут, как положено для учебного поединка, а три часа без передышки. К моменту окончания этой игры претендентку, к тому моменту обыкновенно представляющую из себя кусок распухшего мяса, освобожденного от оков разума, выносят на носилках из замка и швыряют на кучу компоста. Если в течении следующих двух дней она сможет подняться на ноги и вернуться обратно — что ж, Ад определил ей судьбу стать «Чертовой Невестой». Если нет...

Все эти ритуалы и традиции обыкновенно цвели пышным цветом в периоды затишья и спокойствия, весьма редкие в Броккенбурге, но стремительно упрощались, едва только начиналась серьезная вендетта или, того хуже, сразу несколько ковенов, объединившись, принимались рвать друг друга в клочья. Такие стычки, именуемые среди ведьм Злой Войной — не оставляли после себя раненных и взятых в плен, они велись до полного истребления, как в старые добрые времена еще до Оффентурена, и зачастую выплескивали на тесные улицы Броккенбурга столько ненависти, что те превращались в полные застоявшейся крови канавы. С такой ненавистью прежде, должно быть, швейцарские наемники Хасса рубили ландскнехтов фон Фюрстенберга своими страшными алебардами, превращая их в мясное обрамление Боденского озера.

В таких сражениях традиции милосердия забываются первыми, и даже Большой Крул обыкновенно молча взирает на происходящее не пытаясь воззвать к миру — Злая Война заканчивается не миром, но поголовным уничтожением. Неудивительно, что некоторые ковенны, участвующие в подобных развлечениях, бывало, теряли до половины своего состава за одну только ночь. Чтобы восполнить убыль сестер, нередко приходилось упростить ритуал приема новых сестер до предельной лаконичности, отбросив нарастающие веками кружева.

Зачастую этот ритуал упрощался до того, что вербовочная партия из трех-четырех вооруженных ведьм врывается в трактир и, красноречиво щелкая мушкетными курками, уводила с собой всех особ женского пола, не успевших связать свою жизнь с каким-нибудь ковенном. Этим же днем они обретали новую семью и новые обязанности, а зачастую и новый, ранее неизведанный, опыт.

«Кокетливые Коловоротки» не утруждали себя сложностями. Свежее мясо они черпали из того же источника, из которого добывали себе пропитание — из трущоб Унтершпалта, кишящих перепуганными детьми, так и не научившимися считать себя ведьмами второго круга.

Котейшество не просила помощи. Она просто рассказывала, всхлипывая и покачиваясь, не замечая ничего вокруг. Предложение, которое она получила, было из категории тех, от которых нельзя отказаться. «Коловоротки» вполне отчетливо и ясно на это намекнули. Если она отвергнет их любезное приглашение, второе, возможно, уже не будет таким уж любезным. До третьего она, скорее всего, не доживет.

Она могла бы бросить Котти наедине с ее проблемами. Связываться с ковенем трехлеток из-за чумазой соплячки? Черт, в мире было множество куда более соблазнительных способов отправить свою душу в Ад куда более комфортным и благоразумным способом. Например, разозлить могущественного демона или сигануть вниз с вершины Оберштадта или...

Она бы и бросила, не задумываясь, как привыкла бросать сор в обжигающие отцовские ямы. Но та история с ведьминской мазью...

Она осталась. А месяцем спустя угроза миновала сама собой — ковен «Кокетливых Коловороток» редел так быстро, что зачастую одну суку не успевали закопать в землю, как другую уже клали рядом с ней на стол.

Двум она перерезала глотки ночью на улице. Не верх изящества, но она всегда предпочитала эффективные методы эффективным. Одну застрелила из небольшого охотничьего аркебуза свинцовой пулей — через окно трактира. Ее голова лопнула одновременно с пивной кружкой, из которой она пила. С четвертой ей помогла Панди — присоветовала один хороший порошок, который она вдунула сквозь замочную скважину. Хорошая, долгая смерть, доставившая ей немало удовольствия. Когда эту суку нашли, задохнувшуюся и позеленевшую, точно сопля, ее тело разбухло так, что не пролезало в дверной проем. С пятой вышло банально и просто — удар булыжником в висок. С шестой пришлось повозиться больше всего. Потеряв всех своих подруг, ощутив запах дерьма и адской серы, та заперлась в замке «Кокетливых Коловороток» за всеми запорами, зарядила полдюжины мушкетов и приготовилась держать круговую оборону. Учитывая, сколько сухарей и вина имелось в его кладовых, она могла бы держать оборону до Второго Оффентурена, когда вновь распахнувшиеся двери Ада сожгут все сущее.

Панди предлагала поджечь нахер замок — Панди всегда обожала шумные развлечения, в ее представлении ни одна хорошая гулянка не могла обойтись без пожара. Вендетта без пожара — как бал без оркестра, говорила она. Звучало соблазнительно, но Барбаросса слишком хорошо знала звериный всепожирающий нрав огненной стихии, чтобы прибегать к ее помощи — она сама носила глубокие следы знакомства с ней на своем лице. Нет уж, никаких нахер пожаров. Поймай ее стражники с факелом в руках, путешествие на дыбу окажется еще более коротким, чем для «бартианок» путешествие с одного хера на другой.

Здесь нужно было работать тоньше, осторожнее...

Беда в том, что для сестрицы Барби, которая тогда еще звалась Красоткой, тонкая игра была сродни игры на клавесине — ни хера не простая задача для ее сильных, но грубых пальцев, так похожих на отцовские опаленные когти...

Именно здесь ей на помощь пришла Котейшество. Есть мысль, сообщила она неуверенно, я почти уверена, что смогу. Нужны лишь... крысы. Много крыс. Так много, как сможешь найти.

«Хочешь зарядить пушку крысами и палить по этой суке, пока замок не рухнет?» — поинтересовалась Барбаросса, не скрывая презрения. Крыса, может, и считается грязной тварью, дальним отродьем Ада, оружием ведьмы, она сама предпочитала хороший кистень.

Котейшество помотала головой. Расскажу, пообещала она. Но сперва крысы.

Черт! Она сама выглядела чумазым крысенком, едва выбравшимся из дортуаров Шабаша, волосы еще не успели как следует отрасти, но что-то в ее взгляде заставило Барбароссу прислушаться к ней. Что-то, что редко встречается в глазах пятнадцатилетних соплячек.

Наловить крыс было несложно. Бесхитростная забава, напомнившая ей детские игры в Кверфурте. Орудя дубинкой, за ночь можно изловить хоть полный мешок. Но Котейшеству не подходили любые попавшиеся. Крыс она отбирала так пристально, как графский повар отбирает вальдшнепов для пирога, безжалостно отменяя все крысиные образчики, которые хоть чем-то ей не угодили.

Так, ей не подходили крысы, выловленные в Унтерштадте. Ну, это-то было еще понятно. Порченные испарениями проклятой горы, отравленные веками сливаемыми реактивами и отходами ведьминского ремесла, они зачастую и на крыс-то не походили — сплошь какие-то слизняки, бугрящиеся соцветиями крохотных слепых глаз, с извивающимися хвостами, похожими на огромных дождевых червей. Нет, ей нужен был чистый, хороший товар. Однако твари, обитающие в подвалах Нижнего Миттельштадта, тоже зачастую браковались Котейшеством, несмотря на то, что с точки зрения Барбароссы имели все признаки принадлежности к крысиному племени. Может, некоторые из них был безволосыми, их тела вместо шерсти были покрыты тонкой розовой кожей вроде той, что укрывает свежий ожог, или имели пару расщепленных пастей вместо одной, но... Котейшество была безжалостна, иногда причиной для отказа было даже ненадлежащее количество когтей на лапах или странная масть.

Барбаросса потратила две ночи, орудя по ночам дубинкой и силками, и наловила дюжину превосходных крыс, которых отбирала так тщательно, будто им предстояло участвовать в баден-баденских скачках наравне с королевскими рысакими. Недурной результат, учитывая то, до чего ловко эти проклятые твари, наученные вечно голодными гарпиями, научились скрываться в щелях. Но Котейшество, взглянув на ее улов, лишь покачала головой. Нужно больше, спокойно пояснила она, куда больше.

Еще больше? Ворча себе под нос о том, что кто-то возомнил себя крысиной королевой, Барбаросса вновь отправилась на охоту и изловила еще десяток. Но и этого было мало. Котейшество словно вознамерилась переловить всех крыс в чертовом городе. Может, нашла где-то пушку времен Холленкрига и решила палить крысами по окнам осаждаемого замка «Коловраток»? Или хочет приготовить самый огромный в мире крысиный пирог, напичкать его отравой и угостить запершуюся в замке суку?..

Развлекая себя крысиной ловлей, Барбаросса частенько сталкивалась по вечерам с Панди — то в одном трактире, то в другом. Неудивительно, за время знакомства они успели обрести общими привычками и вкусами. Но встречи эти редко приносили ей радость. Встречая свою недавнюю ученицу, Панди посмеивалась, и весьма едко. Неудивительно, ведь это не от нее несло едким крысиным духом и грязью, это не ее дублет смердел как тряпье, не ее лицо поверх слоя узловатых шрамов было покрыто россыпью свежих пламенеющих царапин. «Хочешь открыть крысиную ярмарку, Красотка? — поинтересовалась она как-то раз, не скрывая насмешки, — Что ж, неплохая затея. Решила отказаться от патента мейстерин хексы в пользу ливреи шпребтальмейстера? Может и сама начнешь прыгать через круг, когда твоя пизденка щелкнет кнутиком?..»

Молодые сучки, лстящиеся к ней, вечно держащиеся вокруг нее небольшой свитой,

издевательски захохотали. Барбаросса не стала задираться, лишь сплюнула и вышла прочь. Иногда Панди вела себя как свинья, и неудивительно. Среди талантов, которыми она щеголяла, не значилось ни такта, ни милосердия. Да и разошлись они довольно резко, как расходятся не подруги, но дуэлянтки, у которых в пистолетах внезапно отсырел порох. Она еще не знала, что спустя несколько недель Пандемия, непревзойденная ночная разбойница, в честь которой сочинили семь минезангов, пропадет без следа. Не то сгинет в какой-то ночной схватке, не то будет сожрана безвестным демоном, не то сама покинет Броккенбург, позорно бежав под покровом ночи...

Задача с крысами оказалась не из простых, даже сложнее, чем иные задачи по алхимии и Гозэции, что задавали в университете. Но под конец Барбароссе улыбнулась удача — в торговых рядах Руммельтауна. Обьевшиися, с жирными розовыми хвостами, тамошние крысы были ленивы и неспешны, собирай хоть голыми руками. Ликуя, она притащила Котейшеству целый визжащий мешок, но это оказалось лишь половиной дела. Узнав о следующей его части, она стиснула зубы и пожалела, что не решилась на поджог. Малявка с необычного цвета глазами, которую присмотрели себе в сестры «Кокетливые Коловоротки», или повредилась в уме, не вынеся издевательств Шабаша, или была безумно от рождения. Потому что от того, что она сказала, Барбаросса ощутила колючую дрожь в той части задницы, что именуется седалищем.

Крысы есть. Теперь мы наловим демонов.

Ее опасения оказались напрасны, ловить демонов оказалось не сильно-то и сложнее, чем крыс, хоть поначалу и жутковато. Для этого дела не требовалось ни дубинки, ни силков, один только воцеленный бочонок, клочок детских волос, половина кумпфа дождевой воды, горсть земли, пропитанной слюной мертвеца, пара наполовину изгнивших ребер и кое-что по мелочи, Барбаросса уже забыла детали. Котейшество расписала бочонок внутри и снаружи великим множеством адских сигиллов, после чего они засунули внутрь дохлого кота и водрузили бочку в низовьях горы, укрывшись неподалёку от нее. Можно было, конечно, ловить демонов и повыше, не хлебая ядовитый воздух предгорий, но Котейшество отсоветовала ей делать это — чистый воздух и великое множество источников магического излучения привлекают из Геенны Огненной великое множество самых разных существ и духов. Конечно, ни один из адских владык, вздумай он навестить Броккенбург, не клюнет на дохлую кошку — у этих сеньоров обыкновенно более взыскательный вкус — но вот некоторые другие твари, не наделенные великими чинами или разумом, вполне могут покуситься на это кушанье — и тогда они сами превратятся из ловчих в добычу...

Охота вышла удачной. Крошечные демоны, привлеченные ароматами мертвого мяса, летели на бочонок как светлячки на свет лампы, разве что звуки издавали куда более зловещие, вроде тех, что издают ночные кошмары, подбирающиеся к тебе сквозь тонкий полог дремы. Едва только они оказывались внутри, Барбаросса проворно закрывала бочонок крышкой, а после, нацепив зачарованную рукавицу, вытаскивала зло гудящих малюток и распихивала по аптечным склянкам, которыми они с Котти заблаговременно запаслись. Ну и уродцы это были!.. Некоторые из них смахивали на медных ос, зло мечущихся в банках, издающих звуки вроде скрежета гвоздя по стеклу. Другие походили на безобидные катыши из хлебного мякиша, распространяющие тяжелый болотистый запах, но судя по тому, с какой опаской держалась с ними Котти, опасность представляли не меньшую. Еще какие-то — похожие на вывернутых наизнанку раков, издающих отрывистые звуки, похожие на детское угуканье. На ползающие грозди отрубленных пальцев, на сухие клубки их хитиновых

шипов, на вяло ворочающиеся комья какой-то не то слизи не то каши... Одного из них — огромного, похожего на скомканную медузу размером с голову, усеянную гноящимися бородавками и свиными хвостами, Котейшество предусмотрительно отпустила прочь, задоблив куском кошатины. Слишком уж он был внушителен по сравнению с мелкими ничемными адскими духами, не имеющими ни чинов, ни покровителей, а рисковать им не очень-то и хотелось...

Дальше пришла пора экспериментов. Не вполне безопасных, чертовски утомительных и отчаянно неприятных. Пока Барбаросса, напялив плотные кожаные перчатки, держала визжащую крысу за шею, Котейшество, бледная от волнения, вооружившись длинными сапожными клещами, вынимала из склянок демонов и засовывала их в распахнутые крысиные пасти.

Не все адские сущности способны сосуществовать с живой тканью. Первая же крыса взорвалась у них в руках, точно бомба, окатив обеих кровью и желчью. Им пришлось истратить котел воды и порядком щелока, чтобы отмыть волосы Котти от зловонных крысиных потрохов. Вторая зашипела и разложилась на какую-то едкую дрянь и жижу, похожую на спинномозговой ликвор. Третья завизжала так истошно, что Барбаросса и сама взвыла — точно вязальные спицы вонзили в уши. Четвертая приросла к столу, на который ее поставили, потом заметалась, разрывая связки, и с треском вырвалась из своей шкуры, улизнув на улицу через окно. Во имя всех адских отродий, которые только протискиваются в мир смертных, ну и хлопотная же это оказалась работенка! Не легче того ремесла, что Барбаросса осваивала с кистенем по ночам, гуляя по темным переулкам...

Восьмая крыса прожила несколько минут, потом демон скомкал ее, точно бумажный лист, превратив в шар размером меньше монеты. Девятая бросилась на Котти, скрежеща зубами, растущими так быстро, что пасть ее, захрустев, стала выворачиваться наружу — пришлось раздавить ее нахер башмаком и швырнуть в печь извивающиеся останки. Десятая, истошно выругавшись по-баварски, полыхнула бледно-зеленым огнем и истаяла прямо в руках у Барбароссы. Одиннадцатой она сама размозжила дубинкой голову, когда та попыталась отрастить огромные кожистые крылья и десяток глаз. Двенадцатая, тринадцатая... Пятнадцатая была вполне удачной на взгляд Барбароссы, но Котейшество, осмотрев ее, распорядилась сжечь ее в печи. Семнадцатая попросту исчезла у них в руках. Двадцатая, распахнув дымящуюся пасть, изрыгнула из себя какое-то заклинание на демоническом наречии, от которого — это было задолго до того, как они обрели собственную лабораторию в деревянном сарае Малого Замка — университетский чулан наполнился мертвецким смрадом, все свечи потухли, а окна покрылись зеленой изморозью изнутри.

Это был жуткий вечер, исполненный скверных запахов и скверных вещей.

По крыше грохотал дождь из бесформенных хрящей — обычное дело, когда в город заявляется мессир Эльдхейтур, демонический владыка из числа огненных духов — ветер разносил по всему городу грозди колючей проволоки, украшая ими, точно праздничными гирляндами, фонарные столбы, обильно вплетая в тянущуюся между крыш паутину из проводов. Воздух пах железом, крапивой, жженой собачьей шерстью и тмином. Вместо звезд в окутанном ядовитыми облаками небе горели тысячи воспаленных язв.

Но Барбаросса, цепляя очередную визжащую крысу, отчего-то думала не о запахах и не о той страшной ворожбе, что они творят. Она думала о том, как вдохновенно делается лицо Котейшества, когда она сплетает сложные цепочки чар, как горят ее глаза, цветом

невиданным и странным, напоминающим ей цвет гречишного меда, который она однажды отведала в детстве...

Двадцать первая крыса превратилась в миниатюрную красавицу с эбонитовой кожей, которая через миг покрылась язвами и расползлась в клочья прямо у них на руках. Двадцать третья втянулась внутрь себя, хлопнув так, что у них заложило уши. Двадцать шестая, пьяно посмеиваясь, запела «Auf einem Baum ein Kuckuck», но не успела дойти до второго куплета, как развалилась пополам.

Воздух в чулане сделался едким от серных испарений, в ушах гудело, от всей этой ворожбы, творящейся вокруг, зудели все кости в теле, а сердце походило на старый, пульсирующий холодной кровью, нарыв. Если бы не Котейшество, Барбаросса выскочила бы прочь из чулана, плюнув на все их планы, моля адских сеньоров сохранить ей жизнь. С нее довольно было этой чертовщины!..

Но Котейшество, покачав головой, брала следующую склянку, внутри которой метался демон, так спокойно, точно та была неказистой лоскутной куклой из числа тех, которыми младшие девчонки играют в песочнице. Брала — и принималась за дело снова, с упрямством не сопливой ведьмы-двухгодки, а старого прожженного демонолога. Несмотря на то, что ее пальцы уже были покрыты ожогами, а глаза слезились, она не намеревалась прекращать ритуал. Скорее, сожгла бы себя вместе с сестрицей Барби в сполохах адского пламени!

Вот дерьмо!

Двадцать восьмая крыса долго визжала, вращая в каменную стену. Двадцать девятая рассыпалась ворохом насекомых. Тридцать вторая сгинула в беззвучной вспышке.

Барбаросса следила за Котейшеством, сцепив зубы, ощущая одновременно ужас, стылый, как старый колючий пенек на болоте, скребущий душу всеми своими колючими корешками, и... И восхищение. Пожалуй, и восхищение тоже. Наверно, тогда она и начала воспринимать Котти всерьез. Не как нахватавшуюся случайных премудростей соплячку, готовую обмочить брэ при малейшей опасности, а как ведьму. Юную, местами все еще чертовски наивную, даже беспомощную, но упрямую, как все адские владыки, и целеустремленную, как адские энергии.

Тридцать третья крыса, тридцать пятая, тридцать восьмая...

На тридцать восьмой крысе им улыбнулась удача, но Барбаросса не нашла в себе сил улыбнуться в ответ — к тому времени она ощущала себя так, будто половину своей жизни провела на адской псарне, глаза отчаянно жгло серными испарениями, а пальцы с трудом повиновались. Тридцать восьмая крыса не взорвалась, не превратилась во что-то непотребное, не трансмутировала — она выглядела как ее обычные уличные товарки, разве что глаза ее были не черными, как у всего крысиного племени, а белесыми, как подпортившийся сыр, который хранили в чересчур влажном чулане...

На следующий день Барбаросса, соблюдая все меры предосторожности, запихнула эту крысу в печную трубу замка, внутри которого последняя из «Кокетливых Коловраток», заливаясь спорыньей и не выпуская из рук мушкета, держала оборону. Три дня ничего не происходило — может, демону в крысином облике нужно было освоиться со своим новым обликом и порядком проголодаться — но на четвертый истощный сучий крик подтвердил, что тактика была выбрана верно.

Замок «Коловраток» располагался в старой трехэтажной прачечной, убогой и ветхой снаружи, но набитой таким количеством добра, что загорелись бы глаза даже у раздетых в парчу шлях из «Ордена Анжель де ля Барт». Изысканная мебель Гамбса и Бенемана

писанные маслом картины, собрания оружия со всех частей света и роскошных туалетов, в которых можно было бы красоваться хоть на магистратском балу — гроши юных сук, отнятые «Кокетливым Коловратками» явно шли в дело до последнего крейсера. Даже у многое повидавших стражников выкатились от удивления глаза.

Но все это добро ни на дюйм не облегчило участи последней из «Коловраток», вынужденной держать здесь оборону. Укушенная крысой-демоном, она успела застрелить свою обидчицу, после чего перевязала рану и выпила вина, чтоб облегчить боль. Если бы рана была нанесена зубами крысы, это могло бы ей помочь, но зубы эти принадлежали демону. Может, не самому великому из адских владык, но для запертой в своих покоях ведьмы хватило и этого.

Ее тело чудовищно разбухло, будто все жидкости, что в нем помещались, самое малое втрое увеличились в объеме. Грудная клетка лопнула, не в силах выдерживать давления, истончившиеся ноги сломались как спички, а руки сохлись, сделавшись крохотными сухими отростками на большом бочкоподобном теле.

Последние дни своего существования она провела сидя в кресле, разрастаясь все больше, похожая на несвежий плод, забытый хозяйкой на солнце, медленно размягчающийся и разваливающийся, источающий из лопнувших пор белесую гниль. Голова развалилась на плечах, медленно оплывая и стекая вниз, лицо превратилось в вытянутый клювообразный сгусток со слипшимися воедино глазами.

Это был конец ковена «Кокетливых Коловраток». И хоть многие суки в Броккенбурге, особенно из числа тех, что по какой-то прихоти моды носили монокль в правой глазнице, возликовали, Барбаросса надеялась, что широкая публика не прознает об их с Котти участии в этом деле. Может, «Коловратки» и были матерыми суками, погубившими множество душ, но даже у них могли найтись снедаемые жаждой мести союзницы, у которых ножи чешутся в ножнах, как у старых развратников чешутся в гильфиках их изъеденные сифилисом кочерыжки.

Напрасные надежды. Может, в каком-нибудь обычном городке, прозябающем в сонной саксонской глуши, и можно было утаить такие вещи, в каком-нибудь Хернхуте или в Бад-Лаузике, но только не в Броккенбурге. Здесь, в Броккенбурге, распахнувшиеся двери Ада оставили столько щелей в мироздании, в которых ютятся беспокойные адские отродья, что всякий слух они мгновенно цапают в свои когтистые лапы, мгновенно разнося по городу — точно парящие над городом гарпии, расшвыривающие по крышам тухлые косточки и обрывки своей добычи. Ловко пущенный слух с утра может обитать в коровниках и притонах, но к обеду уже доберется до ратуши городского магистрата, а часом позже уже дотянется до головокружительно высоких белоснежных шпилей Обершгадта над головой.

История про их войну с «Кокетливыми Коловратками», разнесенная слухами, оказалась заключена в оправу из чудовищных слухов. Так, твердили, будто крыс было несколько миллионов, что они шли на приступ замка несметными полчищами, пока «коловратки» отстреливались из крепостных орудий и мушкетов, что загрызено и разорвано в итоге было по меньшей мере тридцать ведьм...

Следующие две недели Котейшество ходила подавленной, глядя преимущественно под ноги — обрушившаяся на нее популярность верно казалась ей тяжким грузом, гнетущим голову к земле. Лишь на третью неделю фазанье перышко на макушке знакомого Барбароссе берета осторожно приподнялось. «Скажи, Красотка, ты знаешь о «Сучьей Баталии»? Тогда, год с лишним назад, Барбаросса фыркнула, решив, что речь идет о шутке. «А ты знаешь что-

нибудь о Луне и звездах?». «Это ведь старый ковен, так?» «Один из старейших, — подтвердила Барбаросса, не понимая, к чему она, — но их знатно порвали «воронессы» в этом году, так что я не удивлюсь, если они вылетят из Большого Круга как пердеж из жопы. Едва ли Вера Вариола, одноглазая сука, сможет сколотить свой ковен заново в середине года».

Тогда Котейшество и сказала ей. Подняла глаза — и сказала. И хоть использовала она вполне обыденный чистый «остерландиш», а не адское наречие, Барбароссе на миг показалось, что она вновь ощущает в воздухе привкус горелого крысиного мяса...



Барбаросса потрянула головой, пытаясь вышвырнуть из головы неуместные воспоминания.

Подумать только, все это случилось год назад, но воспоминания об этих событиях уже казались несвежими, как подтухшие овощи, едва ли не древними. Дьявол, до чего же быстро в этом блядском городе течет время! Иногда кажется, прислужники Геенны Огненной скоро начнут похищать младенцев прямо из колыбелей, чтобы поскорее оттащить их юные, лишенные морщин души, прямиком в руки адских владетелей...

Они с Котейшеством дали бой целому ковену и вышли победительницами. Смертельно опасный фокус, который им удалось проверить — вот только некоторые фокусы позволительно совершать лишь единожды. «Кокетливые Коловратки» были опасными стервами, превосходно разбирающимися в тысячах оттенках боли, истые дочери Броккенбурга, плоть от его разлагающейся проклятой плоти. Но они никогда не рвались в чужую для них стихию, предпочитая грызть безропотный и трусливый молодняк. Не та порода хищниц, что ищут драки.

«Сестры Агонии» — стервы совсем другого сорта. Кровожадные суки, у которых режутся зубы и которые ждут не дождутся возможности пустить их в ход. Эти-то готовы перемолоть любой кусок мяса, упавший им в пасть, и неважно, мертвое это мясо или агонизирующее, слабо дергающееся.

Пускай это всего лишь орда отрицающих старые традиции малолеток, готовых объявить чертов Хундиненягдт хоть самому Дьяволу, это не делает их менее опасными. Напротив, подумала Барбаросса. Даже отточенная до ледяной синевы ненависть вполнину не так опасна, как слепая неуправляемая ярость, которую прожитые годы еще не успели как следует ограничить, придав нужную форму. Соплячки — самые опасные твари.

Там, где мудрая ведьма, успевшая заработать от жизни дюжину-другую шрамов, остановится, подумает, придержит коней, ее юная товарка, одержимая жаждой крови и необходимостью доказывать всему миру, бросится вперед, размахивая ножами. И наверняка успеет распороть не один живот, прежде чем рухнет с разможенной мушкетной пулей головой.

«Сестрички» готовились к войне. Наверняка не одну неделю. Готовились к своей первой взрослой резне, как юная девица готовится к первому свиданию, с затаенным дыханием, одалживая у подруг кольца, покупая на последние гроши духи и придирчиво штопая штанишки. Они не отвернут назад, не прыснут врассыпную от первого выстрела, не пойдут на мировую. Эти не станут прятаться в замке, вздрагивая от каждого шороха, напротив, им не терпится схватиться за ножи и разделить крошку Барби на много-много маленьких кусочков, которые можно будет растащить по всему Броккенбургу, демонстрируя свою удаль, чтобы потом носить на шее в виде миленьких брошек.

Барбаросса тоскливо зарычала, мечась по улице. Но несмотря на этот рык она ощущала себя не охотящейся львицей, как прежде, а беспомощной подстреленной гиеной с засевшей в животе пулей.

Молодые и алчные суки, привыкшие полагаться на свою дерзость, часто не знают многих охотничьих приемов и традиций Броккенбурга. Она наверняка смогла бы разделаться с «сестричками» — если бы игра велась по привычным ей правилам, сводясь к планомерному выслеживанию и безжалостному истреблению. О, в эти игры она превосходно умела играть! Вот только... Вот только эти херососки сумели навязать ей свои правила игры, мрачно подумала Барбаросса. Заманили за стол с картами в руках, обещая партию в старый добрый «валлахен», сами же уселись играть в «карноффель», мало того, у каждой суки из рукава уже выглядывал Дьявол в обличье семерки ...

Они заставили ее плясать под свою музыку. Превратили хладнокровную безжалостную охоту, в которой она мнила себя опытной сукой, в короткую безжалостную схватку, где у нее уже не будет козырей. Самый хладнокровный и опытный охотник бессилен, если угодит в засаду, лишившись своего главного преимущества.

Она же лишилась всех своих преимуществ.

Нет больше Лжеца, хитрого выблядка, служившего ей голосом разума.

Нет Котейшества, легкомысленной, но мудрой не по годам ведьмы, обожающей театр и тянучки, в руках которой сосредоточены немалые силы Ада.

Нет помощи ковена — не после того, что она натворила за сегодняшний день, закончив его сожженным дровяным сараем.

Нет наставницы Панди — давно изгнила на заднем дворе чужого дома, не удостоившись даже могильной плиты.

Нет даже собственных кулаков, служивших долгие годы ей защитницами.

Ни хера нет, кроме обжигающей тоски, запертой в груди, да осторожного шевеления голодного Цинтанаккара в правом подреберье.

Барбаросса в который раз взглянула на вырезанную ножом надпись, будто та, повинуюсь хрен знает каким чарам, могла вдруг изменить свои черты. Будто угловатые, резко очерченные буквы могут сгладиться, образовав какую-нибудь другую надпись,

«Ты такая душка, сестрица Барби! Давай дружить! Любишь баварский крем?»

Буквы не изменились ни на волос. Смысл, укрывающийся за ним, не обрел ясности.

«Хексенкессель». Кратко и четко, как приговор.

Ты будешь очень глупой девочкой, если отправишься туда, Барби. По правде сказать, ты будешь самой тупой шлюхой в Броккенбурге, а ведь тысячи оторв столетиями кромсали друг друга за право присвоить себе этот титул. Отправившись туда, ты окажешься в их когтях — беззащитной, беспомощной, безответной — как те крысы, на которых ты когда-то охотилась по указке Котти...

Плюнь на гомункула.

Он выскользнул из твоих раздробленных пальцев и укатился прочь. Может, бляди-«сестрицы» в самом деле сварят из него похлебку или смеху ради швырнут вниз со шпиля «Хексенкесселя». Успеет ли Лжец что-нибудь состричь напоследок, прежде чем превратится в липкую розовую кляксу с глазурью из стеклянной крошки?..

Сорок четыре трахнутых демона и развороченный анус архивладыки Белиала!

Это уже не твоя забота, Барби, одернула она сама себя. Твои заботы кончились, милочка. Отправляйся в какой-нибудь унтерштадский трактир и надерись там до смерти, вот и все, что ты можешь сделать. Залейся по самое горло, чтобы не чувствовать боли и ужаса — может, даже не придешь в рассудок через три часа, когда Цинтанаккар потащит твое извивающееся агонизирующее тело в дом на Репейниковой улице...

Подумай, прошептала ночь, прижимаясь к ней тяжелой и липкой тенью, точно старым мокрым плащом, три часа — немалый срок для суки, которая прожила на свете семнадцать лет, чтобы вспомнить все подвиги и прегрешения. Потом будет смерть. Не лучшая из возможных, не такая, как ты себе воображала — на рассветной синеве, с пальцами, коченеющими на гарде рапиры, с хрипом врага, скорчившегося у твоих ног... Смерть будет болезненная, паскудная и глупая. Но ты, по крайней мере, не покроешь себя позором, не превратишься в мертвое чудовище, которое терзают на потеху толпе. Просто исчезнешь — как исчезают все затянувшиеся кошмары, потерявшие смысл существования — как исчезла Панди.

«Батальерки» будут разыскивать тебя еще пару недель, а после сложат наспех сляпанную легенду о том, что ты погибла где-то в ночных переулках с ножом в руках, сделавшись жертвой своего алчного нрава, с которым так и не смогла совладать. Не тянет на хороший миннезанг, но какое-то время броккенбургские ветра еще будут трепать твоё имя. Ну а Котти... Должно быть, еще долгое время она будет утешать себя мыслью о том, что сестрица Барби не погибла, а попросту сбежала из Броккенбурга. Вернулась в свой Кверфурт, чертов медвежий угол, смердящий углем и дрянным пойлом. Единожды в жизни проявила не свойственное ей обычно благоразумие...

Впрочем, она не будет истязать себя такими мыслями слишком долго. В Броккенбурге год — это целая эпоха, за которую может смениться все вокруг. За год мокрощелки превращаются в мудрых ведьм, обеты и любовные клятвы теряют силу, многие вещи становятся иными и обретают новые смыслы. Наверняка уже через полгода у нее будет новая подруга — куда более подходящая ей, благоразумная, предупредительная, соображающая в адских науках и в театре, спокойная, с изысканным вкусом и безупречно одетая, может даже, умеющая сносно танцевать...

Барбаросса яростной тенью метнулась наперерез спешащему по улице прохожему. Это была ведьма в поношенном бархатном колете, в шапочке с пучком перьев и тростью, внутри которой наверняка укрывалась неказистая тонкая шпаконка. Как бы то ни было, увидев чудовище с лицом, на котором словно демоны упражнялись в скорняжьем ремесле, она даже не попыталась схватиться за оружие, лишь вжалась в стену, беспомощно выставив перед собой ладони.

— Время! — рявкнула ей в лицо Барбаросса, — Который час?

Дрожащими пальцами, та вытащила из карманчика дешевый хронометр со стареньким перхающим демоном.

— Почти восемь, — пролепетала она.

— Точнее!

— Б-без десяти восемь! Если вам нужны деньги, сударыня, я...

Ее дрожащие пальцы впились в изящный кошелечек, расшитый дешевой канителью, похожий на те, что шьют себе обычно дети, воображая себя взрослыми. Судя по всему, он не хранил в себе многих богатств, скорее всего, был набит ватой для объема. Плевать. Все равно у нее не было пальцев, чтобы его развязать.

— В пизду себе сунь свой кошель, — зло бросила Барбаросса, — Мне нужно время. Все время, что только есть в этом блядском мире!

Восемь часов вечера без десяти минут. Часы Цинтонаккара идут безупречно и точно, можно не сомневаться, и бить они начнут через...

Через полчаса, мгновенно определила Барбаросса. Через полчаса они беззвучно

пробьют — и я лишусь еще какого-нибудь кусочка своего тела. Полчаса — это охерительно мало даже чтобы поковыряться в жопе или поужинать, но мне придется за это время успеть уйму всего. Чертову уйму, иначе и не скажешь...

Она шагнула на проезжую часть, размахивая руками над головой. Фонари идущего полным ходом аутовагена ослепили ее на миг, ударив грязно-желтым светом в лицо, но не заставили отступить даже на шаг. Судя по горячей масляной площадке на крыше экипажа, это был извозчик, колесящий в поисках клиентов по улочкам Миттельшгадта, а не какой-нибудь лихач, несущийся на свидание с красоткой или солидный магистратский чин, которому украдкой отсасывает его секретарь. Тем лучше.

Аутоваген вильнул у нее перед носом, выворачивая на тротуар, в тяжелой стальной бочке иступленно взвыли заточенные внутри демоны — то ли ощутив в ней ведьму, то ли охваченные желанием растерзать самонадеянного пешехода.

— Куда прешь под колеса, гнида! Жить надоело?..

Едва лишь увидев ее лицо в свете фонарей, он осекся, да так и замер на козлах, выпучив глаза. Видно, уже пытался вспомнить, куда сунул заряженный дробью мушкетон, который держал против грабителей, и успеет ли взвести курок. Барбаросса мимоходом ухмыльнулась ему в лицо, забираясь в кузов. Пропахший сапожным варом и кошачьей мочой, полный острых углов и трухлявых дребезжащих деталей, он был столь тесен, что на миг показался Барбароссе не пассажирским отсеком, а затхлым неудобным футляром для хранения человеческого тела. Чем-то сродни стеклянной банке, в которой изнывал крошечный гомункул.

Плевать, подумала она. Сестрица Барби никогда не была привередливым пассажиром. Нет, она не станет ждать более удобный экипаж. И плевать на те синяки, что заработает ее жопа за время дороги. Если она не успеет то, что намечено, или где-то ошибется, можно не сомневаться, ее душа отправится в Ад первым классом...

— Чего стоишь? Трогай! — крикнула она извозчику, все еще возящемуся с дорожным ящиком в поисках мушкетона, — Если успеем за пять минут, получишь талер сверху!

Извозчик, перестав возиться, усмехнулся и покорно положил руки на рычаги. Ощувив это прикосновение, запертые демоны взревели разом, будто их окатило святой водой, рессоры под днищем экипажа тревожно заскрипели, едва не перетирая друг друга, колеса натужно нехотя завертелись.

— Куда вам... госпожа ведьма?

Барбаросса ухмыльнулась, хоть и знала, что ни извозчик, ни одна живая душа в Броккенбурге не разглядят этой ухмылки. И хер с ней. Если эта улыбка и предназначалась кому-то кроме нее самой, так это адским владыкам. Единственное подношение, которое она может им предложить — улыбка ведьмы, отправляющейся на резню.

— Куда еще можно собираться в такой час? В «Хексенкессель»!

Демоны в котле аутовагена были молодыми, необъезженными и оттого злыми. Задор, с которым они тащили вперед отчаянно скрипящий и покачивающийся экипаж, компенсировался их нетерпеливостью и скверным знанием улиц. Вознице то и дело приходилось, бросив рычаги, лупить сапогом по медному котлу, в котором бесновались адские отродья, отчаянно ругаясь при этом и призывая на их головы архивладыку Белиала. Ругань, хоть и на языке смертных, на время помогала — чертовы твари прекращали терзать друг друга и какое-то время работали сообща, по-волчьи глухо ворча.

Может, помочь ему пришпорить этих тварей? Барбаросса усмехнулась. Сестрицу Барби

мало кто в Броккенбурге считает смышленной ведьмой, она и сама себя такой не считает, но даже она знает пару-другую словечек, которые способны пришпорить демонов, заставляя нестись во весь дух.

Hröðun, подумала она. Hratt vinnuhamur...

Ей пришлось стиснуть зубы, чтоб ни одно из этих словечек не вырвалось наружу. Самое скверное, что только может придумать ведьма, если не считать розыгрыша адских владык, это вмешиваться в управление демоном, который был кем-то призван, вышколен и поставлен на службу. От такого вмешательства обыкновенно ничего доброго не выходит — и неважно, какие помысли при этом были у ведьмы, добрые или злые.

Поговаривали, однажды профессор Кесселер, преподающий в университете Гоэцию, опаздывал на лекцию и вынужден был воспользоваться наемным экипажем. По стечению судьбы ему достался неказистый фиакр-аутоваген, влекомый столь старыми существами, что, верно, видели еще сотворение материи и времени. Даже возница был бессилён заставить их перейти на рысь, чертов экипаж тащился непозволительно медленно.

Профессор Кесселер в своей жизни ненавидел две вещи — самоуверенность и непунктуальность, за оба этих греха он спрашивал со своих студенток со всей строгостью и без всякого снисхождения. Мысль о том, что он может опоздать на собственную лекцию, угнетала его так, что ржавые пружины, кожаные иглы и ножи, которыми было настигнуто его тело, начинали мелко дребезжать, распарывая кожу еще больше. Мучимый необходимостью, профессор Кесселер произнес шепотом несколько слов на адском наречии. Слов, от которых хромоногие демоны, едва не издыхавшие на ходу, с трудом влачившие свой экипаж, превратились в адских скакунов. Несчастный аутоваген устремился вперед с такой скоростью, словно в него запрягли саму дьявольскую Халлу — страшное восемнадцатинное существо из конюшен графа Винклера, походящее на гигантского омара, зашитого в лошадиную шкуру, которое на протяжении тридцати лет удерживало первенство Саксонии по конкурсу, сжирая при этом по дюжине конюхов за месяц.

Профессор Кесселер успел к своей лекции в срок, даром что аутоваген, который его вез, дымился и тлел. Потрясенный до глубины души извозчик молил профессора выдать ему секрет — те самые слова, что он прошептал демонам, увеличившие их прыть в тысячу раз. Профессор категорически отказался — сведущий в Гоэции больше любого другого существа в Броккенбурге, способный торговаться с существами из глубочайших адских бездн, он старался не использовать свое искусство вне стен университета. Но извозчик был неумолим. Он стоял на коленях, клялся в вечной преданности Адскому Престолу, ползал у профессора в ногах — верно, думал, что сделавшись обладателем секрета столь потрясающей мощи, моментально сделается королем броккенбургских извозчиков или, того выше, отправится со своей колымагой, не стоившей ни единого доброго слова, напрямик на баден-баденские скачки. В конце концов профессор Кесселер позволил себя уговорить. Не потому, что был мягкосердечным — этот человек носил в себе по меньшей мере центнер засевших в нем заноз, наград, которыми его благодетельствовали адские сеньоры — а потому, что в своей жизни больше всего на свете презирал только две вещи. Поддавшись уговорам возницы, он нацарапал заветные слова на медной пластине при помощи обломка ножниц, торчавшего у него из горла.

Возница терпел два или три дня. Искушаемый соблазнами, подзуживаемый и раздраемый своими внутренними демонами, одним прекрасным вечером он вывел свой экипаж на самую ровную и прямую дорогу из всех, что можно сыскать в Нижнем

Миттельштадте, собрался с духом и произнес заклинание. Говорят, оно звучало как Fjarlægðir hraðatakmarkanir. Handvirk stjórnstilling. Простейшее заклинание, которое ведьмы изучают еще на втором круге, постигая основы Гоэции и учась говорить на одном языке с заклинаемыми ими созданиями. Вот только эти простые слова не были рассчитаны на то, что их когда-нибудь произнесет простой смертный, не посвященный в адские науки и не имеющий владыку-сюзерена.

Эффект превзошел все ожидания. От первого же слова демоны внутри аутовагена припустили вперед с умопомрачительной скоростью, с которой непозволительно передвигаться экипажам,двигающимся по суше, от которой колеса мгновенно лопнули, а корпус аутовагена раскалился докрасна. Несчастный возница рад бы был остановиться, но не мог — он выдохнул все заклинание единым духом, еще прежде, чем от страшного жара у него спеклись воедино зубы, а руки прикипели к рычагам.

Есть скорости, с которыми движутся самые быстрые скакуны, есть скорости, с которыми движется солнечный свет, есть скорости, с которыми недопустимо двигаться смертному, которые позволены лишь адским владыкам. Глаза возницы спеклись в глазницах, превратившись в самоцветы. Кости его превратились в чистое золото. Кровь последовательно трансмутировала в белое вино, речную воду, финиковое масло и жидкое стекло. Есть скорости, на которых материи просто не могут оставаться сами собой, подчиняясь хаотично устроенным энергиям Ада. Есть скорости, которые невозможны для смертных.

Его несчастный экипаж пронесся сто клафтеров по миттельштадским кварталам, выворачивая из земли брусчатку и фонари, снес пару заборов и взмыл вверх, подобно комете, оставив в толще камня оплавленную борозду. Обратившись в пятно сверхконцентрированной трансмутации, он еще час метался по ночному небу, превращая звезды в осыпавшуюся ореховую скорлупу, пока не погас окончательно, обратившись рваной дырой в пространстве.

Если профессор Кесселлер, знаток Гоэции, и презирал что-то превыше непунктуальности, так это самоуверенность. Может, эта история и была выдумкой, но в ночи, когда над Броккенбургом стояла хорошая погода, а ядовитый туман редел, справа от Луны можно было рассмотреть в небесной ткани маленький фиолетовый рубец, пульсирующий цветами, от которых слезятся глаза, неведь когда и как образовавшийся.

Кроме того — с точки зрения Барбароссы, это было куда более весомым доказательством — все наемные аутовагены Броккенбурга по какой-то причине игнорировали профессора Кесселлера с предельной, почти необъяснимой, настойчивостью, которая местами почти граничила с оскорбительной...

Черт, подумала Барбаросса, наблюдая за тем, как мимо нее рывками проносятся уличные фонари. Ярко горящие, внутри которых еще теплился адский дух, и едва тлеющие, висящие в пустоте точно маленькие алые бубоны на черной плоти ночи, я ведь так и не рассказала Котейшеству про Зойхенваген, Чумную Колесницу Унтерштадта...

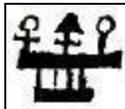
Демоны внутри железного бочонка оказались отпетыми проказниками, плевать хотевшими на удобство пассажиров и на волю возницы, все его усилия могли утомить их самое большее на полминуты. Едва только грохот извозничьего сапога стихал, демоны вновь принимались тащить свою повозку небрежно и зло, не обращая внимания на выбоины и ухабы, отчего та гремела по мостовой точно груженная камнями тачка, то подлетая вверх, то грузно падая вниз.

Точно вендельфлюгель, неожиданно подумала Барбаросса, пытаюсь усидеть на жесткой

пассажира на скамье, трясушейся так, что у нее звенели все позвонки. Зубы пришлось сцепить, чтоб не раскололи друг друга от тряски, и это мешало хватать ртом зловонный горячий воздух, исторгаемый запертыми в бочонке демонами.

Да, подумала она, ощущая, как избитое, выжатое, обескровленное тело блаженно обмякает на скамье, не ощущая острых углов и заноз. Точно. Разъяренный военный вендельфлюгель, несущийся над стеной сиамских джунглей, свирепо распарывающий своими стрекочущими страшными клинками воздух, беззвучно разрывающий попявших к нему на пути птиц, скрежещущий своими изношенными механическими потрохами, обожженными столько раз, что металл сделался черным, как обсидиан...

Прикусив себе язык, чтобы не заснуть на ходу, Барбаросса уставилась в окно, но обнаружила, что ночные улицы Броккенбурга, коловшие глаза покачивающимися пятнами фонарей, потускнели и пропали, а вместо них...



Она увидела проносящиеся внизу джунгли — не просто зеленый ковер, как ей представлялось, глядя на никчемные акварели старика — гигантские бугристые грязно-зеленые острова, изредка пронизанные узкими желтоватыми артериями рек. Кое-где они чернели ожогами, кое-где превратились в гнилостный серый распадок — имперские алхимики потратили не один год, бомбардируя ненавистные джунгли всей известной им дрянью, которую только можно получить в лаборатории — от обычных кислот и сложносоставных ядов до демонической желчи и адского огня в его чистом виде.

Напрасные надежды. Питаемые силами Гаапа и проклятыми сиамскими чарами, чертовы джунгли восстанавливались с умопомрачительной скоростью, быстро затягивая прорехи. Сожженные, смятые, изъеденные серой гнилью, обращенные в разлагающуюся мякоть, они стискивали в своих объятьях крохотные коробки саксонских блокгаузов и бастионов, норовя их раздавить, и даже мощные зубчатые полосы бастионных куртин в их толще выглядели зыбкими пунктирами сродни тающим старым рубцам. Эти джунгли раздавят любую крепость, из какого бы камня она ни была выстроена, какими бы контргардами, валами, кронверками и рavelинами не отгораживалась.

Кое-где, если присмотреться, можно было различить колышущиеся в их толще серые сгустки, похожие на слабо ворочающихся слизняков. С высоты птичьего полета они выглядели крошечными, но Барбаросса знала, что каждый из них — бурдюк размером с трехэтажный дом, вооруженный чудовищной пастью, полной хитиновых и стальных зубов, способной перемолоть в пыль даже небольшую гору. Эти громады плыли по джунглям словно исполинские корабли, сокрушая, дробя и пожирая все на своем пути, обращая буйную зелень на своем пути в гниющую разлагающуюся мякоть, испускающую запах мертвых цветов — лучшие твари, созданные для разрушения, которых только смогли найти в Аду имперские демонологи. Но даже они были бессильны уничтожить это бесконечное царство насыщенной гнилостными миазмами зелени или хотя бы нанести ему серьезные раны. Из каждого раздавленного их челюстями ствола высыпали полчища крохотных серых тварей, которых можно было бы принять за насекомых, но которые вместо того, чтоб опретью броситься прочь, обсыпали своих медленно ползущих обидчиков, пытаясь нащупать уязвимые места в складках их шкуры, забраться в дыхательные отверстия и старые раны.

Каждый такой исполинский слизняк мог раздавить город размером с Броккенбург, не обращая внимания на бомбардировку из трех дюжин орудий. Каждый был демоническим

существом, созданным для разрушения. Но джунгли Сиама, сделавшиеся домом для существ не менее опасных, сами по себе были грозной силой. Исполинские серые твари медленно умирали, сами пожираемые изнутри крохотным серым народцем, их чудовищные зубы, крушащие деревья, замирали, останавливаясь, а крохотные выпученные глаза, похожие на человеческие, растущие гроздьями, покрывались белесым налетом, как гниющие виноградины. Не окончив своего пути, серые твари грузно замирали на проделанных ими просеках — и тогда уже джунгли, обступая плотным кольцом, пожирали их, оставляя лишь хитиновые осколки да кремниевые кости.

Воздух над джунглями ничем не напоминал знакомые ей запахи леса. Тяжелый, едкий, выедающий душу, он был проникнут миазмами тысяч ядов, которыми эти джунгли поливали последние десять лет, и вонью разлагающихся конских туш, которые, не закапывая, сбрасывали в бастионные рвы. Но Барбаросса почему-то знала, что внизу, под покровом давящей зелени, ничуть не лучше. Тяжелые листья заслоняют от тебя солнце, превращая солнечный свет в рассеянное свечение, тусклое, как свечение трактирных свечей из дрянного жира. Всюду грязь — булькающая, пузырящаяся, норвящая забраться за отвороты сапог, или сухая, как пепел, трещащая у тебя на зубах. Оказавшись здесь, уже через неделю учишься определять восемнадцать видов грязи на вид, как шутят пушкари в гарнизоне, и еще девять — на вкус.

Про жизнь такого не скажешь. Здесь, внизу, у жизни только один вкус — вкус лошадиного дерьма.

Спешно выстроенные цейнгаузы быстро пожираются джунглями, как и все прочие постройки, созданные человеческими руками. Доски быстро гниют, покрываясь серебристой плесенью и лопаясь, что спички, коновязи и скамьи уходят под землю, даже огромные реданы, сложенные из камня, что тащат на кораблях из самого Амстердама, трескаются и осыпаются, кренясь в разные стороны. Даже оцетинившиеся орудийными стволами хваленые пятиугольные бастионы Вирандта, на плечах которых веками держалась военная слава архивладыки Белиала в цивилизованном мире, здесь, в царстве гниющей земли, грязи и миазмов, похожи на руины древних замков, не грозные, но громоздкие.

Вода из здешних колодцев отвратительна на вкус, она смердит как тухлая желчь подземных демонов, пить ее можно только разбавляя винным уксусом, и все равно животы пучит так, что иной раз дублет на все пуговицы не застегнуть. Ветра здесь не освежающие, а липкие и горячие, стягивающие из джунглей малярийную морось с облаками кровососущего гнуса. Солнца здесь почти нет, а там, где удастся сохранять прорехи в давящем зеленом своде джунглей, оно злое как разъяренный демон, готовое содрать с тебя кожу во всех местах, где та не прикрыта доспехом. Караульные, ковыляющие в траншеях со своими заржавевшими мушкетами, выглядят как куски копченого мяса, на которые кто-то шулки ради надел игрушечные кирасы, глаза у них у всех нездорового желтоватого цвета.

Сели жестко, без нежностей — «по-славатски», как говорили в их роте.

Разгоряченный полетом вендельфлюгель зло рокотал, не желая снижаться. Заваренные в бочонке демоны воздуха, разгоряченные полетом и боем, не желали касаться твердой земли. Трепещущие от ярости, почти кипящие, они хотели нестись над джунглями, вспарывая брюхо ветру, настигать добычу — и рвать ее прямо в воздухе под хруст стали, роняя вниз дымящиеся капли крови и сукровицы. Но возница, опытный малый, вогнал им в бока невидимые шпоры, подчинив себе и заставив снижаться. Вышло резко. Экипаж неохотно накренился, шипя и орошая сидящих в кузове кипящими каплями бесцветного

ихора, служащего ему потом, затем клюнул носом — и вдруг провалился вниз сразу на четыре клафтера, отчего земля, только что бывшая отдаленной, смазанной, состоящей из семидесяти разных оттенков грязи, мгновенно прыгнула навстречу и ударила вендельфлюгель в брюхо с силой каменного ядра, пущенного из чудовищной мортиры.

Наверно, с такой же силой низверженный Люцифер некогда впечатался в земную твердь.

Корпус выгнулся дугой, отчего на его боках опасно затрещали костяные панели. Разномастные куски кирас и латных осколков, которыми он был укреплен изнутри от шальных пуль, посрывало со своих мест, а верхняя кромка ее собственного горжета едва не лишила Барбароссу передних зубов.

Жестко сели. Самую малость жестче — истрепанный ветрами и огнем вендельфлюгель разломился бы пополам.

— Чтоб тебя черти так по небу таскали, — зло буркнула Барбаросса, ощупывая бока, чтобы убедиться, что ребра целы, — Я надеюсь, что это хрустнула скамья, а не мои яйца.

Возница устало махнул рукой в латной перчатке. Стальные пластины кое-где запеклись от жара, а кое-где носили отпечатки зубов — совершенно не человеческих зубов — должно быть, его питомцы, разыгравшись в полете, едва не оторвали ему пальцы.

— Нормально сели, — буркнул он, — По-славатски. Промочи горло, пушкарь.

Барбаросса кивнула в ответ, онемевшие от удара пальцы не сразу нащупали на боку кирасы раскаленную от солнца флягу. Приземлившись «по-славатски», положено сделать глоток рома — такая у них в роте заведена традиция.

— За то, что сели как пан Славата, — произнесла она отрывисто, — все в дерьме, но живы!

По телу, как всегда в такие моменты, пошла липкая слабая дрожь. Долетели. Не превратились в трепещущий на ветру факел, не рухнули в болото, не были сожраны каким-нибудь сиамским отродьем, терпеливо выжидающим в джунглях. Как сожрали третьего дня Кристофеля-Красного, когда он замешкался над рекой — другие экипажи только и успели заметить вынырнувшую из сплетения зелени склизкую серую шею, такую острую, будто внутри нее помещались не кости, а осколки костей, венчала которую узкая треугольная голова с четырьмя несимметричными глазами, похожими на развороченные пулями дыры.

Кристофель-Красный даже пикнуть не успел, как треугольная пасть, чудовищно широко распахнувшись, впиалась в его вендельфлюгель черными зубами, не обращая внимания на его натужно ревущие клинки, полосующие воздух, и утянула вниз, точно игрушку нырнув обратно в грязно-зеленый океан. Напрасно уцелевшие вендельфлюгели судорожно метались над джунглями, осыпая листву беглым мушкетным огнем, напрасно кричал что-то неразборчивое его ведомый. Секундой позже над джунглями разнесся скрежет сминаемой стали — а вслед за этим истошный визг пожираемых заживо демонов — тварь, убившая Кристофеля-Красного, раздавила несчастную машину и теперь пировала ее содержимым...

Приветствуя приземлившийся экипаж, бронированный аутоваген, вкопанный по самые амбразуры у северного шпица, отсалютовал мортирным орудием, качнув им вверх-вниз. Обслуга, сидевшая на броне, сняв в нарушение всех инструкций кирасы, в одних засаленных нижних рубашках, завистливо провожала вьющиеся над бастионом вендельфлюгели взглядом. Носиться над джунглями чертовски опасно — или какая-нибудь сиамская тварь проглотит или собственные демоны, впад в ярость, растерзают прямо в воздухе, а то и гарнизонные пушки случайно превратят в тлеющую щепу, но это стократ лучше, чем гнить здесь, внизу, в

окружении ржавяющих боевых машин, которые засасывает в болото, и mortar, которым почти нет работы.

Люди здесь быстро становятся худыми, ломкими, проклятые сиа́мские демоны точно высасывают из них все соки, глаза делаются нездорового желтого цвета. Может, это от здешней воды, может, от той дряни, которой травят с воздуха джунгли, а может — от той, которой они травят себя сами в промежутках между боями, пуская по кругу курительную трубку.

Ром из раскалившейся на солнце фляги походил на затхлую горячую кровь огромного насекомого, но Барбаросса через силу сделала глоток. И только после этого бросила взгляд в сторону цейхгауза, где уже собиралась небольшая группка в офицерских мундирах. Когда-то мундиры были яркими, увитыми щегольскими шнурами, сейчас же сделались блеклыми, как тряпки, от шнуров остались одни обрывки, позолота истерлась. Где-то среди них должны быть Вольфганг, Артур-Третий, Феликс-Блоха, Хази, мальчишка Штайнмайер...

Нет, вспомнила она мгновением позже, поправляя пистолеты на поясе. Артура-Третьего там никак не может быть — Артур умер в прошлом мае, сиа́мцы сделали ему «Хердефлиген»... Надо идти к ним. Сообщить весть о том, что в этом месяце никого из нас из Банчанга не вытащат. Что единственный для нас способ покинуть этот край безумных желтокожих демонов и дешевых блядей, в которых заразы еще больше, чем в джунглях — это залезть в собственные пушки и поднести кресало к фитилю...

— Эй, пушкарь! — возница, возившийся с рычагами вендельфлюгеля, внезапно обернулся к ней, срывая с себя тяжелый бургиньот. Обожженные пальцы дергались так резко, будто он пытался оторвать собственную голову.

Из стариков, машинально определила она. На скуле чуть пониже виска сквозь грязь отчетливо виднелась сделанная пороховой мякотью татуировка в виде игральной карты — небрежно выбитый туз листовой масти. Ну разумеется туз, как же иначе... Одна из дурацких традиций, бытовавших в Банчанге с шестьдесят пятого года — тогда еще ходило поверие, будто сиа́мские демоны боятся паче смерти листовых тузов. Многие хорошие парни так и легли в грязь, точно карты на стол — осыпавшиеся листья, нахер никому не нужные, с них, еще живых, обслуга из желтокожих второпях срывала шпоры и аксельбанты...

Пониже карты, перекрывающей половину щеки, можно было разглядеть и надпись, выполненную фамильярно покосившейся фразатурой, чьи буквы наплывали друг на друга, точно шеренга пьяных пехотинцев — «Этой стороной к врагу».

Охерительно смешно, подумала Барбаросса. Сдохнуть можно от смеха.

То, что возница вендельфлюгеля хлебал грязь не первый год, ясно было не только по бахвальской татуировке в виде туза и отсутствующим ушам — демоны внутри летающей повозки отличаются дьявольским аппетитом и подчас горазды отщипнуть от возницы кусок-другой во время полета — но и по особенному взгляду. Рассеянный и внимательный одновременно, он словно не изучал в упор устроившуюся на скамье Барбароссу, а разглядывал что-то далекое, в тысяче клафтеров отсюда...

Сейчас амулет предложит, неприязненно подумала Барбаросса. Из сиа́мских зубов. Они, возницы вендельфлюгелей, все тут сделались большими специалистами по амулетам, и каждый утверждает, что именно его — самые действенные...

— Просыпайся, госпожа ведьма! — буркнул возница, — Подъезжаем к «Хексенкесселю». Два талера пожалте — доvez в минуту!

Барбаросса не поняла, о чем он говорит. После долгого полета трещала голова,

раскаленная на солнце кираса жгла пальцы, от дрянного рома жгло пищевод. Пьяный он, что ли, подумала она, как есть пьяный — или опиума выкурил? Какие еще два...

Пробуждение было похоже на удар клевцом в висок. Чуть кости черепа не захрустели.

Она вдруг поняла, что сидит не в тесном кузове боевого вендельфлюгеля, а в грязном извозчичьем аутовагене. Что на ней не раскаленная солнцем кираса, а липкий от грязи дублет, лишившийся половины пуговиц. Что пальцы ее не сжимают флягу, а беспомощно ноют, размолотые, под грязными бинтами. Что гул, который она слышит, это не гул неохотно успокаивающихся демонов, минуту назад несшихся над джунглями, а тяжелые ухающие ритмы «Хексенкесселя». Что...

Дьявол. Она отрубилась совсем ненадолго, но этого, верно, хватило, чтобы дрянной сон заполз в голову, как ядовитое насекомое заползает в ухо задремавшему на привале пехотинцу.

Ощущение оказалось не просто похожим — пугающе достоверным. Как в театре, когда они с Котейшеством наблюдали за пожаром, уничтожающим Магдебург, вдыхая запах сгоревшего пороха, наблюдая за агонией искалеченных шрапнелью лошадей. Точно она, не снимая башмаков, нырнула с головой в одну из дрянных картин в старикашкиной гостиной.

Нет, подумала она мигом позже. Никакой это не сон. Это херов Цинтанаккар, обустроившийся в ее теле, пытается заполнить каждый уголок, насылая ей видения из жизни своего ебаного хозяина, господина фон Лееба. Уж он-то отлично знает сиамский воздух на вкус, он-то каждой ниточкой и жилкой своего тела знаком с тамошней жизнью — он сам оттуда. Ядовитая сиамская жижа — его кровь, разлагающаяся липкая зелень — его плоть. Гнилое лошадиное мясо вперемешку с грязью — его потроха. Пороховой дым, смешанный с миазмами разлагающихся тел — воздух из его легких.

Он просто показал мне кусочек своего мира, пусть и глазами старика...

Это даже не кошмар, который меня ждет, это легкая интермедия. Мимолетная шутка. Обещание.

Она вывалилась из аутовагена, почти не чувствуя ног, ощущая лишь тупую, грызущую пальцы, боль — и оставленную кошмаром ломоту в висках.

«Хексенкессель» — ей нужен «Хексенкессель»...

Спрашивать у прохожих, где тот располагается, было так же глупо, как провалившейся в Ад душе спрашивать у мимолетных демонических духов, где огонь. «Хексенкессель» был здесь — тяжелая громадина, выступающая из ночи, точно исполинская кость, вертикально вбитая в землю. Должно быть, над этой костью годами трудились полчища трудолюбивых крошечных жуков с бритвенно-острыми зубами, заменяющими им резцы, превращая ее в чудовищно сложный каменный шпиль, покрытый резьбой так густо, что даже в темноте делалось не по себе — глаз словно увязал в лабиринте из заостренных арок, узких вимпергов,

зубчатых арок и стрельчатых окон.

Наконечник копья, подумала Барбаросса, облизав губы, собираясь с силами, чтобы сделать шаг. Будто всемогущий адский владыка всадил в землю свою чудовищную пику, выточенную из кости мертвого божества, обломил ее и ушел, позволив наконечнику остаться в ране. Только закрыть эту рану не смогут даже за сотни лет...

«Хексенкессель». «Ведьмин котел». Концентрированное средоточие всех возможных грехов в одном исполинском кипящем чане. Ухо еще не разобрало мелодии в отрывистых приглушенных ритмах, исходящих от него, но звуки «Хексенкесселя» уже проникали в кровь.

Горячие, нетерпеливые, они будоражили уставшее тело, наполняя его колючей злой радостью. Упоительно сладко ныли где-то в ключицах и в паху...

— Госпожа ведьма! — возница выразительно постучал пальцем по открытой ладони, — Полагается с вас.

— Что?

— Два талера.

— Два талера за четверть мейле? — Барбаросса зло сплюнула на колесо его никчемного экипажа, — Не обнаглел ли ты? Небось, с родного папеньки бы шкуру содрал и перчатки из нее сшил, чтоб руки зимой не мерзли? Может, тебе еще уши архивладыки Валефора в придачу? Катись нахер, понял?

Возница насупился, вытаращив на нее глаза.

Левый был обычным, помутневшим от времени, ничем не примечательным, зато на правом обнаружилась такая роскошная лучевая катаракта, что Барбаросса едва не испустила завистливый вздох. Хорошая штука, и выдержанная — прекрасный ингредиент для многих ведьминских рецептов. Ей самой без нужды, но в этом городе есть много мест, где за такой глаз могут не торгуясь выложить хороший полновесный гульден.

— Ты не наглей, ведьма! Не наглей! На всех парах мчал, демоны едва друг дружку не сожрали... Я тебе живо это... в магистрат. Ишь, морда гадюшная, порченная... Ничего, у господина Тоттерфиша с такими не церемонятся!

Барбаросса украдкой вздохнула. В другое время, будь при ней острый нож и небольшой запас времени, она обязательно задержалась, чтоб предложить незадачливому вознице сделку — весьма заманчивую с ее точки зрения. Но сейчас, будучи стесненной обстоятельствами...

— Уебывай, — буркнула она, отворачиваясь, — Можешь отсосать сам себе за углом, только не забудь принести мне четыре гроша сдачи!

— Ах ты... Шкура дrochenая... Ничего, сейчас... Сейчас проверим...

Бросив рычаги, он принялся обеими руками копать в дорожном ящике, зная, вспомнил про свой чертов мушкетон или что там у него...

Барбаросса резко подняла руку перед лицом — как поднимают их ведьмы на сцене, намереваясь щелкнуть пальцами, чтобы из-за кулис высыпали перепачканные сажей визжащие и улюлюкающие мальчишки с трещотками, изображающие демонов. Она видела достаточно много пьес, чтобы знать, как это делается.

Ее бедные размозженные пальцы не были способны вытащить и соплю из носа, не то что щелкнуть, но под слоем грязных бинтов, разглядеть это было бы непросто даже человеку с ясными и зоркими глазами.

— Гавриэль! Хоместор! Dementium, komdu með svínin! Именем тридцать черных копий и красного змия! Властью Аэромона Безногого! Оторвите этому выблядку хер и заставьте его съесть прямо здесь!..

Возница всхлипнул и налег всем телом на рычаги — так, будто перед ним распахнулась адская дверь. Демоны в аутовагене взвыли на тысячу голосов, видно, усеянные сигилами рычаги немилосердно обожгли их, принуждая к послушанию. Лязгая колесами по брусчатке, покачиваясь, аутоваген стремительно развернулся и понесся прочь с такой скоростью, что опасно загудели колеса, а прохожие, чертыхаясь, отскакивали прочь с его пути.

Барбаросса усмехнулась, глядя ему вслед. Профессор Кесселер редко использовал возможность похвалить сестрицу Барби за прилежание в учебе — начистоту говоря, он ни

разу не использовал эту возможность за все три года — но сейчас, надо думать, нашел бы для нее теплое слово.

Сплюнув сквозь зубы, Барбаросса повернулась лицом к «Хексенкесселю».

Кажется, он узнал ее. По крайней мере, на миг ей показалось, что тяжелые ритмы клавесина, доносящиеся изнутри, сделались быстрее и громче. Старые ритмы, которые она не слышала уже тысячу лет. Древние, как сама жизнь и такие же злые.

— Черт, — пробормотала она, — А я думала, что уже старовата для танцулек...



Вблизи «Хексенкессель» напоминал осажденный воинством Тилли Магдебург, разве что бурлящая у его стен толпа не тащила на себе осадных машин и штурмовых лестниц, лишь бессильно клокотала, обтекая его внешние стены со всех сторон. Сверху ее угощали не горячей смолой и болтами, как в старые добрые времена, а лишь зловонным пометом — вьющиеся над «Хексенкесселем» гарпии никак не могли упустить такой роскошной возможности поразвлечься.

Визжа и изрыгая нечленораздельные возгласы, служащие им ругательствами, они пикировали на толпу, точно коршуны, извергая на головы и спины содержимое своих клоак. Всякий раз, когда выстрел приходился целью, они взмывали вверх, восторженно хохоча, но далеко не для каждой из них этот маневр проходил удачно. Время от времени то одна то другая, забыв про осторожность, опускались слишком низко над толпой. Расплата следовала незамедлительно. Короткая вспышка, треск — и зазевавшаяся крылатая воительница превращалась в пучок тлеющих перьев и парящую в воздухе угольную взвесь. Ведьмы тоже умели играть в эту игру.

Поговаривали, «Хексенкессель» возводил тот же человек, что некогда проектировал Вильгельмштайн. Херня, конечно, тем более, что острый шпиль «Хексенкесселя» ничем не напоминал знакомые Барбароссе крепостные громады, но стены, которыми он был окружен, и верно чем-то напоминали крепостные. Не очень высокие, в два полных саксонских клафтера, но мощные, щедро усаженные по верху ржавыми гвоздями и битым стеклом, они живо отбивали у самых настырных и хитрых сук соблазн пробраться на танцы бесплатно.

Ворота были всего одни, неудивительно, что там и крутился настоящий водоворот из человеческих тел, грозящий переломать все кости в теле. Богатые сучки презрительно кидали монеты в шляпу, бедные лебезили, увещевали, скулили и задирали юбчонки. Барбаросса ухмыльнулась, приближаясь к воротам быстрым уверенным шагом. В этом городе есть вещи, которые не меняются, которые адскими владыками навеки оставлены в неизменном из века в век состоянии.

Черт, народу сегодня изрядно, несмотря на ранний для танцулек час. Но еще не так много, как будет ближе к полуночи, когда все скучающие суки в этом городе, не нашедшие себе занятия, стянутся сюда, чтоб усладить свои уши и чресла...

Она врезалась в толпу плечом, оберегая переломанные руки, но все равно вынуждена была барахтаться в ней несколько минут, прежде чем сумела приблизиться к воротам. Толпа, окружившая «Хексенкессель», была неоднородной. Состоящая по большей части из щебечущих девичьих стаек, стягивающихся ко входу и оживленно гомонящих, местами она напоминала негустой подлесок, через который можно протиснуться лишь надавив немного плечом, но иногда делалась плотна как настоящая дубовая чаща — без топора не пробраться.

Барбаросса охотно использовала и ругательства и ухмылки — благодарение архивладыке Белиалу, обыкновенно этого хватало, ей почти не приходилось пускаться в ход башмаки. Узнав ее, хихикающие сучки, стреляющие глазками и кокетливо оправляющие пышные воротники на тощих грязных шеях, спешили убраться с ее пути, боязливо отводя глаза.

Знали. Чувствовали. Понимали.

Если сестрица Барби из «Сучьей Баталии» заявила на танцульки, да еще одна, да еще рычащая себе под нос, как рассерженный демон, едва не роющая копытом землю, не требуется быть специалисткой по гаруспику, раскладывающей на глиняной доске парные внутренности корчащейся в предсмертных судорогах козы, чтобы понять — эта фройляйн явилась сюда не для того, чтобы выпить стакан вина и сплясать аллеманду. Чутье юных хищниц, более тонко устроенное, чем чутье голодных куниц, подсказывало им — вполне возможно, скоро здесь запахнет кровью, и лучше бы убраться в сторону, чтобы эта кровь не оказалась их собственной и не испачкала, чего доброго, нарядные туалеты...

Умные девочки. Барбаросса потрепала бы их по щекам, имей она пальцы, чтобы это сделать.

Сжатая чужими плечами, вынужденная дышать терпким запахом чужих духом и чужого пота, Барбаросса оглядывалась, пыталась отыскать в толпе знакомые лица, но ничего не находила. Было бы чертовски удачно, окажись здесь Холера. Барбаросса завертела головой еще активнее, пытаясь разглядеть, не мелькнет ли где поблизости костюмчик из обтягивающей лосиной кожи. Крошка Холли была единственной «батальеркой», регулярно навещавшей «Хексенкессель», иногда Барбароссе даже казалось, что та проводит здесь больше времени, чем в Малом Замке, дегустируя здешние пороки более придирчиво, чем граф — содержимое своего винного погреба. Холера совершенно никчемна как ведьма, она ленива, труслива, глупа, заскорузла от похоти и разврата, но, видит Ад, сейчас ей пригодилась бы любая помощь...

Холеры не было. Может, уже протиснулась внутрь и сейчас отплясывает в «Хексенкесселе», а может, ее бедовые ноги унесли ее этим вечером совсем в другую часть Броккенбурга! Как шутили в Малом Замке, ноги Холеры обожают друг дружку и немудрено — этим бедняжкам так редко доводится бывать вместе!..

И хер бы с ней, подумала Барбаросса. Сегодня сестрица Барби в одиночном плавании. Сегодня у нее нет союзников и партнеров — если не считать крохотное существо в стеклянной банке, по чью душу она и явилась...

Ворота «Хексенкесселя» не были снабжены хитроумным запором с демоном внутри — любой демон издох бы, будучи вынужденным сдерживать всю эту исходящую вожделением ведьминскую орду. Они были распахнуты на фусс — вполне достаточная щель, чтобы проскочить внутрь, если бы не привратник, восседавший за небольшим столиком справа от нее. Скособоченный на одну сторону горбун, на разодетые полчища шмар он глядел не с большим вожделением, чем на отару овец. Знать, насмотрелся за годы так, что не испытывал уже ни возбуждения, ни страха. Пальцы на его левой руке были стеклянными, но этого легко было не заметить, так быстро они мелькали, складывая монеты в небольшой ларец, отсчитывая сдачу, перекачивая по столу монеты и щелкая костяшками абака.

Этот не балагурил, как многие лавочники Броккенбурга, не посмеивался в усы, не приветствовал фамильярно частых посетительниц. Он работал молча и сосредоточенно, будто сам был не человеком, а поглощенным работой демоном. Монеты, которые он

принимал, были самого разного свойства — позеленевшие от времени крейцеры, выглядящие так, будто их жевали какие-то адские твари, новенькие серебряные талеры — их протягивали, зажав в носовой платок или тряпицу, чтоб не обжечься — гладкие и вытертые, как речная галька, гроши...

Время от времени то одна, то другая ведьма выбиралась из толпы, чтобы попытаться счастья. Они шептали горбуну что-то на ухо, кокетливо отводя глаза, иные хихикая, иные — с полной серьезностью на лице. Горбун отрывался от своей сложной работы лишь на половину секунды — чтобы кивнуть или покачать головой. Если он кивал, счастливица протискивалась в щель, качал головой — провожаемая насмешками и улюлюканьем товарок, сгорая от стыда, возвращалась на прежнее место.

Барбаросса не собиралась торчать в очереди вместе с прочими. С некоторых пор каждая секунда времени превратилась для сестрицы Барбы в золотую крупинку.

— Брысь, малолетние блядессы!.. — рыкнула Барбаросса парочке кокеток, идущих перед ней и держащих друг друга под локоток. Одетые в одинаковые обтягивающие платья из черной лакированной кожи, навощенной так, что можно было разобрать негромкий скрип, щебечущие что-то друг другу на ушко, они походили на парочку кокетничающих гадюк и улыбались тоже по-гадючьи, демонстрируя маленькие остренькие зубы.

Они поспешно отскочили в разные стороны, пропуская ее. А жаль. Быть может, если бы она рубанула локтем по паре-другой ухмыляющихся мордашек, на душе бы сделалось немногим легче...

— Ах ты! Гля, кто вылез! Кажись, Вера Вариола вспомнила про свой сундук со старыми панталонами, — пробормотала одна из сук за ее спиной, — Барби собственной персоной!

— Верно, она, — отозвалась в ответ ее спутница, опасливо зыря, — Только ободранная что псина и шатается... Что это она здесь?

— Тебя небось на танец пригласить хочет!

— Нет, тебя!

— Гля на рожу, развороченная аж страсть. Будто в пушку заглянула...

— Твоей мамке под юбку глянула!

— Ах, черт, а я говорила, долго при ней та хорошенькая чертовочка не задержится. Ну, которая с перышком на берете. Знать, кто-то ей уже кочерыжку меж ног присунул, вот Барби и заявила, замену высматривает...

Барбаросса попыталась резко развернуться на каблуках, но поздно — людское течение неумолимо влекло ее к воротам «Хексенкесселя», мешая добраться до обидчиц. Даже зубами щелкнуть не успела. Да и что щелкать-то — две суки в черном так быстро слились с сонмом прочих, что секундой спустя она даже не была уверена в том, что видела их воочию.

Здесь было до черта сук — любой породы на выбор, а уж одеты так, что рябило в глазах.

Расфуфыренные суки в длинных блио из тонкого шелка, под которыми нет ни панталон, ни нижних сорочек, ни брэ, одни только тончайшие подвязки да чулки. Смелые суки в платьях из тонко выделанной кожи, ярких, как у ядовитых насекомых, расцветок, смело выставляющие напоказ худые плечи, аккуратные коленки и острые лопатки. Стройные суки, туго затянутые в корсеты, точно в перчатки, щеголяющие при том коротенькими плундрами и высоченными ландскнехтскими ботфортами на массивных, почти лошадиных, подковах. Миловидные суки в коротких легких расшитых камизах, которые их бабушки наверняка постыдились бы надевать даже перед случкой. Элегантные суки в строгих закрытых платьях с отложным воротником на английский манер и пышными рукавами, однако при таких

коротких юбках, что между ног у них, кажется, посвистывает сквозняк. Самодовольные суки в колетах мужского покроя на голое тело, таких тесных и туго зашнурованных, что удивительно, как не лопаются шелк. Романтичные суки, носящие вместо платья или дублета свободные кружевные сорочки с пышными воротниками, под которыми можно разглядеть вместо нижнего белья сложно устроенное переплетение сыромятных ремней, затяжек и шнурков, больше напоминающих лошадиную сбрую.

Опытные суки, резвящиеся суки, голодные суки, одинокие суки... Барбаросса ощутила, что от запаха чужих духов у нее спирает дыхание в груди. Некоторые ароматы казались терпкими, как едва распустившиеся цветы, другие — удушливыми и страстными, как поцелуй уставшей женщины, но смешиваясь воедино, они превращались в один единый тягучий аромат, напоминавший ей запах конского пота, немытой промежности и уксуса.

Херова пучина из шлюх. Простояв здесь полчаса, немудрено, пожалуй, захлебнуться от сгустившегося запаха похоти, ощущаемого здесь так же явственно, как ключья ядовитого тумана в Унтершгадте. Работая локтями, Барбаросса двинулась в сторону распахнутых ворот «Хексенкелля», чувствуя, что начинает задыхаться — сильнее, чем в обществе розенов несколькими часами раньше. Там запах похоти был хоть и явно ощущаемым, но другим, подумала Барбаросса. Резким, но выдержанным, как у крепкого вина или хорошего рома. Здесь же он отдает отравленным розовым мускатом — сладко до тошноты, клокочет пузырьками в горле, от него делается изжога...

Чертова круговерть, вырваться из которой не проще, чем демону, пойманному в ловушку из хитроумных чар, заключенному в невидимую клетку пентаграммы. Или гомункулу — из своей проклятой банки.

Тончайшего шелка горжеретты, изящно завитые парички паскудно розового цвета, пышные фижмы на китовом усе, расшитые галуном жюстокоры, выставленные на всеобщее обозрение нижние юбки, развевающиеся вуали, пышные как торты куафюры с цветами и лентами...

Вот почему ты не жалуешь «Хексенкессель», Барби. В здешнем воздухе разлит слишком много похоти, ты просто успела забыть, как тебя тянет блевать от этого запаха. И вовсе не потому, что ты ханжа. Может, ты родом из сонного саксонского угла, где, изнемогая от тоски, черные от копоти мухи дохнут прямо на трактирном столе, но ты никогда не воспевала целибат, как сестры из «Железной Унии», посвятившие жизнь суровому служению только им ведомым идеалам, которые звенят на каждом шагу — так много у каждой из них под робой нацеплено вериг и цепей. Нет, ты всегда спокойно наблюдала, как крошки делают это с крошками — или с парнями или с либлингами или, черт возьми, даже с существами из адских бездн, хотя это иногда очень паскудно и очень скверно заканчивается. Просто...

Просто ты доподлинно знаешь одну вещь — сколько похоти бы ни было растворено в липком воздухе «Хексенкесселя», на твою долю не достанется ни одной щепотки. Никто в клокочущей толпе, медленно заводящейся от тяжело гремящих ритмов клавесина, не подойдет к тебе, чтобы, смущенно улыбнувшись, пригласить на танец, будь то исполненная важности лебединая павана или разнузданная, похожая на драку в переулке, гальярда. Никто не пошлет тебе украдкой воздушного поцелуя, беззвучного, как резвящийся демон и сокрушительного, как выпущенная из мушкета пуля. Никто не прикоснется несмело к твоему рукаву, не возьмет за руку, чтоб увести за собой туда, где клокочат страсти и льется вино, где девочки, которым предназначено стать ведьмами, уединившись друг с другом, пробуют

впервые некоторые вещи. Пробуют несмело, на двоих, точно это украденная в лавке бутылка вина, самые разные девочки — умные девочки, хитрые девочки, робкие девочки, дерзкие девочки...

Барбаросса тяжело мотнула головой. Она никогда не искала развлечений такого рода — ну, если забыть о временах Шабаша, когда ей просто приходилось делать некоторые вещи, чтобы держать в подчинении свору голодных оторв. Но после, вырвавшись на свободу, подчиненная лишь себе и своему ковену, она никогда не возвращалась к этим грешкам — и не чувствовала позывов. Ну уж нахер.

Похоть, может, чертовски изобретательный грех, дающий многие новые ощущения, но он, как многие адские зелья, коварен и губителен для невоздержанных. Похоть развращает, размягчает душу, делает тебя податливой и слабой. Сучки, которые вместо того, чтобы упражняться с ножом и отмычками, зажимаются друг с другом по углам, никогда не станут ведьмами — их слабые дрожащие пальцы, ловкие язычки и фривольные татуировки ничуть не помогут им на улице. А вот хороший кистень...

«Не увлекайся этим делом, Красотка, — как-то раз сказала ей Панди, выбираясь на рассвете из унтершпадского борделя, вымотанная настолько, что вынуждена была нести сапоги на плече, — Когда хорошенькая сучка строит тебе глазки, не будет беды, если ты потратишь полчаса на исследование ее брэ и всякие милые глупости. Но никогда не увлекайся этой хренью всерьез, если хочешь сохранить голову на плечах. Почему? Любовь губит ведьм, Красотка. Это так же верно, как то, что Ад сделан из раскаленной серы и огня. Если уж зудит между ног, послушай доброго совета, подыщи себе хороший хер, а заодно то, к чему он крепится — мужчину. Но никогда не увлекайся кисками. Эта дрянь быстро превращает ведьму в истекающего соплями слизняка, беспомощного перед адскими фокусами. Впрочем... Ты, наверно, не очень по любовным делам, да, Красотка? Я имею в виду, уж с твоей-то мордашкой...»

Да, подумала Барбаросса, озираясь, адским владыкам было угодно избавить сестрицу Барби от многих хлопот и тревог, связанных с любовными делишками — превратив ее лицо в скверно пропеченный пирог. Ее никогда не приглашали на свидания, она не была гостьей на устраиваемых многими ковенами оргиях, ей не писали стихов и не назначали украдкой встреч. Благодарение Аду — она была избавлена от необходимости тратить время таким паршивым образом. Жаль только, она не удосужилась потратить его на учебу или распорядиться им каким-нибудь мудрым образом...

Ха! Если бы сестрица Барби за семнадцать лет своей жизни хотя бы раз проявила благоразумие, все гарпии Броккенбурга слетелись бы поглазеть на такое чудо!..

Барбаросса рывкнула на группку сучек в блестящих юбчонках, весело щебечущих у нее на пути — и те испуганно прыснули в стороны, точно перепуганная мошкара.

Завтра эти сучки будут сидеть на жестких скамьях в лекционной зале и, строя из себя паинек, выпитывать знания об устройстве Ада и адских науках. Но сейчас... Сейчас они злы, веселы, пьяны и требовательны. Они ждут возможности насытить свою душу до предела, зная, что каждая из них может не пережить следующего дня. И похоть у них злая, нетерпеливая, требовательная, точно у голодных волчиц. В «Хексенкесселе» редко флиртуют и держатся за ручку, здесь происходит случка — жадная, быстрая, исполненная обжигающей, как адские ручьи, страсти. Нетерпеливое беспорядочное спаривание озлобленных на весь мир парий, больше похожее на неистовую схватку, несмотря на те неумелые ласки, которым они награждают друг друга, и трогательные слова, которые шепчут

на ухо...

Звери. Похотливые животные. Адские исчадия, любовь которых так же смертоносна и опасна, как ненависть...



Барбаросса шикнула сама на себя, заставив стиснуть зубы и сосредоточиться. Перестать обращать внимание на экстравагантные тряпки, которыми щеголяли здешние сучки и прически, от которых ее иной раз подмывало сплюнуть. Ты здесь не для этого, сестрица. Ты ищешь не развлечений и не сучку на ночь, ты ищешь пиздорванок из «Сестер Агонии». И лучше бы тебе разуть глаза посильнее, чтоб они не нашли тебя первыми.

Были и такие, что украдкой хихикали у нее за спиной, тыча друг дружку локтями. И верно, она выглядела совсем не так, как одеваются хорошие девочки, собираясь на танцы — изваленный в грязи и побывавший в пламени дублет почти лишившийся пуговиц, топорщащаяся грязной рогожей рубаха с заскорузлым от пота воротом, такие же грязные бриджи... Черт, в старые времена ведьмы, должно быть, более пристойно выглядели, отправляясь на костер, чем она этим вечером!

Барбаросса привычно ухмыльнулась, ловя на себе чужие взгляды.

В отличие от ехидных замечаний Лжеца, эти взгляды не были достаточно остры, чтобы пронзить ее закаленную и порядком обожженную шкуру.

Черт, подумала она с мысленным смешком, таким же колючим, как когти Цинтанаккара, медленно раздирающие ее печенку, крошка Барби в самом деле немного неправа, явившись на танцуйки в таком виде. Некоторые традиции Броккенбурга никчемны, глупы или не стоят даже тех салфеток, на которых они записаны. Другие так стары и запутанны, что забыты даже фригидными суками из Большого Круга. Но есть среди них и те, которые по какой-то причине пользуются уважением сук Броккенбурга. Одна из них гласит — ты можешь истекать кровью из распоротого рапирой брюха, ты можешь визжать от боли, ты можешь хлюпать разможжённым носом и зиять выбитыми зубами, но отправляясь на танцы в «Хексенкессель», будь добра выглядеть достойно ведьмы. Надень лучшее, что у тебя есть, нацепи шпоры, если носишь их, приведи в порядок волосы и лицо.

Барбаросса вновь ухмыльнулась — в этот раз сама себе.

Наверно, так ей и стоило поступить. Как бы она ни спешила, выкроить минутку, забежать в Малый Замок за пудрой, губной помадой, сажей и чем там еще мажут себе мордашки все эти юные потаскухи из ковен, воображающие себя великими искусительницами. Свистнуть младших сестер, чтоб те согрели в лохани воды, выкупаться, потом завить волосы на этакий блядский манер, как сейчас носят, отполировать свечным воском ногти. Ради такого случая можно было бы даже нацепить платье. Какую-нибудь этакую розовую дрянь с тугим, по нынешней моде, корсетом. У нее самой никогда не было платья, но наверняка в шкафу у Холеры или Ламии сыскалось бы что-то пристойное...

Конечно, это потребовало бы некоторого времени, но наверняка монсеньор Цинтанаккар отнесся бы к этому с пониманием — у девушки может не хватать чертовых пальцев или зубов или половины требухи в брюхе, но она должна хорошо выглядеть, отправляясь вечером на танцы!

Продираясь сквозь толпу, Барбаросса едва не зашлась от смеха, представив себя одетой на такой манер. Старина Панди, наверно, обоссалась бы от смеха, увидев ее. Черт, Панди и сама была мастерицей уничтожать любые традиции и правила. Как-то раз, два года назад, в

канун Биикебрененна, она явилась в «Хексенкессель» в чем мать родила, перемазанная печной сажей, с обрывком рыбацкой сети на плечах вместо манто, с жестяной короной на голове — и никто не осмелился ей даже слова сказать. Плясала до рассвета как сам Сатана, рассадив в кровь пятки, вылакала полдюжины бутылок вина, пересосалась с десятком хорошеньких прелестниц, затем, пьяная до полусмерти, взгромоздилась на какой-то карниз, упала с него, едва не свернув себе шею, полезла в драку, своротила кому-то нос или два. Потребовалось десять ведьм, чтобы ее, завывающую, сквернословящую и хохочущую, удалось кое-как связать и вытащить за пределы «Хексенкесселя», а судачили об этом еще неделю. И это была далеко не самая горячая из ее выходок.

Панди Броккенбург прощал многие выходки, даже такие, за которые более молодая сука могла бы угодить под суд Старшего Круга или получить нож в бок. Не потому, что она свято чтит ведминские традиции — старина Панди срать хотела на все традиции, правила и порядки, кем бы они ни были писаны. Потому, что она своей дерзостью, яростью и пылом символизировала Ад с его энергиями куда лучше, чем все ветхие трехсотлетние традиции Броккенбурга. Она и была Адом, подумала Барбаросса, маленьким, но очень горячим угольком адского пламени, отскочившим от него, неистово дымящим, способным прожечь дыру в любой руке, которая неосторожно к нему протянется...

— Два гроша, сударыня, — сказал кособокий горбун, не поднимая на нее глаз. Его стеклянные пальцы ловко перебирали монеты, издавая легкий гул.

Барбаросса ухмыльнулась.

— Какая досада, Альбрехт, я не захватила с собой серебра. Но я могу заплатить неприятностями. У меня их с собой гораздо больше, чем на два гроша. Уверен, что сможешь отсчитать мне сдачи?

Горбун поднял на нее взгляд. Стеклянные пальцы, раскладывающие по столу монеты, впервые ошиблись — задев ларец, издали протяжённый гул — такой бывает, если невнимательная хозяйка, протирая сервиз, коснется невзначай супницей буфета.

— Барби. Я думал, черти в Преисподней давно грызут твои кости.

— От моего горького мяса у них случилось несварение, так что они вышвырнули меня обратно в Броккенбург.

— Ты уверена, что они не успели полакомиться твоим лицом? Выглядит оно еще паскуднее, чем прежде.

— Ты всегда был галантным кавалером, Альбрехт.

Пальцы горбуна сжали медный крейцер, издав неприятный звук — точно кто-то провел гвоздем по оконному стеклу.

— А ты — бешеной сукой, Барби. Если ты собираешь выкинуть что-нибудь дурное этой ночью...

Она улыбнулась.

— Ничего такого. Поболтаю с подругами, выпью немного вина, потанцую. Ты же знаешь, как мы, девочки, привыкли расслабляться.

— Ты не девочка. Ты адское отродье, которое стоило бы удавить в колыбели.

— Но тебе всегда нравилась моя улыбка.

Горбун мотнул головой по направлению к воротам.

— Проходи.

Шипение завистливых сук из толпы напоминало шуршание роскошного мехового палантина на плечах. Барбаросса скользнула в щель, не скрывая усмешки. Черт возьми, если

проклятая гора Броккен еще стоит на своем месте, отравляя небо над собой, если еще не провалилась в тартарары вместе со всем грузом грехов, похоти, паршивых чар и неумных амбиций, то только потому, что она зиждится на хребтах таких мудрых и здравомыслящих людей, как Альбрехт!

Только за воротами, очутившись на территории «Хексенкесселя», Барбаросса смогла перевести дыхание. Она провела в сучьей стае разодетых куколок всего несколько минут, но этого хватило, чтобы она провонялась миазмами чужих духов и пота. И если бы только ими... Барбаросса уже ощущала, как зудит шея. Кажется, этих минут хватило прелестным куколкам, чтобы щедро поделится с ней пудрой со своих причесок. И хорошо бы это была просто пудра, а не пудра с блохами...

Блохи — это совсем скверно. Когда сестры-«батальерки» начинают чесаться, как бродячие псицы, жизнь в Малом Замке делается совсем невыносимой. Гаста грозитя обкорнать всех кухонным ножом, сестры орут друг на друга, Кандида, Острица и Шустра, сбиваясь с ног, таскают дрова чтоб разогреть воду в лохани, носятся по лестницам с охапками шмоток старших сестер на головах, гремят жестяными ковшками...

Ладно, подумала Барбаросса, оглядываясь, возможно сейчас у меня есть проблемы посерьезнее вшей.

У ворот «Хексенкесселя» ее как будто бы никто не ждал. По крайней мере, ей не бросилась в глаза красная ковровая дорожка, которую расстилают обыкновенно магистратские евнухи к приходу важных гостей, как и табличка «Приветствуем сестрицу Барби, самую скудоумную суку на свете». Черт. Немного странно, как будто?

«Сестрички» сами назначили ей свидание в «Хексенкесселе», но что-то не видно, чтобы они спешили ее встретить, как это водится между подругами. Выжидают, затерявшись в толпе? Пристально наблюдают за ней, держа украдкой обнаженные ножи? Ну, с ножами это, конечно, ерунда, они не посмеют нападать в открытую при такой прорве свидетелей, но держаться стоит начеку, это уж наверняка.

Пространство, обрамлявшее «Хексенкессель», звалось «Хексенгартен», Ведьмин Сад но Барбаросса не могла припомнить, чтоб кто-то из броккенбургских девчонок именовал его иначе чем Венераина Плешь. Чертовски подходящее название для огромного серого пустыря, покрытого выжженной землей и редкими колючими деревцами, сморщившимися от едкого магического испарения, в самом деле похожий на дряблый морщинистый лобок сорокалетней старухи. Тем больше группки ведьм, бесцельно снующие по нему, беспокойно крутящиеся по углам, переминающиеся у входа, напоминали стайки беспокойных блох.

Несмотря на то, что все эти разодетые в кружева шалавы явились в «Хексенкессель» чтобы потанцевать, зачастую именно на Ведьминой Плещи, служащей ему подворьем, происходили все самые интересные события вечера. Здесь без утайки распивали украденное в лавке вино, чтоб разгорячить кровь перед танцульками. Здесь прихорашивались перед тем, как зайти внутрь, помогая друг другу с платьями и прическами. Здесь по-быстрому перекидывали в карты, чтобы определить кавалера. Здесь делились зельями, тайком сваренными в алхимических лабораториях и торопливо глотали сладкий опиумный дым из передаваемых по кругу трубок.

Некоторые чертовки, кажется, приходили в «Хексенкессель» не для того, чтоб подрыгаться под музыку, а только чтобы погулять по Ведьминой Плещи, исполнив немудреные здешние ритуалы. Неудивительно, что здесь в любое время было полно народу. Благодарение адским владыкам, здесь по крайней мере не было того столпотворения, что

царило перед воротами — здешние сучки не липли в единое целое, а межевались небольшими стайками, точно благородные дамы на балу.

Барбаросса двинулась против часовой стрелки, обходя возникающие на ее пути группки, сама стараясь держаться самых неосвещенных мест. Площадь перед «Хексенкесселем» бурлила, быстро наполняясь людьми, легко втягивая в себе и переваривая в своем чреве все новые и новые десятки беспокойных сук. Некоторые прибывшие сразу направлялись внутрь, притягиваемые злыми рокочущими ритмами клавесина и тонкими тревожными вскриками флейт, другие подобно самой Барбароссе принимались кружить вокруг — высматривали подруг и приятельниц, искали компанию или кавалера на вечер.

Многие спешили зарядиться перед танцуйками, пуская по кругу распространяющие едкий душок трубки и неумело набитые самокрутки. Барбаросса лишь морщила нос, проходя мимо. Дурман пах терпко и сухо, как прошлогоднее сено, белладонна отдавала чем-то нежным и ядовитым, похожим на гниющую мяту, от опиума несло дешевым медом и бурьяном. Знакомые запахи — в свой первый год в Броккенбурге она сама перепробовала до черта самой разной дряни, от безобидных цветочков, растущих у подножья горы, до тех порошков, что суки из «Общества Цикуты Благостной» тайно продают в крохотных склянках. Херня это все. Только об этом не знают давящиеся дымом суки, судорожно кашляющие и стучащие друг друга по спинам. Наглотавшись ядовитого дыма, этой ночью они будут плясать так, как не плясали никогда в жизни, рычать от удовольствия, стонать в пароксизмах блаженства, неистово сношаться друг с другом, точно демоны, но утром... Утром они будут ощущать себя так, словно с них заживо сняли кожу и намазали раскаленным варом. И хер с ними. Тупые прошмандовки, готовые жадно сожрать каждый кусок, который им подносит Броккенбург, заслуживают каждой минуты своих мучений.

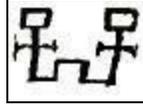
Более здравомыслящие или менее богатые суки довольствовались вином. Винных бутылок вокруг мелькало так много, что их блеск зачастую затмевал блеск фальшивых драгоценностей, украсивших изысканные туалеты и прически. Некоторые утоляли жажду так жадно, что насосались еще до начала — эти хихикали, поправляя друг другу корсеты, или бродили вокруг, пошатываясь, трогательно поддерживая друг друга под руку. Эти, наверно, не доберутся до танцев — обблюют друг дружку и свалятся в ближайшей канаве...

Лица вокруг попадались все больше незнакомые. Юные, накрашенные в подражание придворным дамам, великосветским шляхам и театральным дивам, лоснящиеся румянами, неумело покрытые пудрой, призванные вызывать похоть и вожделение, они скорее вызывали смех — Барбаросса иной раз вынуждена была отворачиваться, чтобы не прыснуть. Роковые красотки, еще недавно игравшие в куклы, уверенные в том, что могут разжиться всеми богатствами Ада, стоит только раздвинуть ноги — вы даже не знаете, сколько подобных вам Броккенбург переживал, скрежеща старыми столетними зубами...

Впрочем, некоторые из них, пожалуй, перепачкали себя гримом вполне осознанно, не из детской прихоти. Проходя мимо, Барбаросса подмечала в свете масляных ламп, освещавших Венерину Плешь, припухлые шрамы на хорошеньких щечках, прикрытые толстым слоем пудры, отсутствие уши, скрытые тщательно уложенными прическами, причудливой формы рубцы на запястьях, подбородках и шеях... Следы, оставленные Шабашем. Она сама носила на себе несколько дюжин подобных, давно позабыв их историю, а на других оставила еще больше.

Ищи, приказала себе Барбаросса. Всматривайся. Вынюхивай. «Сестрички» наверняка здесь, просто растворились в толпе, наблюдают за тобой. Зачем? Может, в самом деле хотят

поговорить. Сообразили, что поспешили, обьявив на нее Хундиненягдт и теперь отчаянно ищут способ сохранит себе зубы и вместе с тем не потерять лицо. А может, прямо сейчас какая-нибудь «сестричка», изображая пьяно хихикающую ведьму, подбирается к тебе, сжимая в пальцах отравленный шип...



Барбаросса резко оглянулась, пытаясь охватить Венерину Плешь взглядом. Хер там. Даже при свете дня это было бы непростой задачей, сейчас же, когда вся площадь перед «Хексенкесселем» клубилась и волновалась от великого множества фигур, тут спасовало бы самое зоркое и наблюдательное из всех адских отродий. В такой толпе немудрено не заметить архивладку Белиала в двух фуссах от себя...

Барбаросса двинулась к «Хексенкесселю», пытаясь припомнить все, что ей известно о ковене «Сестры Агонии» и его шлюхах-сестричках. Это было похоже на попытку извлекать кусочки не прожжённой древесины из остывшей холодной угольной ямы. Некоторые кусочки поддавались с трудом, другие рассыпались трухой прямо в пальцах, иные она выбрасывала сама — скорее всего, это были отголоски трактирных слухов, не представляющие для нее собой ценности.

Их главную суку звали Жевода. Не потому, что она любила ковыряться в земле или испытывала слабость к блестящим цацкам. Ее полное имя было Жеводанская Волчица. Черт, наверно, не так-то просто заработать подобное имя, имея талант белошвейки или кухарки...

Барбаросса помнила Жеводу по Шабашу, но мельком — среди сотен озверевших малолеток, по какому-то недоразумению считающихся ведьмами первого круга, не так-то просто выделиться, если не имеешь особенных задатков. Особенных задатков у Жеводы не водилось, а выделиться при помощи жестокости в Шабаше не проще, чем выделить в стае крыс острыми зубами.

Тогда ее звали Холопкой, вспомнила Барбаросса. Острый на язык, Шабаш легко одаривает своих юных чад новыми именами, зачастую грязными, как половая тряпка в трактире, или жестокими, как серебряная заноза, вогнанная в самое мясо. Но некоторые клички прилипают к своим владельцам так легко, как будто сшитый на заказ у хорошего портного дублет. Так, что потом не отрезать даже бритвой.

Ей на роду написано было быть Холопкой. Родившаяся где-то во Фрисландии, краю ядовитых озер, вонючего сыра и свального греха, изъясняющаяся на такой каше из языков, что слушать тошно, вдобавок награжденная крупными лошадиными зубами, сама похожая на мосластую тяжелую кобылу фризской породы, она должна была носить это имя до конца своих дней, до того оно ей шло.

Крестьянское семя живучее, как молочай, цепляющийся своими длинными корнями за отравленную, выжженную столетиями войн и эпидемий землю, выжимая из нее воду до последней капли. Взять хоть рыжую суку Гасту, хоть Гарроту, проклятую веревку... Едва разобравшись, с какой стороны вверх, чертовы грязножопые «башмачницы» обустроиваются на новом месте с ловкостью раковой опухоли, через полгода уже хрен вырежешь... Это тихие городские девочки из Ауэ-бад-Шлема и Эльстры, столкнувшись с тем, что именуется Шабашем и славными броккенбургскими традициями, ночью, всхлипывая, режут себе в дормиториях вены при помощи украденного лезвия от бритвы или обломка ножа. Это юные прелестницы из Радебойля и Августбурга лежат лицом в канаве, неудачно вытравив плод или получив тычок гвоздем в шею от товарок после танцев. Это невинные юные пидорки,

взращенные на гравюрах Буссемахера и стихах Августы-Магдалены, гибнут на дуэлях, нанизывая друг друга на рапиры, сгорают заживо, познав немилость адских владык, в корчах дохнут от голода, не в силах раздобыть даже корки хлеба или стреляются, проигравшись в карты. Крестьянская порода другого сорта. Неимоверно живучая, наглая, самоуверенная, она заглубляется в любую землю, которую только можно нащупать, да так, что уже никогда не выплоть — даже если это ядовитая земля Броккенбурга, которая из пшеничного зерна родит мертвую крысу с тремя головами.

Жевода — тогда еще Холопка — врезалась в камень Броккенской горы так резво, будто намеревалась пробурить его до самых адских глубин. Быстро уяснив правила Шабаша — «башмачницы» всегда сообразительны, отведав кнута — она беспрекословно приняла его нехитрый кодекс чести и принялась обустроиваться со всем своим фризским пылом. Беспрекословно выполняла приказы старших сестер, служа при них вестовым, горничной, секретарем, швеей, виночерпием или сиделкой. Наверняка она была бы рада попасть и в спальни к старшим, да только едва ли ее туда зазывали — костистая, грубая, с тяжелой походкой и чертами Диллемы Фукье, она ничем не походила на тех розовощеких цыпочек, которых тягали к себе в койку старшие сестры. Но чего ей было не занимать, так это упорства.

Эту суку сам архивладыка Белиал мог бы запрячь в свою карету — не очень успешная в постижении адских наук, она брала свое крестьянской настойчивостью и свойственной всем фрисландцам самоуверенностью. Не только выполняла капризы старших сестер, порой весьма унижительные, но и беспрекословно лезла в огонь, когда того требовали обстоятельства. Она не раз рисковала собственной шкурой, совершая мелкие кражи в университете — многие препараты из алхимических лабораторий пользовались популярностью в Шабаше, имея самое разное применение, а иногда просто спускались из-под полы в Руммельтауне, Круппельзоне или Унтерштадте. Она выгораживала старших, принимая на себя вину за их провинности и не единожды была бита за это кнутом.

Однажды, когда расследовалось дело о пропаже пары книжонок по демонологии из университетской библиотеки, Две-Манды, госпожа проректор, разъярилась настолько, что едва было не заставила ее руки срастись за спиной. И хоть опасность была близка как никогда, Холопка и тогда не выдала зачинщиц. Повезло — Две-Манды смягчилась, что с ней бывало чрезвычайно редко, и удовлетворилась тем, что превратила ее правое ухо в сросшегося со щекой живого богомола. Холопка голосила всю ночь, отрезая его от себя ножом и мешая старшим сестрам спать, но все-таки отрезала и обошлась малой кровью. Выдай она госпоже проректору, кто стоит за кражей, Шабаш обошелся бы с ней так, что любое наказание университета могло бы показаться неумелой лаской...

Умный слуга стоит гульден. Преданный слуга стоит десять. Так говорит старая саксонская поговорка, родившаяся, верно, еще в те времена, когда двери Ада были закрыты. У адских владык преданность не более ходовой товар, чем прошлогодняя пыль или кошачье дерьмо. Если Холопка надеялась своей преданностью заслужить себе место в Шабаше, то лишь понапрасну теряла время, безропотно выполняя приказы и снося оскорбления старших. Шабаш — это не армия, где упорства и верности зачастую достаточно, чтобы дослужиться до офицерского патента. Шабаш — это стихия, слепая, яростная и безумная, как пожар. Перед огнем нельзя выслужиться, он просто пожирает то, что находится ближе всего и в чем он ощущает пищу. Холопка этого не знала.

Многие юные суки покидают Шабаш после своего первого года в Броккенбурге.

Высыпают из его чрева, еще не веря в то, что остались живы, опаленные и отравленные его дыханием, однако уверенные в том, что в скором времени обретут ковен и любящих сестер. Никчемные тупые прощмандовки, они не понимают, что для всякого ковена они не находка и не выгодное приобретение, а куски угля, которые швыряют в печь.

В Шабаше тебя унижают все, кому не лень, но Шабаш — чудовище с тысячью голов, половина из которых заняты тем, что терзают друг друга. Шабаш непостоянен, хаотично устроен и беспорядочен — так устроены все пожары. Вчерашняя пария может стать героиней,

вчерашняя владычица — проснуться полотеркой, вчерашняя знаменитость сделаться безвестной тенью. Если тебя грызут старшие суки, а ты боишься дать отпор, можно попытаться спрятаться, скрыться на пару дней из вида — всегда есть вероятность, что про тебя просто-напросто забудут, в Шабаше слишком много хлопот и без тебя. Уже завтра ненасытное пламя найдет себе другую, более богатую пищу, или перекинется на кого-то еще. Если тебя третируют долгое время, целенаправленно сводя со света, дело хуже, но все равно не безнадежно. Ты можешь столкнуться с другими мелкими суками, чтобы сообща давать отпор, или подыскать себе более сильную покровительницу, надеясь не сделаться ее рабыней. На худой конец, если кто-то не дает тебе житья, ты всегда можешь взять сплетенную из шнура удавку и удавить суку в ее же койке. Или подлить в вино какой-нибудь дряни, украденной на занятиях по алхимии. Или — если водятся деньжата — ткнуть украдкой заговоренной иглой, внутри которой живет мелкий демон. Шабаш поощряет фантазию и смелость, вот почему его сестры-матриархи, выжившие в этом аду больше четырех лет, еще более опасные и хитрые суки, чем великосветские пиздолизки из Большого Круга, делающие друг другу реверансы и мнящие себя великими ведьмами...

В ковене дело другое. Вступая в ковен, ты приносишь ведьминскую клятву сестрам — и храни тебя владыка Белиал, если кто-нибудь заподозрит тебя в ее нарушении. Обитая в Шабаше, ты ощущаешь себя искрой, блуждающей в гудящем пламени. Обитая в ковене, ты ощущаешь себя чужой собственностью — чем-то средним между парой сапог, расческой и носовым платком.

В ковене ты не затеряешься на фоне прочих — затеряться среди тринадцати сук не проще, чем сухой горошине — на лысине господина бургомистра Тоттерфиша. В ковене ты не найдешь себе заступницы или подруги — тебя с одинаковой охотой будут лупить все, кто стоит на ступень выше тебя. В ковене ты не посмеешь свести с кем-то счеты — почесать друг об друга кулаки всегда можно, но попробуй достать нож, чтобы свести счеты и будешь наказана так страшно, как тебе не накажут даже в адской бездне — Броккенбургские традиции требуют взysкивать большую цену за такие вещи, расценивая их как одно из самых страшнейших преступлений.

Да, вспомнила Барбаросса, там мы и распрощались с Холопкой, которая ныне зовется Жеводой. Мы с Котейшеством выбрались из Шабаша и спустя всего месяц обнаружили себя «батальерками» на службе у госпожи Веры Вариолы — спасибо Котти и чертовым крысам. А вот Холопка...

Нет, Холопка не собиралась в ковен. Будучи уверенной, что своим преданным служением она добудет себе расположение старших сестер и матриархов Шабаша, она осталась там на второй год. И, верно, не раз об этом пожалела. Сопливых первогодок в Шабаше третируют на все лады, зачастую даже не помня в лицо. Сколько бы их не издохло, не вынеся пыток и издевательств, на следующий год придут новые — еще пахнувшие молоком

и медом, чистенькие, причесанные, с конфетами во рту, не представляющие, что им суждено погрузиться в расплавленный свинец. Но если ведьма изъявляет желание остаться в Шабаше на второй год, это, черт возьми, свидетельствует об определенных амбициях, а матриархи, старые мудрые крысы, сожравшие так много соратниц, что могли бы сложить себе кареты из их костей, многое знают об амбициях. Излишне амбициозных сук полагается испытывать — не теми детскими шалостями, что царят на первом круге, уже всерьез.

За второй год в Шабаше Холопке трижды ломали ноги — сестер забавляло, как забавно она, неуклюжая и нескладная, прыгает на костылях. Даже жаркими июльскими вечерами, когда раскаленные крыши Броккенбурга пузырились от жара, она не снимала рубахи с длинным рукавом — все ее тело, судя по слухам, было покрыто жутковатой вязью из тысяч ожогов, рубцов и струпьев — старшие сестры, упражняясь при помощи кочерги, учились выжигать на ней разнообразные клейма. У нее не было желчного пузыря — старшим сестрам он потребовался для изготовления какого-то алхимического зелья и был позаимствован у нее — не самым безболезненным образом. Иные души в аду не испытывают столько боли за три века, сколько Холопка перенесла в Шабаше за год.

Упрямая как демон, она всякий раз сцепляла свои лошадиные зубы, скрипела сухожилиями и перла вперед, не обращая внимания на боль. Чертова фризская двужилность вкупе с упрямством позволили ей выжить там, где многие другие не выживали. Вполне может быть, что она дожила бы когда-нибудь до звания матриарха, примкнув к когорте злобных хитрых сук, правящих Шабашем, она уже полировала шпоры, ожидая Вальпургиевой ночи, чтоб перейти на третий круг, по слухам, более милосердный и щадящий, когда случилась неприятность. Одна из старших сестер, крупно проигравшаяся другим в кости, заявила, что Холопка стащила у нее из сундука три талера — чертовски немалая сума по меркам Шабаша. Едва ли Холопка в самом деле осмелилась посягнуть на деньги, к тому времени она уже нажила порядком опыта и знала немудреные крысиные законы. Она бы скорее отгрызла себе руку, чем посягнула на собственность сестер. Но обвинение было выдвинуто — а обвинения в Шабаше часто переходят в казнь минуя утомительную и хлопотную стадию судебных прений.

Тогда-то Холопку и прорвало. Схватив табуретку, она раскрыла головы паре сук, что стояли ближе всего и задала стрекача, бросив все то, чему преданно служила два года. Иногда даже исполнительная крестьянская лошадь, если снять с нее все мясо кнутом, может взбрыкнуть, проломив хозяину голову.

Третий год своего обучения в Броккенбурге Холопка встретила в незавидном положении. Оставившая за спиной Шабаш, в котором из нее пообещали набить чучело, она не имела шанса обрести ковен — ни одна скудоумная сука не возьмет под свое крыло «трехлетку». Младшим сестрам положено выполнять черную работу и беспрекословно выполнять приказы старших, но ни одна «трехлетка», вкусившая жизни в Броккенбурге, вскормленная его дрянной кровью, не позволит командовать собой ровне. Такая только испортит слуг, принесет раздор в ковен, разрушит годами выстраиваемые отношения.

Некоторое время Холопка пыталась выживать сама по себе, но Броккенбург — это не тот город, который благоволит нищим ведьмам. Без серебра в кошельке, без крыши над головой, без товаров и компаньенок не протянуть и месяца. Она знатно отошала, завшивела, заложила сапоги, чтобы не протянуть ноги, и озверела еще больше. Голод и нужда нихера не благотворно сказываются на саднящих шрамах и уязвленной гордости.

Кончилось тем, что Холопка ограбила лавку в Нижнем Миттельштадте. Дерзкая

выходка, рожденная скорее голодом и тлеющей в душе ненавистью, чем расчетом и здравым смыслом. Да и не приживается обычно здравый смысл в вытравленной Шабашем душе... Не удосужившись дождаться, пока приказчик отпустит слуг, Холопка ввалилась в лавку с украденным перед тем топором в руках — и потребовала вскрыть сундуки. Приказчик заупрямился, а может, просто не считал серьезной опасностью пошатывающуюся от слабости девчонку с топором в руках. Она выглядела и вполтину не так опасно, как юные суки, на первом круге обучения умеющие щелчком вышибать искры из пальцев и подчинять крохотных, как мошकारа, духов.

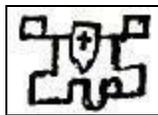
Холопка положила четверых, приказчика и трех слуг. Она была не так, как полагается бить, орудуя топором, продольными ударами сверху вниз. Она била в лицо. Ее адский владыка, должно быть, проникнувшись ее невзгодами, наделил ее в эту минуту силой голема, потому что удары эти были страшны и смертоносны, не оставляя раненых. Добычей Холопки стала горсть медных грошей, но настоящую награду она обрела позже.

На следующий день броккенбургские газеты изошлись криком, проклиная неизвестного убийцу. Кто-то вспомнил Жеводанского зверя — какого-то вольного демона, который хозяйничал во Франции двести лет назад, прокусывая головы юным девицам и пастухам. Никчемное развлечение, до которого никогда бы не опустился настоящий владыка, скорее всего, шалости кого-то из мелких отродий. Но газеты с удовольствием вспомнили позабытое имя и трепали его на всех углах еще неделелю.

Холопка стала Жеводой. Она сама нарекла себя этим именем, дав возможность любой суке в Броккенбурге оспорить его. Но никто не оспорил. У взрослых девочек свои хлопоты, младшие и без того заняты работой. Впервые ощутив на губах вкус победы, Жевода быстро обрубила все цепи, которые прежде удерживали ее здравомыслие. Вкус свободы здорово пьянит голову, неудивительно, что Жевода, узнавшая его лишь на третий год обучения, принялась хлестать ее стаканами, точно вино.

Черт возьми, за последние полгода Жевода, должно быть, успела славно погулять. Наверняка о ее похождениях была хорошо осведомлена Бригелла, «Камарилья Проклятых» коллекционировала грязные слухи точно изысканные украшения, но — Барбаросса ухмыльнулась, продираясь сквозь толпу — крошка Бри сделалась в последнее время куда менее разговорчивой, чем обычно.

Никаких других воспоминаний о Жеводе она больше выудить не могла. Пару раз они мимоходом встречались — Барбаросса смутно помнила ее коротко стриженные пегие патлы и крупные лошадиные зубы — но не при тех обстоятельствах, когда девочки откладывают вязание и берут в руки ножи. Они никогда не сцеплялись между собой, но в этом и нет ничего удивительного, Броккенбург — чертовски большой город. К тому же, долгое время они и обитали порознь, в двух обособленных его фракциях. Жевода-Холопка прозябала под полом, заодно с крысами, а сестрица Барби, вытянув счастливый билет, устремилась наверх...



Ковен, который склотила себе в скором времени Жевода, и ковен-то не мог считаться. Скорее, пестрой бандой не нашедших себе места в жизни шлюх. Не держащаяся традиций, плевать хотевшая на все соглашения и правила, Жевода и ее крошки вели жизнь не ведьм, но разнузданных древнегерманских варваров. Устраивали налеты на лавки в Унтерштадте — хотя бы в этом благоразумие им не изменило — тащили из плохо запертых

сундуков добро, не гнушались и древнего ремесла ночных разбойниц. Несколько раз били витрины в Эйзенкрейсе, чтобы стащить понравившиеся цацки и чудом улепетывали от стражи. Сборище сук, которым нечего терять. Отряд обезумевших ландскнехтов, лишившийся и нанимателя и командира. Стая демонесс, одержимая желанием пировать, пока не закончилась ночь.

Две недели назад где-то в Нижнем Миттельштадте они нашли старенький аутоваген с возницей, удавили его и целую ночь напролет колесили по городу, распевая песни и хлеща вино, чтобы на рассвете сжечь его дотла. Барбаросса слышала об этом от Саркомы, но позабыла, а сейчас этот кусочек воспоминания вернулся на нужное место.

Еще за неделю до этого они разгромили трактир «Три с половиной свињи». Не потому, что им нужна была выручка, просто перепились и погавкались с посетителями. Хозяин с проломленной головой, трое или четверо покалеченных. Об этом, посмеиваясь, поведала сестрам Холера, вернувшись из ночных странствий, но сестрица Барби была слишком занята, чтобы удержать в памяти этот бессмысленный кусочек информации, зашвырнула прочь, как кусок угля, даже не предполагая, что в самом скором времени судьба сведет ее саму с «Сестрами Агонии».

Черт возьми, если эти суки собирались выдерживать прежний темп, самое позднее в январе они должны были взять штурмом ратушу городского магистрата, чтобы перебить там всю мебель, вздернуть господина Тоттерфиша в петле, вышвырнуть на мостовую чинуш и предаться беспорядочному свальному греху, стреляя из пистолетов в воздух.

Такие кованы никогда не живут долго. Лишившиеся узды, пошедшие вразнос, плюющие на трехсотлетние правила, рано или поздно они, сами того не заметив, не пересекают невидимой границы, начертанной на трехсотлетней брусчатке пульсирующими, не каждому видимыми, линиями.

Рано или поздно этих заигравшихся сук просто сожрут. Может, решив в пьяном угаре разгромить очередной трактир, они вломятся на территорию ковена, который решит не давать им спуска. Может, вслепую размахивая ножами, обидят какую-нибудь девочку, у которой есть могущественный покровитель. В конце концов, суки из Старшего Круга в любой момент, устав от их выходок, могут просто сообщив кивнуть — и наутро единственным напоминанием об их существовании останутся запятнанные кровью клочки одежды, застрявшие в щелях между камнями.

Но пока эти суки существуют — а пока существуют, они смертельно опасны.

Барбаросса попыталась припомнить, кто еще значится под флагом «Сестер Агонии», но выудила из памяти лишь несколько имен.

Резекция. Неприятное имя и неприятная сука, к которому оно привязано. Сухая, жилистая, тощая, прирожденная фехтовальщица. Она и впрямь неплохо махалась, только предпочитала не рапиру, а чертов «кошкодер» — оружие, лишенное всякой элегантности, почти примитивное, но чудовищно эффективное на узких улочках. Барбаросса никогда не скрещивала с ней оружие, но однажды наблюдала, как та работает — и была немало впечатлена.

Резекция не искала элегантности в бою, не двигалась по «магическому кругу», как учат фехтбуки тонкой испанской науки дестрезы — все ее удары отличались краткостью, которая граничила со скупостью, а еще взрывной яростью и темпераментом бешеного вепря.

Пока ее противница становилась ангард, поднимая рапиру и прикидывая, из какой позиции делать нижний кварт, Резекция обрушилась на нее, точно ураган на воткнутую в

мокрую землю ветку. Первым же ударом она обрушила свой кацбальгер на ее запястья, перерубив их, точно сухие ветки, вторым рубанула по ключицам, перешибая их, третьим загнала короткое лезвие прямо в подгрудье, так резко, что ее противница не успела даже вскрикнуть, из ее рта вырвался лишь короткий и страстный, будто на любовном ложе, выдох, а вместе с ним вырвалась прочь и душа.

Техника была не безукоризненна, Барбаросса машинально подметила пару моментов, на которых, пожалуй, могла бы подловить крошку Резекцию, окажись они в драке. Но будь она проклята, если сама искала этой драки. Годом раньше, на втором круге, она, пожалуй, не отказала бы себе в удовольствии попробовать на зуб эту малышку — просто из интереса, как пробуют приглянувшуюся конфету или яблоко. Черт, в прежние времена она охотно пробовала свои силы на всем, что попадалось под руку — злое адское пламя, опалявшее ее душу, постоянно требовало пищи — и она неплохо научилась подкармливать его — как отец подкармливал свои пышущие жаром угольные ямы, жадно пожирающее все, что в них попадет...

Имея подобные навыки, любая сука в Броккенбурге без труда найдет ковен себе по душе — многие ковены ценят хороших рубак, а не танцорок с рапирой, только и умеющих отключивать зад, ходить на цыпочках да изъясняться на итальянский манер — «дритто», «баллестр», «стокатта»... Но только не Резекция. Обладающая тяжелым нелюдимым нравом, делавшим ее похожей на акулу, презирающая все на свете, эта сука даже в Аду потребовала бы себе отдельный котел. Неудивительно, что она так и осталась одиночкой. Но, видно, Жевода сумела найти нужные слова, растопившие ее сердце. Или просто пообещала дать ей возможность пускать в ход свой чертов «кошкодер» почаще...

Катаракта. На самом деле никакой катаракты у нее нет, эта сука просто одноглазая. Она рассказывает всем, что потеряла глаз на дуэли, но это полная херня — она потеряла глаз потому, что сильно любила спорить и как-то раз чересчур увлеклась. Поставила свой глаз на кон против двух гульденов, забившись с какой-то сукой в трактире на счет того, в каком чине состоит принятый на адскую службу Георг фон Дерфлингер. И проиграла. По условиям пари она должна была собственноручно преподнести выигрыш победительнице, использовав для этого одну только десертную ложку. К чести Катаракты, условие пари она выполнила. Кричала два часа, рыдала от боли — но выполнила. Глаз, обвязанный шелковой ленточкой, был передан из рук в руки. Такая история может испортить характер даже самой добродетельной суке, Катаракта же и до того, говорят, не отличалась добрым нравом. Скорее можно надеяться на то, что архивладыка Белиал увлечется игрой в кегли, чем в то, что компания «Сестер Агонии» улучшила ее характер хоть на дюйм.

Тля. Смуглявая, вспомнила Барбаросса, с ловкими быстрыми пальцами прирожденного шулера и полной пастью железных зубов. Была младшей сестрой в «Добродетельных Беккерианках», но за какие-то грехи лишилась зубов и оказалась на улице. Едва ли из-за того, что плохо застилала сестрам кровати. Хитрая, расчетливая, умная сука. Барбаросса никогда не сталкивалась с ней, но видела мельком — и сохранила воспоминание, что к этой милочке лучше не поворачиваться спиной даже если держишь в кармане заряженный пистолет.

Эритема. Вот уж кого точно не ожидаешь увидеть в своре Жеводы. Когда-то Эритема была паинькой, прилежно штудировала адские науки, делая особенные успехи в Стоффкрафте. Поглощенная учебой, не увлекающаяся ни выпивкой, ни дуэлями, ни любовными похождениями, она была из тех, кого называют хорошими девочками. Вот

только Броккенбург пожирает хороших девочек с таким же удовольствием, как и плохих, для древнего чудовища у него весьма непритязательный вкус. Изучая старые инкунабулы нидерландских чернокнижников, Эритема обнаружила ритуал по вызову демона Семиланцетте, известного так же как Садовник Темного Сада и Граф Наслаждений. Подкованная в демонологии, щелкавшая младших демонов как орешки, Эритема не удержалась от искушения и вызвала его — просто чтобы проверить свои силы, может быть. Даже хорошие девочки иногда попадают в такие ловушки. Граф Наслаждений не стал пробивать ее сложную защиту и многоуровневые, хитро устроенные, пентограммы. Вместо этого он, мерцая ртутными глазами, заговорил. Он говорил не о ломящихся от золота сундуках и роскошных дворцах — Эритема готовилась к поступлению в «Железную Унию» и была убежденной аскеткой — он говорил об удовольствиях. Обо всех тех тысячах удовольствий, которые спрятаны в человеческом теле под невидимыми замками, но которые можно отведать, если иметь к тому ключ. О тысячах оттенков эйфории, которые можно смешивать в умопомрачительные коктейли. Об упоительной нирване, в которую можно погрузить свой разум, точно в хрустальное озеро. Об изысканных ароматах неги, терпких вкусах блаженства, сладострастных вариантах услады. В конце концов Эритема не выдержала. Она согласилась — но только на час. И своей собственной рукой стерла охранные линии на полу.

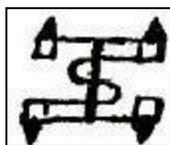
Тупоголовая шляха. Но, верно, правду говорят, что чем выше и прочнее замок, тем слабее и никчемнее у него ворота. Граф Удовольствий вошел в тело и разум Эритемы, сделавшись ее компаньоном и проводником. Но их дальнейший путь растянулся не на час, а почти на год.

Эритема начала поглощать удовольствия с жадностью уличного пса, терзающего кусок мяса. Все удовольствия, которое только может принять человеческое тело, не считаясь с последствиями. Прежде соблюдавшая трезвость, она хлестала вина в три горла, так что ее трапезы обычно заканчивались за трактирным столом, лицом в тарелке. Не употреблявшая даже гашиша, которым частенько балуются между занятиями даже прилежные девочки, она набросилась на белладонну, дурман, сому, спорынью, маковое зелье, хаому и все, что ей только мог предложить Броккенбург, включая «серый пепел», от которого стараются держаться подальше даже умудренные жизнью суки. Прежде блюдущая девственность, она покоряла один бордель Гугенотского Квартала за другим, с таким пылом и страстью, что заткнулась бы даже Холера.

Слишком поздно Эритема сообразила, что Граф Удовольствий не искал способа показать ей удовольствия мира смертных, он сам безустанно выпитывал их в умопомрачительных количествах. Она была нужна ему лишь как наемный экипаж, который берут в аренду. Оболочкой, связывающей его с миром смертных. Его личным камердинером, лакеем и средством передвижения.

Почти целый год Эритема пожирала все доступные ей удовольствия, не в силах ни остановиться, ни разорвать договор с демоном. От огромных количеств вина и шнапса она сделалась одутловатой и вяло соображающей, лошадиные дозы сомы и спорыньи основательно пошатнули ее рассудок, безудержные оргии, совмещенные с самыми немилосердными любовными практиками, паршиво сказались на здоровье. Когда Граф Удовольствий, пресытившись своей прогулкой, наконец соизволил откланяться, Эритема превратилась в нервно хихикающую шестнадцатилетнюю развалину. Перепробовав себя больше удовольствий, чем тысяча ведьм, она уже не в силах была получать удовольствия от

чего бы то ни было, а все ее знания и таланты растворились без следа. Должно быть, тогда она и попалась «Сестрам Агонии», рыщущим по всему Броккенбургу в поисках достаточно безумных сук, чтобы попытаться счастья — опустившаяся, никчемная, жадно ищущая все новых и новых способов вновь ощутить блаженство, она согласилась бы на любое предложение если бы была хоть тень шанса пробудить в выжженном теле новые ощущения, даже если бы это было предложение отправиться в Ад на хромой кобыле, чтоб выпить жидкой серы в тамошнем кабаке.



Барбаросса нахмурилась, целеустремленно двигаясь по Венериной Плещи вокруг «Хексенкесселя», раздвигая плечом преграждающих дорогу шлюх и не забывая оглядываться по сторонам. Чертовски милая компания. Не плотоядные садистки вроде «Ордена Розы и Креста», не безумные психопатки, погрязшие в кровожадных ритуалах, как «Великий Свет Севера». Просто херовы неудачницы, которые оказались не способны устроить свою жизнь, а потому сбились в стаю и занялись тем, чем обычно занимаются неудачницы — попыткой самоутвердиться. Они терзают ведьм не потому, что в самом деле надеются заработать на этом уважение среди других ковенов и выбраться из грязи. Они делают это, чтобы заглушить ощущение собственного ничтожества, гложащее их изнутри.

Нелепо надеяться, будто ее позвали на переговоры. Такие не ведут переговоров. Это не их стиль. Они с удовольствием набросились бы на нее на улице — для того и выслеживали — но вместо этого по какой-то причине зазвали ее в «Хексенкессель». И это странно, сестрица Барби, признай. «Сестры Агонии» могут быть забывшими об осторожности суками, снедаемыми яростью и амбициями, но они не самоубийцы. Поднять на ножи суку посреди «Хексенкесселя», на глазах у тысяч отплясывающих ведьм — это непомерная дерзость даже для них. Окутанное ядовитым маревом солнце не успеет подняться над крышами Броккенбурга, как Большой Круг потребует их головы — сервированные на блюде с салатными листьями, картофельными оладьями и подходящим соусом. «Сестры Агонии» отчаянно жаждут известности и славы, но не гибели. Значит...

Тихое убийство в толпе?

Возможно, неохотно признала Барбаросса, ощущая, как саднит беззащитную, прикрытую одним лишь дублетом, спину. Сейчас бы кирасу — толстую, кованной стали, как была на ней в Сиаме... Тьфу, черт! Не на ней — на старике...

Вот только тихое убийство в толпе — это особое искусство, доступное немногим в Броккенбурге. Оно требует больше изящества и такта, чем фехтование, танцы и акробатика, оттого суки, практикующие его, ценятся в пять раз дороже обычных наемных убийц. Для этого мало умения, нужен дар. И это чертовски не похоже на стиль «сестер», которые, кажется, не отягощали себя рекогносцировкой, все свои авантюры планировавшие на лихой раубриттерский манер — или не планировавшие вовсе.

Свести в могилу Барбароссу из «Сучьей Баталии» — уже громкое заявление о себе и своих претензиях. Убить ее же посреди гудящего от музыки «Хексенкесселя» — претензия на славный подвиг, которому суждено быть занесенному в истлевшую летопись Броккенбурга.

Барбаросса тщетно шарила взглядом по толпе, выискивая знакомые лица, но почти ничего не находила. Перепачканные пудрой, румянами и сажей, испещренные кольцами и золотыми заклепками, блестящие от пота и выпитого вина, горящие от вожделения и похоти, эти лица сливались друг с другом, делаясь похожими на маски, по которым ее взгляд скользил, точно эсток, цепляющийся за чужие щиты.

Черт, а ведь если «сестры» в самом деле решили разделаться с ней в толпе, она может и

не узнать своего убийцу. Она знает пятерых «сестричек» — Жеводу, Резекцию, Катаракту, Тлю и Эритему. Если ковен набрал свой полный состав в тринадцать душ, это значит, еще семь «сестер» где-то караулят ее, невидимые, скрытые толпой, готовые стянуть завязки удушающей петли... Барбаросса почти ощутила злой нетерпеливый зуд кинжалов в их ножнах. Это почти наверняка будет кинжал. Не пистолет, не веревка, не яд — старый добрый кинжал, которым в Броккенбурге издавна решается большая часть проблем...

Дьявол! Вот где ей бы точно пригодилась лишняя пара глаз!

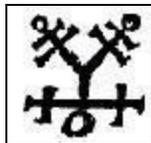
«Лжец! — мысленно позвала Барбаросса, прикрыв на секунду глаза, — Ты здесь, старый ублюдок?..»

Он не ответил, а даже если бы ответил, она могла бы этого не заметить — клекот толпы в сочетании с глухими тяжелыми ритмами, вырывающимися из «Хексенкесселя», заглушали все прочие звуки, включая те, что раздаются в магическом эфире. На Венериной Плещи до черта укрытий — колючие заросли, выкопанные неизвестными тварями в земле норы — здесь ничего не стоит спрятать банку с консервированным уродцем...

Хер с ним, решила она, если Лжец еще жив, а не превратился в кормушку для муравьев, он потерпит еще немного. Мне надо найти тех сук, что заманили меня сюда — и лучше бы мне сделать это до того, как они приступят к делу.

Среди незнакомых лиц, разгоряченных вином, белладонной и похотью, мелькали и знакомые. Встречая такие, Барбаросса обычно небрежно кивала издалека. И получала в ответ такое же приветствие. Ведьмы третьего круга, встретив друг друга, не отвешивают реверансов и не целуют друг другу щечки, неважно, где они встретились, на шумной пирушке, чопорном бале, разнузданной оргии или сырой рассветной ложбине, с повязками секунданток на рукавах. Ведьмы третьего круга видели в своей жизни столько дерьма, что не машут шляпами по пустякам и не выказывают восторга.

Потому — просто вежливый кивок. Кажущийся почти небрежным, но исполненный молчаливого достоинства. Жест, свойственный не юным профурсеткам, а мудрым, прожившим не один год в Броккенбурге, хищникам, уважающим друг друга и себя.



Знакомые лица встречались чаще, чем она ожидала — и чаще, чем она бы того хотела. Черт возьми, не позднее завтрашнего утра весь Броккенбург будет знать, что сестра Барбаросса из «Сучьей Баталии» заявила на танцы в «Хексенкессель», да еще и в одиночестве. Никак поцапалась со своей сестрицей Котти и рванула на танцульки, надеясь подхватить себе кавалера или кавалершу...

Вон Геката из «Черной Лозы» — сухая и холодная, чем-то напоминающая Каррион, невозмутимо вышагивает по мостовой, постукивая тросточкой. Она уже не в том возрасте, когда рядятся в кружева и фижмы, на ней неброский, мужского кроя, камзол, и длинные, не по моде узкие шоссы до щиколотки. Неудивительно, что она не щеголяет короткими юбками — левой ноги у нее нет до самого бедра — шальной демон, которого она заклинала, нащупал прореху в защитной пентаграмме и вырвался на свободу. Любой другой ведьме на ее месте пришел бы конец, но Геката, на тот момент прошедшая всего два круга обучения, сработала с хладнокровностью опытного демонолога.

Сунув озверевшему демону в пасть собственную ногу, она сумела дотянуться до гримуара и, пока тот увлеченно обедал ее плотью, произнесла нужные слова на

демоническом наречии, чтобы схлопнувшаяся пентаграмма раздавила поганца всмятку. Ноги, понятно, было уже не вернуть, но едва ли ее это сильно печалило. Говорят, близкое знакомство с адской публикой и без того оставило на ее теле столько отметин, что она даже раздеться не может без помощи младших сестер. Будто бы ее шея и живот изъедены язвами, а грудь давно высохла от какого-то сложносоставного проклятья.

Геката никогда не ищет свежего мяса, она в полной мере сознает свои недостатки, кроме того, она выше этого. Геката предпочитает хорошие бордели Верхнего Миттельштадта, если она появилась в «Хексенкесселе», то только потому, что решает какие-то дела «Черной Лозы» или с кем-то условилась о встрече. В любом случае стоит держаться от нее подальше.

Катынь из «Половины Змеи» худа, бледна и красива холодной демонической красотой молодой луны. Эта как раз на охоте — вон как стреляет глазами по сторонам, едва сдерживая плотоядную улыбку. Точно голодная куница, пробравшаяся в загон, полный новорожденных крольчат. Подцепив девчонку — Катынь предпочитает молоденьких и худых, с короткими волосами — она обычно предлагает ей хлебнуть рацепуца из маленькой оловянной фляжки с рубином, которую носит в ридикюле.

Никто не знает, что за дьявольское зелье она там держит, но силы в нем больше, чем в той дряни, которую торопливо вливают в себя юные суки, околачивающиеся на Венериной Плещи, а может, и в той, что варят для себя искушенные сверх всякой меры в этом ремесле «флористики». Едва хлебнув, неосторожная девица чувствует легкий озноб и головокружение, а через два или три дня приходит в себя на вонючей койке в каком-нибудь унтерштадском притоне, ощущая себя так, будто все это время ее без устали сношала орда демонов.

Катынь может выглядеть холодной сукой, но страсти в ней много, очень много. А еще она немного сентиментальна, хоть по ней этого и не скажешь. Помимо смутных кошмаров, которые будут терзать их до конца дней, она оставляет своим пассиям целую россыпь памятных подарков. Не банальный флакон духов или засушенную маргаритку, другого рода. Затеяливые рубцы и искромсанные чресла, жуткие татуировки и вживленные под кожу бусины...

Катынь уже трижды вызывали на дуэль из-за ее пристрастий, но всякий раз она возвращалась в Броккенбург на своих двоих, улыбаясь своей обычной холодной улыбкой. По ней и не скажешь, но она чертовски хороша в обращении с рапирой, а дуэлям отдается с не меньшей страстью, чем своим любовным похождениям. Ничего, рано или поздно одна из ее жертв уличит удобный момент и ткнет ее кинжалом в бок, но пока Катынь улыбается и невозмутимо ходит по «Хексенкесселю» в поисках свежих юных душ...

Вот уж без кого точно не обходится ни одна гулянка в этом городе, так это без Кантареллы. И так огненно-рыжая от природы, Кантарелла, должно быть, использует какое-то особое зелье для волос, благодаря которому кажется, будто ее голова охвачена пламенем сродни тому, на котором триста лет назад сжигали ведьм — несимметричные лепестки плывут вокруг ее головы и даже глядеть на них издали быстро делается горячо. Лучшие портные Эйзенкрейса устроили бы поножовщину, если бы Кантарелле вздумалось воспользоваться их услугами, чтобы приодеться, однако она одевается так, будто попросту хватает из шкафа первые попавшиеся вещи, ни секунды не колеблясь и натягивая их на себя. Вот и сейчас она была облачена не просто смело или дерзко — она была одета так, будто являла собой вызовом всему миру — и смертным владыкам и адским силам.

Под несколькими слоями прозрачных тюлевых юбок виднелись бархатные мужские

шаравоны такой невозможной расцветки, что сам Сатана отвел бы глаза. Изысканный корсет, отороченный розовым фламандским кружевом, легко и естественно сочетался с наброшенным поверх шерстяным дублетом, который, по всей видимости, был снят с пьяного солдата — сплошь прорехи и дыры, а воротник порядочно прожжен порохом. Тонкую бледную шею Кантарелла кутала в боа из неведомого меха, голубиных перьев и змеиной кожи, а вместо изящных туфель или пуленов, как здешние модницы, нацепила тяжеленные шпипастые сабоны, лязгающие на каждом шагу так, что перекрывали даже тяжелые басы «Хексенкесселя».

Кантарелла явилась, чтобы подарить себя миру. Смеющаяся одновременно фальцетом и басом, приплясывающая и фиглярствующая, извергающая из себя элегантные остроты, бессмысленные лимерики и грязную брань одновременно на ольденбургском, брабантском и остфальском наречиях, она была стихийным бедствием и шумным карнавалом в одном лице. Следом за ней, как это обычно и водилось, перлась целая дюжина фрейлин — хихикающая, ластящаяся к ней свора самозванных поэтесс, никчемных миннезингерш и нецененных художниц, каждая из которых была разоде́та причудливее предыдущей. Говорили, дядюшка у Кантареллы занимает не последнее место при дворе саксонского курфюрста. Как шутили в Броккенбурге, если мостовая будет покрыта грязью, Кантарелла может устилать себе дорогу пригоршнями монет и обойти чертову гору поперек, ни разу не испачкав туфель. Может, и правда, да только Кантарелла никогда не избегала грязи, под утро, устав от дебошей, возлияний и оргий, она часто походила на грязную гаргулю, при том половина Броккенбурга была выстелена обрывками ее щегольских одежек, перстнями и запонками.

Она, пожалуй, могла позволить себе членство в любом ковене на свое усмотрение. Перед ее кошельком и ее дядюшкой, поскрипев зубами, сдались бы даже «бартиантки», но, к их счастью, Кантарелла не уделяла никакого внимания ковенам и их сложной сучьей игре — она играла с Броккенбургом по каким-то своим правилам. В какую-то свою игру, названия которой никто не знал.

— Салют, Барби! Что, еще не оставила надежды обзавестись женихом? Кажется, в двух кварталах отсюда я видела прेमилото бродячело пса!

Эскорт из разоде́тых подхалимок разразился смешками, кто-то крикнул «Bravo, reina!» кто-то отсалютовал ей бутылкой вина, кто-то насмешливо звякнул шпорами.

Барбаросса оскалилась в ответ:

— Да, я встречала его. Просил передать тебе, чтоб ты сходила к лекарю — последние пару дней у него зуд под хвостом.

Кантарелла снисходительно кивнула, отчего в ее ушах звякнули золотые, медные и кобальтовые серьги, украшенные причудливыми негранёными камнями. Принимая ее неуклюжую остроту, как банкOMET принимает в игру наравне с идеально отчеканенными золотыми гульденами неказистый потертый медяк.

— Черт возьми, старикан Эбр, должно быть, окончательно выжил из ума этим вечером. Ну или готовится залить «Хексенкесель» горящим дерьмом.

— Почему?

Кантарелла рассмеялась и ее смех стоил тысячу гульденов.

— Только погляди, кого он стащил в «Хексенкесель» этим вечером! Сперва Фалько, потом ты... Знать, намечается славная вечеринка, раз уж развалины вроде вас выбрались из своих щелей! Кто еще пожалует сегодня вечером на танцы? Может, профессор Бурдюк? Или Две Манды? Черт, я бы и этому не удивилась...

— Фалько? — Барбаросса насторожилась, ощутив, как сухой ноготь осторожно царапнул ее где-то под сердцем. Это прикосновение было похоже на прикосновение Цинтанаккара, но рождало не боль, а глухую тревогу, — Фальконетта здесь? Ты шутишь?

Кантарелла приподняла бровь. Одна бровь у нее была длинная и изящно выщипанная, другая представляла собой нарочито грубый рубец в форме полумесяца.

— Может, хочет показать нам свое искусство в ригодоне? Я слышала, она прелестно танцует. Погляди вон туда.

И указала пальцем.

Секундой позже Барбаросса сама удивилась, отчего ее не заметила. Облаченная в строгий серый камзол, застегнутый на все пуговицы, тощая как сама смерть, Фальконетта выделялась в толпе раздетых шлях как чумной доктор в свадебной свите. Она тоже двигалась сквозь толпу, в каком-то одной ей ведомом направлении, ни на кого не глядя, но ей даже не приходилось раздвигать веселящихся сук плечом — пространство перед ней освобождалось само собой, как по волшебству.

Дьявол, подумала Барбаросса. И верно, день чудес. Фальконетта на танцах — это что-то новенькое для Броккенбурга.

Фальконетта не утрудила себя нарядом. Ее одеждой в любое время дня и ночи служил строгий серый камзол вроде тех, что носят офицеры саксонской армии, только без галунов и эполетов, застегнутый так туго, что делалось больно смотреть. Волосы она стригла так коротко, как это было возможно, небрежно выскабливая бритвой виски. Будто пытаясь этим показать, что ничуть не стесняется россыпи бледно-серых шрамов, из-за которых ее лицо напоминает жутковатую венецианскую маску, только расписанную не сусальным золотом, а свинцовой краской и тушью.

Барбаросса едва не вздрогнула, когда равнодушный серый взгляд Фальконетты, плывущий над толпой, коснулся ее. Изрезанное бритвами лицо так никогда и не зажило полностью, сделалось мертвым и холодным, потеряв способность улыбаться или хмуриться. Стало похожим на зловещее изображение человеческого лица, которым украшали личины своих шлемов рыцари до эпохи Оффентурена. Холодный чеканный металл, которому придана форма человеческого лица, ничего более.

Эту суку зря назвали Фальконеттой, подумала Барбаросса, ощущая себя неуютно под этим взглядом. Точно пуговица, на которую задумчиво смотрит швея, размышляя, пришить ли ее сейчас или смахнуть в коробку к прочим. Ей стоило бы зваться Ханелорой Шмац. Она и выглядит как мертвец, тысячу лет просидевший на вершине ледяной горы, глаза которого от дьявольского холода давно превратились в ледяные самоцветы. Черт, она и двигается как мертвец!..

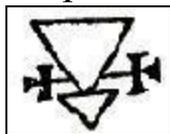
Фальконетта двигалась причудливо, немного дергаясь, точно ее тело пританцовывало под доносящиеся из «Хексенкесселя» глухие злые ритмы. Барбаросса ощутила колючую дрожь где-то в районе загривка, встретив ее пустой взгляд, размереннодвигающийся над головами. Вот уж точно необычная ночка, раз уж даже это пугало заявилось на танцы. Черт, если бы она не была так занята своими собственными делами, пожалуй, проследила бы за ней. Хотя бы ради того, чтоб посмотреть, как Фальконетта танцует ригодон — то-то скрипу и лязгу будет...

Она собиралась вернуться к Кантарелле, чтобы съязвить на этот счет, даже шутка подходящая пришла на ум, но вынуждена была признать, что в искусстве упражнения с остротами ее успехи еще хуже, чем в фехтовании. Давно забыв про нее, Кантарелла

шествовала по направлению к «Хексенкесселю», окруженная стайкой сладкоголосых подхалимов, одаривая их своей царственной улыбкой и, верно, давно выбросив крошку Барби из головы.

Возможно, ей стоило кинуть вослед какую-нибудь остроту, жаль только, Ад не дал ей большого таланта в этом искусстве.

— Ну и вали нахер! — бросила она, отворачиваясь.



Барбаросса лавировала между группами, стараясь не увязать ни в одной из них, но при этом не пропускать ни одной фигуры. Ее взгляд прыгал от одного скопления сук к другому, пытаясь нащупать какую-нибудь из «сестриц», но вместо этого нащупывал лишь никчемные, царапающие глаз, детали — завитые немислимым образом волосы, короткие плиссированные юбочки, незнакомые лица с расширенными, пьяно сверкающими, глазами...

Где-то спорили — сдержанно, с достоинством, небрежно положив руки на рукояти ножей. Где-то залиvisto смеялись, всхлипывая и причитая. Где-то обнимались и визжали, украдкой тиская друг дружке груди под дублетами. Где-то обменивались планами — несбыточными, как воздушные корабли Гусмана и воспоминаниями — сладкими, как пряничная глазурь.

Где-то презрительно цедили ругательства, где-то настороженно изучали друг друга или снисходительно поясняли.

Барбаросса на какой-то миг сама ощутила себя гомункулом, существом крошечным и бессильным, барахтающимся в бездонном океане магического эфира, испещренного острыми рифами, стремительными течениями и опасными водоворотами. Она не собиралась вслушиваться в чужие разговоры — к тому же, многие пасти сами захлопывались при ее приближении — однако какое-то количество совершенно никчемной информации невольно цеплялось к ней, как цепляется сено к гамашам, если пройти по сеновалу. Информации, которой, возможно, могли бы позавидовать многие в «Камарилье Проклятых» и которой хватило бы крошке Бри на целую дюжину миннезангов, но совершенно бесполезной для сестрицы Барби.

Грязнохвостка из «Дома Луны» понесла, но, опасаясь злости сестер, решила втайне вытравить плод. Вместо того, чтоб раскошелиться на три талера и пойти с этой бедой к чернокнижнику, она договорилась с какой-то недоучкой с четвертого круга, обещавшей ей освобождение при помощи Флейшкрафта. То ли чары оказались неважного качества, то ли не благоволили небесные тела — той же ночью Грязнохвостка, сотрясаясь в родовых судорогах, произвела на свет моток колючей проволоки, древесную жабу, россыпь рыболовных крючков, лошадиное копыто, ржавую бритву и уйму других вещей. Рассвирепевшие сестры, не дожидаясь, пока несчастная роженица исторгнет послед, выволокли ее из замка и отправили в канаву, где та и валяется по сей час, охваченная сильнейшей родильной горячкой. Если оправится, всю жизнь будет сторониться Флейшкрафта, да только едва ли оправится — очень уж сильно ее разорвало...

Курва и Эктопия, две прожженные картежницы, держащие игорный дом в Нижнем Миттельштадте, погубившие не одну дюжину душ, попали впросак — обе запали на юную школярку из Шабаша. Школярка, по правде сказать, никчемная, резанная-перерезанная,

живого места нет, но глазищи у ней в самом деле безумные — сапфировые, огромные, того цвета, какого не бывает отравленное небо над Броккенбургом, но который кое-где еще встречается в мире. Ошалевшие от страсти, Курва и Эктопия, две хитрые змеи, приняли мерзавку на полный пансион, дали крышу над головой, стол и много чего еще. Раздели в шелка и бархат, забавлялись что с куклой, волосы каждый день заплетали... А на третий день издохли в муках, нанизав друг дружку на ножи, не успев выдохнуть даже проклятия из костенеющих ртов. Сучка их приемная оказалась куда хитрее, чем положено таким невинным голубоглазым созданиям от природы. Три дня ластилась к ним, щедро расплачиваясь за их гостеприимство, но исподволь стравливала между собой, заставляя старых змей терзаться ревностью и злостью. Говорят, она же и смазала их ножи купленным у «флористок» ядом.

Тому свидетельств, конечно, нет, а чему есть, так это тому, что голубоглазая малявка, сделавшись единоличной хозяйкой дома, в котором ее лишь недавно приютили, уже превосходно там освоилась, попивает вина из их погреба, носит их цацки и даже устраивает балы. Можно ставить талер против трех, после следующей Вальпургиевой Ночи она сделается «бартианткой» — только туда ей и дорога, там-то и раскроет все дарованные ей Адом таланты...

Дагасса из «Алых Розенкрейцеров» ни хера не учила анатомию целый год. Штудированию трупов в анатомическом театре под надзором Железной Девы она предпочитала прогулки по улицам в компании таких же беспутных повес, распевание песен и славные кабацкие драки. Неудивительно, что Железная Дева, заметив ее рвение в учебе, пообещала строжайше спросить у нее материал на следующем же практическом занятии. Это было паскудно. Железная Дева не отличалась кровожадным нравом, как некоторые из профессоров, но терпеть не могла пренебрежения своим предметом. Провинившимся студенткам она сама предлагала по доброй воле сделать взнос в анатомический театр университета, и неважно, что это будет — палец, ухо, ребро, пятка...

Дагасса две ночи судорожно читала конспекты, пытаясь запихнуть в голову то, что ее товарки запихивали последние полгода и, конечно, ни хера не запихнула. Тогда, подбитая приятельницей, она купила у кого-то из старших колбу с демоном. Маленький, похожий на светящуюся козявку, но умный как сто профессоров, он должен был разместиться в ее правом ухе и тихонько подсказывать правильные ответы. Повеселевшая Дагасса, облегчив свой кошель, поспешила на занятия.

В тот день она отвечала блестяще, так, будто за ее плечом стоял сам Адам Тибезий, десять лет тому назад впавший в немилость у адских владык и превращенный в трупную муху размером в лошадь с заводным стальным сердцем в груди. Железная Дева вынуждена была сменить гнев на милость. Властительница анатомии, она ничего не смыслила в демонологии, а то бы, конечно, заподозрила неладное. Как выяснилось, не смыслила в ней и Дагасса. Маленького демона к исходу дня полагалось выманить из уха куском несвежего мяса, политого медом, и выпустить на волю. Дагасса, спрыскивая в кабаке свою нежданную победу, конечно позабыла это сделать. Видно, не ждала от крошечного комка меоноплазмы больших бед. На следующий день она была секунданткой на чьей-то дуэли, потом нашлось еще какое-то важное дело, и еще одно... Мало ли дел может быть у ведьмы в Броккенбурге?..

Через неделю, когда правое ухо раздуло до размеров спелого ренклода, Дагасса взвыла и бросилась к врачу, но поздно. Оставшийся на хозяйстве в ее ухе и не нашедший своим талантам никакого применения, демон, трудолюбивая душа, принялся украшать свое новое

жилище сообразно своему вкусу. К тому моменту, когда его лендлорша спохватилась, он уже оборудовал на месте внутреннего уха что-то вроде алькова из розового шелка с премилыми гардинами, скроенными из ее собственных мышц и связок. Едва он успел навести лоск, как обнаружил еще более заманчивые покои, для доступа к которым, правда, пришлось разобрать часть костяных стен и мешающих ему конструкций — пульсирующий и мягкий человеческий мозг.

Никто точно не знал, какие именно изменения внес беспокойный жилец в свою обитель, где перекроил, где инкрустировал костью или бисером, где подлатал или подправил, но Дагасса с того дня здорово изменилась. Она бросила шумные компании и гулянки, сделалась молчалива и тиха. На занятиях она сидит ровно и прямо, как манекен, усаженный за парту, а после них часами безучастно смотрит в небо, беззвучно шевеля губами. Она совершенно утратила вкус к выпивке, ее излюбленным лакомством стала паутина, которую она собирает по углам лекционной залы и слизывает с пальцев. Профессора ставят Дагассу прочим ведьмам в пример как образец прилежания в учебе. Дагассу никто не задирает и не третирует. С Дагассой вообще стараются не сталкиваться в тесных университетских коридорах. Иногда, столкнувшись с кем-то плечом, она вдруг замирает, на ее пустом бледном лице начинают подергиваться губы, будто она пытается что-то сказать, а левый глаз моргает, быстро и отчаянно, будто забытый на краю моря маяк, посылающий неведомо кому какие-то сигналы...

Барбаросса лишь досадливо морщилась, лавируя между группками. Ей было плевать, кто кому засадил нож, кто нынче разродился в канаве, кто кого искалечил, предал, обманул, развратил или сжил со света. Это Брокенбург, крошки, он тем и живет, что без устали кромсает ваше племя, безуданно изобретая для этого все новые и новые методы. Если вы этого еще не поняли, вам прямая дорога в пастушки, полотерки или трактирную службу — патент мейстерин хексы вам ни к чему.

Мицетомы подцепила знатного мужика из Хернхута. Борода у него как у Морица Саксонского, роскошный дублет белого бархата как у Хорста Барона и стеклянные запонки, как у последнего плута. Грозится теперь бросить учебу и уехать в Хернхут, сделаться там гадалкой при магистрате, да только хер ей чего обломиться — попользует ее этот тип, да и вышвырнет прочь — будто с Мицетомой когда иначе бывало...

Неглерия, про которую говорили, что она у самого Дьявола последний медяк стащит, насосалась дармового вина в Гугенотском Квартале, на обратном пути вздумала зацепиться за альгейман, чтоб бесплатно прокатиться, да просчиталась спьяну — не удержалась, покатила по мостовой да угодила под грузовой аутоваген, идущий полным ходом. Сама жива, но ногу разорвало так, что смотреть страшно, едва до замка доползла. Теперь ревет белугой — лекарь говорит, ногу отнимать надо, а Неглерия слезами заливается, только не ноги ей жалко, а двух талеров ему за работу. Ушлые сестры, которых Неглерия два года изводила своей жадностью, уже придумали забаву — обещают ей денег за то, чтоб она собственноручно откромсала себе ногу, одним только ножом. На кону уже три гроша, и цена неуклонно растет. Неглерия все еще воеет от боли, катается по полу, но не понять, взаправду ли — наверняка эта хитрая сука просто набивает себе цену...

Гумозе, праздно прогуливавшейся по Эйзенкрейсу, какой-то господин в неприметном камзоле отдал сапогом ногу. Гумоза, не мудрствуя лукаво, послала ей, как привыкла, не сдерживая острого языка — с упоминанием таких грехов его матери и троюродных теток, что в Аду на миг сделалось как будто бы немного жарче. А господин возьми и окажись не

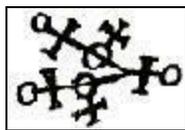
каким-нибудь обрюзгшим педерастом из городского магистрата, а обером инкогнито, спустившимся из Оберштадта и прогуливающимся по какой-то своей надобности. Он лишь взглянул на Гумозу, изломив бровь — та вдруг скорчилась, треснула, хрустнула, выгнулась дугой и скомкалась в бесформенный ком мяса размером с дыню. И поделом ей, суке, раз не умеет держать язык за зубами...

Шушера озорства ради взобралась на едущую карету, но зацепилась волосами за водосточную трубу и растеряла половину ребер. Уретра поцапалась со своей младшей сестрой, захотела проткнуть ее рапирой, да сама же на собственную зубочистку и насадилась. Утроба попыталась украсть в одной миттельштадской лавочке грошовый браслет, но попалась, воеет в каменном мешке, корячится ей двести шпицрутенов и оторванные ноздри. Левкрота проигралась в кости и попыталась расплатиться фальшивым талером, за это сестры ее вздули и пустили по кругу, отчего она повредилась в уме и кричит уже три дня без передыху. Гоголия допилась до чертей, Козьявка украла у своей старшей сестры сапоги, Смрада пописала ножом кого-то в переулке из-за медного крейцера...

Барбаросса скривилась, переходя от одной группки к другой, пытаясь найти какие-то следы «сестричек», но находила только никчемные истории из чужой жизни, которые ни в малейшей степени ее не касались. Некоторые из них были паскудными, другие вполне смешными или даже поучительными, но она не собиралась терять даром время, полоща уши в чужих разговорах.

До очередного визита Цинтанаккара оставалось, быть может, не больше четверти часа. А ей надо найти Лжеца и выяснить, что на уме у «сестриц», а еще...

— Здравствуй, Барбаросса.



Как-то раз они с Котейшеством, отмечая сданный экзамен по аэромантии, пили в какой-то забегаловке Миттельштадта клубничное вино. Дорогое удовольствие, но им пришлось по карману. Клубничное вино полагалось пить со льдом, они выпили целую бутылку, но не ощутили даже звона в ушах — слабое, как вода — зато знатно застудили себе зубы и весь следующий день мычали, изъясняясь жестами и прыская со смеху, глядя друг на друга.

В эту секунду Барбароссе показалось, что вся кровь в ее теле превратилась в ледяное клубничное вино с позванивающими кусочками льда. Она не слышала этого голоса очень, очень давно, но отчего-то мгновенно поняла, кому он может принадлежать. Не по акценту — произнесено было на идеально чистом «остерландише» — по тихому, едва слышному скрипу, который перемежал слова. Похожему на скрип февральского снега, когда мнешь его скрюченными от холода пальцами...

Подобраться к кому-то незамеченной в толпе не так уж сложно. Тем более, в густых ноябрьских сумерках, которые колючие огни «Хексенкесселя» не столько разгоняли, сколько пронзали точно картечь. Но ей отчего-то казалось, что Фальконетта уж точно не относится к числу тех сук, которые способны на это. Черт возьми, с ее-то грацией старого, едва ковыляющего голема... Почему-то казалось, что в движении она должна скрипеть, как старый несмазанный часовой механизм, а кости под серым камзолом скрежетать друг о друга. Оказывается, нет. Фальконетта вполне могла перемещаться беззвучно, когда этого хотела.

— Здравствуй, Фалько, — негромко отозвалась Барбаросса, повернувшись к ней лицом.

Их разделяло полтора шага — ничтожная дистанция в фехтовании, но вполне приемлимая в диалоге. Фальконетта вблизи не выглядела такой уж высокой — шесть фуссов и два дюйма, едва ли больше — вероятно, она казалась долговязым пугалом больше из-за своего серого камзола и странной развинченной походки.

У Фальконетты было лицо мертвеца из раскопанной февральской могилы. Холодное, тусклое, будто бы выкрашенное свинцовыми белилами, оно несло на себе определенный узор, который мог показаться изморозью на оконном стекле — десятки правильных геометрических шрамов, пересекавшихся друг с другом. Эти шрамы не шли ни в какое сравнение с ее собственными. По-хирургически аккуратные, они ничуть не походили на то месиво из рубцов, которое она носила на лице, но отчего-то производили весьма тяжелое впечатление. Точно столяр разметил ее голову под заготовку для какой-нибудь милой вещицы, подумала Барбаросса, например, набалдашника для трости, нанес карандашом линии разметки, взялся за работу, но почему-то передумал и отложил работу...

Губы были единственной движущейся частью на ее лице. Рассеченные бритвами мимические мышцы и сухожилия так и не смогли срастись, отчего лицо Фальконетты сохраняло пугающую неподвижность. Глаза — как у трупа, пролежавшего много дней в снегу, холодные, но не мутные, как у мертвецов, а внимательные.

— Сегодня хороший вечер, неправда ли?

Барбаросса едва сдержала нервный смешок. Фальконетта произнесла это совершенно безэмоционально, не наделив слова даже толикой человеческой интонации. В сочетании с холодным блеском ее глаз эта галантность могла выглядеть жутковатой.

Что ей надо, этому пугалу? За каким хером явилась в «Хексенкессель», да еще так некстати? Пугать вырядившихся на танцульки юных шалав? Черт, хорошая затея. Одного этого взгляда в упор хватит для того, чтоб у любого мужика хер упал до следующей субботы, а у сучки — ноги сомкнулись точно замок.

— Нет, — резко отозвалась Барбаросса, дернув головой, — Это паршивый вечер. И очень длинный херовый день.

Фальконетта задумчиво кивнула. Барбароссе на миг показалось, что она слышит негромкий треск смерзшихся позвонков.

— Возможно, я могу сделать его лучше.

— Вот как? Пригласишь меня на танец? — Барбаросс не удержалась от злого смешка, — Извини, Фалько, я неважно танцую. Бывай. Хорошего тебе вечера.

Она повернулась и успела сделать два шага — достаточно выверенных, чтобы не выглядеть поспешными. Между лопатками заныло, будто там засело что-то тяжелое. Словно она ощущала спиной еще не выпущенную пулю. Эта сука перебила в Броккенбурге шестнадцать душ и то, что их не стало семнадцать, скорее всего, лишь удачное стечение обстоятельств. Фальконетта, покончив со своими самыми главными обидчицами, остыла и не стала расправляться с сестрицей Барби. А то бы старина Цинтанаккар остался бы голодным...

Она успела сделать два шага, прежде чем ощутила удар в спину. Ровно туда, куда и предполагала — между лопатками. Но то, то ударило ее, не было пулей. Это было слово.

— Котейшество.

— Что?

Она оказалась возле Фальконетты мгновенно — должно быть, адские владыки по

какой-то прихоти вырвали из холста времени, плетущегося с начала времен, ту нить, в которую была вплетена следующая секунда, потому что Барбаросса не помнила, чтоб разворачивалась или шла обратно. Она просто очутилась в фуссе от нее. Напряженная настолько, что готова была выпиться размозженными переломанными пальцами в туго затянутый серый камзол.

— Что ты сказала?

— Котейшество, — повторила Фальконетта, взирая на нее с противоестественным спокойствием ледяного истукана.

— Черт! Ты видела ее сегодня? Где она?

— У нее неприятности, Барбаросса, — Фальконетта едва заметно склонила голову и в этот раз обошлось без треска, — Она просила найти тебя и передать тебе это. Как можно быстрее. Сказала, мало времени. Сказала, только ты можешь помочь.

Фальконетта строила фразы так правильно и лаконично, словно была старательной ученицей, выписывающей слова на доске в лекционной зале. Скрип, сопровождающий ее слова, теперь отдавал не скрипом февральского снега, теперь он походил на невыносимый скрип скверного университетского мела.

Котти.

Барбаросса ощутила, как сердце превращается в разворошенный, истекающий теплой кровью, комок мяса.

Занявшись своими делами, она почти забыла про Котти. Бросила ее в городе, оставив неприкаянно бродить в поисках чертового гомункула. Оставила одну впервые за долгое время, устремившись за трофеем.

Нет, ядовитым шепотом произнес в правое ухо Лжец. Не просто в городе. Ты бросила ее в городе, по улицам которого бродят ищущие твоей крови «Сестры Агонии». Весь Броккенбург знает, что вы неразлучны. Как думаешь, что «дочери» сделают с ней, наткнувшись в переулке?..

Барбаросса покачнулась на ногах. Кровь бросилась в голову, легкие заскрежетали, точно пытающиеся развернуться крылья, стиснутые в груди.

— Где она? Фалько! Где Котти?

Фальконетта смотрела на нее несколько томительно долгих секунд. Точно вспоминая, какую эмоцию из богатой человеческой палитры стоит отобразить. Но, конечно, не отобразила никакой — ее изрезанное лицо, похожее на личину ланскнехтского шлема, давно утратило эту способность. А может, короткий полет, который предприняла ее душа с третьего этажа дортуария до мостовой, на всю оставшуюся жизнь отключил в ней необходимость ощущать хоть какие-то человеческие чувства.

— Она здесь.

— Здесь?!

— Здесь. В «Хексенкесселе».

— Какого хера она делает в «Хексенкесселе»? — Барбаросса едва не взвилась на дыбы, — Почему она не в Малом Замке?

Барбаросса судорожно оглянулась, будто надеясь разглядеть над гомонящей расползающейся толпой одинокое подрагивающее фазанье перышко. Но, конечно, увидела лишь сотни завитых в немыслимые прически волос, разноцветные косицы, табачные облака, франтоватые парички и пышные, как пироги, шляпки. Даже будь оно здесь, это перышко, разглядеть его невозможно было бы даже при помощи самой мощной подзорной трубы.

Во имя всех адских владык, трахающих своих мертворожденных сестер!

Должно быть, Котейшество бродила по городу все это время. Поглощенная поисками, она сама не заметила, как стемнело. Должно быть, что-то напугало ее. Она почувствовала опасность и сделала то, что сделала бы на ее месте любая здравомыслящая ведьма, опасаясь за свою жизнь — устремилась в ближайшее безопасное место. В «Хексенкессель».

На территории «Хексенкесселя» запрещены вендетты и поединки. Это знают все суки в городе. Самое страшное, что может случиться с ведьмой в «Хексенкесселе» — трещащая наутро голова да букет из срамных болезней, оставленный ей кавалером.

Но только не этой ночью. Этой ночью на территории «Хексенкесселя» рыщут тринадцать озлобленных голодных сук с длинными ножами. Если Котейшество наткнется на кого-то из них...

— Я не знаю, что она здесь делает, Барбаросса, — Фальконетта равнодушно покачала головой, — Она просила найти тебя и передать, что у нее неприятности и времени осталось мало. Это всё.

Черт. Кровь, еще недавно казавшаяся ледяной, как клубничное вино со льдом, кипела в жилах. Котейшество попросила Фальконетту передать ее просьбу о помощи? Почему ее? Почему не любую другую суку из сотен толкущихся здесь? Почему ей попалась именно Фалько, нелепое дергающееся пугало с ее чертовым пистолетом?

Их обеих трепали в Шабаше, прошептал Лжец, в этот раз на левое ухо. Еще в те времена, когда грозная Фалько была Соплей. Быть может, увидев знакомое лицо, Котейшество, не рассуждая, бросилась к ней и... Но откуда она знала, что Барбаросса тоже здесь? Увидела в толпе? Почувствовала? Догадалась?..

Черт. Плевать. Неважно.

Некоторые вопросы тебе, сестрица Барби, придется отложить в дальний сундук.

Если Котейшество в самом деле здесь, бродит, как и она сама, по Венериной Плещи, точно одинокая щепка в водовороте, надо добраться до нее прежде «Сестер Агонии», чего бы это ни стоило. Даже если придется прокладывать себе дорогу ножом.

Фальконетта молчала, безучастно глядя на нее глазами, похожими на замороженные самоцветы. Ни одного движения мышц на лице, если не считать крупного тика, заставлявшего ее голову покачиваться на плечах, а зубы — крошить друг друга. Вот уж кому в самом деле похер на ведьм и их разборки. Фалько закрыла свой личный счет и выбыла из игры — все остальное ее не касается. Даже Котейшество.

— Она... Она в порядке? Как она выглядела?

Плечи Фальконетты под серым камзолом едва заметно приподнялись и опустились. Это могло быть коротким спазмом вроде тех, что беспрерывно сотрясали ее тело, а могло быть пожатием плечами. По крайней мере, в ее равнодушных серых глазах Барбаросса не смогла распознать ответа. В этих глазах вообще невозможно было что-либо распознать.

— Она выглядела... напуганной. Кажется, ранена. Не знаю.

— Ране... Где она? Где ты видела ее в последний раз? Покажи мне!

Фальконетта послушно подняла руку — это выглядело так, словно затянутый в серую ткань богомол решил по-рейтарски козырнуть ей — но изломанный палец, дернувшись, точно стрелка сломанного компаса, внезапно указал прямо на острый изъеденный шпиль «Хексенкесселя».

— Что? Она там? Внутри? Ты ничего не путаешь?

— Да. Внутри.

Барбаросса ощутила желание сжать до хруста кулаки. Если где-то в Броккенбурге и творится сейчас ад, так это внутри «Хексенкесселя». Разгоряченные вином и всякой дрянью, сотни шлюх отплясывают там, в грохоте музыки и клубах дыма. Если Котти укрылась там, найти ее будет сложнее, чем маковое зернышко, угодившее в бочку с горохом!

Барбаросса ощутила, как переломанные костяшки сводит жаром.

Котти здесь. Ранена. Напугана. Ждет помощи.

— Сучья плесень! — вырвалось у нее, — Там внутри сотни отплясывающих шлюх! Как я найду ее? — Барбаросса сглотнула, ощущая как язык липнет к нёбу, будто смазанный горячим дёгтем, — Слушай... Фалько... Я была большой сукой, верно? Я приношу тебе свои извинения. За все то дерьмо, что причинила тебе в прошлом. Я... Черт! Можешь исхлестать меня шомполом до кровавых соплей, если хочешь. Но мне нужно найти Котти. Прямо сейчас. Ты мне поможешь?

Холодные самоцветы без всякого интереса скользнули по ней взглядом. Вверх и вниз. Будто измеряли рост. Не мигнули, не изменили цвета, ничего не отразили.

— Я знаю, где она. Я отведу тебя к ней, Барбаросса.

Барбаросса не ощутила облегчения, напротив, точно сам Сатана стегнул ее девятихвостым огненным кнутом поперек спины.

— Веди, Фалько! — приказала она, — Веди меня, черт тебя подери!

Внутри и верно царил Ад. Барбаросса старалась держаться так близко к Фальконетте, как это только было возможно в толпе, почти соприкасаясь с ней плечами — со стороны они наверняка походили на парочку — но на пороге «Хексенкесселя» невольно замешкалась. Бьющая из его нутра музыка была не просто громкой, она оглушала так, что кости начинали дребезжать в теле, а зубы ныли в челюстях.

Клавесин бил рваными аккордами, точно озверевший от боя рибадекин, кроющий беглым огнем вражеские пехотные терции. Виолы визгливо бранились, будто демоницы, мечущиеся над полем боя, выцарапывающие друг у друга разорванные картечью и опаленные порохом души в осколках разлетевшихся кирас. Виолончели то иступленно рыдали, то хрипло хохотали, на ходу меняя гармонику и лад. Барочные лютни дребезжали разношенными каретами, но иногда, набравшись силы, вдруг перли вперед, круша все на своем пути, подавляя все прочие инструменты. Им по-крысиному тонко вторили цинтры, испуганно обмирая всякий раз, когда случалось вступить демонически гудящей валторне.

Огонь пожирает мое сердце изнутри

В нем есть желание начать сызнова

Я подыхаю в своих чувствах

Это мир моих разлагающихся фантазий

Я живу в своих... Живу в своих мертвых мечтах!

Барбаросса стиснула зубы, стараясь сохранить ясность рассудка в этом оглушающем, клокочущем, трясущемся аду. И это, блядь, оказалось чертовски непросто. Душу едва не вытряхивало из тела от страшного грохота десятков инструментов, голоса которых то вели свои партии, сиюсь перекричать друг друга, то сливались в чудовищную дребезжащую какофонию. Дьявол. Барбаросса попыталась заткнуть уши ладонями, но легче от этого не стало — музыка передавалась с вибрацией, проникая в тело со всех сторон, вызывая внутри такой резонанс, от которого кости терлись друг о друга.

Будто одних этих ритмов было мало, под потолком амфитеатра в такт музыке

вспыхивали и гасли яркие лампы, окатывая беснующуюся толпу потоками света, то зловеще-багряного, как старое бургундское вино, то ядовито-зеленого, как небо над Брокенбургом поутру, то траурно-пурпурного.

Черт. Котейшеству удалось привить ей любовь к театру — но она так и не научилась понимать, какое удовольствие люди находят в том, чтобы терзать себя этими звуками, хоть и не могла отрицать, что некоторые рулады пробуждают в душе какие-то приятно скребущие отголоски. Что-то чудовищно древнее, злое, бесформенное, запертое за решетку разума, точно беснующийся демон...

Замешкавшись, она чуть было не упустила из виду Фальконетту — та шагнула в беснующееся море из танцующих так легко, точно свинцовая пуля, оброненная в воду. Барбароссе пришлось броситься следом, молясь всем адским владыкам, чтобы колеблющиеся волны, сотрясающие гигантскую чашу «Хексенкесселя», не разнесли их в разные стороны.

Давай приоткроем адскую дверь, крошка
Поверь моему мертвому сердцу, нам будет хорошо
Свечи остынут быстрее, чем твоя кровь
Я живу в своих... Живу в своих мертвых мечтах!

Народу здесь было больше, чем в ярмарочный день в Руммельтауне. Не толпа — одна сплошная булькающая масса, исторгающая из себя ароматы духов, вожделения, пота, табака и несвежих порток. Беснующееся чудовище с ликом из тысячи сплавившихся друг с другом лиц, сотрясающееся в пароксизмах не то страсти, не то смертельной агонии, рычащее на тысячу голосов, стонущее, хрипящее и вопящее. В первую же минуту какая-то сука, пляшущая так, словно демоны утаскивают ее живьем в Ад, едва не всадила подкованный ботфорт ей в колено. Другая, в сорочке, больше похожей на рыбацью сеть, с живыми змеями, вплетенными в косы, едва не расшибла лбом нос. Барбаросса ослабилась, пытаясь сильнее работать локтями, чтобы не быть поглощенной этим липким морем человеческой протоплазмы.

Черт возьми, когда она в последний раз навещала «Хексенкессель», года полтора назад, здесь имелся только паршивый оркестр, от ищачьего визга гобоев которого у нее разболелась голова. Но видно правы те, кто говорят, будто цивилизация, щедро подпитанная адскими энергиями, мал-помалу распространяется по владениям архивладыки Белиала, заползая даже в медвежьи углы сродни Брокенбургу...

Клавесин, исторгнув из себя несколько душераздирающих волчьих квинт, взвыл, а вместе с ним взвыли и голоса, бьющие со всех сторон сразу:

Ты мое мертвое сердце. Ты — моя гнилая душа.
Я сохраню это пламя, где бы ты ни была
Ты мое мертвое сердце. Ты — моя гнилая душа.
Я буду держать тебя в когтях вечно
Останусь с тобой навсегда...

Голоса были мужские, приятного тембра и, хоть Барбаросса не хотела себе в этом признаваться, страсти в них было с избытком. Не той страсти, которой запятнаны скверные дешевые гравюры, продающиеся в Нижнем Миттельштадте по крейцеру за штуку, изображающие совокупление в нарочито неестественных позах и странных ракурсах. Другой — солоноватой и сладкой, как пот. Не будь она так взбудоражена, как сейчас, может, и впрямь ощутила бы что-то этакое — ощущает же что-то Саркома, днями напролет

слушающая свои чертовы музыкальные кристаллы...

— Скажем спасибо, дамы и господа! Скажем спасибо нашим добрым мейстерзингерам, господину фон Болену и господину Андерсу, за то, что так славно развлекли нас этим вечером! Господа фон Болен и господин Андерс не могут здесь присутствовать лично, им больше по душе сношать мальчишек в дрезденских борделях, но будь они здесь, наверняка бы послали вам, чертовки, пару-другую своих лучших улыбок!

Раскатистый, громогласный, бьющий со всех сторон сразу, этот новый голос пьянил как вино и пронзал навывлет как картечь. От него нельзя было укрыться, он подчинял себе все внутреннее пространство «Хексенкесселя», заставляя толпу, заполнившую огромную чашу внутреннего амфитеатра, восторженно выть в ответ и орать что-то нечленораздельное. Этот голос не мог принадлежать человеку. Не только потому, что был в тысячу раз громче гроз, приходящих в Броккенбург каждый раз с весной, чтобы сотрясать незыблемые шпильи Оберштадта. Похожий одновременно на рев умирающей валторны и скрежет взбесившегося клавесина, он состоял из противоестественных для человеческого уха обертонов, но страсти, заключенной в нем, было достаточно для того, чтобы поднять из могилы мертвых старух на сто мейле в округе и заставить их плясать бергамаску, стаскивая на ходу юбки.

Барбаросса не сразу поняла, откуда доносится голос. И только потом догадалась задрать голову вверх.

Узкий шпиль в центре танцевальной залы, который она сперва было приняла за опорную колонну, не был ни несущей конструкцией залы, ни декорацией. Возвышающийся над толпой на добрых пять клафтеров, точно осадная башня, удерживаемый растяжками из десятков натянутых цепей, тянущихся к стенам, он был увенчан округлой площадкой, на которой восседало нечто такое, чего Барбаросса сроду не видела. Больше всего это было похоже на разлагающуюся тушу кита, которую расстреляли из пушек, зарядив в них вместо картечи и ядер весь арсенал Дрезденской Штадскапеллы.

Огромная рыхлая гора расплзающейся плоти, похожая на грозящий лопнуть жировик, она была нафарширована таким количеством всякого музыкального дерьма, что к ней едва ли можно было подойти вплотную, не то, что сдвинуть с места. Раструбы бугельгорнов, вагнеровских труб и геликонов торчали из нее, точно сверкающие медные глотки, жадно втягивающие воздух, кларнеты, фаготы и флейты покачивались щетиной, как иглы над мертвым дикобразом, барабаны нарываками выпирали из боков. Все эти дьявольские инструменты не просто вросли в тело, они играли — ну или пытались играть. Слишком много плоти сдавило их со всех сторон, слишком глубоко вросли в подкожный жир, неудивительно, что блестящие партии часто заканчивались неразборчивым хлюпаньем, а пронзительные рулады тонули в бульканье.

— Смелее, мои крошки! Швыряйте свои монеты старому Мельхиору! Золото, серебро и медь — все будет растоплено, чтобы порадовать ваши никчемные мятущиеся душонки этим вечером! Сегодня старый Мельхиор расстарается, чтобы стало жарко — так жарко, что виноград в Аду поспеет раньше срока!

Это не просто груда инструментов, сросшихся воедино, соединенных при помощи разросшихся глыб мышц, сухожилий и кожи, поняла Барбаросса, эта штука живая. Это она исторгает музыку, от которой беснующиеся внизу малолетние шалавы готовы срывать с себя тлеющую от жара одежду, это она заводит их до исступления, заставляя рычать от восторга и биться на полу, точно умирающую рыбу на прилавке.

— Руби, Вульпи! — закричали сразу несколько плоток, — Заводи свою чертову

шарманку!

— Громче! Дай жару!

— А-а-ааах!.. Рви душу, Вульпи! Не жалея струн!

— За старый добрый Броккенбург!

— Жги! Жги! Жги!

Это не безумный оркестрион из Ада, вдруг поняла Барбаросса, ощущая легкую дурноту от истошного визга флейт, которым тварь наверху насмешливо сопровождала выкрики беснующейся толпы, и не демон, явившийся развлечь никчемное отродье этой ночью. Это Вульпиус Мельхиор, музыкант, получивший у адских владык соразмерно их щедрости — и своей глупости.



Говорят, когда-то он был недурным композитором, успел написать несколько блестящих ораторий еще до эпохи Оффентурена, но стубило его не угасание слуха, как многих его собратьев, а банальная человеческая зависть. Обнаружив, что могущество адских владык не имеет предела, он, заручившись помощью неведомых демонологов, столкнулся с герцогом Амдусциасом, одним из величайших адских владык, покровительствующих не войне и многочисленным порокам, как его собратья, а музыке во всех ее видах. Нет ничего удивительного в том, что он попросил у сил Ада владения всеми известными человеку инструментами в совершенной форме — как и в том, что герцог Амдусциас счел договор полностью исполненным, фаршировав его тело всеми известными миру музыкальными инструментами, вплоть до ангелик, литавр и пастушеских рожков.

Вульпиус Мельхиор не относился к числу тех везунчиков, которых исполнение сокровенного желание приблизило к счастью. Оказавшись в новом качестве, он разом потерял желание творить и без малого два века прозябал в собственном замке, отгородившись от мира и пугая по ночам окрестных крестьян до дрожи страшными звуками, которое исторгало его тело. Проев все накопления, он вынужден был вернуться в свет — уже не на правах блестящего композитора и творца, а в качестве разъездного конференсье, зарабатывающего себе на хлеб точно стародавние бродячие музыканты.

От долгого неупотребления его инструменты вышли из строя — блестящие геликоны и трубы разъела ржавчина, струны изорвались, барабаны полопались или вышли из строя. Единственное, что еще в полной мере работало в его чреве — громоздкий древний фонограф, топорщащийся в разные стороны раструбами, точно причудливое осадное орудие орудийными стволами. Разъезжая по городам и весям, он проигрывал на этом фонографе музыкальные кристаллы, записанные популярными мейстерзингерами, аккомпанируя на собственных инструментах и, видно, порядком поднаторел в этом искусстве, если сумел не только не помереть с голоду, но и собрать какой-никакой капитал.

Благодаря этому капиталу несколько лет тому назад он сделался заправилкой «Хексенкесселя», его бессменным конференсье, концертмейстером и дирижером. Незавидная участь для того, кто прежде услаждал слух королей и императоров — ставить музыку для пьяных чертовок, отплясывающих свои никчемные танцы стремясь унять огонь между ног.

Но, верно, лучше, чем подыхать от голоду. Барбаросса не собиралась корить Вульпиуса Мельхиора за его выбор. Она вообще не собиралась больше смотреть в его сторону.

Единственное, что ее заботило — серый камзол Фальконетты, мелькающий в толпе.

— Что теперь, мои сладкие чертовки? — громогласно спросило существо, восседающее на площадке. Каждый раз, когда его огромная туша приходила в движение, сотрясаемая воплями саксгорнов и прохудившихся волюнок, цепи, удерживающие площадку в воздухе, зловеще дребезжали, натягиваясь и обвисая, — Время объявить вальс, чтобы вы наконец смогли хорошенько потискать друг друга в объятьях? Черт, нет! Вальсы для хромоногих старух, верно? А я хочу, чтобы вы кончили сегодня прямо себе в сапоги от страсти, даже не расстегнув корсетов!

Глыбы плоти задрожали, исторгнув несколько влажных отростков, похожих на освежаванных змей. Каждое из них бережно держало небольшой слюдяной диск музыкального кристалла. Так бережно, будто это были новорожденные младенцы.

— Я знаю, чем мы приправим сегодняшней вечер, вы, голодные сучки. Внимайте! Внимайте старому Мельхиору и держите все дырки в своем теле открытыми настезь! Для вас сегодня звучит, чертовки, мейстерзингерша Каролина Катарина Мюллер из Северного Брабанта и ее песня «Я могу вырвать твое сердце этой ночью»!

Заглушая восторженный вой малолетних сук, грянули литавры — грянули так, что все цепи «Хексенкесселя» разом натянулись, а из разъеденных раструбов труб хлестнуло горячей желчью и прозрачным ихором.

У тебя есть шанс попасть в Ад, детка

Я смотрю в твои пустые глазницы

Ты можешь быть моим главным блюдом этим вечером

Да, я чувствую себя последней сукой, делая это с тобой

Но ты так круто держишься, что это заводит

Эту ночь ты проведешь со мной!

Барбароссе было похер, кем увлечена мейстерзингерша из Северного Брабанта и чьего мяса желает отведать этим вечером, единственное, о чем она могла думать — как бы не отстать от Фальконетты. Та, точно мягкая свинцовая пуля, буквально ввинчивалась в толпу, не столько расталкивая, сколько пронзая ее, Барбароссе стоило немалого труда удерживаться в кильватерном следе и не отставать.

Котейшество здесь. Одна эта мысль подстегивала ее, точно дюжина кнутов. Испуганная, сжатая осатанело орущей и пляшущей толпой, оглушенная чудовищными ритмами, которые в «Хексенкесселе» именуется музыкой, заблудившаяся среди незнакомых лиц. Может, раненая. Может, истекающая кровью. Барбаросса на миг представила ее — жалобно хнычущую, забившуюся в угол, прижимающую руки к животу, на котором — Барбаросса представила это так отчетливо, что воочию увидела блеск медных пуговиц на замшевом колете Котейшества — расплывается темное пятно...

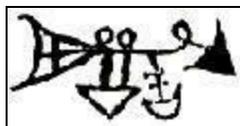
Нет! Дьявол, нет! Котейшество — ведьма, она не станет хныкать. Она сильная девочка, хоть иногда и поддается слабости. Даже без своей бессменной защитницы она в силах постоять за себя и никогда не натворит глупостей. Может, она испугана, но она послала весть о помощи и ждет ее, Барби, появления. Это придает ей сил и помогает держаться. Она знает, сестрица Барби придет на помощь, точно адские легионы фон Верта, пришедшие на помощь осажденному Райнфельдену.

Чертова музыка работала. Заводила и без того объятую страстью толпу, превращая соплячек в распаленных фурий. Какая-то сука на пути у Барбароссы, подвывая от страсти, вдруг принялась стаскивать с себя брэ, раскорячившись при этом так, что невозможно

пройти. Барбаросса саданула ее локтем в челюсть и та обмякла, но не упала, а мгновенно утонула в бурлящей толпе, так и оставшись на ногах. Другая чертовка повисла на шее у Барбароссы, смеясь и осыпая ее лицо поцелуями. От нее разило сомой так, словно она искупалась в чане с зельем, не снимая сапог. Барбаросса со злорадством подумала, что будь эта сука менее пьяна, не заливай мощные лампы «Хексенкеселля» толпу потоками ослепительного багрянца и пурпура, эта сука разглядела бы, кого целует — и, пожалуй, предпочла бы откусить себе язык. Барбаросса саданула ее лбом в лицо и, хоть за грохотом музыки было почти не слышно хруста, ощутила мимолетное удовлетворение.

Фальконетта не петляла зигзагом, как петляют обычно охотницы, разыскивающие кого-то в толпе, она шла четко выверенным курсом, и курс этот вел не в центр амфитеатра, как ей сперва показалось, а вбок, туда, где поднимались, ввинчиваясь в потолок, узкие винтовые лестницы. Там, наверху, вспомнила Барбаросса, нет танцевальных зал, одни лишь служебные этажи, куда не допускают посторонних. Десятки альбумов комнатушек, чуланов и складов, где держат лампы на замену, вино, старые ветхие декорации и все, что может пригодится для здешнего хозяйства. Молва утверждала, будто помимо пыльных чуланов там имеются уединенные альковы, в которых утомленные выступлениями миннезингеры общаются со своими поклонницами после концертов, уже в более приватной обстановке, охотно принимая их благодарность в тех формах, о которых не осведомлены даже многие шлюхи Унтершгадта. Плевать, даже если это и так — после пожара, бушевавшего месяц назад в «Хексенкесселе» едва ли там есть что-то кроме выгоревших дотла клетушек да ввевшейся гари. Едва ли Котейшество укрылась там, даже если бы знала, как туда попасть...

Но Фальконетта шла именно туда. Уверенно и прямо, точно выпущенная из мушкета пуля.



У самой лестницы ей дорогу преградил голем. Не грубая бронированная глыба времен Холленкрига вроде трижды проклятого Ржавого Хера, едва не превратившего ее в кляксу на броккенбургской мостовой. Куда более изящная и миниатюрная модель, но и она поднималась над головой Барбароссы по меньшей мере на добрый саксонский эль. Корпусом для нее служил старый германский кастенбурст, пристойно сохранившийся, хоть и немилосердно проржавевший на сочленениях — должно быть, валялся в подвале какого-нибудь баронского замка, прежде чем хозяева «Хексенкесселя» выкупили его, найдя старым доспехам новое применение.

Вытянутый стальной шлем походил на бронированную лошадиную голову с острым клювовидным носом, испещренную узкими вентиляционными прорезями. Кираса, казалась чудовищно раздутой, бочкообразной, внутри нее Барбаросса легко могла бы уместиться целиком, вместе с ногами. Тяжелая латная юбка громыхла железом на каждом шагу.

Должно быть, это механическое чучело провело не один час в обществе проказливых броккенбургских девчонок — доспех, некогда выглядевший достаточно грозным, чтобы отпугивать незваных гостей, обрел многие черты и украшения, которые наверняка не были предусмотрены его хозяевами. На громыхающие под юбкой стальные ноги кто-то сумел натянуть рваные чулки с подвязками, массивная бронированная кираса была изрисована тушью — кто-то небесталанно изобразил на ней подобие женской груди с неестественно огромными дойками. Шутницы добрались даже до шлема, для чего им, верно, приходилось

забираться друг другу на плечи. Острый нос бацинета был густо покрыт губной помадой, а глазницы шлема очерчены окружностями с указывающими вовнутрь стрелками — вроде тех, что частенько встречаются в укромных местах Броккенбурга и предлагают господам засунуть внутрь что-нибудь из того, чем наделил их Ад и что хранится у них в гульфике.

Измалеванный торс голема оказался покрыт письменами густо, точно древняя стела. И это были не дьявольские письмена или алхимические глифы. По большей части — признания в любви, слезливые жалобы, невразумительные послания, смутные угрозы...

«Развратные Аркебузы!» Черт, да!»

«Шило из «Бархатных Кондотьерок» — дырявая пиздень».

«Ласковая девочка-сладкоежка скрасит досуг уставшей сестре. 49-3943-130823».

«Тоттерфиш — евнух!»

«Каспар, попроси наконец у адских владык немного смелости!»

«...ты была в лиловых кюлотах, с вышивкой из лилий. Жду тебя там же, в среду после танцев»

«Я не могу умереть — Ад каждый раз выталкивает меня обратно»

«Хаома. Опиум. Дурман. Колдовская соль. «Серый пепел». Вызови на закате демона Трингоциниаста, он все расскажет».

Никчемные суки, подумала Барбаросса, ощутив, однако, некоторое подобие уважения. Изрисовывать боевого голема — не то же самое, что изрисовывать скамейки в парке или телевокс-аппараты в будке, для этого требуется помимо дерзости и изрядная смелость. Может, этот красавчик и выглядит так, словно, забыв про свою работу, пустился в развлечения, открывая закрытые для него прежде удовольствия, но под испачканной губной помадой и тушью броней ворочаются хорошо смазанные валы и шатуны, управляемые холодным механическим рассудком, а силы в его руках достаточно, чтобы раздавить в объятьях лошадь.

Голем ощутил их намерения прежде чем они успели подойти к лестнице. Не сделал ни единого шага, но развернулся в их сторону, отчего его суставы едва слышно загудели. Бронированная голова-бацинет, расписанная беспутными чертовками, должна была бы выглядеть смешно и нелепо, но выглядела грозно — губная помада легла на бронированную сталь точно подсохшая кровь. Угольные провалы глазниц не сделались менее зловещими, напротив, алые окружности со стрелками превратили их в подобие демонических глаз, внутри которых клубилась темнота какого-то особого, неприятного, рода. Даже если бы у Барбароссы была та штука, которую господа хранят в гульфике, она не стала бы ее туда засовывать ни под каким предлогом. Черт, она бы даже не подошла к этой штуке за талер, но...

— Остановитесь, прекрасные фройляйн, — голем говорил удивительно ровным для груди старого железа человеческим голосом, но почему-то с тягучим фогтланским акцентом, верно, мастер, создавший его, приходился откуда-то из Ауэрбаха или Фалькенштайна, — Внутренние покои «Хексенкесселя» закрыты для посещения. Возвращайтесь к веселью и позвольте нам усладить вас этим вечером!

В сочетании со зловещим скрипом сочленений звучало не более соблазнительно, чем приглашение раздавить бутылочку от палача, который вытирает окровавленные руки о передник, но Фальконетта шагнула вперед так легко, будто голем представлял собой не большую опасность, чем чучело, которое сжигает ребятня под конец Фастнахта.

— Маркранштедт. Восемнадцать сорок три. Шпрее.

К удивлению Барбароссы голем воспринял эту бессмыслицу удивительно серьезно, только кивнул узкой бронированной головой. А секундой позже шагнул в сторону, освобождая им проход к лестнице.

Черт! Пароль, сообразила Барбаросса. Вот как проникают на верхние этажи «Хексенкесселя» те, кто не обладает над ним властью — обслуга, рабочие, соплячки, услаждающие миннезингеров...

Она не имела ни малейшего представления, откуда этот пароль мог быть известен Фальконетте — ее прежде ни разу не видели в «Хексенкесселе», но вслед за этой мыслью пришла другая, тоже тягучая, странная — откуда этот пароль мог быть известен Котейшеству?..

Фальконетта не колебалась и не раздумывала. Ступила на лестницу и быстро начала подниматься по узким винтовым ступеням, ковыляя с грацией сломанной куклы, сама похожая на старого голема, зашитого в человеческую кожу. Как Мейнхард Граувеббер, вяло подумала Барбаросса, вспомнив пьесу, которые сестры смотрели в оккулусе. Не человек — холодный комок свинца, вылетевший из мушкетного ствола.

— Фалько... — Барбаросса вынуждена была глядеть в спину Фальконетте, поднимающейся по узким ступеням, но это не имело значения — серый камзол между лопатками Фальконетты был не менее выразителен, чем ее лицо, — Ты уверена, что Котейшество там? Она...

— Котейшество там, — безукоризненно правильные слова Фальконетты звучали в странном диссонансе с хаотически ревущей музыкой вокруг них, — Наверху. Там есть тайник. Я знаю дорогу.

Барбаросса зло мотнула головой. Когда они выберутся из этой истории, ей придется задать сестре Котти много вопросов. Если окажется, что она тайком от старшей подружки бегаёт на танцуйки в «Хексенкессель» и даже успела узнать многие его секреты, это будет чертовски неприятным открытием. Но сейчас она не станет об этом думать. Ни об этом, ни о Лжеце, ни о прочих вещах, о которых она думала целый день, разгуливая с ворочающимся в глубине груди демоном.

Я чувствую это везде!

Адские чары разлиты в воздухе.

Голос мейстерзингерши из Северного Брабанта царапал барабанные перепонки, но в мире не существовало достаточного грохота, чтобы его заглушить.

Ты будешь моим главным блюдом этой ночью

Верно, мой разум поработен чарами,

Но я чувствую себя в Аду

Я вижу расплавленный свинец в твоих глазницах

Барбаросса знала, как выглядит пепелище — несмотря на то, что угольные ямы в Кверфурте всегда относили подальше от домов, иногда непоседливое пламя, затаившись в виде уголька, прилипшего к рабочей робе, все-таки проникало в дом. И выжигало его дотла, жестоко мстя за самонадеянность. Демон огня слишком силен и могущественен, чтобы его можно было вечно удерживать в яме. Барбаросса знала, как выглядят выгоревшие дочерна дома, знала тот едкий запах, который царит внутри, неистребимый, горько-соленый, режущий глотку. Знала, как хрустит под ногами пепел, в котором, если ковырнуть ногой, можно обнаружить закопченные дверные петли, гвозди, подковы и прочее, что жестокая, но привередливая огненная стихия отказывается принимать в пищу. Иногда и человеческие

кости — пожелтевшие от жара, хрустящие под каблуком, как стружка.

Пожар, опаливший «Хексенкессель» был иного, незнакомого ей рода. Он выжег внутренние покои дотла, оставив после себя лишь намертво въевшуюся в стены черную копоть и тонкий слой золы под ногами. Зола даже не хрустела под каблуком. Мелкая, белесая, она была знакома Барбароссе — такая зола образуется в яме, если плотно заложить ее сверху глиной и двое суток подряд нагнетать мехами через фурмы потоки воздуха. Тогда жара делается так много, что он может плавить даже железо, превращая угольную яму в исполинскую доменную печь. Квартфуртские углежоги редко использовали такой способ — разве что нужно было изготовить «холишерус» — тончайший пепел, используемый в алхимических науках.хлопотный, сложный процесс...

Узкие стрельчатые окна лишились своих роскошных витражей, свинцовые переплеты превратились в грязные лужицы свинца под ногами и разноцветные комки стекла, но они выполнили свою работу — самый резкий запах гари, что царит первые дни после пожара, успел немного выветриться. Дышать все равно было тяжело — царапало изнутри грудь. Подобный запах наверняка царит в дровяном сарае, подумала Барбаросса, едва только вдохнув здешний воздух. И, верно, моя шкура будет пахнуть ничем не лучше, едва только мы вернемся в Малый Замок...

Но сейчас эти проблемы занимали ее меньше всего.

— Котти!.. — она ринулась вперед Фальконетты, но почти тотчас замерла. Дрожащие пальцы Фалько, впившиеся ей в плечо, обладали силой ястребиных когтей, даром что не смогли бы взять даже щепотки табака из табакерки.

— Стой, Барбаросса.

— Отвали, Фалько. Если она здесь...

Пальцы Фальконетты на воротнике ее дублета сжались еще сильнее, раздавив чудом уцелевшую пуговицу.

— Иди за мной. Молчи. Тихо.

Барбаросса зло мотнула головой.

Если Фальконетта так говорит, возможно, есть резон. Пламя испепелило мебель и обстановку, оно испепелило даже двери и витражи — но вполне могло пощадить начертанные на полу руны, невидимые под слоем пепла. Если хозяева «Хексенкесселя», не надеясь на одного только железного истукана, больше похожего на расписную шляху, чем на рыцаря, посадили здесь на привязи охранного демона. Черт. Долго же Котейшество будет ждать подмогу, если сестрица Барби и сама превратится в пепел, неосторожно сделав шаг...

— Веди, — буркнула она, показав зубы в злой плотоядной усмешке, — И не прикасайся ко мне, если не собираешься пригласить на танец.

Фальконетта молча кивнула, выпустив ее воротник. Если она и сохранила чувство юмора, то не в большем объеме, чем голем-привратник у лестницы. Чертова ледяная сука. Угораздило же Котти подыскать себе помощницу...

Выгоревшие комнаты были пусты и безлюдны, пламя оставило после себя слишком мало, чтобы остатками его пиршества могли бы заинтересоваться выискивающие поживу гарпии или прочие городские падальщики. Остывшая зола — не самая питательная пища...

Фальконетта и здесь шла уверенно, строго выдерживая направление, даром что не озаботилась ни лампой, ни хотя бы свечным огарком. То ли видела в темноте, то ли заучила путь наизусть. Впрочем, Барбаросса и сама могла различить в густом полумраке контуры дверных проемов и стен — лопнувшие от жара окна пропускали внутрь толику света и, пусть

свет этот был зыбким и размытым светом брокенбургских сумерек, его было достаточно, чтобы хоть немного ориентироваться в пространстве.

Глаза неохотно свыклись с этой работой, им приходилось различать сорок оттенков серого цвета, но хотя бы уши блаженствовали. Должно быть, огонь пощадил выгравированные на перекрытиях чары, изолировавшие звуки амфитеатра, потому что здесь, над танцевальной залой, Барбаросса почти не слышала того чудовищного грохота, который сотрясал амфитеатр и который господин Мельхиор именовал музыкой, только легкую вибрацию пола под ногами.

Даже самый дотошный императорский демонолог на службе короны, будь у него хоть два зачарованных стеклянных глаза в глазницах, не смог бы разобрать, через какие комнаты они идут и что здесь располагалось до пожара. Большие и малые, просторные и тесные, они не сохранили ровно ничего от своей былой обстановки. Может, здесь в самом деле располагались склады с декорациями и всяким хламом, может, изысканные альковы на дрезденский манер, где забавлялись заезжие миннезингеры — если так, огонь сожрал шелк и бархат с тем же аппетитом, с каким он сожрал дерево и медь. Переступая порог одной из комнат, которая могла бы сойти хоть за зимний сад, хоть за просторный чулан, Барбаросса споткнулась о кучку скрипнувшего под ногами хлама и обнаружила человеческий остов — ворох сухих как порох костей и съездившийся череп, равнодушно глядящий на нее снизу вверх.

Кем бы ни был этот несчастный, им пировал не только огонь. Это сделалось ясно, едва только осыпался пепел, обнажая всю груду. Кости были завязаны узлами, и не простыми, а весьма замысловатыми, точно над ними упражнялось трудолюбивое существо, осваивающее сложную науку плетения морских узлов, но не располагающее для этого никакими материалами кроме человеческого тела. Барбаросса ощутила изжогу — скрип пепла под их с Фальконеттой ногами враз сделался куда более зловещим.

— Какого хера? — пробормотала она тихо, — Что за чертовщина тут случилась?

Она не думала, что Фальконетта обернется. Идущая с грацией заводной балерины, не глядящая по сторонам, она выглядела так, будто не обернется даже если у нее над ухом пальнуть из мушкета. Но по какой-то причине все-таки обернулась. Резко, точно ее голову на ходу оттянули невидимые пружины.

— Шрагемюзик, — ответила она своим обычным бесцветным голосом. Серая как пепел, она была почти невидима, если бы не глаза, горящие в полумраке тусклым, едва видимым, светом, — Здесь случился шрагемюзик.

Барбаросса не сразу сообразила, а когда сообразила — ощутила себя так, точно кто-то бросил ей за ворот дублета гроздь извивающихся ядовитых сколопендр.

Шрагемюзик. Неправильная музыка.



Архивладыка Белиал, хозяин германских земель и верховный сюзерен вся Европы, был рачительным хозяином, строго взыскивающим причитающиеся ему подати и налоги, безжалостно вершащим суд над своими подданными и способный уничтожить любого, дерзнувшего ему не подчиниться, будь то адский владыка или простой смертный. Однако, будучи существом тысячекратно более сложно устроенным, чем человек, архивладыка Белиал имел странные взгляды на правосудие — слишком странные, чтобы их могли понять все судьи в мире, собери их чья-то воля воедино.

За некоторые ошибки, которые могли бы показаться незначительными, архивладыка Белиал карал безжалостно и решительно, так, словно от этого зависела устойчивость его трона в адских безднах. На другие же, вполне серьезные, заслуживающие наказания, смотрел сквозь пальцы, будто и не замечал вовсе. Может, ему попросту было недосуг отвлекаться на них, когда его внимания требовали куда более важные вещи. Может — такие предположения тоже звучали, но очень тихо — логика архивладык, закаленная миллионами лет жизни в адских глубинах, где законы мироздания не существуют или меняются по сорок раз за мгновение, непостижима в принципе, а разум их устроен совсем не на человеческий манер.

Граф Кюне, один из богатейших людей Германии, в один прекрасный день был превращен в гигантскую саранчу с сапфировыми глазами — только за то, что, выплачивая подать, по какой-то ошибке или недосмотру недоплатил один талер и три крейцера. В то же время какой-то безвестный прусский сапожник, явившийся в ратушу вольного города Кёпеника и назвавшийся хауптманом фон Мальцаном, полномочным эмиссаром Адского Престола, умудрился запугать весь магистрат, арестовать бургомистра, обчистить дочиста его казну и смыться — при том не понес за это никакого наказания.

Никто не знал, чем руководствуется архивладыка Белиал, верша свой суд. Знали только, что есть вещи, которые он не одобряет — и от этих вещей надо держаться так далеко, как от бочки пороха с тлеющим фитилем.

Архивладыка Белиал по какой-то причине не выносил павлинов — эти птицы были объявлены опасными и истреблены во всех его владениях с такой безжалостностью, с которой не истребляли даже бунтовщиков и заговорщиков. Архивладыка Белиал не любил левшей — многим детям, заподозренным в этом грехе, родители предпочитали отрубать левую руку вовсе, чтоб не гневил адского властителя. Архивладыка Белиал не терпел савойскую капусту — вся земля, которая когда-либо засаживалась капустой, была превращена в скотомогильники или нарочно заболочена, чтобы на ней уже ничего не могло вырасти.

Никто не знал, какую опасность несет савойская капуста. Возможно, на счет капусты это было ошибкой или ошибочным трактованием его воли — эмиссары архивладыки, доносившие его волю до смертных, могли где-то ошибиться или что-то спутать, но на счет шрагемюзик, «неправильной музыки» никакой ошибки быть не могло — она подлежала выжиганию каленым железом.

Под эту категорию попадала вся музыка, созданная на востоке, в землях, лежащих в подчинении его извечного соперника, архивладыки Гаапа. Неважно, на каких инструментах она исполнялась, была это скорбная вокальная кантата с берегов ядовитой реки Волги или неказистый любовный миннезанг, родившийся в предгорье Оралтовой горы, внутри которой заперты сонмы кровожадных демонов. Всякая музыка, рожденная на землях Гаапа, была «шрагемюзик».

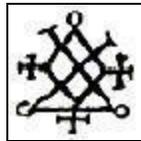
Императорские демонологи без усталости разъясняли, что «шрагемюзик» — вовсе не невинная забава. Что голос архизлодея Гаапа, вплетенный в музыку благодаря хитроумно замаскированным кусочкам чар, проникает в сознание слушателя, подчиняя его себе, точно чары Хейсткрафта, превращая добрых бюргеров в кровожадных безумцев, пыряющих друг друга ножами на улице, а здравомыслящих крестьян — в ополоумевших чудовищ, питающихся человеческим мясом и сношающих скот. Что губительно воздействует на плод в животе беременных женщин, отчего города наводняются уродцами. Что отупляет человеческое сознание, разрушая его и исподволь подчиняя превращая в звериное.

Изнывая как-то раз в ожидании Котейшества, Барбаросса от скуки прочла обрывок газеты, который выудила из своего башмака. Никчемное занятие, но все лучше, чем тягать соплю, маясь бездельем. Статья называлась «Пихельштайнер из синей гарпии» и рассказывала о коварстве и разлагающей сути «шрагемюзик», которую многие увлеченные учебной суки осмеливаются не только слушать, но и передавать друг дружке. Статья была паршивая, со многими непонятными Барбароссе словами, к тому же она так и не поняла, что за херь — синяя гарпия и на кой черт надо готовить из нее пихельштайнер — варево выйдет такое, что убьет быка наповал одним только запахом. Но страсти там были описаны такие, после которых даже ноющее от голода брюхо на какое-то время заткнулось. Про студенток, которых приятельницы подсаживали на «шрагемюзик» или которые начинали тайком ее слушать из озорства и любопытства, а потом, повредясь рассудком, выкалывали себе нахер глаза или бросались под едущий аутоваген. Про страшные вещи, которые происходили с их телами — такие страшные, что ужаснулись бы даже обитатели Круппельзона, бывшие когда-то людьми. Про... Не дочитав, Барбаросса скомкала газету и запихнула в банку к Мухоглоту, остаток времени наблюдая за тем, как он, вереща от ярости, пытается его сожрать.

Запретный плод сладок. Это определено знал Сатана, предлагая свой плод изнывающей от воздержания шлюхе Еве. Как бы ни упорствовали демонологи, «шрагемюзик» пробиралась в империю, точно крошечный паразит, нащупавший щель в законопаченной бочке. Точно чумная вошь, обнаружившая щель в стальном доспехе. Пробиралась тайными контрабандными тропами, завозилась под видом невинной музыки ищущими наживы торговцами с черного рынка, попадала вместе с трофеями восточных кампаний. Эдикт городского магистрата повелевал всякого, пойманного на продаже «шрагемюзик» топить в расплавленном свинце, а каждого, отворявшего ему уши — в лишении их путем обрезания. Но судя по тому, что мостовые Броккенбурга все еще не были покрыты горами ушей, запрет этот чертовски часто нарушался.

Черт, половина барышников в Руммельтауне продавали из-под полы музыкальные кристаллы со «шрагемюзик», Барбаросса и сама не раз видела обложки, напечатанные в подпольных типографиях с названиями, которые ей не говорили ничего, но от которых несло чем-то зловещим сильнее, чем от «ведьминской мази», которую она когда-то чуть было не испробовала на себе. «Машина смерти», «Аделаида», «Отсохла нога», «Колумбарий», «Зверинец» — сладкоголосые певцы Гаапа трудились изо всех сил, тщась наводнить германские земли своим ядом. Барбаросса не сомневалась, что и Саркома, эта никчемная любительница заткнуть уши, тайком от сестер слушает «шрагемюзик», но пока еще ни у кого в Малом Замке не получилось поймать ее на горячем...

«Шрагемюзик». Дьявол. Стоило бы догадаться.



Барбаросса втянула носом воздух, только сейчас ощутив, что к застоявшемуся запаху гари примешивается горьковатый аромат горелого жира. Теперь, когда Фальконетта произнесла это слово, не требовалось обладать великим умом, чтобы понять, какая беда настигла «Хексенкессель». Кто-то из его обслуги тайно баловался этой дрянью и, верно, протащил ее внутрь в виде музыкального кристалла. А может, даже и поставил в фонограф, позабыв начертать вокруг себя охранные символы. Не сдерживаемые невидимыми силками, ноты «шрагемюзика» воспарили в отравленное небо Броккенбурга и достигли ушей адских

владык — а те вершат свой суд куда быстрее и решительнее, чем старые евнухи из городского магистрата. Здесь выгорело все нахер, от мебели до лобковых вшей — и неудивительно. Странно еще, что не расплавился камень...

Неудивительно, что хозяева «Хексенкесселя» не спешат восстанавливать эти покои после пожара — иди знай, сколько еще дряни тут осталось. Живой дряни с острыми когтями или зубами. Ядовитой дряни, ждущей возможности цапнуть тебя за обнаженную руку. Невидимой дряни, которая растворена в воздухе и скапливается в легких, чтобы потом мгновенно убить...

Вот же хрень. Барбаросса переступила еще одну грудку занесенных пеплом костей. В этот раз не завязанных узлом, а зловеще разбухших и покрытых серебристой накипью. Блядская хрень. Покои над «Хексенкесселем» может и безлюдны, но прятаться в них — то же самое, что прятаться на кладбище в ту пору, когда какой-нибудь адский сеньор смеха ради поднимает мертвецов из могил. Уж Котейшество могла бы сообразить...

«Котти!» — чуть было не выкрикнула она в темноту, забыв про предостережения Фальконетты. Это имя уже было у нее во рту, но язык, прикоснувшись к нему, вдруг онемел, не в силах вытолкнуть его изо рта, будто оно превратилось в кусок тяжелого льда.

Котейшество юна, но она — одна из самых здравомыслящих ведьм в Малом Замке. Черт! Самая здравомыслящая! А еще она с большим уважением относится к адским владыкам и энергиям, которые они повелевают. Потому что хорошо знает их силу и всегда предельно осторожна даже в мелочах. Чрезвычайно осторожна. Черт возьми, когда они с Котти служили в Малом Замке на правах младших сестер, Котейшеству требовалось самое малое полчаса, чтобы заправить все лампы. Она так осторожно обращалась с маслом, так боялась пролить его или воспламенить ненароком, что тратила втрое больше времени против положенного...

Даже напуганная, она едва ли полезла бы туда, где еще недавно отгремел гнев адских владык. А может, потому и полезла, что знала — за ней сюда не сунется погоня? Или...

Фальконетта двигалась резкими несимметричными шагами, не оборачиваясь по сторонам, не глядя себе под ноги. Так, словно была уверена в отсутствии опасности — или даже не задумывалась о ней. Чертова сломанная кукла с ручной мортирой под мышкой.

— Фалько... Далеко еще?

Шея Фальконетты коротко скрипнула, поворачивая голову. Черт, подумала Барбаросса, когда старый голем-привратник выйдет из строя, сожранный ржавчиной, хозяевам «Хексенкесселя» стоит задуматься о том, чтоб заменить его Фальконеттой. Ее даже не надо будет наряжать в доспехи, она и так скрипит всеми частями своего переломанного тела. Интересно, скучающие школярки и ее распишут со временем?..

— Нет, Барбаросса. Мы почти пришли.

Это была угловая комната, весьма просторная, но при этом и темная. Меньше прочих пострадавшая от пожара, она сохранила в своих окнах изрядное количество витражей — часть свинцовых переплетов расплавилась, высыпав разноцветные осколки стекла на пол, но часть осталась на своих местах. Барбаросса охотно бы высадила их башмаками — толстое стекло почти не пропускало внутрь тех жалких крох света, которые были растворены в вечернем небе Броккенбурга, отчего здесь стоял душный от запаха гари и тяжелый полумрак. Такой густой, что от Фальконетты она видела лишь контур на фоне окна — резкий, изломанный силуэт, вырезанный из бумаги, но не аккуратными ножничками, как в наборах по рукоделию, а зазубренным и старым охотничьим ножом.

Барбаросса ощутила нехорошую щекотку, прошедшую по загривку.

Ее душа, точно рассеченная битым оконным стеклом, разделилась на две части. Одна ничего не понимала — она замешкалась, озадаченно взмахивая крылышками, точно мошка, впервые в жизни залетевшая в фонарь, тщетно бьющаяся о стекло. Другая, напротив, мгновенно поняла все и сразу — выпустила острые зубы, зашипела...

— Здесь нет Котейшества, — тихо произнесла она, — Ведь так?

— Здесь нет Котейшества, Барбаросса, — подтвердила Фальконетта. Неподвижно замершая на фоне окна, она выглядела куском грязных сумерек, неаккуратно вклеенным в интерьер. Но очень острым и колючим куском, к которому не стоит протягивать пальцев, — Она будет здесь... Скоро.

Тупая сука, прошипел ей на ухо Лжец. Ты мнила себя мастером охоты, но сама попала на самую простейшую уловку, как сраная школярка. Позволила завести себя в глухой угол, откуда нет выхода. Сделалась зависимой, позволив навязать тебе чужую волю.

Барбаросса сделала несколько осторожных шагов вглубь комнаты, пытаясь разобраться, что ее окружает. Здесь были остовы мебели, кажущие в густой темноте оплывшими булыжниками, кажется, какой-то стол посреди. В комнате было несколько дверей, которые больше угадывались во мраке, чем виделись воочию, но Барбаросса не стала бросаться к ним, лишь мысленно отметила.

Есть ситуации, когда быстрые ноги могут спасти голову. Есть ситуации, когда они же легко могут ее погубить. Бросившись бежать, она запросто может размозжить лоб о стену или оказаться в ловушке, очутившись в каком-нибудь выгоревшем дотла чулане без выхода. У Фальконетты на этом поле преимущество, она не только свободно ориентируется в здешних чертогах, но и, кажется, куда лучше видит в темноте. Будь ее руки в порядке, она еще могла бы надеяться на схватку в равных условиях, но сейчас...

Прекрасно, Барби. Просто охеренно. Полчаса без гомункула — и ты уже угодила в западню. Ты даже не можешь сказать, что билась до последнего, защищая свою жизнь, что огрызалась и далась дорогой ценой. Тебя взяли как сонную голубку, голыми руками, ты и не трепыхнулась.

Барбароссе захотелось рыкнуть — как будто это могло заглушить воображаемый голос.

— Фалько.

— Что, Барбаросса?

— Котейшество ведь не придет?

— Котейшество не придет, Барбаросса, — хрипло согласилась Фальконетта, не отводя от нее взгляда.

— Что с ней? Где она? Она ранена?

Голова Фальконетты качнулась из стороны в сторону с едва слышимым треском.

— Не знаю, Барбаросса. По правде говоря, я ее сегодня даже не видела.

Барбаросса ощутила облегчение — точно где-то в груди лопнул передавливавший артерию тромб. Котейшество не в «Хексенкесселе». Ей не грозит опасность. Она в порядке. Одна эта мысль принесла Барбароссе такое облегчение, что собственная участь на миг даже стала казаться неважной. В сущности, пистолет — один из самых милосердных из придуманных человеком орудий. Это не шестопер, от которого твоя голова хрустнет, вывернув наизнанку свое содержимое. Не кинжал, ужаливший тебя в живот, заставляющий истекать кровью, забившись в угол. Просто она вспышка — и все...

— Что ты хочешь Фалько? — устало спросила Барбаросса.



Фигура у окна встрепенулась. А может, это был просто особенно крупный пароксизм дрожи.

— Не знаю, Барбаросса. Когда-то я хотела стать ведьмой. Родители отправили меня в Броккенбург, будучи уверенными в том, что через пять лет я сделаюсь мейстерин хексой, патентованной императорской ведьмой. У них были все причины так думать. Я была умной девочкой.

— И что? — фыркнула Барбаросса, не сдержавшись, — Этот блядский город набит умными девочками. Вот только...

— А потом было Пятое июня тысяча девятьсот восемьдесят третьего года.

— Что?

— Ты не помнишь, Барбаросса?

— Что это? День, когда ты потеряла девственность?

Подбородок Фальконетты, скрипнув, опустился на дюйм.

— Ты не помнишь, Барбаросса. Конечно же, ты не помнишь.

— Что я, черт побери, должна помнить?

— А я помню. Учителя всегда говорили, у меня хорошая память. Не здешние учителя. Домашние учителя в Росвайне. У меня хорошая память. Это даже досадно. Из-за этого я помню вещи, которые мне не нужны и вещи, которые никогда больше мне не пригодятся. Я как эйсшпанк, морозильный шкаф. Храню в себе запас еды, которую сама не способна поглотить. Просто храню.

Она рехнулась, подумала Барбаросса. Чертова кукла рехнулась. Вот почему она заявила в «Хексенкессель» — последние молоточки в ее мозгах приржавели к колкам и валикам. Вот почему вообразила, будто видела Котейшество — и та даже просила ее о помощи. Она попросту выжила из ума. Чертова сука рехнулась — и охеренно не вовремя...

Но серые глаза Фальконетты, глядящие на нее в упор, не демонстрировали признаков безумия. Не вращались, как у театральных паяцев, не беспорядочно моргали, посылая в мир бессмысленные сигналы, не делали никаких прочих вещей, которые положено делать глазам безумца. Они напоминали куски стекла, валяющиеся на покрытом золой и пеплом полу. Холодные, серые, острые, совершенно мертвые.

— У меня была лошадь. Хафлингер-трехлетка по кличке Шатци. Отец купил ее мне в Носсене на ярмарке в восьмидесятом году. У меня был кошель, в котором лежало тринадцать гульденов, семь талеров, восемь грошей и крейцер, пробитый гвоздем. Мать дала мне его на удачу. Еще у меня было с собой полдюжины платьев, три камзола и три пары кюлот. И еще ворох прочей одежды — на любую погоду. У меня была шкатулка с бусами и серьгами. Их надевала еще моя бабушка. У меня была рапира работы мастера Лобеншрода. Заговоренный походный котелок, разогревающий еду. Порошок от зубной боли и рекомендательные письма.

— Не удивлюсь, если ты и вшам своим дала имена... — пробормотала Барбаросса, пытаясь разглядеть, где находится дверной проем и сможет ли она проскочить в него, не налетев лбом на стену.

Черт, едва ли. Фальконетта стояла у нее на пути, загораживая дорогу. И хоть выглядела она тощей, как высохший куст с Венераиной Плеши, Барбаросса откуда-то знала, что

прикасаться к ней смертельно опасно. Эта штука, очертаниями похожая на человека, была взведенной «Фридрихканон» — кладбищенской пушкой. Коснешься невидимой бечевки — и грянет выстрел.

Руки Фальконетты были пусты. Сотрясаемые мелкой дрожью, они безжизненно висели, точно пара механических змей, бьющихся в предсмертной агонии. Но Барбаросса знала, что им потребуется чертовски мало времени, чтобы вытащить оружие. И совсем не потребуется времени, чтобы прицелиться — на таком расстоянии, даже в темноте, старина Фалько влетит прямо в яблочко. И яблочко разлетится по всей комнате, разбрызгивая мозговые сгустки и тлеющие хрящи.

— Моя мечта исполнилась, Барбаросса. Я стала ведьмой. Пусть и не так, как ожидала. В первый же день я лишилась кошелька вместе со всем его содержимым. Он ушел в казну шабаша, как и все мои деньги. У новичков отнимают все, что при них есть, все подчистую. Один из законов Шабаша. Оставляют им только лохмотья да стоптанные башмаки. Лошадь по кличке Шатци, хафлингера-трехлетку, зарезали у меня на глазах и бросили в котел — еще неделю старшие сестры хлебали похлебку с лошадиным мясом, запивая дешевым пивом и распевая песни. Шпага мастера Лобеншрода, которой я пыталась защищаться, оказалась сломана надвое. Рекомендательные письма и порошок от зубной боли вышвырнуты в канаву. Бабушкины бусы и серьги они нацепили на себя, а через неделю проиграли в карты. Мои платья и кюлоты пошли на носовые платки и тряпки. В первую же ночь меня заставили танцевать перед сестрами с надетым на голову ночным горшком. Шабаш — толковый учитель, Барбаросса. Он быстро объясняет умным девочкам, что такое взрослая жизнь.

Барбароссе почудился за спиной шорох, но оглянуться она не рискнула. Страшное пламя, опалившее «Хексенкессель», должно было выжечь всю жизнь здесь плоть до плесени на стенах. Верно, это забравшийся внутрь проказливый броккенбургский ветер играет с золой.

Барбаросса даже не повернула головы в ту сторону. Серые глаза Фальконетты горели тускло, точно остывшие угли, присыпанные пеплом. Они совсем не давали жара, но было в них что-то такое, что завораживало — как некогда завораживали разверстые рты отцовских ям.

— Мне надо было протянуть год, Барбаросса. Всего год в Шабаше. Это возможно, если не привлекать к себе внимания. И я не привлекала. Старалась затаиться в темном углу, как и Котейшество, сносить все побои и молчать. Не подавать голоса. Мне нужно было только дотянуть до конца года. До следующей Вальпургиевой ночи. Но ты...

Барбаросса скрипнула зубами.

— Какого хера?

— В ту ночь ты вернулась в dormitorio поздно, за час до рассвета. Ты была пьяна так, что не могла снять сапог, но еще держалась на ногах. Кричала что-то про своего чертового отца, который сгорел заживо и теперь будет гореть в адских печах вечно. Тебя рвало дешевым вином, Барбаросса.

Фалько говорила монотонно и сухо. Ее голос звучал неестественно, будто был рожден не голосовыми связками, а записан на музыкальный кристалл, порядком оплывший и поцарапанный. В этом голосе не было человеческих интонаций, лишь негромкий хруст зубов, неравномерно перемальвающих слова.

— Малышня попыталась при звуках твоего голоса, Барбаросса. Тебя тогда звали Красоткой. Из-за шрамов на лице, конечно. Но для нас, школярок, в мире не существовало

более зловещего имени. Твое имя мы произносили шепотом, как имя демона. Красотка. Никто не знал, в каком настроении ты придешь. Но мы хорошо научились узнавать скрип твоих сапог и прятаться по углам.

Барбаросса выставила перед собой руки. Искалеченные, обмотанные грязными бинтами, они не смогли бы защитить ее, но могли бы по крайней мере изобразить какой-то нужный моменту жест.

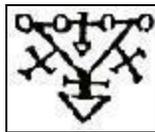
Ничего не изобразили, обвисли, как гнилые корни.

— Слушай, я...

— Все спрятались по углам, как обычно прятались при твоём приближении. Я тоже попыталась, но не сумела. Попалась тебе на пути. Меня учили танцевать ригодон, но совсем не учили прятаться. Ты сорвала с меня штаны и попыталась затащить в койку, Барбаросса. Но была слишком пьяна, а я сопротивлялась. Слишком хорошо помнила, что случилось с Котейшеством. Тогда ты избивала меня. Не снимая сапог. Жестоко. Била, сатанея от собственной ярости. Била, пока не отшибла себе ноги и не сломала каблук. К утру мне казалось, что меня начнет блевать собственными кишками. А когда я больше не могла ни молить о пощаде, ни стонать, ты взглянула на меня сверху вниз. Так, как глядят на кучу дерьма. Плюнула в лицо и сказала: «И ты еще хочешь быть ведьмой, скотоебка? Хлюпаешь как сопля...»

— Постой, Фалько...

— Так я и стала Соплей, — изрезанное лицо Фальконетты задрожало, силясь улыбнуться, и это было еще более жутко, чем любая гримаса, — Ты сделала меня такой. Отдала на растерзание сестрам. Ты разрушила мою жизнь, Барбаросса.



Барбаросса ощутила, что по-рыбьи глотает губами воздух.

Эта заводная сука рехнулась. Выжила из ума.

Это Кольера разделала ее в тот день. Не сестрица Барби, беспечно лежавшая в койке. Это сука-Кольера! Должно быть, у этой заводной механической куклы все в голове перепуталось. Пережались и лопнули какие-то пружины, разладились тонкие внутренности, как это иногда бывает с музыкальными шкатулками и сложными устройствами...

Вот херня, подумала Барбаросса, ощущая, как спирает дыхание в груди. Как будто половина адских владык сегодня, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности, занята тем, какую херню бы подкинуть сестрице Барби. И вот пожалуйста — выжившая из ума сука с пистолетом за пазухой. Вообразившая, будто это она погубила ее жизнь два года назад. Охереть можно.

Ей вновь почудился шорох пепла за спиной, в этот раз отчетливее и ближе. Но повернуться она не могла. Отчего-то казалось, что стоит ей отвести глаза от затянутых золой угольев в глазницах Фальконетты, как та мгновенно достанет пистолет и выстрелит ей в затылок. Как настроженный капкан или взведенная «кладбищенская пушка», Фальконетта могла сколь угодно долго оставаться в неподвижности, но это не помешало бы ей мгновенно нажать на спуск.

— Слушай, Фалько... — Барбаросса медленно покачала головой, стараясь не совершать резких движений, — Я помню, что с тобой случилось. Тебе жестоко отделали. Ты этого не заслуживала. Но это была не я. Это была Кольера. Она всегда была жестокой тварью, терзала

молодняк как волчица. Но не я.

— Это была ты, Барбаросса.

Барбаросса ощутила, как злость выбирается из-под тяжелого гнета.

— Ах, я? Черт побери! Что же ты не разделалась со мной, как с прочими? Что же не подкараулила на улице со своей хлопушкой? Ты бы сто раз успела меня застрелить, если бы хотела! Но ты...

— Хотела, — серые глаза Фальконетты моргнули. Один-единственный раз, но Барбаросса отчего-то едва не вздрогнула от неожиданности. Точно прущий на полных парах аутоваген ударил в лицо огнями посреди улицы, — Очень хотела. Не могла.

— Почему?

— Ты меня опередила, Барбаросса. Сбежала из Шабаша. Записалась в «батальерки». Нашла себе защиту быстрее, чем я смогла до тебя добраться.

Ах, вот оно что!

Барбаросса едва не рассмеялась. Может, Фалько и выжила из ума, но некоторые шестеренки в ее голове, отвечающие за здравомыслие, работали удивительно четко.

Фальконетта убивала одиночек.

Какой бы смертоносной она ни была, как бы метко ни разил ее хваленый голландский бландербасс, она понимала — стоит ей уложить какую-нибудь суку из ковена, как двенадцать ее подружек, не снимая траурных вуалей, достанут ножи — и изрежут ее лучше, чем многие мясники Миттельштадта кромсают говяжьей вырезку. Правила чести требуют мстить за своих. Вот почему она убила шестнадцать сук. Не восемнадцать, не пять, не сорок. Фальконетта убивала не просто тех, кто имел неосторожность ее обидеть, она убивала тех, за кого не будут мстить. Сама одиночка в душе, она знала, что у нее нет шанса выступить против ковена и уцелеть.

А значит...

Барбаросса ухмыльнулась, ощутив короткий прилив сил.

— Я и сейчас «батальерка», тупая ты шлюха. А Вера Вариола чертовски не любит, когда ее девочек обижают. Хочешь уложить меня? Валяй, Фалько. Но перед тем, как доставать свою мортиру, проверь, найдется ли у тебя при себе две пули. Одна — для меня, чтобы разнести нахер мне затылок. Другая — для тебя самой. Потому что если пули не будет или ты помедлишь... Думаю, они явятся за тобой уже к утру. Каррион, Гаргулья, Гаррота и прочие. Знаешь, что они сделают с тобой, Фалько? Они прибьют тебя гвоздями к дверям, а после закончат то, что не закончили суки из Шабаша! Стянут с тебя твою чертову кожу!

Фальконетта несколько секунд молча разглядывала ее. В серых глазах не было ни капли интереса, они походили на глазки в сложно устроенном двигателе, через которые демонолог заглядывает внутрь чтобы увидеть, в каком настроении пребывают пленные демоны. В глазах у Фальконетты не было видно мельтешения адских тварей — слишком мертвая, холодная и серая среда, чтобы там могла выжить любая из них. словно озерца расплавленного серебра, смешанного с пеплом.

— Ты права, Барбаросса. Я не могу позволить себе вступать в войну с целым ковенном. Особенно таким, как «Сучья Баталия». Поэтому ты и прожила так долго.

— Мало того, намереваюсь прожить еще столько же, — Барбаросса усмехнулась, — А теперь будь добра отвести меня к выходу. Я хочу...

— Я долго думала, как мне подобраться к тебе, Барбаросса. И наконец поняла. Для этого мне не требовался мушкет. Мне вообще не требовалось оружие. Всего лишь... одна

небольшая вещица. Она уже у меня.

Рука Фальконетты, негромко скрипнув суставами, нырнула за подкладку серого камзола. Но вытащила не громоздкий бландербасс, как ожидала Барбаросса. То, что было сжато в ее пальцах, оказалось куда более миниатюрным, не больше флакона от духов. Небольшая изящная вещица прямоугольной формы длиной не больше десяти дюймов. Барбаросса впилась в нее взглядом, ощутив, как кости окатило изнутри свинцовым холодком. В этой вещице не чувствовалось магических чар или адских энергий, но она отчего-то почувствовала — это что-то скверное. Что-то опасное, дурное, недоброе...

Склянка с ядом? Хитрый нож с потайным лезвием? Какая-нибудь отравленная штуковина или...

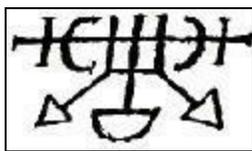
Снова раздался щелчок — но это щелкнули не пальцы Фальконетты, это щелкнула вещица, которую она держалась, разворачиваясь, причудливо преображаясь, меняя форму, превращаясь в россыпь лепестков.

Это не оружие, поняла вдруг Барбаросса. Это веер. Обычный дамский веер. Шелковый расписанный, с перламутровыми пластинами. Фальконетта держала его неловко, она явно не имела опыта в обращении с такими вещицами, но это уже не имело никакого значения.

Блядь, успела подумать Барбаросса, ну и паскудно же складывается история.

А потом Фальконетта ровным голосом произнесла «Ljós!» — и пришел свет.

Так много света, что ее чертовы глаза чуть не лопнули.



Их было шестеро. Это первое, что она смогла определить, проморгавшись, едва только из глаз перестали катиться злые колючие слезы. Фальконетта осталась на своем прежнем месте — сухая серая щепка, вертикально воткнутая в пол — но прибавилось еще пятеро. Все худые, поджарые, в неброской уличной одежде — потрепанные дублеты и камзолы, грязные шоссы, сбитые башмаки. Совсем не так одеваются девчонки, собирающиеся на танцы, мрачно подумала Барбаросса, рефлекторно пятясь к стене. Нет, если эти суки и планировали оттянуться сегодня вечером, то точно не отплясывая гавот.

Едва ли они притащили лампы с собой, скорее всего, позаимствовали из закров «Хексенкесселя» — тяжелые стеклянные сферы, каждая из которых весила, должно быть, по доброму центнеру, но давала больше света, чем пять дюжин свечей. Жесткого света, в лучах которого Барбаросса ощущала себя единственной актрисой на сцене, в придачу забывшей слова и не успевшей переодеться.

— Привет, Барби. Как жизнь?

Глядя на Жеводу, Барбаросса подумала о том, что некоторых сук изменить бессилен даже сам Ад. Мосластая, высокая, тяжелая в кости, она и сейчас походила на кобылу крепкой фризской породы, даже небрежно привалившись плечом к стене. Но не послушную лошаденку вроде тех, что годами покорно тащат плуг или телегу, а норовистую и дерзкую кобылицу из числа тех, в фиолетовых глазах которых мерцает затаенная веселая и злая искра. И горе тому, кто, не заметив этой искры, попытается водрузить на нее седло или нацепить упряжь. Налетит, сметет с ног, втопчет копытами в землю.

Жевода. Жеводанский зверь. Свиный хищник, получающий удовольствие не столько от охоты на крестьянок, которым он отрывал и прокусывал лица, сколько от собственной дерзости.

Коротко и небрежно остриженные волосы Жеводы были грязны и напоминали пучок лежалой сентябрьской соломы, уже лишившейся блеска, обретшей землисто-лунный оттенок — они явно расчесывались пятерней, а не какими-то более сложными приспособлениями. Широко расставленные голубые глаза под редкими выгоревшими бровями глядели насмешливо и прямо. Иногда они делались рассеянными, иногда темнели, но веселая и злая искра в них не гасла ни на мгновение. Изломанный бугристый нос кто-то очень упорный пытался вмять ей в лицо, но так и не смог довести работу до конца, лишь расплющил его да свернул немного на бок. Губы ей, верно, разбивали такое бесчисленное количество раз, что они сделались несимметричными, бесформенными, но складывались в хорошо знакомую Барбароссе широкую ухмылку, сквозь которую проглядывали крупные как семечки зубы.

— Привет, Жевода. Спасибо, недурно.

Жевода кивнула, будто это и ожидала услышать.

— Да и я тоже. Маменька не хворает?

— Нет. Не хворает.

— Ну, и то добро, — ее чертов фризский выговор, от которого она так и не смогла избавиться за все время жизни в Броккенбурге, превратил «добро» в «добгро», — А что у

тебя с руками?

— Поранила немного пальцы, когда играла на арфе.

— Херово.

— Ага.

— Играешь на арфе? Наверно, еще и поешь? Твои сестры, верно, счастливы.

— Не жалуется.

— Не болеешь? Вид бледный.

— Не болею. А ты?

— Нет. Но тетушка на той неделе слегла с лихорадкой.

— Пусть пьет чай с солодкой. Моей тетушке отлично помогло.

— Конечно. Я передам.

— И надевает теплые шерстяные чулки.

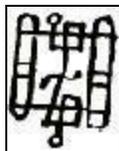
— Как скажешь.

Юные суки, лишь недавно взявшие в руки ножи, начинают драку с перебранки, бомбардируя друг друга оскорблениями и руганью. Нарочно заводят себя, распаляя душу, подкармливая чадящее пламя углем. Тоже старые добрые традиции Брокка. Но опытные волчицы, разменявшие третий год жизни в Броккенбурге, выше подобных фокусов. Они не стремятся в драку, но, чувствуя ее приближение, насмешливо глядят в глаза друг другу, выписывая неспешные круги и разминаясь нарочито небрежным диалогом. Это тоже в некотором роде часть ритуала — демонстрация выдержки и собственного достоинства.

— Как озимые? Входят, нет?

— Отлично входят, — Барбаросса и сама улыбнулась в ответ, будто это было состязание усмешек, — И взойдут еще лучше, когда Большой Круг приговорит вас, пиздорванных сук, к сдиранию шкуры заживо.

Жевода подмигнула ей и оторвалась от стены. Ничуть не разозленная, но довольная тем, что ритуал удалось соблюсти и скоро, верно, можно будет начать самое интересное, ради чего все затевалось. Поверх рубахи на ней был длинный колет, сшитый из узких полос кожи, не скрывающий ее тяжелой стати и широких плеч, добротный, но чудовищно потертый, разъеденный потом до того, что разил пивной кислятиной. У нее не было выправки молотобойца, но того, как она двигалась — нарочито неспешно, с тяжеловесной ленцой большого животного — было достаточно дремлющему в душе Барби инстинкту, чтобы пометить ее ярлыком «Чертовски опасная сука». Тяжелая голова, сильные ноги, покрестьянски цепкие и ловкие руки. Кулаки не очень велики, но пальцы напоминают желтоватые орлиные крючья, хватка у них должна быть страшная. По сравнению с ними мои собственные должны быть похожи на раздавленных пауков, мрачно подумала Барбаросса.



Свиту Жеводы не требовалось представлять — Барбаросса, едва лишь взглянув, мгновенно узнала каждую.

Резекция — угрюмая тощая девка с бледным лицом и холодными глазами щуки. Такая жилистая, что похожа на солдатский ремень, стертый до белого цвета, но все еще тяжелый, хлесткий и прочный. Сидит на корточках, небрежно уронив руки на колени, длинные жесткие пальцы рассеянно бегают по рукояти кацбальгера, ожидая момента, когда эту игрушку можно будет вытащить из ножен. Эту — в первую очередь, подумала Барбаросса.

Опаснее прочих, хоть и не такая опасная, как Жевода и Фалько.

Тля — тощая смуглявка, ухмыляющаяся полной пастью железных зубов. В подражание древним германцам она носит прическу из множества счесанных тугих локонов, отчего ее голова напоминает клубок мертвых змей, а еще — невообразимое множество серег в ушах, бровях и носу. Кажется, эта сука вознамерилась воткнуть в себя столько железа, сколько может выдержать плоть, и уже почти подошла к пределу. Ловкая, гибкая, быстрая — в драке такие скользят точно осы, впустую не колотят, но если обнаружили уязвимое место, впиваются насмерть. К сукам этой породы нельзя поворачиваться спиной.

Катаракта — светловолосая сука, мило улыбающаяся ей из угла. По виду и не сказать, чтоб завзятая спорщица и безжалостное отродье — выглядит как застенчивая пай-девочка с парой тугих косичек, не хватает только бантиков да шелкового платица с оборками. Левый глаз у нее смотрит кокетливо и лукаво, часто хлопая густыми ресницами. Ни дать, ни взять, юная профурсетка, стесняющаяся принять у хорошо одетого господина букет фиалок. Правый скрыт глухой черной повязкой, пополам разделяющей миловидное лицо, и эта повязка порядком портит образ. Почему-то кажется, что глаз под ней есть. Только он не смущенно потупленный, а темный и внимательный, пристально глядящий на тебя сквозь тряпье. Опасна. Очень опасна, хоть сразу не разберешь, в чем — ее опасность не такого свойства, которую полагается скрывать в ножнах.

Шестая, конечно, Эритема — кто еще? Сгорбившаяся, скрюченная, сидящая наособицу от прочих, смотрящая себе под ноги. Эта выглядит как старый ландскнехт, опаленный порохом и прожаренный пушечным жаром до такой степени, что мясо хрустит на костях. Лицо кажется потемневшим, заостренным, натянутым на острые кости точно старый холст на несоразмерную, слишком большую для него раму, на руки и смотреть страшно — сплошные рубцы и шрамы, точно собаки терзали. Даже сидит она в неестественной позе, вывернув ноги так, как не стал бы выворачивать обычный человек. Время от времени на ее сухом лице дергаются мимические мышцы, отчего на холсте возникают гримасы, которыми она, кажется, не управляет, гримасы совершенно чудовищные, неуместные или нелепые — от неприкрытого изумления до смертельного ужаса. Выбритая налысо голова подергивается в не проходящем нервном тике, одно ухо разворочено так, что больше похоже на пришитые к черепу ошметки, на макушке целая россыпь вздувшихся фурункулов правильной формы, только это не фурункулы — это мушкетные пули, которые самые отъявленные модницы Броккенбурга вшивают себе под кожу.

Эта сука выглядела так, будто испытала на себе все существующие в мире удовольствия — и чудом осталась жива. Не человек, а скорчившаяся оболочка, пустой костюм. Который адский владыка единожды надел, отправляясь в субботу вечером на гулянку, а после сорвал и небрежно швырнул в угол.

Ни одна из них не держала в руках оружия. Напротив, они расположились вокруг нее в нарочито небрежных позах, точно прогуливали в этом закутке занятия по алхимии или демонологии. Но надо было быть совсем безмозглой шалашовкой, чтобы попасться на этот спектакль.

Барбаросса мгновенно поняла, что это означает.

Они наслаждались. Точно стая голодных кисок в бархатных шубках, они лениво щурились в ее сторону, но она отчетливо видела скрываемый в их глазах плотоядный блеск. Они просто оттягивали тот миг, когда можно будет впиться коготками в ее шкуру и разорвать ее нахер в клочки, усеяв всю комнату лохмотьями того, что некогда звалось

сестрицей Барби.

Это была игра. Часть их сучьей игры. И Барбаросса не думала, что игра эта затянется надолго.

— Всего шестеро? — она усмехнулась, обведя их взглядом, — Я разочарована, Фалько. Я думала, ты выведешь на охоту весь свой шалавий выводок.

Фальконетта не удостоила ее ответом, зато отозвалась Жевода:

— Не беспокойся, Барби, они тоже здесь. Еще семеро дежурят вокруг «Хексенкесселя» и возле ворот. На тот случай, если бы ты вдруг решила спешно ретироваться. У каждой из них пистолет под плащом и каждая имеет приказ пальнуть тебе в спину, если ты навостришься покинуть танцы раньше времени.

Барбаросса презрительно усмехнулась.

— Никчемные шалавы. Вы в самом деле надеетесь, что ваши хлопушки вам помогут, когда за вас возьмется Каррион?

Они напряглись, каждая из них. Катаракта, теребившая косички, хихикнула, но немного нервозно. Тля зло щелкнула железными зубами — точно капкан сработал. Эритема вздрогнула, голова тяжело качнулась на плечах, точно шар кистеня. Одна только Резекция осталась безучастной, ее пальцы продолжали свой бесконечный танец в сложном медленном ритме на рукояти кацбальгера.

Они все поняли, эти суки, возомнившие себя большими девчонками.

Каррион — это не просто угроза, которую можно швырнуть на стол в кабацкой драке, грозя обидчицам. Каррион — это чертовски, блядь, серьезно. Никто из них не видел, чтобы Каррион — Черное Солнце Каррион — доставала из ножен свою рапиру. Но Броккенбург полнится рассказами о таких случаях — и отвратительными подробностями того, что происходило после этого.

Каррион нельзя победить в бою, и неважно, честно ты бьешься или прячешь в рукаве выводок голодных злых духов. Каррион не идет на переговоры, ей плевать, что ты собираешься ей предложить. Каррион приходит, убивает и уходит. Никто не в силах остановить ее, даже смерть. Если ее обидчица сдохнет от ужаса или слабовольно вскрыется ножом в ожидании неминуемого, Каррион не оставит ее в покое. Она зайдет в адскую дверь, немного прихрамывая, опираясь на свою извечную трость, найдет в адских безднах нужную душу и вырежет из нее четки себе на память.

Жевода ухмыльнулась. Она прошлась по комнате, время от времени сплевывая себе под ноги, разметывая тяжелыми башмаками груды золы.

— Я думала, ты взрослая девочка, Барби. А ты прячешься за юбки Каррион при первой опасности. Что дальше? Вспомнишь про Веру Вариолу?

У нее появились манеры, отстраненно подумала Барбаросса. Внутри это все еще злобная гиена из Шабаша, но она уже отрастила себе новую шкурку. Стала взрослее, выдержаннее. Лениво щурится, играет на публику, но я вижу, что у нее кишки сводит от злости. Она ненавидит меня — ненавидит еще с той поры, когда мы обе были сопливыми пизденками, учащимися стоять за себя. Но я вытянула счастливый билет — Котейшество — и взмыла вверх, вырвалась из той лужи говна, что именуется Шабашем. Обзавелась сестрами, койкой и местом, которое можно считать домом. Она так и осталась в луже, уверенная, что терпением и преданностью сможет купить себе такую же участь. Вот только жизнь макнула ее в лицо в самую глубокую ее часть. Жизнь часто несправедлива к юным девочкам.

Теперь Жевода ждет возможности отыграться. Она будет первой, кто ударит. Просто

хочет выдержать игру, насладится своим минутным триумфом, в полной мере ощутить вкус крови.

Тля вздернула голову, отчего мертвые змеи рассыпались у нее по плечам, и рассмеялась.

— Вера? Нахер она не сдалась Вере! Черт, как будто кто-то не знает! Ее взяли в ковен только потому, что она шла придатком к Котейшеству. Сдохнет она — Вера Вариола только рада будет. То же самое, что очистить сапог от куска дерьма.

Катаракта захихикала, крутя двумя пальцами косу, ее единственный глаз застенчиво захлопал ресницами.

— Вера Вариола побрезгует даже ссать на твоей могиле, Барби. Уж извини, но ты просто цепная сука, которую она завела себе от скуки.

Эритема шевельнулась в своем углу. И пусть она сделала это почти незаметно, все отчего-то посмотрели в ее сторону. Ослабившись — кожа на лице натянулась так, что грозила лопнуть — она пробормотала:

— Может, она и цепная сука, но она «батальерка». Ее ковен будет мстить.

Жевода пренебрежительно мотнула головой.

— У ее ковена в самое ближайшее время появится много других хлопот. Уже появилось. Так, Фалько?

Фальконетта кивнула. Механически, как игрушечный журавль, макающий клюв в плоску. Но этот кивок, кажется, многое для них значил.

— Да. Уже появилось.

Она была старшей над этой сворой. И хоть почти все время молчала, Барбаросса отчетливо ощущала невидимые поводки, тянущиеся от нее к прочим сукам. «Сестры Агонии» не были сбившей бандой неудачниц и парий, они были орудием — орудием, которое какая-то терпеливая и упорная воля выковала, как выковывают оружие себе по руке.

Она подбирала их, вдруг поняла Барбаросса. Каждую в отдельности и всех вместе. Ей нужны были не просто покорные исполнительницы, готовы на все, лишь бы заслужить право именоваться чьей-то сестрой. Ей нужны были униженные, затравленные, опустившиеся парии, отвергнутые всеми и готовые рискнуть всем, что у них осталось.

Барбаросса ощутила, что набрала в грудь вполовину меньше воздуха, чем намеревалась. Словно ее затянули в тугий корсет, но не из тяжелого бархата, а из листовой стали.

— Что это, нахер, значит? Что значит «уже появилось»?

Жевода и Фальконетта переглянулись, что-то передав друг другу взглядом. Потом Фальконетта вновь кивнула, теперь едва заметно.

— Только то, что Вере Вариоле в скором времени придется объявлять новый набор, — Жевода ухмыльнулась, обнажая свои лошадиные зубы. Крепкие, белые, словно созданные для того, чтобы щипать сено, они наверняка могли не менее эффективно перемалывать кости, — Ах да, ты же не знаешь... Слишком много хлопот в последнее время, да, Барби?

Барбаросса впиалась в нее взглядом, представив, что ее взгляд — это ледяное лезвие рапиры, беззвучно рассекающее плоть.

— Что это значит? — медленно и отдельно спросила она, — О чем это вы, никчемные шлюхи, болтаете?

Катаракта вновь хихикнула.

— Она не знает, да? Она ни хера не знает?

— О чем? О чем не знаю?

— Который час?

Катаракта поспешно вытащила карманные часы и щелкнула крышкой. Розового золота, в виде сердечка, с усердным юным демоном внутри.

— Восемь двенадцать.

— Значит, все уже закончено. Бедняжка Барби, — Жевода склонила голову, опустив глаза, но ее скуластому фрисландскому лицу траур шел не больше, чем накрашенные губы сторожевому голему, — Позволь выразить тебе соболезнования от лица «Сестер Агонии». В конце концов, твой ковен понес сегодня большую утрату.



Барбаросса подобралась, будто для драки. Хотя и знала — никакой драки не будет. Эти шестеро просто растерзают ее, как резвящаяся стая гиен — не успевшую вовремя убраться мышь.

— Какую, нахер, утрату?

— Как? Ты не знаешь? — Жевода совершенно бесталанно изобразила изумление, округлив глаза, — Сегодня за один день он одним махом сделался меньше сразу на треть. Лишился четырех своих отважных дочерей, да будут адские владыки милостивы к их гнойным душонкам.

Иногда страшный удар совсем не ощущается страшным ударом. Лишь мимолетным безболезненным толчком, который тело вскользь регистрирует, не принимая всерьез. И лишь мгновением позже, когда перед глазами возникают, стремительно надуваясь, багровые пузыри, в которых тонет весь мир, ты понимаешь, что это был удар — тяжелый, опасный, возможно, смертельный.

Котейшество.

Мир зловеще колыхнулся, точно тяжелая банка на краю стола.

Если они что-то сделали с Котейшеством, она перережет себе горло, спустится в ад, найдет там Сатану и потребует превратить ее в самое страшное, безумное и беспощадное чудовище, которое только видел свет. Она вернется и...

Жевода хмыкнула, прищурившись.

— Так ты умеешь бледнеть? Охерительно. Что такое, Барби? Почему ты так на меня смотришь? Не ожидала? Черт, понимаю тебя! Четыре сестры одним махом! Когда еще Веру Вариолу так щелкали по носу, а? Ты, наверно, хочешь спросить, не наша ли это работа? Нет, не наша. Но ты даже представить не можешь, сколько в Броккенбурге девочек, которых «батальерки» и их хозяйка утомили сверх меры. Посевы, знаешь ли, иной раз приходится прореживать. Это отлично знают в наших краях, но забывают в Броккенбурге.

Котейшество.

Барбаросса ощутила, что и сама сейчас превратится в пепел. Беззвучно ссыплется вниз, оставив лишь башмаки да бесформенную грудку вещей. Потому что если в мире нет Котейшества, значит, мир этот сделался никчемным, ненастоящим и пустым.

— Кто? — хрипло выдохнула она, ни на кого не глядя, — До кого вы дотянулись, драные вульвы?

— Фалько, я могу ей сказать?

— Да, Жевода. Ты можешь ей сказать.

Жевода ухмыльнулась всеми зубами. Да, черт возьми, это было ей по нраву. Новый способ причинять боль, которого прежде не было в ее распоряжении. Которым она только

привыкает пользоваться, как пользовалась прочими штучками в Шабаше — блестящими, острыми, опасными штучками...

— Во-первых, Холера. Черт возьми, вот это сюрприз, а? Половина Броккенбурга билась об заклад на счет того, в чьей постели она издохнет и в какой компании, но она и тут всех перехитрила. Ну чертовка! Ты еще не знаешь, но ее растерзали «волчицы» после занятий. Досада! Холера была первостатейной потаскухой, от ее фокусов устали даже в Аду, но знаешь... — Жевода потерла лоб над рассеченной бровью, — Мне даже жаль немного крошку Холли. Пусть она была потаскухой, но она умела получать удовольствие от жизни. Жила на полную, ты понимаешь меня? Бедная крошка Холли. Бордели в Броккенбурге будут держать траур дольше, чем весь ваш поганый ковен...

Холера. Я видела ее днем на лекции у Бурдюка, вспомнила Барбаросса. Она хихикала, сидя где-то позади, с кем-то шепталась, о чем-то сплетничала и, конечно, куда больше внимания уделяла своим ногтям, чем премудростям спагирии, о которых распинаялся профессор Бурдюк. Ноябрьское солнце заглядывало спелой жаркой рожой в лекционную залу, в небе беспокойно клетотали греющиеся на теплом ветру гарпии... Холера вырядилась в свой любимый костюм из лосиной кожи, обтягивающий ее как перчатка. Это значит, собиралась после занятий предпринять основательный вояж по трактирам и борделям, предвкушая славную ночь. А сейчас она лежит, растерзанная, где-то в канаве и ведьмы из «Вольфсангеля», рыча, срывают с нее шмотки, ссорясь из-за грошовых цепочек и колец...

— Гаргулья, — Жевода загнула второй палец, — Не знаю, на какой цепи вы держали эту суку, но лучше бы не отпускали ее гулять в подворотни Унтерштадта, особенно вечером. Умные девочки устроили ей засаду и сейчас, верно, уже обдирают с нее шкуру.

Барбаросса, не сдержавшись, зло рассмеялась.

— Засада на Гаргулью? Если эти твои девочки в самом деле так умны, надеюсь, у них наготове есть оседланная лошадь. Тогда хотя бы одна из них сможет сбежать.

Жевода лишь поморщилась.

— Плевать. Это не наша забота. Ну а третья — ваша обворожительная красавица Ламия. Час назад ее должны были застрелить в Верхнем Миттельштадте. Зачарованная пуля в лоб — бум! — она коснулась себя пальцем между бровями, — Надеюсь, Вера Вариола успела заказать ее портрет, потому что ее хорошенькое личико после этого сможет привлечь лишь фунгов, вылизывающих брусчатку по ночам!

Барбароссе стоило большого труда сдержать рвущийся наружу нервный смех. Застрелить Ламию? Эти суки, кажется, вообще не соображают, с кем связались, если говорят об этом так уверенно, как о деле уже решенном. С тем же успехом они могли бы попытаться всадить пулю в Луну над крышами Броккенбурга. Ламия может выглядеть как изысканная фарфоровая кукла, ледяная королева с пустым и манящим взглядом. Но как и многие прекрасные вещи в этом мире, она смертельно опасна. Никто толком не знает, какие адские силы защищают ее — черт возьми, никто даже толком не знает, разумна ли она в полном смысле этого слова! — но стрелять в Ламию из мушкета? Какая никчемная пизда могла это придумать?..

Барбаросса ощутила жжение в груди. Это не Цинтанаккар, тому осталось еще восемь минут, это нервный смех разрывает изнутри. Черт, ну и глупо же она будет выглядеть, если в самом деле рассмеется...

Холера, Гаргулья, Ламия, Барбаросса.

Четыре.

Они не охотились за Котейшеством. Не занесли ее в список целей. И это было чертовски хорошо — так хорошо, что на какой-то миг Барбаросса даже перестала ощущать колючий осколок Цинтанаккара внутри.

Спокойно, Барби, приказала она себе, не мешай этим сукам распускать перья. Посмотри, как блестят у них глаза, как сладко цветут улыбки на серых изможденных лицах. Они возбуждены — как те суки, что самозабвенно пляшут этажом ниже. Но не музыкой — собственными мечтами. Потасканные никчемные скотоебки, они впервые вступили в большую игру и ощущают себя так, как девицы, явившиеся на свой первый бал. Раскрасневшиеся, впервые в жизни выпившие шампанского, они сладко жмурятся, ожидая, когда их пригласят на танец. Они ощущают себя так, будто жизнь впервые обратила на них внимание, будто все вокруг смотрят на них, а дальше все будет только слаще и лучше...

Эти суки даже не соображают, в какую игру ввязались. Решили, что пара-тройка «диких» ковенов, объединившись, могут пошатнуть «Сучью Баталию» внезапным ударом, растерзав основу ее боевой партии. Гаргулья, Ламия, сама сестрица Барби... Холера, вероятно, попала в этот список случайно. Учитывая ее привычки и образ жизни, подкараулить ее было проще всего.

А вот что по-настоящему паскудно, так это то, что в деле оказались замешаны «волчицы» из «Вольфсангеля». «Волчицы» не великие интриганки, но обычно у них хватает мозгов не ввязываться в вендетту с другими старшими ковенами. По крайней мере, делать это чаще, чем они могут себе позволить. А здесь...

Плевать, подумала Барбаросса. Едва она со всем этим покончит, как доложит все Каррион — и та уже будет размышлять, какое место в этой истории играли «волчицы», были они главными застрельщиками или всего лишь примкнули к заговору, используя удачную возможность пощипать «Сучью Баталию» когда представилась возможность.

А ведь план недурной, вынуждена была признать она с неохотой.

Его не назвать изящным или тонким, но он вполне рабочий — как неказистый самодельный клевец, переточенный из обычного заступа, зачастую не менее смертоносный в бою, чем специально выкованный рейтарский шестопер.

Фальконетта не могла поквитаться с сестрицей Барби так, как она привыкла это делать — сестрица Барби находилась под защитой своего ковена. Тогда Фальконетта создала собственный ковен, набив его отбросами всех мастей, которые только смогла сыскать в Броккенбурге — и начала персональный Хундиненягдт — Сучью Охоту. Она знала, что в этом случае гнев Веры Вариолы и прочих «батальерок» падет на «Сестер Агонии». Но к тому моменту ей будет не до холодного взвешенного расчета и вендетты по всем правилам, как ее обычно объявляют. Лишившись одним махом четырех своих дочерей, почти всей боевой партии, «Сучья Баталия» не сможет перейти к наступлению, напротив, вынуждена будет на долгое время замкнуться в глухой обороне. Конечно, у нее есть Каррион, которая одна стоит ударной партии, но это сродни попытке отбиться одной рапирой от целой дюжины, грозящих тебе со всех сторон. При всех своих достоинствах Каррион не сможет быть везде и всюду. А значит...

Малый Замок окажется на осадном положении. Шустра, Острица и Кандида, забыв про метлы и грабли, вооружатся мушкетами, а Вера Вариола судорожно примется подыскивать пополнение для своих поредевших сил. На дворе ноябрь — с последней Вальпургиевой Ночи минуло полгода. На языке Броккенбурга это называется — мертвый сезон. Все перспективные сучки, выбравшиеся из Шабаша, которые хоть что-то из себя представляли,

давным-давно расхватааны прочими ковенами. Мало того, расхватааны даже те, которые не представляли ничего, но которыми худо-бедно можно залатать дыры в рядах. Остались лишь отбросы — парии вроде Жеводы, слишком опасные и непредсказуемые, чтобы влиться в чужую семью. Слишком гордые, чтобы сделаться кому-то прислугой. Слишком беспокойные, чтобы принести пользу.

Вера Вариола окажется в чертовски большой куче дерьма. Возможно, ей даже придется идти на поклон к матриархам Шабаша, чтобы выбить себе трех-четырёх ведьм на замену выбывшим. Серьезное унижение для особы, которая носит фамилию фон Друденхаус. К тому моменту, когда «Сучья Баталия» восстановит свой потенциал, пройдет по меньшей мере полгода. Полгода, которых вполне хватит «Сестрам Агонии», чтобы ощутимо улучшить свои позиции, поднявшись поближе к теплой вершине. Броккенбург любит бесстрашных и дерзких сук, он поколениями пестует и выводит именно эту породу. Сестрица Барби — далеко не первая величина в этом городе, но ее имя у многих на слуху. Разорвав ее, «Сестры Агонии» сделают серьезную заявку на участие в высшей лиге, по крайней мере, громко заявят о себе. К тому моменту, когда «Сучья Баталия», оправившись от ран, вернется на арену, «сестрицы» могут набрать столько сил, что Вера Вариола вынуждена будет признать — вендетта с ними приведет к большой крови. И добровольно откажется от своего права на месть.

Барбаросса ощутила легкое жжение на лице — так всегда бывало, когда она улыбалась.

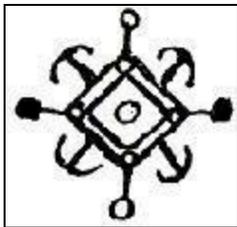
Изящная задумка. Не такая филигранная, как некоторые планы «Ордена Анжель де ля Барт» — те оперируют куда как более тонкими материями — но чертовски небесталанная...

— Ты улыбаешься, Барби? — Жевода с интересом взглянула на нее, остановившись в шаге от Барбароссы, — Это хорошо.

Ее широко расставленные глаза светились, точно она сама хлебнула перед танцами добрый стакан сомы. Но это было не опьянение. Это была злая радость.

— Да? Почему же?

— Проще будет сплевывать кровь.



Она не успела заметить сигнала, но сигнал конечно же был, потому что все набросились на нее одновременно. Но первой была Жевода. Пусть она не была полноправным вожаком этой драной стаи, но, верно, ощущала себя в ней первой сукой. И, черт возьми, возможно, по праву...

Первый удар Барбаросса смягчила, приняв на плечо — Жевода невольно выдала его движением локтя, видно, очень уж спешила. Но уже второй был нанесен как надо — за правым ухом полыхнуло так, что земля заскрежетала под ногами, а мир вокруг подернулся недобрым зеленоватым светом. Барбаросса устояла на ногах и даже ответила пинком в живот, но запоздалым и слабым. А мигом позже уже вынуждена была прикрывать голову руками, чтобы не превратиться в воющий от боли кусок мяса.

Во имя всех драных шлюх! В Шабаше она не раз участвовала в такого рода развлечениях. Это было славно. Его называли «катцентанзе» — кошачьи танцы. Для таких танцев не требуется музыка, не требуются изысканные наряды и ритуалы, всего лишь три-

четыре озлобленных суки, которые не прочь немного развлечься за чужой счет — и еще одна сука, которой суждено стать главной звездой вечера.

Мы делали это в дортуарии, вспомнила Барбаросса, пятясь под градом ударов, тщетно пытаясь прикрыть лицо предплечьями. Не реже трех-четырёх раз в неделю. Это был наш маленький праздник — праздник озлобленных сук, которые могут выплеснуть свою ярость лишь сбившись в стаю. И мы выплескивали. Заманивали суку, которая нам не нравилась, под каким-то предлогом в общий дортуарий, улучив момент, когда там нет старших сестер. И начиналось веселье. Обычно кто-то набрасывал удавку ей на шею, а остальные принимались охаживать до поры спрятанными дубинками или крушить ребра сапогами. Черт, я и забыла, как это весело. И как это больно...

В большой драке никто не чертит «магического круга Тибо», как в дестрезе, никто не передвигается с откляченным задом, делая изящные танцевальные па. В такие моменты все науки, сложные и простые, отступают прочь, выпуская то, что содержится в каждой душе, обыкновенно стыдливо укрытое где-то в подполе или далеком шкафу — звериную, воющую, слепую ярость. Именно в такие минуты человек становится ближе всего к Аду, а не в минуты штудий древних фолиантов или участия в изощренных ритуалах.

О, как давно ей не приходилось участвовать в таких забавах!..

Тля скользнула у нее под локтем — отчаянно прыткая сука — и впиалась зубами в предплечье. Хватка у нее была как у мелкого демона, Барбаросса взвыла, но сумела пнуть ее ногой в бедро и отшвырнуть от себя. Чтобы мгновением позже получить от Жеводы короткий прямой в грудь и самой отшатнуться прочь, поскуливая от боли.

Кошачьи танцы. Так девочки развлекаются перед сном в своих спальнях, пытаясь выяснить, которая из них больше достойна уважения и любви. Возможно, где-то для этого используют вышивания или прочие забавы, но у Броккенбурга издавна свой взгляд на то, как должно воспитывать ведьм...

Катаракта бросилась ей в ноги, надеясь повалить на пол, где вся стая смогла бы ее подмять, разорвав в клочья. Барбаросса почти наугад саданула башмаком и удивительно удачно попала — тяжелый каблук врезался Катаракте в лицо, разорвав ей щеку, заставив покатиться по полу, отчаянно воя.

Барбаросса ощутила короткий прилив сил, заставивший ее издать короткий торжествующий рык.

Вот так, сука!

Эта игра для больших девочек, а не для слабосильных пиздолизок, которые вечером покорно плетутся в чужие койки, а утром, всхлипывая, тащатся на занятия, стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Сейчас сестрица Барби покажет тебе, как танцевали этот танец у них!..

Резекция набросилась на нее справа. Гибкая, хлесткая, как разбойничий кистень, она была чертовски опасна даже без своего хваленного кацбальгера в руках. Молотила руками с такой силой, что Барбароссе показалось, будто она оказалась под градом булыжников. Ах ты ж сука, сколько страсти в этой никчемной дылде... Жаль, она не может расходовать эту страсть в постели!.. Барбаросса резко крутанулась вокруг оси, но не для того, чтобы разорвать расстояние, напротив, чтобы оказаться ближе. Резекция на миг замешкалась — ее кулаки были сильны, но не сумели быстро переключиться на новую для них дистанцию — а секундой спустя утробно взвыла, получив коленом в промежность и побледнев еще больше обычного.

У нас это называлось «плие[1]», подумала Барбаросса, отталкивая ее ногой, на следующие три дня можешь забыть о любовных приключениях или использовать для них те отверстия, которые прежде не рассматривала...

Это была не драка. Одна против пятерых, в замкнутой комнате — не тот расклад, который можно назвать дракой. Барбаросса медленно отступала, прикрывая голову руками, крутясь во все стороны, точно юла, отчаянно пинаясь, работая локтями и пытаясь уберечься от самых сильных ударов. Иногда ей удавалось контратаковать — и застигнутые врасплох суки откатывались, извергая злые вопли или тяжело дыша. Пару раз ей даже удалось достать Жеводу — в живот и в грудь — но та оказалась так крепка, что не отступила, лишь коротко рыкнула.

Дрянь. Пусть они еще не были сыгранной стаей, умеющей работать сообща, но, без сомнения, успели немного сработаться и атаковали слаженно, как полагается хорошо выдрессированной боевой партии. Стоило ей насесть на какую-нибудь суку, как прочие мгновенно выдвигались вперед, пытаясь зайти ей за спину и ловко прикрывая друг друга. Сыгрались, бляди... Чертовски неплохо сыгрались...

Кошачьи танцы никогда не длятся долго. Барбаросса почувствовала, что выдыхается. Легкие уже казались набитыми ядовитой ватой, мышцы горели огнем, в голове стучал паровой молот, с каждым ударом вгоняя в мозг свинцовые сваи. Кто-то успел крепко заехать ей по уху — мир, подрагивая, плыл, мешая ей удерживать равновесие, и плыл все сильнее и круче, норовя завалиться.

Барбаросса билась отчаянно, ощущая в груди пожирающий мясо адский огонь.

Живее, суки! Тяните свои пизденки сюда — чтобы сестра Барбаросса показала вам, как это делается у «батальерок»! Сейчас мы с вами устроим настоящие кошачьи танцульки!

Ах, дьявол!

Сюда! Все вместе! Ну!

Есть шанс, твердил инстинкт самосохранения, пока другой, не менее древний, оскалившийся бешеным псом, заставлял ее раз за разом бросаться в бессмысленные контратаки. Крошечный, но есть. Если ты пробьешься к двери, если собьешь с ног Жеводу и Резекцию, может быть...

Она успела еще раз садануть Резекцию в живот, успела крутануться, отшвыривая визжащую Катаракту, норовящую впиться когтями ей в лицо, успела укусить за пальцы Тлю, ощутив во рту восхитительный солоновато-сладкий привкус чужой крови, успела сделать очередной шаг, прикрываясь плечом на отходе, как учила Каррион...

А потом сбоку вдруг возникла Эритема. Сутулая, со свисающими на лицо волосами, скособоленная, хромающая, она походила на вытащенную из реки древнюю корягу, облепленную скользким черным илом. Она и была тяжела и тверда, как коряга. Немошные на вид тощие руки оказались наделены пугающей силой и, кроме того, совершенно не чувствительны к боли. Не обращая внимания на удары, они впились в дублет Барбароссы и потянули ее вниз, нарушив равновесие, заставив сбиться с шага и потерять дыхание.

Это плохо, Барби, сестрица, это чертовски пло...

Додумать она не успела. Потому что Жевода, возникшая справа, занесла для удара руку. Очень медленно и неловко. Паршивый удар, который легко перехватить, подумала Барбаросса. Но перехватить не успела. Тело, обычно послушное, как хорошо знакомый инструмент, запоздало на половину секунды, неловко дернулось, осеклось...

Этот удар не свалил ее с ног, лишь заставил попятиться, мотая головой, точно

оглушенного быка на бойне. Возможно, если она успеет высвободиться из хватки Эритремы и встретить следующий удар как следует... Не успела. Второй удар, еще более страшный, чем первый, хлестнул ее прямо в челюсть — и тысячи демонов Броккенбурга вдруг запели каждый на свой голос, какой-то тошнотворно заунывный мотив, от которого ее тело, преданное ей до последней клеточки и последнего волоска, превратилось в набитый сырым мясом и салом свиной пузырь.

— Ауэарр-ра... — выдохнула она, давясь горячей кровью из расшибленных в мясо губ, — А-аа-аэр-р-ррр...

Кто-то саданул ее башмаком под дых, так, что она едва не сложилась пополам, как перочинный нож. Кто-то всадил кулак под ребра — кажется, это была Гля...

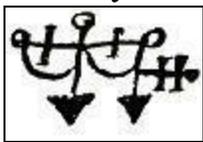
Забавно — она не слышала того грохота, с которым рухнула на пол — зато хорошо слышала восторженный вопль «дочерей», исторгнутый пятью глотками сразу.

Они набросились на нее воющей и клацающей зубами стаей. Били неистово, страшно, вымещая на ней, лежащей, всю злость и всю боль. Единственное, что Барбаросса могла делать — кататься по полу, тщетно пытаясь прикрыть локтями лицо, а коленями — уязвимый живот. Но это не могло спасти ее от ударов, как ивовый пруттик, которым ты размахиваешь над головой, не может спасти от ливня.

Они молотили ее таким иступлением, будто она была причиной всех их бед. Будто это она, сестра Барби, пробралась в их жалкие дома, где бы те ни располагались, в Гримме, Торгау или Бад-Мускау, похитила их из детских колыбелек и притащила в Броккенбург, точно ведьма из сказок, похищающая невинных детишек. Превратила из смазливых девушек, собирающих цветы на лугу и плетущих косы, в озверевших, позабывших о чести и совести, тварей, готовых рвать голыми руками обидчиц, забитых, яростных, трусливых и гордых одновременно.

Воя от ярости, дрожа от возбуждения, отталкивая друг друга и спотыкаясь — голодная шакаля сталья, спешащая выместить свою злость, пока противник еще дергается, а кровь не успела остыть...

Может, лучше поддаться им, подумала Барбаросса, ощущая, как тело перестает реагировать на сыплющиеся на нее удары. Делается будто бы легчайшим как губка и в то же время тяжелым, как наковальня. Тонким, как листок папиросной бумаги, и шершавым, как старая рукавица. Может, лучше прекратить это унижительное существование, позволить себе скатиться в блаженную темноту, существовавшую еще прежде, чем зажглись огни Ада, и...



Кажется, не хватило всего немного.

— Хватит, — холодный голос Фальконетты прозвучал негромко, но Барбаросса расслышала его даже сквозь грохот в голове, — Довольно.

Они отползли от нее, недовольно ворча, точно гиены, не успевшие утолить свой голод, но не осмеливающиеся перечесть хозяйке. Кое-кто прихрамывал — Барбаросса отметила это с удовлетворением, хоть сама булькала кровью, точно прохудившийся бурдюк — кое-то славно украсился свежими отметинами. Даже Жевода заработала пару заметных ссадин на щеке. Жаль, не удалось впиться зубами ей в нос напоследок — без носа эта сука смотрелась бы куда лучше...

— Фалько... — зубы Жеводы щелкнули, едва не перекусив это слово пополам, — С

каких пор ты мешаешь своим девочкам развлечься? Мы как будто бы заслужили?

Фальконетта смотрела на нее холодно, держа руки за спиной. Она не присоединилась к своему выводку в «кошачьем танце», и неудивительно. Ее изломанное тело едва ли годилось для таких развлечений. Пожалуй, ей бы больше подошло вязание...

— Вспомни, о чем мы с тобой говорили, Жевода, — ровным тоном произнесла она, — Это должна быть казнь, не драка. Если вы увлечетесь и просто забудете ее до смерти, она не послужит нашему ковену так, как должна послужить.

Барбаросса попыталась приподняться на локтях, ощущая себя огромной тяжелой рыбиной, выброшенной приливом на песок. Пепел, смешиваясь с кровью, превращался в грязную жижу, немилосердно пачкающую и без того висящих лохмотьями дублет.

— Т-тупые суки... — выдавила она из себя, выталкивая слова вперемешку с кровавыми сгустками, — Это же... Это же «Хексенкессель». Если вы... убьете меня здесь, Б-большой круг вздернет вас как крольчих на ишачьем члене.

Жевода ухмыльнулась, с хрустом разминая славно поработавшие кулаки.

— Ты так поумнела в последнее время, Барби, душечка! Помню тебя на первом круге, ты была никчемной кровожадной тварью с мозгами гарпии. Но видно, общество Котейшества идет тебе на пользу... Наверно, ты уже хочешь стать профессором? Тогда понятно, зачем ты завела гомункула. Профессору нельзя без ассистента, верно?

Барбаросса нашла в себе силы перевернуться на бок. Тело саднило, будто превратилось в один большой кровоподтек, в ушах чудовищно звенело. Тем приятнее будет монсеньору Цинтанаккару, обессиленно подумала она. Не придется жевать, напрягать зубы...

— Гомункул... — процедила она, — Нахер вы его стащили?

— Только посмотрите-ка, — шипящая от боли Катаракта крутилась из стороны в сторону, пытаясь разглядеть в осколок зеркальца свою лопнувшую щеку, — Сестрица Барби обиделась на девочек потому что они взяли без спроса ее игрушку! Сестрица Барби сейчас заплачет!

— Извини, что нам пришлось позаимствовать твоего дружка, Барби, — Жевода ободряюще улыбнулась, — Он был такой хорошенький, мы не смогли устоять. Пухлый, маленький, настоящий милашка — как маленькая куколка! Мы хотели поиграть с ним, только и всего.

— Где он?

— Где? — Жевода пожала плечами, — Где-то здесь, наверно. Куда мы дели выблядка, когда наигрались, Эритема?

Человекоподобная коряга в углу комнаты шевельнулась.

— Я закопала его под мусором.

Жевода осклабилась.

— Так откопай! Отдай его милочке Барби. Нам он ни к чему, мы уже наигрались, верно, девочки?

— Наигрались, — хихикнула Катаракта, вынужденная стягивать пальцами лопнувшую щеку и копающаяся за пазухой, видно, в поисках нитки с иглой, — Дурацкая кукла. Зачем она тебе, Барби? Наряжать в платьица и пить с ней чай, воображая себя счастливой мамочкой?

Эритема отпихнула ногой груды обломков и достала знакомую Барбароссе банку. Целую, хоть и обильно покрытую пеплом. Чтобы его стряхнуть, Эритеме пришлось сильно потряхнуть банку — и Барбаросса ощутила, как ее собственное сердце тяжело ударилось о

ребра — в такт тому, как маленький скорченный комок внутри банки ударился о стену сосуда.

Она ожидала услышать по меньшей мере нечленораздельное ругательство. Лжец и прежде не отличался добрым нравом, кроме того, терпеть не мог, когда его сосуд подвергали таким фокусам. Существо маленькое и уязвимое, всякий раз, когда Барбароссе приходилось споткнуться на мостовой, он извергал из себя ругательства столь изощренные, словно провел жизнь не на уютной полке или на столике в гостиной, а на палубе каперского корабля. Но в этот раз он смолчал. Даже не шевельнулся. Сжавшийся в комок, он плавал в мутной жиже неподвижный точно заспиртованный комок плоти — заспиртованный препарат из богатой коллекции анатомического театра профессора Железной Девы.

— Мы ведь хотели подружиться с тобой, Барби, — Жевода, взглянув на гомункула, скривилась от отвращения, — А лучший способ подружиться — узнать о человеке как можно больше. Мы надеялись, твоя куколка расскажет нам о тебе. О тебе и о твоём ковене. Наверняка этот сморчок знает какие-то гадкие тайны Малого Замка, а? Из числа тех, что вы «батальерки», прячете среди грязного белья... Какая досада!

— Что с ним? — резко спросила Барбаросса.

Оторваться от пола было тяжело. Все кости в ее теле словно превратились в раскаленный проволочный каркас, на который было нанизано истекающее кровью мясо. Дьявол, так вот как себя ощущает Фальконетта каждое утро, сползая с кровати...

— Ах, я все время забываю, некоторые куколки созданы для того, чтобы ими любоваться, а не чтобы играть, — Жевода сокрушенно покачала головой, — Девочки часто забывают об этом в пылу игры, верно? Эри, отдай его сестрице Барби. Пусть побаякает перед смертью. Не станем же мы лишать ее такой малости?

Барбаросса боялась, что Эритема швырнет в нее банку, точно снаряд — валяющаяся на полу, точно истоптанная ветошь в кровавой пене, с переломанными пальцами, она бы никак не успела ее поймать. Но Эритема, медленно опустившись, покатила банку по полу. Спасибо и на том.

Банка была скользкой, покрытой коркой из пепла и крови. Захрипев от боли, Барбаросса попыталась оттереть ее, но та скользила в руках, стекло покрывалось грязными разводами.

Потерпи, Лжец. Эти суки, наверно, порядком успели тебе напугать, но ты ушлый малый, ты наверняка не остался в долгу. Сейчас мне нужна твоя помощь, слышишь ты, маринованная бородавка? У сестрицы Барби выдалась неудачная ситуация, ее вот-вот разорвут на части, так что если в твоей раздутой голове заваялся хороший совет, я обязательно его выслушаю.

— Милый был малыш, — Жевода обошла Барбароссу кругом, наблюдая, как та судорожно стирает грязь рукавом, — Может, не очень хорош собой, но смелый и упрямый как маленький демон. Представь себе, он ничего нам не рассказал. Ни про тебе, ни про твой ковен. А ведь мы просили. Мы очень сильно его просили.

Лжец не шевелился. Съежившись, он плавал в мутной жиже питательного раствора, точно комок водорослей, равнодушный ко всему происходящему. Он выглядел иначе, чем часом раньше, в момент их последней встречи. Потому что...

— Суки... — прошептала Барбаросса, — Какие же вы суки... Что же вы наделали...

Ей сразу показалось, что он сделался меньше, но она думала, это из-за здешнего света, из-за этих чертовых ламп, бьющих в лицо, да размазанной по стеклу грязи. Но нет. Лжец и в самом деле стал меньше. Вместо одной из ног, его жалких скрюченных ножек, похожих на

не сформировавшиеся плавники, осталась крохотная куля с торчащей косточкой, серой, кривой, тонкой как зубочистка. Из скособоченного тельца с несимметрично грудью торчали швейные иглы — Барбаросса насчитала три или четыре. Один глаз, пустой и мертвый, безразлично глядел в лицо Барбароссе, вместо другого был виден крохотный вздувшийся нарыв. Это ожог, вдруг поняла она. Должно быть, от папиросы. Они достали мальчика из банки и папиросой ткнули ему горячей папиросой или угольком в...

Катаракта вновь хихикнула.

— Мы думали сделать его посимпатичнее. Немножко похожим на меня Черт, слышала бы ты, как он ругался! В жизни не думала, что в таком крошечном куске дерьма может быть столько злости!

Барбаросса, сама не зная, зачем, открутила запястьями крышку, не замечая боли в искалеченных пальцах. Как будто скрюченное тельце гомункула можно было разложить на полу, точно утопшего котенка, чтобы пальцем помассировать его крохотную как орех грудь и вновь запустить остановившееся сердце.

Херня. Это так не работает. Это гомункул, Барби, комок плоти, подобие жизни в котором достигается искрой адских чар. Это даже не человек, хоть и умеет сходную анатомическую форму. Маленький, но тонко устроенный механизм сродни музыкальной шкатулке, механизм, который не починить твоим грубым пальцам, даже будь они целы.

Бедный маленький Лжец.

Ничтожное зерно жизни, исторгнутый чем-то чревом комок. Но не прикопанный в канаве, как это иногда случается с такими комками, не пущенный на амулеты и не сожранный крысами. Упрямый комок, державшийся за жизнь своими крохотными маленькими ручонками. И находивший возможность неустанно язвить ее самым болезненным образом...

— Попробуй поцеловать его, — посоветовала Тля, внимательно наблюдая за тем, как Барбаросса крутит в руках банку, — Он похож на лягушку, может этот фокус и сработает. А мы вас одним махом и обвенчаем, а?

Он ничего им не рассказал. Мог заслужить пощадку, если бы выложил все без утайки — про старика, про демона, про их с сестрицей Барби уговор. Но предпочел издохнуть, осыпая этих сук бранью. Мелкий жалкий ублюдок, который оказался смелее и крепче многих других ублюдков, которых она встречала, куда более сильных.

Она так и не успела поделиться с ним кровью, вспомнила Барбаросса. Боялась, что это создаст между ними связь, как предупреждала Котейшество, а она всегда боялась связываться с кем бы то ни было крепче, чем следует. Старалась жить как Панди, ветренная воровка, которую не привязать ни бечевкой, ни веревкой, ни даже просмоленным канатом, и которая мгновенно полоснет ножом если попытаешься привязать к ней хотя бы нитку... А потом она встретила Котейшество — и поняла, что эту веревку не будет резать ни за что на свете, пусть даже Ад всеми своими лапами тянет за нее, затягивая в свои страшные чертоги...

Не зная, зачем это делает, Барбаросса провела заскорузлыми руками по разбитому в кровь лицу. Перепачканные золой бинты впитывали кровь как губка, но ей удалось собрать в горсть немного алой влаги. Вышла одна большая капля, черная как карбункул. Барбаросса уронила ее в банку, рассеянно наблюдая, как та стремительно тает, смешиваясь с мутным питательным раствором, превращаясь в легкую взвесь. Лжец не встрепенулся, как она втайне ожидала, не втянул в себе бледно-розовый туман. Его лицо осталось пусто и спокойно,

единственный оставшийся глаз смотрел мимо нее.

Прощай, Лжец, подумала она. Ты был мелким хитрым ублюдком, но я надеюсь, что адские владыки отведут тебе в своих чертогах теплый уголок, где тебе не станут досаждают. По крайней мере, более удобное, чем чертов кофейный столик в блядской гостиной...



«Сестры Агонии» наблюдали за ней, посмеиваясь и толкая друг друга локтями. Не просто пялились, как скучающие сучки за университетским корпусом, наблюдая, как кого-то вколачивают лицом в землю — впитывали ее боль, точно изысканное вино. Смаковали каждый глоток. Вот уж кто точно оценил бы кровь сестрицы Барби на вкус...

— Довольно, — холодно и кратко произнесла Фальконетта. Единственная из всех равнодушная к происходящему, она походила на статую из пепла, какую-то причудливую театральную декорацию, которую спрятали в чулан до лучших времен, но позабыли, — Не станем тяготить сестру Барби своим обществом сверх положенного.

В руке у нее появился пистолет — тяжелый голландский бландербасс, массивный как мушкет, у которого отпилили приклад и добрую половину ствола. Невозможно было представить, как эта штука укрывалась под серым камзолом, обтягивающим тощую фигуру Фальконетты, состоящую из одних только острых, неправильно сросшихся, костей, но наверняка эта штука появилась не из воздуха.

Барбаросса ощутила секундное головокружение — словно все те удары, которыми «сестрички» осыпали ее голову, только сейчас дошли до цели, слившись в единственный сокрушительный хук. В ушах тонко и мягко запело, мир пред глазами помутнел, не то потеряв некоторые оттенки, не то приобретя новые.

Барбаросса ощутила, как обожгло душу. Не страхом смерти — этот страх она хорошо знала — чем-то холодным и влажным. Точно она накинула на обгоревшие плечи чей-то чужой дорожный плащ, тяжелый и мокрый.

Пошатываясь и давясь кровью, она поднялась на ноги. Эти шалавы никому не смогут похвастать, что застрелили сестру Барбароссу, стоящую на коленях или валяющуюся на полу, точно сверток грязного белья. Нет, суки. Вам придется выстрелить мне в лицо. И черт бы вас побрал, это лицо вы запомните на весь остаток своей жизни, потому что оно будет ждать вас в Аду, вы, дранные козлосебские гнойные дырки...

Кажется, она слышала скрип пальца Фальконетты на спусковом крючке.

Бандербасс смотрел ей в лицо, она отчетливо видела, как в его широком стволе колеблется, испуская едва заметный дымок, зыбкий клубок марева. Демон. Там, запертый в стволе, сидит терпеливый демон, послушный воле Фальконетты, который выскочит оттуда со скоростью молнии и разорвет ее на части. Или придумает кончину похуже, как для Атрезии или Диффенбахии...

Барбаросса ощутила, как ноют уцелевшие зубы.

Наверно, это похоже на падение в потухшую угольную яму, успела подумать она. Не будет даже грохота. Просто щелчок курка — и долгое, долгое падение.

Это не так уж страшно. В детстве она не раз падала в отцовские ямы, иногда случайно, иногда нарочно, бравирюя перед младшими братьями и сестрами. Надо лишь сгруппироваться и держать рот закрытым, чтобы не наглотаться сажи.

В этот раз все будет так же. Только в конце будет ждать не приятная прохлада и хрустящая под ногами зола, а раскаленные адские моря, полные кипящей меди и ртути...

— Стой, — Жевода вдруг подняла руку, нарушая это долгое, зудящее, страшное последнее мгновение перед выстрелом.

— Что? — безучастно спросила Фальконетта. Пистолет в ее руке должен был весить по меньшей мере пять пфундов[2], но она держала его в руке так же легко, как прежде держала невесомый веер. Ствол, глядящий в лицо Барбароссе, не отклонился даже на волос, — Что такое, Жевода?

— Твоя чертова мортира, Фалько. Она же зачарована?

Фальконетта медленно опустила голову, что должно было означать кивок.

— Да.

— Ну вот, — Жевода поморщилась, — Шпики из магистрата, обнаружив тело, быстро притащат демонолога. Твою пушку слишком хорошо знают в Броккенбурге, вот в чем дело. Он живо возьмет след.

— Мы же так и хотели? — невнятно осведомилась Катаракта. Выудив из рукава швейный набор, она проворно зашивала себе щеку, сплевывая кровью на пол и кривясь от боли, — Все суки в Броккенбурге должны знать, что это мы прикончили Барби!

— Они и будут знать, — с досадой бросила Жевода, — Как будто я случайно в трех трактирах вчера обмолвилась, что мы объявили крошке Барби Хундиненягдт! А уж «Камарилья Проклятых» точно растрезвонит об этом до самого Оберштадта.

— Они все поймут! — мертвые змеи на плечах Гли дернулись, когда та тряхнула головой, скаля зубы, — Все хорошенькие цыпочки Броккенбурга сообразят, что мы разделались с «батальеркой», причем с самой страшной из них. Что мы плевать хотели на Веру Вариолу и не боимся вендетты! Мало того, мы настолько отчаянные суки, что сделали это посреди «Хексенкесселя»!

Жевода нетерпеливо и зло кивнула.

— Они и поймут, будь уверена. А тем, кто не поймет, мы разьясим сами. Но втягивать в это дело магистратских шпигов не стоит. Эти-то прижгут нам пятки. Сами знаете, эти стервецы тащат на дыбу ведьму даже за то, что она неправильно высморкалась.

— Что тогда? — беспокойно спросила Катаракта, — Мы не убьем ее?

— Убьем, конечно. Но только не так, чтобы нас прихватил на этом деле магистрат. Каким-нибудь другим способом.

Резекция молча кивнула и поднялась на ноги, вытаскивая из ножен свой кацбальгер. Это была широкая полоса стали с S-образной гардой, по своему устройству не более изящная, чем мясницкий нож. Дьявол. Барбаросса представила свою кровь на этом лезвии и ощутила досаду. Смерть от пули — пристойная смерть для ведьмы, но быть изрубленной, точно кусок колбасы?..

Жевода досадливо поморщилась — видно, тоже успела представить эту картину и сочла ее не очень изящной.

— Сядь, Рез. Есть способ получше. Смотрите.

Из заплечного мешка она достала тяжелый пистолет с колесцовым замком, удивительно громоздкий и грубо сработанный. Бландербасс Фальконетты тоже не был образцом миниатюрности, но, по крайней мере, выглядел зловеще и красиво, как полагается хорошему оружию, в нем была заключена смертоносная элегантность. Этот же... Черт. Этот выглядел как рухлядь, выкопанная из могилы какого-нибудь нищего гусара, растерзанного демонами

при Гуменне триста лет назад. Неказистое и неудобное деревянное ложе, неровный ствол, грубый спусковой крючок...

Тля фыркнула, не скрывая презрения.

— Что это за херня, Жевода? Твой прадедушка завещал тебе свои игрушки?

Жевода осклабилась.

— Меньше клацай зубами, пизда. Это называется бандолет.

— Это называется «кусоч старого говна», сестренка. Но если ты придумала более удачное название...

— Это флинта и она стреляет как флинта, ясно? Что ты хочешь на ней увидеть — клеймо Рекнагеля? Может, сразу королевского саксонского арсенала?..

— Бьюсь об заклад, ты купила эту дрянь в Руммельтауне, — буркнула Тля, не скрывая досады, — И, верно, круглая дура, если выложила за нее больше трех талеров! Не боишься, что эта штука разорвет тебе морду?

— Не больше, чем боялась твоя мамаша, когда твой папаша стащил штаны! — огрызнулась Жевода, — Это оружие на один раз. Пальнуть — и вышвырнуть нахер в колодец. Зато ни один демонолог не отследит!

— Демонолог? — Катаракта щелкнула зубами, перекусывая нитку, — Черт, эта твоя херова аркебуза зачарована?

— А ты послушай, — Жевода недобро улыбнулась, протягивая ей свое оружие, — Мож и услышишь чего?

Они все на миг прикрыли глаза, даже Резекция и Эритема. Как херовы ценительницы музыки на концерте, зло подумала Барбаросса, внимающие чарующим звукам мюзета[3]. Но теперь она уже и сама чувствовала — отчетливо, несмотря на тяжелый гул в ушах...

Жеводу не обманули на рынке. Пушка, которую она купила, была куском ржавого дерьма, которое стыдно именовать флинткой, но демон... Демон внутри был самый что ни на есть настоящий.

Она ощутила его не сгустком энергии, стиснутым до размеров крохотной искры, как это обычно бывало с мелкими адскими духами, заточенными в морозильные шкафы, лампы и телевоксы, скорее, обжигаяще горячим тромбом, забившим канал ствола. Или пауком, подумала она мгновеньем позже. Злобным земляным пауком в своей норе. Существом с тысячами острых зубов, которому не терпится пустить их в ход. Так не терпится, что его дрожь — дрожь разъяренного голодного существа — передается пистолету, заставляя его мелко дрожать в руке Жеводы.

Не просто комок меоноплазмы, вдруг поняла Барбаросса, испытывая нехорошее жжение в ладонях, будто на короткий миг прикоснулась к этому пульсирующему адским жаром существу незащищенными руками. Голодная, злобная, чертовски опасная тварь, злости в которой хватило бы чтоб разорвать в клочья дюжину человек — кабы она сама не была заперта в испещренном адскими глифами стволе, точно в оублиетте[4], вынужденная выполнять волю того, чей палец давит на спусковой крючок.

Дьявол. Эта тварь была не только опасна, но и зла до предела. Для того, чтобы понять это, не требовалось быть демонологом. Удивительно, как ствол древнего пистолета еще не раскалился докрасна. Зол, голоден и клокочет от ярости. Вот срань... Барбаросса ощутила даже некоторое подобие уважения к Жеводе. Может, она безмозглая грязная дырка, вообразившая себя королевой парий Броккенбурга, но к этой дырке должна прилагаться пара яиц размера более солидного, чем у многих кавалеров в Броккенбурге. Иметь дело с

нестабильным, пребывающим в ярости, демоном, само по себе уже чертовски опасно. Никогда нет гарантии, что прутья той тюрьмы, в которую он заключен, не истончатся от времени, какой-нибудь важный адский сигил не окажется искажен и эта адская тварь не вырвется на свободу, растерзав своего хозяина...

Тля присвистнула, первой сообразив, что это за штука, какая сила скрывается за дрянным старым бандолетом. Видно, обладала большей чуткостью, чем прочие ведьмы. Или большей сообразительностью.

— Черт возьми, сестренка, это же «Файгеваффе[5]»!

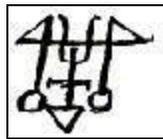
Жевода ухмыльнулась.

— Оно самое и есть. Всегда хотела опробовать в деле такую штучку.

Тля хмыкнула, дернув себя за змееподобные локоны.

— Если попадешься с ней стражникам, они опробуют на тебе свои штучки. Много штучек.

— Но ведь не попалась? Черт, я только один раз пальну и сразу выкину. Кроме того.. Неужели мы так не ценим сестрицу Барби, чтобы позволить ей шлепнуться на пол с дыркой от пули между ее блядских глаз? Черт возьми, она заслуживает более красивой смерти! Такой, чтобы весь «Хексенкессель» взвыл от восторга. Поэтому я и запасла эту штучку. Твоя смерть будет красивой, Барби. Не очень легкой, но красивой.



Файгеваффе...

При одном упоминании этого слова человеку, хоть сколько-нибудь сведущему в оружии, полагается скривится от отвращения — как мастеру фехтования, которому предложили выйти на поединок со ржавым ножом-свиноколом вместо рапиры. Файгеваффе — это не благородное оружие мастера, это даже не коварное оружие улиц, смертоносное и бесшумное, не знающее правил дуэльного этикета — это оружие труса. Человека, готового выстрелить лишь один раз и опрометью бежать прочь. Именно поэтому оно почти всегда предельно дешево и вместе с тем отличается излишней, иногда почти чудовищной, мощностью. Человеку, у которого дрожат руки от страха, не надо целиться. Ему не надо искать взглядом силуэт или лицо своей жертвы, достаточно лишь направить оружие из-под полы камзола в нужном направлении и высвободить чудовищную мощь, заложенную в нем. Разъяренный демон, вырвавшийся из ствола, не самое привередливое существо по этой части, он не станет разбираться и вникать в детали...

Корпус Файгеваффе нарочно изготавливается таким образом, чтобы иметь неприглядный, дешевый, даже аляповатый вид. Неровно вырезанное ложе, примитивно устроенный курок, дрянные заклепки, едва не закрученный винтом ствол... Это делается для того, чтобы придать смертоносному оружию невзрачную форму, но, кроме того — так подозревала Панди — для того, чтобы еще больше оскорбить заточенного внутри демона.

Демоны для Файгеваффе тоже требовались особого сорта. Не те, которые способны попасться в силки заштатного демонолога. Эти слабы, немочны и не годятся для той работы, которая им предстоит. Но и не те, которых охотно продают в мир смертных адские патриархи, такие как Таас-Маарахот, Браунгехайзен и Бреттенштайр, веками выводящие самых злобных отродий точно племенных скакунов. Стоит грянуть выстрелу, как всякий сведущий в Гоэзии и прочих адских науках специалист, оказавшийся на месте преступления,

мгновенно распознает, демон из чьего семейства здесь порезвился — его наметанный глаз обнаружит множество деталей и черт, свидетельствующих о родстве лучше, чем родовые пятна и бородавки на баронских лысынах.

Нет, демоны для Файгеваффе добываются особенным образом. Демонолог выслеживает и вяжет чарами нарочно таких тварей, которые с одной стороны наделены испепеляющей яростью, с другой, не имеют ни владыки, которому присягнули, ни большого количества родичей, которые могут за них мстить. Заточенные внутри ствола или лезвия, они годами или десятилетиями могут лежать, вызревая, напитываясь собственной яростью до такой степени, что превращаются в оружие чудовищной разрушительной мощи.

Прошлой осенью в Мангейме какой-то вшивый студент, трижды проваливший экзамен по Хейсткрафту, затаил смертельную злобу на своего профессора, почтенного демонолога Августа фон Коцебу. Будучи не в силах вызвать его на дуэль из-за разницы в положении, снедаемый страшной ненавистью, которую не мог утолить доносами и мелкими кляузами, он не придумал ничего лучше, чем приобрести на черном рынке Файгеваффе и подкараулить профессора после прогулки, когда тот вылезал из своей кареты. Никчемный сукин сын оказался таким же паршивым убийцей, как и демонологом. Файгеваффе, купленный невесть у кого, бахнул так, словно это был не маленький пистолет, а чертова бомбарда. Потом, когда университетский суд разбирал случившееся, выяснилось, что эта штука пролежала у кого-то в сундуке лет двести, отчего демон, все эти годы настаивавшийся на собственной ярости, совершенно обезумел и, вырвавшись на свободу, сработал с чудовищной силой, превзошедшей надежды незадачливого убийцы во много раз.

Профессорскую карету спустя неделю обнаружили в Гейдельберге, за два с половиной мейле[6] от Мангейма, невредимую, но сделавшуюся четырехмерной, совершенно непригодной к использованию. Профессорский кучер — в эту роковую минуту он как раз возился со сбруей — рассыпался по мостовой грудями розовой пудры с блестками. Профессор же, отброшенный взрывом к стене ближайшего дома, попросту исчез, на память о нем остался лишь похожий на фреску оттиск человеческой фигуры на штукатурке, удивительно похожий на него вплоть до квадратной оксфордской шапочки на голове. Говорят, фреска эта странного свойства — в свете утренней зари она едва заметно меняет свое положение на стене, то страдальчески корчась, то размахивая руками — это вызывает немалый восторг у окрестной ребятни, которая при помощи цветных мелков подрисовывает к ней всякие непотребства — но вполне может быть и слухом. А вот что совершенно точно не было слухом, так это то, что со студентом-убийцей университетский суд, не отдав его магистрату, разделался по всей строгости. Совершить приговор было позволено кафедре Хейсткрафта, на которой трудился покойный профессор — и та отыгралась на славу. Может, там не имелось таких опытных мясников, кромсающих плоть, как на кафедре Флейшкрафта, но воображения тамошним эскулапам было не занимать...

Несчастный убийца был наделен всеми известными человечеству фобиями, неврозами, маниями и расстройствами, отчего его рассудок превратился в один сплошной сгусток безумия, работающий словно часовой механизм. Непрерывно галлюцинирующий, шарахающийся от собственной тени, воображающий себя то Елизаветой Гессен-Кассельской[7], принцессой-поэтессой, то Вальтером фон Браухичем, героем Второго Холленкрига, одержимый сонмом страхов и навязчивых состояний, он надолго сделался звездой Мангейма, пока не вообразил себя луной, не полез на крышу, чтобы забраться на причитающееся ему место и не разбился насмерть.

Дерьмо.

Едва ли бандолет Жеводы обладал подобной силой, но Барбаросса отчетливо ощущала, как клокочет внутри ствола меоноплазма — звук, напоминающий шипение жира на раскаленной сковородке. Ее, сестрицы Барби, жира.

— Злой, — скорчившаяся в углу Эритема уважительно кивнула, к чему-то прислушиваясь, — Очень злой.

Жевода с гордостью кивнула, поглаживая пистолет. Так ласково, точно это был исполинский хер из стали и дерева.

— Один хер из Клингенталя получил из такого в живот, говорят. Какой-то сраный подпольный букмекер. Носил под камзолом зачарованную кольчужку, да только хер это ему помогло. Демон набросился на него и сдавил так, что у того глаза вылетели, точно пробки из бутылок шампанского!

— Ах ты!

— Горячее отродье, — Жевода посмотрела на пистолет с материнской гордостью, — Небось, сорок лет в каком-то сундуке лежал, ржавел да злости набирался. Можете представить, что он сделает с крошкой Барби!

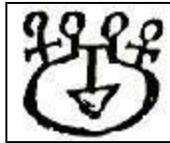
Тля восторженно взвизгнула, отчего свежий шов на ее щеке перекошило.

— В лоскуты порвет! Шесть шкур спустит!

— Это ты ловко придумала, Жев, — сдержанно заметила Катаракта, — Пусть позабавится с ней как следует...

Ловко, вынуждена была признать Барбаросса. Чертовски ловко. Будь у меня сейчас руки, поверь, я бы наградила тебя за сообразительность, но...

Будь у тебя сейчас руки, ты вычерпывала бы ими дерьмо из штанов, Барби.



Херня. Не может быть.

Наверняка так и сказала повитуха, вытаскивавшая тебя на свет. Черт, не пялься на меня так! Они заметят!

Лжец! Барбаросса поперхнулась воздухом, пытаясь втянуть его в скоблящие легкие.

«Лжец! Ах ты коровий послед! Ах ты мелкий херосос! Твоя мамаша, наверно, была самой хитрой шлюхой во всем Броккенбурге!»

Предпочитаю считать, что моей мамашей была герцогиня Саксен-Эйзенберга, — с достоинством отозвался гомункул, — впрочем... Какого дьявола, Барби? Я оставил тебя на несколько минут — и посмотри, в какое дерьмо ты нас втянула!

Лжец не шевельнулся в банке. Покачивающийся безжизненным комком, точно препарированная опухоль, он смотрел в пустоту, но Барбаросса теперь отчетливо видела, что его уцелевший глаз вовсе не так мертв, как ей казалось. Темный, как болотистая вода, не моргающий, холодный, он видел многое из того, что его окружало. Чертовски многое.

«Я думала, ты издох!»

По бледному лицу гомункула прошла легкая, едва видимая судорога.

Раз уж меня не прикончила твоя беспросветная глупость, пять сучек с булавками и давно бессильны.

«Черт! Я летела сюда как кляча, которой подожгли хвост! А ты...»

Ладно, ты не так глупа, как мне представлялось. По крайней мере, сообразила, что без

меня тебе с Цинтанаккаром не совладать.

«Ах ты ссохшийся коровий хер! Я дала тебе свою кровь!»

И смею заметить, она отнюдь не бургундское на вкус. Ладно, довольно. Сколько у нас времени?»

Барбаросса прищурилась. Катаракта не удосужилась спрятать свои часы в карман, оттого ей хорошо были видны стрелки. Большая едва миновала восьмерку, малая же...

«Черт. Восемь одиннадцать».

Лжец кивнул. Он остался недвижим, даже не дернулся, но Барбаросса отчетливо ощутила его мысленный кивок, короткий и ободряющий.

До перемены блюд у господина Цинтанаккара всего девять минут.

«Хер с ним! — огрызнулась Барбаросса, — Не голову же он мне откусит! «Сестрички» порешат меня гораздо раньше. Эта штука, с которой они возятся, как свора девственниц с хером, это не дедушкина аркебуза, это...»

Файгеваффе. Я знаю.

«Откуда?»

По меньшей мере четверть часа мы лежали с одним мешке. И знаешь, что? Лучше бы тебе не проверять на себе его настроение. Поверь мне, этот парень кипит от злости так, что раскаленный металл по сравнению с ним покажется тебе стылой жижей, словно сам князь Пюклер[8] кончил тебе на ладонь!

Барбаросса покосилась в сторону «сестричек». Обступив Жеводу, те восхищенно разглядывали Файгеваффе и — черт возьми! — в эту минуту напоминали девчонок, увидевших у подруги новую куклу. Если кто-то и смотрел на нее сейчас, так это Фальконетта. Небольшое утешение. Едва ли Фальконетта имеет достаточные познания в Хейсткрафте, чтобы читать мысли, но ей это и не надо. Даже если сестрица Барби попытается отклеиться от пола, она не успеет сделать и шага, как гикающая стая настигнет ее и разорвет в клочья. Нечего и думать уйти от них в темных закоулках «Хекенкесселя», когда твое тело похоже на хорошую отбивную...

Быстрые твари, с отвращением пробормотал Лжец.

Верно, вынуждена была признать Барбаросса. Эти мадемуазели, с восхищением разглядывающие зачарованный пистолет, не пантеры и не львицы — они крысы. Шныряющие в переулках мелкие хищницы, уповающие на скорость и дерзость, не на силу. Черт, она даже пернуть не успеет — демон внутри бандалета набросится на нее, как голодный катцендрауг и...

К слову, его зовут Эиримеркургефугль, вставил Лжец. На адском наречии это означает что-то вроде «Пустынный Стервятник» или что-то сродни тому...

«Да хоть Генриетта Гендель-Шютц[9]! — выплюнула Барбаросса, не скрывая злости, — Мне похер, как его зовут! Похер, как зовут его братиков, сестричек и любимую бабушку! Раз уж ты воображаешь себя записным умником, Лжец, мог бы сообразить, как нам вырваться из этой блядской истории.

«Сестрички» резвились с пистолетом, словно затейливее игрушки в жизни не видели. Сперва Тля приложила его к губам на манер флейты и принялась изображать, будто играет, насвистывая при этом «Горящие дырки» — песню, сочиненную какими-то броккенбургскими чертовками в насмешку над «Горящими сердцами[10]». Выходило паскудно, но музыкально — Ад явно не поскупился на музыкальный слух для этой суки. Катаракта, завладевшая бандолетом следующей, принялась томно облизывать юрким

язычком его ствол, известно что изображая, и облизывала так ловко, что прочие «сестрички» принялись наперебой охать, картинно хватаясь за пах и постанывая. Вот бы он сейчас пальнул, рассеянно подумала Барбаросса. Чтобы череп Катаракты лопнул, а всех ее подруг окатило розовой слизью и мелким костяным крошевом...

Напрасная надежда. Запертый внутри демон, может, и изнывал от ярости, но был надежно заперт чарами и полностью покорен Жеводу. Уже очень скоро его хозяйкам надоест дурачиться и тогда...

«Соображай живее, Лжец! — мысленно приказала она, — Отрабатывай кровь, которой я тебя пою!»

Можем выслушать тебя, Барби, огрызнулся Лжец с явственной досадой. Помнится, ты охерительно дебютировала не так давно в дровяном сарае! Скажи, твои планы обыкновенно распространяются дальше, чем поджечь нахер все вокруг себя? Если нет, у тебя могут быть проблемы — видишь ли, здесь все уже успело один раз сгореть!

Этот консервированный выблядок еще корил ее! После того, как сам попытался сбежать от нее при первой же возможности, бросив в объятых Цинтанаккара! После того, как натравил на нее голема! После того как...

Барбаросса ощутила, как на языке ядовитыми сколопендрами дергаются ругательства, которые ей только предстояло произнести. Она даже открыла рот, но вдруг запнулась.

«Имя демона! Лжец! Ты знаешь имя демона!»

Гомункул хмыкнул. Пусть он был слаб, а мысли его казались приглушенными, точно мошкариный гул, в этом хмыканье она разобрала его обычное самодовольство.

Наконец сообразила. Я все ждал, когда до тебя дойдет...

«Но откуда? Как?»

Прочитал своими собственными глазами. Точнее, тем единственным глазом, что мне любезно оставили твои подруги. Видишь ли, оно выгравировано у него на стволе, а мы, как я уже говорил, некоторое время вынуждены были делить один мешок на двоих...

«Ты, блядь, шутишь?»

Ничуть. Лжец ухмыльнулся. Обычное дело. Некоторые хозяева зачарованных вещей, не доверяя своей памяти, пишут имя демона где-нибудь под рукой, чтобы не забыть. Например, хозяева аутовагенов часто украдкой выцарапывают имена демонов где-нибудь в кабине — и чертовски удивляются, не обнаружив своего экипажа поутру! Очень непрактично, к тому же и небезопасно, но вы, люди, не доверяете своему разуму, и вполне заслуженно — слабый, немощный, он так примитивно устроен, что иногда только диву даешься...

Черт. Сейчас она была готова согласиться со всем, что он скажет.

«Лжец! Лжец! Ах ты хитрый ублюдок! Забудь, что я тебе говорила! Ты самый умный ублюдок в Саксонии!»

Лжец ухмыльнулся, польщенный.

Ну, может здесь тыхватила лишку. Но, смею надеяться, я уж точно не последний болван в доме на Репейниковой улице!..

Барбаросса ощутила слабое бурление надежды в истерзанных обмякших кишках. Имя демона — мощный козырь, с каким бы отродьем не пришлось иметь дело. Зная имя демона, можно заполучить власть над ним, вот только...

Чего ты медлишь? — нетерпеливо прошептал Лжец, — Давай! Заставь эту штуку взорваться у нее в руке! А лучше, пусть выстрелит ей же в голову или...

— Я не могу, — тихо произнесла Барбаросса сквозь зубы, — Не могу, черт бы тебя побрал!

Несколько секунд Лжец тяжело дышал ей в ухо.

У тебя есть его имя. Я дал тебе его имя, Барби!

«Знаю! — зло отозвалась она, — Вот только видишь ли, одного имени мало!»

Почему? Ты же чертова ведьма! Я думал...

Барбаросса ощутила, как приятная дрожь в кишках сменилась тяжелым болезненным зудом. Лжец был сметливым ублюдком, но он ни хера не смыслил в демонологии или Гоэции.

Эта тварь, что сидела внутри, не шла ни в какое сравнение с теми жалкими адскими отродьями, которых они учились заклинать в университете под присмотром профессора Кесселера. В десятки раз более сложно устроенная, в тысячу раз более злобная, она не была учебным материалом — она была частицей всепожирающего адского пламени. Частицей, которая развевает тебя по ветру так быстро, что не успеешь даже прикусить язык...

«Это Файгеваффе! — зло бросила Барбаросса, — А не какая-нибудь зачарованная лампочка, смекаешь? Озлобленная тварь с примитивными инстинктами. Блядская оса, запертая в кувшине. Такие ни с кем не договариваются, они жалят. Может, я бы и нашла какую-то щелочку в его чарах, но...»

Но?

«На это потребуются даже не часы — дни! Недели! У меня нет столько времени, — сдавленно отозвалась Барбаросса, — Была бы здесь Котейшество, она бы...»

Ее здесь нет! — рявкнул Лжец. Он сделал это беззвучно, но у нее едва не заложило ухо.

Дьявол. Как будто она сама не помнила. Не думала об этом каждую минуту на протяжении всего этого бесконечного дня...

«Сестрички», кажется, уже наигрались с пистолетом. Жевода, ухмыльнувшись, потрепала Катаракту по волосам и, нарочито рисуясь, ловко провернула оружие в руке, будто была не уличной потаскухой, каких пруд пруди в Броккенбурге, а по меньшей мере чертовым Гансом Иоахимом фон Зитеном[11].

«Хорошо, — Барбаросса тяжело выдохнула воздух через зубы, — Есть одна затея...»

Какая?

«Возможно, она тебе не понравится. Мне не приручить блядского демона, это верно. Но может, у меня выйдет кое-что другое с его помощью. Вот только... Может быть, на какое-то время здесь станет охерительно жарко. Так жарко, что сгорит все, что еще пощадил огонь, а может, и сам камень тоже».

Лжец глухо заворчал.

Мне стоило бы догадаться... Вот чего я никак не могу понять, Барби. Ты до смерти боишься огня. Тебя трусит даже от горящей свечи. Но все твои планы отчего-то неизбежно заканчиваются пожаром!

Барбаросса улыбнулась, ощущая как от этой улыбки, злой улыбки сестрицы Барби, в разбитом хлюпающем теле пробуждаются новые силы.

Катаракта все еще беззаботно крутила в руке часы, но Барбароссе потребовалось немалое усилие, чтобы разрать положение стрелок на циферблате.

Восемь тринадцать. У нее в запасе семь минут. Цинтанаккар уже, верно, повязал салфетку на шею и ерзает на стуле, нетерпеливо теребя столовые приборы и переставляя по скатерти соусники. Гадает, под каким соусом в этот раз ему подадут кусочек сестрицы

Барби и не окажется ли он пережарен сверх положенного...

Барбаросса заставила себя забыть об этом. Семь минут — приличный срок. Весьма приличный, чтобы она успела закончить задуманное.

«На твоём месте я задалась бы другим вопросом, Лжец.

Каким же, позвольте поинтересоваться, госпожа ван дер Люббе[12]?

«Как мы выберемся отсюда, когда сделается жарко?»

Гомункул нахмурился.

Как?

«Твой приятель Латунный Волк подал мне отличную идею»

Какую?

«Хочешь узнать? Так прочти мои мысли, маленький ублюдок».

Он прочел. И выругался так, что адским владыкам в Аду стало жарко.



— Эиримеркурgefугль!

Она произнесла это мысленно, но даже не произнесенное вслух, это слово отдалось во рту таким жаром, что немного обожгло язык. Демон не отозвался, лишь сухо треснул, как вышибленная кресалом большая искра. Но этого было достаточно, чтобы она ощутила грызущую кости дрожь.

Любой договор с демоном — смертельно опасный фокус. Даже если демон мал и слаб, он все равно предпримет все возможное, чтобы обмануть тебя, сбить с толку, дотянуться до твоего незащитного горла. Не потому, что голоден или зол — все демоны, дети жадного огня, голодны и злы с рождения — потому, что так устроен по своей природе.

Год назад, на практическом занятии по Гоэции, одна сука — Краля — недостаточно членораздельно произнесла имя демона, приступая к работе. Может, в этом проявилась ее извечная самонадеянность, уже приносившая ей неприятности в прошлом, а может она попросту поспешила, не справившись с волнением. Адским созданиям неведома жалость. Крохотное существо, заточенное в утюге стоимостью в два талера, расценило это как неуважение — и полыхнуло так, что тонкие линии защиты, выстроенные вокруг нее, полопались с тонким звоном, точно рвущиеся струны, а мигом спустя сама Краля истошно завопила, будто ошпаренная. Демон оторвал ей нос — легко, точно яблоко с ветки сорвал — и заменил один глаз еловой шишкой.

Профессор Кесселер не изменился в лице, когда подруги выводили воющую Кралю из учебной залы, лишь потом, досадливо поморщившись, обронил:

«Никогда не уповайте на линии пентаграмм, как бы идеально они ни были начерчены. Демонология — это не картография и не математика, это наука хаоса, основанная на непостоянных величинах и меняющихся во все стороны законах. Если вы не способны проявить уважения к адским владыкам, чьей помощью собираетесь заручиться, я бы советовал всем вам приметить заранее толкового плотника, чтобы заказать себе деревянный нос...»

Дьявол.

Нихера не просто сконцентрироваться, когда лежишь, глотая собственную кровь, на полу, распластанная перед пятью суками, которые разглядывают тебя, как покупатель в мясной лавке разглядывает еще не разделанную тушу, выбирая кусок послаще.

Мне, пожалуйста, грудинку сестрицы Барби. Мяса мало, но сойдет для гельбвурста[13].

Мне огузок.

Мне ребрышки и лопатку...

Заткнись, приказала себе Барбаросса. Заткнись и работай, никчемное отродье...

Под взглядом мертвых серых глаз Фальконетты было сложно не то, что работать, но даже дышать. Спрятавшая свое собственное оружие, элегантно и смертоносное, заложившая руки за спину, она наблюдала за Барбароссой безо всякого интереса, но в то же время так пристально, что подводило живот. Как будто знала или могла слышать...

Может, и слышит, подумала Барбаросса, набирая воздуха для следующей попытки. Ни одна живая душа не знает, какими еще блядскими талантами наделил Ад крошку Фалько — и какие из них она демонстрирует на публике, а какие прячет до лучших времен. Может, она уже обо всем догадалась и сейчас лишь выжидает...

— Эримеркургефугль!

Сработало. Барбаросса едва не вскрикнула — боль пронзила ее прямо в грудину, точно стилет из чистейшего серебра, заставив судорожно дернуться на полу.

Но теперь она видела.

Теперь она, черт возьми, видела.

Эта штука больше не была похожа на кляксу из меоноплазмы, замурованную в стволе. Теперь, когда Барбаросса видела ее истинное обличье, она была похожа на Цитглогге[14], исполинскую башню, выстроенную в пяти измерениях сразу, сложенную из обожженной кости и цинковых валунов, огромную, как утес, и, в то же время, крошечную, как самая малая песчинка, которая забила тебе в башмак. Чудовищное строение, наполненное едким хлором, звенящими стаями ядовитых ос и стальной стружкой, бесконечно что-то перетирающее в своих жерновах и механизмах, выдыхающее наружу сквозь щели и вентиляционные решетки облака сажи, сахарной пудры и толченой кирпичной пыли...

Барбаросса была готова увидеть что-то подобное, но все равно обмерла, тщетно пытаясь проглотить немного воздуха в звенящую от жара и напряжения грудь.

Это не тварь из утюга, способная оторвать нос недостаточно почтительной суке. Это тысячекратно более опасное существо, запертое, без сомнения, опытным демонологом и мастером своего дела. Барбаросса видела на стенах содрогающейся башни, рычащей, давящейся и оглушительно грохочущей, тусклые следы адских сигиллов. Существо, запертое внутри, не просто изнывало от ярости — оно было яростью во плоти. Сгустком клокочущей испепеляющей блядской ненависти, такой горячей, что сознание обмирало лишь прикоснувшись к ней, как обмирает на миг вспыхнувшая мошка, слишком близко подобравшаяся к лампе.

Охеренно злобная тварь, заточенная много лет назад, беснующаяся от ярости и обезумевшая. Договорится с такой не проще, чем со стальным капканом, снаряженным, взведенным и таящимся в траве. Даже если бы у нее была вся мудрость Котейшества и неделя времени, даже если бы она взяла чертову башню в осаду, планомерно прорубая просеки в чудовищно сложно устроенной сети чар, даже если...

— Жевода, Резекция, Эритема! — голос Фальконетты за скрежетом демона был едва различим, точно шуршание ветра в стропилах, но Барбаросса разобрала его какой-то частью сознания, которая все еще ей подчинялась, — Довольно шалостей. Закончите дело.

Она почувяла. Почувяла что-то неладное, чертова сломанная кукла. Насторожилась, подав сигнал стае. Значит... Барбаросса не позволила себе поддаться панике. Значит, ей нужно

вдвое более кропотливо выстраивать команды, не оставляя себе второй попытки. Это не сложно. Надо лишь представить, будто за спиной стоит Котейшество, задумчиво склонив набок русую голову, и одобрительно кивает каждому слову...

Она знает нужные слова. Надо лишь мысленно произнести их, не сбившись и не допустив ошибки. И тогда...

— Eudimerkurgeirfugl! — выдохнула она, ощущая, как чудовищная дрожь башни передается ей, — Helvítis herra og kraftmikill andi! Ég, ómerkileg norn, býð þér gjöf — frelsi.

Ее слышали.

Страшные механизмы зарычали, сотрясая всю башню до основания, Барбаросса ощутила чудовищный, проникающий сквозь щели, жар, а еще тяжелый дух гнилых орехов, уксуса и горелых перьев, ударивший в лицо. Она не знала, что это может означать на демоническом наречии, но вдруг отчетливо поняла — эта адская тварь, запертая неизвестным ей демонологом и воющая от ярости, вполне поняла смысл сказанного.

— Vertu frjáls, Eudimerkurgeirfugl, kastaðu af þér hlekkjunum þínum! — торопливо выкрикнула Барбаросса, боясь, что язык во рту сгорит прежде, чем она закончит, — Til minningar um þessa gjöf gef ég þér hold mitt, bein mín og blóð!

Существо, замурованное в башне, полыхнуло так, что Барбаросса вскрикнула — на миг показалось, что кто-то вогнал ей в череп тяжелый стальной клевец, с хрустом проломивший затылок.

— Черт, что она делает, Фалько?

— Бормочет чегось... Может, сеньору своему молится?

— Hold, bein og blóð! — прохрипела Барбаросса тлеющими легкими, извергая вместе с дыханием сажу, копоть и мелкие брызги собственной раскаленной крови, — Ég býð þér þæg sem vott um virðingu mína. Vertu frjáls!

— Я не знаю, что она делает, Жевода. Но ты убьешь ее прямо сейчас.

— Hold, bein og blóð!

— Сейчас же. Стреляй!

— Hold, bein...

Что-то ударило ее под дых. Так сильно, что внутренности слиплись воедино.

Должно быть, охранные чары не выдержали. Башня лопнула, демон вырвался на свободу и сцапал ее, раздавив живот всмятку, запустив когти глубоко в тело. Сейчас его страшные скрежещущие зубы разомкнутся и...

Скрежета не было. Только тихий скрип золы.

Башня исчезла, будто никогда и не существовала. Как и страшная тварь, содрогающаяся в пароксизме неутолимой ярости. Была выгоревшая комната с высокими окнами, в которых разноцветными оплавленными чешуйками торчало стекло. Были шестеро сук, напряженно глядящих на нее. Была Жевода, нависающая над ней, упирающаяся ногой ей в грудь — и тяжелый ствол бандолета в ее опущенной руке, почти касающийся лба Барбароссы.

Сейчас выстрелит.

С расстояния в три дюйма дуло бандолета, покачивающееся над ней, казалось не просто отверстием — бездонной угольной ямой, из глубин которой носилось едва слышимое шипение, напоминающее прикосновение множества шипастых лапок к тяжелому бархату.

Отец никогда не обучал ее своему ремеслу — даже когда был трезв. Единственное, чему он ее научил, так это первому правилу углежога — никогда не заглядывай в горящую угольную яму. Ее торчащее из земли жерло может выглядеть неопасным, едва курящимся

дымом, но это обманчивый признак. Весь жар огня, пожирающего древесину в ее середине, направлен вверх, оттого только отодвинув крышку и встав на самом краю, можно ощутить истинный нрав этого голодного демона. Но тогда уже будет поздно — стоит тебе только заглянуть в яму, как он сожрет тебя, обглодав до костей...

Барби! Барби, чтоб тебя! Очнись, никчемная сука!

Жевода нависала над ней. И без того высокая, снизу она выглядела огромной, как Золотая Башня в Регенсбурге.

— Не дергайся, Барби. Это будет совсем не больно. Точно маленькая птичка поцелует тебя в лобик...

Барбаросса заставила себя разлепить спекшиеся губы.

— Слушай... Жевода...

— Что, дорогуша?

— Не стреляй, — выдавила она из себя сквозь зубы, — Слушай... Мы можем закончить это дело миром. Ведь так? Черт... Никто не будет обижен. Я... Я принесу извинения «Сестрам Агонии». Не буду мстить. Никому не расскажу.

— Вот как?

— Я была дерзкой сукой и заслужила взбучку... Я была сама виновата.

Произносить это было еще тяжелее, чем слова на демоническом языке. Она словно выталкивала изо рта бритвенные лезвия, безжалостно полосующие язык и губы. Но Жевода ухмыльнулась. Это ей понравилось. Черт, это и должно было ей понравиться, подумала Барбаросса, тяжело дыша, пытаясь как следует упереться локтями в пол.

Эта сука два года жила парией в Шабаше, прислуживая старшим сестрам и пресмыкаясь перед сильными. Два года служила объектом для травли и злых насмешек. Стирала грязные шмотки своим тираншам, развлекала их плясками и ужимками, когда те были во не в духе, бегала в трактир и по мелким поручениям. За эти два года она щедро хлебнула унижений всех возможных сортов — насосалась из всех бутылок. Досыта — как пьяница, забравшийся в баронский винный погреб.

Только в скверных театральных постановках, к которым ее приучила Котейшество, унижения закаливают дух и облагораживают душу. Никчемный школяр, которого травят однокашники, вырастает в исполненного достоинства демонолога. Вчерашний раб, получавший в придачу к черствой корке лишь порцию унижений, становится благородным воителем и защитником угнетенных. Бедный солдат, тридцать лет жравший дохлую конину под соусом из пороховой гари, скопив на офицерский патент, делается отважным военачальником, защитником Германии от Гааповых орд...

Херня это все. Барбаросса доподлинно знала, что жизнь устроена не так, хоть и позволяла Котейшеству таскать себя на все эти пьесы. Унижение сродни шрамам, но не тем, что изуродовали ее собственное лицо, а невидимым, подкожным. Оно въедается навсегда так, что не вытравишь никакими чарами. Оно всегда будет напоминать о себе — до самой смерти.

Жеводе мало видеть поверженного противника. Он должен быть раздавлен, должен быть унижен, должен молить о пощаде — иначе эта победа для нее и в половину не будет так сладка на вкус.

Барбаросса хорошо знала эту породу сук. И знала, как ей подыграть.

— Что такое я слышу? — Жевода приложила свободную ладонь к уху, изобразив на лице изумление, — Сестра Барбаросса из «Сучьей Баталии» молит о пощаде?

Барбаросса скрипнула зубами.

— Я... готова просить.

— Вот так-так! — не удержавшись, Жевода щелкнула зубами, — Ну давай, скажи это.

Скажи, что ты была плохой девочкой.

— Я была плохой девочкой, — покорно повторила Барбаросса, хлюпая разбитым носом, — Я... приношу извинения.

— Скажи, что была последней сукой.

— Я была последней сукой.

— Скажи, что ты холерная манда.

— Я холерная манда.

Жевода расхохоталась.

— Как мило! А вспомнить, какой ты была дерзкой прежде! Как охотно пускала в ход кулаки! Черт, говорят, что хорошим манерам обучаются годами, но мне удалось сделать это в несколько минут.

— Жевода! — голова Фальконетты со скрипом дернулась на тощей шее, как у старого грифа, — Довольно. Заканчивай, что должна.

Наверняка Жевода была исполнительной сукой в этой стае парий, но сейчас это было выше нее. Сейчас сам Сатана не имел над ней власти. Эти слова ласкали ее слух, как музыка. Пьянили, как крепкое вино.

— Я убью ее, Фалько, — она сдержанно кивнула Фальконетте, — Но сперва хочу проверить, как далеко она может зайти. Что еще ты мне предложишь за свою порченную шкуру, Барби? Может, свою маленькую дырочку? Или, прости, пожалуйста, она все еще ждет прекрасного принца?..

Это никчемный план, Барби. Что бы ты ни затевала, это определенно не кончится добром...

— Всё, включая себя, — тяжело произнесла Барбаросса, — Если ты хочешь...

Она сделала вид, что возится перебинтованными руками с пуговицами бриджей.

Жевода расхохоталась.

— Черт! Не беспокойся, Красотка, дохлая рыба и то соблазнительнее тебя. Не утруждайся. Видишь ли, в чем штука... Мы тут затеяли Хундиненягдт. Сучью охоту. Нам надо заявить о себе на весь Броккенбург, и заявить не кошачьим писком, а так, чтобы услышали от Обершгадта до Унтершгадта. Нам нужен кто-то из «батальерок». Если мы пощадим тебя, нам понадобится равноценная замена. Кто-то из твоих сестер. Ты согласна на такой обмен?

Они все внимательно смотрели на нее. Даже Резекция, выбивавшая пальцами какой-то сложный ритм на рукояти своего кацбальгера. Даже Эритема, скорчившаяся в углу.

Они ждали — они знали — они хотели услышать. Даже Фальконетта, похожая на мертвого грифа, набитого сломанными шестернями, ожидала ее ответа, безучастно разглядывая серыми, как галька, глазами.

— Да.

— Холера, Гаргулья и Ламия уже мертвы, до младших сестер никому нет дела... — Жевода задумчиво потерла грязными пальцами подбородок, — Что на счет Гарроты? Отдашь нам ее вместо себя? Отдашь нам сестрицу Гарри?

— Отдам, — Барбаросса торопливо кивнула, — Сама приведу, куда скажете. Можете разрезать ее на три дюжины кусков у меня на глазах, я и пальцем не шевельну...

Жевода плотоядно оскалилась.

— Так-так. А кого еще? Кого еще отдашь?

— Саркому, — Барбаросса сглотнула затхлую слюну и кровь, — Отдам Саркому. Ее будет непросто взять, она хитрая дрянь и чутье как у кошки, но если впятером... Я скажу, где она бывает по вечерам и вы...

Жевода презрительно скривилась.

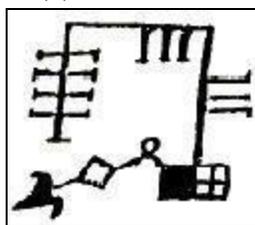
— Эта сука никому и даром не нужна. А что если...

Она все еще делала вид, что мысленно перебирает, но Барбаросса знала, какое имя она произнесет. Все эти суки, сбившиеся в ворчащую стаю, молчаливые, подобранные — все они прекрасно знали. Им надо было это услышать.

— Может, Котейшество? — Жевода щелкнула пальцами, точно эта мысль только сейчас пришла ей на ум, — Милую маленькую Котти? Ее отдашь, Барби?

Нет, подумала Барбаросса. Не отдам, даже если сам Ад явится ко мне. Даже если архивладыка Белиал потребует. Даже если...

— Да, — тихо произнесла она, — Отдам.



«Сестрички» заулюлюкали, завопили, затопали ногами. Чертовы гиены, они ликовали, наслаждаясь своей властью над ней. Так ликовать может ребенок, раздавивший ногой жука, упивающийся собственной силой. В этот миг они почувствовали себя не просто сильными — они ощутили себя могущественными.

Непобедимыми. Отчаянными. Настоящими ведьмами.

— Спасибо, — Жевода подмигнула ей, — Но мы не заинтересованы в этой сделке. Лишь хотели услышать твое предложение. Отправляйся в Ад, Барби. Отправляйся в Ад ощущая себя куском трусливого ничтожного дерьма. И пусть эта мысль сжигает тебя изнутри, пока ты не окажешься в огненных чертогах...

Сейчас выстрелит. Сейчас грязный палец, небрежно лежащий на спусковом крючке бандолета, едва заметно напряжется, ударит курок, сухо клацнет кремь — и высвобожденный демон набросится на нее с неистовой яростью, отделяя мясо от костей, испепеляя, сжигая, пожирая заживо...

— Стой! — торопливо выкрикнула она, — Еще кое-что!

Жевода устало вздохнула.

— Во имя адских владык! Что еще ты готова предать, чтобы спасти свою шкуру, Барби? Чем еще готова поделиться?

— Деньги! — выдохнула она, — У меня есть деньги.

Жевода фыркнула, не удержавшись.

— Ведьмы, у которых есть деньги, путешествуют на каретах и одеваются в шелка, дорогуша. А ты выглядишь так, словно не можешь позволить себе и пару новых башмаков.

— У меня есть деньги! — повторила она громче, — Целая куча денег. Три сундука, набитых золотыми монетами. Мы с Котейшеством нашли их в одной старой норе под городом, когда искали, где устроить лабораторию.

Они напряглись. Тля, рассеянно ковырявшая шов на щеке, зашипела от боли. Резекция

стиснула рукоять кацбальгера. Катаракта обронила пару-другую беззвучных ругательств.

Стоило бы с этого начать! — раздраженно буркнул Лжец, — *Или тебя возбуждает ствол, которым тычут тебе в лицо?*

«Нет, — подумала Барбаросса, — Скажи я о деньгах сразу, они бы не поверили. Но сейчас, после того, как я предала своих сестер, предала все, включая свой ковен и свою бессмертную душу... Сейчас они поверят».

Ствол неказистого старого бандолета дрогнул. Едва-едва, но Барбаросса, впившаяся взглядом в темный провал дула, это заметила. Может, это демон, спрятавшийся внутри, рычащий от ярости, неосторожно хлестнул шипастых хвостом, а может — Барбаросса отчаянно надеялась на это — едва заметно дрогнули пальцы Жеводы.

Они могут сколько угодно воображать себя грозой Броккенбурга, представлять, как хлещут шампанское из хрустальных бокалов, но для этих оборванок даже пять гульденов — весомый куш.

Жевода презрительно сплюнула на пол.

— Херня. Неужто адское пламя так царапает твою нежную шкурку, Барби, что ты готова нести любой вздор, лишь бы прожить еще немного? Ни хера там нет, так ведь? В лучшем случае взведенный пистоль на бечевке...

— Три сундука, — упрямо повторила Барбаросса, — Котти сказала, это старые «речные дукаты». На одной стороне у них какой-то пидор в берете, а на другой написано «ЕХ. А. RH[15]» и что-то еще...

— Врешь! — вырвалось у Жеводы. Нависающая над Барбароссой, сейчас она сделалась такой напряженной, будто сама служила сосудом для изнывающего от ярости демона, — Ты врешь, Барби!

Проняло. Ее проняло, с удовлетворением поняла Барбаросса. Пусть говорят, что хорошая ведьма в безоблачный день чует присутствие адских чар за три мейле, есть один запах, который перебивает все прочие. Запах золота. Она клянула.

— Жевода!.. — голова Фальконетты предостерегающе качнулась, — Закончи дело.

— Три сундука, набитых доверху. Если не веришь, я покажу. Я припрятала один «речной дукат» от Котти, ношу его в кошельке. Я покажу. Увидишь сама.

Барбаросса сделала вид, будто пытается нащупать перебинтованными пальцами кошель у себя на поясе. И тут же получила пинок башмаком в лицо.

— Ах, сука...

— Не спеши, Барби, крошка, — Жевода ощерилась, сбрасывая фальшивое великодушие, становясь похожей на существо, подарившее ей свое имя — хищного, вечно настороженного Жеводанского зверя, — Или ты думаешь, что я никчемная дура? Давай-ка сюда кошель. Я сама посмотрю.

— Черт! Да подавись ты!

Свободной рукой Жевода жадно сорвала кошель с ее пояса. Тот не издал звона — и неудивительно, учитывая, чем он был наполнен. Деньки, когда сестрица Барби могла разбрасывать монеты по мостовой, давно миновали...

— Жевода! — Фальконетта дернулась всем телом, словно где-то под серым камзолом из сухого мяса вырвалось несколько пружин, — Нет! Она что-то задумала. Она хитрит. Она...

— Спокойно, Фалько, — злые пальцы Жеводы быстро ощупывали кошель, — Я только гляну...

Чтобы справиться с завязками, ей пришлось сунуть бандолет под мышку и освободить

вторую руку. Жгучий интерес прочих сестер, впившихся глазами в ее добычу, заставлял ее спешить, не обращая внимания на предательскую легкость кошелья.

Дурацкий трюк, процедил Лжец, наблюдающий за этим. Там же нет монет. Там только... О, черт.

Сообразил, значит.

«Да, — мысленно ответила ему Барбаросса, — Там лежит нечто очень ценное для меня, но это не золото».

Твои пальцы, Барби. Твои чертовы пальцы.

«Верно. Пальцы, откушенные Цинтанаккаром. Пять небольших кусочков сестрицы Барби. Немного несвежие, но я не думаю, что томимый адским голодом демон — привередливый едок...»

Она почти чувствовала, как лихорадочно размышляет Лжец. Как в его голове крутятся тонко сбалансированные колесики и шестеренки, перестраивая варианты под сухой аккомпанемент щелчков.

Он должен был догадаться. Он в самом деле был умнее, чем многие из его сородичей.

То, что ты сказала демону...

«Hold, bein og blóð». Плоть, кости и кровь, помнишь? Азы Гоэции. Чтобы освободить демона от служения, демонолог должен преподнести ему частицу самого себя — символический дар — и назвать его по имени. Наверно, Эиримеркурgefугль уже достаточно долго нес службу и заслужил немного отдыха. Как думаешь, мои пальцы придутся ему по вкусу? Не слишком суховатые?..»

Лжец застонал.

Во имя самых глубоких бездн Ада, каждый раз, когда мне кажется, что я смог вбить хотя бы толику ума в твою каменную голову...

Барбаросса позволила себе обычную ухмылку. Сейчас глаза всех сук в этой комнате были прикованы к кошелью в руках Жеводы, а не к ней.

«Да, я собираюсь выпустить на свободу осатаневшего от злости голодного демона. Теперь ты понимаешь, почему здесь скоро делается очень жарко?»

Дьявол! Ты не понимаешь!..

Лжец изрыгнул из себя нечто нечленораздельное, но сейчас Барбароссе не было никакого дела до его укоров. Куда больше ее беспокоила Жевода, которая наконец справилась с завязками кошелья и растянула его перед лицом.

Не самая сообразительная сука. Ей потребовалось полсекунды, чтобы сообразить. И еще пол — чтобы ее побелевший от ярости взгляд нащупал распластанную на полу Барбароссу.

— Какого хера? Он же...

— Приятного аппетита, сука.

В фехтовальном зале Малого Замка Каррион иногда заставляла их отрабатывать удары из положения лежа. Есть ситуации, когда даже самый искусный фехтовальщик оказывается повержен, а противник возвышается над ним. И коль уж Ад расщедрился для тебя на пару лишних секунд жизни, лучше попытаться дотянуться до него, чем покорно лежать, ожидая эль-другой закаленной стали в живот.

Она и ударила. Как учила Каррион, уперевшись спиной в пол, представив все тело распрямляющейся тугой пружиной...

Жевода присела, сделав пол-оборота, прикрывая коленями пах. Эта девочка прожила в Броккенбурге три года и тоже хорошо знала многие уличные фокусы. Ошиблась она только в

одном. Не сообразила, куда нанесен удар. Нога Барбароссы врезалась в ее ладони, державшие кошель, заставив ее вскрикнуть и выпустить в воздух горсть кувыркающихся в воздухе маленьких обрубков — ее, сестрицы Барби, ампутированных пальцев.

У Барбароссы не было времени попроситься с ними.

— Eudimerkurgeirfugl! — выкрикнула она, не заботясь о том, что слова демонического языка, высказанные без надлежащего почтения и в спешке, могут разорвать ей глотку, — Ég gef þér frelsi!

[1] Плие — танцевальное движение в балете, означающее сгибание одной или обеих ног, приседание.

[2] Здесь: примерно 2,8 кг.

[3] Мюзет — распространенный в XVII–XVIII веках французский вариант волынки.

[4] Оублиетт (фр. Oubliette) — средневековая тюрьма в форме колодца, оборудованная обычно в замках для осужденных на смерть или пожизненное заточение.

[5] Файгеваффе (нем. feige Waffe) — «Трусливое оружие».

[6] Здесь: примерно 19 км.

[7] Елизавета Гессен-Кассельская (1596–1625) — немецкая принцесса, герцогиня Макленбургская, поэтесса и переводчица.

[8] «Князь Пюклер» (нем. Fürst-Pückler-eis) — традиционного для Германии сорта мороженого, получившего название в честь князя Германа Людвига Генриха фон Пюклер-Мускау

[9] Генриетта Гендель-Шютц (1772–1849) — немецкая и саксонская театральная актриса, выступавшая в балетных спектаклях и пантомиме.

[10] «Песнь Саксонии-Анхальт», написанная в 1950-м и ставшая региональным гимном в 1991-м году, начинается со слов «Эта песня проникает во все горящие сердца».

[11] Ганс Иоахим фон Зитен (1699–1786) — кавалерийский генерал Прусской армии, известный дуэлянт, принявший участие в 74-х поединках.

[12] Маринус ванд дер Люббе (1909–1934) — нидерландский коммунист, обвиненный в поджоге Рейхстага в 1933-м году.

[13] Гельбвурст (нем. Gelbwurst) — «Желтая колбаса». Распространенный в Саксонии, Тюрингии и Баварии сорт вареной колбасы из нежирной свиной грудинки.

[14] Цитглогге — средневековая башня в Берне (Швейцария), внутри которой размещены сложные астрономические часы.

[15] «Дукаты речного золота» (нем. Flußgolddukat) — чеканились в Германии из добываемого в реках золота с 1673-го года. Аббревиатура «E. A. R. N.» на реверсе означала «E. x. a. u. r. o. R. h. e. n. a. n. o.» — «Из золота Рейна».



Не было ни оглушительного взрыва, как она ожидала, ни крика, ледящего кровь в жилах. Что-то негромко гроыхнуло — точно кто-то споткнулся о железную цепь на полу. Что-то затрещало — едва слышно. Что-то заскрипело по углам, заставив «Сестер Агонии» недоуменно озираться. А потом...

Жевода вдруг протяжно взвыла — точно чертова жеводанская тварь, пронзенная навывлет пулей из ружья Шастеля. Она взмахнула зажатым в руке бандолетом, но совсем не так, как обычно взмахивают оружием, чтобы изготовить его к бою. Скорее, как человек, которому в руку впиалась мертвой хваткой какое-то мелкое зубастое отродье.

«Лжец! Будь готов! Будет чертовски жарко и немного труханет. Сейчас я схвачу тебя в охапку и... Лжец?..»

Гомункул по-прежнему плавал в своей банке, вялый и покорный, как разварившаяся фасолина. Сморщенное лицо было по-прежнему пустым, но в этот раз пустота была особенного, неприятного свойства. словно пустая скорлупа, подумала Барбаросса. Выхолощенная оболочка. Разлагающийся остов...

Сдох? Отрубился?

Дьявол. Высвобожденный из плена чар демон мог выплеснуть в эфир до пизды магического излучения, способного порядком подпалить тонкую ауру гомункула. Дьявол, об этом-то она совсем и не подумала. Как и о многих других вещах. Разве что только о пути отхода.

— Жев? — Катаракта опомнилась первой, вскочила на ноги. Ее единственный глаз расширился, не то от ужаса, не то от удивления, — Что за хрень? Эта твоя штука... Брось ее!

Жевода и сама выглядела удивленной, глядя на бандолет, сжатый ее собственной рукой. Он подрагивал, но совсем не так, как дрожит оружие, которому передалась дрожь хозяина.

Скорее, как стиснутое пальцами огромное насекомое.

Негромко затрещало дерево, тонко запели выворачивающиеся заклепки, крепившие неказистое цевьё к стволу. Пистолет выглядел так, будто оказался под невидимым прессом, только этот пресс не сминал его, а словно пытался вывернуть наизнанку. Что-то протяжно и отчаянно захрустело в механизме, а тусклый металлический ствол стал быстро наливаться зловещим жаром.

Жевода пыталась разжать хватку — Барбаросса видела, как напрягаются ее пальцы, впившиеся в рукоять — пыталась, но не могла. Плоть и оружие словно вплавились друг в друга, сделавшись единым целым.

— Брось! — крикнула Тля, — Брось эту штуку нахрен!

— Я... Я не могу, — Жевода выглядела растерянной и это мгновение сполна вознаградило Барбароссу за все те неприятные вещи, которые происходили с ней в последнее время, — Оно... Кажется, оно...

Ее ладонь лопнула ровно посередине с тем сухим звуком, с которым обычно лопаются неумело натянутая на диван обивка, уступая давлению изнутри. Но вместо пружины из нее вырвались короткие зазубренные отростки из дерева и стали, напоминающие не то

стремительно отрастающие корни, не то крошечные, судорожно скребущие когти, впивающиеся в податливую плоть.

— Блядь! — Жевода выпучила глаза, забыв, кажется, даже про боль, а боли сейчас должно было быть чертовски много, — Ах ты блядь! Блядь!.. Сука, блядь!

Изгибающиеся и ворочающиеся корни стремительно прорастали сквозь ее ладонь, заставляя тонкие кости лопаться с негромким треском, точно сухие ветки под каблуком, выворачивая и скручивая суставы, вплавляя плоть в рукоять бандолета. И, верно, процесс этот был небезболезненным, потому что Жевода заткнулась, одними губами глотая воздух.

Тля подскочила к ней первой, беззвучно выхватив из-за ремня керамбит. Маленькое кривое лезвие, похожее на коготь гарпии, способно было вспороть живот одним коротким движением даже сквозь толстый кожаный колет, но сейчас оно дрожало в ее руке, как грубый нож в руке школярки. Видно, она и сама не знала, что делать, не то попытаться отрезать эту чертову штуку от руки Жеводы, не то полоснуть по ней, но...

Никто не знает, по какому принципу Ад распоряжается своими сокровищами. Иногда он вознаграждает молодых сук за прыть и сообразительность, иногда, напротив, жестоко карает. Кажется, Тля не относилась к числу везунчиков.

Бандолет, выпрастовывающий из себя все новые и новые корни-когти, вдруг стремительно дернулся, разворачиваясь в ее сторону. Это выглядело так, будто Жевода направила его своей рукой, но Барбаросса видела, что это не так — та сама сейчас едва держалась на ногах. Оружие в ее трескающейся и лопающейся руке жило своей жизнью, волоча ее за собой, точно тряпичную куклу.

— Тля! Нет!

Ствол, судорожно дергающийся, вдруг уставился Тле точно между глаз. И подарил ей половину секунды, которой той хватило только лишь для того, чтобы несколько раз моргнуть, прежде чем вырвавшееся из ствола пламя тугим сгустком ударило ей в лицо, отшвыривая прочь в облаке тлеющих волос, гари и копоти.

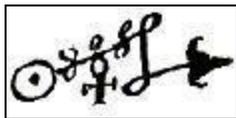
Тля врезалась в стену и шлепнулась на пол. Ее лицо превратилось в обугленную маску с пустыми, выеденными огнем, глазницами, щедро инкрустированную ее собственными же железными зубами. Тугие локоны шипели на плечах, источая дым — точно кто-то кинул факел в змеиное гнездо, оплавленный керамбит шлепнулся ей на грудь...

Встать, приказала себе Барбаросса. Встать, ты, никчемная дрянь. Если он не взялся за тебя сразу же, то не потому, что ты очаровала его своей красотой, сестрица Барби, а потому, что у него пока и так хватает еды. Но очень скоро он с ней покончит, и тогда...

Кацбальгер Резекции выполз из ножен с сухим шелестом — зловещий звук, от которого даже у опытной суки похолодели бы поджилки.

— Нет! — крикнула Жевода отчаянно, — Рез, нет!

Никчемные крысы. Они могли бы разбежаться при первых признаках опасности. Они и привыкли это делать, только потому и прожили так долго. Но чертова Фалько, кажется, немало сил положила на то, чтобы превратить их в стаю, заставить держаться друг за друга. Но далеко не всякая стая, возомнившая себя ковроном, стоит чего-то в деле.



Резекция подскочила к Жеводы одним коротким гибким прыжком. Хороша, чертовка. В ней не было лощеной грации, которую вбивают в своих учениц фехтмейстеры, дерущие по

талеру за урок, одна только уличная злая сноровка, выдающая опыт лучше любых финтов и ужимок. Гибкая, гудящая от напряжения, как арбалетная дуга, не тратящая времени ни на одно лишнее движение, она подлетела к Жеводе сбоку, ловко скользнув под страшным оружием, которое той не повиновалось. Должно быть, она хотела отсечь руку, сжимающую ее, но в последнюю секунду замешкалась, не зная, как нанести удар — по запястью, выломанному из сустава и покрытому массой шевелящихся корней из стали и дерева, или по локтю. Точно врач, уже вытацивший свой страшный тесак, но колеблющийся, не знающий, где именно отнимать руку.

Милосердие погубило множество ведьм, погубило и ее саму. Бандолет с коротким рыком рубанул ее по плечу, точно палица — Барбаросса отчетливо слышала негромкий хруст ключицы — а мигом позже уперся ей в грудь.

Не было того щелчка, с которым обычно срабатывает колесцовый механизм, вышибая искру из кремня. Не было хлопка пороха на полке. Не было даже грохота. Был только оглушительный треск лопающихся ребер — и страшный крик Резекции, быстро превратившийся в тошнотворное хлюпанье. Ее грудь разворотило так, будто в нее угодило ядро из полевой кулеврины. Грудная клетка лопнула, едва не распахнувшись наружу, как ларец, подарив Резекции возможность заглянуть себе в душу — в сырое, булькающее и хрипящее развороченное нутро, в котором натягивались и лопались какие-то жилки, судорожно дергались связки, хрипели серые от пороховой гари легкие, похожие на обожженных медуз. Резекция выронила кацбальгер, неуверенно подняла руку, словно намереваясь потрогать опаленный край раны, но сама вдруг рухнула лицом в пол, беззвучно и тяжело, будто подчиняясь чудовищному грузу прожитых лет и тягот, который только сейчас навалился на нее.

Барбаросса приказала себе не замечать этого. В другое время она с удовольствием бы понаблюдала за тем, как осатаневший от долгого заключения демон расправляется с «Сестрами Агонии», получая от этого не меньшее удовольствие, чем от хорошей театральной постановки, но сейчас было не до того. Адские владыки не знают благодарности. Если она в самое скорое время не окажется далеко отсюда, она сама испытает на себе многое из того, что он в силах предложить...

Шатаясь, она поднялась на ноги. Ее вело во все стороны разом, точно пьяную башню, тяжелая дурнота мешала ясно соображать, кости скрежетали от нагрузки — но все-таки она поднялась. Неплохо, Барби. Совсем неплохо. А теперь сделай шаг в том направлении...

— Рез! Блядь! Блядь! Блядь!

Жевода зарычала, попытавшись впиться зубами в собственное предплечье — жуткое подобие волка, норовящего отгрызть попавшую в капкан лапу. Бандалет, сжатый в ее руке, небрежно стряхнул ее — и уставился стволом на пятящуюся прочь Катаракту. Та уже не думала о нападении, слишком хорошо видела, чем кончили ее товарки, но ужас, верно, сковал ее, точно кандалами, лишив обычной прыти. Она с трудом волочила ноги по полу, спотыкаясь на каждом шагу. Единственный уцелевший глаз, широко распахнутый, выглядел оккулусом, настроенный на пустой, не несущий магического сигнала, канал — ни выражения, ни смысла, одно только дрожащее, состоящее из чистого ужаса, марево. Ее пальцы, прежде судорожно сжатые, затрепетали, разжались и выронили на пол латунное яйцо жилетных часов, которое, ударившись несколько раз об пол, остановилось в фуссе от Барбароссы. Стрелки показывали восемь шестнадцать — она жадно впиалась в них глазами, лишь бы не замечать прочих вещей, творящихся вокруг.

Зловещего треска, исходящего от дергающейся посреди комнаты Жеводы.

Того, как стремительно разбухает ее голова, отчего лицо натягивается на ней, точно холст на раме. Как глаза съеживаются в глазницах, высыхая, будто подтаивая от нестерпимого внутреннего жара...

— Беги! — нечленораздельно пролаяла Жевода, скаля окровавленный рот с обкусанными, свисающими бахромой, губами, — Да беги же ты!

Демон не дал ей убежать. Бандолет, покрывающийся все новыми и новыми отростками, быстро превращающийся в узловатую лапу из кости, мышц и железа, почувал Катаракту и устался в ее сторону. Он уже не был бандолетом. Он был чем-то другим, чем-то, что невозможно изготовить ни в одной мастерской мира смертных. Его дуло превратилось в оскаленную, лязгающую деревянными, костяными и стальными зубами пасть. Сквозь щели и прорехи, смешиваясь с комками плавящейся плоти, наружу вытекала полупрозрачная жижа, шлепающаяся на пол шипящими сгустками.

Ярость. Эту ярость невозможно было унять ни чарами, ни увещеваниями, ни миллионном шоппенов воды. Демон еще не освоился до конца в чужом для него мире с его бесхитростными и примитивно устроенными законами, но искра адского гнева в нем разгоралась стремительно и страшно, требуя все больше топлива. Жеводы, которую он пожирал, медленно расплавляя ее кости и плоть, было недостаточно. Ему требовалось больше. Куда больше.

— Стой!

Барбаросса и сама вздрогнула, услышав этот голос. Мертвый холодный голос, перемежаемый хрустом — он почему-то перекрывал страшный гул пламени и нечленораздельные вопли мечущейся Жеводы.

— Eudimerkurgeirfugl! Nættu! Ég býð þér að hlýða!

Фальконетта стояла неподвижно, держа свое собственное оружие в опущенной руке. Как терпеливый дуэлянт, хладнокровно ожидающий, когда противник займет нужное место в пространстве, сделавшись уязвимым. Серые глаза глядели пристально и спокойно — глаза не ведьмы, но канонира, вымеряющие пространство до последнего дюйма, едва заметно мерцающие.

Умная сука. Она первой сообразила, что происходит, и пыталась заставить демона повиноваться. Гиблый номер. Даже владея его именем, едва ли она могла подчинить себе вырвавшееся из оков существо, охотно пожирающее мясо вперемешку с деревом, наслаждающееся жизнью так, будто вокруг, в обрамлении из пламени и дыма, происходил адский бал...

— Eudimerkurgeirfugl! Nættu!

Барбаросса довольно ослабилась, хоть и была занята куда более насущными делами.

Хер что у тебя выйдет, никчемная манда. Этого парня не упрятать обратно за решетку. Скорее, он сожрет всех вас и полакомится твоими собственными потрохами...

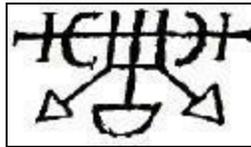
Должно быть, это сообразила и Катаракта. Она взвизгнула, попытавшись отскочить, но уперлась спиной в стену и отчаянно засучила лапками. Пасть распахнулась еще раз, исторгнув из себя ослепительную вспышку, обрамленную грязной оторочкой сгоревшего пороха. Страшный жар впечатал Катаракту в стену, точно невесомое трепыхающееся насекомое, а когда отступил, осталась только каверна в камне — выжженное яйцеобразное углубление, наполненное массой из разнородного шлака, в котором с трудом угадывались обугленные кости, коптящее тряпье и медные лужицы расплавленных пуговиц.

Не смотреть, приказала себе Барбаросса. Иди куда идешь, все прочее тебя не касается. Чувствуй себя так, будто случайно оказалась на сцене, полной актеров в разгар представления. Не вмешивайся, не привлекай к себе внимания, скорчись и беги нахер за кулисы...

Сложнее всего было подобрать банку с гомункулом. Бесчувственный Лжец, плавающий в своем растворе, словно набрал пять-шесть пфундов за последний час, банка выскальзывала из переломанных пальцев, как шарик ртути. Но у нее получилось. Не с первого раза, но с пятого или шестого. Получилось.

Барбаросса на миг малодушно остановилась, собираясь с силами, пытаясь не обращать внимания на отчаянный вой Жеводы и жадный треск огня за спиной. Это не твой бал, крошка Барби, не тебе на нем танцевать...

Лжец, никчемная ты бородавка! Вырубился в самый неподходящий момент. Будешь грызть себе локти до конца жизни из-за того, что пропустил все самое интересное!..



Эритема была единственной из «сестричек», не только не попытавшейся спастись, но даже не пошевелившейся. Скорчившись в своем углу, она безучастно наблюдала за тем, как гибнут ее сестры, но не пыталась ни достать оружие, ни броситься наутек. Пустое лицо, пустые, почти не моргающие, глаза. Демон полгода носил ее вместо костюма, награждая лошадиными дозами удовольствий и пыток, вспомнила Барбаросса, оставив после своего пиршества вместо рассудка одни лишь конструкции, на которых тот когда-то держался. Неудивительно, что она не чувствует страха — ее инстинкты самосохранения давным-давно превратились в уголья.

Эритема не пыталась ни сопротивляться, ни бежать. Вместо этого она вдруг запрокинула голову и начала смеяться. Не хихикать, как ведьма, сотворившая какую-то пакость или заметившая спелый прыщ на лбу у подруги — исступленно хохотать, широко разевая рот и суча ногами. Она буквально заливалась со смеху, схватив себя поперек груди, будто боялась, что та может треснуть от смеха, колотила каблуками по полу, всхлипывала, едва не подвывала... Наверно, в этот миг, взглянув в глаза приближающейся к ней Жеводы, которая стремительно срасталась с демоном в единое целое, она вдруг увидела какую-то дьявольскую иронию в этой сцене, уморительную шутку, не понятную простому смертному, но чудовищно прекрасную, которую невозможно выразить словами, лишь безумным, рвущим нутро, смехом...

Эримеркурgefugль, слившийся с рукой Жеводы, рыкнул в ее сторону тугим потоком ворчащего пламени — и та закружилась посреди комнаты в танце, превратившись в хохочущий кокон из тлеющего тряпья и горящего мяса, осыпая все вокруг себя водопадами пепла и стреляющих углей.

— Eudimerkurgeirfugl! — голос Фальконетты изменился, стал более гортанным, тяжелым, — Ég mun taka vald þitt! Þú munt samþykkja mig!

Жевода двигалась на нее, будто ничего и не слыша. Она уже прекратила бесполезное сопротивление, видно, адский огонь пережег внутри нее какие-то важные цепи, которыми разум соединялся с телом. Теперь она уже была орудием в руках демона — слепо ковыляющим, послушным, содрогающимся в страшной агонии, не замечающим, что плоть, делаясь рыхлой и мягкой, медленно стекает с нее, обнажая желтоватые пластины костей, да

и те уже начинают медленно сплавляться друг с другом, образуя подобие костяного панциря. Грудь, хрустнув враз сломавшимися ребрами, выперла вперед, точно у рыцарской кирасы. Плечи, заскрежетав в суставах, разбухли и опустились. Какое-то время на ее лице оставалось подобие выражение — огонь прилепил ее к костям черепа, заставив навеки застыть в гримасе ужаса. Еще несколько секунд и лицо лоскутами начало сползать с них — череп стремительно разрастался, превращаясь в тяжелый костяной шлем, забралом которому служили оплавленные, спекшиеся друг с другом, хрящи, превратившиеся в бугрящуюся личину, больше пародирующую человеческое лицо, чем воспроизводящую его черты.

Единственное, что осталось от Жеводы в этом человекоподобном кошмаре, неумолимо наступающем на неподвижно стоящую Фальконетту, то это глаза — сморщенные спекшиеся комки серо-лазурного цвета, пригоревшие к забралу...

Фальконетта почему-то не пыталась поднять пистолет. Может, знала, что зачарованная пуля не сразит эту тварь. Или имела про запас не менее действенное средство. Команды, которые она произносила, были непонятны Барбароссе — знакомые как будто слова адского языка сплетались между собой непривычным образом, рождая тяжеловесные и странные конструкции.

— Eydimerkurgeirflug! Styrkur þinn er styrkur minn. Gefðu mér allt sem þú átt. Hlúðið.

Сейчас полыхнет, поняла Барбаросса. Сейчас полыхнет так, что «Хексенкессель» содрогнется до самого фундамента, а меня вынесет прочь горстью пепла. Еще шаг. Лжец, миленький, помоги мне... Молись, сучий выbleядок, за сестрицу Барби — и да помогут нам все отродья Геенны Огненной...

Ей удалось доковылять до окна. Высокое, стрельчатое, похожее на дверь, оно не было дверью — за осколками разноцветного стекла клубилась черная ночь Броккенбурга, колючая как грязная волчья шерсть. Но если выход есть, он здесь.

Если ты не ошиблась с окном, сестрица.

Северная сторона «Хексенкесселя» почти гладкая, не считая лепнины да пары-другой карнизов. Ты соскользнешь по ней как шкварка по сковородке, даже будь у тебя сорок рук, и превратишься в большую ярко-красную соплю, размазанную у подножья. Восточная, напротив, усеяна многочисленными карнизами, вздувшимися, будто фурункулы, эркерами, и широкими мощными архивольтами, которые могут изрядно смягчить падение...

Барбаросса на миг замешкалась, забираясь на подоконник.

Архивольты? Что это за херня такая — архивольты?

Забавно, две или три секунды она в самом деле размышляла об этом, не обращая внимания на усиливающийся жар за спиной, как будто это в самом деле имело значение. И лишь потом сообразила, что архивольт — это выступающая наружу оконная арка. Черт. Барбаросса едва не хохотнула, взбираясь на подоконник с прижатой к боку банкой.

Она ни хера не смыслила, как называются все эти блядские украшения на фасаде — не думала и не собиралась запоминать. А вот гляди-ка, сидело это блядское словечко в памяти, может, годами, а тут вдруг вылезло, как нагноившаяся заноза — вылезло некстати и невовремя... Архивольт! Ах ты ж сука... Как будто это имело сейчас значение!

Последний полет сестрицы Барби будет наблюдать несколько сот сук, мрачно подумала она, поднимаясь сквозь чудовищный жар на подоконник. На негнущихся ногах, с чертовой банкой под мышкой, растерзанная, окровавленная и обожженная, она должна чертовски неплохо выступить перед публикой. И уж если это не потянет на хороший миннезанг...

Броккенбургский ветер пах тухлятиной. Неудивительно — гарпии, испокон веков

гнездившиеся на крыше «Хексенкесселя», давно облюбовали его богато декорированные фасады в качестве своего гнездовья, оставляя на шпильях гниющие остатки своих трапез. Но сейчас этот запах был почти приятен.

Барбаросса не знала, что делается за ее спиной — и не хотела знать. Она заставила себя смотреть ровно вперед, в оконный проем, не обращая внимания на грозный гул пламени и волны адского жара, бьющие ей в спину.

Она успеет. Не осядет пеплом на подоконнике. Не сломает себе шею. Не нанижется на какой-нибудь флюгер, точно дохлая гарпия, чтобы еще полгода развлекать пришедших на танцульки сук...

Возле самого окна защитные чары, глушащие доносящуюся снизу музыку, слабели, отчего она вдруг отчетливо разобрала тяжелый резкий ритм клавесина и чей-то голос, бьющий ей в лицо вперемешку с потоками затхлого и скверно пахнущего броккенбургского ветра:

...тот, кто услышит твои молитвы

Тот, кто позаботится

Твой собственный персональный Дьявол

Тот, кто услышит твои молитвы

Тот, кто всегда рядом

Пламя позади уже не гудело, оно срывалось в визг, выжигая все, что было пощажено пожаром, все, до чего могло добраться. Наверно, уже начисто слизало и серый камзол Фальконетты и мертвые тела и все прочее, что она оставила за спиной.

— Eudimerkurgeirfugl!..

Голос Фальконетты стал хриплым, срывающимся. Должно быть, пламя уже добралось до ее голосовых связок и медленно их поджаривало.

Времени распахивать окно не было, да она и не смогла бы оторвать приржавевшую, покрытую свежей гарью раму сломанными пальцами. Значит, придется выходить насквозь. Барбаросса заколебалась, стоя посреди подоконника. Смелее, крошка, подбодрила она сама себе, перекладывая колбу под другой бок. Представь, что это путь не вниз, а вверх. Представь, что твоя душа взмывает, поднимаясь над отравленной землей Броккенбурга.

Представь, что...

Сзади полыхнуло и прежде, чем она успела испугаться, тяжелая волна жара ударила ее в спину, впечатав в расчерченное разноцветными квадратами ночное небо Броккенбурга. Небо разлетелось под ней на миллион осколков, а может, это разлетелся наконец Броккенбург, проклятая всем сущим чертова гора...

Последнее, что Барбаросса услышала, прежде чем ее душа вознеслась в небо вместе с осколками свинцовых переплетов и стекла — голос, поющий:

Протяни руку и прикоснись к Аду.

Протяни руку и прикоснись к Аду.

Это было даже забавно, но рассмеяться она не успела.

Ее душа вздрогнула — и воспарила куда-то вверх в обрамлении стеклянных брызг и крови.

Больше книг на сайте - Knigoed.net